



TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ALUSTATUD 1893. a.

VIINIK 139 ВЫПУСК

ОСНОВАНЫ в 1893 г.

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ
И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
VI



TARTU 1963

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ALUSTATUD 1893. a. VIINIK 139 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ в 1893 г.

**ТРУДЫ ПО РУССКОЙ
И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
VI**

ТАРТУ 1963

Редакционная коллегия: Б. Ф. Егоров (ответственный редактор), В. Т. Адамс,
А. Б. Правдин, Ю. М. Лотман.

ОБ ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XX и XXII СЪЕЗДОВ КПСС

XX и XXII съезды КПСС с полным основанием могут считаться одной из решающих вех в истории советской литературы. Восстановление ленинских норм партийной жизни и разоблачение культа Сталина сыграли самую благотворную роль и для литературного развития. Преодоление губительных последствий культа личности для литературы и литературной критики, реабилитация ряда несправедливо репрессированных советских писателей, мобилизация писателей на борьбу за торжество коммунизма, воспитание в них непримиримого отношения ко всему, что мешает нашему продвижению вперед — все это решительно изменило атмосферу, в которой живет советская литература. Неоспоримым фактом сделалось возникновение нового этапа развития советской литературы. Высокая писательская активность ряда старых мастеров художественного слова, появление целой плеяды новых прозаиков, поэтов, драматургов, без которых сейчас уже нельзя представить себе советской литературы, сделали литературу периода после XX—XXII-го съездов насыщенной количественно и качественно. К важным свойствам литературы этого нового периода следует отнести пронизывающий ее дух высокой гражданственности, чувство нравственной ответственности писателя перед советским читателем, ленинской идейности, присущую лучшим произведениям этого периода мысль о том, что воспитывать можно только правдой. По своему идейному и художественному значению литература последних лет — особый и яркий этап в развитии советского искусства.

Тем более заметен разрыв между активизацией роли литературы в духовной жизни советского общества и неудовлетворительным состоянием преподавания литературы в школе. Тревожные статьи педагогов, писателей и общественных деятелей, периодически появляющиеся на страницах печати, до сих пор не оказали влияния на учебники, учебные программы и дух самого преподавания литературы в школе. Единственное изме-

нение в преподавании литературы в школе, произошедшее за эти годы, заключалось в резком сокращении часов, отпущенных на предмет, и объема предусмотренного программой материала.

Существенным недостатком действующей ныне программы по литературе следует признать прежде всего полное отсутствие в ней новейшей литературы. А именно этот материал обладает особой воспитательной ценностью, позволяет разбудить мысль учеников, вызвать споры. Он, конечно, оживит интерес к предмету. Речь идет не о преуменьшении значения классической литературы в деле воспитания характера школьников, расширения их кругозора. Ведь и прогрессивные педагоги XIX века, борющиеся за допуск в гимназию Некрасова, Тургенева и Толстого, не отрицали гражданственности Ломоносова или жизнелюбия Державина. Но в том-то и дело, что интерес к литературе прошлого может проснуться у школьников только на основе привычки не твердить, не задумываясь, готовую формулу: «Литература — учебник жизни», а действительно видеть в ней такой учебник. Но приучить к этому естественнее и легче всего именно на материале тех произведений, которые явно, открыто связаны с вопросами, тревожащими формирующееся сознание молодежи. Тогда и в произведениях классической литературы школьник научится различать не только унылые «образы» и «художественные особенности», а ощутит связь с потребностями нашего дня, вопросами своего ума и совести. А ведь в настоящее время школьник чаще всего учит характеристику образа Базарова так, как гимназист зубрил Горация: подчиняясь учителю и не чувствуя в этом никакой связи со своими сегодняшними раздумьями. Попытки искусственно «актуализировать» материал изучаемой литературы, типа рассуждений вроде того, что Татьяна Лариной следует подражать в моральной устойчивости, Базарову в любви к науке, а самоубийство Катерины подлежит осуждению, — положения не спасают. Они скорее дискредитируют самую идею приближения уроков литературы к запросам сегодняшнего дня.

Конечно, речь не идет и не может идти об отмене исторического принципа преподавания, хотя урезанность программы, уже практически потерявшей все черты историзма, порой вызывает сомнение: не лучше ли узаконить этот отказ и открыто строить программу вне исторического подхода (ср. статью Н. Долининой «А какова цель?» в «Литературной газете» от 22. XI. 1962 г.)? Способность исторически мыслить, соизмерять свои мнения и поступки с закономерностями исторического развития — настолько существенная черта марксистской идеологии, что вряд ли целесообразно отказываться от любой возможности привить ее учащимся. Следует не отказываться от историзма в построении курса, а бороться за его полное восстановление в

школьной программе. Однако прохождение новейшей литературы, права которой, как мы говорили, нужно резко расширить, не следует откладывать на последний, заключительный период курса. В этом случае пропадет один из важных эффектов предлагаемой перестройки программы — активизация интереса к литературе прошлого, раскрытие ее подлинной, а не внешней связи с запросами читателей сегодняшнего дня. Поэтому желательно было бы, одновременно с изучением истории литературы, определенное число часов в старших классах отводить на прохождение наиболее выдающихся произведений новейшей литературы. В порядке опыта в отдельных случаях можно было бы попробовать вводить в школьное обучение крупнейшие произведения современной мировой литературы. Все равно школьники читают и Ремарка, и Хемингуэя, и Сент-Экзюпери и спорят об их произведениях, часто не понимая их сущности. Почему бы эти споры не перенести на уроки литературы?

Существенен вопрос об отборе произведений новейшей советской литературы для школьного разбора. Представляется целесообразным при его решении подойти к более общей проблеме — подвергнуть обсуждению вообще принципы отбора произведений для изучения в школе. Нам представляется, что правильный путь наметила Л. Кабо в своем выступлении в «Литературной газете»¹. Преподавание литературы не терпит мертвечины, стандарта. Для того, чтобы урок принес пользу, учитель должен любить, интимно переживать то произведение, которое он несет детям. А вкусы не могут быть одинаковыми. Но важнее другое: программа составлена в расчете на отвлеченный «типовой» класс. А такого нет и никогда не бывало в природе! Есть конкретные классы с детьми разных способностей и вкусов, с разным преобладанием мальчиков или девочек, с разным направлением интересов. Подобно тому, как есть учителя, которые легче овладевают душами учащихся на уроках со строго логической структурой, и есть другие, для которых доступнее путь эмоционально-лирический; есть учителя, которым лучше дается разбор лирики, и есть мастера анализа произведений, овеянных духом героики, так и классы и отдельные школьники отличаются друг от друга восприимчивостью или невосприимчивостью по отношению к тем или иным художественным формам. Из этого следует, что программа не должна быть догмой — она должна допускать вариативность. Учитель должен иметь возможность наложить на нее отпечаток своей индивидуальности.

Но, вместе с тем, нельзя допустить и разнобоя, отказа от некоей единогонаправленности прохождения материала в различных

¹ Л. Кабо, Вдохновение или выучка, Литературная газета, 20 декабря, 1962.

школах. Выход представляется таким: программа должна быть единой, но предоставлять учителю свободу выбора — «Отцов и детей» или «Накануне», «Войну и мир» или «Анну Каренину», «Разгром» или «Молодую гвардию» изучать в этом классе. Особенно гибкой должна быть программа по современной литературе. В ней следует резервировать свободные места для произведений, появляющихся во время учебного года, если эти произведения достойны того по своей идейно-художественной ценности.

Предоставление учителю большей самостоятельности в отборе предназначенных для изучения произведений будет стимулировать творческую активность учителя, уводить его от готовых схем, сделает работу его интереснее.

Как же в таких случаях должны строиться учебники? Учебник не должен копировать программу. Он должен быть значительно шире ее, предоставляя учителю выбор необходимого материала, а ученику — возможность дополнительного чтения по интересующему его вопросу. Такое построение учебника решило бы еще одну трудность: постоянные изменения программы приводят к текучести учебников, что в свою очередь ведет к загрузке типографий и неоправданным расходам. Расширенный учебник был бы стабильным, пригодным для разных программных вариантов.

Не следует бояться и трудностей при проверке знаний во время вступительных экзаменов в вузы. Темы на этих экзаменах должны составляться так, чтобы можно было бы получить представление об общем уровне литературной начитанности поступающего, а не об его способности заучить ту или иную формулировку. Умение мыслить пригодится ученику, какую бы профессию он ни выбрал, а пригодится ли ему характеристика «лишних людей» (в упрощенно-школьной трактовке этого вопроса), даже если он изберет профессию литературоведа — сомнительно.

С. П. Титов² в интересной статье, опубликованной в «Литературной газете», справедливо указывал, что способность мыслить прямо противоположна умению ученика заучивать готовые формулировки. Специфика преподавания литературы по отношению к другим предметам, в частности, состоит в том, что учитель должен оценивать не только правильность ответа, но и убежденность, можно сказать — искренность, ученика, его способность делать выводы самостоятельно. Это особенно важно при изучении современной литературы. Не следует бояться произведений, по поводу которых в классе могут возникнуть споры: ученик старших классов — завтрашний гражданин, он выходит в жизнь, полную борьбы и конфликтов. Построение

² С. Титов, Если не любить, Литературная газета, 20 окт. 1962.

коммунизма проходит в борьбе, и школа плохо выполнит свою миссию, если, из боязни острых споров, не подготовит ученика самостоятельно разбираться в тех жизненных конфликтах, которые его ожидают за порогом учебного заведения.

Сделать уроки литературы подлинной школой идейного, политического, нравственного роста учеников — такова задача, которую ставит перед школой жизнь.

ТАРУТИНСКИЙ ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА И РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ *

Ю. Лотман

Военная история Отечественной войны 1812 г. изучена достаточно подробно. Не вызывает сомнений и особое значение военных лет для истории общественной мысли в России. Современное состояние вопроса позволяет перейти от общих деклараций об определяющем влиянии Отечественной войны 1812 года на развитие политических и литературных мнений первой трети XIX века к вычленению конкретных проблем исследования. Каждый из этапов Отечественной войны 1812 г., будь то период от Немана до Смоленска, от Царева Займища до Бородина или от начала перехода в контрнаступление до Березины, равно как и каждый другой отрезок военных действий, имел для современников отчетливое, не только военное, но и идейное, лицо. Он был связан со своей, только ему присущей, гаммой настроений в армии и тылу. Идейная обстановка 1812 г. отличалась высокой динамичностью. Понять ее во всем объеме можно только отказавшись от суммарных оценок и изучив реальное идейное лицо каждого этапа.

Тарутинский период был отмечен, в этом отношении, чертами яркого своеобразия, которые делают его особенно значительным для изучения идей 1812 года.

Условия военного времени соединили обширные армии на

* К литературе вопроса, указанной мной в статье «Походная типография штаба Кутузова и ее деятельность» (Сб. «1812 год», М., изд. АН СССР, 1962) следует прибавить ряд ценных работ, появившихся в последние годы: А. Г. Тартаковский, Из истории русской военной публицистики 1812 г. (тот же сборник); его же, «Бюллетень» М. Ф. Орлова о поездке во французскую армию в начале войны 1812 года, Археографический ежегодник за 1961 г., М., изд. АН СССР, 1962 и прекрасно составленный Р. Е. Альтшуллер и А. Г. Тартаковским сборник: «Листовки Отечественной войны 1812 г.» М., изд. АН СССР, 1962.

сравнительно небольшом пространстве, они же собрали в армии цвет мыслящей молодежи, рассеянной в иных условиях по столицам, поместьям, разбросанным по территории империи, полкам и службам. Втянутая в исторические события молодежь прекрасно понимала их масштаб. Но дело шло не только о размахе событий. Войны с Наполеоном воспринимались не только как военное, но и как политическое событие. Борьба велась не из-за династических споров или территориальных претензий — речь шла о политическом лице будущей Европы, наследии революции, борьбе свободы и деспотизма. Одновременно с военными действиями началась борьба идей, в которой каждая сторона стремилась политически дискредитировать противника. Война будила гражданскую активность и становилась политической школой, которую проходило целое поколение русской дворянской молодежи. А народный характер Отечественной войны накладывал на размышления ее участников особый отпечаток, немало способствовавший рождению настроений, которые в дальнейшем привели лучших людей этого поколения на Сенатскую площадь.

Начало войны, оставление Смоленска, Бородино, пожар Москвы, каждый день боевых действий — все это наполняло умы молодежи впечатлениями, настраивало на высокий гражданственный лад, а обстановка походов, маршей, бивуачных встреч подготавливала почву для знакомств и сближений. Но эти же условия — постоянные перемещения, путаница маршей, усталость от тяжелых боев — не давали возможности обдумать впечатления, превратить походную дружбу в прочный союз политических единомышленников.

В этом отношении Тарутинский лагерь — особый период в идейной жизни 1812 года. В самый напряженный момент войны участники событий получили короткую передышку, которая позволила обдумать, осмыслить происходящее. Недостаток материалов препятствует нам восстановить в полном объеме идейную жизнь передового офицерства, собранного в те дни в Тарутинском лагере и селе Леташевка — месте пребывания штаба Кутузова. Однако и на основании выявленных документов можно с уверенностью сказать, что жизнь эта отличалась высокой интенсивностью. Одним из основных центров ее сделалась типография Главной квартиры, возглавленная А. С. Кайсаровым. Идея народной войны, составлявшая лейт-мотив всех изданий типографии, воодушевляла молодое офицерство, группировавшееся вокруг штаба Кутузова. Многие связи декабристской эпохи корнями уходят в дни Тарутина.

Литературно-публицистическая деятельность кружка типографии Главной квартиры служит одним из основных источников для характеристики идейной жизни тех дней. Политическое

содержание листовок типографии Кайсарова теперь уже, в известной мере, изучено. Целесообразно остановиться на другой стороне его деятельности — литературной.

Наряду с официальными материалами: приказами главного командующего, воззваниями, публиковавшимися за его подписью, и штабными донесениями — типография печатала и неофициальный агитационный материал, имевший чисто литературный характер. Материалы эти особенно интересны, ибо воззрения составителей их проявлялись здесь с большей свободой.

Важнейшей темой агитационных произведений, выходивших из типографии Кайсарова, являлась популяризация роли Кутузова, его военной тактики. Естественно, что в тех документах, которые публиковались в качестве официальных сообщений от имени Кутузова, прославление его не могло иметь места. Вместе с тем, именно этот пункт имел первостепенное значение. Понимание войны как народной прочно связывалось с фигурой Кутузова, а, с другой стороны, оставление Москвы было воспринято в придворных кругах как сигнал к началу травли главнокомандующего. В рескрипте на имя Кутузова Александр I писал: «Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству о потере Москвы». В этих условиях защита авторитета Кутузова в армии лучше всего могла бы быть выполнена изданием литературных произведений, не имевших характера официальной штабной бумаги. Эту роль выполнили стихотворения Жуковского. В «Певце во стане русских воинов» Кутузов именовался «бодрым вождем» (в письме от 20 октября 1812 г. РаSTOPчин писал: «Кутузов — самый гнусный эгоист, пришедший от лет и от разврата жизни почти в ребячество. Спит, ничего не делает»).¹

Исполненными глубокого смысла были стихи:

«С ним опыт, сын труда и лет,
Он бодр и с сединою.
Ему знаком победы след...
Доверенность к герою!»²

¹ Памятники новой русской истории, сб. исторических статей и материалов, изд. В. Кашпировым, т. II, СПб., 1872, стр. 186.

² В. А. Жуковский, Стихотворения, Л., Советский писатель, 1956, стр. 114. Ср. С. Дурьлин, Русские писатели в Отечественной войне 1812 г. М., 1943, стр. 85—88.

Кроме этих двух выступлений в сентябре-ноябре 1812 г. в том же духе печатно высказался лишь радикальный литератор И. Кованько:

Хоть Москва в руках французов
Это, право, не беда! —
Наш фельдмаршал князь Кутузов
Их на смерть впустил туда.

Вспомним, что, будучи опубликованы в первом номере «Сына отечества», стихи, по воспоминаниям редактора журнала Н. И. Греча, «повлекли с самого начала гонения на «Сына Отечества»» (Н. И. Греч, Записки о моей жизни, М.—Л., Academia, 1930, стр. 305).

Жуковский оправдывал оставление Москвы. «Певец во стане русских воинов», написанный в сложное для Кутузова время, упоминал его имя сразу же за Александром. После сражения под Красным в стихотворении, опубликованном в виде листовки 10 ноября 1812 г., Жуковский определил свою позицию решительнее: Кутузов назван вождем победителей, и все стихотворение полностью посвящено ему. Александр вообще не упоминается, если не считать того места в стихотворении, где по контрасту с победами Кутузова вспоминается, как

... «росс главу под низкий мир склонил».³

Упоминание тильзитского мира в контексте похвал Кутузову не могло звучать для современников иначе как осуждением Александра I. Являясь важным этапом в деятельности типографии Кайсарова⁴, оба эти стихотворения занимают особое место и в творчестве Жуковского. «Певец во стане русских воинов» и «Вождем победителей» прекрасно выражают атмосферу, царившую в кружке молодых прогрессивных литераторов-офицеров, сгруппировавшихся в эти месяцы вокруг типографии Кайсарова. Очень показательно для этих стихотворений и истолкование войны с Наполеоном не как защиты алтарей и престолов, а как борьбы за свободу:

Еще удар — и всей земле свобода...

В «Певце во стане русских воинов»⁵ (первоначальный вариант) характерно распределение числа стихов между портретами отдельных военных руководителей и эмоциональная насыщенность этих строк. Александру I посвящено 8 стихов, звучащих весьма отвлеченно и холодно. Они совсем не касаются личности царя, говоря о верности престолу вообще:

Священный трон твой нам алтарь;

Пред ним обет наш: слава.

Не изменим; мы от отцов

Прияли верность с кровью...

Зато Кутузову посвящено 24 стиха, насыщенных конкретным и, в тех условиях, полемическим материалом. Жуковский вспомнил участие Кутузова в Кагульской битве 1770 г. (слова о «из-

³ В. А. Жуковский, цит. издание, стр. 129.

⁴ Можно поставить вопрос о том, не были ли перепечатаны походной типографией некоторые из басен Крылова, посвященных событиям 1812 года. Этим, может быть, объясняется факт широкой распространенности их в действующей армии, зафиксированный в письме Батюшкова Гнедичу от 30 октября 1813 г. Вряд ли можно предположить, что в армии, находящейся в непрерывных боях и походах, сколь-либо широко распространялись рукописные списки стихотворений или журнальные публикации.

⁵ Текст «Певца во стане русских воинов», опубликованный в «Вестнике Европы» (№ 23—24, декабрь 1812), видимо, воспроизводит первоначальный «тарутинский» вариант стихотворения. Возможно, он прямо спечатан с листовки. Однако Жуковский и в дальнейшем во время всей кампании 1812 года продолжал вносить изменения в текст.

раненном челе»), повторил популярную в 1812 году и имевшую целью поддержать авторитет Кутузова легенду о появлении над головой главнокомандующего накануне Бородинской битвы парящего орла, подчеркнул опытность и «бодрость» Кутузова и затронул болезненную в те дни тему, оправдав оставление Москвы:

Нет, други, нет! Не предана
Москва на расхищенье
Там стены!... в россах вся она
Мы здесь — и бог наш мшенье.

Следуют не столь обширные, но эмоционально насыщенные характеристики Ермолова, Раевского и Милорадовича. Затем — по 12 стихов, посвященных Витгенштейну, Коновницину и Платову. И только после них, сухая, в два стиха, характеристика Бенигсена в общей строфе, куда включены Воронцов, Тормасов, Багговут и др.

Если учесть, что эта строфа написана в Тарутинском лагере (Багговут, убитый в Тарутинском сражении, еще числится живым), то станет ясным, что в основу произведения положена полемически остро выраженная концепция кутузовской «партии». Бенигсен официально числился и. о. начальника штаба, то есть был вторым после Кутузова лицом. Не имея власти сместить его, как назначенного самим императором, Кутузов фактически устранил его от дел, передав все функции начальника штаба дежурному генералу, то есть Коновницину. Бенигсен усиленно интриговал в эти дни, осаждая императора доносами на Кутузова. 28 октября Кутузов писал жене: «Об Бенигсене говорить не хочется, он глупой и злой человек».⁶ В этих условиях 12 стихов Коновницину и 2 Бенигсену — пропорция явно полемическая. Характерно, что в дальнейшем, когда вся эта коллизия отошла в прошлое, Жуковский ослабил восторженную характеристику Коновницина и уменьшил число «отпущенных» ему стихов.

Три строфы (36 стихов) посвящены руководителям армейских партизанских отрядов.⁷

В то время как некий автор безымянных вирш, прославляя Витгенштейна, подчеркивал чиновность своего героя:

... Он принял венец от славы,
От царя достойный чин,⁸ —

Жуковский ставил в один ряд с общепризнанными военными руководителями, генералами, чьи имена давно уже были известны в армии, штабс-капитана Фигнера, капитана гвардей-

⁶ М. И. Кутузов, Документы, т. IV, ч. 2, стр. 237.

⁷ Стихи эти не могут быть написаны позже осени 1813 года — Фигнер числится в них живым. Вероятнее всего, они внесены во время зимней кампании 1812 года. Военные события 1813 года в них никак не отразились.

⁸ Песнь воинская победоносному генералу от кавалерии графу Витгенштейну на взятие штурмом Полоцка, СПб., 1812, стр. 6 (цензурное разрешение от 6 ноября 1812 г.).

ской артиллерии Сеславина, подполковника Ахтырского гусарского полка Д. В. Давыдова, полковников Н. Д. Кудашева и П. С. Кайсарова, полковника А. И. Чернышева. Что касается стиха

Орлов отважностью орел . . . ,

то его можно толковать, как это обычно делают комментаторы, как имеющий в виду В. В. Орлова-Денисова. Но вероятнее, что речь идет о принимавшем активное участие в партизанской войне Михаиле Орлове. У М. Орлова в это время, видимо, наметились и определенные связи с кружком А. С. Кайсарова, плодом чего явилась публикация его листовки. В этой же атмосфере возникло стихотворение А. Ф. Воейкова «Князю Голенищеву-Кутузову-Смоленскому». Сам автор засвидетельствовал, что оно написано « до получения плачевного известия о кончине великого нашего полководца». Титул же «Смоленский» свидетельствует, что создавалось оно после битвы при Красном. Неизвестно, было ли стихотворение опубликовано в качестве летучего листка, но несомненна его ценность для суждений о настроениях, царивших в окружении А. С. Кайсарова. Для того, чтобы понять специфику этих стихотворений, достаточно сравнить их с массовой поэзией 1812 года. В широком потоке од и приветственных стихов Кутузов неизменно ставился на второе место — честь поражения неприятеля приписывалась Александру I.

О радость, о восторг небесной!
Российских храбрых стран Ахилл
Умом и силою чудесной
Коварна галла победил . . .
. . . За ним каратель вероломства
С орлами русскими спешит.
Москвы спаситель и потомства,
Кутузов славу довершит.⁹

В стихах Кутузов часто помещался в ряду исполнителей «монарших предначертаний», рядом, а порой и после Витгенштейна.

Монарх! Орел наш полуношный
Тобю славен стал наш век!
Ты в бранях крепкий, твердый, мощный,
. . . И вы герон знамениты,
Но в мире — англе-человек . . .
Бессмертья лаврами покрыты,
Защитники родимых стен,
Кутузов доблей, Витгенштейн!¹⁰

⁹ В. Тебекин, Ура на победы, одержанные российскими войсками под командою фельдмаршала, светлейшего князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова над французами, СПб., 1812. (Цензурное разрешение 13 ноября 1812 г.).

¹⁰ А. Яковлев, Песнь на победы, одержанные российскими воинами над галлами, СПб., 1812, стр. 2 (Цензурное разрешение 20 ноября 1812 г.).

Безымянный автор брошюры «На истребление французов, нагло в сердце России вторгнувшихся» прославлял Александра I:

Но царь российский чужд сомненья,
Далек от ложных страхов он,¹¹

а о Кутузове говорил лишь после Витгенштейна.

Как и Жуковский в послании «Вождю победителей», Воейков ставит в центр стихотворения образ Кутузова — организатора спасения России. Не менее важно и другое — подчеркивание освободительного характера войны. Борьба должна привести к торжеству свободы. Кутузов —

... верховный вождь вождей,
Завоевавший гроб священные свободы,
Расторгший рабства цепь и сокрушивший бич!

Написанное в момент перехода русскими армиями государственных границ, стихотворение касалось новых и острых проблем. Война ведется теперь за свободу европейских народов:

... Россы цепи рвать германцев полетели.

Цель войны — не территориальные захваты, а утверждение мира:

Теки, о исполин! Рази, карай злодейство,
Мир миру славными победами даруй.¹²

Активное участие народа в освобождении родины произвело огромное впечатление на передовую дворянскую интеллигенцию, вплотную поставив ее перед вопросом об исторических правах народа. Теоретически еще демократическая общественная мысль XVIII в. поставила вопрос о замене регулярной воинской силы, которая может стать орудием для достижения антинародных замыслов тирана, армией вооруженного народа. Освободительный смысл этой идеи ясен. Не случайно ее так энергично отстаивал Радищев. Революционная война, которую вела французская республика, а затем освободительные войны народов Европы против Наполеона (прежде всего, испанского народа), одели эту идею плотью живых фактов и чрезвычайно способствовали ее популяризации в передовых кругах общества. Правительство, стремившееся к осуществлению прусско-павловского идеала «механического солдата», нерассуждающего исполнителя приказов, боялось не только этой постановки вопроса, но и стихийно-демократических требований воспитания инициативного и сознательного солдата, выдвинутых суворовской школой. На развязывание народной войны в 1812 г. правительство шло крайне неохотно, признавая как факт народное движение, остановить которое оно не имело сил. Иначе относились к ней в

¹¹ На истребление французов, нагло в сердце России вторгнувшихся, СПб., 1812, стр. 12—15. (Цензурное разрешение 12 декабря 1812 г.).

¹² Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах, ч. IV, СПб., 1816, стр. 227 и 229.

среде передового офицерства. Убежденная в том, что «спорные дела государства решаются ныне не боем Горациев и Куриациев, не поединками полководцев <...>. Ныне народ или народы восстают против народов»,¹³ — передовая офицерская молодежь наблюдала рост народного движения, вспоминая освободительную войну испанского народа, когда «размеренные движения регулярной армии заменились, так сказать, *устроенным беспорядком* вооруженных поселян». ¹⁴ Если для Кутузова интерес к народной войне был определен мудростью полководца, развивавшего в эпоху национальной угрозы стихийно-демократические принципы суворовской школы, то свободолюбивую молодежь в первую очередь увлекала поэзия «неограниченной страсти к независимости», как определил Д. Давыдов сущность партизанской борьбы. Партизанская война интересовала их не только как военная, но и как политическая проблема, причем воспринималась она сквозь призму романтического свободолюбия: «Сие исполненное поэзии поприще требует романтического воображения, страсти к приключениям и не довольствуется сухою прозаическою храбростию — это строфа Байрона». ¹⁵

Военный и политический опыт 1812 года сыграл огромную роль в формировании идей дворянской революционности. Значительная часть будущих декабристов находилась в рядах армии. Активное усвоение идей народной войны в значительной степени демократизировало сознание передовой дворянской молодежи. В этом смысле представляет интерес еще одна сторона деятельности кайсаровской типографии, позволяющая установить определенные нити, связывающие ее с ранними преддекабристскими организациями.

Еще до войны 1812 года в муравьевской школе колонновожатых, воспитавшей столь многих членов декабристских организаций, возникли тайные общества. По мемуарам Н. Муравьева мы можем получить представление об одном из них — обществе «Чока». Данные об этой полудетской организации суммированы и изучены М. В. Нечкиной. ¹⁶ Значительно менее изучено другое общество, возникшее тоже до войны и тоже в школе колонновожатых. О нем находим свидетельство также в мемуарах Н. Н. Муравьева: «... Артамон Муравьев привел однажды колонновожатого Рамбурга, приличного молодого человека, слу-

¹³ Денис Давыдов, Опыт теории партизанского действия, М., 1822, стр. 46—47.

¹⁴ Там же, стр. 26. Курсив автора.

¹⁵ Там же, стр. 83.

¹⁶ См. М. В. Нечкина, Священная артель. Кругок Александра Муравьева и Ивана Бурцева 1814—1817 гг. сб. «Декабристы и их время. Материалы и сообщения», М.—Л., изд. АН СССР, 1951; М. В. Нечкина, Движение декабристов, т. 1, М., изд. АН СССР, 1955.

жащего теперь поручиком в гвардейском генеральном штабе; но Рамбург принадлежал уже к другому обществу, и потому он не решался вступить к нам без предварительного совещания с своим братством. Членами общества были также офицеры Дурново, Александр Щербинин, Вильдеман, Деллинсгаузен; хотя я слышал о существовании сего общества, но не знал в точности цели оно, ибо члены, собираясь у Дурново, таились от других товарищей своих». ¹⁷

Чрезвычайно интересное наблюдение сделал С. Н. Чернов, напомнивший показание полковника Е. Меендорфа в 1826 г. о «собрании молодых офицеров, из которых предполагалось было составить тайное общество»: «Во время перемирия 1813 г. несколько офицеров вздумали дать друг другу обещание в непоколебимой дружбе, во взаимном сообщении сведений о том, что на счет их в публике говорено будет, защищать друг друга в общем мнении и чтоб один другому говорил правду для взаимной пользы». В обществе, «долженствовавшем быть тайным по существу своему», разговоры касались «политического состояния <...> отечества, юстиции, нашего просвещения и общественных злоупотреблений». ¹⁸ С. Н. Чернов привел список основателей общества: Е. Меендорф, Фрейганг, Ренненкампф, Зурмюлен, Верховский, позже примкнули Гюнцель, Берг, другой Меендорф, Деллинсгаузен и Молоствов. Отметив совпадение ряда фамилий в обществе, упомянутом Меендорфом, и кружке Рамбурга, С. Н. Чернов сделал вывод о возможности связи между этими организациями. К этим наблюдениям можно добавить и новое.

Члены кружка Рамбурга, также как и братья Меендорфы и Берг — ученики школы колонновожатых. В армию они были все выпущены квартирными, в большинстве причислены к свите его величества или великого князя Константина, фактически же находились сначала при штабе 1-й армии, а затем при штабе Объединенной армии. Члена кружка Рамбурга А. Щербинина мы уже видели в штабе Кутузова в окружении типографии Кайсарова. При квартирмейстерской части свиты его величества, то есть при штабе армии, находились братья Меендорфы и Ренненкампф. Здесь их встречал, в начале кампании 1812 года, Н. Н. Муравьев, состоявший квартирмейстером при вел. кн. Константине Павловиче: «Когда мы стояли в Поликарпове, проез-

¹⁷ Записки Н. Н. Муравьева, «Русский архив», 1885, № 9, стр. 26.

¹⁸ С. Н. Чернов, У истоков русского освободительного движения, Саратов, изд. СГУ, 1960, стр. 24—25.

дом зашел к нам Егор Мейендорф, еще добрый петербургский товарищ, которого мы всегда любили <...> Мейендорф был человек благородный». ¹⁹

Конечно, на первом этапе войны, в бесконечных походах, утомительных особенно для квартирьеров, несших в те годы ответственную службу направления движения войсковых колонн, нельзя было и думать о возрождении дружеских собраний. Иная обстановка сложилась во время Тарутинского лагеря. Бывшие ученики школы колонновожатых, из которых многие были членами кружка Рамбурга, оказались собранными вместе. У нас нет никаких данных о том, что уже в этот период возник какой-либо определенный дружеский кружок, однако, контуры его, можно предположить, наметились уже в это время. По крайней мере, на следующем этапе войны мы можем наметить определенную организацию, включающую остатки и типографского кружка, и группы штабных квартирьеров. Речь идет о масонской ложе. Просматривая списки русских масонов, составленные по распоряжению правительства в 1822 году, можно выделить определенную группу лиц, сквозь туманные, порой нарочито завуалированные, показания которых проступают контуры походной масонской ложи, соприкасающейся как с квартирьерской частью, так и с типографским кружком.

Так, «барон Мейендорф 1-й» в 1822 году показал, что был членом ложи «бывшей в Познани, коей звания не помнит», ²⁰ Это, конечно, та же ложа, на которую указал в том же году подполковник «свиты его величества квартирмейстерской части» Гвоздев, свидетельствовавший в 1822 г., что «был принят в сообщество масонов за границей в походе, но ни к какой ложе собственно не принадлежал». ²¹

Показательно, что в дальнейшем Гвоздев оказался втянутым в орбиту тайных обществ. Он стал членом малоизученной полууправы Северного общества. О нем в «Алфавите декабристов» читаем: «Титов показал, что в ноябре 1825 года вовлек Гвоздева в свою полу-управу, исхитив у него слово на сочленство, при чем рассказал ему некоторые артикулы Общества, а именно: а) доставить государству конституцию, подобную Американским Штатам, б) освободить крестьян от рабства, с) с подчиненными обходиться сколь можно человеколюбивее, а с начальниками быть почтительно, d) итти с своей командою туда, куда будет приказано». ²² Последний пункт многозначителен.

¹⁹ Записки Н. Н. Муравьева, «Русский архив», 1885, № 10, стр. 232. Сохраняем, согласно источникам, колебание в написании фамилии (Мейендорф — Мейендорф).

²⁰ «Русская старина», 1907, июль, стр. 209.

²¹ Там же, август, стр. 406.

²² Восстание декабристов, материалы, т. VIII, Центрархив, Л., 1925, стр. 62—63.

Видимо, во время движения армии через Полоцк был принят в ложу Гинцель 1-й, которого, очевидно, следует отождествить с членом общества Рамбурга Гюнцелем. В момент, когда армия вступила в Кёльн, стал членом ложи другой участник кружка Рамбурга — Фрейганг.²³

Общество Меендорфа оформилось, по его показаниям, в 1813 г.; ложа при Главной квартире, видимо, тоже. По всей вероятности, именно ее следует отождествить с совершенно не изученной ложей «Св. Иоанна». Источники позволяют установить, что эта последняя проделала путь, совершенный русской армией во время похода во Францию. Майор Петкевич был принят в нее в Шамоне, Вальц — в Авене, Ревуцкий — в Нанси,²⁴ Габбе — в Валансьенне,²⁵ а Михайловский-Данилевский — в Париже.²⁶ Товарищем Михайловского-Данилевского по ложе был А. Щербинин.²⁷ В ложу «Святого Иоанна» вступил и будущий декабрист Н. Тургенев.²⁸ Щербинина приняли в ложу в том же Шамоне, что и Петкевича, в присутствии Н. Тургенева. В это время Николай Тургенев очень сблизился с А. И. Михайловским-Данилевским, А. А. Щербининым, П. А. Габбе.²⁹ Это были остатки того кружка, который в 1812 году группировался вокруг убитого позже друга Н. Тургенева — А. С. Кайсарова.

То, что в состав ложи, таким образом, входят бывшие члены кружка Рамбурга 1811 г., штабные офицеры и участники типографского кружка, а затем члены обществ Меендорфа и Н. Тургенева, позволяет установить определенную организационную преемственность. Конечно, не мистическое самоусовершенствование интересовало в масонстве молодых боевых офицеров, только что прошедших школу 1812 года. Это была уже готовая форма организации, с одной стороны, конспиративной, собирающейся в неофициальной обстановке, с другой — не вызывающей больших опасений у начальства и допускаемой воинской дисциплиной тех лет. Политическое свободолобие членов этой ложи очевидно: видимо, именно здесь Н. Тургенев провозгласил в 1813 г. «тост во здравие русских крестьян».³⁰ О на-

²³ «Русская старина», июнь, стр. 668. Не следует ли его отождествить с геттингенским приятелем А. С. Кайсарова, автором книги: Guillaume de Freygang, «Sur l'affranchissement des serfs», Goettingue?

²⁴ Там же, август, стр. 407, 412, 408.

²⁵ Там же, июль, стр. 202.

²⁶ Там же, стр. 199.

²⁷ См. письма А. Щербинина к А. И. Михайловскому-Данилевскому, «Русская старина», 1901, март, стр. 772—724.

²⁸ См. Декабрист Н. И. Тургенев, Письма к брату С. И. Тургеневу, изд. АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 129; Архив бр. Тургеньевых, вып. 3-й, СПб., 1913, стр. 299, 243.

²⁹ См. там же, стр. 314.

³⁰ Е. И. Тарасов, Декабрист Николай Иванович Тургенев в александровскую эпоху, Самара, изд. Самарского гос. университета, 1923, стр. 199.

строении других членов говорит их будущая судьба: Гвоздев стал декабристом, по приказу Николая I за ним был учрежден секретный надзор, а 6 ноября 1826 г. он был «предан военному суду».³¹ Габбе за организацию общества в л.-гв. Литовском полку и борьбу с вел. кн. Константином Павловичем был приговорен в 1822 г. к смертной казни, замененной разжалованием в солдаты. Не выдержал николаевских порядков и Гинцель: «В 1826 году командир резервной батарейной № 5 роты 12-й артиллерийской бригады подполковник Гинцель находился под судом за дерзость против г.-м. К<лейнмихе>ля, заключающуюся в том, что во время объяснений по службе с этим генералом после слова его: «молчать», сказал: «Видно, вас, г. К<лейнмихе>ль мало по р<оже> били». Необходимо учесть, что, креатура Аракчеева, Клейнмихель сразу же стал любимцем Николая I. Аудиторский департамент, учитывая «бытность в походах, сражениях и полученные им на войне раны», предлагал Гинцеля «написать в рядовые до выслуги», но Николай I распорядился «посадить на два года в крепость», а затем «отставить от службы».³²

Необходимо учесть и то, что вместе с армией ложа потом передислоцировалась в Нанси, именно туда, где, по неподдающимся пока проверке сведениям, Н. Тургенев и М. Орлов пытались в это время преобразовать масонскую ложу в революционное общество.³³ Не следует забывать, что и М. Орлов принадлежал к тому же штабному кругу и, в свое время, был связан с типографией А. С. Кайсарова.

При всей отрывочности этих данных они дают определенную перспективу кружку, возникшему в Тарутинском лагере и сплотившемуся вокруг типографии А. С. Кайсарова. Историческое развитие этого кружка вело его участников по направлению к ранним предекабристским организациям 1813—1815 годов.

Так изучение прогрессивного лагеря идеологической жизни 1812 года позволяет установить глубокие исторические корни декабристского движения и подкрепляет еще одной иллюстрацией знаменитую формулу М. Муравьева: «Мы были дети 12-го года».³⁴

³¹ Восстание декабристов, материалы, т. VIII, Центрархив, Л., 1925, стр. 63. О Габбе см.: Ю. М. Лотман, П. А. Вяземский и движение декабристов, Труды по русской и славянской филологии, т. III, Ученые записки ТГУ, вып. 98, Тарту, 1960; С. С. Ланда, О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816—1821 гг., Сб. «Пушкин и его время», вып. 1, Л., Изд. гос. Эрмитажа, 1962.

³² «Русская старина», 1882, апрель, стр. 279—280.

³³ E. Naumant, La culture française en Russie (1700—1900), Paris, 1910, стр. 571.

³⁴ «Русская старина», 1886, июль, стр. 159.

В. П. БОТКИН — ЛИТЕРАТОР И КРИТИК

Статья 1

Б. Ф. Егоров

Василий Петрович Боткин (1811—1869) свыше тридцати лет находился в самой гуще русской литературной жизни. Его дарили дружбой и любовью Белинский, Бакунин, Герцен, Грановский, Некрасов, Тургенев, Л. Толстой, Фет и много других писателей, ученых, деятелей искусства. Большинство из них считало Боткина лучшим ценителем своих произведений. Следовательно, он должен был обладать весьма незаурядными и разносторонними качествами, чтобы привлекать к себе внимание таких крупных и таких разных людей. Почти в каждом исследовании или воспоминаниях о литературе, искусстве и общественной жизни России 1830—1860-х гг. имя Боткина повторяется неоднократно. Иногда авторы считали даже необходимым отвлекаться от основной темы и посвящать ему особые разделы,¹ не говоря уже о том, что работы о писателях середины XIX века часто содержат целые главы о связях с Боткиным.² Однако специальных исследований о чем чрезвычайно мало. Из дореволюционного периода можно назвать лишь биографический очерк В. Е. Чешихина-Ветринского,³ который много фактов не знал, много напутал, но тем не менее создал первый труд о Боткине;

¹ См., например: Novus <П. Б. Струве>, Г. Чичерин и его обращение к прошлому, «Новое слово», 1897, кн. 7, апрель, стр. 50—61; А. А. Корнилов, Молодые годы Михаила Бакунина, М., 1915, стр. 511—557; Н. К. Пиксанов, Роман И. А. Гончарова «Обрыв», «Уч. зап. ЛГУ», сер. филол. наук, вып. 20, Л., 1954, стр. 244—251.

² Н. Гутьяр, И. С. Тургенев, Юрьев, 1907, стр. 285—300; В. Е. Евгеньев-Максимов, Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. 2, М.—Л., 1950, стр. 338—350.

³ Ч. Ветринский, В. П. Боткин, «Новое слово», 1894, № 12, стр. 39—107.

из советского — лишь статью Н. И. Пруцкова,⁴ где впервые собраны воедино и охарактеризованы высказывания Боткина о виднейших писателях его времени, а также в общих чертах прослежена эволюция общественно-политических и литературных взглядов Боткина; но в статье имеются упрощенные и ошибочные выводы, автор не использовал богатейших архивных материалов, не раскрыл облик критика во всей сложности.

В данной работе делается попытка впервые рассмотреть относительно полно творческий путь В. П. Боткина.

1.

Юность В. П. Боткина, старшего сына одного из крупнейших московских чаеоторговцев, была мало привлекательна: по окончании частного пансиона В. С. Кряжева⁵ (одной из лучших частных школ России) он оказался служащим в торговом «амбаре» у отца. Даже когда Василий Петрович стал известным литератором, членом кружка Белинского, он вынужден был просиживать в амбаре с 10 утра до 6 вечера. Когда подросли другие братья, Боткин уже мог чередоваться с ними в службе, но лишь в середине 1850-х гг., после смерти отца, он окончательно освободился от купеческих дел, полностью переверив торговлю «Боткин и сыновья» группе братьев. Самым младшим братьям и сестрам (у него было 8 братьев и 5 сестер) Василий Петрович постарался дать серьезное образование,⁶ да и сам «учился» всю жизнь. Приобретая в пансионе хорошие знания французского и немецкого (и частично английского) языков, он самостоятельно выучил итальянский и испанский, читал на этих языках художественную литературу, научные книги; освоил

⁴ Н. И. Пруцков, В. П. Боткин и литературно-общественное движение 40—60-х гг. XIX ст., «Уч. зап. Грознен. пед. ин-та», вып. 3, Грозный, 1947, стр. 49—148; в сокращенном и несколько измененном виде эта работа вошла в статью того же автора «Эстетическая критика», в кн.: «История русской критики», М.—Л., 1958, т. 1, стр. 444—469.

⁵ Характеристику В. С. Кряжева и его пансиона, а также библиографию темы см. в статье: М. П. Алексеев, Английский язык в России и русский язык в Англии, «Уч. зап. ЛГУ», сер. филол. наук, вып. 9, 1945, стр. 92.

⁶ Из них известны *Дмитрий* (1829—1889), коллекционер картин русских и западно-европейских художников (см. «Каталог картинам, составляющим собрание Д. П. Боткина», М., 1875; 2-е изд. — М., 1882; «Художественный журнал», 1885, Приложение: «Альбом галереи Д. П. Боткина»); *Сергей* (1832—1889), знаменитый врач; *Михаил* (1839—1914), академик живописи, автор книги «А. А. Иванов. Его жизнь и переписка», СПб., 1880, владелец крупнейшей в мире коллекции античного, византийского, древне-русского, готического и ренессансного прикладного искусства («Собрание М. П. Боткина» — «Художественные сокровища России», 1902, № 2, 3); *Мария* (1828—1894) была замужем за А. А. Фетом; *Анна* (1833—1910) — за П. Л. Никулиным, профессором Московского университета (медики), редактором «Журнала садоводства».

игру на скрипке, ноты, теорию музыки; до самой смерти изучал в подлинниках и по книгам историю мировой живописи и архитектуры. Среди товарищей Боткина были люди энциклопедических знаний — Герцен, Тургенев, — но по разносторонней эрудиции в сфере искусства (одновременно и литература, и музыка, и живопись) вряд ли кто мог с ним равняться.

В 1835 г. он впервые выехал за границу. Наверное, поводом к поездке послужили торговые чайные дела, которыми он занялся в Англии, но под этим предлогом он смог добиться у отца почти годового «отпуска» и побывать, помимо Англии, в Германии, Франции и Италии. В дальнейшем почти вся жизнь Боткина пройдет в разъездах. Начал он с торговых дел и с жажды знаний; к концу жизни часто причиной поездок стали тяжелые недуги, необходимость менять климат и выбирать лучших европейских врачей; но не в этом главное: иногда будучи весьма слабым, больным, он все же срывался с места и без особых внешних поводов ехал за границу, метался по Европе (или наоборот, от хороших врачей и курса лечения убегал в Россию) — и так до последних недель жизни. Опять же, ни один из друзей его, даже знаменитый своей непоседливостью Тургенев, не может с ним сравниться по количеству виденных стран и городов (Боткин ведь чуть ли не единственный из круга своих товарищей буквально обошел всю Италию, был в Испании и Марокко), разве что по «километражу» пути Тургенев обогнал его, да и то потому, что пережил Боткина на 14 лет.

Приводим для справок летопись странствий В. П. Боткина, составленную на основе печатных источников и неопубликованных писем (Дачная жизнь в пригородах особо не отмечается. Даты в России указываются по старому стилю, за границей — по новому. Приняты следующие сокращения: *к.* — конец, *н.* — начало, *о.* — около, *п.* — после, *пол.* — половина, *с.* — середина, *М.* — Москва, *СПб.* — Петербург): М. (н. 1835) — Лондон (до 11. III — о. к. III) — Париж—Бриг, Лаго-Маджоре, Милан, Падуя, Венеция, Рим (осень-зима 1835) — М. — Ниж. Новгород (VII—VIII. 1836) — М. (к. 1836—26. VII. 1837) — Ниж. Новгород (к. VII—VIII) — М. (к. VIII — 2. I. 1838) — Харьков (п. 3. I — н. II) — М. (н. II — до 1. VII) — Премухино (VII) — М. — Ниж. Новгород (до 2 — п. 17. VIII) — М. (к. VIII — 3. I. 1839) — Харьков (п. 6. I — н. II) — М. (о. 5. II — п. 8. VI) — Премухино (с. VI — ?) — М. — Ниж. Новгород (п. 20. VII — 29. VIII) — М. (30. VIII — 4. I. 1840) — Харьков (10 — о. 29. I) — М. (4. II — п. 11. VII) — Ниж. Новгород (VIII) — М. (к. VIII — 5. I. 1841) — Харьков (п. 6. I — до 7. II) — М. (8. II — о. 15. III) — СПб. (17—26. III) — М. (к. III — IV) — СПб. (1 пол. V?) — М. (до 17. V — о. 28. VII) — Ниж. Новгород — М. (до 16. VIII — 17. IX) — СПб. (о. 19. IX — о. 25.

XII) — М. (до 29. XII — о. 1. V . 1842) — СПб. (о. 4. V) — Павловск (V — VI) — СПб. (? — 9. VII) — Новгород (10. VII) — М. — СПб. (? — 6. XI) — М. (о. 9. XI — 20. VIII. 1843) — СПб. (о. 23. VПІ — 4. IX) — Гамбург (23. IX) — Франкфурт — Париж (X — п. 23. III. 1844) — Неаполь (V — п. 6. VI) — Рим (о. 21. VI — п. 5. VII) — Париж (до 6. VIII — 2 пол. VII. 1845) — Нант — Бордо (31. VII — 2. VIII) — Байона — Люз (3. VIII) — Байона (11. VIII) — Ирун (11. VIII) — Витория (11—12. VIII) — Бургос — Мадрид (VIII) — Аранхуэс — Кордова (IX) — Севилья — Кадис — Пуэрто-Санта-Мария — Херес — Кадис — Гибралтар — Тарифа — Танжер — Малага — Велес-Малага — Гранада — Альамбра (X) — ? — Париж (до 7. V. 1846 — ?) — Германия, область Рейна (с. VI — с. VII) — Тироль, Ломбардия (с. VII — с. VIII) — Венеция — Виченца (до 18 — о. 19. VIII) — Милан — Женева (10 — п. 14 X) — Париж — Берлин — СПб. (о. 30. X — I. 1847) — М. (I. 1847 — н. I. 1848) — СПб. (н. I — с. III) — М. (с. III — н. I. 1849) — СПб. (5. I — н. II) — М. (до 9. II — п. 15. VI) — Ниж. Новгород (?) — М. — СПб. (к. XII — п. 29. I. 1850) — М. (II. 1850 — о. 17. IV. 1851) — СПб. (о. 20. IV — п. 15. V) — М. (до 6. VI. 1851 — VI. 1854) — СПб. (2 пол. VI) — М. — СПб. (к. I. 1855 — 18. II) — М. (19. II — п. 12. III) — СПб. (до 2 — о. 5. IV) — М. (о. 6. IV — 10. V) — Спаское-Лутовиново (12. V — 1. VI) — М. (о. 4. VI — о. 12. VIII) — Ниж. Новгород (14 — о. 28. VIII) — М. (30. VIII — о. 13. X) — СПб. (о. 14. X — 10. XI) — М. (11. XI — ?) — СПб. (до 21. XII — п. 21. I. 1856) — М. (28. I — 1 пол. II) — СПб. (до 19. II — 13. III) — М. (14. III — н. VIII) — Ниж. Новгород (до 6 — о. 24. VIII) — М. (до 3. IX — о. 11. XI) — СПб. (до 15. XI — о. с. II. 1857) — М. (о. с. II — о. 15. IV) — Варшава (о. 21 — 23. IV) — Вена (8 — 11. V) — Лейбах — Триест — Венеция (14 — п. 20. V) — Падуа — Болонья — Флоренция (до 30. V — п. 4. VI) — Генуя — Турин (до 17 — о. 18. VI) — Женева — Кларан (до 22 — о. 25. VI) — Женева (25 — 26. VI) — Экс (о. 27. VI — п. 17. VII — Париж (25—27. VII) — Фекан — Диепп (28. VII — 26. VIII) — Париж (27. VIII — 17. X) — Марсель — Ницца (21. X) — Генуя (24 — 28 X) — Рим (30. X — о. 19. II. 1858) — Неаполь (о. 19. II — о. 7. III) — Рим (8 — 19. III) — Фолиньо — Монтефалио — Спелло — Ассиси — Перуджия — Орвиетто — Флоренция (30. III — п. 4. IV) — Равенна — Парма — Милан — Рива (20 — 21. IV) — Мюнхен (25. IV — о. 5. V) — Париж (8 — о. 17. V) — Лондон (о. 20. V — с. VII) — Вентнор, о-в Уайт (до 18. VII — 21. VIII) — Лондон (22 — о. 24. VIII) — Париж — Кельн — Дюссельдорф — Франкфурт (8 — 9. IX) — Мюнхен (3 дня) — Берлин (19 — до 22. IX) — Штеттин — СПб. (24. IX — о. 1. X) — М.

(?) — СПб. (до 29. X — о. 4. I. 1859) — М. (о. 5. I — н. II) — СПб. (с. II — п. 11. III) — М. (до 29. III — о. 21. VI) — СПб. (о. 22 — 29. VI) — Штеттин — Берлин — Брюссель — Кале — Лондон (18. VII — о. 1. VIII) — Вентнор (2. VIII — о. 16. IX) — Лондон (до 23. IX — ?) — Париж (до 18. X — п. 20. III. 1860) — Лондон (до 29. VI — о. 13. VIII) — о-в Уайт (15. VIII — о. с. IX) — Лондон — Париж — Флоренция (до 11. XI — о. 7. II. 1861) — Париж (до 18. II—VII) — Вилльнёв (VII) — Париж (VII — о. 23. II. 1862) — Средиземное море — Рим (н. III — к. IV) — Марсель (о. 5. V) — Париж (о. 6 — о. 15. V) — М. — Степановка, Орловской губ. (с. V — н. VII) — Спасское-Лутовиново — М. (9. VII — 11. VIII) — Польша — Берлин (о. 25. VIII — п. 16. IX) — Веймар — Франкфурт — Баден-Баден (до 28. IX — п. 7. X) — Париж (до 17. X — к. IV. 1863) — СПб. (о. 26. IV — о. 6. V) — М. (до 8. V — п. 9. VI) — Степановка (VI — VII) — М. (до 8. VIII — п. 15. X) — СПб. (до 10. XI — п. 17. I. 1864) — М. (2 пол. I) — СПб. (2. II — 3. III) — Варшава (12 дней) — Вена (о. 7. — 13. IV) — Триест — Венеция (о. 16. IV — ?) — Виченца — Париж (о. 13 — о. 24. V) — Баден — Франкфурт — Берлин (до 1 — п. 4. VI) — СПб. (26. V — п. 1. VI) — М. — Степановка (7 — 22. VI) — Тим (о. 24. VI — о. 6. VII) — Степановка (8. VII — о. 10. VIII) — Спасское-Лутовиново (11 — 12. VIII) — Ясная Поляна — М. — СПб. (до 1. IX — 26. IV. 1865) — М. (28. IV — 7. V) — Спасское-Лутовиново (8 — 9. V) — Степановка (о. 10. V — о. 10. VII) — Спасское-Лутовиново (о. 10 — 11. VII) — М. (о. 12 — о. 18. VII) — СПб. (19 — 29. VII) — Берлин (о. 5 — 11. VIII) — Франкфурт — Нюрнберг — Мюнхен — Инсбрук — Боцен — оз. Гарда — Милан — оз. Комо — Интерлакен (13. IX) — Веве — Женева — Париж (1 — к. X) — Баден — Берлин (о. 8 — о. 20. XI) — СПб. (11. XI — 11. V. 1866) — Варшава — Вена — Баден (до 20. VI — VII) — Париж — Трувиль (о. 1. VIII — о. 5. IX) — Париж (до 13. IX — о. 25. X) — Кельн — Берлин (о. 28. X — о. 2. XI) — СПб. (23. X. — к. I. 1867) — М. (к. I) — СПб. (н. II — н. III) — М. (8 — 11. III) — СПб. (о. 12. III. — о. 30. IV) — Берлин (о. 15 — о. 21. V) — Вена — Зальцбург (31. V — ?) — Мюнхен — Баден-Баден (5. VI — о. 20. VII) — Париж (о. 21 — о. 31. VII) — Диепп (1. VIII — н. IX) — Париж (о. 7. IX — о. 1. X) — Лондон (о. 3 — о. 5. X) — Париж (7. X — ?) — СПб. (до 27. XI — о. 7. IV. 1868) — Берлин — Висбаден (к. IV — с. V) — Баден (2 дня) — Висбаден (с. V — к. VI) — Эмс (к. VI — н. VII) — Висбаден (3 — о. 12. VII) — Эмс (с. VII — н. VIII) — Париж (н. VIII — п. 6. X) — Рим (до 28. X — п. 9. III. 1869) — о-в Исхия (до

30. V — о. 12. VI) — Рим (о. 15. VI — ?) — Франкфурт-на-Майне — Кобленц — Аахен (до 29. VII — о. 15. IX) — СПб. (15. IX — 10. X. 1869).

Очевидно, были глубокие внутренние причины, побуждавшие к «перемене мест». О них еще речь впереди.

О своем мировоззрении периода первой заграничной поездки Боткин писал А. А. Краевскому в марте 1842 г.: «Когда я приехал в Рим, мой образ мыслей находился под влиянием сен-симонизма: отсюда вам понятна будет и фатальность моего тогдашнего созерцания. Искусства я тогда не понимал, а впервые лишь почувствовал его в Италии, особенно в Риме».⁷ Эти сведения очень важные: ведь мы ничего не знаем о духовной жизни Боткина до 1835 года. Вероятно, под воздействием кого-либо из посетителей демократического «салона» Н. С. Селивановского,⁸ а, может быть, и самостоятельно Боткин вошел в круг идей сен-симонизма. Действительно, в очерке «Письмо из Италии. Рим» (см. № 38 росписи статей Боткина), хотя и помеченном 1841-м годом, но как указал сам Боткин в цитированном письме к Краевскому, написанном в основном в 1835 г., явно отразилось влияние великого утописта; очерк, собственно говоря, посвящен не столько Риму, сколько изложению учения сен-симонизма об исторической закономерности событий, о неизбежности разложения древнего Рима и победы христианской религии, проповедующей «царство духа». Идейная сердцевина очерка обрамлена романтическими описаниями красот Рима и окрестностей.⁹

Пребывание в Париже, отраженное в заметке «Русский в Париже» (см. № 1 росписи), также наложило отпечаток на настроение романтического путешественника. Его мысли постоянно возвращаются к французским революциям: «начиная говорить о Пале-Рояле, невольно думаю я о том времени, когда Камилл Демулен <...> заговорил народу на широком дворе его, «воображаю я бал, блестевший в июле 1830 г. в этом дворце <...> и мрачную толпу народа, глухо волнующуюся перед окнами дворца». «А сколько грустных и вместе важных мыслей возбуждает эта обширная площадь <...>; сколько крови разбрызгано по ней, сколько немых раскаяний некогда приняла

⁷ Отчет имп. Публичной библиотеки за 1889 год, СПб., 1893, Приложение, стр. 47.

⁸ О кружке Н. С. Селивановского как филиале надеждинского кружка см.: Ю. Г. Оксман. К истории работы Белинского в «Телескопе», «Уч. зап. СГУ», т. 31, Саратов, 1952, стр. 242—262.

⁹ С другой стороны, очерк Боткина имеет связь и с событиями 1842 года, являясь в некоторой степени параллелью к гоголевскому «Риму» (см. об этом ниже).

она, увенчанная гильотиною».¹⁰ Далее Боткин сочувственно отзывается о деятельности сен-симонистов, восторженно описывает Виктора Гюго, к которому он ходил на поклон. Общие выводы статьи о Париже: Франция находится в переходном состоянии, когда разрушается старое, а новое еще не создано, но народ «рвется, борется» за новое, поэтому французы так привлекательны для автора, и он их «не променяет» на коммерческих или праздных англичан и на немцев с «отвлеченными идеями».

С такими настроениями вернулся Боткин в Москву. В конце 1835 г. на вечере у Н. С. Селивановского произошло знакомство Боткина с Белинским, который ввел его в кружок Станкевича. «По рассказу М. П. Боткина, Белинский с первого раза сошелся с Боткиным; через несколько дней они были уже на «ты»».¹¹ Сам Белинский признавался Боткину несколько лет спустя: «с первого разу полюбил тебя страстно. Больше любить я не могу и не умею».¹² Вскоре Боткин становится одним из ближайших друзей Белинского и всего его окружения. В августе-сентябре 1836 г., когда Белинский гостил у Бакуниных в Премухине, Боткин заменял его в качестве рецензента текущей литературы в «Молве».

Восемнадцать рецензий, принадлежащих молодому критику, посвящены самым различным темам. Из них выделяется восторженный отзыв о Гофмане (№ 9 росписи), сопровождаемый возмущением в адрес переводчика: «Если бы даже русский язык был у вас столько русским, как у г. Полевого, столько гибким, как у г. Марлинского, и тогда не соблазняйтесь, и этого слишком мало! Чтобы переводить Гофмана, надо чувствовать так же, как он чувствовал, а для этого надо так же страдать, так же сумасбродить и быть готову так же умереть, как он страдал, сумасбродил и умер. На это вы верно не согласитесь? Так не беритесь же переводить Гофмана» (III, 158). Отдал дань Боткин и «торгово-промышленным» вопросам, в свете интересов своего сословия. Заметка «Письмо из Нижнего» (№ 2 росписи) полна «купеческого» пафоса вплоть до призывов завоевать

¹⁰ В. П. Боткин, Сочинения, т. I, СПб., 1890, стр. 3—4. Сочинения В. П. Боткина в трех томах (СПб., 1890—1893) содержат статьи, опубликованные в различных журналах, и, не считая некоторых ошибок, представляют их простую перепечатку. Для удобства сноска и ради экономии места все дальнейшие ссылки на статьи, вошедшие в «Сочинения», даются с указанием на последние. Чтобы при необходимости легко было отыскать журнальную публикацию, после названия статьи в скобках указывается номер росписи из «Библиографии трудов В. П. Боткина» (см. Приложение).

¹¹ А. Н. Пыпин, Белинский. Его жизнь и переписка, изд. 2, СПб., 1908, стр. 113—114.

¹² В. Г. Белинский, Полн. собр. соч. в 13 тт., изд. АН СССР, т. XI, М., 1956, стр. 355. Дальнейшие ссылки на это издание даются в тексте сокращенно, с указанием тома и страницы.

азиатские рынки. В рецензиях на отчеты о Царскосельской железной дороге (№№ 3 и 18 росписи) критик подчеркивает всю важность железнодорожного строительства в России, особенно акцентируя необходимость пути Москва-Коломна (московское купечество, тесно связанное с Нижегородской ярмаркой и вообще с восточными торговыми линиями, было кровно заинтересовано в удобнейшем сообщении с окско-волжским водным путем). Боткин неоднократно жаловался друзьям, что ему претит торговый дух, что ему смертельно надоело заниматься делами отцовской фирмы и т. д. В этом была большая доля истины: по складу характера и по склонностям Боткин мало подходил к купеческой деятельности. Однако до конца дней своих он сохранял живой интерес к денежному балансу фирмы, к событиям в чаеоторговом мире. И любопытно, что даже в самый «романтический» период жизни он не забывал о промышленности и торговле.

Как и Белинский, Боткин попал под сильное влияние М. Бакунина. Естественно, он принял посильное участие и в известном споре Бакунина и Белинского в 1838 году.¹³ Эта история показала одно из характерных свойств Боткина: уклончивость, стремление занять «золотую середину» и быть хорошим для всех. В течение целого года (с лета 1837 г. по весну 1838) Боткин колеблется между спорящими, принимая сторону то одного, то другого. 30 апреля 1838 г., после того, как Бакунин обозвал его «лживым и гадким человеком», Боткин, наконец, приготовился порвать с ним, но тут же сопроводил письмо множеством оговорок: «я во многом был совершенно виноват и виноват гнусным образом перед тобою. Ты же меня не оскорбил ничем <...> Ты в душе занимаешь у меня широкое место».¹⁴ Когда же Бакунин стал настаивать на разрыве отношений, то Боткин пошел на попятную и начал объясняться в любви: «теперь чувствую, что связан с тобой навек неразрывными узами».¹⁵ Белинский совершенно верно нарисовал картину идеологической борьбы с Бакуниным: «мы с Боткиным сражались с ним остервененно, он защищался недобросовестно, Боткин стал утихать, а я все больше и больше ярился» (XI, 389). Безграничная деспотичная авторитарность, так характерная для Бакунина, в случае с Боткиным одержала полную победу: Боткин сдался и преклонился перед «учителем» (впрочем, капитуляция Боткина объясняется не только его идеологической шаткостью, но и влюбленностью в сестру М. Бакунина Александру Алек-

¹³ Спор шел, главным образом, о призвании человека (философское «наполнение» или «конечная», практическая деятельность).

См. В. Г. Березина, Белинский и Бакунин в 1830-е годы, «Уч. зап. ЛГУ», сер. филол. наук, вып. 17, 1952, стр. 34—86.

¹⁴ Там же, стр. 55.

¹⁵ Там же. Письмо от 9. V. 1838.

сандровну). Летом 1838 г. Бакунин пригласил Боткина в Премухино и там, очевидно, «воспитание» продолжалось. Одержимый гегельянством, Бакунин обратил в свою «веру» и Боткина (как несколько ранее — Белинского). 15 октября 1838 г. Боткин писал Бакунину: «с тобою слито мое перерождение, <...> через тебя *первого* узнал я те идеи, от которых спала повязка с моих глаз и я вошел в свободную сферу бытия, где в первый раз свободно и легко вздохнул мой дух».¹⁶ В том же письме Боткин признавался в любви: «ни с кем из близких ко мне не желал я так дружбы, как с тобою и никого из близких ко мне так не любил я, как тебя»¹⁷ (что впрочем не мешало ему одновременно писать Н. В. Станкевичу: «никогда и ни с кем не желал я дружбы, как с тобой <...> никого еще я так не любил, как тебя люблю»¹⁸).

В течение 1838—1839 гг. Боткин довольно активно сотрудничает в журнале Белинского «Московский наблюдатель». Эстетические воззрения его той поры представляют собой сложный сплав гегелевских идей с романтизмом Гофмановского толка. «Сен-симонизм» и вообще политические, социальные интересы пока отходят на второй план. Собственно говоря, «Эстетику» Гегеля в подлиннике Боткин начал изучать лишь во второй половине 1839 года¹⁹, а до этого времени основным источником для него был труд Рётшера «Abhandlungen zur Philosophie der Kunst» (Берлин, 1837).²⁰ Рётшер был очень популярен в кругу

¹⁶ А. А. Корнилов, Молодые годы М. Бакунина, М., 1915, стр. 515.

¹⁷ В. Г. Березина, ук. соч., стр. 71. Некоторые неточности исправлены по подлиннику (ИРЛИ, ф. 16, оп. 9, № 23, л. 32 об.).

¹⁸ Отдел писем, источников ГИМ, ф. 351, № 57, л. 1.

¹⁹ В письме к М. Бакунину от 14. X. 1839: «Понемного читаю Эстетику» (ИРЛИ, ф. 16, оп. 9, № 23, л. 49 об.). Изучение «Эстетики» началось под влиянием не только Бакунина, но и Станкевича, который в 1839 г. дважды обращал внимание Боткина на этот труд Гегеля (Н. В. Станкевич, Переписка, М., 1914, стр. 492—493, 495).

²⁰ Наверное, именно Боткин знакомил Белинского с трудами Рётшера. Наверняка пересказал он также Белинскому содержание книги другого гегельянца, Г.-О. Марбаха, «Ueber moderne Literatur. In Briefen an eine Dame» (Лейпциг, 1836), которую он очень ценил (ср. в письме Белинского к Бакунину от 1. XI. 1837: «Боткин переводит Марбаха и в упоении от него» — XI, 189—190). Интересно, что часть девятого письма книги Марбаха называется «Menzel gegen Goethe» и посвящена резкой критике Менцеля и защите Гёте с позиций гегелевской эстетики (стр. 113—119). Вполне возможно, что два года спустя Белинский вспоминал об этих страницах, когда писал «Менцель-критик Гёте».

Тема «Боткин о Гегеле» еще ждет своего исследователя. Даже в новейшем труде, где подробно (хотя и не всегда точно) рассматривается гегельянство Белинского, Герцена, Бакунина, славянофилов, Боткину не посвящено не только отдельной главы, но даже нескольких строк (Dm. Tschizewskij, Hegel in Rußland; в кн.: Hegel bei den Slaven. Herausgegeben von D. Tschizewskij, 2-te, verbesserte Aufgabe, Bad Homburg vor der Höhe, 1961, SS. 145—396).

Бакунина-Белинского как интерпретатор гегелевской эстетики (в «Московском наблюдателе», 1838 г., ч. XVII, опубликован перевод первой части названной книги, сделанный М. Катковым). Подобно Белинскому, излагавшему идеи Рётшера во многих своих статьях «примирительного» периода, Боткин в рецензии на оперу Мейербера «Роберт-дьявол» (№ 26 росписи) подчеркивает, что художественное произведение «существует само по себе и для себя, как совершенно отдельное и полное», что лишь «глубокий» взгляд способен «проникнуться единством мысли и бесконечною ее организацией» и понять «главную идею целого создания, ее развитие в каждом лице, положении» (III, 32—33). Поэтому Боткин резко критикует пианиста Майера (№ 21 росписи) за поверхностность, технический «фейерверк» вместо глубокого проникновения в идейную сущность произведения (III, 23—24). И как Белинский, Боткин проповедует в это время избранничество художника, доступность его творений лишь для избранных, постигших «абсолютное» и «бесконечное» (III, 25; № 22 росписи). Те же художники, которые «погружают» душу человека не в «бесконечность», а в «созерцание своего маленького я», ничего не могут дать кроме «сентиментальности»; но именно этим они вызывают восторг непосвященной «толпы»: характер «всей новейшей итальянской музыки состоит из каприза и чувственности с примесью сентиментальности — и вот причина всеобщего ее успеха» (III, 26). Наоборот, немецкая музыка, особенно Бетховен, — зовет нас «к бесконечному» (III, 26).

Но в отличие от Белинского, Боткин продолжает оставаться восторженным поклонником романтизма, особенно Гофмана. Белинский в свой «примирительный» период ценил Гофмана лишь как сторонника «искусства для искусства» и «бесконечного», фантастическое же у него — называл «болезнью духа», «жизнью призрачной» (XI, 204). А Боткин принимал всего Гофмана, недаром он перевел для «Московского наблюдателя» его «Дон-Жуана» и — сокращенно — «Крейслериану» (№№ 23 и 27 росписи). Этим же, вероятно, объясняется преклонение Боткина перед Мейербером, особенно перед «Робертом-дьяволом», «единственным современным великим произведением музыки», «созданием гениальным и могучим»²¹ (III, 32, 33); критик подчеркивает именно фантастику, мистику оперы: «Магическое царство фантастического объемлет вас; чувствуется религиозное веяние средних веков» (III, 33). Романтическим восторгом перед

²¹ Под прямым воздействием Боткина формировались музыкальные вкусы Белинского (см. Ю. Кремлев, Русская мысль о музыке, т. I, Л., 1954, стр. 12, 136—139). Поэтому в числе немногих музыкальных пьес, любимых Белинским, мемуаристы (И. С. Тургенев, Н. Н. Тютчев) называли арии из «Роберта-дьявола» (см. В. Г. Белинский в воспоминаниях современников, М., 1962, стр. 500, 531).

итальянским средневековым проникнут и очерк «Отрывки из дорожных заметок по Италии» (№ 28 росписи). Хотя здесь описано путешествие 1835 года, но настроения Боткина 1838 г. отражены более заметно (впрочем, в письме Краевскому, цитированному выше, Боткин признался, что именно в Италии он от сенсимонизма стал переходить в сферы «искусства»). Но период «чистого искусства» у Боткина, как и у Белинского, продолжался недолго.

Как уже говорилось, заслугой Бакунина той поры было приобщение своих друзей к учению Гегеля. Боткин проникся идеями гегелизма позднее, чем Белинский, но он имел перед товарищем то преимущество, что сразу же начал читать в подлиннике труды Гегеля, а также обширную полемику, которая разгорелась в конце 1830-х гг. в Германии между левыми гегельянами и консервативным лагерем. Боткин несколько месяцев спустя стал уже горячим поклонником прогрессивных учеников великого философа. В письмах к Бакуниным конца 1838—1839 гг. он много говорит о прочитанной литературе, знакомит адресатов, живших в деревне, с новинками немецкой публицистической и философской мысли. Привожу наиболее ценные отрывки:

«Кельнское событие, о котором мы уже много говорили, имело важные следствия. Великая польза его была та, что оно показало учение Гегеля во всей его мировой законности и лучезарном свете, оно дало повод ввести его в полемику и следовательно популярно изложить его идеи о религии, государстве и взаимных отношениях их. Но всего важнее то, что эта полемика обнаружила людей, которые выдавали себя за гегелистов — и несколько ими не были. Ожесточение довело этих людей до тупости. И кто бы поверил, что между ними играет главную роль ученый глубокомысленный — Лео! Оказалось, что Лео — мистик! Впрочем, это видно из его «Истории». Да, он не постыдился написать брошюрку, в которой обвиняет последователей Гегеля — в чем бы ты думал? — В революционизме, безбожии, отвержении Христа и бессмертия души. Да — более — ругается самыми скверными словами, — просто донос. Между прочими отвечал ему Марбах. Какой ответ! Я читал его — и эти минуты счастливейшие в жизни моей. У меня он есть <...> Шаллер написал против Штраусовой книги брошюру «Der historische Christus». — Превосходная вещь». ²² «Посылаю тебе стихи ²³, которые очень поразили меня и заставили много думать. В них есть истина. и истина глубокая. <...> Они из книги «Gedan-

²² ИРЛИ, ф. 16, оп. 9, № 23, л. 36 об. Письмо к М. Бакунину от 29 XII. 1838.

²³ К сожалению, стихи не сохранились в пачке писем Боткина к Бакунину.

ken über den Tod und Unsterblichkeit, aus den Papieren eines Denkers», von Ludwig Feuerbach. Я выписал их из характеристики Фейербаха, напечатанной в книге «Lehrbuch der Literatur». Замечательно, что Фейербах сам принадлежал к пиетистам, но, проживши несколько лет в Берлине, изучая философию Гегеля, сделался жарким последователем его. В «Галльских Jahrbücher» Гинрихс защищает Гегеля от Михеле (в его «Истор<ии> фило-
лос<офии>») — но слабо». ²⁴

«Читаю Штрауса «Ueber Vergängliches und Bleibendes in Christenthum». Это его последнее слово — слово мира его врагам. Здесь он решительно отвлекает личность Христа от всего сверхъестественного и чудесного. Теряет ли Христос для нас свое значение? Колеблется ли вера наша в него? Нет, напротив. Пусть воскресение останется одним таинственным глубоким мифом, пусть чудеса перейдут в естественное, но необыкновенное, разве личность Христа что-нибудь потеряет от этого? Разве для нас нужно что другое, внешнее, кроме жизни, одной жизни его?» ²⁵

Ср. в письме к Н. В. Станкевичу от 13. XII. 1838: «Из всего, вызванного клеветами Лео, я читал только брошюрку Марбаха «Aufruf an das protestantischen Deutschland etc.». Превосходная вещь, хотя тут еще только вступление. Что за народ эти молодые гегелисты! — а Лео просто сошел с ума». ²⁶

Таким образом Боткин из области «чистого искусства» снова перешел в сферу живых, злободневных политических и философских проблем. Как видно из приведенных отрывков, Боткин вместе с друзьями следил за самым зарождением левогегельянского движения. Речь идет о следующем. Протестантское прусское правительство активно притесняло своего противника, кельнского католического архиепископа Клементия-Августа (барона фон Дросте цу Фишеринг), вплоть до заключения его в 1837 г. в крепость. В защиту католичества выступил мюнхенский профессор Я. Гёррес («Athanasius», Regensburg, 1837), в свою очередь подвергшийся нападкам реакционного протестантского деятеля Генриха Лео («Sendschreiben an Görres», Halle, 1838). Тогда-то и прозвучал голос представителя левых гегельянцев: Арнольд Руге в организованной им ежедневной газете «Hallische Jahrbücher» обрушился и на Гёрреса, и на Лео, как на мракобесов и врагов рационализма. ²⁷ В ответ Лео написал

²⁴ Там же, л. 29. Частично опубликовано: А. А. Корнилов, ук. соч., стр. 525. Письмо к М. Бакунину от 19. VII. 1839.

²⁵ А. А. Корнилов, ук. соч., стр. 533. Письмо к А. А. Бакуниной от 15. IX. 1839.

²⁶ Отдел писем. источников ГИМ, ф. 345, № 2, л. 46. Частично опубликовано: «Лит. наследство», т. 56, М., 1950, стр. 120.

²⁷ A. Ruge, Sendschreiben an J. Görres von Heinrich Leo, «Hallische Jahrbücher», 1833, №№ 147—151; 20—25. VI, Sp. 1169—1204.

брошюру «Hegelingen» (Галле, 1838), настоящий донос на «младогегельянскую банду», якобы призывающую к революции и атеизму. А. Руге²⁸ и Г.-О. Марбах отвечали Лео с позиций либерального свободомыслия. Из контекста писем Боткина видно, что все его симпатии на стороне левых гегельянцев. Отношение же к реакционным «пиетистам» Лео, Гинрихсу,²⁹ Геше-лю явно отрицательное.

Изучал Боткин и левогегельянскую литературу о происхождении христианства. Очевидно, он знал и центральное произведение на эту тему — «Жизнь Иисуса» Д. Штрауса (1-е изд. — Тюбинген, 1835), если в цитированных письмах излагал продолжение полемики. Видно, как углублялись познания и мировоззрение Боткина: в 1838 г. он еще превозносит антиштраусовскую книгу умеренного гегельянца Ю. Шаллера,³⁰ пытавшегося примирить философию с религией, а год спустя хвалит новый труд Д. Штрауса³¹ и подчеркивает не божественный, а «земной», человеческий характер личности Христа, чем в корне разрушались официальные догматы церкви о чудесном происхождении «сына божьего».

Известно, однако, что ранние левогегельянцы, радикализируя выводы философской системы своего учителя и конструируя социально-политические идеалы не на основе реальных закономерностей, а в утопическом плане, в значительной степени отходили от объективных принципов, и их субъективные желания часто выливались в субъективистских формах. Элементы политического романтизма вполне понятны поэтому и в кругу друзей Белинского, когда они аналогично (параллельно и под влиянием) левогегельянцам стали избавляться от крайностей «объективной» философии. А так как Боткин и в свой правовемерно гегелевский период не мог избавиться от романтического мышления, то эволюция гегелевской школы пришлась ему особенно по душе.

Интенсивная духовная жизнь Боткина 1838—1840 гг. в небольшой степени связана с чрезвычайно бурными перипетиями в

²⁸ A. Ruge, Die Denunciation der hallischen Jahrbücher, *ibid.*, №№ 179—180, 27—28. VII, Sp. 1425—1440.

²⁹ Речь идет о статье: Hinrichs, Die Fragen der Gegenwart und Prof. Michelet's Geschichte der letzten Systeme («Hallische Jahrbücher», 1839, №№ 58—60, 8—11. III, Sp. 457—476). Книга К.-Л. Михеле: «Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel», Theile 1—2, Berlin, 1837—1838. Первая рецензия Гинрихса на эту книгу была опубликована несколько ранее («Hallische Jahrbücher», 1838, №№ 299—302, 14—18. XII, Sp. 2385—2416).

³⁰ J. Schaller, Der historische Christus und die Philosophie. Kritik der Grundidee des Werks «Das Leben Jesu» von Dr D. F. Strauss, Leipzig, 1838.

³¹ D. Strauß Ueber Vergängliches und Bleibendes im Christenthum, Altona, 1839.

его судьбе. В течение этих трех лет сложными зигзагами развивалась его любовь к А. А. Бакуниной, измотавшая его до предела (мнительный Боткин постоянно сомневался в искренности признаний и глубине чувства А. А. Бакуниной; к этому прибавились волнения из-за резко отрицательного отношения родителей девушки к возможному мезальянсу с «купцом»; друзья, особенно Т. Н. Грановский, убеждали Боткина в необходимости похитить невесту и тайно обвенчаться, но нерешительный жених не согласился; история закончилась его отказом от любви и от брака).³² Очень напряженны в связи с этим были его взаимоотношения с М. Бакуниным. Но особенно острые конфликты возникали у Боткина с Белинским. Они начались еще в мае 1838 г. в связи со спорами Белинского и Бакунина, некоторое улучшение отношений сменилось в конце года враждебностью (в основном из-за материальной зависимости Белинского от Боткина), в феврале 1839 г. наступило перемирие, но весной произошла новая вспышка, чуть не приведшая к окончательному разрыву (поводом послужила история неудачной любви Белинского к А. М. Щепкиной, в которой он вел себя довольно «дико», но немалую роль сыграли, наверное, идейные разногласия: именно весной 1839 г. Боткин под влиянием передовых философских и политических идей стал менять свои литературные взгляды). И лишь летом 1839 г. совершилось примирение: в середине сентября Белинский даже переехал к Боткину и жил у него свыше месяца, вплоть до отъезда в Петербург.³³

Напряженнейшее нервное состояние, постоянные размолвки с близкими и примирения, сопровождаемые философскими спорами и объяснениями, способствовали интенсивной эволюции мировоззрения. Но философско-политический радикализм Боткина не мгновенно и не просто отразился в его эстетической системе. Первой ступенькой к новому этапу стало усиленное внимание к Шиллеру весной 1839 года. Боткин писал М. Бакунину по поводу чтения Шекспира: «чем более я погружался в Шекспира и в бесконечную организацию его индивидуальных характеров, в его божественное созерцание человека и гражданской действительности — тем величественнее возносилась передо мною идеальная действительность Шиллера. Чтоб истинно понимать Шекспира, надо пройти чрез Шиллера. Один заставляет видеть бесконечное в червяке и мельчайшем листике, другой разворачивает картину человечества и заставляет жить в нем и сочувствовать его вечным интересам, — один заставляет думать человека о судьбе земного его странствия, — другой говорит: *Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude* — облагораживает

³² Подробно см. А. А. Корнилов, ук. соч., стр. 511—557.

³³ См. Белинский, XI, 355, 390, 402, 404; А. А. Корнилов, ук. соч., стр. 518, 519, 523.

его и очищает от мелкой ежедневности. Шекспир, словно нарочно, окружает человека всею самою обыкновенною ежедневностью для того, чтоб просветить ее незаходимым светом своей всемогущей и неистощимой поэзии, — Шиллер указывает на человека как на духа [не зависящего от обстоятельств, времени]. вознесенного надо всем земным, индивидуального не как характер, а как бессмертная личность; как самостоятельное, свободное Я. Отсюда вытекает у Шиллера частая вражда противу существующего порядка, противу общества». ³⁴

Пристрастие к романтизму, усиленное левогегельянскими идеями, естественно, вело Боткина к пропаганде «свободного Я» и «вражды противу существующего порядка» (и это в самый разгар «примирительного» периода Белинского!). Однако на полях того же письма к М. Бакунину Боткин сделал следующую приписку: «Но Шиллер не драматик. То, что всякий человек, даже стоящий на последней степени сознания — есть мистерия, — это ни у кого так мистически ясно не представляется, как у Шекспира. Поэтому-то Шекс<пир> и божественнее». ³⁵ Следовательно, божественное (только не в гегелевской, а в романтико-мистической интерпретации) господствует над субъектом; человек — лишь воплощение религиозного таинства. Вообще, и у Шекспира, и у Шиллера подчеркивается «бесконечное», «вечное», очищенное «от мелкой ежедневности».

Следующий шаг — статья «Итальянская и германская музыка» (№ 30 росписи). Впрочем уже год назад, в конце 1838 г. Боткин изменил свое отношение к итальянской школе в музыке. Он писал Станкевичу 13 декабря: «Я с итальянской музыкой помирился и понял, что она такое, и теперь даже люблю ее». ³⁶ В статье же содержится робкая попытка реабилитировать простое, естественное, «земное» начало, воплощением которого и является итальянская музыка; она представляет собой, подчеркивает Боткин, «любовь в ее земном, страстном, увлекательном явлении. Это трепет сердца, жаждущего чувственной любви» (III, 40). Здесь — защита не только «плотского», но и индивидуального начала: недаром Боткин отмечает, что подобная музыка исполняется с помощью человеческого голоса, в то время как «духовная» музыка — инструментальная, т. е. обычно связанная с оркестром. Но для «естественности» «не разверзалось еще царство духа», ей «чужды высшие стремления, предощущения вечного и абсолютного чувства» (III, 36). Иными словами, это — явление низшего порядка. А высшее — «идеальное,

³⁴ ИРЛИ, ф. 16, оп. 9, № 23, л. 21 об. Письмо от 10. IV. 1839.

³⁵ Там же, л. 21.

³⁶ Отдел письм. источников ГИМ, ф. 345, № 2, л. 46.

духовное, романтическое», воплощенное в германской музыке, особенно в ее вершине — в творчестве Бетховена, где наиболее полно проявился «абсолютный дух» (III, 41).

Таким образом, в целом Боткин еще находился в плену тех выводов из гегелевской эстетики (в интерпретации Рётшера), которые владели и Белинским «примирительного» периода. Интересен следующий факт. В письме к Белинскому от 9—12. II. 1840 Боткин одновременно отзывается о двух статьях: об «Очерках Бородинского сражения» Ф. Глинки и «Менцель — критик Гете». Как известно, первая — преимущественно политическая, вторая — теоретико-литературная. И вот о первой Боткин говорит весьма прохладно: «Ужасно скучно, — есть несколько страниц прекрасных, — но в целом чрезвычайно апатическое произведение, — да вышло так, что я не мог дочитать ее. Да и напрасно ты взялся за предмет, в котором ты так не свободен».³⁷ Вряд ли Боткин боялся высказаться откровенно: просто он сам еще толком не понимал, в чем причина «апатичности» и скуки, но он ясно почувствовал скованность, «несвободу» статьи. Зато программу воинствующего идеализма и «чистого искусства», статью о Менцеле, он принял восторженно: «одна из самых живых, одушевленных статей, какие я когда-либо читал».³⁸

Но при политическом и философском радикализме такой «диапазон» долго существовать не мог. Не обошлось без влияния Белинского, на которого значительно сильнее, чем на Боткина труды левых гегельянцев, подействовал переезд в Петербург.³⁹ Очутившись в столице, в центре кричащих противоречий николаевской России, Белинский очень быстро стал освобождаться от «примирительных» идей. Первоначально это выразилось в сомнениях во всемогуществе и правомочности «объективного», в постепенно растущем внимании и симпатии к личности. Этим и объясняется на первый взгляд странное (и обычно стыдливо замалчиваемое в исследованиях о критике) обращение Белинского к христианству в начале 1840 года: суть дела в том, что неудовлетворенный гегельянским растворением личности в общем, Белинский ищет ответа у религии, он готов дойти до признания *личного* бессмертия: «Мысли мои об Unster-

³⁷ В. Г. Белинский, Письма т. II, СПб., 1914, стр. 383.

³⁸ Там же, стр. 384.

³⁹ П. В. Анненков утверждал, что Боткин в июне 1840 года предвидел эволюцию Белинского к политическому радикализму, и вкладывал в уста Боткина следующую фразу «он <Белинский> не нашел у них <французов> ни художественности, ни чистого творчества и за это объявил им непримиримую вражду, а между тем без знания их политической пропаганды о них и судить не следует. Ваш Петербург принесет Белинскому большую пользу в этом отношении: он непременно изменит его взгляд на французов» (П. В. Анненков, Литературные воспоминания, М., 1960, стр. 183).

blichkeit снова перевернулись: П<етербург> имеет необыкновенное свойство обращать к христианству <...> Нет, объективный мир — страшен» (XI, 441; письмо к Боткину от 3. II. 1840). Очевидно, духовное развитие Боткина протекало сходным образом, и он полностью согласился с Белинским, что видно из ответного письма последнего от 1. III. 1840 (письмо Боткина, к сожалению, не дошло до нас): «Что друг? ты уж говоришь, что лучше пиетизм, чем пантеистические построения о бессмертии? Я сам то же думаю. Для меня евангелие — абсолютная истина, а бессмертие индивидуального духа есть основной его камень <...> Да, надо читать чаще евангелие — только от него и можно ожидать полного утешения» (XI, 476).

Характерно, что в это время Боткин быстро стал стремиться к сближению (и довольно прямолинейному) своих радикальных воззрений с эстетической системой, даже «опережая» Белинского. Так Боткин выразил неудовлетворенность мировоззрением Пушкина (очевидно, за недостаточное знакомство с современной немецкой философией?) — и получил нагоняй от Белинского: «А о Пушкине ты врешь, хотя, по своему обыкновению, и мило врешь. Шекспир не знал новейшей германской рефлексии, но миросозерцание его от того не пострадало <...> Нет, Б<откин>, надо радоваться, что ядовитое дыхание рефлексии (ядовитое для поэзии) не коснулось Пушкина и тем не отняло у человечества великого художника» (XI, 473; письмо от 1. III. 1840).

В этом же письме Белинский распек Боткина за Лермонтова: «Как <...> — «На смерть Одоевского» тебе больше нравится, чем «Терек»? Сие мнение, о Боткин! — если бы ты его напечатал, — я бы печатно отрекся даже от того, что когда-либо где встречал тебя» (XI, 474). Значит, Боткин предпочитал стихотворение, посвященное памяти декабриста, а Белинский — «безыдейное».

2.

Дальнейшее развитие взглядов друзей шло не менее остро. К середине 1840 г. Белинский находился в чрезвычайно напряженном состоянии. Его трезвая натура не могла долго оставаться на религиозном фундаменте, и он все переворачивает вновь: он уже не может *верить* в личное бессмертие, но и в действительности не находит ничего утешительного, ибо все — призрак, «все — *дым*» (XI, 555); «Я не сойду, не помирюсь с пошлою действительностью, но счастья жду от одних фантазий и только в них бываю счастлив» (XI, 559; цитаты из писем к Боткину от 5. IX и 4. X. 1840). Боткин же, как можно судить по письмам Белинского, именно в этот период подходил к «действитель-

ности», «естественности», «простому» (впрочем Белинский в письме от 25. X. 1840 сам уже ратует за действительность и практический мир). Большой интерес в этом отношении представляет письмо Боткина к К. А. Горбунову от 4. XI. 1840: «То, что вы пишете о Теньере — справедливо; отрадно смотреть на его картины. Мне кажется, различие между миром Теньера и миром, раскрытым итальянскими мастерами — вот такая: один преобразует человеческую природу в ее вседневных явлениях, в которых она всегда себе равна, последовательна, это жизнь, которой не коснулись ни сильные страсти, ни глубокие душевные порывы, ни развитие духовное; итальянцы раскрыли идеальное значение человеческой природы, показали ее в ее высших явлениях — в цвете жизни, когда душа овладевает телом и весь человек преобразуется в одно чувство. Оттого в Теньере и проч. изучаешь истину, простоту, естественность положений, драматизм лиц и характеров, чудесную жизнь, разлитую во всех сценах; в итальянских мастерах изучаешь величие человеческой природы. В Теньере едва ли можно отрешиться от художника, невольно дивишься искусству его, — перед итальянцами забываешь и художника, и живопись, и утопаешь в созерцании. Вы говорите, что многие называют род Теньера карикатурным, — эти люди — идеальные шуты, они не понимают, что сфера искусства так обширна, что вся жизнь с ее разнообразными явлениями может поместиться там. Для меня эти сцены простой жизни, часто смешной в ее простодушной важности, — веют неизъяснимым добродушием, теплотою, наивностью ощущений. Конечно, это мир, погруженный в свою материальную действительность, чуждый отблеска высших элементов природы человеческой, — но тем не менее это жизнь, имеющая свои радости, печали, свою степень идеального, высокого — это простые, добрые люди, мир которых так прост <...> Теньер — драматик, но для того, чтобы почувствовать это, надо отдаться ему с простым чувством, без всяких идеальных, заученных и напряженных требований, которые никогда не доведут до смысла в искусстве. «Живописец» Полевого — образчик этого ходульного, напыщенного направления, особенно царствующего между идеально-фразистым юношеством».⁴⁰

Здесь антитеза «Тенирс — итальянские художники Возрождения» очень напоминает противопоставление итальянской и германской музыки, но там Боткин отдавал явное преимущество «абсолютному духу», здесь же, наоборот, полностью реабилити-

⁴⁰ ИРЛИ, 9183. LI 6. 56, лл. 4—5. Ср. обзор темы «Тенирс и Россия» (до революции произносили и писали «Теньер») в статье: Вл. Данилов, Теньер в русской литературе, «Русский архив», 1915, № 2, стр. 164—168.

лится естественность, повседневность, как совершенно равноправный объект искусства наряду с «идеальными» явлениями.⁴¹

Соотношение позиций Белинского и Боткина в конце 1840 — начале 1841 гг. стало на грани парадокса. Белинский призывал товарища «войти, сколько возможно, в интересы мира положительного и практического» (XI, 562), чему тот и последовал,⁴² а сам же (Белинский) все больше проникался высоким гражданским пафосом, стал глашатаем прав личности, поклонником Шиллера, «юной Германии», французской революции, поэтому в его мировоззрении сложно сочеталась «действительность» с утопическими и романтическими идеалами (в реальных русских условиях начала 1840-х гг. не было революционных сил!). «Практичность» же Боткина тяготела не только к реалистическим суждениям, но и к буржуазной умеренности. И оказывалось, что оценка Боткиным каких-либо литературных явлений была более трезвой: например, лишь под влиянием Боткина Белинский понял ошибочность своих восторгов по поводу субъективно-идеалистической статьи М. Каткова о С. Толстой (Белинский, XII, 11), — но зато Белинский никак не мог согласиться с отрицательным отношением Боткина к «Запискам одного молодого человека» Герцена (XII, 17), к эмигрантской деятельности Гейне (XII, 17); только разозлить Белинского могли попытки Боткина защищать Н. Полевого (XII, 10).

Однако гибкий ум Боткина не мог не испытывать влияния Белинского. Этому способствовал еще прочный романтический фундамент идей Боткина 1830-х годов, который не до конца был разрушен «практичностью».⁴³ Влияние не всегда было прямым, в конкретных оценках Боткин иногда и опережал товарища.

⁴¹ Ср. несколько более позднюю оценку романтического метода критики в письме к К. А. Горбунову от 17. III. 1841: «Прочел я в «Библиотеке для чтения» № 2 статью Кукольника о выставке. Апатично, вяло, пусто и педантично. Эти господа все хотят играть роль важных знатоков и учить. А единое есть на потребу: живое, истинное чувство» (ИРЛИ. 9183. LII б. 56, л. 15).

⁴² Боткин ведь в свою очередь поздравлял Белинского в начале 1841 года с выходом «на широкое поле действительности» (Белинский, XII, 13).

⁴³ Теоретически, правда, Боткин считал, что он покончил с романтизмом, о чем достаточно ясно писал М. Каткову 6. III. 1841: «Я еще так мало знаю себя, только еще начинаю выходить из своей романтической эпохи <...>. Слова твои «берегись музыкальных ощущений» глубоко верны, но они застали меня не врасплох. Кажется, романтика совершила во мне весь круг свой, чаша переполнилась, — и поздно, к несчастью, дошел я до этого сознания» (ЛБ, Кат. I. 44). Но фактически Боткин до конца жизни сохранил элементы романтического мышления. Характерно, что одновременно с выше цитированным отзывом о Тенирсе он пишет в рецензии (№ 33 росписи): художественные выставки «возвышают из ежедневности в идеальную сферу искусства и способствуют к пробуждению чувства возвышенного и прекрасного, которое, увы! так часто гаснет под гнетом житейским» (III, 89).

Так в не дошедшем до нас письме к Белинскому от декабря 1840 г. он развил те мысли о различии Гете и Шиллера (в пользу последнего), которые с радостью и безоговорочно были взяты Белинским на вооружение (Белинский, XII, 7). Речь должна идти о влиянии *общих* идей Белинского. Боткин весьма сочувственно встретил программную статью друга «Стихотворения М. Лермонтова»: «Начал читать статью твою о Лермонтове — так хорошо, так задушевно и сердечно».⁴⁴ Боткин приступил к изучению Руссо, ставшего и для него и для Белинского символом борьбы и отрицания старого: «В последнее время читал я Руссо. — Если ты не читал его, то познакомься с ним покороче. Он стоит того. Прочтешь ли ты «Эмиля», «Элоизу», «Confessions», — все это в высшей степени интересно. Он был гораздо выше своего времени».⁴⁵

С другой стороны, на Боткина воздействовал неумолимо закономерный путь русской литературы и эстетической мысли к реализму, что и отражалось в его пафосе естественности. Неспроста именно на этом переломном этапе Боткин серьезно погружается в изучение творчества Шекспира.⁴⁶ В его трудах на эту тему ярко проявляется противоречивость и даже эклектизм метода.

По-настоящему изучать Шекспира Боткин начал еще в «гегельянский» период. Штудирова «Эстетику» Гегеля в издании Гото, рекомендованную Н. Станкевичем, Боткин заинтересовался и собственной книгой ученика Гегеля, посвященной эстетике и искусству;⁴⁷ 13. XII. 1838 он просил Станкевича прислать ему этот труд, тот обещал⁴⁸ и, очевидно, вскоре прислал. Боткин писал М. Бакунину 10. IV. 1839: «Что за бесценная книга Гото! Я упиваюсь ей. Прочитавши там очерк Англии и Шекспира, я не мог утерпеть, мне захотелось иметь понятие об исторических драмах Шекспира — и я прочел Ричарда II. Какая драматическая жизнь, какая глубина и полнота каждого

⁴⁴ «Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 176. Письмо к Белинскому от 10. II. 1841.

⁴⁵ ИРЛИ, I М. 76, л. 3 об. Письмо к А. П. Ефремову от 20. V. 1841.

⁴⁶ Симптоматично вообще увлечение Шекспиром в России начала 1840-х годов. На смену романтическому духу Н. Полевого и Мочалова, романтической интерпретации избранных трагедий («Гамлет», «Отелло», «Король Лир») пришел серьезный интерес к творчеству драматурга в целом: Н. Кетчер начал издавать первое полное собрание сочинений Шекспира на русском языке в точном прозаическом переводе; редакция «Отечественных записок» опубликовала целую серию статей, оригинальных и переводных, о Шекспире и его эпохе.

⁴⁷ Н. G. Hotho, Vorstudien für Leben und Kunst, Stuttgart und Tübingen, 1835.

⁴⁸ Отдел письм. источников ГИМ, ф. 345, № 2, л. 46 об.; Н. В. Станкевич, Переписка, М., 1914, стр. 493.

характера, и что за эфирная, поражающая поэзия!»⁴⁹ Далее следует приводившаяся выше сравнительная характеристика Шекспира и Шиллера, свидетельствующая о сплаве гегелевского и романтического методов в мышлении Боткина. Так, по-видимому, началось серьезное изучение английского драматурга. 8. VI. 1839 Боткин пишет Бакунину: «Я хочу, чтоб ты непременно прочел «Лира». Для этого я взял перевод Якимова, сверил его с подлинником, исправил, кой-где выправил язык — и везу к тебе. Ты поймешь, что такое для меня эта драма, когда я решился на такой труд выправления».⁵⁰ По поводу Шекспира Боткин ведет долгие беседы с Белинским, о чем последний писал ему, вспоминая: «ты, с которым с одним из всех мне так отраднo было говорить о Шекспире, и — помнишь — кажется, мы понимали друг друга. По крайней мере я причисляю эти разговоры к блаженнейшим минутам моей жизни» (XI, 524).

Но особенно интенсивно Боткин изучает Шекспира и литературу о нем в 1840—1841 гг.⁵¹ Вслед за сводной статьей А. И. Кронеберга «Шекспир. Обзор главнейших мнений о Шекспире, высказанных европейскими писателями в XVIII и XIX столетиях»⁵² Боткин публикует перевод статьи Рётшера «Четыре новые драмы, приписываемые Шекспиру» (№ 32 росписи). Белинский, порвавший с гегельянством, несколько раз попрекал по этому поводу Боткина: «Твой Рётшер — <...> педант, немец, филистер, гофрат» (XII, 26; см. также XII, 54). Действительно, Боткин опубликовал текст, где оставил без всяких пояснений идеи об «историческом праве» королевской власти, «бессознательной покорности высшему могуществу» и т. п. — способные у Белинского конца 1840 года вызывать яростный гнев. Лишь однажды Боткин не выдержал и осмелел в примечании книгу реакционного «пиетиста» Г. Ульрици⁵³ за христианское морализирование (см. II, 226—227).

Спустя три месяца в «Отечественных записках» появились переведенные Боткиным главы из книги А. Джемсон «Характеры шекспировских женщин» (№ 34 росписи). Это — романтическое, с налетом сентиментальности, истолкование образов

⁴⁹ ИРЛИ, ф. 16, оп. 9, № 23, л. 21—21 об.

⁵⁰ Там же, л. 28.

⁵¹ Следует оговориться, что Боткин, как можно судить по многочисленным намекам и сноскам (II, 209, 211—212, 220 и др.), читал Шекспира в основном в немецких переводах, так как подлинник для него в то время был труден: лишь в конце 1850-х гг. Боткин стал по-настоящему овладевать английским языком. В начале же 1840-х гг. он, очевидно, ограничивался сравнением перевода с оригиналом и чтением шекспироведческой литературы на английском языке. Но значительно лучше он знал немецкое шекспироведение.

⁵² «Отечественные записки», 1840, № 9, о. II, стр. 1—50.

⁵³ H. Ullrich, Über Shakespeare's dramatische Kunst und sein Verhältniss zu Calderon und Goethe, Halle, 1839.

Джульетты и Офелии. В сочетании с непринужденным стилем повествования и проникновением автора в психологию героев такое сочинение не могло не вызвать восторга у Боткина переходного периода, и он, действительно, написал к переводу наихвалебное предисловие (II, 170—171).

Интересно, что Белинский истолковал книгу Джемсон даже в революционно-романтическом духе: трагедия Офелии вызывает у него современные ассоциации; непосредственно после разрушительных призывов против государства и церкви он сетует о судьбе шекспировской героини: «О Офелия, о бледная красота севера, голубка, погибая в вихре грозы!.. Мочи нет — слезы рвутся из глаз» (XII, 27; ср. также V, 536).

В 1841 году Боткин, очевидно, задумал оригинальную серию статей о творчестве Шекспира. Первая его работа, о драме «Король Иоанн», не сохранилась (см. «Приложение»), вторая, о «Генрихе VI», является краткой рецензией (№ 37 росписи). Лишь третья — «Шекспир как человек и лирик» (№ 39 росписи) — как бы подводит итог первому «шекспировскому» периоду деятельности Боткина. Критик так и не свел концы с концами. Статья начинается и заканчивается повторением идей Рётшера о драмах Шекспира как объективных, замкнутых в себе мирах, отрешенных от личности автора (II, 205, 224); в заключение прямо славословится философская критика Рётшера (II, 225). Но Боткин, непосредственно касаясь драм Шекспира, почти забывает об этом философском обрамлении. В духе идей Белинского 1841—1842 гг. о «субъективности» творчества он находит глубокое проникновение авторского «я» и в «Гамлете», и в «Короле Лире», и в «Короле Иоанне», и в «Тимоне» (II, 210—211).⁵⁴ Но и в авторской «субъективности», и в объективной сущности драматургии Шекспира Боткин видит не столько историческую эпоху, сколько отражение «вечных» явлений или сугубо личные особенности характера автора. В «Макбете» господствуют «демонские силы», гнездящиеся в глубине души ге-

⁵⁴ В содержательной статье Г. М. Фридлендера «Белинский и Шекспир» (сб. «Белинский. Статьи и материалы», изд. ЛГУ, 1949, стр. 147—173) сделана попытка найти у Белинского начала 1840-х гг. «постановку вопроса» о субъективности Шекспира и уже отсюда непосредственно вывести суждение Боткина (стр. 159—160). Но исследователь не смог привести ни одного прямого факта из высказываний Белинского той поры; лишь во второй половине 1840-х гг. Белинский стал ясно видеть отражение мировоззрения Шекспира в его творчестве. Поэтому следует говорить лишь о влиянии общих идей великого критика на взгляды Боткина. Несправедлив Г. М. Фридлендер и в следующей характеристике: «в своем стремлении истолковать личные элементы в драмах Шекспира Боткин, в противоположность Белинскому, не идет дальше биографических и психологических рассуждений и не поднимается к подлинно-историческому пониманию Шекспира» (стр. 160). Белинский достиг «исторического понимания Шекспира» также в последние годы жизни, а не в начале 1840-х гг.

роя; в образе Яго воплощены «случай, тайна», «судьба» и т. д. (II, 213—214). В авторском же «я» проявляется «унылая меланхолия души», «ипохондрия субъективной болезненности» (II, 208, 211). В одном случае перед нами гегельянско-рётшеровское истолкование художественного произведения, которое в «историческом событии раскрывает действие вечных законов» (II, 224), в другом — имманентный романтический субъективизм.

В № 9 «Отечественных записок» за 1842 год, там же, где была опубликована рассматриваемая статья Боткина, Белинский начал свой цикл статей «Речь о критике <...> А. Никитенко», где заявил о необходимости сочетать в критическом методе исторический и художественный анализ, рассмотрение субъективного и объективного (VI, 284). Боткин положительно отзывался об этой первой статье цикла,⁵⁵ но в своей практике он не научился сочетать диалектически «объективное» и «субъективное», они механически сосуществуют. Об исторической же критике пока и говорить не приходится.

Зато в статье Боткина нашли яркое отражение его социально-политические взгляды 1842 г. Под влиянием революционного пафоса Белинского он продолжает серьезно изучать левогегельянскую и социалистическую литературу. Его кумирами теперь являются Д. Штраус, Фейербах, Б. Бауэр,⁵⁶ П. Леру. Он прочел и познакомил русского читателя с брошюрой молодого Энгельса «Шеллинг и откровение» (см. ниже). В споре Белинского с либеральными западниками по вопросу об отношении к Великой Французской революции Боткин безоговорочно становится на сторону друга. Он писал Герцену 28. V. 1842, что суждение Грановского «о Робеспьере и Жирондистах совершенно противоположно мнениям всех лучших умов во Франции, и Леру в особенности. Леру чрезвычайно высоко ставит Робеспьера, называя его *la pythonisse et oracle de la Révolution* и решительным противником *bourgeoisie*, представителями которой, по мнению Леру, были Жирондисты».⁵⁷ Краевскому в письме от 29. XII. 1842 Боткин сообщал об изучении известной книги Лоренца Штейна,⁵⁸ где впервые систематически излагались история и современные течения французской радикальной мысли: «читаю я немецкое сочинение чрезвычайно умного немца Штейна о социализме и коммунизме нынешней Франции. Книга во

⁵⁵ «Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 182. Письмо к Белинскому от 17. IX. 1842.

⁵⁶ В. Г. Белинский, Письма, т. II, СПб., 1914, стр. 418, 421. Письмо к Белинскому от 22. III 1842.

⁵⁷ Там же, стр. 425. В кругу Белинского журнал «*Revue indépendante*» со статьями П. Леру пользовался большой популярностью (И. И. Панаев, Литературные воспоминания, 1950, стр. 242).

⁵⁸ L. Stein, *Der Socialismus und Communismus der heutigen Frankreichs*, Leipzig, 1842.

всех отношениях превосходная. С удивительным вниманием наблюдает он биение внутреннего пульса нового франц<узского> общества, анализирует и излагает его с глубиной и тактом человека, стоящего на вершине современной цивилизации». ⁵⁹

Таким образом Боткин был не только в курсе новейших событий и теорий прогрессивного европейского движения, но и стал (по крайней мере, на словах) сторонником самых радикальных из них. В большом письме к Белинскому от 22—23. III. 1842, ⁶⁰ самом революционном своем произведении (с ним может сравниться лишь письмо к Огареву от 17. II. 1845), он, подобно адресату, ниспровергает все современные институты: государство, церковь, ⁶¹ брак; здесь же художники делятся на людей «предания и авторитета», глашатаев объективной действительности (Пушкин) и на «субъективных» писателей, проникнутых «пафосом отрицания и борьбы» (Руссо, Байрон, Лермонтов). Естественно, все симпатии Боткина — на стороне последних. ⁶² Литературные выводы письма в зародыше содержат будущие односторонне-полевые теории революционной демократии: и сведение творчества Пушкина к «объективности» и «авторитету», из чего вытекает, например, недовольство Боткина «положением Татьяны, добровольно осуждающей себя на проституцию с своим стариком генералом»; ⁶³ и подчеркивание важности содержания, поднимаемого над «художественностью» (Лермонтов «уступает» Пушкину в «художественности», в каждом его стихотворении «заметно, что он не обращает большого внимания на то, чтобы мысль его была высказана изящно — его занимает одна мысль — и от этого у него часто такая стальная, острая прозаичность выражения» ⁶⁴). Интересно, что Белинский, не считая некоторых уточнений, полностью согласился с выводами Боткина (XII, 94—95); через несколько лет в своих статьях он подробно разовьет почти все эти идеи (о Татьяне,

⁵⁹ Отчет имп. Публичной библиотеки за 1889 год, СПб., 1893, Приложение, стр. 55 (в дальнейшем: Отчет ИПБ...).

⁶⁰ А. Н. Пыпин, Белинский, его жизнь и переписка, Изд. 2-е, СПб., 1908, стр. 398—404.

⁶¹ В части письма, посвященном религии, Боткин излагает идеи книги Фейербаха «Сущность христианства» (там же, стр. 403—404). См. об этом: Ю. Оксман, Переписка Белинского. Критико-библиографический обзор, «Лит. наследство», т. 51/52, М., 1950, стр. 231.

⁶² Ср. в письме к Огареву от 23. IV. 1843: «Мне жаль, что ты не прислал своих теперешних стихов. Ты их предполагаешь дурными потому, что они субъективны. А я думаю, что они по этому-то самому и хороши» (А. И. Герцен, Собр. соч. в 30 тт., т. XXII, М., 1961, стр. 146). Характерно также изменение холодно-отчужденного отношения Боткина к Герцену на дружеское и даже любовное (см. «Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 182).

⁶³ А. Н. Пыпин, ук. соч., стр. 402.

⁶⁴ Там же.

о «перевесе» содержания над формой), не дойдя лишь до крайностей в трактовке Пушкина (в этом отношении «преемником» Боткина станет Писарев).

Новое мировоззрение критика, естественно, отразилось в его печатных трудах. Первой такой статьей была рецензия Боткина на «Историю древней философии» реакционного пастора Карла Зедергольма (№ 36 росписи), книгу, написанную в содружестве с московскими славянофилами. По цензурным соображениям Боткин далеко не все мог сказать прямо, о чем он жаловался Краевскому в письме от 9. II. 1842: «Посылаю рецензию книги Зедергольма, которою я был очень стеснен, потому что он беспрестанно говорит о человечестве как о роде падшем, ну и подобные библейские штуки. Может быть вы найдете, что рецензия написана слишком философским языком. Что делать: надо было как-нибудь изворачиваться; эти же самые мысли, написанные литературным языком, цензура не пропустит. Введение Зедергольма написано Киреевским, Хомяковым и еще кем-то. Это говорил он сам».⁶⁵ В рецензии Боткин блестяще показал, пользуясь эзоповым «философским» языком, «обскурантизм» книги, замену философии «теологией», связь с реакционнейшим религиозным и правовым учением Ф.-Ю. Штала (II, 394, 397). С прямым намеком на Россию говорится, что «в государствах Востока» человек «безличен», лишен «индивидуальной свободы» (II, 397). Белинский восторженно приветствовал эту рецензию (XII, 91).

Социально-политические суждения впервые стали проникать и в литературные труды Боткина. Это отразилось и в рассмотренной выше статье «Шекспир как человек и лирик». В начале ее сделан резкий выпад против славянофилов, не имеющий, разумеется, прямого отношения к шекспироведению (II, 205—206); затем следует противопоставление «великого духа» Шекспира реакционным его истолкователям, но за этим виден общий пафос критика: «тот, кто чувствует дисгармонию жизни и страдает этим чувством <...>, — благословеннее того, кто старается трусливою рукою как-нибудь прикрыть или замазать немногие стороны и диссонансы жизни и успокаивается в мелких, самодовольных, пиетистических мечтаниях» (II, 213); Шекспир упрекается за искажение образа Жанны д'Арк (II, 216; несколько раньше об этом же шла речь в рецензии на «Генриха VI» — II, 162).⁶⁶

И тем не менее Боткин — не Белинский. Последний был всегда экстремистом, Боткин же при всех крайностях не забы-

⁶⁵ Отчет ИПБ..., стр. 37—38.

⁶⁶ Этот упрек сделан Боткиным, несомненно, под воздействием Белинского, неистово негодовавшего на искажение Шекспиром образа французской героини (XII, 54).

вал золотой середины. Показателен следующий пример. В условиях 1842 года, при страстной любви к революционной Франции и при ожесточенной полемике со славянофилами, Белинский лишь враждебно мог встретить «Рим» Гоголя, усмотрев в пропаганде «патриархальности» и неприязни к Парижу тесную связь с идеями московских реакционеров (VI, 427; XII, 90, 95). А Боткин совершенно не обратил на это внимания. Для него главным стали мастерство и романтическая возвышенность, т. е. те качества, которые как будто не вяжутся с его одновременными декларациями о Пушкине и Лермонтове. Боткин писал Краевскому 16. III. 1842 о «Риме»: «Это так хорошо, что сказать нельзя. Что за язык, что за краски, что за колорит! Между колоритом и манерою Брюллова и языком и колоритом Гоголя сходство необыкновенное. Как освещают они свои картины! Какая смелость в постановке и очерке фигур! У обоих все, до чего ни коснутся они, все становится рельефно и пластично. У Гоголя фондом картин всегда служит возвышенное поэтическое созерцание: оно сообщает яркому колориту его идеальность и воздушную прозрачность».⁶⁷ В начале статьи уже была приведена цитата из письма Боткина Краевскому, где он признавался, что «Рим» Гоголя «расшевелил» его и он посылает свой очерк Рима; далее Боткин как бы извиняется, что не понимал тогда, в 1835 г. искусства, а весь находился под влиянием сен-симонизма и лишь в Риме понял (такое противопоставление в пользу «искусства» можно, казалось бы, делать лишь с эстетских позиций; но мы ведь по всем предыдущим фактам знаем, что взгляды Боткина 1842 года были прямо противоположными!). «Письмо из Италии» Боткина, — конечно, не повторение гоголевского «Рима», автор далек и от вражды к Парижу, и от проповеди «патриархальности», очерк как раз проникнут описанием гражданского пафоса древнего Рима (1, 30). Но сам восторг Боткина перед «Римом» Гоголя — свидетельство сложности его позиции: в его сознании одновременно уживались возвышенно-романтическое и житейски-естественное, идеальное и реальное, политический интерес и любовь к искусству, внимание к теоретической мысли и наслаждение тонкостями художественной формы. В оценке «Рима» акцентирована одна крайность, в письме о Пушкине и Лермонтове — другая». В статье «Шекспир как человек и лирик» обе крайности сосуществуют. Примером их удачного слияния, синтеза может служить статья «Выставка императорской Санктпетербургской академии художеств в 1842 году» (№ 40 росписи). Кризис современной живописи объясняется здесь общеевропейским социальным кризисом: современность «стремится к новым формам жизни, и как скоро выработает эти формы — тогда и ис-

⁶⁷ Отчет ИПБ . . . , стр. 46—47.

кусство найдет» для себя достойное «содержание» (III, 98). Пока же оно должно искать материал в истории или переходной действительности, во всяком случае настоящее искусство черпает «свое содержание из живого современного духа эпохи и народа» (III, 103). Боткин сетует о разрыве между искусством и массами: «Посмотрите, есть ли нынче какая-нибудь симпатия между художниками и народом? Они чужды друг другу» (III, 96), — и предлагает воспитывать «в народе чувства изящного» пропагандой искусства с помощью гравюр и литографий (III, 99). «Истинная жизнь искусства может быть только там, где народ, неученый народ наслаждается созданием художника как своею собственностью» (III, 102). Далее, при анализе отдельных картин, Боткин выражает следующее эстетическое сredo: «искусство прежде всего требует определенной и самой себе ясной идеи. Самое рассудительное умствование, самая тщательная придуманность тут ничего не помогают» (III, 117); «мы требуем от живописи <...> внутреннего выражения, а не простого представления внешности» (III, 112); «первое условие — чтоб произведение искусства имело общечеловеческое содержание, а не исключительное сказательное⁶⁸ или мифическое» (III, 117). Важно также, что Боткин требует единства мысли и чувства художника, чего он не находит в картинах Ф. Бруни: «сочинено головою, а не сердцем», «более обдуманности, нежели творческой фантазии» (III, 118). Интересно удовлетворенное по тону замечание Белинского об этой рецензии: «Говорят, твоя статья крепко нравится художникам. Вот как надо писать», — говорят они» (XII, 118; ср. VI, 540).

Однако в общем русле политической настроенности Белинского и Герцена Боткин стал заметно отодвигать искусство на второй план. Показательно, что он отказался от продолжения шекспировского цикла своих трудов, обещанного читателям «Отечественных записок» в конце статьи «Шекспир как человек и лирик» (II, 223), зато взялся вести ежемесячное обозрение «Германская литература», в основном посвященное характеристике научных и публицистических трудов. Какие при этом могли возникнуть цензурные трудности, Боткин сам понимал, о чем и сообщал Краевскому 29. XII. 1842: «Признаюсь, очень неловко составлять: «Litter<arische> Zeit<ung>» издается в самом сухом, тупоученом, филистерском прусском духе, а новый теологический и критико-философский дух германской науки, как ни вертишь его, никак нельзя приложить к нашим условиям. Думал было составить разбор «Новой истории» Лео, да

⁶⁸ Т. е. когда сюжет взят из сказаний, легенд. Т. к. речь идет о «Медном змие» Ф. Бруни, то совершенно ясно, что за этим зашифровано требование, чтобы и в произведениях на религиозные темы отражалось «человеческое», общественно-значимое.

вопросы тут все такие жизненные, что и страшно приниматься. «Новая история» Лео так же ложна и плоха, как хороша его древняя. Он решительно не понимает ни истинного духа реформации, а след<овательно>, и всего нового времени; можете представить себе, как смотрит он на фр<анцузскую> революцию <...> Цель моя выбирать такие книги, по поводу которых можно сказать что-нибудь о современном. Теперь в Германии самые замечательные сочинения выходят лишь по части теологии и философии <...> Что прикажете говорить об таких книгах». ⁶⁹

И тем не менее Боткин сказал очень многое. Первый обзор (№ 41 росписи) он начал с прямого утверждения, что в современной Германии главное место среди «ученых партий» занимает «молодая гегелевская школа», представляющая «критическое движение», которое «имеет много общего с характером французской литературы XVIII века» ⁷⁰ (II, 255). А далее кратко изложено начало брошюры Ф. Энгельса «Шеллинг и откровение» ⁷¹ (таким образом первая книга Энгельса в основных чертах сразу же стала известна русскому читателю!). Боткин не раскрывает источник: очевидно, боялся, что брошюра может быть запрещена в России — тогда пропал бы и весь текст изложения. Вообще — Боткин опустил в своем переводе все непочтительные суждения о религии, выбросил упоминавшиеся Энгельсом издания и фамилии левых гегельянцев, смягчил острые формулировки. Например, у Энгельса: Гегель не понял «июльской революции в ее всемирно-исторической необходимости» (ук. соч., стр. 397) — у Боткина: «для него представлялись в смутном виде последующие события в Европе» (II,

⁶⁹ Отчет ИПБ..., стр. 54—55.

⁷⁰ Плеханов дает этой мысли следующее объяснение, с которым в общем можно согласиться: «Боткин сочувствует «левой школе» именно за то, что она «внесла» в диалектику Гегеля «все жизненные вопросы времени». Это выражение, разумеется, не правильно. Надо было сказать, что левые гегельянцы воспользовались диалектическим методом Гегеля для решения названных вопросов. Но дело не в выражении, а в мысли; а мысль здесь та же, какую мы встретили и у Белинского: заслуга «левой школы» состоит в том, что она восстала против абсолютных выводов Гегеля <...> и выдвинула на первый план диалектическую сторону его системы, т. е. принялась развивать «идею отрицания» (Г. В. Плеханов, Соч., т. XXIII, М.—Л., 1926, стр. 174). Следует однако учесть, что Боткин никогда не проводил резкой грани между Гегелем и его последователями. Неизвестны и факты знакомства Боткина с наиболее радикальными ранними левогегельянами типа Августа Чешковского, автора первой книги, где из гегелевской диалектики были сделаны революционные выводы (A. Cieszkowsky, Prolegomena zur Historiosophie, Berlin, 1838).

⁷¹ Ср. Боткин, II, 256—258 — и К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, М., 1956, стр. 394—400. Впервые указал на это Д. Рязанов (К. Марк, Ф. Энгельс, Соч., т. II, М.—Л., 1929, стр. XXIII—XXVII).

257).⁷² Заключительная часть обзора посвящена в основном изложению идей, уже высказанных в статье «Выставка <...> в 1842 году» (впрочем, Боткин сообщил интересные суждения о связи живописи и готической архитектуры с идеологией и техникой своего времени: II, 261—266).

Вторая статья «Германская литература» (№ 42 росписи) начинается с обзора ... любовных стихотворений. Однако он делается для того, чтобы доказать ограниченность большинства из них: «Интересы современного развития стоят выше любви и ее восторгов и печалей; «эротические» поэты дурны и скучны оттого, что, отрешаясь от интересов общества и современности, хотят интересоваться своими ощущениями <...> Тут нет и помина о высших, человеческих правах женщины, о призвании ее к интересам современности, об улучшении ее положения в обществе. Как будто женщины должны быть равнодушны к судьбам своих отцов, мужей, братьев... Германская поэзия не возвысилась еще до того чувства любви, в котором веет дух нового времени. Франция в этом отношении опередила Германию...» (II, 279). Впрочем, Боткин выделяет и противопоставляет любовной — гражданскую поэзию Гервега и Фрейлиграта (II, 275).

Далее следует раздел о Рётшере. Помня о резких упреках Белинского и в свете новых своих позиций, Боткин показал ограниченность Рётшера, который «смотрит на искусство, от-

⁷² Очевидно, Боткин был знаком и с брошюрой Энгельса «Шеллинг-философ во Христе» (Берлин, 1842), и с трудами других левогегельянцев той поры; он даже готов был дать русскому читателю их обзор, но побоялся цензуры: он сообщал Краевскому 20. V. 1843, что немецкие «живые книги» «все проникнуты направлением, что о них нет возможности писать в журнале. К такому роду принадлежит вся летучая литература спора между гегелианством и шеллингианством» (Отчет ИПБ..., стр. 69).

Эти опасения Боткин излагал уже после того, как цензура пощипала его третий обзор «Германская литература». Из письма к нему Белинского от 3. IV. 1843 — узнаем: «Кр<аевский> читал лишь о празднике фурьеристов — чудесно» (XII, 152), но в печатной статье ничего подобного нет (следовательно, Краевский читал рукопись или корректуру!). Статья почти целиком посвящена книге К. Гуцкова «Письма из Парижа» (K. Gutzkow, Briefe aus Paris, Theile 1—2, Leipzig, 1842). В подлиннике обнаруживаем, что в 18-м письме Гуцков подробно описывает ежегодный обед фурьеристов 7 апреля 1842 года, на котором он присутствовал, сообщает сведения о современном состоянии фурьеризма и свои размышления о сущности учения. Следовательно, цензоры (к «Отечественным запискам» в это время были приставлены А. В. Никитенко и С. С. Куторга) выбросили раздел, где Боткин пересказывал (или цитировал) 18-е письмо Гуцкова. Никаких дополнительных данных об этом не сохранилось. Зато из журнала заседаний Петербургского цензурного комитета от 30. III. 1843 узнаем, что Никитенко, очевидно, не удовлетворившись изъятием части о фурьеристах, поставил под сомнение всю статью, «потому, что она имеет некоторую связь с современною политикою»; однако комитет, «принимая в уважение», что Гуцков — «путешественник», а не «писатель политический», и кроме того в статье «не заключается ничего, до России относящегося, определил дозволить помянутую статью к напечатанию» (ЦИАЛ, ф. 777, оп. 27, № 36, лл. 43 об. — 44).

влекая его от всех других сфер человеческой и общественной деятельности»; в его трудах много «аскетической, немецкой односторонности и запоздалого антисоциального морализма. Так все, что говорит он о праве семейства относительно трагической коллизии в «Ромео и Юлии» — не более, как филистерский застой, философское *Schulmeisterei*, лишенное разумного и гуманного содержания» (II, 165). И тем не менее Боткин усматривает у Рётшера «много глубины и художественного искусства» (II, 165) и переводит отрывки из исследования Рётшера о «Ромео и Джульетте»⁷³ (II, 165—170). Такая половинчатость не удовлетворила Белинского,⁷⁴ что сказалось на различии в оценке двух обзоров: «Твоя статья о «Немецкой литературе» в 1 № мне чрезвычайно понравилась — умно, дельно и ловко. Во 2-м — тоже хороша; но брось ты эту колбасу Рётшера — пусть ему черт приснится <...> Вагнеровская натурашка так и пробивается сквозь его натянутую ученость. На Руси он был бы Шевыревым» (XII, 131).

В значительной степени Боткин учел критику Белинского в третьей статье «Германская литература» (№ 43 росписи), посвященной, как уже говорилось, главным образом характеристике книги К. Гуцкова «Письма из Парижа». Боткин внимательно следил за развитием немецкой литературы и общественной мысли, поэтому не мог не видеть ограниченности «молодой Германии», которая (ограниченность) особенно стала заметной в начале 1840-х годов и была предметом нападков со стороны радикалов. Не исключено, что он читал рецензию Энгельса на книгу А. Юнга,⁷⁵ где резко критиковалась шаткая и путаная социально-политическая позиция «молодой Германии» и одного из ее вождей К. Гуцкова. Во всяком случае раздел о Гуцкове является самым полемическим из всех обзоров Боткина «Германская литература» и выводы автора сходны с суждениями Энгельса.⁷⁶ Боткин критикует Гуцкова за «неразумение совре-

⁷³ H. T. Rötcher, *Abhandlungen zur Philosophie der Kunst*. Vierte Abteilung. I. *Romeo und Julia* (...) Berlin, 1842.

⁷⁴ «Ослабленность» критики Боткина, по сравнению с Белинским, была отмечена в ст.: Г. М. Фридендер, *ук. соч.*, стр. 157.

⁷⁵ F. Oswald (Engels). A. Jung. *Vorlesungen über die moderne Literatur der Deutschen*, «*Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst*», 1842, №№ 160—162, 7—9. VII, S. 640—647. Ср. К. Маркс и Ф. Энгельс, *Соч.*, изд. 2-е, т. I, стр. 473—486.

⁷⁶ 18 декабря 1843 г. министр народного просвещения С. С. Уваров обратился в цензурные комитеты с письмом, где требовал усилить внимание «цензоров на статьи в некоторых изданиях философического и исторического содержания, в которых нередко в форме отвлеченного умствования и языка философского предлагаются ложные и неблагонамеренные учения, которые могут совратить умы» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 1, № 1712, л. 11—11 об.). Главным образом, очевидно, имелись в виду статьи Герцена «Дилетантизм в науке», но, возможно, и обзоры Боткина послужили поводом к такому предостережению.

менного исторического духа», отвлеченные идеи, недостаток «нравственного содержания», филистерство, самолюбивый эгоизм (II, 291—293), хотя и отмечает объективную ценность и живость описаний парижской жизни (II, 324). Поэтому и отзыв Белинского был высоким: «Славная статья! Она понравилась мне больше всех прежних твоих статей, может быть, потому, что ее содержание ближе к сердцу моему <...>. Славно откатал ты эту гнилую филистерскую сосиску — Гуцкова. Вот так бы хотелось отделать свиную колбасу — Рётшера» (XII, 152).

3.

Статьями о германской литературе заканчивается первый значительный период журнальной деятельности Боткина. Ранней весной 1843 года он влюбился в модистку с Кузнецкого моста Арманс Рульяр, поэтому «чтения и писания — пошли к черту»; «судьба мне послала, — пишет он Белинскому в конце марта 1843 г., — наконец, то, о чем я и думать давно перестал».⁷⁷ Казалось бы, тут именно представилось Боткину на практике осуществить тогдашние идеалы о всеобщем равенстве и правах женщины. Теоретически он к этому был более чем подготовлен. В письме к Н. А. Герцен от 6. VIII. 1843 он так излагал свою позицию: «До сих пор ценят в женщинах невинность и непосредственность. Какая эгоистическая оценка, — оценка, в которой так и просвечивает отношение повелителя к рабу! Я знаю, романтики строят на этих двух бестолковых качествах свою сентиментальную кабалистику. Но из этой кабалистики нельзя построить ни мать Жанно, ни Шарлотту Корде».⁷⁸ Разумеется, здесь была и рисовка (ведь не мог же всерьез думать Боткин о воспитании своей возлюбленной в духе Шарлотты Корде!⁷⁹), но по крайней мере он должен был стремиться сделать девушку настоящей подругой жизни. Увы, по этому поводу Боткиным на несколько недель овладела мучительная рефлексия.⁸⁰ Как и в предшествующей истории с А. А. Бакуниной, он оказался совершенно не способным к решительным действиям (реальным препятствием теперь еще становился возможный гнев отца — уже не отца невесты, а самого Василия Петровича). Лишь после скандальных столкновений с Рульяр и очевидного осуждения со стороны друзей Боткин

⁷⁷ «Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 113.

⁷⁸ «Русская мысль», 1892, № 8, стр. 6. Здесь ошибочно: «1844 г.».

⁷⁹ К тому же год назад Боткин писал Белинскому совсем другое: «Я ошибался и думал о себе чересчур хорошо, полагая, что добрые качества девушки заставят меня забыть в ней недостатки *форм* <...>, еще слишком часто посещает меня стремление насладить глаза и осязание прекрасною *формою*» («Помощь голодающим», М., 1892, стр. 444; письмо от 22—23. IV. 1842).

⁸⁰ См. А. И. Герцен, Собр. соч., в 30 тт., т. IX, М., 1956, стр. 255—262.

обвенчался с ней в Казанском соборе в Петербурге (1 сентября 1843 г.) и сразу отправился с нею в заграничное путешествие. Семейной жизни не получилось. Помимо несоизмеримой разницы в идеалах, взглядах, уровне культуры, резко противоречили друг другу мягкий, половинчатый, утонченный характер Боткина и страстность, грубая простота, плебейская гордость его жены.⁸¹ В Гамбурге произошло окончательное объяснение, после чего Боткин лишь довез ее до Парижа (где, очевидно, устраивал ее на работу? — в завещании он указывал, что прожил с женой три месяца, до ноября 1843 г) — и супруги окончательно разошлись.⁸²

Эта история на несколько лет выбила его из колеи как творческого деятеля. Зато тем активнее окунулся Боткин в европейскую политическую жизнь. Благодаря Бакунину, с которым он встретился в Париже, он смог познакомиться с самыми радикальными кругами французской общественности и немецкой эмиграции. Сведений об этом периоде известно чрезвычайно мало, тем ценнее становится интереснейшее письмо Арнольда Руге к Кёхли, открытое Д. Рязановым: «Вчера мы, немцы, русские и французы, обедали вместе, чтобы посоветоваться о наших делах и открыть дискуссию по этим вопросам; из русских были Бакунин, Боткин, <Г. М.> Толстой (эмигранты, демократы, коммунисты), Маркс, Риббентроп, я и Бернайс, из французов Леру, Луи Блан, Феликс Пиа и Шёльхер. В общем мы очень хорошо столковались, хотя французы, за исключением Шёльхера <...> и Пиа, религиозны».⁸³ Таким образом, Боткин был знаком не только с А. Руге, П. Леру, Л. Бланом, но и с К. Марксом! Совещание это происходило 23 марта 1844 года в Париже, но не исключены и встречи до и после. Конечно, несколько странно выглядят по отношению к Боткину эпитеты «эмигрант» и «коммунист», но очевидно так его отрекомендовал обществу Бакунин. Разумеется, не следует преувеличивать радикальность Боткина: как бы ни были часты встречи его с Марксом или французскими социалистами, они не сделали его более последовательным и решительным. Но значение их бесспорно — по крайней мере, никакого «поправения» пока не

⁸¹ Историю своего состояния в эти дни Боткин подробно описывал Белинскому («Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 185—186).

⁸² Впрочем после того, как семья Белинского стала оказывать помощь А. Боткиной, Василий Петрович назначил ей ежегодную сумму в размере 275 руб. 71 коп. серебром или 1100 франков (ЦГАЛИ, ф. 54, оп. 1, № 60), а в предсмертном завещании выделил ей 20 тысяч франков, с любопытным условием: если она будет претендовать на большее, то не давать ей ни копейки (Отд. письм. источников ГИМ, ф. 122, № 467, л. 9). Насколько мне известно из документов вокруг наследства Боткина, она не претендовала — и ограничилась назначенной суммой.

⁸³ Д. Рязанов. Новые данные о русских приятелях Маркса и Энгельса, «Летописи марксизма», VI, 1928, стр. 47.

наблюдалось,⁸⁴ наоборот, Боткин продолжал занимать крайне левые социально-политические позиции. В письме к Огареву от 17. II. 1845 из Парижа он говорит о «свободе, братстве и равенстве», «ненависти к христианству и деспотизму», возмущается французскими «bourgeois — gentilhommes», которые «понимают, что единственное средство сдержать движение низших классов, — осталась положительная религия»; радуется, что «Германия воспиталась теоретическою отвагой, а это необходимо должно вести к практической отваге»; цель современной философии, считает Боткин, — «сделать свободным не субъекта», «а гражданина».⁸⁵ Из этого же письма, судя по отзывам о Мишле, Э. Сю, О. Конте, видно, что Боткин следил и за философским движением во Франции, и за полемикой и борьбой на религиозные темы (Мишле, Кине, Э. Сю в это время ожесточенно сражались с иезуитами).

Правда, П. В. Анненков уверяет, что в основном Боткин «предался весь сенсуальной жизни, окунулся в самый омут парижских любовных и всяческих приключений, дополняя их раздражающими впечатлениями искусства, в котором кропотливо рылся, отыскивая тончайшие черты произведений», и лишь «по временам» «отрывался», чтобы сделать «гигиенические перерывы».⁸⁶ Однако «сенсуальную» деятельность (как вежливо выразился мемуарист), Боткин сочетал с изучением не только искусства, но и научной и публицистической литературы.⁸⁷ Во всяком случае, Анненков упустил важную сферу занятий Боткина за границей.

А соотношение политики и искусства в системе взглядов Боткина и за границей было не менее сложно. В цитированном же письме к Огареву от 17. II. 1845 он подробно говорит о своих музыкальных вкусах; и для него равнозначны, одинаково волнуют как симфонии Бетховена, музыка которых «относится к благородно-идеальным стремлениям человека и заставляет глубже чувствовать величие и красоту свободы, братства и равенства», «достоинства природы человеческой», зовет «на подвиг», — так и сентиментально-романтическая музыка Беллини, «которая отраднo, упоительно действует на нервы и на раздражительную сторону нашего организма», «набрасывает нежный, фантастический флер на мелочи жизни, вливает в сердце

⁸⁴ Лишь в 1847 г. Боткин язвительно вспомнит «немцев, которые года три назад приезжали в Париж учить французов» («П. В. Анненков и его друзья», СПб., 1890, стр. 540).

⁸⁵ «Лит. наследство», т. 62, М., 1955, стр. 786—787; «Русская мысль», 1891, № 8, стр. 4.

⁸⁶ П. В. Анненков, Литературные воспоминания, М., 1960, стр. 331.

⁸⁷ К тому же некоторые знакомые Боткина, а также ряд позднейших исследователей слишком преувеличивали его «сенсуальные» занятия.

сладостную нежность ко всему созданию и дает отрадную слабость любить все и всех».⁸⁸ Но постепенно искусство вытеснялось другими интересами.

Длительное пребывание за границей, в самом центре тогдашнего капиталистического мира, явно отразилось в сознании Боткина (и его окружения). Развитие буржуазных отношений, тяга к естественным-научным знаниям, появление и распространение позитивизма — оказывали свое воздействие на вчерашних романтиков. Н. П. Огарев и Н. М. Сатин в Берлине и Париже занимаются физиологией, анатомией, астрономией. В письме к Огареву от 5. III. 1844 Сатин рекомендует адресату (без оценок, впрочем) сочинения О. Конта.⁸⁹ Другой член московского западнического кружка Н. Г. Фролов уже очень положительно отзывался о философии и публичных лекциях О. Конта.⁹⁰ С немалым увлечением занялся позитивизмом Боткин, как видно из письма Огарева к Герцену от 2. II. 1845: «В Париже явился <...> Auguste Comte, и, читая курс популярной астрономии, в предварительных лекциях развивает систему de philosophie positive, которую и напечатал в 6 томах. В. П. <Боткин> с восторгом слушает».⁹¹ От Огарева не укрылась эволюция мировоззрения Боткина: «Многие стали поносить немецкую философию и клонятся к эмпиризму, хотя эмпиризм никогда не сдружится с их натурой; напр., Вас. Петр.».⁹²

Прогноз Огарева оказался не совсем точным. Вначале Боткин отнесся критически к позитивизму: «С Контом я во многом не согласен, он понимает человека несколько механически, желая не только обуздать его мистические стремления (совершенно законные, когда точкою отправления и целию достижения их есть его же собственная человеческая природа), но совершенно поработить их точными законами науки. Религию он вполне отвергает и заменяет ее кодексом общественной нравственности. Это мысль не новая, но мне кажется в ней много верного. В таком случае мистическою сферою будет идеальное совершенство человека <...> человек выступает из фантастического царства своего в свою тяжкую человеческую сферу и в ней должен завоевывать свое положительное царство и до-

⁸⁸ «Русская мысль», 1891, № 8, стр. 3; «Лит. наследство», т. 62, М., 1955, стр. 787.

⁸⁹ «Рус. мысль», 1891, № 8, стр. 7.

⁹⁰ Там же, № 7, стр. 39. Письмо к Огареву от 22. I. 1845.

⁹¹ Н. П. Огарев, Избр. <...> произведения, т. II, М., Госполитиздат, 1956, стр. 359.

⁹² Там же, стр. 377. Письмо к Н. Х. Кетчеру от III—IV. 1845. Приблизительно такие же сомнения выражал два года спустя Белинский в письме Боткину от 29. I. 1847: «твое новое практическое направление <...> произвело на всех нас равно неприятное впечатление, на меня первого. Но <...> ты все остался отчаянным теоретиком, немцем, для которого спор о деле гораздо важнее самого дела» (XII, 319).

стоинство».⁹³ Из этого отзыва видно, что Боткин еще находится во власти «мистического», т. е., иными словами, во власти утопических идеалов о будущем обществе и гармоническом человеке (не в сен-симонистском, а в фейербахианском понимании), и противится порабощению человека «точными законами науки».

Однако впоследствии Боткин, видимо, «сдружился» с позитивизмом, как можно судить по ответному к нему письму Белинского от 17. II. 1847: Белинский оспаривает мнение своего оппонента о Конте как основателе новой философии; не отвергая заслуг Конта в разрушении «теологических» методов науки, он увидел механистичность его метода и непонимание диалектической взаимосвязи явлений (XII, 329—332); интересно, что Белинский зато высоко оценил применение позитивизма к опытным наукам, в частности — к физиологии, и поэтому ученика Конта — Э. Литтре ставил значительно выше учителя (XII, 323, 330).⁹⁴ Антидиалектическую сущность философии Конта Боткин раньше видел, чем Белинский (см. выше цитированное письмо к Огареву), но, очевидно, затем изменил свое отношение на апологетическое. Параллельно и в связи с позитивизмом Боткин увлекается естественными науками, собирался даже заняться всерьез органической химией (Белинский, XII, 321); размышляет о экономических и промышленных вопросах. В свете требования Конта устанавливать опытным путем закономерные связи явлений и в связи с учениями буржуазной политической экономии, Боткин заинтересовался законами промышленного развития, сформулировав условие таким образом: «если в мире природы все условливается законами, то задача современной науки отвлекать законы, действующие в мире политическом и промышленном. Дело не в том только, чтобы нападать на то, что есть, а отыскать, почему это есть, словом, отыскать законы, действующие в мире промышленном. И великая заслуга Смита состоит именно в том, что он открыл многие законы, управляющие в промышленности».⁹⁵ Собственно говоря, Боткин идет здесь уже дальше Конта. Основатель позитивизма отвергал возможность познания причинности (ограничивался лишь описанием взаимосвязи явлений), Боткин же приходит к объективному требованию каузальности. Формула «отыскать, почему это есть» была немыслима в устах Боткина в период увлечения

⁹³ «Лит. наследство», т. 62, М., 1955, стр. 787; «Рус. мысль», 1891, № 8, стр. 4. Письмо к Огареву от 17. II. 1845.

⁹⁴ Следует впрочем учесть, что Белинский познакомился с учением Конта лишь из статей: Е. Литтре, Важность и успехи физиологии («Современник», 1847, № 2, о. II, стр. 125—164) и Е. Saisset, La philosophie positive, («Revue des deux mondes», 1846, t. XV, № 5, pp. 185—220), а также из бесед с Боткиным.

⁹⁵ П. В. Анненков и его друзья, СПб., 1892, стр. 525. Письмо к Анненкову от 26. XI. 1846.

левогегельянством. Но он идет еще дальше, к материалистическому пониманию взаимосвязи сознания и бытия: «понятия, идеи совершенно обуславливаются общественностью, в которой поставлен человек».⁹⁶ Разумеется, — это не марксизм: «общественность» для Боткина имеет крайне расплывчатый характер, но это — качественный скачок, приближение к материалистической точке зрения и значительная грань, отделяющая такую позицию от позитивистской (как субъективно-идеалистической в конечном счете). Однако социальные условия России 1840—1860-х гг. и, соответственно, развитие философской мысли не давали передовым идеологам четкого понимания принципиального различия позитивизма и материализма: опытную и антиидеалистическую направленность позитивизма они воспринимали как наиболее научную. Подобной ошибки не избежал даже Чернышевский, который по-настоящему лишь в 70-х годах осознал гносеологический релятивизм и даже нигилизм философии О. Конта, а в 1860 году — восторженно отзывался о нем.⁹⁷ Не понимал субъективистского характера позитивизма и Боткин, почему он и мог сочетать симпатию к Конту с требованием «отыскать, почему это есть» и с обусловленностью идей общественностью.

Последние принципы сблизили Боткина с Белинским периода «Современника», окончательно отказавшимся в это время от увлечения утопическим социализмом. Со свойственной ему резкостью и экстремизмом Белинский клеймит новый труд Луи Блана⁹⁸ за субъективизм, за отсутствие историзма, за стремление «все видеть не так, как оно есть на деле, а как нам хочется и нужно» (XII, 323, 385, 441, 467).⁹⁹ С оценкой книги Луи Блана Боткин полностью согласился.¹⁰⁰ Сходную оценку он дал

⁹⁶ Там же, стр. 520. Письмо к Анненкову от 20. XI. 1846.

⁹⁷ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. в 16 т., т. VII, стр. 166; т. XIV, стр. 651—652.

⁹⁸ L. Blanc, Histoire de la Révolution française, tt. 1—2, Paris, 1847.

⁹⁹ Так же резко обрушивается Белинский на пропаганду социально-утопических и революционно-романтических идей в России: называет повесть М. Е. Салтыкова «Противоречия» «идиотской глупостью» (XII, 421), одобряет разгром Кирилло-Мефодиевского общества и ссылку Шевченко (XII, 440—441). Именно неистовой борьбой с утопизмом и субъективизмом объясняются эти страшные отзывы, а не ложной информацией о Шевченко, полученной Белинским от М. М. Попова, как иногда объясняют исследователи (см. XII, 571), последнее могло лишь усилить резкость, но не объясняет самого факта. Подобные же причины обусловили отсутствие каких бы то ни было связей Белинского с кружком Петрашевского (см. Ю. Г. Оксман, Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского, М., 1958, стр. 419).

¹⁰⁰ П. В. Анненков и его друзья, СПб., 1892, стр. 542. Письмо к Белинскому и Анненкову от 19. VII. 1847.

¹⁰¹ A. de Lamartine, Histoire des Girondins, tt. 1—8, Paris, 1847.

и Ламартину по поводу его нового сочинения: ¹⁰¹ «Это больше поэт нежели историк». ¹⁰² Так же в свою очередь, отнеся к Ламартину и Белинский (XII, 385).

Интересна эволюция отношения Боткина и П. В. Анненкова к Прудону. В октябре 1846 г. Анненков изучал его труд «*Système des contradictions économiques, ou philosophie de la misère*» (тт. 1—2, Париж, 1846) и обратился с просьбами дать отзыв на эту книгу — вначале к К. Марксу (с которым он тогда поддерживал оживленную переписку) в письме от 1. XI. 1846, ¹⁰³ и затем, несколько позднее, к Боткину (об аналогичном вопросе к Боткину мы узнаем из ответного письма последнего от 26. XI/8. XII. 1846). Боткин ответил сразу, но неопределенно, т. к. книгу у него взял шурин Грановского и он успел прочесть лишь одно введение. Но так как Анненков весьма положительно охарактеризовал труд, то он согласился с его оценкой: «Ваши несколько слов показывают мне всю дельность этой книги, и слава автору, что он вышел из юношеских декламаций социальной школы и взглянул на дело прямо и твердо». ¹⁰⁴ Иными словами, Боткин, как и Анненков, увидел в книге отход автора от утопического социализма.

К. Маркс ответил не сразу, так как долго не имел возможности прочесть книгу Прудона, но зато в письме к Анненкову от 28. XII. 1846 дал чрезвычайно обстоятельный отзыв, ¹⁰⁵ фактически — большую рецензию, своеобразный конспект будущей книги «Нищета философии». Маркс вскрыл идеалистический и мелкобуржуазный характер мировоззрения Прудона. Анненков, согласившись в ответном письме к Марксу от 6. I. 1847 с оценкой экономического учения Прудона, тем не менее настаивал на его значении как критика, нанесшего удары по идеям утопических социалистов. ¹⁰⁶ Неизвестно, ответил ли Маркс на это письмо — может быть, он счел ответом свою книгу «Нищета философии», которую написал именно в январе-апреле 1847 г. Неизвестно также, сообщил ли Анненков Боткину о своей переписке с Марксом, но отношение Боткина к книге Прудона явно переменилось, о чем свидетельствует скептическая фраза в его письме к Анненкову от 29. III. 1847: «столько грозившая и обе-

¹⁰² П. В. Анненков <...>, стр. 535. Письмо к Анненкову от 29. III. 1847.

¹⁰³ Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, 1951, стр. 9—10.

¹⁰⁴ П. В. Анненков <...>, стр. 525.

¹⁰⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 27, стр. 401—412.

¹⁰⁶ Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, 1951, стр. 21—22.

щавшая «*Système des contradictions etc.*» — увы!! Les hommes vont vite!!»¹⁰⁷ Такая перемена — тоже свидетельство освобождения Боткина от утопических иллюзий.

Подобно Белинскому, Боткин и в русском славянофильстве усматривает эти иллюзии: «В славянском вопросе так, как он поставляется здесь, упущена только безделица — принцип политико-экономический и государственный; это есть не более, как романтические фантазии о сохранении национальных пред-рассудков».¹⁰⁸ Статью Ю. Самарина¹⁰⁹ он охарактеризовал как «мистико-общественный туман»,¹¹⁰ в книге Гакстауэна,¹¹¹ соприкасавшегося своими идеями со славянофильством, он увидел «романтические инстинкты немецкие».¹¹² И опять же, подобно Белинскому, Боткин счел заслугой славянофилов постановку вопроса о национальности (это — объективная реальность!) и критику космополитизма (это — абстрактная утопия!).¹¹³

Следование утопическому социализму усмотрел Боткин и в герценовской критике буржуазии.¹¹⁴ В дальнейшем, в связи с «Письмами из Avenue Marigny», Боткин станет говорить о «неопределенности» позиции Герцена.¹¹⁵ В этой критике было рациональное зерно: в мировоззрении Герцена 1847—1848 гг. можно было найти и социально-утопические элементы, и нечеткость положительной программы. Но вопрос в том, с какой точки зрения критиковал эти недостатки сам Боткин. Он считал, что его взгляд — позиция скептика, который восстает против любого увлечения. Поэтому он почти в каждом письме тех лет к Анненкову, Белинскому, Герцену подчеркивал, что он — не защитник буржуазии, видит ее «безобразия» и в России, и на Западе, но хочет заметить и достоинства этого сословия.¹¹⁶

Однако в действительности Боткин был не столько скептиком, сколько противником экстремизма, эклектиком-примири-

¹⁰⁷ П. В. Анненков и его друзья, СПб., 1892, стр. 536. Ср. сдержанно-скептическое отношение к утопическим гипотезам Прудона относительно проблемы народонаселения — в статье В. А. Милютина «Мальтус и его противники» («Современник», 1847, № 9, о. II, стр. 96—98) и положительную оценку этой статьи Белинским (XII, 408).

¹⁰⁸ П. В. Анненков <...>, стр. 530.

¹⁰⁹ М... З... К..., О мнениях «Современника» исторических и литературных, «Москвитянин», 1847, ч. 2, стр. 133—222.

¹¹⁰ «Лит. наследство», т. 62, М., 1955, стр. 40. Письмо к Герцену от 25. XI. 1847.

¹¹¹ A. Haxthausen, Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands, TT. 1—2 Hannover, 1847.

¹¹² «Лит. наследство», т. 62, стр. 40.

¹¹³ П. В. Анненков <...>, стр. 538. Ср. Белинский, X, 29.

¹¹⁴ П. В. Анненков <...>, стр. 542. Речь шла о письме Герцена к М. С. Щепкину от 23 (11). IV. 1847.

¹¹⁵ П. В. Анненков <...>, стр. 551; «Лит. наследство», т. 62, стр. 44, 46.

¹¹⁶ П. В. Анненков <...>, стр. 539—540, 542, 551; «Лит. наследство», т. 62, стр. 46.

телем. В нем в условиях напряженного развития общественной мысли предреволюционной поры впервые четко проявился *либерал* (хотя зародыши либерализма, мировоззренческие и психологические, были заметны и раньше). Он приветствовал «Перед грозой» Герцена за отсутствие произвольных решений, за показ сложности и запутанности современных социальных и исторических проблем: здесь он не встретил крайностей «Писем из Avenue Marigny».¹¹⁷ Подобная абберация вполне допустима в сложной обстановке: страстный поиск запутавшегося в противоречиях демократа можно было принять за скепсис эклектика.

Более того, Боткин явно лукавил, заявляя о своем «нейтралитете» по отношению к буржуазии. Действительно, он видел все мерзости сословия, и никак нельзя его назвать защитником мещанства, промышленного ли или торгового. Но как либерал он жаждал не обострения классовой борьбы, а, наоборот, примирения. Поэтому его заветной мечтой было «соединение сословий»; он с гневом обрушивается на купечество, пытавшееся обособиться, восторженно приветствует новое уложение русского правительства о выборах городского головы, по которому «сословия дворянское, купеческое, мещанское и цеховое сошлись вместе», мечтает об уничтожении крепостного права опять же с точки зрения «соединения сословий», так как тогда «торговые дома будут основываться дворянством, и оно выступит на поприще промышленности».¹¹⁸ Именно о такой надсословной, или вернее всесловной, буржуазии мечтал Боткин: «дай бог, чтоб у нас была буржуазия!»¹¹⁹ Все эти идеи ярко отразятся, как увидим ниже, в «Письмах об Испании».

Вместе с Грановским Боткин боялся и крайностей Белинского в его оценках буржуазии и ее роли в современной жизни Западной Европы, о чем он с тревогой сообщал Анненкову и самому Белинскому в письме от 9. VII. 1847.¹²⁰ В действитель-

¹¹⁷ «Лит. наследство», т. 62, стр. 45. Письмо к Герцену от 16. IX. 1848.

¹¹⁸ П. В. Анненков <...>, стр. 523. Письмо к Анненкову от 20. XI. 1846.

¹¹⁹ Там же, стр. 551. Эта знаменитая фраза давала повод ко многим истолкованиям. Вульгарно-социологическая трактовка, как мы видели, явно несостоятельна и не требует дополнительного опровержения. П. Б. Струве, будучи еще легальным марксистом, пытался увидеть в Боткине своего, т. е. марксистского, предшественника (Novus, На разные темы. II. Г. Чичерин и его обращение к прошлому, «Новое слово», 1897, кн. 7, апрель, стр. 56). Попытка совершенно нелепая. К стати сказать, Маркс в письме к Анненкову от 28. XII. 1846 высмеивал Прудона за стремление примирить все сословия (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 27, стр. 410) — а у Боткина точно такие же взгляды! В основном Боткин избавился от утопических иллюзий, возвысился даже до критики того же Прудона (впрочем критиковал его не как демократ и материалист шаткого идеалиста, а как более трезвый либерал либерала утопического), но в важнейшем социально-политическом вопросе о соотношении сословий впал в настоящую либеральную утопию о классовом мире.

¹²⁰ П. В. Анненков <...>, стр. 543.

ности, позиция Белинского в 1847 году была значительно более сложной и глубокой, чем у Боткина. Вначале он полностью согласился с Герценом, о чем последний писал Боткину.¹²¹ Но соглашение было достигнуто в результате долгих споров и уточнений; полемика, в которой приняли участие Белинский, Герцен, Анненков, Бакунин, Н. И. Сазонов (дело происходило в Париже в августе-сентябре 1847 г.), выявила, что политический «романтик» Бакунин является безоговорочным врагом буржуазии, остальные договорились, что Герцен слишком неопределенно употреблял термин «буржуазия»; Белинский отмечал, что необходимо различать буржуазию «в борьбе», когда она «не отделяла своих интересов от интересов народа», от буржуазии «торжествующей»; а главное — необходимо видеть разные слои этого сословия («крупные капиталисты» — «чума и холера»); негодуя на утопические теории, Белинский подчеркивал исторически прогрессивную роль буржуазии, несмотря на все ее минусы: «промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же — источник и великих благ для общества» (XII, 446—452; ср. X, 353—354). Таким образом, отношение Белинского к третьему сословию существенно отличалось от боткинского, но в последнем случае снова наметились точки соприкосновения: демократ с позиций историзма и диалектики видел объективно прогрессивное значение буржуазии для народа, а либерал, также не лишенный в то время исторического мышления, мог считать это за уступку «эклектизму» и за отсутствие «экстремы». Тем более позиции Белинского и Боткина имели основание сближаться в условиях феодальной России. Оба они горячо желали отмены крепостного права и оба думали в связи с этим о буржуазии. В конце жизни Белинский особенно близко подошел к Боткину. В письме к Анненкову от 15. II. 1848 он — почти «поботкински» — заявлял, что «всякий прогресс зависит» от третьего сословия и что «внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази» (XII, 468). Эту эволюцию заметил П. Б. Струве и предположил даже возможность влияния Боткина.¹²² Однако в таком важнейшем вопросе даже близкий приятель не мог бы повлиять, если общественная ситуация говорила о другом. А чрезвычайно реалистически мыслящий в ту пору Белинский ясно и твердо понял, что в условиях николаевской России народу нет возможности активно бороться за свое освобождение (между прочим, Белинский, очевидно, не заметил предреволюционного потенциала и во Франции в

¹²¹ А. И. Герцен, Собр. соч. в 30 тт., т. XXIII, М., 1961, стр. 52. Письмо от 31/19. XII. 1847.

¹²² Novus, На разные темы . . . , «Новое слово», 1897, кн. 7, апрель, стр. 56.

1847 году);¹²³ этим объясняются его резкие реплики в том же письме Анненкову относительно роли народа в истории и упование на буржуазию, от которой зависит «всякий прогресс» (XII, 468).¹²⁴

Еще раньше скептическое отношение к народу проявилось у Боткина, который писал Анненкову 20. III. 1847: «я не понимаю этого обожающего поклонения массам; я чувствую глубокое сострадание к их положению, <...> но это не мешает мне видеть все глубокое невежество масс. Говоря это, я имел в виду новую книгу Мишле,¹²⁵ по крайней мере то, что я знаю о ней».¹²⁶ Так и в этом вопросе в условиях николаевского режима сошлись мнения демократа и либерала (при этом один глубоко страдал от отсутствия революционности в русском крестьянстве, а другой был очень удовлетворен такой ситуацией).

Новые социально-политические воззрения Боткина, естественно, отразились на его литературно-эстетических взглядах. Не будет неожиданностью поэтому встретить у него явный утилитаризм в подходе к искусству: «Пока промышленные интересы у нас не выступают на сцену, до тех пор нельзя ожидать настоящей дельности в русской литературе»; Боткин радуется, что общая тенденция развития искусства соответствует этим идеалам; отмечает, что «сила русской литературы теперь главное состоит в идеологии», «остаётся только литературной критике освободиться от своего Молоха — художественности».¹²⁷ Приветствуя борьбу Анненкова с «червяком» — «позывом к художественности», Боткин добавляет: «Во мне гнезвился тот же червяк, но его выгнала парижская общественность и ее практический смысл».¹²⁸ Затем он огорчается, что П. Н. Кудрявцев в своих письмах о Лувре «все говорит о греческом и римском искусстве;

¹²³ См. П. В. Анненков, Лит. воспоминания, 1960, стр. 371.

¹²⁴ П. Б. Струве считал, что Белинский путает здесь две проблемы: о роли личности в истории и о борьбе за права личности («Новое слово», 1897, кн. 7, апрель, стр. 57—58). Но в данном случае речь идет лишь о роли личности и народа в истории. Буржуазия для Белинского в этом письме не «носителница культурного индивидуального начала», как думал Струве, а совокупность энергических личностей, способных вести государство к прогрессу, а народ — к освобождению.

¹²⁵ Имелась в виду книга: J. Michelet, Histoire de la Révolution française, t. 1, Paris, 1847. Интересно, что Боткин (очевидно, с чужих слов?) воспринял в книге Мишле главным образом выражение жалости, сострадания к угнетенному народу, а не идеи о роли народа в революции. Аналогично было отношение Белинского, который в письме к Анненкову от 29. IX. 1847, сетуя на отсутствие политических стремлений в народе, заключил: «это грустно, а похоже на дело, особенно по прочтении 1-го тома истории Мишле, где показано, кто во Франции-то сделал революцию?..» (XII, 402).

¹²⁶ П. В. Анненков и его друзья, СПб., 1892, стр. 533.

¹²⁷ П. В. Анненков и его друзья, СПб., 1892, стр. 521. Письмо к Анненкову от 20. XI. 1846.

¹²⁸ П. В. Анненков <...>, стр. 527—528. Письмо от 26. XI. 1846.

современность ни с какой стороны не касается его»¹²⁹ и т. д. Критикуя абстрактный характер гегелевской философии применительно к русской критике, Боткин рекомендует для последней «французский взгляд, то-есть взгляд, опирающийся на здравом смысле, истории, имеющий в виду множество, а не посвященных»; поэтому он хвалит Вал. Майкова, т. к. «этот человек не заражен немецкими теориями и получил французское образование»; но Боткин усматривает у него еще недостаток твердости взгляда и меткости ума; зато «последние статьи Белинского об «Онегине» в этом отношении очень хороши».¹³⁰ Главное здесь не в том, что Боткин целиком выводит основы мировоззрения В. Майкова из французской публицистики и позитивизма и притягивает сюда же статьи Белинского о Пушкине (носящие ярко выраженный общественный характер, вплоть до попыток связать особенности содержания «Евгения Онегина» с дворянской идеологией Пушкина); главное — вернувшись из-за границы, Боткин в 1846 — начале 1847 гг. еще полон социально-политического пафоса и «утилитарно» переносит свои принципы в область искусства. Но через несколько месяцев, в связи с бурным развитием в его сознании либерального эклектизма, он стал быстро отказываться от крайностей и в эстетической сфере. В письме к Анненкову от 24—25. VIII. 1847 он уже защищает «артистический элемент» и «прелесть бесцельности», отвергает доктринерство любого толка (в том числе и доктрину «чистого искусства!»), возвещает «свободу в чувствах и мыслях» и «терпимость».¹³¹

В этих условиях сложно развивались взаимоотношения Боткина с новой редакцией «Современника». В конце 1846 г. он с сочувствием относился к реорганизации журнала, отрицательно отзывался о Краевском.¹³² Некрасов и Белинский начали с Боткиным переговоры о его переезде в Петербург для редакционной работы в «Современнике»; видимо, речь шла о заведовании иностранным отделом: Боткин должен был отбирать статьи, подлежащие переводу на русский язык и помещению в журнале (см. Белинский, XII, 418—419). Но после одного разговора (в январе 1847 г.) с Некрасовым, где последний не проявил достаточно «терпимости» (Боткин заинтересовался, будут ли в отделе «Науки» публиковаться компиляции из иностранных источников, а Некрасов «жестко» ответил, что редакция хочет «помещать статьи преимущественно о России и оригинальные»), Боткин тотчас же переметнулся в «Отечественные записки», куда Краевский принял его с распростертыми объятиями в пику «Со-

¹²⁹ П. В. Анненков <...>, стр. 537. Письмо от 14. V. 1847.

¹³⁰ Там же, стр. 527. Ср. письмо Боткина к Краевскому от 3. IV. 1847. (Отчет ИПБ..., стр. 78).

¹³¹ Там же, стр. 546.

¹³² Там же, стр. 521.

временнику».¹³³ Белинский стыдил Боткина, требуя отказа от журнала Краевского (XII, 409), но тот примкнул к либеральному кругу Грановского, считавшего, что необходимо поддерживать и «Современник», и «Отечественные записки», как журналы прогрессивного направления. И Боткин стал делить свои симпатии между ними (кстати Краевский тоже звал его в Петербург, чтобы сделать работником редакции, но Боткин и на этот раз отказался, ссылаясь на свои занятия в торговле отца). Помощь его и той, и другой группе выразилась в присылке статей и в своеобразном посредничестве между редакциями и московскими авторами: Боткин вербовал сотрудников, рекомендовал те или другие статьи, темы и т. п. В глубине души Боткин, очевидно, был скорее всего на стороне Краевского. В письмах к последнему он восторгается «Отечественными записками», упрекает редакцию «Современника» за «зависть» и даже отмечает, что «не считал себя вправе критиковать» его, так как не видит «причин иметь симпатию» к этому журналу.¹³⁴ Однако Боткин здесь опять слукавил: в действительности, дружба с Белинским продолжалась, следовательно, продолжалось и внимание к «Современнику» и даже критика его недостатков в дружеской форме (что, по мнению Боткина, должно было означать симпатию). Боткин печатал в «Современнике» свои статьи и был для журнала московским «агентом» — не менее активным, чем для Краевского.¹³⁵

В связи с «двойной игрой» Боткина, между ним и Белинским завязывается интенсивная переписка (за 1847 г. сохранилось 14 писем Белинского и 3 письма Боткина, что составляет около половины всей переписки), в которой особенно интересны споры на литературно-эстетические темы. От Белинского, к концу жизни все усиливавшего гражданский пафос своей критики, не укрылась эволюция взглядов Боткина 1847 года от прямых общественных призывов — к «бесцельности» и «артистичности». Потому Белинский и дал ему известную характеристику: «Ты, Васенька, сибарит, сластена — тебе, вишь, давай поэзии да художества — тогда ты будешь смаковать и чмокать губами» (XII, 445; письмо от 2—6. XII. 1847). В сочетании с усилившимися либеральными тенденциями Боткина эти особенности не могли не обнаруживать существенных расхождений.

Некоторое сближение позиций наметилось впрочем по отношению к «Обыкновенной истории» Гончарова. В ответ на восторженный отзыв Белинского в письме к Боткину от 17. III.

¹³³ «Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 189. Письмо Боткина к Белинскому от 4. II. 1847.

¹³⁴ Отчет ИПБ..., стр. 73. Письмо от 4. III. 1847.

¹³⁵ П. В. Анненков <...>, стр. 543; Лит. наследство, т. 51/52, М., 1949, стр. 166—167. Письмо к Анненкову от 19. VII. 1847 и Некрасову и Панаеву от 22. VIII. 1847.

1847, последний в общем согласился, добавив, однако, что Гончаров — мастер «изящной легкости» рассказа, потому — «высокий беллетристический талант» (в отличие от истинного художника, который «всюду втирается в глубь и сущность») и что роман наносит удар не только по романтизму, но и по «арифметическому здравому смыслу».¹³⁶ Впервые после долгого перерыва Боткин негативно заговорил о буржуазной «практичности» и «здравом смысле»!¹³⁷ Последнее суждение Белинский повторил в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (см. X, 342). но относительно мастерства и легкости, наоборот, — счел эти особенности признаком «поэта-художника», приближающегося «к идеалу чистого искусства» (X, 326—327). Для Боткина истинный писатель-художник из-за своей серьезности и глубины «читается нелегко»,¹³⁸ поэтому больше удовольствия доставляет изящная (и умная впрочем) беллетристика; для Белинского же *художник*, т. е. сторонник «чистого искусства», именно не проникает вглубь; значительно интереснее поэтому писатели типа Герцена, которым «важен не предмет, а смысл предмета» (X, 319). Несомненно, Белинский предпочитал «Кто виноват?» «Обыкновенной истории», у автора которой «нет ничего, кроме таланта», а «нынешние писатели имеют еще нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта» (X, 327). Когда Боткин пребывал в периоде «политическом», он также чрезвычайно высоко оценивал «Кто виноват?», что видно из его письма к Герцену от 18. VIII. 1846: «давно я не читал ничего столь увлекательного. В каждом слове я чувствовал тебя, в каждой мысли, в каждом эпитете мне слышался твой живой голос. Конечно, плохая хвала повести — слышать в ней беспрестанно автора, но те достоинства, которые я в ней нахожу, я считаю для настоящего времени важнее всяких художественных».¹³⁹ Но в 1847 г. Боткин в основном восторгался «Обыкновенной историей», а о «Кто виноват?» говорил лишь вскользь.¹⁴⁰

Совершенно противоположным оказался подход к повести Григоровича «Антон-горемыка». Белинский прошел мимо идеа-

¹³⁶ «Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 190. Письмо от 27. III. 1847.

¹³⁷ Это не мешало, однако, Боткину касаться многих хозяйственных вопросов в «Письмах об Испании». Отметим также, что в то время как его литературные взгляды эволюционировали в сторону «чистого искусства», он мог еще выступить с сугубо экономической рецензией «Замечание на статью г. Маслова „Общий вывод из 25-летнего развития свеклосахарной промышленности в России“» (см. № 47 росписи).

¹³⁸ Возможно, к этой категории Боткин относил Достоевского, о котором оставил весьма интересный отзыв в том же письме к Белинскому: «у этого, при всей его тугости и смуте, есть глубокое чувство трагического» («Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 190).

¹³⁹ «Рус. мысль», 1892, № 8, стр. 9.

¹⁴⁰ См., например, его письмо к Герцену от 25. XI. 1847 («Лит. наследство», т. 62, М., 1955, стр. 40).

лизации, мимо длиннот, потрясенный разоблачением в повести пороков крепостного права: «читая ее, мне казалось, что я в конюшне, где благонамеренный помещик порет и истязует целую вотчину — законное наследие его благородных предков» (XII, 445; письмо к Боткину от 2—6. XII. 1847; ср. X, 347). А Боткин наверное остался недоволен повестью за «художественные» недостатки, как видно из того же письма Белинского (XII, 444—445).

С подобных различий начался и спор вокруг «Записок охотника». Первые рассказы Боткин встретил очень кисло. Тургенев — «ни художник, ни беллетрист»; в рассказе «Хорь и Калиныч» «явно видна придуманность; это идиллия, а не характеристика двух русских мужиков».¹⁴¹ Белинский сразу же ответил Боткину о несогласии с его оценкой этого очерка (XII, 360), а относительно подробно высказал свое мнение в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»; мучительно раздумывая о судьбе русского крестьянства, Белинский увидел в Хоре и Калиныче не идеализированных пейзаз, а носителей чрезвычайно важных для критика черт: первый — практический деятель, умевший «создать себе значущее положение при обстоятельствах весьма неблагоприятных»,¹⁴² второй — «поэтическая натура» в народе (X, 346). Другие рассказы из «Записок охотника», особо отмеченные Белинским в его обзоре, также имеют прямое отношение к проблеме крепостного рабства: «Бурмистр», «Однодворец Овсянников», «Контора», «Петр Петрович Каратаев» (X, 346). В частном письме к Анненкову Белинский еще выделил «Бирюк» и «Смерть» (XII, 467). Зато «нейтральные» очерки («Лебедянь», «Малиновая вода», «Уездный лекарь») ему очень не понравились (XII, 466). Боткин же, чем дальше, тем все более горячо хвалил «Записки охотника», без дифференциации: он сообщал Анненкову, что они доставили ему «истинное наслаждение», поэтому он совершенно разошелся «с мнением Белинского. Каждый из рассказов прекрасен по-своему <...>. Больше всего восхищает меня в них артистичность рисунка, поэтическое чувство природы, и, что важно, русской природы, и тонкая наблюдательность».¹⁴³ Даже о самых антикрепостнических рассказах «Записок охотника» — «Бурмистре» и «Конторе» — Боткин отозвался лишь с точки зрения «художествен-

¹⁴¹ «Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 190—191.

¹⁴² Для Белинского, вероятно, было очень важно тургеневское сопоставление Хоря с Петром Первым: он сам мечтал о появлении на Руси «нового Петра Великого» (XII, 468).

¹⁴³ П. В. Анненков и его друзья, СПб., 1892, стр. 555. Письмо от 17. II. 1848.

ственности»: «Какой артист Тургенев! Я читал их с таким же наслаждением, с каким, бывало, рассматривал золотые работы Челлини». ¹⁴⁴

Так расходились пути бывших друзей. До разрыва дело еще не дошло. Более того, споры носили пока именно дружеский характер. И Белинский, и Боткин прислушивались к мнениям оппонента и даже повторяли иногда удачное выражение или мысль товарища, если они соответствовали их взглядам. ¹⁴⁵ Но в целом принципы и методы все более и более разнились. Еще в феврале 1847 г. Белинский разозлился на Боткина за его призывы к «терпимости» и критику резкой статьи против «Выбранных мест...» Гоголя: в навязывании терпимости он увидел либеральную нетерпимость к чужому мнению! (XII, 340). В ответ на это Боткин заявил Анненкову, что «нашего друга время, кажется, миновалось» и противопоставил Белинскому «тонкого» Н. Ф. Павлова. ¹⁴⁶ А дальше споры и разногласия возникали все более явно, но их прекратила смерть Белинского, Февральская революция 1848 года, отразившаяся в России серией репрессий, еще более отшатнула Боткина в сторону либерализма. «Никто более его не испугался этого поворота (революции и ее последствий — Б. Е.), да поворот еще и укрепил в нем зародившееся настроение, так как оно могло служить некоторым образом щитом и охраной против подозрений в моральной склонности к утопиям». ¹⁴⁷

4:

В таких условиях готовились и печатались боткинские «Письма об Испании». Понять их содержание и изменения тем и мнений можно лишь при учете сложной эволюции Боткина за 1845—1849 гг. Ведь в основу текста были положены, очевидно,

¹⁴⁴ Там же, стр. 553—554. Письмо от 12. X. 1847.

¹⁴⁵ Например суждения Боткина о рецензии Н. Ф. Павлова на «Выбранные места» Гоголя: «Это образцовое критическое произведение», «превосходный язык — простой, дельный, и исполненный самой едкой колкости» («Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 190, письмо к Белинскому от 27. III. 1847); «Вот образцовая критика, критика, напоминающая манерой своей Вольтера: Павлов бьет Гоголя его же оружием» (Отчет ИПБ..., стр. 78; письмо к Краевскому от 3. IV. 1847) — эти суждения были печатно повторены Белинским в его последнем обзоре (X, 358). А мнение Белинского об отношении славянофилов к книге Гоголя (XII, 323—324; из письма к Боткину от 6. II. 1847) было в точности повторено Боткиным в письме к Анненкову от 20. III. 1847 (П. В. Анненков и его друзья, стр. 533).

¹⁴⁶ Там же, стр. 537. Ср. письмо Боткина к Краевскому от 3. IV. 1847 (Отчет ИПБ..., стр. 79).

¹⁴⁷ П. В. Анненков, Лит. воспоминания, 1960, стр. 331. О трусости Боткина и боязни попасть под подозрение после февраля 1848 г. см. также: А. Панаева, Воспоминания, Л., 1928, стр. 247—249. Ср. испуганное письмо Боткина к Краевскому от 13. IV. 1848 (Отчет ИПБ..., стр. 92—94).

реальные испанские письма автора 1845 г.,¹⁴⁸ затем, в 1846 году, начало цикла с исправлениями и дополнениями было подготовлено Боткиным для альманаха Белинского «Левиафан» (Белинский, XII, 269), напечатаны же «Письма об Испании» в «Современнике» — первые три из них в 1847 г., последние три — после революции, в 1848—1849 гг. В 1851 г. появился еще отдельный очерк, продолжающий цикл (см. №№ 48—50, 53—55, 60 росписи). Так что в этом произведении как бы отразился весь путь автора за вторую половину 1840-х годов.

«Дореволюционные» три письма в основном посвящены политическому и социальному положению современной Испании,¹⁴⁹ немалое место занимают также описания испанских женщин, природы, быта (в последних же трех помимо природы и женщин будет идти речь лишь об истории Испании).¹⁵⁰ Обилие глубоких суждений политического и экономического характера дало лишний повод П. Б. Струве считать Боткина чуть ли не учеником Маркса и чуть ли не предшественником марксизма в России.¹⁵¹ Особенно опирался Струве на следующую фразу из «Писем об Испании»: «Ничто не служит таким верным барометром степени просвещения, на какой находится общество, как его политико-экономическое устройство и его политико-экономические понятия, меры и распоряжения, и самое верное изображение цивилизации какой-либо страны было бы описание ее экономических отношений и учреждений <...> Англия доказала высокую степень своей цивилизации особенно тем, что поставила законы политико-экономические в основу своего государственного управления» (I, 160). Народник В. А. Мякотин

¹⁴⁸ См. публикацию «Отъезд В. П. Боткина в Испанию».

¹⁴⁹ Боткин еще подчеркивает это тем, что испанцы целиком поглощены политической борьбой: «кроме политики нет разговора <...> каждый принадлежит к какой-либо партии» (I, 43).

¹⁵⁰ Вначале Боткин предполагал написать для «Отечественных записок» особую статью «Взгляд на историю Испании за три последних века» (см. Белинский, XII, 411, 563): «содержанием ее будет истощение Испании правлением ее королей, из которых один другого ничтожнее и бессмысленнее» (Отчет ИПБ..., стр. 91; письмо к Краевскому от 19. XI. 1847), но, очевидно, боялся цензуры, которая и так пощипала его статью «Антонио Перес и Филипп II» (см. №№ 45, 46 росписи; о цензурном вмешательстве см. Отчет ИПБ..., стр. 90). Вероятно, некоторые исторические материалы, собранные Боткиным, и вошли позднее в текст «Писем об Испании». Интересно, что здесь будет много раз говориться именно о «трех веках» новой истории Испании (см. I, 44, 57 и др.; указано А. Звигильским). Круг чтения Боткина в этой области и влияние на него идей европейских историков Испании в данной работе не рассматриваются, т. к. требуют специального историографического исследования. Многие исторические и литературные источники, которыми пользовался (или мог пользоваться) Боткин, указаны в статье: М. П. Алексеев, «Письма об Испании» В. П. Боткина и русская поэзия, «Уч. зап. ЛГУ», сер. филол. наук, вып. 13, 1948, стр. 139—147.

¹⁵¹ Novus, На разные темы. II. Г. Чичерин и его обращение к прошлому, «Новое слово», 1897, кн. 7, апрель, стр. 50—51.

оказался дальновиднее легального марксиста Струве и верно заметил, что «для Боткина экономические идеи и учреждения являлись не причиной, а признаком известного состояния цивилизации».¹⁵² Впрочем сам Мякотин привел несколько примеров, из которых видно, что Боткин *иногда* признавал влияние экономических факторов на политическую жизнь: протест каталонцев против закона о рекрутстве он объяснил нуждой промышленной Каталонии в рабочих руках (I, 40—41); причину слабой революционной активности народа он усматривает в относительной материальной обеспеченности испанского крестьянина (I, 75); «торговые интересы» буржуа, отмечает Боткин, «требуют прежде всего неприкосновенности личности и собственности» (I, 150). Однако подобных *отдельных* суждений в домарксистской политической экономии и публицистике было высказано значительно больше, чем эти три-четыре примера из «Писем об Испании». Вырванное из контекста никогда не может объяснить систему и метод автора. Мякотин в полемике со Струве пытался сформулировать именно общие принципы Боткина: «политические и экономические порядки, мифология и искусство являются одинаково порождениями национального характера».¹⁵³ Но и это определение односторонне. Национальный характер, вообще, — национальность для Боткина — не первопричина; он понимал (и это не было уже новостью в середине XIX века!), что национальность создается и развивается исторически (I, 169). Первопричин Боткин просто не знает, чем и объясняются его откровенные заявления о «необъяснимости» некоторых исторических событий (I, 167) и даже всего современного состояния Испании (I, 68) или его скептические сентенции об истории, которая «не знает никакого другого права, кроме силы и хитрости» и о сомнительном прогрессе человечества (I, 91, 93). Если же Боткин и заводит речь о факторах, движущих историю, то ими оказывается типичный атрибут идеалистической методологии — *идеи*. «Три века правительственного безумства в Испании объясняются оторванностью знати от «идей современной себе цивилизации» (I, 44, 57, 129); зато влияние «философии

¹⁵² В. Мякотин, Новые слова о старых деятелях, «Рус. богатство», 1897, № 11, о. II, с. 98. Н. И. Пруцков, однако, считает Боткина «одним из предшественников струвианской ревизии марксизма» и апологетом буржуазии (Н. И. Пруцков, В. П. Боткин..., «Уч. зап. Грознен. педин-та», вып. 3, 1947, стр. 82—83, 86). Как видно, это чрезвычайно упрощенная и односторонняя характеристика. Впрочем подобный взгляд высказывался и раньше (см. В. М. Фриче, Русский социализм в художественной литературе, «Печать и революция», 1923, II, стр. 67—68). Неточно, хотя значительно более глубоко взгляды Боткина соотнесены с марксизмом и струвианством в книгах: Д. Рязанов, Карл Маркс и русские люди сороковых годов, Пг. 1918, стр. 97—98; П. Н. Сакулин, Русская литература и социализм, М., 1924, стр. 283—286.

¹⁵³ Там же, стр. 99.

эциклопедистов» повлекло за собой изменения в жизни страны (I, 82—84),¹⁵⁴ а с другой стороны автор отмечал, что одиначки-просветители оказывались совершенно бессильными перед лицом инквизиции (I, 85—87). Равнодушие испанского народа к политическим переворотам «наверху», к конституциям и т. п. объясняется в разных местах книги разными причинами: то бесчеловечным угнетением (I, 44, 57), то отсутствием в народе передовых идей (I, 57). Последним же обуславливается отсутствие в народе революционных настроений (I, 57), в то время как в другом месте речь шла о материальном довольстве (I, 75); это не помешало автору в третьем месте говорить, наоборот, о бедности испанцев и их участии в революционной борьбе: «Народу, привыкшему ко всякого рода лишениям, без промышленности, без торговли, нечего было терять в этих волнениях» (I, 129). Затем относительный классовый мир в Испании объясняется отличием ее истории от развития Франции и Англии: там сословная вражда происходит якобы от племенной ненависти покоренных к завоевателям,¹⁵⁵ в Испании же дворянство не было опришлым племенем (I, 69—70). Таким образом общий эклектизм Боткина применительно к истории оказался особенно заметным, и ему никак не удавалось свести концы с концами. Во всяком случае заманчивая формула «понятия, идеи совершенно обуславливаются общественностью, в которой поставлен человек» (см. прим. 96), на что тоже опирался Струве для доказательства «марксизма» Боткина, оказывается лишь нечеткой догадкой, не повлиявшей на методологию автора в целом.

Зато в «Письмах об Испании» есть интересные наблюдения о связи, вернее — о влиянии религиозных верований и идей на искусство арабов и испанцев (I, 94—95, 117—122). Раздел, посвященный Мурильо и вообще испанской живописи, был одобрен Белинским (XII, 453), но в нем содержатся суждения, которые имеют истоки в романтическом периоде автора и протягивают пунктирные нити к некоторым эстетическим идеям Боткина 1850—1860-х годов: он здесь отмечает у Мурильо отсутствие

¹⁵⁴ Ср. также удивление Боткина перед «фантастическим» возрождением арабских племен, «проснувшихся» «на голос Магомета» (I, 91—92).

¹⁵⁵ Идея о происхождении сословной борьбы во Франции и Англии из вражды пришедшего покорителя и завоеванного племени была подробно разработана О. Тьерри, хотя своими корнями уходит в XVIII век (см. М. А. Алпатов, Политические идеи французской буржуазной историографии XIX века, М.—Л., 1949, стр. 29—84; Б. Г. Рейзов, Французская романтическая историография, Л., 1956, стр. 75—102). Боткин, несомненно, был хорошо знаком с трудами О. Тьерри; в кругу его друзей серьезно изучались работы французского историка: Герцен перевел на русский язык «*Récits des Temps mérovingiens*» («Рассказы о временах меровингских», «Отечественные записки», 1841, № 2, о. II, стр. 45—63), не говоря уже о Грановском, штудировавшем Тьерри как специалист по средним векам.

«условного» и «типического» (понимаемого как синоним обобщенно-условного) и подчеркивает «свободу и смелость»; «Это природа во всей своей индивидуальности, яркой жизни, проникнутая поэзией сердца, идеальностью <...> восторженного чувства, экстаза» (I, 123). Уже здесь намечены некоторые соответствия с методом Ап. Григорьева, которые яснее будут замечены в середине 1850-х годов.

Наиболее тесной, однако, оказывается связь «Писем об Испании» с социально-политическими идеалами Боткина. Его «крен» в сторону либерализма не мог не отразиться в таком значительном произведении. И здесь, как и в частных письмах, чуть ли не главной идеей оказывается мечта о классовом мире и единстве, поэтому с таким упоением рассказывает Боткин об отсутствии яркого антагонизма народа и привилегированных сословий и даже об «уважении» аристократов к простым испанцам, об уверенности каждого нищего в своем равенстве с грандом (I, 49, 69, 81). Но Боткин не мог не видеть классовой и местнической вражды — он вынужден это признать, однако, говорит об этом мельком и явно осуждающе (I, 62—63). Он критикует феодальные пережитки и ссоры между провинциями (I, 39—40, 43, 149), из чего видно, насколько был чужд Боткину принцип независимых областей: он открыто выступал против федеративности за единство, за сильную централизованную власть (в этом он сходил с поздним Белинским). Неоднократно он сетует на притеснения, которые терпит промышленность и торговля, на неподвижность, заостренность перегородок и порядков, мешающих свободе торговли и хозяйственного развития (I, 62—63, 75, 81, 161, 166).

В сознании либерала вместе с идеей классового мира, равенства и «свободы», естественно, сочетаются понятия законности (см. I, 129, 130) и терпимости (I, 43, 93, 155, 199—200). Диалектика истории такова, что будучи во всех смыслах консервативной в периоды революционного подъема, терпимость (как и вся либеральная идеология в целом) в условиях деспотического строя содержала значительные позитивные элементы. И дело здесь не только в христианских призывах к милосердию, что, разумеется, тоже могло логически вытекать из либерального строя мышления. Главное в другом: при самодержавном режиме, насильно навязывавшем исключительно единую линию в политике, идеологии и т. п., легко было придти к выводу, что могут существовать и другие общественные устройства, психология, идеи, не зависящие от господствующих над автором начал. Подобный принцип позволил Боткину чуть ли не впервые в истории передовой русской мысли¹⁵⁶ так горячо выступить в

¹⁵⁶ Отношение русских революционных демократов к Востоку было значительно более сложно: эта тема еще ждет своего объективного исследователя.

защиту народов Востока: «Европейская цивилизация хвалится общечеловеческими элементами; но отчего она с такими тяжкими насилиями прокладывает себе путь? Отчего эти миллионы народов, живущих возле нее, не только не чувствуют к ней никакого влечения, но соглашаются лучше погибнуть, нежели принять ее? <...> Может быть, этой цивилизации недостает еще многого, может быть, она должна совершенно преобразиться, для того чтоб пристали к ней Азия и Африка, <...> у миллионов народов Азии и Африки жизнь сложилась совершенно противоположно европейским стремлениям» (I, 193—194). Очевидно далее следовали еще более резкие суждения о притеснениях восточных народов европейцами (может быть, Боткин заговорил об угнетенных окраинах России?) — но цензурное вмешательство вырвало эту часть текста (I, 199—200). Цензурный характер многоточия бесспорен: разрушена логическая связь отрывков.¹⁵⁷ Показательно, что данные мысли высказаны Боткиным в последних статьях цикла, относящихся к 1849—1851 гг., т. е. к самому свирепому периоду из «мрачного семилетия».

Страстная защита самостоятельности народов Азии и Африки, в частности арабов, имела и другой смысл. Либерал — противник разрушения, ликвидации, сторонник сущего, *statu quo*, сторонник сохранения традиций. Исторически сложившаяся самобытность народа не только вызывает в нем логические ассоциации о праве, но и привлекает как экзотика, как оригинальное явление, ни на что не похожее. Этим объясняются такой повышенный интерес Боткина к национальной специфике Испании, чувствуемый на протяжении всего цикла статей, и то грустное сожаление, с которым автор говорит о проникновении европейской (для нас — буржуазной) цивилизации в испанские нравы и о постепенном уничтожении национальной экзотики (I, 155). Боткин желал бы не замены одного другим, а слияния: он жаждет проникновения «народности» в передовые слои общества — и, соответственно, — цивилизации — в народную массу (I, 62).

На испанский народ он возлагает большие надежды. Боткина-идеолога очень привлекают его национальные черты: «Всего более заставляет верить в будущность Испании редкий ум ее народа. Когда имеешь дело с людьми из простого народа, со-

¹⁵⁷ Последние статьи цикла, очевидно, в целом мало пострадали от цензуры, так как не содержали острого и злободневного политического материала, зато относительно 1-го письма имеются сведения о существенном искажении текста (Белинский, XII, 337, 348, 349—350; «Лит. наследство», т. 51/52, М., 1949, стр. 167). В 1856 г. при переиздании цикла отдельной книгой цензор В. Н. Бекетов намеревался заново произвести цензурные поправки, но затем согласился с выпуском статей в первоначальном виде (Тургенев и круг «Современника», М.—Л., 1930, стр. 390).

вершенно лишенными всякого образования, невольно изумляешься их здравому смыслу, ясному уму, легкости и свободе, с какими они объясняются» (I, 59); Боткину — любителю искусств нравится поэтическая натура испанца, богатство его народной поэзии (I, 279); характерно, что и в манерах, психологии, и в искусстве испанцев Боткин подчеркивает *свободу*, понимаемую не только как непринужденность, но и как отсутствие европейской (цивилизованной) условности, скованности форм и обычаев (I, 140—143); наконец, Боткина-«сенсуалиста» не может не прельщать искренность и свобода чувства, господствующие в испанских нравах, «обожание тела» (I, 138, 152—153).

Если ко всему сказанному еще учесть, что большую часть «Писем» Боткин писал в обстановке революционных потрясений в Европе, репрессий и страха в России, то вполне понятно, что Испания вырисовывалась чуть ли не землей обетованной, где человек, уставший от европейской суеты,¹⁵⁸ может насладиться в идиллическом окружении: «Минута блаженства есть минута немая. Представьте же себе, что эта минута длится для меня здесь вот уже три недели. В голове у меня ни мыслей, ни планов, ни желаний; <...> мне кажется, я растение, которое из душной, темной комнаты вынесли на солнце: я тихо, медленно вдыхаю в себя воздух, часа по два сижу где-нибудь над ручьем и слушаю, как он журчит, или засматриваюсь, как струйка фонтана падает в чашу... Ну что, если б вся жизнь прошла в таком счастье!» (I, 283).

Начал Боткин свои «Письма об Испании» с изложения бурных политических событий в стране, а кончил буддийской нирваной (приведенная цитата — заключительные строки цикла). Естественно, что сложность содержания давала возможность представителям самых различных литературных групп и вкусов находить в произведении дорогое и близкое, чем и объясняется большой успех цикла.¹⁵⁹

Белинский очень тепло отзывался о «Письмах» (X, 353; XII, 410—411, 453), с одной лишь оговоркой: «Жаль только, что уничтожение монастырей и истребление монахов у тебя являются как-то вскользь, а об андалузках и обожании тела подробно» (XII, 453). С другой стороны, сочувственно встретил цикл Го-

¹⁵⁸ Это не мешало Боткину постоянно жаловаться в «Письмах» на отсутствие в Испании комфорта и тонких яств; с восторгом описывал он свой приезд в английские владения: «Я никогда не забуду той неги, которая разлилась по всему моему существу, когда столько месяцев живя в грязных испанских фондах, я в Гибралтаре увидел себя в превосходной английской гостинице, чистой, с прекрасной постелью, исполненной всех самых мелких удобств, по-видимому, излишних, но удивительно способствующих к изящному ощущению жизни» (I, 175).

¹⁵⁹ См. М. П. Алексеев, ук. статья, стр. 150.

голь, увидевший в произведении «смирренность» и близкие ему идеи противопоставления цивилизации и «простого народа».¹⁶⁰

Когда в 1857 г. «Письма об Испании» были изданы отдельной книгой (см. № 72 росписи), им посвятили большие и хвалебные статьи-рецензии революционный демократ Чернышевский, сделавший из идей Боткина соответствующие социально-политические выводы, и весьма умеренный либерал Дружинин, с удовольствием подчеркивавший консерватизм Боткина и его любовь к искусству.¹⁶¹ А Гончаров, как уже отмечал М. П. Алексеев, вспомнил автора «Писем об Испании» с третьей точки зрения: «Dahin бы, в Гренаду куда-нибудь, где так умно и изящно путешествовал эпикурец Б<откин>, умевший вытянуть до капли всю сладость испанского неба и воздуха, женщин и апельсинов, — пожить бы там, полежать под олеандрами, тополями».¹⁶²

Но «Письма об Испании» еще не были последним произведением Боткина, дающим повод к таким различным истолкованиям.

Приложение

БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ В. П. БОТКИНА

Единственная библиография сочинений Боткина («Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском университете», М., 1911, с. 38) включает всего 18 названий и содержит ошибки и неточности. Полная библиография составлена впервые. В основу принят хронологический принцип (с некоторыми нарушениями в пределах года ради группировки вместе статей одного журнала). Имя автора воспроизводится точно так, как оно фигурировало в публикации; затем следует название труда, в заключение (в случае периодики) в обычных скобках указываются номер, дата (для газет), отдел, страницы.

Если статья подписана псевдонимом, раскрываемым с помощью словаря И. Ф. Масанова, то объяснение отсутствует. При неизвестных псевдонимах и при анонимных статьях атрибуция выносится в подстрочные примечания, где приняты следующие сокращения:

Белинский — В. Г. Белинский, Полн. собр. соч. в 13 тт., М., 1953—1959.

Боград — В. Э. Боград, Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания. М—Л., 1959.

Боткин — В. П. Боткин, Соч., тт. I—III, СПб., 1890—1893.

ИРЛИ — рукописный отдел Института русской литературы АН СССР.

¹⁶⁰ Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. XIII, 1952, стр. 359, 363.

¹⁶¹ См. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, М., 1948, стр. 222—245; А. В. Дружинин, Собр. соч., т. 7., СПб., 1865, стр. 381—414.

¹⁶² И. А. Гончаров, Собр. соч. т. 5, М., 1952, стр. 72. Сходно с этим оценивал Боткина периода 1846—1848 гг. Кавелин: «Боткин действительно возвратился в мое время из-за границы смакующим буржуем, падким до тонких наслаждений и закрытым наглухо для социальных стремлений того времени». Подобную же одностороннюю характеристику Боткина Кавелин вкладывал в уста Белинскому, что не соответствует действительности (К. Д. Кавелин, Собр. соч., т. III, СПб., 1899, столб. 1095).

Кулешов — В. И. Кулешов, «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века, М., 1958.

Отчет ИГБ — Отчет имп. Публичной библиотеки за 1889 год, СПб., 1893, Приложения.

Сочинения В. П. Боткина, изданные в 1890—1893 гг. без всяких комментариев и научного аппарата, включают несколько статей, относительно которых нет других свидетельств о принадлежности их автору. Из них в список включены лишь те статьи, о которых у нас нет данных, что они принадлежат другим лицам; в последнем же случае они рассматриваются в разделе «Ошибочно приписанные В. П. Боткину статьи». Статьи, вошедшие в «Сочинения», сопровождаются в росписи ссылкой не только на первую публикацию, но и на том и страницы «Сочинений» (набрано курсивом после ссылки на журнал).

«Телескоп» 1836

1. В. Б. Русской в Париже (1835). Из путевых записок (№ 14, с. 231—247). I, 3—12.

«Молва» 1836

2. Б. В.¹ Письмо из Нижнего (№ 14, с. 45—48).

3. <Б. В.²> Первый отчет об успехах железной дороги из СПбурга в Царское Село и Павловск. Ф. А. Герстнера. М. <...> 1836 <...> (№ 14, с. 58—61).³

4. <Б. В.> Двадцать восемь пословиц. Чтение для русских детей. М. <...> 1836 <...> (№ 14, с. 61).

5. <Б. В.> Как знать, что случится (Ni jamais ni toujours). Роман Поль-де-Кока. СПб. <...> 1836. Четыре части <...> (№ 14, с. 62).

6. <Б. В.> Он и она. Роман М. Воскресенского. Четыре части. М. <...> 1836 <...> (№ 14, с. 62—63).

7. Б. В. Стихотворения Аполлона де ***. М. <...> 1836 <...> (№ 14, с. 63—64).

8. Б. Государственная внешняя торговля 1835 года в разных ее видах. СПб. 1836 (№ 15, с. 69—75).⁴

9. В. Серапионовы братья. Собрание повестей и сказок. Сочинение Э. Т. А. Гоффмана. Перевод с немецкого И. Бессомыкина. М. <...> 1836. Восемь томов <...> (№ 15, с. 76—79).⁵ III, 156—158.

10. <Б. В.> Иоанна Грей, королева английская, павшая под секирою палача. Роман истор. XVI века, соч. Бротта. М. <...> 1836. Четыре части <...> (№ 15, с. 79—80).

¹ Инверсированный криптоним (вместо обычного «В. Б.») взят, очевидно, для того, чтобы читатели не спутали автора с В. Г. Белинским, который свои статьи в «Молве» подписывал «В. Б.».

² В библиографическом отделе «Молвы» в случае ряда рецензий одного автора было принято ставить подпись под последней из них, все же предыдущие набирались без отбивок между собою (ср. аналогичные группы статей Белинского в «Молве», 1836, №№ 1—3, 5—9, 11 12). Поэтому подпись при № 7 нашей росписи относится и к №№ 3—6, при № 15 — к 10—14, при № 20 — к 16—19.

³ Рецензия начинается фразой: «Мы писали о первой брошюрке о предприятии Г. Герстнера», на основании чего можно бы предположительно приписать Боткину рецензию на кн. «О выгодах построения железной дороги из СПбурга в Царское Село и Павловск <...> Соч. Ф. А. Герстнера», СПб. <б. г.> (№ 10, с. 278—285); но статья анонимна, данные об участии Боткина в № 10 «Молвы» отсутствуют.

⁴ Приписывается по тесной связи с идеями статьи № 2.

⁵ Боткин, III, 156—158.

11. <Б. В.> Игра судьбы, или Отец поневоле. Соч. А. Е-р-ова. М. <...> 1836. Две части <...> (№ 15, с. 80—82).
12. <Б. В.> Таблицы игор в простые шашки, служащие введением в общую правильную игру в шашки. Сочиненные любителем цифр. М. 1836 <...> (№ 15, с. 82—83).
13. <Б. В.> Бабушкины внуки, или Праздник в селе Покровском. Интермедия. Сочин. Ланского. М. <...> 1836 <...>
- Беглец, повесть в стихах А. Вельтмана. Изд. 2 <...> М. <...> 1836 <...>
- Красавица и чудовище, волшебная нравоучительная повесть. Перевод с английского. М. <...> 1836 <...>
- Брак в царствование Петра I. Историч. повесть начала XVIII столетия. М. <...> 1836 <...> (№ 15, с. 84—86).
14. <Б. В.> Таблицы логарифмов чисел и тригонометрических линий. Сост. Лаландом. Издан. стереотипное. М. <...> 1836 <...> (№ 15, с. 87).
15. Б. В. Басни и сказки К. Цимбалы. В пяти книгах <...> СПб. <...> 1836 <...> (№ 15, с. 87—89).
16. <Б. В.> Энциклопедический лексикон. Том шестой. Бин-Бра. СПб. <...> 1836 <...> (№ 16, с. 105—108).
17. <Б. В.> Учреждение товарищества для устройства на складочный капитал бумагопрядильной мануфактуры Калужской губернии Мосальского уезда в селе Жуковке. М. <...> 1836 <...> (№ 16, с. 108—113).
18. <Б. В.> Второй отчет об успехах железной дороги из СПбурга в Царское Село и Павловск. М. <...> 1836 <...> (№ 16, с. 113—115).
19. <Б. В.> Смерть Наполеона, или Расстрелянный шпион. Исторический роман в драматических картинах. М. <...> 1836. Две части <...> (№ 16, с. 115—117).
20. Б. В. Сумасшедший, или Желтый дом. Нравственно-сатирический роман XIX века. М. <...> 1836. Три части <...> (№ 16, с. 117—118).

«Московский наблюдатель»

1838

21. В. Б-н. Концерт Леопольда фон Мейера в зале Петровского театра 7 марта (ч. XVI, март, кн. 1, с. 170—174). III, 22—24.
22. В. Б-н. Оле-Буль. Брейтинг. Sing-Academie (ч. XVI, март, кн. 2, с. 325—334). III, 25—31.
23. Дон Жуан. Происшествие, случившееся с путешествующим энтузиастом (Из Гофмана) (ч. XVI, апрель, кн. 2, с. 546—564).⁶
24. Моцарт (ч. XVI, апрель, кн. 2, с. 571—598).⁷ III, 3—21.
25. Об акте и выставке в Московском дворцовом архитектурном училище (ч. XVII, июнь, кн. 1, с. 413—417).⁸ III, 85—88.
26. Роберт. Г-жа Крей в роли Изабеллы (ч. XVIII, июль, кн. 1, с. 123—129).⁹ III, 32—35.
27. Крейслер (Из Гофмана). С немецкого В. Б-н (ч. XVIII, июль, кн. 2, с. 144—189).

1839

28. В. Б-н. Отрывки из дорожных заметок по Италии (ч. I, январь, кн. 1, о. II, с. 195—224).¹⁰ I, 13—28.

⁶ Авторство Боткина как переводчика раскрыто: Белинский, XI, 261.

⁷ Там же. В конце статьи имеется указание: «переделано с французского».

⁸ Боткин, III, 85—88.

⁹ Белинский, XI, 202, 632.

¹⁰ В словаре Масанова нет ссылки на 1839 г., но криптоним настолько очевиден, что не требует дополнительных доказательств.

«Отечественные записки»

1839

29. Похоронная песня Иакинфа Маглановича. Слова Пушкина, музыка Лангера. М. 1839 (№ 11, о. VII, с. 87—91).¹¹
30. -н. Итальянская и германская музыка (№ 12, о. IV, с. 1—16).¹² III, 35—45.

1840

31. <Перевод В. П. Боткина?> Э. Т. А. Гофман как музыкант. (Статья Иеронима Труна) (№ 3, о. II, с. 1—34).¹³
32. Четыре новые драмы, приписываемые Шекспиру. (Статья Рётшера) (№ 11, о. II, с. 1—24).¹⁴ II, 225—255.
33. Один из посетителей выставки. Выставка картин в Московском архитектурном училище (№ 11, о. VII, с. 23—27).¹⁵ III, 88—95.

1841

34. В. Боткин. Женщины, созданные Шекспиром. Юлия и Офелия <предисловие, затем — перевод двух разделов книги «Shakespear's Female Characters by M-rs Jameson» > (№ 2, о. II, предисловие — с. 64, перевод — с. 65—92). II, 170—204.
35. <Переделка В. П. Боткина? Авторы труда — Барро и Дарагон> Альбигойцы и крестовые против них походы в XIII столетии. (С франц. А. Шумилова) (№ 6, о. II, с. 79—122; № 7, с. 1—38).¹⁶

1842

36. История древней философии, приспособленная к понятию каждого образованного человека. Карла Зедергольма <...>. М. <...> 1842 <...> (№ 3, о. VI, с. 4—7).¹⁷ II, 394—398.
37. Шекспир. С английского Н. Кетчера. Выпуск 7 и 8. Генрих VI. Части 2 и 3. М., 1842 <...> (№ 4, о. VI, с. 32—33).¹⁸ II, 162—164.
38. В. Б-н. Письмо из Италии. Рим. Октября 29-е, 1841 (№ 4, о. VIII, с. 97—100).¹⁹ I, 29—34.
39. В. Б-тк-н. Шекспир как человек и лирик (№ 9, о. II, с. 24—40). II, 204—225.
40. В. Б-н. Выставка императорской Санктпетербургской академии художеств в 1842 году (№ 11, о. II, с. 25—46). III, 95—123.

1843

41. В. Б-н. Германская литература (№ 1, о. VII, с. 1—15). II, 255—275.
42. В. Б-тк-н. Германская литература (№ 2, о. VII, с. 35—50). II, 164—170; 275—290.

¹¹ Письмо А. А. Краевского к И. И. Панаеву от Х. 1839 (И. И. Панаев, Литературные воспоминания, 1950, стр. 190).

¹² Белинский, XI, 434, 440, 507.

¹³ Приписано безоговорочно: Белинский, XIII, 435, со ссылок на Белинский, IV, 442. Но там, в обзоре «Русская литература 1840 г.» дан лишь перечень анонимных статей, без атрибуции. Лишь на основании того, что данная статья упомянута вместе с № 32 в этом перечне, а также при учете постоянного интереса Боткина к Гофману и музыке, можно предположительно атрибутировать статью.

¹⁴ Кулешов, 347 (с ошибочной датировкой письма Белинского — нужно 28. VI. 1841).

¹⁵ Белинский, XI, 581—582.

¹⁶ Кулешов, 375.

¹⁷ Кулешов, 377 (ошибочно: № 2 вместо № 3).

¹⁸ Кулешов, 377.

¹⁹ Ошибочно зачислена в группу неопубликованных статей В. П. Боткина: Белинский, XIII, 436.

43. Германская литература (№ 4, о. VII, с. 35—64).²⁰ II, 290—324; III, 167—171.

1844

44. Галерея женщин Жорж-Занда <...> 1843 <...> (№ 2, о. VI, с. 63—67).²¹ III, 158—164.

1847

45. Антонио Перес и Филипп II. Соч. Минье. Статья 1 (№ 10, о. II, с. 41—66).²² III, 172—204.

46. <То же> Статья 2 (№ 11, о. II, с. 1—33). III, 205—246.

«Московские ведомости» 1847

47. N. N. Замечание на статью г. Маслова «Общий вывод из 25-летнего развития свеклосахарной промышленности в России» (№ 84, 15. VII, с. 652—653).²³

«Современник»

1847

48. В. Боткин. Письма об Испании. I (№ 3, о. II, с. 32—62). I, 36—68.

49. <То же> II. (№ 10, о. II, с. 148—190). I, 68—114.

50. <То же> III (№ 12, о. II, с. 81—112). I, 114—146.

1848

51. Современные заметки (№ 2, о. IV, с. 156—162).²⁴

52. <В. Боткин — переводчик? Автор — Ш. Мазад> Испанский юморист Ларра (№ 3, о. IV, с. 1—28).²⁵

53. В. Боткин. Письма об Испании. IV (№ 11, о. II, с. 27—48). I, 146—170.

1849

54. <То же> V (№ 1, о. II, с. 37—66). I, 170—201.

55. <То же> VI (№ 11, о. II, с. 1—30). I, 202—233.

«Отечественные записки» 1850

56. В. Боткин. Об эстетическом значении новой фортепьянной школы (№ 1, о. II, с. 49—68). III, 61—84.

«Современник»

1850

57. В. Боткин. Итальянская опера в Петербурге в 1849 году (№ 1, о. VI, с. 86—100). III, 45—60.

58. В. Б. Русские второстепенные поэты. II. Н. П. Огарев (№ 2, о. VI, с. 158—175). II, 335—351.

59. Итальянская опера (№ 2, о. VI, 2-я паг., с. 84—87).²⁶

²⁰ Кулешов, 378.

²¹ Боткин, III, 158—164. В списках А. Д. Галахова отмечено, что В. П. Боткин в 1842 г. взял на рецензию «Женщины Жорж Занда», а в 1843 — «Галерея женщин Жорж Занда, тетради 7 и 8» (ИРЛИ, ф. 419, № 52, лл. 22 об. — 23). В «Отеч. записках» 1842—1843 гг. лишь однажды говорилось об издании «Галереи» (1843, № 1, о. VI, с. 37—38). Но это не рецензия, а краткое библиографическое известие. Единственная же рецензия — данная статья. Она появилась в журнале через полгода после отъезда Боткина за границу, очевидно, по цензурным причинам.

²² Кулешов, 384.

²³ Отчет имп. Публичной библиотеки за 1889 г., СПб., 1893, Приложения, с. 87.

²⁴ Бюград, 86, 489. Статья была правлена цензором А. В. Никитенко.

²⁵ Бюград, 88, 490.

²⁶ Бюград, 141, 501.

1851

60. В. Боткин. Гранада и Альамбра (№ 1, о. II, с. 73—120). I, 233—283.

«Санктпетербургские ведомости» 1852

61. В. Боткин. Литературная диковица (Письмо к редактору) (№ 7, 9. I).

«Современник»

1853

62. Литература и театр в Англии до Шекспира (№ 11, о. II, с. 1—62).²⁷ II, 64—128.

1855

63. В. Б-н. Первые драматические опыты Шекспира (№ 3, о. II, с. 1—36). II, 129—162.

64. Заметки о журналах за июль месяц 1855 года (№ 8, о. V, с. 265—270).²⁸

65. В. Б-н <автор предисловия (с. 92—93) и перевода (с. 94—118)> О героях и героическом в истории. Соч. Т. Карлейля (№ 10, о. II, с. 92—118). II, 3—29.

66. В. Боткин. Выставка в императорской Академии художеств. Октябрь 1855 года (№ 11, о. II, с. 73—82). III, 123—132.

1856

67. В. Боткин. Героическое значение поэта. Дант. (Из Т. Карлейля) (№ 1, о. II, с. 33—54). II, 29—50.

68. В. Б. Героическое значение поэта. Шекспир. (Из Т. Карлейля) (№ 2, о. II, с. 92—104).²⁹ II, 50—63.

69. Заметки о журналах. Декабрь 1855 и январь 1856 года (№ 2, о. V, с. 205—210).³⁰

1857

70. В. Боткин. Стихотворения А. А. Фета. СПб., 1856 (№ 1, о. III, с. 1—42). II, 352—394.

«Журнал садоводства» 1857

71. В. Боткин. Об употреблении розы у древних (№ 4, с. 244—256). II, 325—335.

72. Письма об Испании В. П. Боткина. СПб., 1857. IV, 449 с. I, 35—283.

«Современник» 1858

73. Петербургская жизнь. Заметки Нового Поэта <Отзыв об А. А. Иванове> (№ 3, о. II, с. 84—85).³¹

«Русский вестник»

1859

74. В. Боткин. Приюты для бездомных нищих в Лондоне (март, кн. 2. Современная летопись, с. 38—56). I, 319—338.

²⁷ Бюград, 230, 574.

²⁸ Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. 10, М., 1950, с. 748. Боткину принадлежит текст от слов «Лучшая статья в этом номере...» до «...новым женским талантом». Остальной текст «Заметок» принадлежит Некрасову.

²⁹ Бюград, 290, 588.

³⁰ Н. А. Некрасов, ук. том, с. 763. Боткину принадлежит характеристика Т. Карлейля, вставленная в текст Некрасова.

³¹ Бюград, 336, 548. Осторожный автор приписал Боткину отрывок предположительно, но использованные им документы неопровержимо доказывают принадлежность отрывка Боткину.

1860

75. В. Боткин. Две недели в Лондоне (январь, кн. 1 и 2, с. 297—333). I, 284—318.

«Московские ведомости» 1863

76. В. Боткин. Публичные чтения Диккенса в Париже (№ 25, 31. I).³²

1863—1864

77. <Совместно с А. А. Фетом> <Статья о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?»>³³

1865

78. В. Боткин <То же, что № 62> (Шекспир, Полное собрание драматических произведений, т. I, СПб., с. IX—XLVI).³⁴ II, 64—128.

«СПб. ведомости» 1869

79. В. Боткин. Письмо к редактору (№ 214, 6. VIII, с. 1).

80—82. В. Боткин. Сочинения, тт. I, II, III, СПб., 1890, 1891, 1893.³⁵

Несохранившиеся работы В. П. Боткина

1. Перевод учебника всеобщей истории Шмита.

Боткин в 1837 г. помогал М. А. Бакунину переводить этот труд, получив какую-то часть книги, но «сделал половину», как писал он Бакунину 26. VII. 1837 (ИРЛИ, ф. 16, оп. 9, № 23, л. 5). Источником, очевидно, служила книга: E. A. Schmidt, Grundriß der neuern Geschichte, für Gymnasien und andere höhere Lehranstalten und zum Selbstunterricht, Berlin, 1832.

2. Перевод книги: O. G. Marbach, Ueber moderne Literatur. In Briefen an eine Dame, Leipzig, 1836.

Боткин переводил книгу в конце 1837 г.; отрывок о 2-й части «Фауста» предполагал опубликовать в «Московском наблюдателе» 1838 г., но статья не была пропущена цензурой (см. Белинский, XI, 189, 374; А. В. Кольцов, Полн. собр. соч., СПб., 1911, с. 189).

3. Статья о папах.

«Статья о папах, которую я перевел, не пропущена цензурой» (письмо Боткина к М. А. Бакунину от 1. XI. 1838 (ИРЛИ, ф. 16, оп. 9, № 23, л. 35)).

4. «Ряса монаха».

Боткин осенью 1839 г. перевел под этим заглавием какое-то произведение западно-европейской литературы и послал перевод Белинскому (Белинский, XI, 420; предположения об оригинале см. XI, 672, прим. 41).

5. Статья о Прометее.

³² С сокращением текст перепечатан Л. Ланским в газ. «Неделя», 1960, № 16, с. 10.

³³ Статья не была напечатана при жизни Боткина. Она опубликована Г. Волковым: «Лит. наследство», т. 25/26, М., 1936, с. 485—532. Там же, во вступительной статье Ю. Стуклова (с. 477—484) и в комментариях Г. Волкова (с. 533—544) подробно говорится об истории статьи и о степени участия в ней Боткина.

³⁴ Статья была также перепечатана во 2—5 изданиях «Полного собрания драматических произведений» Шекспира: 2) т. I, СПб., 1876, с. 1—36; 3) т. 3, СПб., 1880, с. 5—42; 4) т. 3, СПб., 1888, с. 5—41; 5) т. 3, СПб., 1899, с. 5—41.

³⁵ Первоначально «Сочинения» печатались в журнале «Пантеон литературы»: т. I — 1890, №№ 1—11/12; т. II — 1891, №№ 1—3; т. III — 1893, №№ 1, 2, 4.

«Что твоя статья о Прометее? — она ужасно интересует меня» (письмо Белинского к Боткину от 1. II. 1841; Белинский, XII, 28). Специальная статья Боткина о Прометее не появилась. Вероятно, материалы к ней были включены им в обзор «Германская литература», где он рецензировал книгу: G. Weiske, Prometheus und sein Mythenkreis <...>, Leipzig, 1842 («Отч. записки», 1843, № 2, о. VII, с. 43—50; Боткин, II, 280—290).

6. Статья о драме Шекспира «Король Иоанн».

Боткин писал Белинскому 18. VII. 1841: «Скропал, братец, я статью в «Критику» — о «Короле Иоанне». Пустая и глупая статья, которая надоела мне хуже моей болезни. — Попроси Краевского марать ее, сколько вздумается душе» («Лит. мысль», II, Пг., 1923, с. 180); ср. в письме Боткина к Краевскому от 18. VII. 1841: «Получили ли всю статью мою о короле Иоанне <...?>» (Отчет ИПБ, с. 35). Не следует путать эту статью с аналогичной краткой рецензией (см. «Ошибочно приписанные В. П. Боткину статьи», № 3): Боткин говорит в письмах о большой статье, подготовляемой для отдела «Критика».

7. Статья о греческой мифологии.

Боткин сообщал Краевскому 9. II. 1842: «пишу „Взгляд на содержание и значение греческой мифологии“. Много нужно рыться в книгах, труд не легкий, но зато любезный душе. Полагаю, что месяца через два кончу» (Отчет ИПБ, с. 38).

8. «Взгляд на Испанию за три последние века».

См. Белинский, XII, 411. Ср. в письме Боткина к Краевскому от 19. XI. 1847: «Не торопите, пожалуйста, меня статьюю об Испании. Эту работу должно сделать добросовестно и прочесть много книг и даже одну выписать. Но вот еще одно соображение: если Крылов <цензор> останется у О.З., то мне за статью мою и приниматься нечего, потому что содержанием ее будет истощение Испании правлением ее королей из которых один другого ничтожнее и бессмысленнее» (Отчет ИПБ, с. 90—91).

9. Незвестная статья для издания А. В. Дружинина.

Боткин писал к Н. Ф. Крузе 23. II. 1861: «I was at that time much occupied with an article I was writing for a newspaper of Mr Drougin <in>s» (ИРЛИ, 26234. CLXXXVIII б. 2, л. 1). «Газета» Дружинина (Дружин не известен в журналистике) — это или «Библиотека для чтения», или «Век» (где Дружинин заведовал литературным отделом). Статьи Боткина обнаружить не удалось.

10. Перевод книги: F. T. Kugler, Handbuch der Kunstgeschichte, Stuttgart, 1841—1852.

Боткин писал Е. Ф. Коршу 1. IX. 1864: «У меня переведена не часть Куглеровой «Истории живописи», — а только начало, именно один древне-христианский период. Увы! Несколько лет назад я принялся за этот перевод соп атоге, хотел сделать даже некоторые отступления от оригинала — там, где по-моему мнению Куглер ошибался или сам не видел вещи <...> Кроме того я думал предпослать каждому стилю исторический обзор в главных чертах» (Рукописный отдел Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, М. 3099. 14). Боткин прекратил работу из-за болезни; в цит. письме он предлагал Коршу переведенную часть. Книга вышла несколько лет спустя в переводе Корша: Ф. Т. Куглер, Руководство к истории искусства, чч. 1—2, М., 1869—1870. Использовал ли Корш перевод Боткина — неизвестно.

Письма В. П. Боткина

1. Основные сведения о напечатанных письмах В. П. Боткина содержатся в кн.: «История русской литературы XIX века. Библиографический указатель» под ред. К. Д. Муратовой, М.—Л., 1962, с. 176—177.

Следует, однако, учесть, что в архивах Советского Союза (главным образом, в Государственном музее Л. Н. Толстого, Центральном историческом музее, Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина и в Институте русской лите-

ратуры АН СССР) хранится несколько сот неопубликованных писем В. П. Боткина.

2. Отрывки писем к М. А. Бакунину и поправки к опубликованным письмам 1837—1839 гг. — В. Г. Березина, Белинский и Бакунин в 1830-е годы, «Уч. зап. ЛГУ», сер. филол. наук, в. 17, 1952, с. 45—83. Исправление к с. 83, прим. 4: Боткин выехал 3. I. 1839 не в Нижний Новгород, а в Харьков.

3. Переписка с Л. Н. Толстым 1856—1862 гг. (вторичная публикация) — «Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями», М., 1962, с. 134—176.

4. Отрывки из писем к М. А. Бакунину, Н. П. Боткину, К. А. Горбунову, А. П. Ефремову, Н. В. Станкевичу — наст. том.

Ошибочно приписанные В. П. Боткину статьи

1. Журнальная отметка <о «Слове о полку Игореве»> («Молва», 1833, № 102, 26. VIII, с. 405—408).

Приписано Н. И. Пруцковым («Уч. зап. Грознен. пед. ин-та», в. 3, 1947, с. 62; «История русской критики», т. 1, М.—Л., 1958, с. 445), без доказательств.

Статья не может принадлежать Боткину: 1) в 1833 г. он не был знаком с кругом Надеждина-Белинского; 2) статья подписана криптонимом «В. П.», которым Боткин никогда не пользовался; 3) при подписи стоит «Чернигов. 1833»; Боткин ни разу в жизни не был в Чернигове.

2. А. Б. В. Театральная хроника («Молва», 1836, № 9, с. 250—264).

Приписано: Н. В. Гоголь, Ревизор. Ред., введение и комм. Н. Л. Бродского, М.—Л., 1927, с. XXIX; В. С. Нечаева, В. Г. Белинский, Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве», М., 1954, с. 384, 478.

Вопрос об авторе и ныне является спорным (Н. С. Селивановский или Н. И. Надеждин), но бесспорно доказано, что Боткину статья не принадлежит. См. Ю. Г. Оксман, К истории работы Белинского в «Телескопе», «Уч. зап. СГУ», т. XXXI, Саратов, 1952, с. 242—262; С. Осовцов, А. Б. В. и другие, «Русская литература», 1962, № 3, с. 75—101.

3. Шекспир. Перевод с английского Н. Кетчера <...> Выпуск первый и второй: «Король Иоанн» и «Ричард II» <...> («Отеч. записки», 1841, № 8, о. VI, с. 47—49).

Приписано: Боткин, III, 164—166 (очевидно, на основании писем Боткина — см. «Несохранившиеся работы В. П. Боткина», №6).

Рецензия принадлежит П. Н. Кудрявцеву (Кулешов, 376; ИРЛИ, ф. 419, № 52, л. 16). Следующие рецензии на выпуски Шекспира в переводе Кетчера также написаны не Боткиным: на в. 3 (1841, № 10, о. VI, с. 40—41) — также Кудрявцевым (ИРЛИ, там же, л. 16 об.); на в. 4 (1841, № 11, о. VI, с. 3—7) — И. Я. Кронебергом (указано на с. 3); на в. 5 (1842, № 1, о. VI, с. 5—6) — А. Д. Галаховым (Кулешов, 377); на в. 6 (1842, № 2, о. VI, с. 46—47) — им же (ИРЛИ, ф. 419, № 52, л. 18). Лишь о вв. 7 и 8 писал Боткин, а следующие рецензии снова не его: на в. 9 (1842, № 6, о. VI, с. 35) — А. Д. Галахов (ИРЛИ, там же, л. 79 об.); на в. 10 (1842, № 10, о. VI, с. 35) — П. Н. Кудрявцев (ИРЛИ, там же, л. 21).

4. «История Малороссии» Николая Маркевича, М., 1842 («Отеч. записки», 1843, № 5, о. V, с. 1—18).

Приписано: П. Н. Сакулин, Русская литература и социализм, М., 1924, с. 180, без аргументации.

Статья принадлежит В. Г. Белинскому (см. его Полн. собр. соч. под ред. С. А. Венгерова и В. С. Спиридонова, т. XII, М.—Л., 1926, с. 544—546; Белинский, VII, 44—65, 690).

5. О романтизме <отрывок из 2-ой статьи В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина» от слов «Романтизм — принадлежность не одного только искусства» до «много повредила самим гениям» («Белинский, VII, 145—166)>.

Приписано: Боткин, III, 132—156, очевидно, на основании воспоминаний П. В. Анненкова о помощи Боткина Белинскому советами и трудом: «Близкие люди, например, знают, что страницы о романтизме в статьях Белинского написаны Боткиным» («СПб. ведомости», 1869, № 282, 13. X; П. В. Анненков и его друзья, СПб., 1892, с. 578).

Хотя рукопись статьи и не сохранилась, но тем не менее можно утверждать, что часть о романтизме написана самим Белинским, поэтому нельзя буквально следовать примечанию Анненкова: 1) идеи отрывка теснейшим образом связаны с общей концепцией Белинского и с его другими суждениями о романтизме; 2) в письме к невесте от 14. IX. 1843 Белинский прямо говорит: «моя статья», «я писал ее...» (XII, 181), что он никогда не сделал бы при соавторстве товарища; 3) Белинский работал над статьей в июне-августе 1843 г., т. е. в период, мало подходящий для серьезной журнальной работы Боткина (он тяжело переживал сложные взаимоотношения с А. Рубльер). Однако Боткин реально мог помочь Белинскому: излагать ему суждения западно-европейских теоретиков искусства о романтизме (или даже конспективно их записывать); переводить произведения немецких и английских романтиков; сравнивать переводы Жуковского с оригиналами, например, со стихами Шиллера и Байрона (Белинский, VII, 207—209).

6. В. Б. Путь к святым местам («Современник», 1853, № 9, о. VI, с. 1—20).

Приписано в кн.: «Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском университете», М., 1911, с. 38, — очевидно, на основании сходного криптонима. Но в очерке описывается путешествие в Иерусалим, куда Боткин никогда не ездил.

БОРЬБА В 1862—1863 ГОДАХ ВОКРУГ РОМАНА И. С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»

П. С. Рейфман

Полемика, которая велась в 1860-х гг. вокруг романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», неоднократно привлекала к себе внимание исследователей. В советском литературоведении много раз затрагивался вопрос о противоречивости оценок романа, о причинах этой противоречивости.

Особенно сложным оказалось объяснить позицию «Современника», его неблагоприятные отзывы об «Отцах и детях». Попытки такого объяснения иногда приводили к самым крайним, взаимоисключающим выводам, далеким от историзма, от подлинного учета своеобразия обстановки. Одна из крайностей, как нам представляется, наиболее ошибочная и антиисторичная, вела к утверждению, что Тургенев создал антинигилистический роман, другая — к резким нападкам на всех, кто осуждал «Отцов и детей», в первую очередь на Антоновича, к попыткам отмежевать его точку зрения от взглядов Чернышевского и Добролюбова.

На самом деле нет никаких оснований отождествлять точки зрения Тургенева и Каткова, какими бы оговорками это отождествление не сопровождалось бы. В то же время следует помнить, что выводы Антоновича разделяла, в основном, вся демократическая критика 60-х гг. Вряд ли состоятельны доводы о том, что Некрасов, Чернышевский, публикуя статью «Асмодей нашего времени», не представляли, что они делают, полностью передоверились Антоновичу. Речь шла не о каком-либо мало известном писателе, а о Тургеневе, связанном с «Современником» весьма сложными отношениями. Толки об «Отцах и детях» волновали общество задолго до опубликования романа. Общественный резонанс, вызванный сравнением Тургенева с Аскольским, легко было предвидеть. Все это должно было заставить редакцию с особой осмотрительностью решать вопрос о публикации статьи Антоновича.

Мало вероятным кажется и предположение, что Чернышевский мог не читать романа: ведь оно высказано Писаревым в пылу полемики. Известен отзыв Чернышевского об «Отцах и детях», во многом совпадающий с оценкой Антоновича.¹ Конечно, можно предположить, что Чернышевский, передоверившись Антоновичу, писал о романе с его слов, но это мало вероятно.

Во всяком случае, помещая статью Антоновича, Некрасов и Чернышевский должны были, в основном, разделять его точку зрения, если не на роман, то на Тургенева. Эта точка зрения оказалась широко распространенной в демократической журналистике 1862—1863 гг. Ее разделял и Щедрин, неоднократно писавший об «Отцах и детях».

Но не только сотрудники «Современника», которых можно заподозрить в том, что они поддерживали «престиж журнала», выступили против романа Тургенева. С «Современником» солидаризовалась и «Искра». Следует добавить, что аналогичные «Современнику» отзывы, которые обычно не приводятся в литературе о полемике вокруг романа, имеются в других демократических изданиях. Они встречаются в статье «Молодое поколение» Окнерузама (Мазуренко), напечатанной в «Очерках» (1863, № 56—58), в статье А. П. Пятковского «Кто лучше? (по поводу романа г. Тургенева «Отцы и дети»)», опубликованной в газете «Современное слово» (1862, № 13—14). Да и в журнале «Русское слово» появлялись высказывания, в которых осуждалась позиция Тургенева.²

Следовательно, подавляющее большинство откликов на роман «Отцы и дети», появившихся в демократической печати, были неблагоприятны для писателя. Даже Писарев отнюдь не солидаризовался с позицией Тургенева. Статью «Базаров» он начинал с мысли о том, что в романе идеи и стремления молодого поколения поняты не так, как понимает их само молодое поколение, что «старик и юноша почти никогда не сходятся между собою в убеждениях и симпатиях».³ В статье «Мыслящий пролетариат» критик продолжал утверждать, что Тургенев — «чужой в отношениях к людям нового типа», что он «не мог вполне сочувствовать новому типу» и в его книгу «вкрались фальшивые ноты», которые вызвали отзыв Антоновича.⁴ Но особенно отчетливо объяснял Писарев позицию Тургенева и свое отношение к роману в статье «Реалисты». Тургенев, как показывает Писарев, не может понять новых людей, не умеет им сочувствовать, но он вызывает их на объяснение, пытается разобраться в новом явлении; поэтому безразлично, «дурна или хороша была тенденция

¹ Н. Г. Чернышевский, Поли. собр. соч., М., 1951, т. 10, стр. 185.

² См. «Русское слово», 1863, № 1—2, стр. 5; № 3, стр. 1; № 6, стр. 55

и др.

³ Д. И. Писарев, Соч. в 4 тт., М., 1955—1956, т. II, стр. 7.

⁴ Там же, т. IV, стр. 11.

тургеневского романа <...> Надо было совершенно отодвинуть в сторону оценку романа и сосредоточиться на разборе базаровских идей...»⁵ Писарев осуждает Антоновича за то, что он слишком много говорит о Тургеневе, о романе, «хотя публике не было никакого дела ни до Тургенева, ни до его романа».⁶ Критик же «Русского слова» говорит в первую очередь о Базаровых в жизни, о базаровских идеях, о новых людях, демократах, «нигилистах». О том, что роман Тургенева лишь «повод» для журнального похода против «нигилистов», писали и крайние реакционеры (см. «Домашнюю беседу», 1862, № 19, стр. 448).

Именно отношение к Базаровым в жизни определяло сущность полемики об «Отцах и детях». В советском литературоведении высказывалась справедливая мысль, что статья Антоновича написана не столько о романе, сколько «по поводу его».⁷ Но ведь и вся полемика вокруг произведения Тургенева была «по поводу»! Не учитывая этого, пытаюсь объяснить высказывания об «Отцах и детях» лишь с точки зрения их соответствия объективному смыслу романа, исследователи оказались вынужденными либо прийти к выводу о реакционности романа Тургенева, либо осудить всех, кто критиковал «Отцов и детей».

На самом же деле полемику о романе следует рассматривать совсем с иных позиций, учитывая те вопросы, которые волновали русское общество в 1862—1863 гг. Проблемы, выдвинутые в спорах на первый план, были характерны не столько для 1861 г., когда создавались «Отцы и дети», сколько для более позднего периода, когда вокруг романа завязалась ожесточенная борьба. С конца 1861 г. — начала 1862 г. реакция повела решительное наступление на революционных демократов, на «нигилизм». В сложной обстановке послереволюционной ситуации она использовала произведение Тургенева в качестве оружия, направленного против революционеров. Писатель сам понял это. «Выпущенным мною словом «нигилист» воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овладевшее русским обществом <...> оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения, — почти в клеймо позора», — писал Тургенев в «Литературных и житейских воспоминаниях».⁸ К этой же мысли возвращался он в письме к Салтыкову-Щедрину, признавая, что «не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку, за имя».⁹ В спорах об «Отцах и детях» главным было не отношение к Тургеневу, роману, а то

⁵ Там же, т. III, стр. 14—15.

⁶ Там же, стр. 15.

⁷ См., напр., Г. М. Фридлендер. К спорам об «Отцах и детях», «Русская литература», 1959, № 2.

⁸ И. С. Тургенев, Собр. соч., М., 1953—1958, т. X, стр. 353.

⁹ Там же, т. XI, стр. 485.

или иное решение вопроса о «нигилизме», оценка новых людей, революционных демократов, резкое неприятие их или выражение солидарности с ними. Сторонники реакции, либералы, независимо от того, считали ли они, что Тургенев возвел Базарова на пьедестал, или вовсе не думали об этом, использовали роман для развязывания антинигилистической травли, как еще одно доказательство порочности «нигилистов», закономерности расправы над ними. Как бы ни оценивали они роман, главная сущность их высказываний, сводившаяся к нападкам на «нигилизм», оставалась неизменной. Она определяла выступления изданий Каткова, «Отечественных записок», «Голоса» и других реакционных и либеральных журналов и газет. Демократический лагерь вел борьбу за новых людей, защищал их самих, их дело от ожесточенных нападков реакции. В главном вопросе точка зрения каждого из лагерей была твердо определена и едина. Здесь не было расхождений между Писаревым и Антоновичем с одной стороны, между Катковым и Страховым с другой. Нам представляется не совсем правомерным резкое противопоставление взглядов Антоновича и Писарева, высказанных ими в полемике о романе Тургенева. Также неправомерным кажется противопоставление Каткова и Страхова. Не случайно реакционные издания, с радостью отмечая противоречия в стане врагов, «нигилистов», говоря об оценках Писарева и Антоновича, в то же время резко осуждали и того и другого, подчеркивали, что в сущности они придерживаются одной и той же точки зрения. Так, в отзыве «Современной летописи» рецензент, сопоставив высказывания Писарева и Антоновича, приходил к выводу, что у них «раздора никакого нет», и грубо ругал обоих.¹⁰ Такого же взгляда придерживался и Катков в статье «Роман Тургенева и его критики». Катков писал, что ликования «Русского слова» и вопли «Современника», при всей их видимой противоположности, «сливаются в один звук»,¹¹ что Писарев и Антонович «не только противоречат между собою, но и совершенно согласны. Противоречие есть и противоречия нет».¹² В дальнейшем Катков уже прямо утверждал, что «противоречия нет».¹³ Писарев, по мнению издателя «Русского вестника», — «совершенно единомышленный ему (Антоновичу — П. Р.) писатель».¹⁴ Катков сумел уловить, что общим пафосом выступлений «Современника» и «Русского слова» является защита Базаровых русской действительности, столь ненавистных реакции. И сам он, в первую очередь, писал об этих Базаровых в жизни, а не о романе Тургенева. В первой его статье, напеча-

¹⁰ «Современная летопись», 1862, № 18, стр. 17.

¹¹ «Русский вестник», 1862, № 5, стр. 413.

¹² Там же.

¹³ Там же, стр. 415.

¹⁴ Там же, стр. 409.

танной в № 5 «Русского вестника», в которой он старался дать отпор оценкам «Современника» и «Русского слова», анализ «Отцов и детей» занимал еще сравнительно значительное место. Во второй же статье, опубликованной в № 7, о романе почти совсем не говорилось. Характерно, что вместо продолжения статьи 5-го № «Роман Тургенева и его критики», которое было обещано, в 7-м № появилась новая статья, выдержанная в несколько иной тональности, с новым названием «О нашем нигилизме». Само название как бы подчеркивало, что речь идет именно о «нигилизме» в жизни. Об этом свидетельствовало и содержание статьи. Катков сам писал, что не имел «намерения разбирать роман».¹⁵ Если первая статья была выдержана в относительно спокойном тоне, то вторая представляла собой истерично-злобную брань «нигилистов». Изменение тона определялось, видимо, усилением реакции, новой обстановкой, возникшей после лета 1862 г., пожаров, прокламаций, политических арестов и т. п.

Существует мнение, что Катков, да и вся реакционная журналистика, проводят деление на «отцов» и «детей» на основании возрастного признака, в этом якобы сказывается сходство Каткова и Антоновича: оба они зачисляются в лагерь детей и Аркадия, и Ситникова, и Кукшину: «В этом позиция Антоновича почти ничем не отличалась от позиции Каткова».¹⁶ Получается, что вся разница между реакционерами и Антоновичем заключалась в том, что первые «утверждали, будто все молодые люди 60-х годов — Базаровы»,¹⁷ а второй — что все молодые люди не похожи на Асмодеев-Базаровых.

Ниже мы остановимся на взглядах Антоновича. Пока же отметим, что реакционные издания вовсе не зачисляли всю молодежь в лагерь Базарова, что и понятно. Ведь при таком зачислении пришлось бы признать за «нигилизмом» значение важного общественного течения, охватившего большую часть общества. Цель же реакционеров была совсем иная. Они стремились опорочить «нигилизм», доказать, что он не является серьезной силой. Катков прекрасно понимал, что Базаров, Аркадий, Ситников — люди различных лагерей. Он писал, что Аркадий — внешне заражен базаровским «нигилизмом», но в то же время подчеркивал, что он не «хищный» тип, что его «нигилизм» — лишь увлечение, свойственное молодости, что в Аркадии много хороших задатков: «За такую молодежь, каков Аркадий, еще нельзя отчаиваться».¹⁸ Катков указывал, что вообще

¹⁵ «Русский вестник», 1862, № 7, стр. 419.

¹⁶ П. Г. Пустовойт, Роман Тургенева «Отцы и дети» и идейная борьба 60-х гг. XIX века, М., 1960, стр. 259—260.

¹⁷ Там же, стр. 263.

¹⁸ «Русский вестник», 1862, № 5, стр. 398.

«баричи» «никогда не бывают серьезными отрицателями».¹⁹ Не отождествлял издатель «Русского вестника» с «хищным» типом и Ситникова, Кукшину. Он говорил об их пошлости и ничтожестве, но и о том, что они не «хищные», а настоящие «хищники» хорошо понимают их и «умеют ими пользоваться». ²⁰ Катков резко критиковал толки «о молодом поколении как о чем-то особом и отдельном, будто о каком-то сословии или партии». ²¹ Он говорил, что об этом могут думать лишь наивные Аркадии: «Аркадии думают это по наивности, а люди другого сорта, люди свойств более или менее хищных, конечно, так не думают, но находят не лишним вселять и поддерживать такую мысль в молодом люде». ²² Вслед за такими рассуждениями Катков сразу упоминал имя Чернышевского, отнюдь не молодого человека, весьма отчетливо намекая, что тот — один из людей «хищных» свойств, поддерживающий теорию о «молодом поколении» не по наивности, а по «фальшивости».

С подобными выводами, стремясь опровергнуть мнение о массовости и силе демократического лагеря, выступали и другие реакционно-либеральные издания. Так, в газете «Голос» была помещена статья «Нигилизм и эмбриология», направленная против «Современника», «Русского слова», «Современного слова». Автор статьи, касаясь полемики об «Отцах и детях», решительно выступал против отождествления молодого поколения с «нигилизмом». По его мнению, молодое поколение чуждо «нигилизму»: оно многое отрицает, но его отрицание «никак не исключает уважения к существенным основам родной жизни». ²³ Как и Катков, автор «Голоса» нападал на «мнимых друзей» молодежи, т. е. на революционеров-демократов. «Такие друзья — опаснее врагов <...> солидарность с ними не может принести большой чести умственному развитию молодого поколения». ²⁴

С аналогичным мнением выступали и «Отечественные записки». П. Г. Пустовойт приводит в своей книге цитату из статьи «Недосказанные заметки», помещенной во 2 № «Отечественных записок» за 1863 год. Автор статьи утверждал, что Кирсановы — не отцы, а Базаровы — не дети. П. Г. Пустовойт считает, что в таких высказываниях отразились взгляды «противоположные катковской точке зрения, близкие <...> к оценке романа критиком «Современника» М. Антоновичем». ²⁵

¹⁹ Там же, № 7, стр. 416.

²⁰ Там же, № 5, стр. 400.

²¹ Там же.

²² Там же, стр. 400—401.

²³ «Голос», 1863, № 61.

²⁴ Там же.

²⁵ П. Г. Пустовойт, Роман Тургенева «Отцы и дети» и идейная борьба 1860-х гг., М., 1960, стр. 250.

На самом деле оценка сотрудника «Отечественных записок» означала совсем иное: здесь встречаем мы тот же протест против отождествления молодого поколения и «нигилизма». Автор упрекал Тургенева за то, что он не показал в романе «другую, прекрасную сторону»²⁶ молодого поколения, не имеющую ничего общего с «нигилизмом»; «жизнь невозможна при одном отрицании», — заявлял он.²⁷ Статья «Недосказанные заметки» выдержана в том же антинигилистическом духе, что и другие высказывания реакционно-либеральной печати по поводу «Отцов и детей». Вряд ли правомерно сопоставлять мнение Антоновича, считавшего, что революционеры в действительности несравненно выше героев Тургенева, и мнение автора «Недосказанных заметок», утверждавшего, что лучшая часть молодежи не имеет ничего общего с революционными демократами. Еще менее оснований для сопоставления точки зрения «Современника» с памфлетом Прогрессистова (А. Эвальда) «Письма об изучении безобразия» («Отечественные записки», 1862, № 3). Пустовойт противопоставляет мнения Эвальда и Каткова и сближает взгляды первого с позицией Антоновича. На самом деле Эвальд выступил с резким и злобным антинигилистическим памфлетом. Конечно, нельзя принимать всерьез его слов о том, что Тургеневу достанется от «наших», что «я и все мои друзья находим, что это просто донос на всех нас, нигилистов», что Одинцова — «воплощенная идея одной из четырех великих держав» и т. п.²⁸ Памфлет Эвальда любопытен вовсе не как выражение антикатковских взглядов, а как попытка реакционной журналистики заранее парировать неблагоприятные отзывы демократической критики о произведении Тургенева и истолковать роман именно в антинигилистическом смысле; ведь «Письма об изучении безобразия» опубликованы в 3 № «Отечественных записок», одновременно со статьями Писарева и Антоновича, а подпись «Прогрессистов» как бы подчеркивала: вот как «прогрессисты», «нигилисты» должны оценить книгу Тургенева. Под «безобразием» в памфлете понимался «нигилизм», революционно-демократическая журналистика. Памфлет Эвальда помещен сразу же после статьи «Принципы и ощущения», автор которой, выражая мнение редакции «Отечественных записок», приходил к выводу, что «нигилизм смердит».²⁹ В «Принципах и ощущениях» мнения редакции выражены всерьез. В «Письмах об изучении безобразия» те же мнения высказаны в форме памфлета, написанного якобы от лица «нигилиста».

Несколько особая точка зрения по поводу романа «Отцы

²⁶ «Отечественные записки», 1863, № 2, стр. 190.

²⁷ Там же.

²⁸ «Отечественные записки», 1862, № 3, стр. 128, 129.

²⁹ «Отечественные записки», 1862, № 3, стр. 120.

и дети» выражена в журнале почвенников «Время», в статье Н. Н. Страхова. На первый взгляд, оценка Страхова, по-своему интересная и талантливая, перекликается с выводами Писарева. Страхов оправдывал тургеневского героя, говорил об его жизненности и силе, пытался разобраться в причинах его возникновения. Но вряд ли правомерно сопоставлять взгляды Писарева и Страхова, противопоставлять выступление Страхова направлению «Времени», «Эпохи», взглядам Ф. М. Достоевского. На самом деле статья Страхова была не столь уж прогрессивна. В ней содержался ряд выпадов против Белинского, Чернышевского, революционных демократов. Да и с Писаревым Страхов вовсе не солидаризовался. Он приводил взгляды критика «Русского слова» лишь как свидетельство того, что сами «нигилисты» признают жизненность нарисованного Тургеневым образа. Трагедию Базарова Страхов видел в столкновении его «теории» и «жизни». Что такое «жизнь» и что такое «теория», он отчетливо не определял. Но совершенно ясно, что «жизнь» противопоставляется базаровским началам, его отрицанию; в понятие «жизни» включается прежде всего любовь, «даже религия».³⁰ «Теория» же связывается с направлением «Современника» и «Русского слова», с принципами революционных демократов. «Жизнь», по Страхову, одерживает полную победу над «теорией»: «Базаров — это титан, восставший против своей матери-земли, и «как бы то ни было, Базаров все-таки побежден, побежден не лицами <...> но самую идею этой жизни».³¹ Сам роман «Отцы и дети» Страхов рассматривал как победу Тургенева над направлением «Современника». Будущее Базарова критик мыслил как отказ от базаровского направления, от безудержного отрицания: «Рано или поздно он должен измениться, должен перестать быть Базаровым».³² Само возвеличивание Базарова, по Страхову, необходимо для более полного опровержения его «теорий», иначе в «самой победе не было бы силы и значения».³³

Но ведь и Катков считал, что Базаров — «один из лучших типов нигилизма»³⁴ и этим-то опровергает «нигилизм» в целом. Можно с уверенностью утверждать, не вдаваясь даже в подробности доказательств Страхова, что его статья в общем не противоречила ни направлению «Времени», ни выходкам Косицы против революционных демократов, ни той позиции, которую заняли, в связи с выходом «Отцов и детей», в вопросе о «нигилизме» реакционно-либеральные издания. Характерно, что

³⁰ Н. Н. Страхов, «Отцы и дети» И. Тургенева, «Время», 1862, № 4. Критич. обзор., стр. 79.

³¹ Там же, стр. 81.

³² Там же, стр. 74.

³³ Там же, стр. 47.

³⁴ «Русский вестник» 1862, № 7, стр. 414.

Катков оценивал статью Страхова как «очень ценную, хорошо написанную», замечал, что «критик далек от сочувствия» Базарову.³⁵ Издатель «Русского вестника» был лишь недоволен абстрактностью рассуждений Страхова о «теории» и «жизни». Он хотел бы более прямого и конкретного обличения русского «нигилизма».

Итак, по главному вопросу полемики, оценке «нигилизма», все реакционно-либеральные издания придерживались, в основном, одной и той же точки зрения, как бы они ни оценивали конкретно роман Тургенева. Разногласия проявлялись лишь в вопросах второстепенных.

Совсем иные взгляды на «нигилизм» (вернее, на революционно-демократическое отрицание) пропагандировали журналы и газеты демократического лагеря. И в этом все они едины. Но, как издания реакционного лагеря по разному пытались опровергнуть «нигилизм», демократическая печать по разному стремилась оправдать его. Писарев уделял основное внимание разговору о Базаровых в жизни. Это позволило ему избежать объективно неверных оценок тургеневского романа, наиболее полно раскрыть сильные стороны образа Базарова. В «Искре», в «Очерках», в «Современном слове» высказывалась точка зрения, близкая Антоновичу. Но и там большое место занимало утверждение Базаровых в жизни. Такую же позицию занимал Шедрин. С защитой революционных демократов выступил и Антонович. Катков справедливо заметил, что критик «Современника», осуждая тургеневского Базарова, «в то же время желает наделить его всевозможными благами», возводит тип Базарова «в апофеозу».³⁶

Антонович далек от принципа деления на «отцов» и «детей» по возрастному признаку. Он, правда, употребляет термин «молодое поколение», но понимает под ним «лучших молодых людей», «отрицательное направление»,³⁷ т. е. революционно-демократическую молодежь.

Так понимали этот термин и другие революционные демократы. Вспомним прокламации «К молодому поколению», «Молодая Россия»: ведь не на утверждении возрастного принципа основаны такие названия.

Говоря о поколении «отцов» и «детей», Антонович прежде всего подчеркивал мысль о закономерности борьбы нового, прогрессивного со старым, реакционным, об естественности отрицания старого. Он вовсе не считал, что все молодые люди — революционеры, а старые — реакционеры. Упоминая о революционных эпохах, когда борьба становится особо острой, а новое

³⁵ Там же, № 5, стр. 416.

³⁶ «Русский вестник», 1862, № 7, стр. 408, 414.

³⁷ «Современник», 1862, № 3, Совр. обзор., стр. 76, 77.

учение проявляется «в форме безусловного отрицания», Антонович замечал: «если отец остается при старом, а сын обращается к новому, *или наоборот* — между ними неизбежен раздор».³⁸ Следовательно, не возраст, а отношение к новым, прогрессивным идеям определяет принадлежность к тому или иному лагерю. В оценке «нигилизма» мнение Антоновича не отличалось от взглядов остальной демократической печати. И это мнение было прямо направлено против реакционно-либеральной журналистики. В литературоведении не раз высказывалась мысль, что точка зрения Антоновича в значительной мере определялась борьбой с реакционными журналами. На первый взгляд, может показаться, что факты не подтверждают ее. Катков писал об «Отцах и детях» через два месяца после Антоновича. Но не следует забывать о том, что в центре полемики был вопрос не о романе Тургенева, а о «нигилизме». Этот вопрос в конце 1861 — начале 1862 гг. постоянно поднимался представителями обоих лагерей. «Русский вестник» повел систематическую, грубую травлю революционных демократов, «прогрессистов», «свистунов».

Буквально в каждом номере журнала Каткова содержатся резкие выпады против «отрицания», «разрушения», «гнили разложения».³⁹ Аналогичные нападки на «отрицательное направление» регулярно встречаются и в других изданиях реакционно-либерального лагеря. В этих условиях защита «нигилизма», занимавшая первостепенное место в высказываниях всей демократической печати о романе Тургенева, являлась прямым ответом на травлю «отрицательного направления» реакционерами. Надо отметить, что и сам термин «нигилизм» реакция выдвинула до того, как «Отцы и дети» были напечатаны. В 10 № «Русского вестника» за 1861 год автор заметки «Кое-что о прогрессе», грубо ругая революционных демократов, употребляет для их характеристики слово «нигилизм»: «эти жалкие явления гордятся и любят своим нигилизмом».⁴⁰

Таким образом, термин «нигилизм», в качестве враждебной характеристики революционеров-демократов, употреблялся за несколько месяцев до того, как «Отцы и дети» были опубликованы. Возможно, Катков заимствовал этот термин из тургеневского романа, уже законченного к тому времени и известного

³⁸ Там же, стр. 108 (подчеркнуто мною — П. Р.).

³⁹ «Русский вестник» 1861, № 6 — «По поводу «полемических красот» в «Современнике»; № 7. — Виды на Entente cordiale с «Современником»; № 8 — «Элегическая заметка»; № 10 — «Кое-что о прогрессе», 1862; № 2 — «К какой принадлежим мы партии?». —

⁴⁰ «Русский вестник», 1861, № 10, Литературное обозрение, стр. 108.

издателю «Русского вестника».⁴¹ Как бы то ни было, попытки реакционеров использовать слово «нигилизм» в своих целях видны задолго до публикации произведения Тургенева. Да и вообще, осмысление «Отцов и детей» как произведения, направленного против революционных демократов, лагеря «Современника» началось до того, как роман стал известен читателям. Об этом писали Анненков, Антонович, Страхов.⁴² Сведения о романе просочились в журналистику, вокруг еще не опубликованного произведения завязалась полемика (см. «Книжный вестник», 1861, № 11—12, стр. 173, № 14—15, стр. 222, «Русскую речь», 1861, № 74, «Домашнюю беседу», 1861, вып. 43, стр. 840). В ряде изданий подчеркивалось, что новый роман Тургенева направлен против «нигилистов», молодого поколения, круга «Современника», революционных демократов. Так, напр., «Домашняя беседа» уже в октябре 1861 г. одобряла замысел романа, заявляя, что всякий благонамеренный человек «с нетерпением должен ожидать и с радостью приветствовать появление» «Отцов и детей», призывая бога помочь Тургеневу «в таком прекрасном делании», чтобы он смог высказать «правду об этих господах» (вып. 43, стр. 840). Конечно, подобные похвалы отнюдь не способствовали правильному осмыслению романа, когда он был напечатан. Катков, видимо, широко популяризировал такую точку зрения. В условиях сближения либерализма и реакции она могла казаться правдоподобной редакции «Современника».

Не случайно статья Антоновича начинается с упоминания о такого рода толках. Реакционные журналы делали все возможное, чтобы подчеркнуть разрыв Тургенева с кругом «Современника», враждебность писателя революционным демократам. В № 1 «Русского вестника» за 1861 год редакция «Современника» обвинялась в том, что после ухода Тургенева из журнала она стала осуждать творчество писателя. С отпором «Русскому вестнику» выступил в «Полемических красотах» Чернышевский, подчеркивавший принципиальные причины расхождения Тургенева и «Современника». В 6 № «Русского вестника», в статье «По поводу «Полемических красот» в «Современнике», вновь поднимался вопрос об уходе Тургенева из «Современника» и сотрудничестве его в «Русском вестнике». «Современник» обвинялся в беспринципности, сдержанность высказыва-

⁴¹ См. полемику между Б. П. Козьминым и А. И. Батюто; Б. П. Козьмин и Л. Н. Толстой. Два слова о слове «нигилизм», Известия АН СССР, отд. литер. и языка, М.—Л., 1951, т. X, вып. 4, Он же, Еще о слове «нигилизм», там же, 1953, т. XII, вып. 6, А. И. Батюто, К вопросу о происхождении слова «нигилизм» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети», там же.

⁴² П. В. Анненков, Литературные воспоминания, 1960, стр. 479; Н. Н. Страхов, Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом» СПб, 1885; стр. 47; М. А. Антонович. Избранные статьи, Л., 1938, стр. 141.

ний «Современника» о Тургеневе объяснялась тем, что писатель не захотел напечатать в журнале Некрасова свою последнюю повесть (т. е. «Отцов и детей»), что он ушел из «Современника», несмотря на старания редакции упрочить за собою его сотрудничество.

Подобная точка зрения поддерживалась и другими реакционными журналами. Она была высказана, в частности, в № 1 «Времени» за 1862 г., в статье Страхова «Пример апатии».

Итак, имя Тургенева, его ненапечатанный еще роман были активно использованы реакцией в борьбе против «нигилизма». Это все в значительной степени подготовило осмысление романа Антоновичем. Отстаивая, как и другие демократические издания, «нигилизм» от нападок реакционной печати, он слишком большое внимание уделил вопросу о тенденциях Тургенева, грубо исказив в главном эти тенденции, за что его справедливо упрекал Писарев.

Критик «Современника» пришел к совершенно ошибочным выводам об «Отцах и детях». Не понял он и всей сложности позиции Тургенева. Он, по существу, согласился с тем истолкованием Тургенева, которое давала реакционная журналистика. Но ошибки Антоновича вовсе не отменяли прогрессивности основного смысла статьи, решения вопроса о «нигилизме». Они определялись отнюдь не только личными причинами, отражали взгляды редакции «Современника».

Изучая борьбу вокруг «Отцов и детей», своеобразие позиций каждого из ее участников, оценки Писарева и Антоновича, следует учитывать, что сущность тургеневского романа давала основание для писаревских выводов, что в нем имелись и тенденции, враждебные революционным демократам, справедливо критикуемые Антоновичем, что тип Базарова, со всеми его противоречиями, ближе кругу «Русского слова», чем «Современника», что в ходе ожесточенной борьбы с либералами между редакцией «Современника» и Тургеневым образовались весьма сложные отношения, что реакция еще до выхода «Отцов и детей» начала использовать роман и имя Тургенева в антинигилистической травле, и многое другое, определяемое «трудным временем» послереволюционной ситуации. Но нужно и уловить в этой борьбе ведущие, определяющие тенденции, понять, что роман — лишь повод, что часто противоположные конкретные оценки оказываются несравненно более близкими, чем сходные, что смысл полемики, позиции сторон целиком определялись тем или иным отношением к «нигилистам» в жизни, к революционному отрицанию. Нельзя считать, что, если демократическая журналистика осуждала «Отцов и детей», то плох либо роман,

либо те, кто его критиковал. Противопоставляя разные методы защиты Писаревым и Антоновичем революционных демократов от ожесточенных нападков реакции, следует отчетливо представлять, что в главном вопросе полемики, в отношении к новому человеку, их выводы не противостояли друг другу.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЭСТОНИИ В 1880-е ГГ.

С. Г. Исаков, М. Е. Алехина

1880-е гг. — очень важный период в истории общественной и литературной жизни Эстонии. Именно на эти годы падает кульминационный пункт развития и последующее разложение эстонского национального движения. Если начало 1880-х гг. связано еще с расцветом романтизма, то конец десятилетия отмечен усилением реалистических тенденций в литературе, одержавших окончательную победу в 1890-е гг. В 1880-е гг. перед эстонскими писателями впервые встаёт проблема реализма и в плане теоретическом. На этот же период падает развитие эстонской критики. Не менее важно и другое: 1880-е гг. — первый период значительной активизации русско-эстонских литературных связей. В эти годы эстонские читатели и писатели впервые широко знакомятся с русской литературой, и это знакомство сыграло очень большую, хотя до сих пор ещё и непроясненную до конца роль в развитии эстонской литературы.¹ В какой-то степени, причиной того, что роль русской литературы в развитии эстонской словесности в переломные 1880-е г. ещё не проявлена, является неизученность вопроса, в какой мере эстонцы были в этот период знакомы с произведениями русских писателей, как воспринималось и оценивалось эстонскими читателями и литераторами их творчество. В нашем литературоведении есть уже немало трудов, посвящённых переводам на эстонский язык произведений отдельных русских классиков и оценкам их творчества в эстонской критике, но совершенно отсутствуют исследования о «проникновении» русской литературы в Эстонию в определённые периоды. Это и заставляет нас посвятить специальную статью вопросу «Русская литература в Эстонии в 1880-е гг.»

* * *

¹ Попытка выяснить эту роль была сделана в статьях: В. Sõõt, *Vene eesrindliku kirjanduse mõju eesti kirjandusele XIX sajandil*, «Edasi», 26. ja 27. XII. 1950; R. Alekõrs, *Võitlus realismi eest eesti kirjanduses* (*Vene kirjanduse viljastav mõju eesti kirjanduse arenemisele*), «Nõukogude Opetaja», 20. ja 27. IV. 1951. Эти статьи были созданы в атмосфере культа личности, когда считалось совершенно обязательным — в соответствии с фактами или вопреки им — утверждать, что всё прогрессивное в эстонской литературе — следствие русского влияния, основным движущим фактором в развитии эстонской литературы в сторону реализма опять же была русская словесность и т. д. Б. Сёет и Р. Алекырс, в основном, следовали этим догмам, и поэтому их статьи изобилуют такими неоправданными преувеличениями и столь неудовлетворительны в методологическом отношении, что научного значения они сейчас не имеют.

Понять русско-эстонские литературные связи 1880-х гг., проанализировать отличительные черты проникновения русской литературы в Эстонию в этот период, особенности восприятия её эстонскими читателями и писателями невозможно, во-первых, без учёта специфики общественно-политической и культурной борьбы в крае в эти годы, шире, без учёта своеобразия исторических судеб Прибалтики вообще. Во-вторых, при этом обязательно надо принять во внимание степень развития эстонской литературы, её специфические черты, особенности её эволюции.

Как известно, Прибалтика была в XIII в. захвачена немцами-крестоносцами, превратившими эстонцев и латышей в бесправных рабов и утвердившими в крае так называемый «особый остзейский режим», который просуществовал до 1917 г. Этот режим сделал полновластными хозяевами страны привилегированное немецкое меньшинство, в руках которого находились органы управления, земля, суд, церковь, школы. Государственным языком в крае вплоть до 1880-х гг. был немецкий. На этом языке велось обучение в школах, гимназиях и в Дерптском университете, на нём издавалось до середины XIX в. большинство книг и газет. Эстонцы и латыши были бесправны, лишены земли, и экономически и политически они целиком зависели от небольшой прослойки немецкого рыцарства и частично бюргерства.

Нет ничего удивительного в том, что молодая эстонская национальная культура, начавшая формироваться в первой половине XIX в., вначале подпала под исключительное влияние культуры немецкой. Большинство деятелей раннего этапа развития эстонской культуры получило немецкое образование, прекрасно владело немецким языком (иногда даже лучше, чем родным эстонским) и в сфере литературы ориентировалось на немецкие образцы.

Немецкое влияние на эстонскую литературу в силу специфических условий прибалтийской жизни оказалось очень живучим — оно продолжалось не только в первой половине XIX в., но и в 1860—80-е гг. (да в какой-то мере и позже), когда эстонская национальная культура уже сформировалась, твердо встала на ноги, когда поднялась могучая волна эстонского национального движения. Это было связано не только с немецким воспитанием и образованием большинства деятелей эстонской культуры 1860—80-х гг., но и со своеобразием общественно-политической борьбы внутри эстонского национального движения.

Эстонское национальное движение, в силу известной неоднородности эстонской нации, уже примерно с конца 1860-х гг. оказалось расколотым на два крыла, два направления — буржуазно-демократическое во главе с К. Р. Якобсоном и буржуазно-либеральное (или буржуазно-клерикальное) во главе с Й. В. Яннсоном и Я. Хуртом. Для нас важно, что эти два крыла придерживались различной политической и культурной ориентации. Буржуазно-либеральное крыло, стремившееся к компромиссу с остзейскими немцами, боявшееся обострения борьбы, видевшее опору в лютеранской церкви, в вопросах литературы и искусства ориентировалось на Германию, на немецкую культуру. В данном случае из политической программы вытекала и ориентация культурная. Буржуазно-демократическое крыло национального движения, стремившееся к решительной (хотя и не революционной) борьбе с особым остзейским режимом, отвергавшее всякое соглашение с немецким рыцарством, враждебное и лютеранской церкви в лице её конкретных представителей — немцев-пасторов, наоборот в своей политике ориентировалось на Россию, искало союзников среди русских.² Учитывая резкую критику особого

² См. об этом: H. Kruus, Eesti rahvuslik liikumine 1860—80-ndail aastail Venele lähenemist taotlemas, в книге — H. Kruus, Eesti ajaloost XIX sajandi teisel poolel, Tln, ERK, 1957; E. Jansen, Rahvusliku liikumise demokraatlik suund taotlemas Eesti tihedamat liitumist Venemaaga, в книге — «Eesti ühendamisest Venemaaga ja selle ajaloolisest tähtsusest», Tln., ERK, 1960.

остзейского режима почти во всех органах русской печати.³ учитывая настороженное отношение определённых правительственных кругов к этому режиму и прекрасно понимая в то же время, что эстонцам одним не справиться с господством остзейцев, К. Р. Якобсон и его соратники стремились в своей борьбе с остзейскими немцами и установленными ими порядками опереться именно на русских. Деятели буржуазно-демократического крыла, одержавшего к началу 1880-х гг. победу над буржуазно-клерикальным направлением в национальном движении, отрицательно относились к прибалтийско-немецкой культуре, хотя никогда не подвергали сомнению значение великих классиков немецкой литературы и плодотворность использования их опыта. Для деятелей этого крыла движения характерно, наоборот, требование введения русского языка в школы, а позже и, в известной мере, ориентация на русскую культуру в вопросах литературы и искусства.

Правда, вначале русская ориентация якобсоновского крыла движения не привела к существенным изменениям в культурной жизни. Занятые в первую очередь политической борьбой, деятели якобсоновского крыла, к тому же вплоть до 1878 г. лишённые собственного органа печати, не уделяли в своей практической деятельности сколько-нибудь заметного места конкретной пропаганде русской культуры, ознакомлению эстонского читателя с русской литературой. Положение изменилось в самом конце 1870-х — в начале 1880-х гг. С этого времени мы и видим в эстонской прессе и, шире, в эстонском обществе живой интерес к русской литературе. На страницах эстонских газет, календарей, учебников появляется много переводов произведений русских авторов, значительно расширяется знакомство эстонской интеллигенции с русской литературой в оригинале.

Большинство эстонских писателей предшествующего периода (вплоть до 1880-х гг.), как правило, русского языка не знало или знало его очень слабо. Очень слабо владели русским языком, например, Ф. Р. Крейцвальд и Л. Койдула, в силу этого почти лишённые возможности знакомиться с русской литературой в оригинале. При чисто немецком характере прибалтийской общественной и культурной жизни до середины XIX в. это вполне закономерно. Переводов же произведений русских писателей на эстонский язык в печати мы почти не видим.⁴ Они стали эпизодически появляться лишь с 1874—75 гг. Конечно, было бы неверным отсюда делать вывод о том, что немногочисленная эстонская интеллигенция вообще не была знакома с русской литературой. Во-первых, были исключения — так русскую литературу хорошо знал, в какой-то мере даже использовал её опыт (в частности, опыт А. А. Бестужева-Марлинского) один из первых эстонских прозаиков Суве Яан (И. Соммер), кстати, учитель русского языка. Во-вторых, эстонская интеллигенция, прекрасно владевшая немецким языком, могла познакомиться с русской литературой по её немецким переводам, довольно многочисленным уже в первой половине XIX в. Много переводов произведений русских авторов появлялось и на страницах прибалтийской немецкой печати. Значение этих переводов, сыгравших роль посредника в развитии русско-эстонских литературных связей, до сих пор не выяснено, хотя оно не подлежит сомне-

³ См. об этом: С. Г. Исаков, Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов, Тарту, 1961 [Уч. записки ТГУ, вып. 107].

⁴ Хотя вполне вероятны русские источники некоторых произведений, созданных эстонскими авторами в первой половине XIX в. (напр., «Русского сердца и русской души» Суве Яана), но первым переводом из русской литературы обычно считают помещённую в «*Tallinna koddaniko teine ramat omma sõbbradele male*» (Tln, 1854, стр. 7—8) Н. Ф. Руссова «Песню русского солдата» («*Wenne soldati laul*») некоего гвардейца Вилонина, которая посвящена защите Таллина от англичан в Крымскую войну. Литературного значения это произведение не имеет.

нию.⁵ И всё же в целом эстонская интеллигенция и, в частности, писатели были слабо знакомы с русской литературой. Сошлёмся на один достаточно показательный пример. В произведениях и письмах Ф. Р. Крейцвальда найдено чрезвычайно много цитат из немецких писателей, указаний на их произведения, упоминаний имён авторов. И в то же время в художественном наследии эстонского классика не найдено ни одной ссылки на русскую литературу или русских писателей. Лишь в его эпистолярном наследии можно найти одно упоминание Крылова и указание на присылку ему русских былин.⁶

Положение начинает меняться лишь в конце 1870-х — начале 1880-х гг. Ещё раз повторяем, именно с этого времени возникает интерес к русской литературе, появляется много переводов из неё. Возникают органы печати, ставящие своей основной задачей ознакомление эстонцев с русской словесностью, — таков был, например, журнал «Ота Маа». Теперь даже писатели, плохо владеющие русским языком, как, напр. М. Веске,⁷ обращаются к опыту русских писателей. С этого времени впервые можно говорить о влиянии русской литературы на эстонскую, влиянии, пришедшем на смену немецкому или «соседствующему» с ним. Причиной этого была как вышеохарактеризованная «русская» ориентация буржуазно-демократического крыла эстонского национального движения, так и усилившееся экономическое и политическое сближение Эстонии с Россией.

Но было бы ошибочным ограничиться лишь констатацией факта интереса к русской литературе в Эстонии. Важно выяснить и другое: как именно воспринималась русская литература в Эстонии, на какие явления русской литературы эстонцы обращали преимущественное внимание. Поскольку, как мы показали, культурная ориентация различных направлений эстонского национального движения связана с их политической программой, важно раскрыть специфику «восточной» ориентации буржуазно-демократического крыла движения. И здесь выясняются любопытные подробности. Буржуазно-демократический лагерь, защищавший интересы ещё слабо дифференцированной крестьянской массы, радикальный по своей политической направленности, в своих левых проявлениях даже не чуждый республиканских устремлений,⁸ в России ищет союзников, ориентируется на царское правительство, либеральные и даже реакционные круги русской общественности. Сторонники Якобсона почти совершенно прошли мимо русской революционной демократии, даже неоднократно выступали против неё. Как объяснить этот почти парадоксальный факт?

Причин ориентации якобсоновцев на недемократические круги русской общественности было много. Здесь надо учесть сложную общественно-политическую борьбу вокруг остзейского вопроса в России. В правой и либеральной русской прессе («Московские ведомости» М. Н. Каткова, «День» и «Москва» И. С. Аксакова, «Голос», «С.-Петербургские ведомости» и др.) в 1860-е гг. поднимается антиостзейская кампания, идущая под флагом защиты российской государственности, которой уже угрожает опасность

⁵ Крайне необходимо составить полную библиографию всех переводов произведений русских авторов и статей о русской культуре, помещённых на страницах прибалтийской немецкой печати. На материале такой библиографии можно было бы создать интересное исследование о роли Прибалтики в пропаганде русской литературы в Западной Европе, поскольку прибалтийские издания хорошо были известны в Германии.

⁶ См. об этом: L. Tohver, Kreutzwaldi väliskirjanduslikust eruditsioonist, Tartu, 1932 [Akadeemilise Kirjandusühingu Toimetised, VIII].

⁷ О слабом знакомстве М. Веске до 1887 г. с русским языком см.: А. I. Anson, Dr. Weske vene keelt õppimas, «Eesti Kirjandus», 1915, стр. 174—178; J. Tamm, Dr. Mihkel Veske aastail 1881—1883, там же, 1934, стр. 532, 536.

⁸ См. об этом: Е. Јапсен, ук. статья, стр. 222 и след.

от немцев-сепаратистов в Прибалтике, и «защиты» угнетённых остзейцами эстонцев и латышей. В то же время демократические круги русского общества, увидев, что М. Н. Катков и либералы сделали остзейский вопрос краеугольным камнем доказательства своей «прогрессивности», своего «народолюбия», стали иронически относиться к полемике вокруг этого вопроса, иногда даже стали игнорировать его.⁹ Это привело к тому, что деятели эстонского национального движения увидели союзников в борьбе со своим основным врагом — остзейцами и установленным ими особым режимом в русских либералах и в консервативных кругах. Они стали сотрудничать в их газетах, установили с ними личную связь.

Большие надежды возлагали ещё неопытные в политике деятели эстонского национального движения и на правительство. Они видели, что даже не очень решительные мероприятия правительства, ставившие целью сблизить прибалтийские порядки с общерусскими, встречаются остзейцам¹⁰ в штыки. Они знали о наличии сильной антиостзейской партии при дворе. Они также явно идеализировали проводимые царизмом реформы 1860—70-ых гг., осуществление которых в Прибалтике, действительно, было бы шагом вперёд. Всё это заставляло деятелей яacobсоновского крыла надеяться, что рано или поздно царизм вступит в конфликт с остзейцами и пойдёт по пути проведения реформ по общерусскому образцу и в Прибалтике.

Конечно, во всех эти надеждах и предположениях деятелей эстонского национального движения сказывается их незрелость, их политическая неопытность, непонимание классовой сути царского правительства и либералов. От молодых крестьянских демократов веками угнетённой нации, впервые вступивших на путь политической борьбы, трудно и ожидать зрелости политического мышления. Но нельзя не учесть, что, кроме вполне естественных в данном случае черт наивного крестьянского монархизма, здесь сказалось и некое чувство политической реальности эстонских демократов. Они прекрасно понимали, что эстонцы сами по себе слишком слабы, чтобы свергнуть иго остзейцев. Эстонцам нужен могущественный союзник, реальная политическая сила, на которую они могли бы опереться в своей борьбе с остзейцами. Русские революционные круги, терпевшие одно поражение за другим в схватке с царизмом, не казались им такой силой. Зато близкие к правительству либерально-консервативные круги, сам царизм представлялись эстонцам именно тем союзником, который не только могущественен, но и реален, поскольку назревал конфликт между царизмом и остзейцами и поскольку катковские и либеральные круги решительно выступили против особого остзейского режима.

Кроме того революционный лагерь русского общества и по другим причинам не устраивал деятелей эстонского национального движения. Актуальные жизненные проблемы, волновавшие, с одной стороны, русских революционных демократов после спада революционной ситуации конца 1850-х — начала 1860-х гг. — и яacobсоновских, деятелей буржуазно-демократического крыла эстонского национального движения, с другой, далеко не всегда совпадали, даже иногда могли приходиться в противоречие. И это, пожалуй, главное. Русская демократия в 1860—70-е гг. не проявляла интереса к остзейскому вопросу. Эстонские демократы еще не доросли в своём развитии до уровня русской революционно-демократической общественной мысли, и многое в мировоззрении её идеологов им было чуждо. Основной революционной силой в России 1870—80-х гг. было народничество, которое центральным пунктом своей программы сделало общину. Между тем община, за развитие которой ратовали народники, была совершенно неприемлема для деятелей эстонского национального движения. Прибалтика не знала общины. Община даже пугала эстонских деятелей, ориентировавшихся на индивидуальное крестьянское хозяйство, находящееся во владении эстонца-собствен-

⁹ См. об этом подробнее в ук. выше книге С. Г. Исакова «Остзейский вопрос в русской печати 1860-х гг.», стр. 165—167.

рика. К тому же народников вообще не очень интересовал национальный вопрос, бывший чрезвычайно актуальным для эстонцев. Всё это объясняет неоднократные выпады Якобсона и его соратников против народников и поиски ими союзников в другом направлении.

Наконец, на позицию эстонских деятелей влияла и изолированность Прибалтики от России, те барьеры, которые ставили проникновению русских революционно-демократических идей в край местные бароны, с одной стороны, и царизм, с другой.

Ориентация деятелей буржуазно-демократического крыла эстонского национального движения в общественно-политической борьбе на русские либерально-консервативные круги, на царизм, не могла не повлиять и на их восприятие русской литературы, на выбор произведений для переводов. Эстонская печать 1870—80-х гг. совершенно не интересовалась творчеством русских революционных демократов. На эстонский язык в этот период не было переведено ни одной работы В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева. Даже в статьях о русской литературе упоминания их имён крайне редки. Почти никаких следов их непосредственного влияния на взгляды эстонских критиков и публицистов мы обнаружить не можем. В 1870—80-ые гг. в эстонской печати не появилось в переводе ни одного стихотворения Н. А. Некрасова и лишь одно произведение М. Е. Салтыкова-Щедрина (сказка «Добродетели и пороки»). Эстонская пресса, в основном, ориентируется на официально признанные в 1880-е гг. литературные авторитеты, она интересуется теми писателями, которые включены в школьные и гимназические программы и учебники. Переводятся, главным образом, произведения тех авторов, которые вошли в официальную историю литературы. Вообще тогдашняя эстонская печать значительно больше интересуется прошлым русской литературы, чем её современностью.¹⁰ Активно переводятся даже такие имевшие в ту пору только историко-литературный интерес авторы, как Н. М. Карамзин и И. И. Дмитриев. Показательны также довольно многочисленные статьи об И. С. Аксакове и М. Н. Каткове (впрочем, в основном, в связи с их кончиной).

Конечно, очень важную роль в таком восприятии русской литературы сыграли и внешние факторы — крайне реакционные порядки в Эстонии 1880-х гг., когда беспощадно преследовалось каждое вольное слово. За эстонскими газетами бдительно следила не только официальная цензура царских властей, но, быть может, ещё более опасная неофициальная цензура местных недоброжелателей из числа остзейских дворян, немечившихся эстонцев да иногда и из числа своих же «собратьев» — конкурентов по изданию газет. Эстонским деятелям, находившимся между двух огней — царизма и остзейских баронов, — приходилось быть максимально осторожными не только в своих политических высказываниях, но даже и в своих литературных симпатиях. Обвинения в революционности неоднократно использовались местными реакционерами для расправы даже над довольно умеренными деятелями эстонского национального движения. В таких условиях не только опасно, но даже порою просто невозможно было печатать произведения русских революционных авторов.

Наконец, в таком «официальном» восприятии в 1880-е гг. русской литературы эстонской прессой и, видимо, читателями сказались ещё два очень существенных, в какой-то мере взаимосвязанных фактора: атмосфера эпохи русификации и крах, постепенное разложение эстонского национального движения. При этом особенно важную, для 1880-х гг. едва ли не решающую роль сыграл как раз первый фактор — воздействие русификации.

С 1881 г. царское правительство решительно приступило к проведению политики последовательной русификации Прибалтики, особенно усилившейся после завершения ревизии сенатора Манасеина. Русский язык вводится во

¹⁰ На это обратил внимание ещё Фр. Туглас в статье о Брюсове, см.: Fr. Tuglas, *Kritika*, VI, Tartu, Noor-Eesti Kirjastus, 1936, стр. 76.

все школы и официальные учреждения края. Правительство выступает с поддержкой православия и начинает довольно настороженно относиться к национальным мероприятиям эстонцев. Официальные лица прямо заявляют о том, что их ближайшей целью является обрусение эстонцев, и «доказывают», что «слияние» эстонцев с русским народом якобы принесёт лишь пользу первым. Политика русификации сопровождается общим усилением реакции, усилением борьбы со всеми проявлениями свободолюбия в эстонском обществе.

На эти же годы падает и постепенное разложение эстонского национального движения. Своего кульминационного пункта оно достигло в 1878—82 гг. в период издания газеты «Сакала». Но после смерти Якобсона в 1882 г. движение быстро пошло на спад. Первопричиной его была классовая дифференциация эстонской нации под влиянием развития капитализма, вызвавшая к жизни внутреннюю борьбу среди самих эстонцев и сделавшая невозможной общенациональные действия.

И сразу же встал вопрос об отношении к русификации. Этот вопрос был очень сложен. Дело в том, что ещё задолго до 1881 г. буржуазно-демократическое крыло эстонского национального движения выступило за введение русского языка в школах, за сближение Прибалтики с Россией, за проведение здесь общерусских реформ. Борясь с остзейцами, с немецким господством в Прибалтике, с опасностью онемечения коренного населения, деятели этого крыла не видели опасности со стороны царской России, рассматривали её лишь как союзника. Это было краеугольным камнем их тактики. И вот теперь они столкнулись с политикой русификации, которая явственно могла привести в конечном итоге к обрусению эстонцев, к уничтожению их как нации.

Деятели буржуазно-клерикального крыла национального движения враждебно относились к русским началам и, естественно, к политике русификации, но они удивительно быстро приспособились к новым условиям. Виднейший деятель этого крыла в данный период А. Гренцштейн, издатель газеты «Олевик», уже в конце 1880-х гг. стал ярким приверженцем обрусительства и неоднократно высказывал мысль о том, что эстонцы как самостоятельная нация существовать не могут. К. А. Херманн, издатель «Постимеэс», вообще отошёл от политической борьбы, стал пассивно взирать на происходящее, хотя в защиту русификации и не выступил.

Новая эпоха вызвала разброд в лагере яacobсоновцев. Некоторые деятели этого лагеря махнули рукой на национальные устремления эстонцев, пошли на службу к царизму, памятуя в основном о своей выгоде, о карьере. Таков Я. Кырв, с 1882 г. издатель очень распространённой газеты «Валгус». Он целиком поддерживал русификаторскую политику царизма, каждый шаг по пути обрусения считал величайшим благом для эстонцев. Но за этим у Я. Кырва не стояло никаких определённых мировоззренческих принципов — этот ренегат эстонского национального движения думал лишь о наживе, обогащении, и с этой целью стремился выслуживаться перед властями, понимая важность поддержки с их стороны. В борьбе со своими газетными конкурентами Я. Кырв широко использовал доносы властям.

С позицией Я. Кырва нельзя объединять другую группу деятелей яacobсоновского крыла — М. Веске, Ю. Кундера и др. Они в новых условиях хотели остаться верными старым принципам, старым тактическим установкам буржуазно-демократического направления эстонского национального движения. Они по-прежнему рассматривали русский царизм как своего союзника в борьбе с остзейцами и в значительной мере приветствовали русификацию, в которой они видели воплощение в жизнь их старых программных требований. Это привело к тому, что во взглядах некоторых из них, напр., Ю. Кундера, появляются порою даже реакционные положения, которые объективно могли способствовать проведению сбрусительной политики ца-

ризма.¹¹ Но это были искренние заблуждения якобсоновцев, обусловленные в конечном итоге их буржуазной ограниченностью, которая теперь, в годы упадка национального движения, всё более и более начинала сказываться.

Лишь немногие из якобсоновцев стремились в новых условиях не останавливаться на старых положениях, а идти дальше, учитывая опыт эпохи. Таков в известной мере Я. Ярв, издатель газеты «Вирулане», на страницах которой впервые был поставлен рабочий вопрос и высказывались довольно смелые суждения относительно религии. Я. Ярв не отрицал значения русской культуры и даже ратовал за распространение русского языка в Эстонии, но он ни в коей степени не стал защитником реакционной политики русификации. Однако достаточно умеренная деятельность Я. Ярва была искусственно прервана уже в 1888 г. — на основе доноса Я. Кырва Ярв, по обвинению в пропаганде социализма (это, конечно, было преувеличением), был выслан из Эстонии, и его газета закрылась.

Эпоха русификации, сопровождавшейся резким усилением реакции, что называется, спутала все карты. В первой половине 1880-х гг. пропагандистами русской литературы в основном выступали деятели буржуазно-демократического крыла эстонского национального движения и возглавляемые ими органы печати. В то же время газеты, примыкавшие к буржуазно-клерикальному направлению движения, не интересовались русской литературой и печатали очень мало переводов из неё. Но по мере усиления русификации положение меняется. Почти все органы эстонской прессы примерно с 1885—87 гг. стремятся печатать произведения русских писателей, статьи о русской литературе. В этом объединяются «Валгус», «Вирулане», «Ома Маа», «Меэляхутая» — и «Постимеэс», «Олевик», «Линда». Невнимание к русской литературе теперь расценивается властями как факт недоброжелательного отношения к политике русификации. И даже враждебные в душе всему русскому буржуазные деятели, трусливо пресмыкавшиеся перед царизмом, теперь часто печатают переводы произведений русских авторов, не желая прослыть противниками русификации. Лишь крайне правые органы печати, существовавшие на деньги остзейского рыцарства или лютеранской консистории, — типа «Таллинна Сыбер», «Кюндья», «Ристирахва Пюхпяевалехт», по-прежнему не проявляют интереса к русской литературе.

Но, само собой разумеется, новое «единство» в отношении к русской литературе было достаточно призрачным. Если М. Веске в «Ома Маа», Ю. Кундер в «Меэляхутая», частично Я. Ярв в «Вирулане» сознательно стремились как можно больше знакомить читателей с произведениями русских авторов, понимая значение русской литературы для развития эстонской культуры, то Я. Кырв и издатели «Вирмалине» вряд ли руководствовались какими-нибудь идейными соображениями, печатая переводы с русского. В газете «Валгус» было опубликовано немало произведений русских писателей, но этим Я. Кырв преследовал или коммерческие цели (он прекрасно учитывал интерес читателей к русской литературе) или стремился зарекомендовать себя в глазах властей в качестве проводника русификации. Что же касается «Олевик» А. Гренцштейна и «Постимеэс» К. А. Хермана, сделавших во второй половине 1880-х гг. довольно много для распространения русской литературы в Эстонии, то их деятельность в этом направлении вряд ли верно было бы объяснять лишь корыстными или верноподданническими соображениями. К. А. Херманн и А. Гренцштейн, как бы они ни относились к русской литературе и как бы они ни сочувствовали в большей мере немецкой культуре, были людьми достаточно образованными и развитыми, чтобы понимать всемирно-историческое значение русской литературы, важность ознакомления эстонцев с её достижениями. Конечно, им, выросшим в буржуазно-клерикальном лагере эстонского национального движения, была ближе немецкая культура, нежели русская, но в новых условиях они в силу

¹¹ См. об этом: K. Laigna, Juhan Kunder, Tln, ERK, 1959, стр. 24, 29.

многих причин считали необходимым в какой-то степени знакомить своих читателей и с русской литературой.

Удушливая атмосфера реакции эпохи царствования Александра III, давление политики русификации, обстановка разложения национального движения, в практике деятелей которого всё чаще начинают проявляться своеобразные буржуазные черты, — всё это не могло не воздействовать на восприятие эстонцами русской литературы, на понимание, на отбор ими для переводов произведений русских авторов. Обстоятельства эстонской жизни 1880-х гг. ещё более способствовали тому, что эстонцы прошли мимо революционно-демократического и народнического направления в русской литературе, что они во многом усвоили официальный взгляд на её явления, тот взгляд, который был изложен в гимназических учебниках, в пособиях, допущенных Министерством народного просвещения к пользованию в школьных библиотеках.

Конечно, выше сформулированное положение не надо понимать ни буквально, ни слишком расширительно. В какой бы степени эстонские писатели, почти все примыкавшие к эстонскому национальному движению и отражавшие в своем творчестве его идеи, ни находились под влиянием официальной трактовки истории русской литературы, как бы они ни относились отрицательно к народническим установкам и к идеям русской революционной демократии, но они всё же оставались *демократами*, пусть стихийными (мы имеем в виду деятелей яacobсоновского крыла), представителями угнетённой нации, выразителями в конечном итоге настроений крестьянства. Их стихийный демократизм, их крестьянское мироощущение не могли не сказаться на их восприятии русской литературы, на их подходе к её явлениям. К тому же официально и либерально литературоведение той поры, хотя порою и фальсифицировало творчество классиков, но целиком и полностью признавало значение И. А. Крылова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, да и И. А. Гончарова и И. С. Тургенева. Интерес эстонских литераторов сосредотачивается на творчестве именно этих писателей. При этом отнюдь не всё из того, что выдвигалось на первый план в их творчестве официальным литературоведением, привлекает к себе внимание эстонских литераторов, издателей газет и журналов демократического направления, учитывавших вкусы большинства своих читателей.

Вкус читателей оказывал существенное влияние на подбор произведений русской литературы для перевода, на распространение русской литературы в Эстонии. Основную массу эстонских читателей составляли крестьяне. Не очень многочисленную эстонскую интеллигенцию той поры тоже составляли, главным образом, выходцы из среды крестьянства, не порвавшие полностью с представлениями этого класса. Высший же слой интеллигенции, как и, шире, городской буржуазии, в переводной литературе на эстонском языке вообще не нуждался — её представители владели немецким или же, правда, в несравненно меньшей степени, русским языками. Поэтому издатели книг, газет, журналов и календарей должны были ориентироваться именно на массового читателя — на крестьянина. Тогдашнему же ещё не очень образованному и развитому крестьянину в общем-то были чужды и малопонятны произведения, описывающие жизнь дворянской среды, ставившие сложные вопросы духовной жизни буржуазного интеллигента. Ему была чужда и непонятна, например, сложная проблематика романов Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, «дворянско-интеллигентская» тематика романов И. С. Тургенева и «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. Массовому эстонскому читателю были ближе те произведения русских классиков, в которых отражалась народная жизнь, которые были написаны в простонародном духе. Не случаен огромный успех басен И. А. Крылова — на страницах эстонской печати 1880-х гг. появилось около 40 переводов его басен. Он — один из самых «переводимых» авторов. Не менее показателен в этом плане и отбор для перевода произведений Л. Н. Толстого — на эстонский язык переводятся его народные рассказы типа «Бог правду видит, да не скоро скажет». Очень

ярко этот принцип отбора сказывается в широком распространении эстонских переводов русской лубочной литературы. В 1870—90-е гг. все наиболее популярные и распространённые произведения русской «народной» литературы оказались переведёнными на эстонский язык. Так, в 1880-е гг. появляются в эстонском переводе лубочная переработка «Повести о приключении английского милорда Георга и о Бранденбургской маркграфине Фридерике-Луизе» М. Комарова, «История о храбром рыцаре Франциле Венециане и о прекрасной королеве Ренцивене» А. Филиппова, знаменитый Бова, история о девятиглавом змие и славном королевице, более поздние лубочные «повествования» о Ермаке, Суворове и Иване Грозном.¹² Эти книги составляют более одной трети той переводной (с русского) печатной продукции, которая состоит из отдельных изданий.

В этом воздействии вкуса массового читателя на распространение русской литературы в Эстонии были свои плюсы и свои минусы. Воздействие вкуса среднего читателя приводило к ограничительному восприятию русской литературы — многие очень важные её явления оказались вне сферы внимания эстонцев. И это, конечно, был очень существенный минус. Но в то же время массовому читателю были близки те произведения русских авторов, в которых заметна стихийно-демократическая тенденция, которые исполнены народности и отражают жизнь народа. Между тем, хорошо известно, что демократические черты великой русской литературы, быть может, наиболее ярко проявились именно в произведениях, отображающих народную жизнь. Поэтому вкус массового читателя, его требования, в известной мере, нейтрализовали отрицательное влияние официальных оценок русской словесности, сквозь призму которых тогдашние эстонские литераторы и издатели нередко воспринимали произведения русских авторов.

Но здесь мы, собственно, подходим уже к другому вопросу — как на восприятии русской литературы сказались специфические черты эстонского литературного процесса, сравнительная степень развития двух литератур. Понимание русской литературы эстонскими писателями и переводчиками, восприятие ими её отдельных явлений, без сомнения, сложным образом связано с уровнем развития эстонской литературы, с актуальными проблемами эстонской литературной жизни.

Русская литература к началу 1880-х гг. выдвинулась в число наиболее богатых и развитых литератур мира. Русский критический реализм конца XIX в. был в ту пору высшим достижением мировой литературы и стал оказывать огромное влияние на словесность других стран, приобрел международное значение. Творчество Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого явилось художественным открытием мирового масштаба, открыло перед человечеством новые принципы отображения жизни в её сложности и противоречивости. Молодая эстонская литература, возникшая всего лишь полстолетия тому назад, ещё значительно отставала в своём развитии от русской. К началу 1880-х гг. она ещё находилась на стадии романтизма, давно пройденной русской литературой. Отсюда заметный интерес эстонских литераторов к творчеству русских романтиков, проявившийся, в частности, в переводе на эстонский язык ряда произведений братьев Бестужевых.¹³ С романтизмом связано и обращение эстонских писателей к исторической тематике — в 1880-е гг. появляются первые оригинальные эстонские исторические повести, составляющие едва ли не самую ценную часть прозаической продукции эстонских литераторов, в этот период очень распространены в поэзии исторические баллады. И мы видим, как это вызывает живой интерес эстонцев к рус-

¹² Одним из авторов этой статьи, С. Г. Исаковым, подготовлено к печати специальное исследование, посвящённое распространению в Эстонии русской лубочной и так называемой «народной» литературы.

¹³ См. об этом: S. Issakov, Dekabristid ja eesti ajalooline jutustus XIX sajandi lõpul (Kirjandusajaloolised paralleelid, mõjud ja tõlked), «Keel ja Kirjandus», 1961, № 11.

скому историческому роману. Не случайно, первым значительным переводом из Гоголя был перевод «Тараса Бульбы», а из Пушкина — «Капитанской дочки». Ещё более показателен исключительный успех Г. П. Данилевского в Эстонии — его многочисленные и огромные по размеру романы один за другим появляются в эстонских переводах. Вообще переводы исторических романов и рассказов русских авторов очень часты — на эстонский язык переводится «Последний Новик» и «Ледяной дом» И. И. Лажечникова, одна из повестей К. П. Масальского, «Князь Серебряный» А. К. Толстого и т. д., и т. д.

Но в конце 1880-х гг., как мы указывали, в эстонской литературе крепнут реалистические тенденции. Правда, на первых порах эстонский реализм был ещё достаточно ограничен (это видно хотя бы на ранних произведениях Э. Вильде или Ю. Лийва), ещё не проникал глубоко в суть социальных отношений, ещё не умел отобразить всю сложность и противоречивость жизни через психологию героев, через «диалектику их души». В силу незрелости, неразвитости эстонского реализма, восприятие творчества многих русских реалистов даже эстонскими писателями было ограниченным. Эстонским литераторам были ближе представители первого этапа развития русского реализма, в своём раннем творчестве ещё не порвавшие с романтизмом, — А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь. Из представителей следующего этапа развития русского реализма им ближе всех оказался И. С. Тургенев, но не случайно не как романист (без сомнения, именно его романы были шагом вперёд в развитии реализма), а как рассказчик и автор «Стихотворений в прозе». Высший же этап русского реализма — М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой — пока ещё не привлекает внимания эстонских литераторов, они в какой-то степени не доросли до него. Метод отображения жизни Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Л. Толстого ещё непонятен эстонским писателям и кажется неприменимым к эстонской литературе. Это видно и по отсутствию статей об их зрелом творчестве да и по случайности упоминаний о них в переписке эстонских литераторов тех лет. Лишь в 90-е гг. и, в особенности, в начале XX в. усилился интерес к Л. Н. Толстому,¹⁴ интерес же к Достоевскому проявится вообще значительно позже — в значительной мере он совпадёт уже с периодом диктатуры буржуазии.

Конечно, объяснение того факта, что многие важнейшие произведения русского реализма оказались непереведёнными на эстонский язык, надо искать ещё и в другом. Во-первых, в неразвитости эстонского литературного языка, очень затруднявшей точную передачу стилизованных особенностей оригинала, чрезвычайно важных для литературы зрелого реализма. Во-вторых, в жанровой неразвитости эстонской словесности, фактически ещё не знавшей жанра романа, тем более романа в стихах или романа психологического. Можно было бы указать и на другие причины.

Таковы, на наш взгляд, факторы, обусловившие своеобразие восприятия, понимания русской литературы эстонцами в 1880-ые гг., отбор произведений для перевода эстонскими издателями, объясняющие популярность в Эстонии определённых русских литературных явлений и приведшие в то же время к игнорированию других.

¹⁴ См. об этом: B. Sõõt, Leo Tolstoi ja eesti kirjandus, «Looming», 1956, nr. 12; ero же, Leo Tolstoi tutvustamine eesti perioodikas kirjaniku elu-ajal, там же, 1960, nr. 11; N. Andresen, Eesti kirjanduslikust elust sajandi vahetusel ja L. Tolstoist, «Keel ja Kirjandus», 1960, nr. 11. К сожалению, в эстонском литературоведении отсутствуют подобные же исследования о Достоевском.

В 1880-е гг. эстонцы в подавляющей массе ещё не знали русского языка. Это относится и к эстонской интеллигенции, большей частью получившей немецкое образование. Даже многие деятели буржуазно-демократического крыла эстонского национального движения, как мы видели, и в политике и в культуре стремившиеся ориентироваться на Россию, тем не менее, очень слабо владели русским языком. Политика русификации, всё усиливавшееся экономическое и политическое сближение Прибалтики с Россией изменили положение, но всё же в 1880-е гг. это изменение сказалось ещё слабо. Оно в полной мере проявилось лишь в 1890-е гг. — начале XX в.

Конечно, и в 1880-е гг. среди интеллигенции было немало людей, которые могли познакомиться с русской литературой в оригинале. Молодёжь самого конца 1880-х гг. уже изучала в школе на русском языке произведения русских классиков. Но огромное большинство эстонских читателей всё же могло ознакомиться с русской литературой, в первую очередь, через переводы и статьи историко-литературного характера на страницах периодической печати и календарей, в меньшей мере с помощью отдельных изданий произведений русских авторов в переводе — их было ещё очень мало. Поэтому при исследовании вопроса «Русская литература в Эстонии в 1880-е гг.» едва ли не центральное место должно занять изучение переводов русских авторов и статей о русской литературе на страницах газет, журналов и календарей.

При этом, как мы уже отмечали, в 1880-е гг. и в читательской массе и среди значительной части эстонской интеллигенции явственно наблюдается интерес к русской литературе, тяга к ней, требование более широкого ознакомления с ней читателей. Это требование у массового читателя было, вероятно, связано с наивными надеждами народа на русскую помощь в борьбе с остзейскими помещиками, на русские реформы, якобы долженствующие существенно улучшить положение крестьян. Великого художественного значения русской литературы массовый читатель, конечно, ещё не понимал. Но это понимание уже свойственно многим представителям прогрессивной интеллигенции и ряду писателей. В своих требованиях пропаганды русской литературы, распространения переводов из неё, они исходят из того, что русская словесность представляет собой важное явление художественного порядка, переводы произведений русских авторов могут значительно обогатить молодую эстонскую культуру, помочь воспитанию художественного вкуса читателей, развитию эстонской литературы. При этом в сознании некоторых представителей эстонской интеллигенции возникает мысль о том, что одного немецкого влияния уже недостаточно, что это влияние имеет и свои минусы и что, в этой связи, опыт русской литературы может с успехом заменить учёбу у немецких писателей и нейтрализовать её минусы.

Нужно учесть однако, что прибалтийские немцы и широко проникавшая в Эстонию германская печать в течение десятилетий утверждали: русская словесность бедна, неразвита, она возникла и развивалась под исключительным влиянием западноевропейской культуры, в первую очередь, немецкой, и поэтому не может иметь значения для эстонцев, которым полезно обратиться прямо к первоисточнику — литературе немецкой. Эти представления являлись составной частью теории о якобы культуртрегерской роли немцев в России, принесших русским свет и науки и просвещения. Эта теория стала уже в 1860-е гг. краеугольным камнем борьбы остзейцев за немецкий характер Прибалтики.¹⁵ Эстонским литераторам, выросшим в немецкой атмосфере Прибалтики, получившим немецкое образование, приходилось преодолевать груз этих представлений. И это преодоление не могло совершиться сразу. Отсюда известная робость первых печатных деклараций о необходимости ознакомления эстонского читателя с русской литературой, о важности этого ознакомления. Но всё же эта мысль начинает пробивать себе путь в печать.

¹⁵ Об этой теории см.: Я. Зутис, Очерки по историографии Латвии, ч. I, Рига, Латгосиздат, 1949, стр. 153—161.

В 1884 г. известный эстонский ученый и поэт Михкель Веске создал журнал «Ома Маа». В программной редакционной статье в первом номере «Ома Маа» М. Веске основной задачей своего журнала считает ознакомление эстонского читателя с Россией, с русским народом, с его культурой и литературой.¹⁶

Значение русской культуры для эстонцев еще за год до этого подчеркивалось в статье «Житё-бытё России» («Wenemaа elu ja olu») в газете «Валгус». Автор статьи резко выступает против тех, кто утверждал, что русская литература бедна. По его мнению, наоборот, словесность русского народа богата и самобытна. «Русская литература дает каждому знатоку прекрасную духовную пищу, чудесные по красоте и по нежным, сердечным чувствам сокровища в области самобытной поэзии, опыт искусного научного изучения и руководства во всех жизненных происшествиях. Большая беда эстонцев заключается в том, что они почти не знают прекрасного русского языка и поэтому не могут воспользоваться опытом (буквально: не могут получить пользы — С. И., М. А.) русской литературы. Эта беда и этот недостаток — не вина нашего народа, который жаждал, стремился выучиться языку своего великого государства, но при всём своём желании не мог этого сделать, так как препятствия были слишком велики и сильны».¹⁷

В эстонских газетах в середине 1880-х гг. уже слышны голоса, утверждающие, что русская литература ближе эстонцам, чем немецкая. Неизвестный нам автор статьи о Всеволоде Владимировиче Крестовском в газ. «Олевик» писал: «Литературное богатство русского народа пока ещё неизвестно эстонцам, в то время как немецкие духовные сокровища, поэзия, проза и сами писатели им несравненно более знакомы. Наш народ, любящий рассказы, большей частью вынужден был довольствоваться произведениями, переведенными с немецкого языка. Между тем условия жизни немецкого народа совершенно иные, чем наши, поэтому рассказы немецких писателей, если не прибегать к изменениям, нам не подходят. Наоборот, великий русский и финский народы живут с нами почти что на одной земле, в одном климате и среди одной природы. Им приходится бороться почти с одними и теми же трудностями и превратностями судьбы: их жизненные условия большей частью сходны с нашими. Отсюда вполне естественно, что русские и финские рассказы нам несравненно привычнее и ближе, нежели произведения какого-нибудь более отдалённого народа. Что же согревает твоё сердце, когда ты прочитал какой-либо рассказик Толстого или Тургенева? Именно его естественная простота, за которой скрывается глубокое знание народной жизни. Те картины, которые здесь представлены, ведь тебе хорошо знакомы <...> Это придаёт рассказу свежесть и действенность. — Мы надеемся лишь выполнить просьбы читателей, когда будем больше переводить произведений русских писателей, к ним прилагать биографии литераторов, и таким образом постепенно ознакомим читателей со всеми крупнейшими русскими авторами».¹⁸

В конце же 1880-х гг. в эстонской прессе уже смело раздаются не только утверждения о всемирно-историческом значении художественного опыта русской литературы, но и утверждения о том, что русская словесность в настоящий момент богаче, более развита, чем литература немецкая, и что поэтому использование её опыта эстонцами в высшей степени важно и плодотворно. В этом плане большой интерес представляет небольшая анонимная статья «Несколько слов о русской литературе» («Mõni sõna Wene kirjandusest») в газете «Постимеэс» (29. XII. 1890, № 149). «У русских было много крупных писателей. В частности, в последнее время на русскую литературу стали обращать очень большое внимание и заграницей, а именно — в Германии, Франции, Англии. Особое внимание повсюду привлекло к себе свое-

¹⁶ «Ома Маа», 1884, № 1, стр. 2.

¹⁷ «Walgus», 16. IX. 1883, № 70.

¹⁸ «Olewik», 1886, № 33.

образе характера русской литературы, которое отличает её от других народов. В чём же проявляется этот её своеобразный характер? Он проявляется в том, что русская литература нам прямо даёт образы повседневной жизни самого русского народа; она с исключительным мастерством описывает специфические черты, характер русских людей. Ни у одного другого народа нет подобной литературы, которая так лепила бы характер, как литература русского народа. Высшей задачей русских писателей является не увлекательность рассказа, но отображение внутренней жизни человека. Кто же ищет в русской литературе захватывающей интриги, столь частой, например, во французской и немецкой литературах, то тот её здесь не найдёт. Но тем поучительнее русская литература в отображении духовного мира людей. Она показывает, как в душе человека рождаются добрые и злые решения, из которых опять же вырастают добрые и злые дела. Некоторым другим народам такой способ отображения жизни человеческой души чужд, скучен, странен и противоестественен, так как здесь отсутствует увлекательная напряжённость действия, но никто не отрицает того, что это как раз является сильнейшей отличительной чертой русской литературы, которая делает её примечательной <...>

Выше отмеченный характер русской литературы наиболее полно проявился в творчестве Грибоедова, Гоголя, Гончарова, Тургенева, Л. Толстого, Островского, Достоевского и Данилевского.¹⁹

В этой попытке определить своеобразие русской литературы, попытке, вполне возможно компилятивной, сделанной на основе каких-либо русских источников, многое неверно. Конечно, и во французской и, пусть в меньшей мере, в немецкой литературах к этому времени тоже проявились черты, которые автор объявляет характерными лишь для русской словесности — углублённый психологизм, игнорирование внешней интриги, увлекательного сюжета во имя показа сложности социальных противоречий общества и т. д. Но, тем не менее, в этой статье отразилось новое отношение эстонцев к русской литературе, которая не просто кажется им теперь имеющей непреходящее художественное значение, но и представляется более высокой ступенью в развитии искусства, чем, например, немецкая словесность. Отсюда, естественно, напрашивается вывод, что эстонская литература должна учиться именно у русской, а не у немецкой словесности, бывшей до тех пор высшим авторитетом, мерилем художественного развития для эстонцев.

В 1880-е гг. появляются на страницах печати и первые обзоры истории русской литературы. Их, правда, ещё немного, и, видимо, чаще всего они представляют собой компиляции из русских источников: знакомство эстонских писателей с русской литературой было ещё не настолько значительным, чтобы создавать самостоятельные обзоры истории русской словесности. Но значение этих обзоров, тем не менее, не стоит недооценивать — ведь именно с их помощью рядовой эстонский читатель знакомился с наиболее важными фактами, характеризующими развитие русской литературы.

Первая попытка такого рода обзора появилась ещё в 1870-е гг. в книге «Русский народ и русское государство» («Wenne rahwas ja Wenne riik») Я. Линденберга (Рига, 1872). Повествуя об истории российского государства, Я. Линденберг приводил попутно и краткие сведения о крупнейших русских писателях — Ломоносове, Державине, Фонвизине, Карамзине, Пушкине и Крылове. Но эти лаконичные сведения, включённые в исторический очерк, конечно, лишь очень условно можно назвать обзором литературы. Это же можно сказать и об уже цитированной нами выше статье «Житьё-бытьё России» в газете «Валгус» за 1883 г., в девятом разделе которой («Русские школы, литература и печать») приводились самые общие данные о русской литературе.

Собственно же обзоры истории русской словесности начинают печататься на страницах эстонской прессы лишь в конце 1880-х гг.

¹⁹ «Postimees», 29. XII, 1890, № 149.

В 1887 г. в приложениях к газете «Олезик» появляется статья «Русские писатели»²⁰ Она была задумана, видимо, как серия биографий русских литераторов. Статья открывается предисловием, в котором говорится о возникновении русской письменности, о первых русских писателях. За ним следует биография и краткий обзор деятельности М. В. Ломоносова, в следующем номере приводится биография М. Ю. Лермонтова, кое как скомпонованная. На этом серия прерывается.

Первыми более или менее полными обзорами истории русской литературы на страницах эстонской печати нужно считать статьи Г. Ёйса «Немного из истории русской литературы» («Weidike Wene kirjanduse ajaloo» в «Исамаа Календер» на 1889 г. и анонимную — «О значении русской литературы» («Wene kirjanduse tähtsusest») в газете «Ээсти Постимеэс» за 1889 г.²¹

Остановимся вначале на последней. В этой статье (данную работу вернее было бы назвать даже циклом статей) излагается история русской литературы от её возникновения до середины XIX в. — до Гоголя и событий 1848 г. Концепция русского историко-литературного процесса носит в статье официальный характер и совпадает с теми положениями, которые излагались в гимназических и школьных учебниках, в книгах по истории русской словесности, вышедших из под пера академических, в лучшем случае либеральных исследователей. Подчёркивается неустанная забота русских самодержцев о развитии русской культуры и в то же время ни слова не говорится о Радищеве, декабристах, о вольнолюбии Пушкина; Герцен и Огарев упомянуты лишь как представители западничества. В том же плане рассматривается и Белинский, о котором всё же сказано, что он обладал большим критическим талантом, помогавшим ему правильно оценивать литературные произведения. Ссылка у Пушкина на юг квалифицируется как «переезд» поэта в его южное имение. В тонах высшей признательности Николаю I отмечается, что тот сделал Пушкина придворным поэтом, приблизил его к себе, лишь преждевременная смерть лишила поэта счастья жить «под защитой императорской любви». В либеральном духе интерпретируется в статье и творчество Н. В. Гоголя. Завершается статья туманным намёком на революцию 1848 г., захватившую и западноевропейских писателей, но тут же отмечается, что русские писатели не обратили никакого внимания на это событие, поскольку оно прошло совершенно мимо русского народа, находившегося под твёрдой властью правительства.

Но при всей ограниченности концепции статьи «О значении русской литературы», даже при её фактических ошибках (автор, напр., утверждает, что Лермонтов был лучшим другом Пушкина), эта работа всё же познакомила эстонского читателя со всеми основными явлениями истории русской литературы — со «Словом о полку Игореве», с Кантемиром, Ломоносовым, Сумароковым, Державиным, Новиковым, Жуковским (объявляемым, впрочем, учеником Новикова), Крыловым, Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем и др. В статье правильно отмечается и даже несколько преувеличивается роль фольклора в развитии русской литературы, в утверждении её самобытности.²²

Статья «О значении русской литературы» не была завершена — в конце последнего отрывка есть указание — «Продолжение следует», но окончания работы в газете не последовало.

Небезынтересно, что в основе статьи лежат, видимо, не только русские, но и немецкие источники — в ней имеются неоднократные ссылки на немец-

²⁰ «Olewiku Lisa», 1887, № 20, стр. 312—315, № 21, стр. 323.

²¹ «Eesti Postimees», 1889, №№ 21 (под несколько иным названием — «Wene keele kirjanduse tähtsusest» — «О значении литературы на русском языке»), 23, 25, 26, 28, 29, 31.

²² Это, безусловно, связано с тем, что фольклор сыграл исключительно важную роль в становлении эстонской национальной литературы, в утверждении в ней народности.

кие переводы произведений русских писателей, транскрипция их имён и фамилий также зачастую немецкая.

Лучшим обзором истории русской словесности в эстонской печати 1880-х гг. без сомнения, была статья Г. Ёйса «Немного об истории русской литературы».

Г. Ёйс (псевдоним Густава Вульфа, 1864—1946) был довольно известным поэтом и переводчиком конца XIX — начала XX вв., активно сотрудничавшим в ряде эстонских периодических изданий («Сакала», «Ээсти Постимезс», «Постимезс», «Ома Маа», «Меэляхутая», «Олевик» и др.) и календарей. Если оригинальное поэтическое творчество Г. Ёйса не имеет большого значения (известность в народе получило лишь одно его стихотворение — «Соловью»), то его переводческая деятельность, до сих пор ещё не бывшая предметом специального изучения, заслуживает известного внимания. Его же статья «Немного об истории русской литературы» вообще представляется явлением в некотором роде исключительным в эстонской прессе 1880-х гг.

В этой статье дан обзор истории русской литературы от эпохи Петра I до современности. В противоположность подавляющему большинству эстонских критиков, писавших о русской словесности, Г. Ёйс не положил в основу своей статьи официальную концепцию истории русской литературы. Для его работы, наоборот, характерно пристальное внимание к тем её явлениям, которые замалчивались официальным литературоведением. Г. Ёйс неизменно подчёркивает свободолобивые и демократические идеи и мотивы в творчестве русских писателей, он исполнен критического отношения к самодержавию и всё время указывает на факты преследования царизмом передовых русских литераторов. В объяснении им ряда литературных явлений мы видим известную близость к положениям Белинского и Чернышевского, хотя здесь вряд ли может идти речь о непосредственном влиянии великих русских критиков на Г. Ёйса. Скорее всего это следствие того, что Г. Ёйс воспользовался для своей статьи трудами тех литературоведов второй половины XIX в., которые, в известной мере, следовали за Белинским и Чернышевским в оценках некоторых явлений русской литературы прошлого (вспомним, что и А. Д. Галахов, и А. Н. Пылин, и ряд других литературоведов выступили в какой-то степени как популяризаторы Белинского, хотя многое в мировоззрении последнего и было им чуждо).

Г. Ёйс прекрасно понимал великое значение русской литературы, важность знакомства с нею для эстонских читателей. Поэтому, работая над статьей, он поставил перед собой и вполне практическую задачу: помочь эстонцам ближе ознакомиться с её важнейшими явлениями. Г. Ёйс с этой целью регулярно указывает при рассказе об отдельных русских писателях на эстонские переводы их произведений, приводит сведения о том, где именно они были напечатаны. Иногда он упоминает в этой связи и о таких переводах, которые по какой-либо причине не попали в печать (напр., о переводе Я. Таммом оды Г. Р. Державина «Бог»), — и эти сведения порою имеют большой историко-литературный интерес.

Начинается статья с попытки выяснить значение русской литературы. В других странах сословия и классы организуют партии в целях защиты своих интересов; последние же основывают газеты и журналы, объединяют писателей, которые служат интересам определённой партии. В России дело обстоит иначе. Здесь, наоборот, органы периодической печати и литераторы организуют партии и руководят ими. Поэтому-то в России писатели всегда оказывали огромное влияние на общество и нередко вынуждены были оканчивать свою жизнь в тюрьме. Поэтому-то и многие русские правители пытались оказывать воздействие на общество с помощью печатного слова. Отсюда вытекает и огромная роль периодической печати в России, на страницах которой в первую очередь печатаются все произведения писателей. Правда, эта зависимость от чисто политических устремлений значительно

уменьшает порою художественную ценность произведений русских писателей, но она же обуславливает их значение в общественной жизни.

Это подчёркивание особой роли русской литературы в жизни, её тесных связей с общественной борьбой, намеченных ещё Белинским и Чернышевским, свидетельствует о понимании Г. Ёйсом своеобразия пути развития русской словесности, хотя его аргументация и не представляется сейчас нам во всём верной.

Г. Ёйс едва ли не единственный из эстонских критиков той поры упоминает и о поэтах-декабристах, об общественном подъёме в России после 1812 г., вызвавшем к жизни свободолобивую поэзию Пушкина и Рылеева, прозу Бестужева-Марлинского. «Но вскоре всё изменилось. Пушкина <...> сослали в деревню, Рылеева повесили, Марлинского и Одоевского сослали в рудники в Сибирь. С той поры ни один знаменитый русский писатель не умирал спокойно».²³

Рассказывая о Пушкине, Г. Ёйс упоминает о свободологии молодого поэта, об его оде «Вольность», повествует об его преследованиях царизмом. Правда, эволюция пушкинского творчества вполне в духе тогдашних представлений мыслится им как смена влияний (сначала Жуковский, затем немецкое влияние в «Руслан и Людмиле», наконец, воздействие поэзии Байрона), но в центр общей характеристики его наследия положена идея народности, самобытность пушкинского творчества. Как и автор предыдущей статьи, Г. Ёйс решающую роль в становлении Пушкина как самобытного, глубоко национального художника отводит влиянию фольклора.

Всё дальнейшее развитие русской литературы в духе общепринятых в те годы в литературоведении представлений мыслится Г. Ёйсом как борьба западников и славянофилов. Но автор останавливается на таких литературных явлениях, о которых мы почти не найдём даже упоминаний в эстонской печати тех лет. Г. Ёйс кратко повествует о трагической судьбе и творчестве А. Полежаева, очень высоко оценивает он заслуги В. Г. Белинского и, наконец, сравнительно подробно характеризует деятельность Н. Г. Чернышевского, но в этой характеристике явственно сказывается, однако, и ограниченность эстонского критика. «Из последователей Белинского в особенности надо назвать Чернышевского, чьё опасное влияние было чрезвычайно большим. Поскольку его работы в значительной мере были полны нигилистских устремлений, то его ошибочно считают отцом нигилизма. Его важнейшее сочинение — роман «Что делать?», влияние которого на молодёжь прямо-таки было пагубным. Так, после появления этого романа можно было видеть в русских городах женщин с мужскими шляпами на голове, в красных штанах и сапогах с высокими голенищами, с грязными словами на устах. Эти ветрогоны стремились повалить и уничтожить святейшие устои общества, такие как брак, воспитание детей и т. д.»²⁴ Эта характеристика «нигилизма» и его «отца» Чернышевского, позаимствованная Г. Ёйсом из русской реакционной прессы, достаточно ясно раскрывает перед нами ограниченность даже самого лучшего и наиболее прогрессивного по своим идейным установкам обзора русской словесности в эстонской печати 1880-х гг.

В оценках других классиков русской литературы Г. Ёйс придерживается несравненно более верных положений. В творчестве Лермонтова он правильно подчёркивает отражение протеста вольнолюбивой личности против господствующих в обществе насилия и несправедливости. Г. Ёйс отмечает глубокую верность жизни «Героя нашего времени». Рассказывая о Гоголе, он выделяет его смех сквозь слёзы, критическую направленность творчества великого русского писателя. В статье даётся сравнительно верная, хотя и написанная с либеральных позиций характеристика России до и после Крымской войны. Г. Ёйс отмечает, что правительство всегда преследовало писателей, было по отношению к ним суровым и грубым, особенно же нестерпи-

²³ «Isamaa Kalender 1889 aastaks», Tartu, 1888, стр. 89.

²⁴ Там же, стр. 93.

мым стало это преследование перед Крымской войной. Но война всё изменила. Люди увидели, к какой пропасти правительство привело страну. Свежий ветер пронесся по России. Всё стало предметом обсуждения, все вопросы общественной жизни были поставлены. Литература и здесь шла впереди, ставила перед партиями определённые задачи и цели, формулировала принципы, возбуждала людей к действию. И всё, о чём спорили и воевали в обществе, нашло исторически точное воплощение в сочинениях Тургенева и Гончарова. Вслед за этим Г. Ёйс даёт краткую характеристику романов Тургенева, отмечая его отрицательное отношение как к реакции, так и к «нигилизму».

Г. Ёйс пишет и о Некрасове, выделяя в его творчестве поэму «Кому на Руси жить хорошо», и о Шевченко. Довольно подробно характеризуются и очень высоко оцениваются в статье ещё в ту пору непереверждённые на эстонский язык романы Л. Н. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». Как утверждает Г. Ёйс, в последнем романе Л. Толстой раскрывает сущность высшего света, который с виду кажется таким набожно-смирненным и добродетельным, а внутренне гнусен, низок и зловонен. В то же время хотя крестьянское сословие внешне наивно, находится ещё в младенческом состоянии, но внутренне оно исполнено чистоты и благородства. В этой краткой характеристике творчества Л. Толстого верно указано на его патриархально-крестьянское мировоззрение.

Значительно более кратка характеристика Ф. М. Достоевского, из произведений которого упомянуты лишь «Записки из мёртвого дома» и «Униженные и оскорблённые» и в творчестве которого отмечается глубокий психологизм. Несколько слов говорится об А. Н. Островском.

Автор признаётся, что его очерк слишком краток, чтобы сколько-нибудь подробно осветить богатейшую историю русской литературы, но он надеется хотя бы вызвать у читателей интерес к ней. Кто же хочет ближе познакомиться с русской литературой, тот пусть обратится к следующим книгам: П. Полевой «История русской литературы в очерках и биографиях», П. В. Евстафьев «История новейшей русской литературы»,²⁵ А. Д. Галахов «История русской словесности, древней и новой» и Н. Гербель «Русские поэты в образах и биографиях». Этот список счён важен. Он не только раскрывает нам источники статьи Г. Ёйса (хотя круг использованных им материалов, видимо, этим не ограничивался), но и указывает на те книги, которыми обычно пользовались эстонские авторы при написании статей о русской литературе и отдельных русских писателях. Эти статьи нередко представляют собой лишь компиляцию, иногда почти дословный перевод из перечисленных выше книг, к которым можно ещё прибавить пять выпусков «Пособия при изучении истории русской словесности» П. Смирновского (имеется 5 изданий), «Новую русскую литературу (от Жуковского до Гоголя включительно)» В. Водовозова (также к концу 1880-х гг. — 5 изданий), с 1890 г. «Двадцать биографий образцовых русских писателей» В. П. Острогорского и некоторые другие.

Хотя Г. Ёйс при работе над статьёй пользовался русскими источниками и хотя он прекрасно понимал огромное значение русской литературы, ему всё же не всегда удаётся оторваться от того круга представлений, который был навеян многолетним исключительным общением с немецкой культурой. Об этом, в частности, свидетельствует его заключительное рассуждение о Пушкине. «Русские чрезвычайно высоко ставят Пушкина и считают его своим Шиллером, но как раз этим они показывают, что ни одного из них по-настоящему не знают. Хотя сочинения Пушкина действительно важны — они важнее трудов других русских писателей, — всё же их автор был

²⁵ Имеется в виду книга: П. В. Евстафьев, Новая русская литература (от Петра Великого до настоящего времени). Учебник для мужских и женских гимназий, институтов и учительских семинарий, — выдержавшая к 1886 г. семь изданий.

и остаётся дитём своего времени, который отражал в своих произведениях то, что рождалось в тогдашнем обществе, в то время как творения немецкого Шиллера сверкают своей идейной красотой на такой высоте (так! — С. И. М. А.), до которой не простирается рука ни одного другого писателя».²⁶ Впрочем, возможно, в этом предпочтении Шиллера Пушкину сказались ещё неизжитые симпатии к романтизму.

Таков лучший обзор истории русской литературы на страницах эстонской печати 1880-х гг., на котором мы остановились столь подробно потому, что он до сих пор ещё не был предметом специальных литературоведческих исследований.

Некое подобие обзора русской словесности мы находим, наконец, в отмеченной выше статье «Несколько слов о русской литературе» («Postimees», 29. XII. 1890, № 149).

Специальных материалов о древнерусской литературе на страницах эстонской прессы 1880-х гг. мы находим мало. В 1889 г. в журнале «Ома Мaa» была напечатана статья «Начало русской литературы»,²⁷ в ней шла речь о принятии Русью христианства, о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия, о возникновении русской письменности и переводах книг на Руси, наконец, о переписке книг в монастырях и «Остромировом Евангелии». Непосредственным продолжением этой работы была статья «Русские писатели до монгольского ига (1036—1227)»,²⁸ скомпонованная, очевидно, по книге П. Полевого. Здесь в хронологическом порядке давались сравнительно подробные очерки жизни и творчества шести древнерусских писателей — Луки Жидаты, митрополита Илариона, Феодосия Печерского, митрополита Никифора, Кирилла Туровского и Симона, инокa Киево-Печерского монастыря, известного своей перепиской с Поликарпом (включена в «Киево-Печерский патерик»).

Много материалов о возникновении славянской письменности, о Кирилле и Мефодии появилось в печати в 1885 г., в связи с празднованием в России 1000-летия со дня смерти Мефодия.²⁹

Произведения же древнерусской литературы были известны в Эстонии только в позднейших лубочных переработках. Так, известная переводная повесть XVII в. о Бове-королевиче в лубочной переработке XIX в. была издана в Тарту в 1884 г. под названием «Kuulus ja wahwa wägemees Bowa ja ilus kuninga tütar Druusewna. Wene keelest ümber pandud» («Славный и храбрый богатырь Бова и прекрасная королева Дружевна. Переложение с русского языка»).

Обзоров русской литературы XVIII в. в эстонской печати не было, но зато на страницах газет и журналов был опубликован ряд статей об отдельных русских писателях этого века и переводов их произведений.

Несколько статей посвящено М. В. Ломоносову.³⁰ Они носят, в основном, биографический характер, как и подавляющее большинство статей о других русских писателях. Лучшая из них — статья Ф. Бушманна «Жизнь и значение Михаила Васильевича Ломоносова» («Michail Wassiljewitsch Lomopossow'i elu ja tähtsus»³¹), представляющая собой изложение его доклада, прочитанного в Обществе эстонских литераторов.³²

²⁶ «Isamaa Kalender 1889 aastaks», стр. 92.

²⁷ «Oma Maa», 1889, № 3, стр. 197—202, № 4, стр. 273—275.

²⁸ Там же, № 4, стр. 275—278; № 5, стр. 357—360; № 6, стр. 389—392.

²⁹ См.: «Eesti Postimees», 1885, №№ 4, 9, 15, 17; «Meelejahutaja», 1885, № 15; «Olewik», 1885, № 16; «Walgus», 1885, № 13; «Oma Maa», 1885, № 4. Ср. также — «Eesti Postimees», 1884, №№ 8, 47, 51.

³⁰ См.: «Olewiku Lisa», 1887, № 20; «Wirulase Lisaleht», 1887, № 24.

³¹ Eesti Kirjameeste Seltsi aastaraamat. 1883, Tartus, 1884, стр. 47—56.

³² Краткое изложение речи Ф. Бушманна было дано в газете «Kündja», 1883, № 27.

Д. И. Фонвизину посвящена лишь очень небольшая статья в газете «Олевик» (1889, № 50), в которой, в основном, приводятся биографические данные о писателе, из его же произведений упомянут лишь «Бригадир».

Зато на страницах эстонской печати мы находим много материалов о Н. М. Карамзине и переводов его произведений. В 1880-е гг. было опубликовано несколько очерков его жизни и творчества, исполненных, видимо, искреннего пиетета к его имени.³³ Наиболее любопытна, быть может, статья Г. Ёйса «Карамзин» («Postimees», 1888, № 12), где на основе данных «Писем русского путешественника» описывается полтора года из жизни писателя — 1789—1790. Во всех статьях подчёркивается значение Карамзина в развитии русской словесности и русского литературного языка и, пожалуй, в ещё большей степени значение его «Истории государства Российского» для русской историографии.

Одновременно публикуется немало переводов произведений Н. М. Карамзина. В 1880-е гг. на страницах эстонских газет было напечатано три разных перевода «Бедной Лизы» — в «Пэрно Постимеез» (1881, №№ 50—52, переводчик некто Р. Е. А.), «Валгус» (1886, №№ 28—30; переводчик не указан) и «Ээсти Постимеез» (1890, №№ 24—25; переводчик О. Нейфельдт).³⁴ Если О. Нейфельдт значительно сокращает произведение, то два первых перевода относятся к обычной категории переложений того времени: они сравнительно точно передают сюжет произведения Карамзина, но в то же время переводчики не заботятся о сохранении стиля оригинала, не стесняются изменять отдельные фразы и кое-что пропускать.

Популярна была и повесть «Наталья — боярская дочь». В 1883 г. она вышла анонимно в Таллине в издании, предназначенном для массового читателя, под названием «Aleksi ja Nataalia, ehk: Imelik armastuse wägi. Wenekeelest wõetud jutt» («Алексей и Наталья, или Удивительная сила любви. Рассказ, взятый с русского языка»). Переводчик Й. К. Отставель несколько «упростил» повесть, приспособив ее ко вкусу того типа читателей, который увлекался чтением так называемой «народной литературы». В 1886 г. повесть «Наталья — боярская дочь» была опубликована в газете «Валгус» в переводе А. Кырв.³⁵ В журнале «Линда» (1890, №№ 5 и 6) под названием «Некоторые места из описаний путешествия Карамзина» («Mõned kohad Karamzini reisi kirjeldustest») печатаются отрывки из его «Писем русского путешественника» в переводе J. ots. О популярности Карамзина в Эстонии в эти годы свидетельствует и тот факт, что на эстонском языке печатались даже его переводные повести (см. перевод повести «Валерия» в «Ээсти Постимеез», 1886, №№ 11—14, 16—17) и публицистические статьи (изложение статьи Карамзина «О любви к отечеству и национальной гордости» в «Меэляхутая», 1887, №№ 29—30, автор изложения Г. Ёйс, и в «Постимэхэ Лыбулиса», 1890, стр. 55—56, подписано «Mz»).

Столь заметное внимание эстонских литераторов к творчеству Н. М. Карамзина, о реакционности которого в это время уже открыто говорила русская демократическая печать и наследие которого имело в 1880-е гг. лишь историко-литературный интерес, объясняется, конечно, отмеченной нами выше ориентацией тогдашних эстонских деятелей на официальное литературове-

³³ См.: «Perno Postimees», 1881, № 50 (своеобразное вступление к переводу «Бедной Лизы»); «Postimehe Lisaleht», 1886, № 42 (автор — Н. R<in>ck—); «Linda», 1890, № 4, стр. 116—118 (на основе работы М. А. Дмитриева J. — ots).

³⁴ «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина вообще была очень популярна в Эстонии. В 1890-е гг. появилось ещё два перевода этой повести на эстонский язык — в «Wirmalise Lisa» (1894, №№ 12 и 13, под названием «Onnetu Liisa») и отдельное издание («Ernst ja Liisa. Üks ilus ja hale, ühtlasi ka õpetlik jutustus noore rahwale, kahest armastajast ja nende õnnestumast otsast. Wene kuulsa kirjaniku M. N. Karamsin'i järele O. O.», Tallinnas, 1900).

³⁵ «Walguse Lisaleht», 1886, №№ 10, 11; «Walgus», 1886, №№ 48, 50.

дение, на официально признанные авторитеты. Известно, что Карамзин был объявлен великим классиком русской литературы, его творчество изучалось в 1880-е гг. в школах и гимназиях. С другой стороны, эстонского читателя привлекала известная простота его произведений, незамысловатость их фабулы, несложность проблематики. Массовому эстонскому читателю, не чуждому религиозности и воспитанному, в известной мере, на многократно переиздававшихся сентиментально-дидактических произведениях типа знаменитых «Jepowewa», мог показаться близким даже сентиментальный тон повествования Карамзина, его «чувствительность». Буржуазным же издателям «Ээсти Постимеэс», «Валгус» и «Линда» были близки и идеи творчества Карамзина, его верноподданничество.

Не менее показателен и интерес эстонских издателей к творчеству И. И. Дмитриева. В 1880-е гг. на страницах эстонских газет было напечатано около десятка его басен и апологов.

Порою любопытным в 1880-е — 1890-е гг. на страницах эстонских газет бывал особый раздел «Keelekool» («Школа языков»). Он должен был помочь изучению читателями русского языка. Здесь печатался обычно небольшой русский текст с подстрочным эстонским переводом. Нередко в качестве образца русского текста брались отрывки из художественных произведений русских писателей, иногда даже сочинения или отрывки из сочинений Пушкина, Лермонтова, Крылова и др. классиков. В этом отделе в газете «Олевик» (1890, № 2) мы встречаем и знаменитую басню И. И. Дмитриева «Муха» (без заключения — «морали»).

Творчество В. А. Жуковского значительно менее интересовало эстонских читателей, нежели произведения его учителя Н. М. Карамзина. Небезынтересно при этом, что на эстонский язык переводилась, в основном, проза и сказки Жуковского, а не его стихи и баллады. Эстонские литераторы были хорошо осведомлены и даже несколько преувеличивали переводческий характер его творчества, были знакомы с оригиналами произведений, положенных в основу его стихов, и, видимо, считали нерациональным давать «переводы переводов». К тому же своеобразная психологическая «настроенность» стихов Жуковского, которую так тонко раскрыл Г. А. Гуковский,³⁶ их музыкальная инструментовка ещё с трудом могли быть переданы средствами пока что не очень развитого эстонского стиха.

100-летие со дня рождения В. А. Жуковского в 1883 г., праздновавшееся по всей России, было отмечено и в Эстонии, в особенности в Тарту.³⁷ В актовом зале университета состоялось торжественное заседание, на котором с речью выступил профессор русского языка и словесности П. А. Висковатов. Вечер, посвященный памяти поэта, состоялся и в эстонском обществе «Ванемуйне», где с обзором жизни и творчества Жуковского выступил Ф. Эдерберг.³⁸ Изложение его речи было дано в «Олевику Лисалехт» (1883, № 6). Ф. Эдерберг подчеркнул переводческий характер творчества поэта, хотя в то же время отметил чрезвычайно высокий уровень его переводов. Из оригинальных стихотворений Жуковского он выделил «Певца во стане русских воинов». В заключении докладчик отметил, что Жуковский проложил дорогу новому течению в русской литературе — романтизму.

В 1885 г. на страницах газеты «Ээсти Постимеэс» (№№ 35—37) была опубликована «Сказка о царе Берендее» Жуковского в переводе М. Якобсона. Стихотворную сказку Жуковского переводчик пересказал прозой. Впрочем, в своём прозаическом рассказе он довольно точно придерживался оригинала, временами дословно пересказывая сказку Жуковского фразу за фразой. Но, вполне в духе тогдашних переводческих принципов, М. Якобсон в то же время не стесняется кое-что выпускать в переводе, а кое-что дополнять

³⁶ См. Г. А. Гуковский, Пушкин и русские романтики, Саратов, изд. Саратовск. университета, 1946 (глава 1).

³⁷ См.: «Kündja», 1883, № 6; «Olewik», 1883, № 5.

³⁸ См. «Eesti Postimees», 1883, № 5.

своими вставками, чаще всего ставящими целью сделать текст более понятным эстонскому читателю. В 1889 г. в приложении к газете «Postimees» публикуется рассказ А. Г. Эриксона «Kunas wõib inimene tõiesti hää ja õnnelik olla»,³⁹ написанный по мотивам (это отмечено в подзаголовке) статьи В. А. Жуковского «Кто истинно добрый и счастливый человек?». В том же 1889 г. в Тарту отдельным изданием вышла «Марьяна роша» Жуковского под названием: «Maarjameets. Kuulsa Wene kirjaniku Shukowskij järele wene keelest».

Творчество К. Н. Батюшкова оказалось вовсе чуждым эстонцам. Ни переводов его произведений, ни статей о нем на страницах эстонской печати мы не найдём.

Самым популярным из писателей первых десятилетий XIX в., без сомнения, был И. А. Крылов. Правда, статей о его жизни и творчестве почти нет,⁴⁰ но зато переводов его басен очень много. Они публикуются на страницах газет, журналов, календарей и даже учебников. Переложением крыловских басен на эстонский язык занимались лучшие переводчики 1880-х гг., такие как Я. Тамм. Цитаты из крыловских басен, образы из них можно встретить в оригинальных статьях эстонских авторов. Развитие эстонской басни конца XIX в., видимо, идёт под непосредственным влиянием творчества Крылова. Все эти факты свидетельствуют о большой популярности русского поэта в Эстонии.

И эту популярность объяснить нетрудно. Народный характер басен Крылова, их крестьянский колорит, крестьянская мораль, их простота, образы и сюжеты, взятые из повседневной жизни, глубокий, хотя и стихийный демократизм его творчества — всё это было удивительно близко эстонским писателям демократического направления 1880-х гг. Творчество Крылова очень близко и по форме, и по идеям к тем первым проявлениям эстонского реализма, которые уже заметно пробивали себе дорогу в Эстонии этого десятилетия. К тому же басня, как жанр сравнительно простой, легче «поддаётся» переводу, чем произведения других более сложных по своей художественной структуре литературных жанров.

И. А. Крылов, кстати, вообще был одним из первых переведённых на эстонский язык классиков русской литературы. Ещё в 1874 г. в книге К. Мальма «Laulud ja Loud. Üks kooli-lugemise-raamat» (две части) были напечатаны три басни Крылова — «Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица» и «Волк и ягнёнок». Появление этих переводов было, в известной мере, событием в истории эстонской литературы — о них, например, идёт речь в переписке Ф. Р. Крейцвальда с А. Шифнером.⁴¹ Учебная хрестоматия К. Мальма в 1870-е — начале 1890-х гг. переиздавалась десять раз — это была в ту пору одна из основных книг в Эстонии для детского чтения, и с её помощью десятки тысяч читателей могли познакомиться с баснями Крылова. В 1884 г. вышла из печати третья часть «Laulud ja Loud» К. Мальма, также переиздававшаяся, где были помещены новые переводы произведений великого русского баснописца — «Крестьянин и смерть», «Крестьянин и лошадь». Перевод «Стрекозы и муравья» Мальма из его хрестоматии перекочевал в другую очень распространённую в 1880-е гг. да и позже учебную книгу — в хрестоматию А. Греншштейна «Eesti Lugemise-raamat» (Esimene jagu, Tartu, 1887; дважды переиздавалась). В двух выпусках его «Eesti Lugemise-raamat»

³⁹ «Postimehe Lõbulisa», 1889, стр. 110—112, 117—118.

⁴⁰ Едва ли не единственное исключение — статья «Иван Андреевич Крылов» в газете «Олевик», 1889, № 48.

⁴¹ См. Fr. R. Kreutzwaldi ja A. Schiefneri kirjavahetus, Tln, ERK, 1953, стр. 489. Как явствует из письма А. Шифнера от 5/17. IV. 1873, переводы К. Мальма были готовы уже в 1873 г.

было напечатано ещё несколько басен Крылова и краткая — на полстранички — биография баснописца.⁴²

На страницах эстонской периодической печати первый перевод из И. А. Крылова появился в 1882 г. — это была басня «Крестьянин и Змея» («К крестьянину вползла змея...», газ. «Тарту Ээсти Сейтунг», 1882, № 9) в переводе известного эстонского поэта Якоба Тамма. Я. Тамм, как мы покажем ниже, вообще сделавший очень много для развития русско-эстонских литературных связей, был большим поклонником творчества Крылова. Он перевёл на эстонский язык много его басен (13 басен было опубликовано, примерно 20 сохранилось в рукописях; важно при этом отметить, что уже в 1882 г. он перевёл 9 крыловских басен, из которых в печать попала лишь одна⁴³). Великий русский баснописец оказал непосредственное влияние на его оригинальное творчество — многие стихотворения Я. Тамма не только написаны в крыловской басенной манере, но и представляют собой порою творческое переложение сюжетов и идей басен Крылова.⁴⁴ Переводы Я. Тамма, опубликованные в 1880-е гг., — «Крестьянин и Змея», «Кот и Повар» («Ома Маа», 1886, № 9), «Свинья под Дубом» (там же, 1887, № 4) и, несколько в меньшей степени, «Водопад и Ручей» (там же, 1887, № 1), — отличаются редко встречающейся в переводах того времени точностью. Я. Тамм стремится сохранить в переводе не только содержание крыловских басен, но и их форму — ритмику, своеобразие крыловского разностопного ямба с характерными переносами, рифму. Очень чутко он к стилю басен Крылова. Тамм умеет уловить и передать народную основу этого стиля: опыт тогдашней эстонской литературы мог ему в этом только помочь. При этом переводчик сравнительно редко скатывается к буквализму, он предпочитает лучше что-либо изменить, не вступая однако в противоречие с духом крыловской басни, в переводе, чтобы сделать его не просто понятным, но и близким читателю. Не случайно, некоторые переводы Я. Тамма и сегодня сохраняют своё значение, многим уступают, а иногда и превосходят по своим художественным достоинствам современные переложения басен Крылова.

Много занимался переводами на эстонский язык крыловских басен и другой видный переводчик той поры — Г. Вульф-Ыйс. В 1886—87 гг., в основном, на страницах журнала «Мееляхутая», появилось 11 его переводов басен Крылова.⁴⁵ Их также надо отнести к числу лучших переводов басен Крылова в дореволюционную пору. Они точны (можно отметить лишь одно исключение — в переводе «Раздела» выпущено заключение, «мораль»). Г. Ыйс также стремится передать и внешние особенности басен Крылова и, как правило, сохраняет специфический для них разностопный ямб. Отдельные переводы Г. Ыйса и сегодня перепечатываются в сборниках стихов И. А. Крылова. Но его переводы в целом всё же несколько уступают по своей выразительности и яркости переводам Я. Тамма.

На примере переложений басен И. А. Крылова хорошо можно показать различные типы переводов в эстонской литературе 1880-х гг. и разные степени их художественного совершенства. Переводами басен И. А. Крылова

⁴² A. Grenzstein, Eesti Lugemise-raamat. Teine jagu, Tartu, 1888, стр. 66—67.

⁴³ См. R. Alekõrs, E. Prink, Vene kirjanduse mõjusid Jakob Tamme loomingus, «Looming», 1952, № 5, стр. 573.

⁴⁴ См. об этом: R. Alekõrs, E. Prink, ук. статья, стр. 573—580.

⁴⁵ «Стрекоза и Муравей» («Meelejahutaja», 1886, № 43, стр. 343), «Туча» (там же, 1886, № 45, стр. 359), «Петух и Жемчужное Зерно» (там же), «Гуси» (там же, 1886, № 48, стр. 383), «Цветы» (там же, 1887, № 20, стр. 159), «Кукушка и Петух» (там же, 1887, № 33, стр. 261), «Василёк» (там же, 1887, № 34, стр. 271), «Тень и Человек» (там же, 1887, № 36, стр. 286), «Лев и Лисица» (там же, 1887, № 37, стр. 295), «Раздел» («Isamaa Kalender 1889 aastaks», стр. 100) и «Прохожие и Собаки» (там же, стр. 108—109).

занимался и Т. Куузик. Это был опытный переводчик, много сделавший для ознакомления эстонских читателей с русской литературой. Но если переводы Я. Тамма и Г. Ёйса нужно отнести к числу лучших, то работы Т. Куузика, так сказать, указывают нам на средний уровень переводческого искусства тех лет. Т. Куузик не всегда улавливает своеобразие крыловского стиха, специфику его стиля, к тому же он не всегда способен их передать в переводе. Разностопность строк, отсутствие временами рифмы в крыловских баснях кажутся ему недостатками, и в переводе «Гусей»⁴⁶ Т. Куузик с целью «улучшения» стиха отказывается от разностопности строк, вводит постоянную парную рифму. Хотя содержание крыловских басен передаётся близко к оригиналу, но Куузик не стесняется изменять отдельные фразы, вносить в стих свои дополнения, порою довольно неудачные, — пытается «конкретизировать» Крылова.⁴⁷ Но, вместе с тем, никаких значительных отклонений от подлинника Т. Куузик не допускает.⁴⁸

Переводчиками басен Крылова выступали ещё Г. Соом («Лебедь, Щука и Рак»⁴⁹ «Волк и Кот»⁵⁰ «Камень и Червяк»⁵¹), А. Гренцгейн-Пийрикиви («Лебедь, Щука и Рак»⁵²), А. Даниэл («Клеветник и Змея»⁵³), М. Тамм («Безбожники»⁵⁴), в будущем известный историк эстонской литературы М. Кампманн («Тень и Человек»⁵⁵), М. Оллино («Слон на воеводстве»⁵⁶ «Обезьяна»⁵⁷) и некоторые другие.⁵⁸ Их переводы показывают нам, как правило, различные градации перехода от среднего уровня (выше этого поднимаются лишь отдельные переводы) к низшему.

Но в некоторых работах мы видим проявление довольно распространённой и в какой-то мере типичной разновидности переводов того времени — эстонизированный перевод, переложение чужого произведения на национальный манер, своеобразную его национальную адаптацию. Переводчики, стремясь приблизить переводное произведение к читателю, изменяют на эстонский лад имена действующих лиц, обстановку, рисуют героев на «отечественном фоне». Изменяют они и форму переводимого произведения, ориентируясь на национальную художественную традицию. При такой переложке порою теряется связь переводного произведения с оригиналом, получается как бы совершенно новое художественное (или малохудожественное — это зависит от таланта переводчика) творение, которое лишь какими-то гранями — чаще всего общими чертами сюжета, фабулы, иногда «морали» — связано с подлинником. Такого рода национальная адаптация чужих творений очень распространена на первых этапах развития молодых литератур, представляет собой один из самых частых видов обогащения ещё неразвитой националь-

⁴⁶ «Postimees», 1889, № 85.

⁴⁷ Наглядный пример этого даёт перевод басни «Квартет», «Laulu ja Mängu Leht», 1889, № 8. Кстати, известен и прозаический перевод «Квартета» — см. «Meelejahutaja», 1887, № 4, стр. 30—31 (переводчик скрыт под криптонимом «х»).

⁴⁸ Другие переводы Т. Куузика: «Осёл и Соловей» («Laulu ja Mängu Leht», 1889, № 10, стр. 80) и «Зеркало и Обезьяна» («Postimees», 1889, № 54).

⁴⁹ «Walguse Lisaleht», 1890, № 20, стр. 160.

⁵⁰ «Walgus», 1889, № 49.

⁵¹ «Walguse Lisaleht», 1890, № 7, стр. 56.

⁵² «Olewiku Lisa», 1887, № 25, стр. 394.

⁵³ «Walgus», 1887, № 37.

⁵⁴ Под названием «Jumala kartmatud», «Meelejahutaja», 1887, № 40, стр. 319.

⁵⁵ «Postimees», 1890, № 60.

⁵⁶ «Linda», 1889, № 11, стр. 474—475.

⁵⁷ Там же, стр. 481—482.

⁵⁸ Известны переводы, выполненные и двумя лицами. — см. перевод басни «Орел и Пчела» Я. Симоса и Г. Э. Л<уйга>, «Постимэхэ Лыбулиса», 1890, стр. 290—291. Некоторые переводы анонимны.

ной словесности. Некоторые исследователи, напр., акад. Н. И. Конрад,⁵⁹ вообще считают, что перевод и национальная адаптация — два разных типа литературных связей. В применении к эстонской литературе конца XIX в. это вряд ли верно — переделки-переложения произведений чужой литературы на национальный лад мыслятся писателями той поры уже как перевод: не случайно, обычно (хотя и не всегда) указывается автор оригинала или, по крайней мере, язык, с которого берётся основа переложения. Но, вместе с тем, наличие таких переделок свидетельствует о допустимости в ту пору достаточно вольного обращения с оригиналом (совершенно недопустимого с точки зрения современных переводческих норм) и об иных *принципах* перевода, чем в наши дни.

Обычным в эстонских переводах тех лет является замена русских имён и реалий эстонскими. Так, М. Тамм при переводе басни «Безбожники» заменяет Олимп эстонской «Таарамяги», бога Зевса — мифическим древнеэстонским божеством Таара, жители Олимпа названы им «Kalewite leeg» — «стан Калева». Несколько далее пошёл Г. Соом при переводе «Волка и Кота»: он не только заменил русские имена эстонскими (кот Васька стал Хинтсом, Степан — Яаном, Демьян — Сиймом с хутора Туйсу, Трофим — Ару Хансом и т. д.), но постарался эстонизировать и обстановку, впрочем, не отходя ещё пока особенно далеко от крыловского оригинала. Любопытен перевод басни «Лебедь, Щука и Рак» А. Пийрикиви. Переводчик совершенно не стремится сохранить форму крыловской басни и перевод свой делает в духе эстонских народных песен, используя выработанные в них систему стиха и стиль. Крыловские строки

... да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду

переведены следующим образом:

Luigekene luule-lindu
Kiskus koormat taewasse,
Haug, see wöttis wõimu rindu,
Kiskus wete woodele.

Обратим внимание на чисто фольклорную концовку строк, типично эстонскую народно-песенную ритмику. Басня в переводе разделена на три шести-строчных строфы с определённой схемой условной рифмовки.

Типичный образец эстонизации крыловской басни мы видим в работе М. Оллино «Tõõtsu Tõnu ja Watsa onu» («Линда», 1889, № 1, стр. 33), представляющей собой вольное переложение «Двух Мужиков» Крылова. У русского баснописца М. Оллино взял лишь общую сюжетную схему и форму диалога, но эту схему наполнил фактически эстонским материалом. Здесь не просто кум Фаддей превратился в Тытысу Тыну, а кум Егор в Ватса ону, но изменилась и форма стиха, и его тональность, и все подробности быта, столь важные для крыловской басни, и даже, можно сказать, национальные особенности характера двух рассказчиков.⁶⁰

При таких переложениях порою существенно изменяется идея крыловской басни. В этом плане показателен вольный перевод басни «Бочка» неким А. Т., опубликованный под названием «Karskuse sõpradele» («Друзьям трезвости») в газете «Постимеэс» (1890, № 86). Переделав басню на эстонский манер, А. Т. в духе переделки совершенно изменяет её концовку, «мораль». У Крылова: берегите детей от «учений вредных», а то избавиться от их влияния так же трудно, как и выпарить из бочки «винный дух». У эстон-

⁵⁹ См. Н. И. Конрад, К вопросу о литературных связях, «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка», т. XVI, 1957, вып. 4, стр. 309—310.

⁶⁰ Известен и очень корректный перевод басни «Два Мужика» под названием «Napsi armastajatele» («Любителям алкоголя» или «Любителям водки»), «Postimehe Lõbu-lisa», 1890, стр. 277 (переводчик А. Рулль).

ского же переводчика «мораль» сведена к узкому практическому совету в духе идей общества трезвости, очень распространённых в ту пору в Эстонии, — родители, не приучайте детей смолоду к водке, а то избавиться от этой страсти будет также трудно, как выпарить запах вина из бочки.

Из приведённых выше данных видно, что эстонских литераторов более всего привлекали те басни Крылова, которые представляют собой картинки из простонародной жизни и заключают в себе народную, чаще всего крестьянскую, практическую «мудрость». Басни же более сложные по проблематике, не чуждые философичности (впрочем, таких у Крылова, как известно, немного), менее «крестьянские» по своему характеру не привлекают особого внимания эстонцев (если не считать перевода басни «Безбожники»). Но, вместе с тем, эстонские переводчики прошли мимо и наиболее острых социально-критических басен Крылова типа «Рыбья Пляска», «Мор зверей», «Пестрые Овцы», «Волки и Овцы».

Басни Крылова оставались очень популярными в Эстонии и в 1890-е гг.: если в 1880-е гг. на страницах эстонской печати было опубликовано около 40 его басен, то в следующее десятилетие — около полусотни. При этом основная масса переводов приходится на начало 1890-ых гг.: 1891 — 24 перевода, 1892 — 9, 1893 — 4. Позже число переводов падает, что связано с широким распространением знания русского языка в читательской массе: это же делало ненужным переводы басен Крылова на эстонский язык.

Творчеством А. С. Грибоедова в 1880-е гг. в Эстонии особенно не интересовались — о нём почти нет статей,⁶¹ его комедия «Горе от ума» не была в дореволюционный период переведена на эстонский язык. В 1880-е гг. трудно было и ожидать перевода этой стихотворной комедии — проблематика «Горя от ума» была достаточно далека от насущных вопросов эстонской жизни да и опыт драматургического творчества был у эстонцев ещё очень невелик: в немногочисленных образцах эстонской драматургии, возникшей всего лишь десятилетие назад, целиком господствовала бытовая комедия из крестьянской жизни.

Зато Пушкин был одним из самых популярных русских писателей в Эстонии вообще и в 1880-е гг. в частности. На страницах эстонской печати в это десятилетие появилось около 40 переводов его произведений (не считая перепечаток), много статей и сообщений о его жизни и творчестве. Значение Пушкина было понятно эстонским литераторам да и рядовым читателям той поры. Однако восприятие и усвоение (быть может, правильное здесь было бы употребить термин «рецепция») его творчества эстонцами 1880-х гг. было достаточно своеобразным; оно не совпадает с его восприятием русской интеллигенцией того времени.

Первые сведения о жизни и творчестве Пушкина в эстонской печати относятся к 1880 г. и связаны с открытием памятника поэту в Москве и празднествами в его честь. В августе 1880 г. в газете «Ээсти Постимеэс» (№№ 32—35) появляется большая и довольно интересная статья о Пушкине, в которой достаточно полно и с верных позиций было выяснено значение поэта для истории русской литературы.⁶² В том же 1880 г. в одном календаре появилась статья в будущем известного знатока эстонской древности, этнографии и фольклора М. Й. Эйзена «Александр Сергеевич Пушкин»⁶³ представляющая собой краткий очерк его жизни, где были перечислены все его наиболее значительные произведения. В этой статье интересно сообщение (насколько нам известно, не привлекавшее внимания эстонских исследователей) о том, что в 1880 г. уже было три перевода на эстон-

⁶¹ Единственное исключение — маленькая статья в газ. «Olewik», 1889, № 47, стр. 38.

⁶² См. об этом: B. S. <ö ö t>, Eesti XIX sajandi ajakirjandus Puškinist, «Sirp ja Vasar», 4. VI. 1949, № 23. Другие статьи 1880-х гг. о Пушкине здесь даже не отмечаются.

⁶³ «Isamaa Kalender 1881 aasta peale», Tartu, 1880, стр. 44—48.

ский язык «Капитанской дочки» Пушкина, из которых в печать попал лишь один — Я. Кырва, вышедший отдельным изданием в 1879 г. (это был, кстати, первый перевод из Пушкина в эстонской литературе). Другой перевод принадлежал автору статьи, М. Й. Эйзену, но не смог попасть в печать по независящим от него обстоятельствам; фамилия же третьего переводчика неизвестна автору.

В 1887 г. отмечалось 50-летие со дня смерти А. С. Пушкина. В связи с этим в печати появилось довольно много статей о великом русском поэте, как правило, биографического характера. В приложении к газете «Вирулане» («Вируласе Лиса», № 4, стр. 56—60) публикуется статья «Александр Сергеевич Пушкин», в которой особенно подробно повествуется о дуэли и смерти поэта. Отмечается также (со слов В. А. Соллогуба) отрицательное отношение к Пушкину аристократического света, который является подлинной причиной его гибели; в статье упоминается и о выговоре Краевскому за напечатание некролога Пушкина, о запрещении что-либо писать о его смерти.⁶⁴ В «Ома Маа» (1887, № 2—3, стр. 117—119) была помещена небольшая статья Я. Йыгевера, в это время учителя русского языка в известной гимназии Треффнера в Тарту, позже профессора эстонского языка в Тартуском университете, также много сделавшего для развития русско-эстонских литературных связей. Впрочем, статья Я. Йыгевера «Александр Сергеевич Пушкин» малоинтересна: она содержит самые общие биографические сведения о поэте и перечисление его главных сочинений. Хотя поэзия Пушкина, по его определению, «чиста, свежа и закаляет как утренний ветерок у озера, в то время когда солнце поднимается на небосклоне», но, тем не менее, Я. Йыгевер считает, что в его неопубликованных при жизни стихах есть следы чтения «дурных» книг в детстве и следы бурно проведённой молодости. Причём под «бурно проведённой молодостью» автор понимает не политические увлечения Пушкина 1817—23 гг., а разгульные оргии и картежную игру. С краткой статьёй о Пушкине — на одну полосу — выступил и журнал «Мееляяхутая» (1887, № 7, стр. 52). Статья полна цитат из какой-то, видимо, реакционной русской газеты. Пушкин объявляется «певцом божественной любви». В его произведениях отмечается «чудесный стих, святая вера, весёлый смех, горькая насмешка, зажигающее слово». Подчеркивается забота имп. Николая I о семье поэта и его предсмертная благодарность царю за эту заботу. Лучшим памятником Пушкину сегодня являются молебны в его честь в переполненных народом церквах.

В газетах появилось довольно много заметок о том, как отмечалось 50-летие со дня смерти Пушкина русской общественностью.⁶⁵

Наиболее полную биографию Пушкина дал в 1889 г. журнал «Линда» в работе, переведённой с русского (это зафиксировано в подзаголовке статьи — «Puschkin. Wenekeelest A. W.»⁶⁶). В этой большой статье, публикация которой продолжалась в шести номерах журнала, подробно излагалась биография поэта, упоминались многие его произведения, иногда давалась их краткая характеристика. В статье приводятся цитаты из писем Пушкина, из воспоминаний о нём его современников. Детство и юность поэта описаны подробнее, чем период 1826—36. По своему типу эта статья — обычная «популярная» биография Пушкина тех лет, выдержанная в умеренно-либе-

⁶⁴ Интересно, что на этих же фактах останавливается анонимный автор маленькой заметки о праздновании юбилея Пушкина в газ. «Постимеес» (1887, № 5), где говорится и о том, что убийца поэта не понёс никакого наказания, поскольку дуэли были в ту пору в моде и к тому же некоторые стихотворения Пушкина были направлены против правительства.

⁶⁵ См. «Wirulane», 1886, № 38, 1887, № 7; «Eesti Postimees», 1887, № 5; «Olewik», 1887, №№ 6, 7; «Tallinna Sõber», 1887, № 5; «Wirmaline», 1887, № 6 и др.

⁶⁶ «Linda», 1889, № 5, стр. 173—181; № 6, стр. 269—273; № 7, стр. 303—304; № 8, стр. 340—343; № 10, стр. 435—438; № 11, стр. 458—460.

ральном духе. Биограф умело обходит все «щекотливые» места из жизни Пушкина — связь с декабристами, ссылку на юг и в Михайловское, взаимоотношения с Николаем I и т. д. Всё же по обилию приведённых фактов статья в «Линде» выделяется на общем фоне тогдашних эстонских работ о Пушкине.

Наконец, в 1890 г. в «Лаулу я Мяngu Лехт» (1890, № 8, стр. 57—58) появилась статья о Пушкине,⁶⁷ вкратце излагавшая биографию поэта. Автор её не замалчивает ссылки Пушкина и антиправительственного характера некоторых его стихов. Но объяснение этих фактов своеобразное: Пушкин был человеком с очень горячим и живым характером, обусловленным тем, что в его жилах текла кровь африканского негра. Поэтому, якобы, он и не умел сдерживать себя и писал стихи против правительства и цензоров. Высылка Пушкина в Михайловское, считает автор, была его счастьем: иначе бы он принял участие в декабристском восстании. Николай I хорошо относился к поэту, обещал после 1826 г. быть его защитником и цензором.

Ограниченность статей, посвящённых Пушкину, в эстонской печати 1880-х гг. очевидна. Очень редко отмечается своеобразие Пушкина, его близость к декабристам (статья Г. Ыйса в «Исамаа Календер на 1889 год»). Обычно же даже факты преследования его властями расцениваются как следствие «заблуждений молодости», «шалостей» поэта. Всё это, конечно, следствие того, что источниками указанных выше работ были статьи и брошюры реакционных или, в лучшем случае, либеральных русских авторов. Но ограниченность этих статей, быть может, ещё больше сказывается в том, что в них совсем нет анализа творчества Пушкина, разбора отдельных его произведений. Все эти статьи, как правило, биографического характера. Это находится в прямой связи с тем, что у эстонских писателей ещё не было опыта историко-литературных исследований, не чувствовалось ещё, видимо, и интереса к ним. К тому же в источниках, которыми чаще всего пользовались эстонские литераторы, обычно и ограничивались приведением биографических данных. К работам же Белинского, Чернышевского и других русских критиков эстонцы не обращались.

Здесь нет смысла перечислять все переводы произведений Пушкина на эстонский язык, сделанные в 1880-е гг., как и нет смысла подробно их анализировать. Имеется уже довольно многочисленная литература, посвящённая переводам Пушкина на эстонский язык,⁶⁸ сравнительно полная библиография последних.⁶⁹ К этой литературе мы и отсылаем читателей, желающих ближе познакомиться с данным вопросом. Нам хотелось бы остановиться лишь на своеобразии восприятия Пушкина эстонцами 1880-х гг., на рецепции его творчества в Эстонии в это десятилетие, поскольку этим вопросом авторы статей на тему «Пушкин в Эстонии», перечисленных выше, почти совершенно не интересовались.

Нужно различать восприятие творчества «чужого» писателя основной читательской массой, находившейся в 1880-е гг. в Эстонии ещё не на очень

⁶⁷ Статья не подписана. Её автором был К. А. Херманн, как явствует из его самопризнания в брошюре: А. Герман, Пушкин в эстской литературе, Юрьев, 1899 [Оттиск из «Уч. записок имп. Юрьевского университета», 1899], стр. 4.

⁶⁸ См. А. Герман, Пушкин в эстской литературе; Эрнст Нурм, Пушкин в эстонских переводах, приложение к газ. «Последние известия» (Таллин), 8. VI. 1924, № 147, стр. 27—28; сб. «Puškin eesti keeles», Tln, RK «Ilukirjandus ja Kunst», 1949; А. Хаберман, О переводах произведений Пушкина на эстонский язык, «Труды 1-й и 2-й Всесоюзной пушкинских конференций», М.—Л., изд. АН СССР, 1952, стр. 207—215, и др.

⁶⁹ H. Laidvee, Puškin eesti keeles ilmunud tõdde bibliograafia, в сб. «Puškin eesti keeles», стр. 71—101.

высокой ступени культурного развития и искавшей в литературе, пожалуй, в первую очередь, практических жизненных советов, с одной стороны, и увлекательного чтива, с другой, — и высшим слоем интеллигенции, писателями. Если для первой группы основным источником знакомства с иноязычной литературой были переводы, то вторая группа могла усваивать произведения этой литературы и в оригинале. Между восприятием творчества писателя — представителя другой литературы «средним» и «низшим» читателем и высшим слоем интеллигенции была, конечно, тесная взаимосвязь, тем более, что большую часть эстонского образованного общества составляли вчерашние выходцы из крестьянской среды и интересы национальной борьбы, антиостзейские идеи сближали тех и других. Но это, само собой разумеется, не может снять различия, обусловленного разной степенью образования, эрудиции, развития литературного вкуса читателя.

Идеальным путём воссоздания рецепции русской литературы и творчества отдельных русских писателей эстонскими читателями, конечно, являются свидетельства самих читателей — их отклики, отзывы, их высказывания о явлениях русской словесности. Но, к сожалению, таких отзывов сохранилось очень мало, и по ним нет никакой возможности восстановить восприятие творчества русских писателей в Эстонии 1880-х гг. Статьи о Пушкине, если говорить конкретно о данном писателе, хотя и могут кое-что дать для раскрытия этого вопроса, но, тем не менее, не очень показательны в силу их компилятивного характера, заимствованного из русских источников содержания (хотя сам выбор этих источников тоже нечто объясняет).

Здесь, по-видимому, надо идти другим путём. Для понимания восприятия творчества Пушкина массовым читателем очень важно раскрыть своеобразие отбора его произведений для перевода, поскольку переводчики, без сомнения, учитывали читательский вкус, наибольшее число тех или иных переводов является свидетельством их популярности в массе. Кое-что может дать здесь и анализ предисловий, введений к переводам, объяснительных замечок переводчиков. Впрочем, этот материал, быть может, не меньше даст для прояснения вопроса о том, как воспринимались и усваивались пушкинские произведения самими переводчиками, в конечном итоге, представителями второго выше охарактеризованного слоя читателей. Для прояснения последнего вопроса необходимо использовать и материал самих переводов. Специфические черты перевода, его соответствие или отклонения (в особенности пропуски и дополнения) от оригинала тоже являются показателем своеобразие восприятия того или иного произведения писательской средой, поскольку в этот период переводчиками, как правило, выступают тогдашние писатели, участники эстонского литературного процесса. Специфические черты переводов иногда могут нам сказать о том, что в пушкинском творчестве было понятно переводчикам, а что нет, что особенно близко, а что далеко. Конечно, к этим данным нужно относиться с осторожностью. Многие черты переводов объясняются большей или меньшей талантливостью переводчика, его большим или меньшим опытом, степенью развития эстонского литературного языка и т. д. Но хотя здесь и необходима осторожность, этими данными пренебрегать нельзя. Ведь перевод, как правило, не просто переложение произведения одной литературы на язык другого народа, это вместе с тем явление идейного и художественного порядка, в котором отражается уровень развития читательской массы, своеобразие литературы того народа, на чей язык переводится произведение.

Обратимся к анализу с этой стороны переводов из Пушкина на эстонский язык.

Насколько нам известно, в 1880-е гг. на страницах эстонской печати появилось около 50 (если считать и перепечатки) переводов произведений или отрывков из произведений Пушкина. Преобладают в переводах, естественно, стихи Пушкина, хотя не малое число — 10 переводов — относится к области пушкинской прозы. Из стихов великого русского поэта наиболее

популярны были «Птичка божия не знает...» из «Цыган»⁷⁰ (в дореволюционный период известно всего 7 переводов, из них 4 относятся к 1880-м гг.; поскольку один из последних — перевод Я. Латика в хрестоматии А. Гренцштейна — перепечатывался трижды, этот пушкинский отрывок в данное десятилетие 6 раз появлялся на страницах печати), «Зимний вечер» (также всего 7 переводов, из них 5 в 1880-е гг.), «Птичка» (всего 4 перевода, из них к 1880-м гг. относится, правда, лишь один), «Зимняя дорога» (то же). Из прозы более всего переводились два рассказа из цикла «Повестей Белкина» — «Метель» (всего в дореволюционный период 4 перевода, из них 3 относятся к 1880-м гг.) и «Барышня-крестянка» (всего 3 перевода, из них в 1880-е гг. — 2). В интересующее нас десятилетие были ещё переведены стихотворения и баллады «Жених», «Песнь о вешем Олеге», «Русалка», «Цветы последние мийей...», «Конь» (из «Песен западных славян») и др.; из поэм — «Кавказский пленник», «Полтава», «Медный всадник»; из прозаических произведений — «Выстрел», отрывок из «Капитанской дочки», «Кирджали», «Пиковая дама», «Станционный смотритель»; «Дубровский» был переведён несколько ранее («Ээсти Постимезс», 1880, №№ 25—30).

Этот список произведений, переведённых на эстонский язык в 1880-е гг. или пользовавшихся популярностью в читательской среде в дореволюционный период вообще, достаточно показателен и позволяет сделать некоторые выводы о принципах отбора сочинений для перевода. Особенно любопытен список произведений, переводившихся наибольшее число раз. Он показывает, что большой популярностью в Эстонии пользовались те произведения Пушкина, которые были просты по проблематике, незамысловаты по форме и понятны, даже можно сказать, близки рядовому читателю из народа. Философская и политическая лирика поэта, стихотворения, ставившие сложные проблемы жизни, почти прошли мимо внимания эстонских переводчиков. Если они изредка и обращались к философским стихам Пушкина, то чаще всего к таким, в которых содержалась практическая «мораль» или не слишком сложная «мудрость». Но показательно при этом, что и при их переводе заметно известное упрощение пушкинской мысли и число неточностей, свидетельствующее о недостаточно глубоком восприятии стихов, увеличивается по сравнению с переводами «простонародных» (назовём условно так эту группу творений поэта) произведений Пушкина.

Единственно, что из этой части наследия Пушкина привлекло внимание переводчиков — это его стихи о поэте и поэзии: из ранних стихов на эту тему переведен «Певец», из зрелых — «Поэту», «Поэт», «Пророк». Вопрос о сущности поэзии, о природе поэтического дара, о правах и обязанностях поэта перед народом живо волновал эстонских писателей 1880-х гг., это и нашло отражение в их интересе к перечисленным выше стихам.

Эстонские переводчики совершенно прошли мимо острых политических стихов Пушкина, его сатир и эпиграмм. Ни «Деревня», ни «Вольность», ни «К Чаадаеву», ни «Кинжал», ни многие другие близкие им по типу стихотворения Пушкина не были в этот период переведены на эстонский язык. И это тоже неслучайно. Причины этого не только в цензурных затруднениях и в атмосфере реакции 1880-х гг., но и в своеобразии политической и культурной ориентации тогдашнего эстонского общества.

Совершенно естественно, что при таком восприятии стихотворного наследия великого русского поэта проблема влияния его творчества на эстонских писателей тоже должна предстать в несколько ином свете. Наиболее полно разработан вопрос о влиянии Пушкина на творчество Я. Тамма. И не случайно все исследователи подчёркивают, что на Тамма более всего влияли пушкинские баллады, что он воспринял, в первую очередь, именно опыт Пуш-

⁷⁰ Этот отрывок из поэмы «Цыгане» фигурировал на страницах эстонской печати, как и в тогдашних русских школьных хрестоматиях, в качестве самостоятельного произведения.

кина как автора «простонародных» произведений.⁷¹ Таким образом, влияние русского поэта на эстонского находится в прямой зависимости от своеобразия восприятия творчества Пушкина эстонцами 1880-х гг.

Переводы поэм Пушкина тоже любопытны, тем более, что большинство переводчиков снабдило свои труды стихотворными предисловиями. В 1886 г. в журнале «Ома Маа» (№№ 3—8) была напечатана в переводе Я. Тамма поэма «Полтава». В стихотворном предисловии переводчик указывал, что в этом замечательном произведении описывается та блестящая эпоха, когда в борьбе со Швецией крепла Россия. Эти же годы имеют огромное значение и для Эстонии: именно тогда начала загораться заря новой жизни для эстонского народа. В большом предисловии к переводу поэмы «Медный всадник» («Meelejahutaja», 1887, № 31) Я. Тамм ещё более подчеркнул значение петровской эпохи для эстонцев. Петербург — это окно в Европу, прорубленное Петром для России, — стал окном и для эстонцев, сквозь которое в Эстонию пришло солнце свободы (имеется в виду освобождение от крепостного рабства). Теперь же эстонцы вместе с русскими смотрят в это окно, исполнены единого духа, связаны единой судьбой. Это и заставляет поэта донести до эстонского читателя плоды русской музыки, чтобы подчеркнуть единство двух народов, чтобы напомнить читателям о славной эпохе, когда решалась судьба России. Большим посвящением, обращённым к эстонским девушкам, снабдил свой перевод «Кавказского пленника» («Линда», 1889, № 5) и Я. Янес. В нём он подчёркивает, что Кавказ стал близким для эстонцев краем: немало эстонцев в составе русской армии участвовало в войне с горцами, а сейчас многие эстонцы переселяются туда, в Сухуми. Так пусть же эта поэма напомнит читателям об этих людях, о том крае, где они живут.

Если перевод «Анджело» представляется в некотором роде исключением, то переводы остальных поэм Пушкина вполне закономерны. Переложения «Полтавы» и «Медного всадника» находятся в связи с интересом к истории, с расцветом исторического жанра в эстонской литературе тех лет. Эпоха Петра к тому же имела особое значение для эстонцев и привлекала их особое внимание — Северная война сыграла огромную роль в истории Прибалтики, стала важной вехой в исторических судьбах её народов. Эстонцы той поры вообще очень интересовались произведениями, посвященными петровской эпохе, — не случайно значительное число переводов сочинений, связанных с событиями начала XVIII в. «Полтава» же, как и «Кавказский пленник», привлекала читателей и занимательным любовным сюжетом, захватывающей напряжённостью действия — тогдашние читатели очень ценили этот элемент («рõnevus») в произведении, именно его ожидали в книге. Это находит отражение даже в критических отзывах тех дней, в которых на первый план выдвигается всё тот же элемент «увлекательной напряжённости действия» («рõnevus»), при этом особенно ценится как раз любовная интрига. Вряд ли даже Я. Тамм в полной мере воспринял сложную проблематику, напр., «Медного всадника» с его центральной проблемой взаимоотношения личности и государства, личности и истории. Если он и подходил к пониманию этой проблематики, то, видимо, не считал её главной, как явствует из предисловия к переводу. Не случайно и то, что из южных поэм не «Цыгане», а именно «Кавказский пленник» был переведён на эстонский язык.⁷² Не было

⁷¹ См.: M. K a m p m a n n, Eesti kirjandusloo peajooned. Teine jagu. Kolmas trükk, Trt, Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus, 1933, lk. 227—228; E. J u d a s, Russian influences on Estonian literature, Los Angeles, 1941, pp. 61—74; R. Alekõrs, E. Prink, ук. статья, стр. 568.

⁷² Пересказ поэмы «Цыгане» с переводом отдельных отрывков из неё (в частности, цыганской песни Земфиры «Старый муж, грозный муж...» и первого монолога Земфиры, обращённого к отцу, стихи 42—50) был дан в этнографической статье «Mõnda mustlastest ja nende elust» [«Кое-что о цыганах и их жизни»], 11, «Sakala», 1884, № 14. Отметим, что эти переводы не отмечены в наиболее полной библиографии Х. Лайдвез.

переводов ни «Графа Нулина», ни «Домика в Коломне», ни более ранней поэмы «Руслан и Людмила» (впрочем, последняя, вероятно, не была переведена по другой причине). Самое крупное произведение Пушкина — роман в стихах «Евгений Онегин» — также остался вне поля зрения эстонских переводчиков.⁷³ На то было много причин: и трудность перевода огромного произведения в стихах при невыработанности эстонского литературного языка, отсутствие традиции в области большого стихотворного эпоса (если не считать фольклорной поэмы), но также и чуждость проблематики и тематики произведения эстонским читателям — жизнь дворянской среды, разочарованный дворянин не могли привлечь их особого внимания.

Пожалуй, и при оценке переводов прозаических произведений Пушкина для эстонских читателей на первом плане стояли два момента: 1) занимательность (увлекательная фабула «Пиковой дамы», «Метели», «Выстрела») и 2) изображение жизни народа, соприкосновение тематики произведения с жизнью «низов» («Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель»).

Из драматургических произведений в 1880-е гг. появились в печати отрывки из «Бориса Годунова» (есть сведения, что Ю. Кундер полностью перевёл драму Пушкина,⁷⁴ но напечатаны были лишь отрывки). Полностью были опубликованы «Скупой рыцарь» (отдельное издание в переводе А. Дидо — одного из самых радикальных представителей якобсоновского крыла эстонского национального движения, высланного царскими властями из Эстонии) и «Моцарт и Сальери», но оба произведения переведены прозой.

Эстонские переводчики вообще не раз сталкивались с большими трудностями при переводе на эстонский язык пушкинских произведений. Порою им не удавалось передать даже внешнюю сторону оригинала. Так, Я. Леппик в своём переводе «Зимнего вечера» меняет всю систему строфики пушкинского стихотворения. У Пушкина произведение состоит из четырёх восьмистиший, а у Леппики из семи четверостиший. В 1884 г. известный эстонский поэт тех лет Я. Бергманн, автор ряда исторических баллад, пользовавшихся в своё время успехом, перевёл «Песнь о вешем Олеге» («Олевику Лиса», 1884, № 9). В переводе он совершенно изменяет структуру стихотворения: шестистрошные строфы Пушкина он заменяет четырёхстрочными, вводит сплошную парную рифму, сокращает и кое-где изменяет балладу в переводе, стремясь передать лишь, так сказать, «каркас» содержания, а не индивидуальный пушкинский стиль. Но такого рода изменения оригинала в переводе, как мы уже видели, были обычным явлением в литературе той поры и, пожалуй, даже не выходили за пределы общепринятых в 1880-е гг. переводческих норм. Поэтому они, быть может, и не так интересны.

Значительно интереснее те случаи, когда опытные переводчики стремятся точно передать в переводе пушкинское стихотворение, но, несмотря на все усилия, не в состоянии это сделать, поскольку художественная структура произведения оказывается для них слишком сложной. Эстонские переводчики 1880-х гг. не всегда до конца воспринимают эту сложную художественную структуру и, во всяком случае, не всегда способны её передать средствами эстонского литературного слова. Возьмём небольшое стихотворение «Цветы последние милей...» в переводе Г. Ёйса.⁷⁵ Смысл его передан переводчиком точно. Но в лирическом стихотворении кроме смыслового контекста есть ещё и нечто другое: особое лирическое настроение, в создании которого важную роль играют и ритм, и мелодия, музыкальное построение отдельных фраз. Только в сумме всех этих компонентов получается определённая художественная структура. Но в переводе ритм не уловлен, не сохранена особая мелодия стиха, сам смысловой контекст огрубен — и в результате перевод-

⁷³ Из «Евгения Онегина» был переведён и то в разделе «Keelekooll» лишь маленький отрывок «Зима! Крестьянин торжествуя...» («Olewik», 1889, № 38). Кстати, и этот перевод не отмечен в библиографии Х. Лайдвеэ.

⁷⁴ См. «Walgus», 1888, № 1.

⁷⁵ См. «Postimehe Lisaleht», 1886, № 23.

чику не удаётся передать главного: лирического настроения оригинала, без чего перевод становится, конечно, неполноценным.

При этом хотелось бы указать на то, что дело здесь не в слабости мастерства переводчика — дело в общем уровне развития эстонской словесности 1880-х гг., эстонского литературного языка, в какой-то мере и в ограниченности восприятия пушкинских произведений. Я. Тамм, без сомнения, был лучшим переводчиком Пушкина на эстонский язык в дореволюционную эпоху. Его перевод «Медного всадника», пожалуй, является вершиной эстонского переводческого искусства XIX в. Он стремился точно передавать и содержание, и форму пушкинских стихов. И всё же даже ему в полной мере не удаётся воссоздать на эстонском языке художественную структуру некоторых пушкинских произведений. Обратимся хотя бы к его переводам «Пророка» и «Поэта» Пушкина. Беда их даже не в том, что в этих в общем-то хороших переводах не всегда переданы тончайшие оттенки пушкинской мысли, пушкинской интонации, иногда обеднены образы оригинала (в какой-то степени такие неточности в переводе неминуемы). Главная беда, пожалуй, в другом — в переводе не воссоздана в должной мере та подчёрнуто высокая торжественность речи (не случайно полной славянизмов и архаизмов), которая составляет важнейший элемент художественной структуры этих произведений. У переводчика же проскальзывает порою даже оттенок просторечия. Возвышенно-торжественное пушкинское

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрые змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой (II, 340),⁷⁶

звучит на эстонском языке следующим образом:

Mu suhu kää ta sirutas,
suus keele ära kääristas
mu keele waleliku, hõela,
ja sõrmil suhu seadis ta,
et wõiksin jälle rääkida,
mull' keeleks targa ussi nõela.⁷⁷

Небезынтересно, что при переводе прозы Пушкина переводчики опять не всегда оказываются в состоянии понять её художественную структуру, но совсем в другом отношении, нежели пушкинскую поэзию. Подчёркнуто лаконичная, максимально простая, лишённая каких-либо украшений пушкинская проза казалась переводчикам излишне «голой», слишком уж безыскусной. И они, ещё не порвавшие с традициями романтического стиля, стремятся «приукрасить» Пушкина, дополнить его, «расцветить». В этом плане особенно любопытен перевод «Выстрела» в газете «Ээсти Постимеэс» (1886, №№ 16—18). Перевод сравнительно точен. Переводчик, некто А. (криптоним не раскрыт), не чаще других выпускает отдельные фразы или изменяет их. Но, главное, стиль Пушкина кажется переводчику слишком простым, «прозаическим», и он его «исправляет», «усложняет». Лаконичная пушкинская фраза: «Сильвио был озбочен; не было и следов его судорожной весёлости» (VI, 90), — переводится так: «Silvio oli murelik; näitas, nagu oleks mõni raske koorem tema rinda rõhumas, kui oleks teda sala walu solwamas ja närimas. Kadunud oli endine rõõm, endine lapselik rõõm oma noorte sõprade seltsis. Mis mõtted muljusid teda? Kas ehk must minevik oma armuta käega kõik magusa tundmuse ta südamest kaugele peletas ja oma hirmsa suru-

⁷⁶ Все ссылки даются на издание: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10 томах, М.—Л., изд. АН СССР, 1949, — с указанием тома и страницы прямо в тексте.

⁷⁷ «Ота Маа», 1889, № 6, стр. 383.

mistega sinna asemelle asus?!»⁷⁸ Ср.: «Встали из-за стола уже поздно вечером» (VI, 90) — «Juba warjas widewik maad ja loodus hakkas halli ämaruse hõlma uinuma, kui meie Silvio juurest lahkusime»⁷⁹; «Это было на рассвете» (VI, 92) — «Kuldne koidu kuma hakkas hommikupoolist taewa serwa elustama».⁸⁰

Типичен для 1880-х гг. и перевод «Барышни-крестьянки» М. Пыддера («Ээсти Постимеэс», 1886, №№ 1—5). Больше всего автор грешит тем, что он ломает структуру пушкинских фраз, делая из нескольких предложений оригинала одно или наоборот. Очень часто, не находя при переводе соответствующего слова в эстонском языке, переводчик вставляет целые пояснительные выражения для уяснения смысла. Особенно трудно переводчику передать пушкинскую краткость слога в переводе. В результате порою у Пыддера появляются прямо-таки курьёзные выражения.

Во всех разобранных выше отступлениях от пушкинского оригинала в переводе, пусть не прямо, а косвенно, тоже отразилась ограниченность восприятия творчества великого русского поэта эстонскими литераторами 1880-х гг.

Но, без сомнения, было бы ошибкой констатировать лишь ограниченность восприятия Пушкина эстонскими читателями и писателями той эпохи. Мы сознательно акцентировали внимание на этом моменте, потому что он до сих пор игнорировался исследователями. Между тем, не подлежит сомнению, что произведения Пушкина в переводе и в оригинале, при всей ограниченности рецепции его творчества в Эстонии 1880-х гг., должны были сыграть большую роль в художественном развитии эстонцев, в выработке более высокого литературного вкуса, в развитии новых художественных принципов эстонской литературы. Произведения Пушкина учили эстонских писателей более глубокому отображению жизни, чем то, которое было до тех пор распространено в Эстонии. Если реализм Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского был ещё малодоступен да зачастую и не понятен эстонским писателям, то тот этап русского реализма, который проявился в «Повестях Белкина», в «Капитанской дочке», «Дубровском», «Медном всаднике», зрелой лирике Пушкина, в общем-то оказался им близок и в своих основах понятен. Для эстонской литературы, только ещё вступающей на путь критического реализма, использование пушкинского опыта было в высшей степени плодотворным. У Пушкина эстонские писатели учились воспроизведению обыденной жизни, учились находить в ней красоту, считать её достойной отображения в литературе. Практика перевода пушкинской поэзии не могла не способствовать дальнейшему развитию эстонского стиха. Не следует забывать, что пушкинский стих по своей красоте, музыкальности, техническому совершенству на протяжении XIX в. оставался почти непревзойдённым. Эстонские переводчики, как мы видели, встречались с огромными трудностями при переводе стихов Пушкина, но даже эти трудности, вызывая в них дух творческого соревнования, должны были способствовать росту мастерства эстонских литераторов, техническому обогащению их оригинального поэтического творчества. Пушкин и здесь служил делу развития эстонской словесности.

Не менее популярен в Эстонии 1880-х гг. был и М. Ю. Лермонтов. Сви-

⁷⁸ «Eesti Postimees», 1886, № 16, стр. 1. «Сильвио был печален, казалось что-то тяжёлое давит его грудь, будто тайная боль оскорбляет и точит его. Пропала былая радость, былая детская радость в кругу своих юных друзей. Что за мысли теснили его? Может тёмное прошлое своей безжалостной рукой отпугнуло прочь из его сердца все сладостные чувства, вселилось туда и страшно давит».

⁷⁹ Там же. «Уже сумерки опускались на землю и природа засыпала во власти серого мрака, когда мы распрощались с Сильвио».

⁸⁰ Там же, № 17, стр. 1. «Золотые отблески зари начали оживлять восточный край неба».

детельством этого является примерно 50 переводов его произведений на эстонский язык в интересующее нас десятилетие.

Статей о жизни и творчестве Лермонтова на страницах эстонской печати в этот период, правда, немного, и большей частью они малоинтересны, несят поверхностный биографический характер.⁸¹ Некую слабую попытку анализа творчества поэта мы видим только в двух работах — в анонимной статье «Лермонтов» в «Олевику Лиса» (1889, № 10, стр. 147—149) и в статье Й. Кенкманна «Русский писатель Лермантов» (так!) в журнале «Линда» (1890, № 10, стр. 385—387), явно скопированных на основе одного и того же русского источника (указание на неоригинальный характер работы есть в статье Кенкманна). В статьях подчёркивается влияние Пушкина и Байрона на поэта. Все стихотворения Лермонтова по содержанию делятся на 3 группы: 1) стихи, в которых слышится байроновское разочарование в людях и отчуждение от них; 2) стихи, в которых чувствуется благотворное влияние красоты природы на человека, выражение сердечной нежности и религиозное раздумье; 3) патристические стихотворения о родине. Эта классификация восходит к учебнику для гимназий, учительских семинарий и институтов П. В. Евстафиева.⁸²

Первый перевод из Лермонтова появился ещё в 1880 г. в уже знакомом нам «Исамаа Календер на 1881 год». Это было стихотворение «Ангел» в переводе М. Й. Эйзена.⁸³ Стихотворение «Ангел», ныне обычно даже не включаемое в основной корпус сочинений Лермонтова, а печатающееся в разделе его юношеских стихов (оно написано в 1831 г., когда поэту было семнадцать лет), вообще было довольно популярно в Эстонии: оно известно ещё в четырёх переводах и перепечатывалось в 1880-е гг. не менее 10 раз. В 1882 г. появился перевод известного эстонского писателя, автора популярнейшей исторической повести «Мстителъ», Э. Борнхёз под названием «Inglise laul» («Песня ангела»);⁸⁴ В 1883 г. в «Олевику Лисалехт» (№ 8) перевод П. Ларедей с оригинальным дополнением из трёх четверостиший — как бы продолжением лермонтовского стихотворения — А. Пийрикиви. Этот перевод вместе с дополнением трижды в 1880-е гг. перепечатывался в хрестоматии А. Гренцштейна «Eesti Lugemise-raamat» (I jagu)⁸⁵ и был напечатан также в собрании стихотворений А. Гренцштейна-Пийрикиви.⁸⁶ В 1884 г. появился довольно удачный перевод известного эстонского писателя и общественного деятеля Ю. Кундера «Ома Маа», 1884, № 5),⁸⁷ а в 1889 г. (там же, № 6) — перевод Я. Тамма, не всегда точный в деталях, но передающий своеобразие

⁸¹ См.: «Eesti Postimees», 1881, № 30 (заметка без заглавия); «Oma Maа», 1884, № 3, стр. 87; «Olewiki Lisa», 1887, № 21, стр. 323; ср. также: A. Grenzstein, Eesti Lugemise-raamat, I jagu, Trt., 1888, lk. 68—69 (J. Jurkatam).

⁸² См. П. В. Евстафиев, ук. соч., стр. 144.

⁸³ В статье В. Адамса «Lermontov eesti keeles» («Looming», 1956, № 2, стр. 248) ошибочно указано, что первым переводом произведения Лермонтова на эстонский язык был перевод «Русалки» в «Olewiki Lisa», 1882, № 44 (переводчик Я. Тамм). На самом деле ко времени появления в печати «Русалки» на эстонском языке было уже опубликовано два перевода стихотворения Лермонтова «Ангел» — М. Й. Эйзена в «Исамаа Календер» и Э. Борнхёз в «Lindanissa», II (дата цензурного разрешения — 10. IX. 1881).

⁸⁴ Lindanissa. II anne. Lõbusaks ja õpetlikuks aja wiideks. E. Bornhöhe, Tallinnas, 1882.

⁸⁵ В рецензии J. J<õgeve>r'a на хрестоматию указывалось на плохое качество перевода П. Ларедей и дополнения А. Гренцштейна (см. «Oma Maа», 1889, № 1, стр. 62). В данной рецензии подвергнут критике и перевод «Птички» Пушкина, помещённый в той же хрестоматии.

⁸⁶ См. А. Piirikiwi, Laulud ja salmid, Tartus, 1888, стр. 89—90.

⁸⁷ Перепечатан в книге: J. Kunder, Algupäralised luuletused, Tartus, 1889, стр. 46—47, — без указания на авторство Лермонтова.

лермонтовского лирического «настроения». С переводом Ю. Кундера связан любопытный эпизод. Этот перевод был перепечатан с крайне незначительными изменениями в 1889 г. в приложении к газете «Валгус» (№ 26) неким К. Куузиком, плагиатором, не раз подрабатывавшим на перепечатке чужих произведений. Ю. Кундер к этому времени уже умер, и К. Куузик имел, вероятно, некоторое основание надеяться, что его плагиат пройдет незамеченным. Но читатели, по-видимому, запомнили кундеровский перевод и внимательно следили за новыми переложениями популярного стихотворения Лермонтова. В «Постимеэс» (1890, № 111) через некоторое время появилось письмо одного читателя, в котором выражалось возмущение тем, что Куузик перепечатал под своим именем перевод Ю. Кундера. Автор письма привёл полностью перевод последнего и «переложение» Куузики, «дополнив» его своими ядовитыми замечаниями.

Но всё же успех среди эстонских читателей «Ангела» не может сравниться с успехом другого лермонтовского стихотворения — «Молитва» («В минуту жизни трудную...») Пожалуй, вообще ни одно другое произведение русской классической литературы не привлекало к себе столь пристального внимания эстонских издателей и переводчиков, как это. В 1880-е гг. в печати появилось 14 переводов «Молитвы» Лермонтова, некоторые из них перепечатывались; стихотворение было положено на музыку. Первый перевод «Молитвы» был опубликован в 1883 г. («Олевику Лисалехт», № 17) и принадлежал некому П. П. (криптоним не раскрыт). Этот перевод неточен и не передаёт особенностей лермонтовского стиля. В 1884 г. в «Ома Маа» (№ 5) был напечатан перевод Ю. Кундера, более удовлетворительный, чем предыдущий, но всё же далеко не передающий всей прелести оригинала. Этот перевод с незначительными исправлениями был перепечатан в журнале «Мезеляхуата» (1886, № 39, стр. 311) под обычным криптонимом Ю. Кундера — J. K.⁸⁸ В этом же журнале в следующем, 1887 г. (№ 27, стр. 215), был напечатан другой перевод — Марта Тамма, что может служить свидетельством неудовлетворённости редакции предыдущими переложениями лермонтовского стихотворения. Впрочем, и перевод М. Тамма вряд ли был шагом вперёд — он также не очень точен и не всегда передаёт «настроение» оригинала.

В 1887 г. газета «Олевик» объявила конкурс на лучший перевод «Молитвы» М. Ю. Лермонтова на эстонский язык.⁸⁹ По-видимому, это был первый в истории эстонской литературы подобного рода конкурс. В объявлении, датированном 29. IX. 1887, подробно повествуется о том, как надо присылать работы на конкурс, каким образом они должны быть помечены и т. д. Редакция выражала надежду, что все эстонские поэты и любители поэзии примут участие в конкурсе и ради этого оставят в стороне партийные и литературные распри и разногласия. В заключении приводился русский текст «Молитвы» и её перевод на немецкий язык Ашарина.

На конкурс было прислано 75 переводов «Молитвы»,⁹⁰ что само по себе свидетельствовало о большом интересе к нему тогдашних литераторов и читателей и, в то же время, о популярности стихотворения в околολитературной среде. Жюри в составе преподавателей учительской семинарии Куррика и Орга, а также школьных учителей Юркатама и Риомара, однако, не признало ни одного перевода достойным награды. Вследствие этого редакция «Олевик» объявила вторичный конкурс на лучший перевод «Молитвы» (датирован 3. XII. 1887), причём его условия были значительно смягчены. Премию (переплетённые вместе экземпляры приложения к «Олевику» за 1884—1886 гг.

⁸⁸ Перепечатан в указ. в предыдущей сноске книге Ю. Кундера (стр. 45) также без указания на авторство Лермонтова.

⁸⁹ «Olewiku Lisa», 1887, № 21, стр. 321—322.

⁹⁰ Отметим, что объявленный несколько позже конкурс на лучший перевод царского гимна вызвал к жизни лишь 25 переложений.

и бесплатная подписка на газету на 1888 г.) должен был получить *относительно* лучший перевод, даже в том случае, если он не удовлетворял бы всем требованиям точности и благозвучия. При этом все признанные заслуживающими внимания переводы должны были быть опубликованы на страницах «Олевик». ⁹¹

На этот второй конкурс опять было прислано большое число переводов, из которых 17 были, так сказать, допущены ко второму туру и разосланы трём членам нового жюри. Мнения членов жюри разошлись — они объявили достойными единственной премии разные переводы. Дело решил жребий. Из трёх переводов, поставленных на первое место членами жюри, премию получил перевод Кампманна из Валги. На втором и третьем месте оказались переводы редактора «Олевика» А. Греншштейна-Пийрикиви, позже неоднократно перепечатывавшиеся в его школьной хрестоматии и в собрании его стихотворений ⁹² Все эти переводы, как и занявшие последующие места переложения А. Тобер'а, Марта Тамма (немного изменённый вариант перевода, опубликованного в 1887 г. в «Меезяхутая», Т. Риомар'а, К. Роост'а, были напечатаны в «Олевику Лиса» (1888, № 6), в том же номере, где было объявлено решение жюри. Тут же редакция объявила третий конкурс — на этот раз на лучшую музыку к любому из отмеченных на втором конкурсе переводов лермонтовской «Молитвы».

Итоги третьего конкурса были подведены в декабре 1888 г. Редакция получила лишь незначительное число музыкальных переложений «Молитвы», из которых лучшим было признано опубликованное вместе с сообщением об итогах конкурса переложение А. Саала, известного автора ряда исторических романов. ⁹³

Но даже конкурсы газеты «Олевик» и связанные с ними публикации переводов «Молитвы» Лермонтова не охладили пыла переводчиков. В 1888 г. появляется вольное переложение этого стихотворения Г. Э. Луйга, ⁹⁴ в 1889 г. — переводы Й. Лоссманна («Сакала», 1889, № 2) и Й. Рингенфельдта («Пярну Тыхт-раамат на 1889 год», стр. 48—49). Если перевод Й. Лоссманна откровенно слаб, то работа малоизвестного переводчика Й. Рингенфельдта едва ли не принадлежит к числу лучших переложений лермонтовской «Молитвы» на эстонский язык: она сравнительно точно передаёт содержание оригинала и в то же время в ней сохранена творческая манера Лермонтова.

Факт многократных переложений «Ангела» и конкурс на лучший перевод «Молитвы» показателен. Он свидетельствует о том, что к концу 1880-х гг. в Эстонии уже значительно увеличивается требовательность к переводам; и литераторы и читатели уже понимают, что эстонские переводы (даже принадлежащие перу такого известного писателя, как Ю. Кундер) далеко уступают русскому оригиналу. Всё это говорит о более глубоком восприятии многих (хотя и не всех) произведений русских классиков образованной частью эстонского общества. Знатоков литературы уже не устраивает общая передача смысла, они хотят видеть в переводе и «лирическое настроение» оригинала, его дух, его формальные особенности.

Лермонтов в целом оказался, по-видимому, ближе, понятнее эстонцам 1880-м гг., чем Пушкин, хотя, без сомнения, далеко не всё в его творчестве было им интересно да и доступно, легко для восприятия. «Выборочность» переводов из Лермонтова, конечно, тоже является показателем «избирательности» в понимании его творчества. Если мы взглянем на библиографию

⁹¹ См. «Olewiku Lisa», 1887, № 25, стр. 385—386.

⁹² Оба перевода были перепечатаны в книге А. Пийрикиви «Laulud ja salmid», стр. 82. Второй перевод вошёл в его хрестоматию «Eesti Lugemise-гаамат» (II jagu) и неоднократно переиздавался в её составе.

⁹³ См. «Olewiku Lisa», 1888, № 26, стр. 407—409.

⁹⁴ Это переложение в 1888 г. было опубликовано дважды — в «Wirulase Lisa», № 30, стр. 478, и в книге: G. E. Luiga, Laulud, Tartu, 1888, стр. 74.

⁹⁵ Поскольку полная библиография переводов произведений М. Ю. Лермонтова на эстонский язык отсутствует, мы приводим здесь список переводов, появившихся на страницах эстонской печати в 1880-е гг. Произведения приводятся в алфавитном порядке их русских наименований, в скобках указывается переводчик, отмечаются важнейшие перепечатки. Чтобы не дублировать материал, переводы «Ангела» и «Молитвы», перечисленные выше, не отмечаются.

1. «Бородино», «Meelejahutaja», 1886, № 37 (J. Tamm).
2. «Бэла», «Oma Maa», 1885, №№ 1—3.
3. «Ветка Палестины», «Walguse Lisaleht», 1889, № 16 (M. Ollino).
4. «Воздушный корабль», «Meelejahutaja», 1887, № 8 (O. Mägi).
5. «Воздушный корабль», «Walguse Lisaleht», 1890, № 23.
6. «Выхожу один я на дорогу...», «Walguse Lisa», 1887, № 8 (J. K.).
7. «Демон», «Sakala Lisa», 1889, №№ 1—7 (J. Jänes).
8. «Демон» (разделы 3 и 4 из II части под названием «Klooster Kaukaasuses»), «Walguse Lisaleht», 1890, № 9 (M. Ollino).
9. «Желание», «Walgus», 1884, № 34 (G. Ois).
10. «Из Гёте» («Горные вершины...»), «Olewik», 1889, № 48 (подстрочный перевод в разделе «Keelekool»).
11. «И скучно, и грустно...», «Postimehe Löbu-lisa», 1890, стр. 150 (G. E. Luiga).
12. «Казачья колыбельная песня», в книге: A. Grenzstein, Eesti Luge-mise-kaamat. I jagu, Tartus, 1887, lk. 75 (A. Grenzstein-Piirikiwi). Перепечатывалась во втором (1888) и третьем (1890) изданиях хрестоматии, а также в книге: A. Piirikiwi, Laulud ja salmid, стр. 49—51.
13. «Казачья колыбельная песня», «Linda», 1890, № 1 (Leeni) [Leena Mõru].
14. «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Wirulase Lisa», 1885, № 43 (J. Liiv).
15. «Нищий», «Postimees», 1890, № 50 (J. A. Weltmann).
16. «Нищий», «Wirulanex», 1886, № 8 (J. U.).
17. «Одиночество», «Postimees», 1890, № 110 (M. Kampmann).
18. «Парус», «Olewiku Lisaleht», 1883, № 27 (F. F.).
19. «Парус», «Oma Maa», 1884, № 5 (J. Kunder). Перепечатан в книге: J. Kunder, Algupäralised luuletused, стр. 46.
20. «Парус», «Walguse Lisaleht», 1890, № 21 (C. Kuusik, опять плагиат с перевода Ю. Кундера).
21. «Пророк», «Oma Maa», 1889, № 6 (J. Tamm).
22. «Пророк», в книге: J. Leppik, Eestistatud laulud. II jagu, Wiljandi, 1889, стр. 30—31.
23. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Oma Maa», 1884, №№ 7—9 (J. Tamm). Имеется отдельный оттиск — Tartu, 1885.
24. «Песня про царя Ивана Васильевича...» [пересказ], «Walguse Lisaleht», 1889, № 21 (J. Jaanus). Ошибочно приписана А. Пушкину.
25. «Русалка», «Olewiku Lisaleht», 1882, № 44 (J. Tamm).
26. «Слышу ли голос твой...» [под названием «Laul»], «Wirmaline», 1889, № 47 (E. Kitzberg).
27. «Сон», «Oma Maa», 1887, № 1 (J. Leppik). Перепечатано в книге: J. Leppik, Eestistatud laulud. I jagu, Wiljandis, 1887, стр. 36—37.
28. «Три пальмы», «Olewiku Lisa», 1889, № 10 (M. Kampmann).
29. «Три пальмы», «Oma Maa», 1889, № 4 (J. Tamm).
30. «Утёс», «Olewiku Lisa», 1887, № 13 (K. E. Sööt). Перепечатано в книге: K. E. Sööt, Aasa öied, Tartus, 1890, стр. 54.
31. «Утёс», в книге: J. Leppik, Eestistatud laulud. I jagu, стр. 27.
32. «Фаталист», «Eesti Postimees», 1883, №№ 36—38 (J. Tamm).
33. «Чаша жизни», «Walguse Lisaleht», 1890, № 10 (J. Umblija).

ливо. Большая часть поэм Лермонтова, вся его драматургия, более половины «Героя нашего времени» остались вне поля зрения эстонских переводчиков. Не привлекли их внимание такие шедевры лермонтовской лирики, как «Смерть поэта», «Кинжал», «Дума», «Тучи», «Родина», в нашем представлении центральные во всём творчестве поэта. Зато наибольшим успехом пользуются стихотворения «Ангел» и «Молитва», трижды переводится «Парус», дважды «Казачья колыбельная песня», «Нищий», «Утёс», «Песня про царя Ивана Васильевича» (второй раз — пересказ), и некоторые другие. Этот подбор произведений Лермонтова для перевода, конечно, не случаен. Здесь мы имеем дело с явлением, аналогичным тому, на которое было обращено внимание при анализе переводов из Пушкина. Эстонских читателей и переводчиков не привлекают остро-политические, резко порицающие современное поэту общественное устройство стихотворения, как не интересуют и произведения, раскрывающие внутренние драмы дворянского интеллигента. Их привлекают вещи более простые, связанные в какой-то мере с жизнью народа и понятные рядовому читателю. Из глубоко личной лирики Лермонтова их наибольшее внимание потому привлекли исполненные религиозности стихотворения «Ангел» и «Молитва», что искренняя религиозность была ещё близка широкому кругу читателей, далеко не порвавшего и с традицией духовной морализаторской литературы. Именно такие стихи были в полной мере понятны и рядовым читателям и литераторам, которые уже умеют уловить и нюансы содержания этих произведений, и их «настроение», и особенности их формы. Потому-то они и способны уже понять недостатки переводов, их несовершенство сравнительно с оригиналом, потому они и требуют всё новых и новых попыток переложения гениальных творений Лермонтова, но не всех, а лишь некоторых.

Среди переводов лермонтовских произведений есть и более, есть и менее удачные. Как всегда неплохи переводы Якоба Тамма («Русалка», «Песня про купца Калашникова», «Бородино»), тем более, что для переложений он выбирал произведения, написанные в народном духе, без особого труда укладывавшиеся в рамки эстонской литературной традиции. Интимная лирика Лермонтова, отражающая мир его чувств и переживаний, исполненная гнева, сарказма и скорби, труднее поддавалась переводу. Тончайшие оттенки лирического настроения, сложное переплетение противоречивых чувств поэта, переходы от гнева к печали, от едкой иронии к грустной насмешке требовали очень продуманного стилистического оформления и музыкальной инструментальности каждого стиха. Эстонские переводчики даже в тех случаях, когда они уже воспринимали всю полноту смысла и художественного «звучания» лермонтовских стихотворений, не всегда бывали в состоянии передать их средствами тогдашнего не очень развитого эстонского стиха и литературного языка: ведь качество перевода находится в прямой зависимости от степени развития литературы. Поэтому даже переводы столь близких эстонским переводчикам по настроению и идеям стихотворений, как «Ангел» и «Молитва», всё же в подавляющем большинстве были далеки от совершенства. Это ещё более относится к таким переводам, как «И скучно, и грустно» Г. Ёйса и «Утёс» К. Э. Сёёта. Здесь мы опять сталкиваемся с тем же явлением, которое мы наблюдали при рассмотрении переводов из Пушкина.

В эстонских переводах Лермонтову приписан ряд произведений, ему не принадлежащих:

1. Lugu maameistri elust [Случай из жизни художника]. Wene keelest Lermontowi põhjusel. Eestistanud J. H. Wahtrik, «Postimehe Lõbu-lisa», 1889, стр. 353—358, 361—365.
2. Homik [Утро]. M. Lermontowi järelle A. Krikmann, «Walguse Lisaleht», 1890, № 13.
3. Öhtul [Вечером]. M. Lermontowi järelle A. Krikmann, там же.
4. Usk, lootus, armastus [Вера, надежда, любовь]. M. Lermontowi järelle A. Krikmann, там же.

И всё-таки Лермонтов оказался, повторяем, ближе эстонским читателям, чем Пушкин. Это видно уже из количества переводов: хотя объём лермонтовского художественного наследия меньше, чем объём пушкинского, тем не менее, число переводов из Лермонтова не только относительно, но и абсолютно больше. Но это, быть может, ещё не столь показательно. Важнее другое. Дух многолик и разнообразен пушкинской прозы и поэзии не всегда, по-видимому, был достаточно близок и понятен эстонцам 1880-х гг. Более однообразная, но зато, пожалуй, и более отчётливо выраженная грустная, печальная тональность стихов Лермонтова, настроение разочарования в них, оказались эстонским читателям и литераторам этой поры в чём-то понятнее. Правда, эстонские литераторы, судя по всему, не всегда воспринимали сложность и противоречивость обуревавшего поэта чувства; черты политического протеста, саркастической иронии по адресу «света» им были чужды, и они прошли мимо них. Тем самым, Лермонтов представлялся им несколько однобоко, немного обеднённым. Но одну сторону, и очень существенную, его лирического мира — грусть, печаль, разочарование — эстонцы 1880-х гг. усвоили хорошо. Им, людям мрачной эпохи реакции Александра III, периода краха былых идеалов, разложения национального движения (напомним, что большинство переводов из Лермонтова относится к концу 1880-х гг.), это настроение было близко. Даже в тех случаях, когда переводчики оказываются не в состоянии передать все нюансы лермонтовского текста и в смысле точности значительно отступают от оригинала, всё же у них видна попытка воссоздать хотя бы самую общую атмосферу грусти и тоски. Для примера сошлёмся хотя бы на переводы «Выхожу один я на дорогу» Ж. К. (возможно, Юхан Кундер — это его обычный псевдоним) и «Нищий» Ж. У. (вероятно, Й. Умблия).

Впрочем, неверно было бы, видимо, сбрасывать со счёта и близость эстонским литераторам 1880-х гг. романтического мироощущения Лермонтова, сказавшегося и в переведённом на эстонский язык «Демоне» и в трижды перелегавшемся «Парусе». Не случайно, позднее чисто реалистическое творчество Лермонтова не привлекает к себе столь пристального внимания переводчиков, как его произведения, ещё не чуждые романтических черт. Но преувеличивать значение этого фактора не стоит. Дело в том, что хотя в восприятии Лермонтова и сказались ещё неизжитые романтические традиции в среде эстонских любителей словесности, но влиял он на развитие эстонской литературы, пожалуй, всё же более реалистической направленностью своего творчества — в целом реалистическим (пусть и не без романтических черт) воссозданием внутреннего мира человека, его сложных и противоречивых переживаний, в лирике, картинами народной старины в «Песне про купца Калашникова». Ведь, как правило, влияние чужой литературы идёт в русле основной тенденции развития словесности, испытывающей влияние, а в эстонской литературе 1880-х гг. как раз и происходил сложный процесс перехода от романтизма к реализму.

Н. В. Гоголь также был довольно популярен в Эстонии, при этом ещё до 1880-х гг. Уже в конце 1850-х — начале 1870-х гг. на сцене местных немецких театров и в постановке русских самодеятельных коллективов в Эстонии ставились пьесы Гоголя, в частности «Ревизор».⁹⁶ В 1873 г. в издававшемся в Риге «Ыйге-усу Ээсти-рахва Календер» («Православный эстонский календарь») на 1874 год был напечатан большой отрывок (четыре с половиной начальных главы) из «Тараса Бульбы». Это был, по-видимому, первый перевод из классической русской литературы на эстонском языке, появившийся в печати. В 1879 г. в газете «Тарту Ээсти Сейтунг» (№№ 14—17, 19—20, 24, 26—28) был опубликован анонимный перевод гоголевской «Шинели». В 1880 г. появляется три больших перевода произведений

⁹⁶ См. об этом: И. И. Змигродский, Гоголь на сценах города Юрьева Лифляндской губернии, Юрьев, 1902. Ср. также: П. Д. Боборыкин, За полвека, «Русская мысль», 1906, ноябрь (глава III).

Н. В. Гоголя: в «Меэляхутая» (№№ 5—6) — «Сорочинская ярмарка» (под названием — «Sorotschinski küla laat ehk Punase kamsoli käekäik») в переводе Фр. Эдерберга, отдельным же изданием вышли «Ночь перед рождеством» (переводчик J. Wilhelm — псевдоним того же Ф. Эдерберга) и «Тарас Бульба» (в переложении Я. Кырва, сделанном, как утверждает К. Херманн,⁹⁷ на основе немецкого перевода повести).⁹⁸ Таким образом, к началу 1880-х гг. эстонский читатель в значительной мере был уже знаком с творчеством Н. В. Гоголя.

В 1880-е гг. это знакомство ещё более расширилось, в основном, за счёт новых переводов — статей о жизни и творчестве Гоголя мы на страницах эстонской печати указанного десятилетия почти не найдём.

26 февраля 1882 г. в Тарту состоялось собрание Общества эстонских литераторов, где с докладом о жизни и творчестве Гоголя выступил Х. Пальясмаа. Он отметил, что Гоголь принадлежит к числу самых выдающихся русских писателей. Подробно охарактеризовав «Ревизор» и «Мёртвые души», Пальясмаа в заключение выразил пожелание, чтобы на эстонский язык переводилось бы больше произведений Гоголя.⁹⁹

Единственной специальной работой, посвященной Гоголю на страницах эстонской печати 1880-х гг., была маленькая статья в «Меэляхутая» (1887. № 2, стр. 15), подписанная Х. Здесь была дана самая общая характеристика творчества великого русского писателя. «В повествовательном искусстве наиболее велик среди русских писателей Гоголь. В замечательной художественной форме он выставляет перед читательским взором теневые стороны жизни и быта русского общества, особенно ту их сторону, где человек привык скрывать свои ошибки и недостатки и истолковывать свои поступки в наивыгоднейшем, но, к сожалению, ложном свете. В своих произведениях Гоголь изображает все сословия общества и, исполненный душевной скорби из-за их лишённого истинных добродетелей существования, он хлещет их бичом своей насмешки. С грустью и со смехом, со слезами на глазах, смотрит он на своих героев, у которых он всё же находит ещё и нечто хорошее; он полагает, что если устранить обстоятельства, толкающие человеческую натуру на ложный путь, то и люди исправятся. По видимости произведения Гоголя жестки, но суть их прекрасна. Сквозь его шутки, насмешки и весёлый смех всегда проступает его большая любовь к родине и глубокая печаль». Вкратце охарактеризовав «Мёртвые души», «Ревизора» и «Тараса Бульбу», автор заканчивает статью словами: «Всё то, о чём Гоголь когда-либо писал, взято из жизни и нацелено на жизнь. — Желательно, чтобы эстонский народ получил бы полное представление о жизненном пути Гоголя-писателя и об его трудах».

Обратимся к переводам произведений Н. В. Гоголя на эстонский язык в 1880-е гг. В 1882 г. в газете «Ээсти Постимеес» (№ 47) в хорошем переводе Г. Ёйса был опубликован очерк Гоголя «Женщина».

★ Важным событием в культурной жизни Эстонии начала 1880-х гг. явился перевод на эстонский язык «Ревизора» Гоголя («Олевику Лисалехт», 1883, №№ 1—12, переводчик А. В. Ауус-Эрлих).¹⁰⁰

В 1880-е гг. был продолжен перевод на эстонский язык и повестей из книг «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Важно при этом

⁹⁷ См. К. А. Герман, Гоголь в эстской литературе <Юрьев, 1903>. стр. 3 [отд. оттиск из «Учёных записок имп. Юрьевского университета»].

⁹⁸ Подробнее об этих переводах см.: В. Sõõt, Gogol eesti keeles. «Edasi», 20. II. 1952, № 43; H. Johani, Gogoli teosed eesti keeles. «Rahva Hääl», 1. III. 1952, № 52; V. Adams, Gogol eesti keeles, «Looming», 1959, № 4, lk. 616.

⁹⁹ См. об этом: «Eesti Postimees», 1882, № 10.

¹⁰⁰ Мы не сочли необходимым здесь подробно анализировать этот интереснейший перевод, поскольку ему посвящено специальное исследование, подготовленное к печати С. Г. Исаковым.

отметить, что переводы появляются не только в основных культурных центрах тогдашней Эстонии — Тарту и Таллине, но и в провинции. Так, в 1884 г. в издававшемся в городе Курессааре (Аренсбург, ныне г. Кингисепп) на острове Сааремаа «Эсти рахва мыннус Календер или Тяхт-Рамат на 1885 год» (стр. 26—39) анонимно была опубликована повесть «Пропавшая грамота» под названием: «Arakadunud kiri (N. N. kiriku kõstrist jutustud)» — «Пропавшее письмо (рассказано дьячком церкви Н. Н.)».¹⁰¹ В 1885 г. там же отдельным изданием в переводе В. Киви вышел «Вий». В 1889 г. повесть «Вий» была переведена на эстонский язык вторично и напечатана в журнале «Ома Маа» (№№ 1—2).

По своим художественным достоинствам эти переводы различны. Анонимный перевод «Пропавшей грамоты» ничем не выделяется — ни в лучшую, ни в худшую сторону — на общем фоне переложений того времени. Это обычный перевод 1880-х гг. Больших купюр нет, вставок от переводчика не видно, но отдельные фразы, которые 1) трудно переводимы на эстонский язык, или 2) кажутся переводчику непонятными для эстонского читателя, или же 3) несущественными, не важными для понимания хода повествования, он выпускает. Переводчик не стремится передать стилистических «тонкостей» оригинала, заботясь лишь о сохранении общего смысла отдельных фраз. Стиль просторечного сказа на украинский манер, естественно, не соблюден в переводе. Переводчик охотно идёт на упрощение и даже сокращение отдельных фраз.

Перевод «Вия» 1885 г., носящий любопытное название «Üks ilus Ennemüistne jut. Noore rahvale lõbusaks aegaviiteks. N. W. Gogoli järele. Wene keelest Eesti keelde kirjutatud» [«Одно прелестное старинное сказание. Молодёжи для весёлого времяпрепровождения. По Н. В. Гоголю. С русского языка переложено (буквально: «написано» — С. И., М. А.) на эстонский язык», пожалуй, тоже не превышает среднего уровня переложений тех дней. Он не безукоризнен в литературном отношении (в языке перевода заметны иногда черты сааремааского диалекта, стилистические шероховатости и т. д.), правда, зато сравнительно точен. Переводчик В. Киви не только избегает купюр и вставок, но и реже других переложателей допускает пропуск или сокращение отдельных фраз. Позднейший перевод «Вия», принадлежащий К. Кару и опубликованный в «Ома Маа», в этом отношении несравненно менее удачен. Всё начало повести выпущено, есть пропуски и в других местах (в основном, в первой части; впрочем общее число купюр невелико), язык перевода также оставляет желать лучшего.

В 1887 г. в журнале «Ома Маа», столь много сделавшем для пропаганды русской литературы в Эстонии, начала печататься в переводе Я. Йегевера гениальная поэма Гоголя «Мёртвые души».¹⁰² Но уже на начале четвёртой главы публикация была прервана, хотя в заключении последнего переводного отрывка и было обещано продолжение. По-видимому, переводчик Йегевер, кончавший в это время университет и занятый в «Обществе эстонских литераторов», не смог довести до конца свой перевод.

Это был также обычный перевод тех лет, который, принимая во внимание уровень тогдашнего переводческого искусства, можно было бы оценить как удовлетворительный. Перевод Я. Йегевера в меру точен, значительных купюр немного (места, описывающие карточную игру в первой главе; авторское размышление о правителе канцелярии и метаморфозах его поведения; изменении даже его облика при обращении с различными по своему общественному положению лицами в третьей главе), но, как и переводчики «Пропавшей грамоты» и «Вия», он порою выбрасывает или сокращает отдельные фразы, меняет их структуру, упрощает их и т. д. Перед ним ещё не стоит

¹⁰¹ Этот перевод, кстати, не отмечен в обзорных статьях К. А. Германа, Б. Сёэта, Х. Йохани и В. Адамса.

¹⁰² См. «Ома Маа», 1887, № 1, стр. 15—23; № 2—3, стр. 84—107; № 4, стр. 152—162.

задачи — передать стиль оригинала, всё своеобразие творческой манеры Гоголя. И это несмотря на то, что переводчик в некоторых местах скатывается к буквализму. Однако примечательно, что перевод Я. Йыгевера подвергся уже довольно резкой критике в печати; это свидетельствует ещё раз о повышении требований к переводу в конце 1880-х гг. В газете «Постимеэс» (1887, № 13) в разделе «О литературе» было опубликовано письмо, подписанное «г-г», в котором перевод Я. Йыгевера осуждался за плохой язык, стилистическую неряшливость, входящую порою до откровенных курьёзов. Автор письма привёл многочисленные примеры таких курьёзов, снабдив их своими ироническими замечаниями, возмущёнными вопросительными или восклицательными знаками. Правда, письмо вряд ли можно считать до конца объективной оценкой перевода Йыгевера, поскольку оно, во многом, явилось плодом журнальной склоки, актом своеобразной «мести» Йыгеверу за критику им языка передовой статьи в № 2 «Постимеэс», написанной редактором К. А. Херманном (этот повод для написания письма не скрывается автором). Но, без сомнения, большая доля истины в этой критике есть.

В конце 1880-х гг. почти все переводы гоголевских произведений уже мало удовлетворяли взыскательных критиков. Г. Ёйс в обзоре «Немного из истории русской литературы» утверждал, что хотя важнейшие произведения Гоголя и переведены на эстонский язык, но большей частью плохо. Впрочем, Г. Ёйс придерживался того мнения, что работы великого русского писателя вообще невозможно хорошо перевести на язык другого народа, поскольку воссоздать его неподражаемый юмор и стиль может лишь такой же мастер, каким был сам Гоголь.¹⁰³

Наконец, в 1890 г. в «Постимеэс Лыбу-лиса» (стр. 47—55) в довольно точном переводе М. Оллино была напечатана повесть «Коляска» (под названием «Koleska»), единственная из петербургских повестей Гоголя, переведённая в 1880-е гг. на эстонский язык.

Если говорить о восприятии творчества Гоголя эстонскими читателями 1880-х гг., то, в основном, надо согласиться с той оценкой рецепции гоголевского наследия, которая дана в статье В. Адамса «Гоголь на эстонском языке».¹⁰⁴ Хотя она и нуждается в некоторых коррективах. В. Адамс отмечает здесь, что Гоголь воспринимался эстонскими читателями 1870-х — 1890-х гг., в первую очередь, как безобидный, но остроумный юморист, автор весёлых и занимательных произведений, рассчитанных на то, чтобы вызвать смех у читателей, развлечь их. Отсюда характерный для тех лет преимущественный интерес к ранним повестям из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», а не к зрелым произведениям типа петербургских повестей, из которых переведена только «Коляска», что само по себе тоже очень показательно. Отсюда особая популярность «Вия» и незаконченность переводов как «Шинели», так и «Мёртвых душ». Об этом же свидетельствует характерное заглавие повести «Вий» в переводе — «Одно прелестное старинное сказание. Молодёжи для весёлого времяпрепровождения». Обличительный пафос произведений Гоголя, резкая критика в них общественных и государственных порядков царской России в значительной мере не воспринимались эстонцами 1870—80-х гг. Им ближе и понятнее оказался, пожалуй, патриотизм Гоголя, проявившийся в «Тарасе Бульба» (как мы помним, дважды переведённом ещё в 1870-е гг. на эстонский язык) и оказавшийся в чём-то созвучным идеям эстонского национального движения. Такова основная линия рецепции творчества Гоголя эстонскими читателями и литераторами 1880-х гг.

Но, как всегда, нельзя быть излишне прямолинейным в выводах такого рода. Было бы неверным утверждать, что эстонцы этого десятилетия вообще прошли мимо социальной сатиры Гоголя, мимо критической направленности его творчества, обличительного пафоса его произведений. В какой-то мере Гоголь предстал перед ними и с этой стороны, хотя она, в представлении

¹⁰³ См. «Isamaa Kalender 1889 aastaks», стр. 94—95.

¹⁰⁴ См. «Looming», 1959, № 4, стр. 615—620.

эстонских читателей да, по-видимому, и писателей, не была главной, основополагающей в его творчестве. Об этом свидетельствует перевод «Ревизора» и вставленная в его текст вполне серьёзная, тесно связанная с актуальнейшими вопросами общественно-политической жизни Эстонии тех лет сцена (XI явление четвёртого действия в переводе). В этом явлении, как и в измененной эстонским переводчиком сцене с унтер-офицерской вдовой, по существу, нет юмора, тем более беззлобного, это обличение социальных зол современности. Возможность вставки таких сцен в авторский текст свидетельствует о том, что «Ревизор» в целом не осознавался переводчиком как безобидная комедия, долженствующая лишь рассмешить читателя, а рассматривался им как серьёзное произведение, затрагивающее какие-то важные жизненные вопросы.

Хотя в восприятии Гоголя, возможно, и сказались традиции романтизма, но влияние его произведений на эстонскую литературу шло, по-видимому, исключительно в русле утверждения критического реализма (то же, но в менее отчётливо выраженной форме, мы отмечаем в связи с Лермонтовым). Вопрос об этом воздействии ещё почти совершенно не изучен.¹⁰⁵ Факты, говорящие о непосредственном влиянии Гоголя на эстонских писателей уже в 1880-е гг., пока не собраны. Но такое воздействие было; о его характере мы можем судить по некоторым косвенным свидетельствам самого начала 1890-х гг. Я. Тамм в 1893 г. познакомился с рецензией в «Постимеэс» на «Десять рассказов» Ю. Лийва, в которой утверждалось, что литература не должна быть отражением действительности, а должна изображать то, чего в жизни нет. Тамм резко выступил против этого положения, встав на защиту реалистической эстетики: «Поэтическая работа должна быть если не истинной, то хотя бы подобием правды. Рассказики типа историй Мюнхаузена может сочинять каждый, кто только желает врать, а пусть-ка он попробует описывать настоящую жизнь по примеру Гоголя или Толстого <...> Настоящий писатель должен описывать человека, общество или природу такими, какими они являются на самом деле»,¹⁰⁶ — записал он в неопубликованной рукописи «Роман, новелла, рассказ». Характерно, что когда в 1891 г. разгорелся спор между «Постимеэс» и «Вирмалине» об одном рассказе Э. Вильде и в связи с этим о допустимости изображения в литературе грязи жизни, людей с пороками, далёких от идеальных героев в духе старой романтической традиции, то «Вирмалине» охотно объединила «недопустимого» (по мнению редакции) с точки зрения высшей морали и эстетики героя произведения Вильде Йоханнеса с гоголевскими «Мёртвыми душами» и «Ревизором», где главными героями тоже выведены плуты.¹⁰⁷ В этих высказываниях эстонских литераторов Гоголь неизменно выступает как реалист, защитник жизненной правды в литературе, сторонник отображения тёмных сторон жизни в ней.

Среди эстонских читателей 1880-х годов большим успехом пользовались также русские народные песни — как фольклорные по происхождению, так и народные переделки произведений русских поэтов. Трижды была опубликована в одном и том же переводе М. Веске русская народная песня «Ах, ты воля»,¹⁰⁸ не менее двух раз переводились на эстонский язык и ныне очень популярные песни «Красный сарафан»¹⁰⁹ (народная переработка стихотворения Н. Г. Цыганова, одного из предшественников Кольцова) и «Вот мчитса

¹⁰⁵ Если не считать небольшой газетной статьи: E. Säärits, A. Sokolov, N. V. Gogol ja eesti kirjandus, «Rahva Hääl», 4. III. 1952, № 54.

¹⁰⁶ Цит. по: R. Alekõrs, E. Prink, ук. статья, «Looming», 1952, № 5, стр. 565—566.

¹⁰⁷ См. «Wirmaline», 1891, № 46.

¹⁰⁸ «Oma Maa», 1889, № 11, стр. 773—774; «Walgus», 1889, № 45; «Wirulane», 1889, № 45.

¹⁰⁹ «Meelejahutaja», 1885, № 26, стр. 146 (с нотами); «Walguse Lisaleht», 1889, № 17, стр. 136 (вольный перевод, далеко отходящий от оригинала).

тройка удаляя»¹¹⁰ (под названием «Postipoiss» — «Почтальон»; народная обработка отрывка из произведения Ф. Н. Глинки «Сон русского на чужбине»). Переводились и другие песни.¹¹¹ В свете всего того, что мы говорили в начале этой статьи о восприятии русской литературы эстонцами 1880-х гг., популярность русских народных песен в читательской массе вполне закономерна и объяснима. Появлялись в эстонском переводе русские народные сказки,¹¹² пословицы и поговорки.¹¹³ Произведения других жанров русского фольклора — более редкие гости на страницах эстонской печати 1880-х гг. Можно отметить ещё лишь перевод Я. Таммом былины «Микула Селяниновича» («Meэляхута», 1887, № 42, стр. 333—334, № 43, стр. 341—342) — первый перевод из русского былинного эпоса в эстонской литературе вообще.¹¹⁴

Все эти факты объясняют известную популярность в последние десятилетия XIX в. в Эстонии и творчества Кольцова — известно 17 переводов его стихов на эстонский язык в этот период, из которых первый был опубликован ещё в 1875 г.¹¹⁵ Впрочем, большая их часть падает уже на 1890-е гг., когда появились отличные переводы Я. Тамма; в интересующее же нас десятилетие отмечено лишь 4 перевода стихов Кольцова.

В 1889 г. в «Олевику Лиса» (№ 11) появилась статья о Кольцове, видимо, принадлежащая К. Э. Сёёту, поскольку сразу же вслед за статьёй идут три стихотворения русского поэта в его переводе. Эта статья — своеобразный гимн народной песни. А. В. Кольцов рассматривается в первую очередь как выдающийся мастер народной песни. «Он умел чудесно соединять в простой народной песне поэтическую мысль и красоту подлинного искусства. Он вырос в народной среде, знал горе и радость народа, призывы народного сердца лучше, чем другие русские писатели, которые, впрочем, создавали произведения непреходящей ценности и вечной славой вписали своё имя в число величайших творцов на поэтическом небе. Даже Лермонтов и Пушкин не могли создать таких народных песен, как Кольцов. Его язык — чисто народный, неподражаемо самобытный и естественный, и чувства всегда глубоки и подлинны. Кольцов — вечно сверкающая звезда на небе русской поэзии, он первый поднял народную песню на уровень высшего искусства».¹¹⁶ Вслед за этой восторженной характеристикой Кольцова идёт довольно подробная биография поэта.

В качестве своеобразной иллюстрации к статье печатаются переводы трёх стихотворений Кольцова — «Русская песня» («Дуют ветры...»), «Перстень» и «Песня старика». Стихотворение «Перстень» ещё ранее, в 1886 г., было переведено О. Мяги и напечатано в журнале «Ома Маа» (№ 7). Все эти переводы довольно удачны, особенно принадлежащие известному поэту

¹¹⁰ «Isamaa Kalender 1881 aastaks», стр. 48 (переводчик — F. E.); «Ома Маа», 1887, № 2—3 (M. Becke).

¹¹¹ «Нигде милого не вижу», «Kündja», 1885, № 50; «Ты скоро меня забудешь», «Walgus», 1887, № 38; русские народные песни — «Olewiku Lisa», 1889, № 2, «Postimehe Löbu-lisa», 1889. Не совсем ясно, в какой мере является народной песней дважды переведённая на эстонский язык «Девушка и рыба» («Postimehe Lisaleht», 1886, № 23; «Olewiku Lisa», 1889, № 13).

¹¹² См., напр., «Околованный брат», «Walgus», 1884, № 16 (переводчик Ю. Кундер), «Подарки мороза», «Sakala Lisaleht», 1884, № 40 (П. Янус). Ряд сказок напечатан в хрестоматии Гренцштейна.

¹¹³ См. 25 русских пословиц и поговорок во второй части вышецитированной хрестоматии А. Гренцштейна.

¹¹⁴ См. также изложение доклада Ф. Бушманна о былинах, посвященных Илье Муромцу, прочитанного на заседании Общества эстонских литераторов 29 августа 1883 г., — «Eesti Postimees», 1883, № 35; «Kündja», 1883, № 36; «Wirulane», 1883, № 37.

¹¹⁵ См. A. Alekõrs, E. Prink, ук. статья, стр. 582.

¹¹⁶ «Olewiku Lisa», 1889, № 11, стр. 161.

К. Э. Сёёту. Переложения Сёёта не далее удаляются от оригинала, чем это допустимо в поэтическом переводе, в них, как правило, соблюдены и внешние особенности кольцовского стиха — рифма, размер. Правда, иногда Сёёт не улавливает своеобразия ритма стихотворений Кольцова (напр., в «Песне старика»). Пожалуй, лучший его перевод — «Русская песня».

Хотя эстонцы узнали А. В. Кольцова позже и в меньшем объеме, чем их южные соседи — латыши,¹¹⁷ тем не менее, его творчество оказало некоторое влияние на эстонскую литературу. Воздействие Кольцова позже испытали и Я. Тамм,¹¹⁸ и Ю. Лийв,¹¹⁹ впрочем, знакомившийся с его стихотворениями, по-видимому, по их немецким переводам. Как отмечают исследователи, творчество Кольцова способствовало более конкретному отображению крестьянской жизни и труда, дум крестьянина в стихах эстонских поэтов.

В эстонской печати появилось также несколько переводов из И. С. Никитина. Первый из них относится к 1882 г. («Мезлехутая», 1882, IX, стлб. 559—560) — это «Жена ямщика» в вольном переводе Я. Тамма. Я. Тамм отдельные строфы выпускает, а другие меняет местами. Несколько строф, излагающих крестьянскую житейскую «мудрость», переводчик добавляет от себя, стремясь сделать стихотворение как можно более близким рядовому читателю. Но нельзя не отметить, что вставки Тамм органически входят в текст стихотворения Никитина и не воспринимаются как чужеродные. При этом переводчик уловил и ритм, и лирическое настроение оригинала, сумел передать их в своём вольном переложении. В уже знакомом нам сборнике Я. Леппики «Eestistatud laulud» (II jagu, Wiljandis, 1889, стр. 16—17) опубликован перевод стихотворения И. С. Никитина «Дедушка» без указания фамилии автора (в подзаголовке просто отмечено — «перевод с русского»). В газете «Олевик» (1889, № 51, стр. 125) была опубликована небольшая биографическая заметка о Никитине и вслед за ней перевод его стихотворения «Вырыта заступом яма глубокая...» (переводчик Г. Э. Луйга, которому, как можно предполагать, принадлежит и заметка). Как известно, это стихотворение принадлежит к числу лучших и наиболее популярных в наследии Никитина, оно неоднократно переводилось и на иностранные языки. Перевод поэта Г. Э. Луйга, в 1880—90-е гг. много трудившегося на ниве переложений из русской литературы, удачен. Наконец, в 1890 г. в известном сборнике стихов К. Э. Сёёта «Aasa öied» появился новый перевод этого же стихотворения.

Малоизвестен в Эстонии 1880-х гг. был И. А. Гончаров. В 1890 г. в газ. «Олевик» (№ 5) появилась биография Гончарова, составленная Г. Э. Л<уйга> на основе данных только что вышедшей в Петербурге книги В. П. Острогорского «Двадцать биографий образцовых русских писателей». В статье упоминались романы Гончарова и его книга «Фрегат Паллада».

В конце 1889 — начале 1890 гг. в газ. «Валгус» (№№ 1—7, первый номер газеты за 1890 г. вышел в свет 29. XII. 1889) были опубликованы переводы отрывков из романа «Обломов» под названием «Unimütsi hommik». Переведено было три отрывка из первой части романа: первая (она, собственно, и дала название всей публикации) и седьмая главы, а также часть девятой главы, рассказывающая об одном дне жизни Илюши, семилетнего мальчика, в Обломовке. Выбор отрывков для перевода следует признать удачным — это, действительно, одни из лучших мест романа, наиболее ярко характеризующие обломовщину и дающие достаточно полное представление о творческой манере писателя. Перевод Т. Куузика не выходит за пределы обычных переложений тех лет; иногда Куузик переводит точно, иногда же

¹¹⁷ См. Г. Мацков, На латышском языке, «Советская Латвия», 15. X. 1959, № 243.

¹¹⁸ См. об этом: R. Alekõrs, E. Prink, ук. статья, стр. 583—584.

¹¹⁹ См. Friedebert Tuglas, Juhan Liiv, Tln, ERK, 1958, стр. 386, 436—441; A. Vinkel, Juhan Liivi suhted vene kirjandusega, «Edasi», 2. III. 1951, № 51.

отдельные фразы изменяет, пересказывает, а не переводит их — это обычно в тех случаях, когда фразы казались ему трудно переводимыми или же непонятными эстонскому читателю. Большим грехом он не считает и пропуск отдельных предложений. Имя главного героя эстонизировано: Обломов превратился в Илью Ильича Unimüts'a (Соня или Засоня). Других следов эстонизации перевода, однако, незаметно.¹²⁰

Одним из самых популярных русских писателей в Эстонии 1880-х гг., без сомнения, был И. С. Тургенев. В эти годы в печати появилось свыше пятидесяти переводов его произведений (правда, примерно четыре десятка из них — отдельные «стихотворения в прозе» Тургенева), большое число статей и заметок. Пожалуй, ни об одном другом русском писателе эстонские газеты и журналы не печатали так много материалов, как о Тургеневе. Это не трудно объяснить. Тургенев был в 1880-е гг. писателем с мировым именем, давно уже получившим всеевропейскую известность; многие его произведения были переведены на немецкий (что особенно существенно для эстонцев), французский и английский языки. Он был, так сказать, в 1880-е гг. живым классиком, значение которого не оспаривалось даже официальными органами печати и академическим литературоведением. Смерть Тургенева в 1883 г. вызвала отклики во всём мире и вновь возбудила интерес к его творчеству во многих странах, в том числе и в России. Всё это не могло не привлечь внимания эстонских литераторов.

26 февраля 1883 г. с докладом «О значении «Записок охотника» русского писателя Тургенева» в Обществе эстонских литераторов выступил Ф. Бушманн. Текст его речи был опубликован в приложении к газете «Сакала» (1883, № 12).¹²¹ Этот любопытный доклад, как ни странно, не привлекал внимания исследователей. В начале доклада Ф. Бушманн коротко рассказывает о русской литературе до Тургенева (XVIII в., Пушкин, Лермонтов, Гоголь), рассматривая её развитие как путь от описания жизни дворянских верхов к изображению жизни народа, крепостных рабов, впервые осуществленному Тургеневым в «Записках охотника». Затем докладчик приводит довольно подробную биографию писателя и краткий обзор его творчества; при этом отмечаются влияние Белинского на его творчество и споры вокруг «Отцов и детей». Переход от «Записок охотника» к романам, описывающим жизнь дворянства, считает Ф. Бушманн, вполне закономерен: Тургеневу нужно было показать, как слабеет жизненная сила дворян, как черствеют их души, поскольку у дворян нет ни настоящей работы, ни определённой и верной цели в жизни; они вынуждены отступать под напором новых общественных идей и искать новых путей и целей. «Мы видим, что Тургенев со вниманием следит за жизнью России и описывает в своих произведениях все важнейшие явления и происшествия в ней. В том-то и значение Тургенева, что он раньше других русских писателей явственно распознаёт все изменения и новшества и умеет объяснить их сущность. Так обстоит дело и с «Записками охотника», где он первым представил нашему взору положение русского крестьянства до уничтожения крепостного рабства». ¹²² В тот период, когда появились «Записки охотника», даже большая часть интеллигенции ещё не думала об уничтожении крепостного права, небольшая же группа свободомыслящих людей не могла прямо выразить в печати своих мыслей. На помощь им пришла художественная литература, где легче и лучше можно было рассказать о положении народа. Далее Ф. Бушманн приводит интересное размышление, непосредственно не относящееся к «Запискам охотника», о различии между научным

¹²⁰ Подробнее о знакомстве эстонцев с творчеством И. А. Гончарова см.: S. Issakov, I. A. Gontšarov ja Baltimaad, «Looming», 1962, № 6, стр. 950—952.

¹²¹ Краткое изложение доклада было дано и в других газетах — см., напр., «Eesti Postimees», 1883, № 9.

¹²² «Sakala Lisaleht», 1883, № 12.

и художественным отображением действительности, об отличии учёного от художника. Это в то же время, по существу, одно из первых теоретических обоснований реализма в эстонской печати, в котором можно заметить, видимо, опосредствованное воздействие идей Белинского. Небезынтересно, что, когда позже, в 1886 г., будет сделана попытка обсуждения проблемы реализма в эстонской прессе, участники обсуждения опять же будут указывать на Тургенева. Автор статьи «О самобытной эстонской литературе» («Вирулане», 1886, № 22), К. Кримм, назовёт именно Тургенева среди тех писателей, кто правдиво отображает действительность и может служить примером для эстонских литераторов. В следующем номере «Вирулане» появилось анонимное возражение на эту статью, по-видимому, принадлежащее перу редактора газеты Я. Яреа; в возражении не отрицался реализм Тургенева, но автору, стороннику «идеальности» в литературе, он не кажется достойным похвалы и подражания.¹²³

Однако вернёмся к статье Ф. Бушманна. Далее он утверждает: «Записки охотника» впервые возбудили в сознании многих русских интеллигентов мысль о том, что крестьянин также умеет страдать и радоваться, как и представители образованных слоёв общества, что он не бесчувственная вещь, с мнением которого можно не считаться. Заслуга Тургенева в том, что он правдиво описал окружающую его жизнь. «О помещиках он не говорит слишком презрительно, как бы ни был силён его гнев против них, и он не пытается идеализировать народ, сделать его лучше в своих рассказах, чем он есть на самом деле. Истина и только истина была всегда для него целью, и это было причиной того, почему его труд вызвал столько откликов и столько сочувствия в обществе. Изображая людей, он не приводит явлений единичных, а всегда представляет нам такие события, которые в то время ежедневно мог наблюдать каждый».¹²⁴ Большая часть помещиков, им описанных, принадлежат к числу образованных, ставящихся всем в пример, так называемых «добрых» людей. Но как они обращаются со своими крепостными? В ответ на этот вопрос Ф. Бушманн приводит в переводе большие отрывки из самых резких по силе обличения мест «Записок охотника» — о «добром» барине Мардарии Аполлоныче Стегунове из рассказа «Два помещика» (1, 247—250¹²⁵) и о г-не Зверкове, его супруге и «неблагодарной» горничной Арине из рассказа «Ермолай и Мельничиха» (1, 96—98; далее в статье пересказывается история с Акимом из «Постоялого двора»). Из этих примеров; — говорит Ф. Бушман, — видно, что не только состояние крестьян было не лучше положения животных, но и помещики становились похожими на зверей. Но заслуга Тургенева ещё и в том, что он показывает нам, как в народе, несмотря на века угнетения и рабства, сохранились внутренние силы, доброе сердце, глубокие чувства. Таковы крестьяне в рассказах «Хорь и Калиныч» и «Певцы». Тургенев верит, что если народ будет свободным, он станет лучше. Мастерски написанные «Записки охотника» оказали огромное влияние на русское общество. Однако заканчивается статья словами восхваления и благодарности Александру II, «освободившему» крестьян и, тем самым, претворившему в жизнь чаяния Тургенева.

Эстонская пресса в 1882 — начале 1883 гг. внимательно следила за состоянием здоровья Тургенева. Когда же в Россию пришла печальная весть о смерти писателя в Париже 21 августа, то на это событие откликнулись почти все эстонские газеты. Сообщения о его смерти, о пересылке гроба с прахом Тургенева из Парижа в Петербург, о предсмертном желании писателя быть похороненным рядом с Белинским, о его похоронах, на которых

¹²³ См. об этом в статье: N. Andresen, Kirjandusliku realismi mõttest 1880-ndail aastail, «Keel ja Kirjandus», 1960, № 3, стр. 154—155.

¹²⁴ «Sakala Lisaleht», 1883, № 12.

¹²⁵ Все ссылки даются на издание: И. С. Тургенев, Собрание сочинений в 12 томах, М., Гослитиздат, 1953—1958, — с указанием тома и страницы прямо в тексте.

присутствовали и представители Тартуского университета и Общества эстонских литераторов, и т. д. в течение нескольких недель систематически печатались на страницах эстонских газет как прогрессивных, так и реакционных.¹²⁶ Многие органы эстонской печати опубликовали и некрологи, посвящённые Тургеневу. Эти некрологи порою любопытны, дают довольно полный обзор жизни и творчества писателя, раскрывают нам различное отношение эстонских кругов к русской литературе.

Характерно отношение к И. С. Тургеневу архиреакционной газеты «Таллинна Сыбер». Сообщая о смерти писателя, газета подчёркивала критику нигилизма в его творчестве и его высокие нравственные качества (впрочем, с прискорбием отмечается недостаток истинной религиозности), но тут же вынуждена была с укором отметить, что, вопреки желаниям Тургенева, его произведения воспитывали «нигилистов».¹²⁷ В № 39, рассказав о похоронах Тургенева, «Таллинна Сыбер» не преминула привести мнение Каткова из «Московских ведомостей» о том, что писатель был заодно с нигилистами и материально поддерживал революционную газету «Вперёд» Лаврова. Правда, тут же приводится соображение газеты «Новое время», которая не согласилась с выводами Каткова. «Новое время» утверждало: Тургенев был настолько богат, что ему ничего не стоило давать бедному сородичу 500 франков в год, но политических взглядов Лаврова он никогда не разделял. «Таллинна Сыбер» замечает по этому поводу, что она хотела бы согласиться с мнением газеты «Новое время», да что-то её объяснение не очень убедительно.¹²⁸

Но такие откровенные нападки на Тургенева нехарактерны для статей о нём в эстонской печати. Большинство некрологов представляют собой образцы либеральной интерпретации творчества писателя и его личности. При этом почти все авторы некрологов отмечают, что Тургенев был горячим противником крепостного рабства, резко выступал против него, освободил своих крестьян; не проходят они мимо и преследования писателя николаевской цензурой, высылки его в свое имение за опубликование некролога Гоголю,¹²⁹ но глубоких связей творчества Тургенева с освободительным движением в России эстонские авторы не замечают. Типичными образцами такой либеральной интерпретации Тургенева могут служить статьи-некрологи в газетах «Ээсти Постимеэс», «Олевик» и «Валгус». «Ээсти Постимеэс», например, пишет, что Тургенев никогда не придерживался взглядов какой-либо определённой партии, всегда был нейтральным русским, который, в первую очередь, горячо любил свою родину. Потому-то все русские люди, без различия партий, принимают участие в его похоронах.¹³⁰ В связи с этим «Ээсти Постимеэс» в другой заметке обращается с желчным упреком к эстонской общественности, замечая, что когда умер Ф. Р. Крейцвальд, то никто — ни власти, ни общественность, ни один эстонец — и не подумали ничего предпринять, чтобы хоть как-нибудь почтить его память.¹³¹ Газета «Валгус» подчёркивает, что Тургенев всю жизнь благоговел перед именем Александра II, «освободителя» крестьян, и выступал в своих произведениях против нигилистов.¹³² Довольно большой статьёй о жизни и творчестве Тургенева откликнулась на его кончину газета «Олевик». В статье отмечается общеевропейская известность писателя, его вера в народ, в его силы, в великий русский язык (в связи с этим приводится перевод его стихотворения в прозе «Русский

¹²⁶ «Olewik», 1883, №№ 33, 35, 37—40; «Walgus», №№ 64, 65, 69, 72—75; «Eesti Postimees», №№ 35—40; «Kündja», №№ 35—37, 40; «Tallinna Söber», №№ 38—40; «Perno Postimees», № 36, и т. д.

¹²⁷ «Tallinna Söber», 1883, № 35.

¹²⁸ См. там же, № 39.

¹²⁹ На эти факты указала даже реакционная газета «Kündja» (1883, № 35, стр. 412—413) в статье-некрологе «Iwan Turgenjew».

¹³⁰ См. «Eesti Postimees», 1883, № 37.

¹³¹ См. там же, № 38. Ср. «Eesti Postimees», 1883, № 36.

¹³² См. «Walgus», 1883, № 64.

язык»).¹³³ Даже большая статья о Тургеневе в самой радикальной эстонской газете тех лет «Вирулане» мало чем отличается от такого рода либеральной трактовки творчества писателя. Тургенев «боролся, в той мере, в какой это было возможно, за всё хорошее и доброе, за правду и справедливость — против темноты, несправедливости и лжи», — пишет «Вирулане», подкрепляя свой очерк жизни и творчества писателя большими отрывками из некрологов в газетах «Новости» и «С.-Петербургские ведомости».¹³⁴ Впрочем, здесь надо учесть, что редакция «Вирулане», плохо разбиравшаяся в сложной общественной борьбе в России, кажется, искренно считала «Новости» самой свободомыслящей газетой в России, как отмечено в статье. Это означает, что субъективно «Вирулане» хотела познакомить эстонского читателя с мнением левой русской прессы.

Кончина И. С. Тургенева была отмечена и в Обществе эстонских литераторов на заседании 29 августа 1883 г.¹³⁵

К выше рассмотренным статьям примыкает и обзор жизни и творчества Тургенева в журнале «Ома Маа» (1884, № 3, стр. 86—87), подписанный «п». Это — сокращённый вариант речи Ф. Бушманна «О значении «Записок охотника» Тургенева», из которой отобраны лишь отрывки, относящиеся ко всему творчеству писателя. Подпись под статьей «п» таким образом надо расшифровать как Бушманн.¹³⁶

Не очень многочисленные позднейшие работы также чаще всего в либеральном духе интерпретируют творчество Тургенева — см., напр., статью в «Лаулу я Мянгу Лехт» (1888, № 1, стр. 1—2). Некоторый интерес, быть может, представляет статья «Иван Сергеевич Тургенев» в газете «Олевик» (1889, № 46, стр. 13—14). Отметив общеевропейскую известность писателя, анонимный автор пишет: «Тургенев был как раз тем человеком, которого можно назвать народным писателем. Он писал народу о самом народе. До него ни один другой русский писатель не вглядывался столь глубоко в жизнь народа, не наблюдал столь внимательным взором за нею и не умел так хорошо осмыслить его труд и чувства, как Тургенев. Прочитай внимательнейшим образом хотя бы один рассказ из «Записок охотника» и ты удивлён воскликнешь: «Это кровь от крови, плоть от плоти народа»».¹³⁷ Далее следует биография писателя. В этой оценке Тургенева, без сомнения, отразилось своеобразие восприятия его творчества эстонским читателем 1880-х гг.

Из прочих материалов о Тургеневе можно отметить ещё публикацию «Случай из жизни Тургенева» («Ома Маа», 1890, № 2, стр. 152—156). Это рассказ друга писателя — Людвиг Пича (Ludwig Pietsch) о том, как было написано им по просьбе Тургенева предисловие к книге Ауэрбаха. В печати оно появилось под именем Тургенева.

Первые переводы произведений Тургенева на эстонский язык относятся к самому концу 1870-х гг. — это были рассказы «Муму» («Ээсти Постимеэс», 1879, №№ 11—14, 16—17, 19—20) и «Бежин луг» (в книге: «Mererõõvliste saag. Dr. Jeepi järele jutustatud» — «Остров пиратов. Пересказано по д-ру Епу», Тарту, 1880; переводчик Ф. Эдерберг). В 1885 г. перевод рассказа «Бежин луг» Ф. Эдерберга, к этому времени уже несколько устаревший, был переиздан в Тарту в составе той же книги д-ра Епа, на этот раз вышедшей под другим названием: «Kajusaarel» («На скалистом острове»).

Первые переводы конца 1870-х гг., по-видимому, сколько-нибудь важного литературного значения не имели. Как верно отметил В. Адамс, если судить по данным печати тех лет, в этот период ещё отсутствовало понимание зна-

¹³³ См. «Olewiku Lisaleht», 1883, № 34.

¹³⁴ См. «Wirulane», 1883, № 36.

¹³⁵ См. номера газет, отмеченные в сноске 114.

¹³⁶ Интересно, что эта статья была перепечатана опять же в «Sakala Lisaleht», 1884, № 32.

¹³⁷ «Olewik», 1889, № 46.

чительности переводимых произведений и их автора.¹³⁸ Так, в рецензии (газ. «Пэрно Постимеэс», 1881, № 12) на перевод «Бежина луга» категорически утверждалось: «В этом безмерно слабом рассказике нет никакого содержания, нет мысли <...> Такой пустой болтовнёй до предела испоганены все газеты <...> Писатель (рецензент, видимо, принял переводчика за автора — С. И., М. А.), может, думал, посылая эту такую мякину на книжный рынок: если я приделаю к ней подзаголовок «с русского», то пойдёт как по маслу». Что это рассказ Тургенева, рецензенту, как видно, неизвестно. Для первого этапа восприятия Тургенева характерен также оригинальный перевод того же Ф. Эдерберга из «Одноворца Овсянникова» в «Мезеляхутая» за 1880 г.: из всего рассказа им переведен под названием «Как можно легко стать помещиком» лишь один эпизод — забавные похождения француза Лежёня.

Но в 1880-е гг. положение меняется. Переломными здесь оказались 1882—83 гг., когда, как мы помним, в связи с кончиной Тургенева на страницах эстонской печати появилось много статей о писателе, стало очевидным значение, мировая известность его творчества. С той поры увеличивается и количество переводов его произведений.

Наиболее популярными произведениями Тургенева в 1880-е гг. в Эстонии оказались его «Стихотворения в прозе». Общее число переводов из них даже трудно определить. Дело в том, что многие тургеневские *senilia* печатались в эстонских газетах нередко без заглавия, без ссылки на автора, даже без указания на то, что это перевод, в самых различных разделах периодических изданий. Поэтому выявить все эти переводы очень нелегко. В выборочной библиографии В. Т. Адамса (см. сноску 138), отнюдь не претендующей на исчерпывающую полноту, отмечено 17 переводов А. Каротома в журнале «Мезеляхутая» за 1885 г.¹³⁹ Нам известно 38 переводов «стихотворений в прозе» в 1880-е гг., но полной уверенности в том, что этим исчерпывается их общее число в указанное десятилетие, у нас нет. Первые переводы, еще очень топорные по исполнению, далеко не точные, насколько нам известно, появились в 1882—1883 гг. в газете «Кюндья». Это были переводы стихотворений «Услышишь суд глупца» (1882, № 24), «Два богача» и «Довольный человек» (1883, № 18; последнее без заглавия, без указания на переводный характер произведения и его автора). В 1885 г. в журнале «Мезеляхутая» был опубликован большой цикл переводов «Стихотворений в прозе» Тургенева, принадлежавших перу Адо Каротома. Три произведения из этого цикла было в том же году напечатано в своеобразном прибавлении к журналу — «Meelejahu-taja juturamat» («Два богача», «Корреспондент» и «Посещение»). С 1889 г., особенно интенсивно в 1890 г., в газете «Олевик» и в приложении к ней печатались переводы «*Senilia*» А. Саалы,¹⁴⁰ сотрудника редакции газеты, в будущем известного писателя. Эти переводы в 1891 г. вошли в первое эстонское издание «Стихотворений в прозе» Тургенева, в котором были представлены почти все напечатанные в 1882 г. в «Вестнике Европы» тургеневские произве-

¹³⁸ V. A d a m s, Turgenev eesti keeles, «Looming», 1957, № 6, стр. 925—926; В. Т. А д а м с, Библиография переводов произведений И. С. Тургенева на эстонский язык, «Уч. записки Тартуского гос. университета», вып. 65, 1958, стр. 215—216.

¹³⁹ В этой библиографии к стихотворениям в прозе Тургенева ошибочно вслед за переводчиком А. Каротомом отнесен рассказ «Перепёлка» (в библиографии — «Воробей»), опубликованный в №№ 31—32 «Мезеляхутая». Пропущены в библиографии В. Т. Адамса (стр. 220) следующие переводы А. Каротома в «Мезеляхутая» за 1885 г.: в № 14 — «Старуха», в № 15 — «Воробей»; в № 16 — «Дурак»; в № 17 — «Последнее свидание»; в № 19 — «Корреспондент», «Посещение», «Два богача»; в № 24 — «Мы ещё повоем».

¹⁴⁰ «Восточная сказка» (1890, № 39), «Враг и друг» (1890, № 35), «Два богача» (1890, № 23), «Довольный человек» (1890, № 14), «Лазурное царство» (под названием «Оппе riik», 1890, № 18), «Насекомое» (1890, № 13), «Разговор» (1889, № 19, приложение).

дения этого жанра. О качестве этих переводов уже писал В. Адамс,¹⁴¹ поэтому здесь мы не будем подробно касаться этого вопроса. Представляется лишь несколько излишне суровой характеристика В. Адамсом переводов А. Каротома как «деревянных», «дубовых»; хотя А. Каротому действительно не удаётся передать эмоциональной стороны, лиричности тургеневских «*Seni-lia*», вследствие чего они в эстонском переводе многое теряют в своей выразительности, но всё же его переводы довольно точны и несравненно лучше первых переложений стихотворений в прозе в «Кюндья». Надо отметить, что ряд переводов отдельных стихотворений в прозе в 1880-е гг. появился и на страницах других газет.¹⁴²

Из других произведений И. С. Тургенева наибольшим успехом у читателей, насколько можно судить по переводам, пользовались, с одной стороны, рассказы из книги «Записки охотника» и примыкающая к ним повесть «Постоялый двор», а с другой стороны, рассказы и повести последнего периода творчества писателя.

Из «Записок охотника» в 1880-е гг. было переведено 6 рассказов.¹⁴³

В 1882 г. дважды был напечатан перевод повести «Постоялый двор», которая хотя формально и не входит в цикл «Записок охотника», но по своей проблематике примыкает к ним. Вначале повесть была опубликована в «Олевику Лисалехт» (№№ 11—16), а затем под названием «*Õbmaja. Jutt rahwa elust*» (Tartu, 1882) она вышла отдельной книгой. Перевод Ф. Эдерберга довольно точен, хотя и не блещет в чисто литературном отношении, чему способствует и порою проявляющаяся склонность переводчика к буквализму. Интерес эстонского читателя к «Постоялому двору», как и к «Запискам охотника» вообще, конечно, объясняется тем, что в этих произведениях описывается столь близкая читателю крестьянская жизнь, показываются различные формы угнетения и притеснения крестьян помещиками, что было понятно любому эстонцу и что продолжало волновать его и в 1880-е гг. Интерес к повести «Постоялый двор» к тому же мог усиливать и тот факт, что помещица, по чьей злой воле так страдет Аким, — прибалтийская немка из Митавы, т. е. представитель того ненавистного эстонцам сословия, от которого жестоко страдали в течение веков прибалтийские народы.

Из произведений, входящих в цикл «Записок охотника», в 1880-е гг. наибольшей популярностью пользовался рассказ «Бежин луг». Выше мы уже отмечали, что перевод этого рассказа появился ещё в 1880 г. и позже был переиздан. Но ещё в 1884 г., за год до второго издания перевода Ф. Эдерберга, в «Эсти Постимеэс» (№№ 38—40, 42—45, 47, 48), без указания автора и под изменённым названием («*Üks õõ õitseliste seltsis*» — труднопереводимое сочетание, буквально: «Ночь в обществе тех, кто в ночном»), был напечатан другой перевод «Бежина луга», осуществлённый Р. Ф. Вильманом. Это сравнительно редко встречающийся среди переложений тургеневских произведений эстонизированный перевод. Действие произведения перенесено в Эстонию, все мальчики, как и упоминаемые в их ночных рассказах действующие лица, получили эстонские имена. Стремясь «приспособить» «Бежин

¹⁴¹ См. «*Looming*», 1957, № 6, стр. 927; «Уч. зап. ТГУ», вып. 65, стр. 217.

¹⁴² См. «Нищий» («*Wirulase Lisa*», 1884, № 5), «Два богача» (под названием «*Rikkus*»; «*Linda*», 1889, № 4; переводчик — Виснапуу), «Корреспондент» («*Walguse Lisaleht*», 1889, № 24; это случай плагиата — уже знакомый нам К. Куузик перепечатал под своим именем перевод А. Каротома).

¹⁴³ В библиографии В. Т. Адамса («Уч. зап. ТГУ», вып. 65, стр. 218; ср. «*Looming*», 1957, № 6, стр. 928) ошибочно указано, что в дореволюционные годы на эстонский язык было переведено только 4 рассказа из «Записок охотника» («Бежин луг», «Хорь и Калиныч», «Ермолай и мельничиха» и «Бирюк»). На самом деле число переводов из «Записок охотника» в этот период значительно больше: только в 1880-е гг. были переведены ещё «Живые мощи» и «Однодворец Овсянников», а в 1890-е гг. также «Чертопханов и Недопюшкин», «Малиновая вода», «Певцы» и «Стучит!».

луг» к эстонской действительности, переводчик идёт еще дальше. Хотя обычно он перелагает тургеневский текст довольно точно, отдельные ночные рассказы деревенских мальчиков он выпускает и вместо них вводит новые, чисто эстонские по тематике и происхождению, нередко, вероятно, прямо взятые из эстонского фольклора. Не ограничиваясь лишь заменой отдельных рассказов в тургеневском тексте «Бежина луга», Р. Ф. Вильман вводит в перевод и несколько дополнительных вставных повествований. Кое-какие сцены он в целях усиления эстонского колорита изменяет. Так, рассказ о появлении домового на рольне, где заночевали работающие на бумажной фабрике мальчики, дан как случай на мельнице, где остались на ночь ребята, пришедшие помогать мельнику копать картошку. В объяснении встречи с домовым Ханс (так в эстонском переводе назван Павлуша) ссылается на рассказы бабушки о Пуулане и Тохтлане (герои народных сказок и сказок Ф. Р. Крейцвальда), о кунгласком короле и финских ведьмах, Калеве и Ваналагане. Рассказ Кости о встрече Гаврилы с русалкой также изменён: в тексте Р. Ф. Вильмана русалка предлагает Рябала Пеэтеру (т. е. Гавриле) богатство за три капли крови с его левой руки. Он соглашается, но результатом этого торга оказывается продажа души Пеэтера сатане. В подтверждении рассказа о Рябала Пеэтере другой мальчик, Март, подробно описывает, со слов некоего Тору Тоомаса, преисподнюю, царство сатаны. Вместо рассказов о «светопреставлении» (солнечном затмении) и таинственном Тришке Вильман вводит в свой перевод несколько явно фольклорных по своему происхождению эстонских легенд об оборотнях — о превращении человека в волка, о том, как злая сила приобретает облик чудесной женщины, и т. д. Вместо эпизода, рассказанного Костей в конце «Бежина луга» — о том, как утонул Вася, переводчик вставляет в эстонский текст бытовую историю о воришке Мяди Яане. Такая подчёркнутая эстонизация «Бежина луга» должна была ещё более приблизить к читателю и так незамысловатый, близкий к его кругу представлений рассказ Тургенева о деревенских ребятах.

В том же 1884 г. на страницах журнала «Ома Маа» в переводе Я. Йегевера печатается два рассказа из «Записок охотника» Тургенева — «Хорь и Калиныч» (№ 1, стр. 17—21) и «Ермолай и мельничиха» (№ 2, стр. 44—49). Это обычный столь нам уже хорошо знакомый «средний» перевод тех лет со всеми его характерными особенностями. Любопытно, что в тех случаях, когда Я. Йегевер не знает, как перевести на эстонский язык то или иное русское слово, он «смело» вставляет его в текст перевода без изменений — так появляются неожиданные «tääga» (тяга), «gorihwostka» (должно быть: lepalind), «penotska» (пеночка pro lehelinnuke) и т. д. Видимо, в 1884 г. Я. Йегевер ещё плохо владел и русским языком, отсюда ряд других погрешностей в переводе, сравнительно редко встречающихся в позднейших трудах переводчика. Он не только не передаёт оставшихся ему непонятными выражений, стилистических тонкостей оригинала, но порою просто неверно переводит отдельные слова и фразы. Однако и это были в ту пору обычные недостатки почти всех «средних» переводов.

В 1886 г. в «Олевик» (№№ 44—45) появился довольно хороший анонимный перевод «Бирюка» Тургенева. В заключении переводчик даёт своеобразный комментарий, разъяснение рассказа. Он отмечает, что рассказ Тургенева написан ещё до «освобождения» крестьян, когда многие считали, будто мужик лишён человеческих чувствований. Писатель же стремится показать своим рассказом, что и у крестьянина есть сердце и чувства. С этой целью он и написал о жизни народа целую серию «Записок охотника».

Наконец, в 1889 г. появились эстонские переводы рассказов «Однодворец Овсянников» («Постимэхе Лыбу-леса», 1889, стр. 17—19, 25—27, 33—36, 41—45) и «Живые моши» («Вируласе Лиса», 1888, № 38, стр. 593—598, № 39, стр. 609—613).

Сделанный Т. Куузиком перевод «Однодворца Овсянникова» (под названием «Кага talu peremees» — «Хозяин Овсяного хутора») слегка «эстонизирован». Действующие лица получили эстонские имена и фамилии, заметны

и кое-какие другие переделки произведения на эстонский лад. В Эстонии никогда не было однодворцев, и переводчик был в затруднении даже с переводом этого слова на эстонский язык: он переводит его описательно и не совсем точно «kroopiwalla peremees» — «хозяин усадьбы в казённой волости». В полном соответствии с таким переводом слова «однодворец» Овсянников превращается в зажиточного эстонского крестьянина с характерными атрибутами его быта, со специфическим для него окружением и кругом интересующих его проблем. Такая эстонизация не оказалась органически чуждой оригиналу — переводчик лишь вначале вынужден был прибегать к вольному переводу, в дальнейшем ему достаточно было ограничиться лишь немногими изменениями чисто внешнего характера в тургеневском тексте. Рассказы Овсянникова о преследовании однодворцев в былые времена богатыми соседями-помещиками превращаются под пером Т. Куузика в повествование о той жестокой поре, когда немецкие помещики безнаказанно унижали, грабили и притесняли эстонских крестьян, формально получивших «свободу» ещё в 1816—19 гг., отбирали у них землю. Нужно сказать, что эта тематика и в 1880-е гг. оставалась актуальной. Также актуальным в Эстонии оставался и затронутый в рассказе вопрос о запасных хлебных магазинах, содержание которых давало повод для больших злоупотреблений и было очень тягостно для крестьян.

«Живые мощи» (в «Вируласе Лиса» — «Elaw muld») в хорошем переводе того же Т. Куузика, наоборот, точно следуют за оригиналом.

Переводились на эстонский язык также повести и рассказы позднего Тургенева. Особенно популярен был простенький рассказ, предназначенный для детей, — «Перепёлка». Законченный в конце 1882 г., он был опубликован в следующем, 1883 г., в книге «Рассказы для детей И. С. Тургенева и графа Л. Н. Толстого». И тотчас он был переведён на эстонский язык — случай довольно редкий в переводческой практике тех лет. В 1883 г. в «Олевику Лисалехт» (№ 37) был опубликован хороший перевод рассказа под названием «Rukirääk» — «Коростель», имя переводчика не было указано. В 1885 г. рассказ «Перепёлка» (на этот раз под названием «Põldpüü» — «Куропатка»; эстонские соответствия русских названий птиц вообще были очень плохо известны переводчикам) был напечатан в журнале «Ома Маа» (№ 31, стр. 189; № 32, стр. 196—197) в новом, значительно более вольном переводе А. Каротома. В 1890 г. этот слегка переделанный перевод был опубликован в журнале «Линда» (№ 3, стр. 96—99), но переводчиком здесь указан уже И. А. Вельтманн. Очевидно, это опять случай плагиата, но плагиата несравненно более осторожного, чем у К. Куузика, и немного замаскированного.

Как произведения Гоголя, так и переводы повестей и рассказов Тургенева выходили и в провинции. В 1881 г. в Раквере отдельным изданием в переводе Й. Линнамяги вышла повесть «Пунин и Бабурин». Как бы ни сказались в этом произведении либеральные воззрения Тургенева, но всё же в нём был с сочувствием и пониманием выведен тип старого русского республиканца, преклоняющегося перед памятью декабристов, увлекающегося Белинским, близкого к петрашевцам. Его жена Муза — без сомнения, предтеча «новых людей» 1860-х гг. Произведение Тургенева рассказывало о том, что редко привлекало к себе внимание эстонцев той поры, что оставалось в тени, а если изредка и трактовалось в печати, то совсем в другом плане, извращённо. В этом, думается, значение перевода Й. Линнамяги, выполненного на обычном уровне переводов тех лет.

В 1885 г. в Курессааре в переводе уже знакомого нам В. Киви (переводчика «Вия» Гоголя) появилась «Песнь торжествующей любви» Тургенева под названием «Täide läinud armastuse wõidu laul. Noore rahwale lõbusaks ajawiiteks» («Победная песнь торжествующей любви. Для весёлого времяпрепровождения молодёжи»). Кстати, это произведение пользовалось успехом у эстонских читателей и несколько раз переиздавалось уже в XX в.

В 1890 г. в серии «Всеобщая словесность» («Üleüldne kirjawara») № 16,

как первое издание в цикле «Рассказы Ивана Тургенева» («Iwan Turgenjew'i jutustused». I), вышла повесть «Часы» под названием «Ristiisa kingitus ehk õnnetus üür» («Подарок крестного отца или злополучные часы»); переводчик — П. Хальяс.

Отбор произведений Тургенева для перевода, как всегда, очень характерен и говорит о своеобразии восприятия его творчества эстонским читателем 1880-х гг. Как видим, романы Тургенева, его повести и рассказы второй половины 1850-х — 1860-х гг. остались неизвестными эстонскому читателю: они не были переведены на эстонский язык¹⁴⁴ и о них сравнительно мало говорилось даже в статьях о творчестве писателя. Это, конечно, не случайность. Социально-психологические романы Тургенева, отражавшие, в первую очередь, жизнь дворянской и, реже, разночинской интеллигенции и разрабатывавшие актуальные вопросы внутрирусской общественной борьбы, сложные противоречия русской действительности, оказались в общем-то чужды эстонцам. Первый перевод романа Тургенева появился лишь в 1900 г. Это было «Дворянское гнездо», за которым в следующем году последовали «Отцы и дети». Той степени литературного и общественно-политического развития, на которой стоял в 1880-е гг. «средний» да, в какой-то мере, и «высший» эстонский читатель, более соответствовали поздние повести Тургенева и, в особенности, его «стихотворения в прозе», исполненные, как представлялось читателям, высокой философской и нравственной «мудрости», но в то же время доходчивые и понятные. Афоризмы, изречения, миниатюры вообще были очень частым явлением на страницах эстонской печати тех лет; народ, ещё только поднимавшийся к вершинам культуры, любил их, они удовлетворяли его ещё пока наивному желанию приобщиться к тем достижениям человеческой мысли, которые нашли самое общее выражение в этих афоризмах и миниатюрах. Очень близки читателю оказались, естественно, и «Записки охотника», как и рассказы, к ним примыкающие («Муму», «Постоялый двор»), — и их тематика, и их проблематика была близка к наиболее актуальным темам и вопросам, интересовавшим эстонских читателей и литераторов. Нельзя забывать, что и в 1880-е гг. вопрос о притеснении эстонских крестьян немецкими помещиками, мысль о том, что эстонцы, как представители угнетённой «крестьянской» нации, — люди, ничем не уступающие господам-немцам, были актуальны, злободневны. Пережитки крепостничества были очень сильны в Прибалтике, и поэтому антикрепостническая направленность «Записок охотника» оказалась близкой эстонскому читателю.

При таком своеобразии восприятия творчества Тургенева вполне естественно, что и вопрос о его влиянии на эстонских писателей должен предстать в особом свете. Не случайно Ф. Туглас высказал предположение, что толчком к созданию миниатюр Ю. Лийва послужили стихотворения в прозе Тургенева, на перевод которых А. Саалем эстонский писатель откликнулся хвалебной рецензией.¹⁴⁵ Показательно, что речь здесь идёт о влиянии именно «Стихотворений в прозе», а не романов Тургенева.

Зато творчество А. Н. Островского не привлекло к себе внимания эстонцев, что вполне объяснимо, если учесть специфические особенности его пьес, их тематику, да и отсутствие опыта у эстонских писателей в области больших драматургических форм. Во всяком случае, в 1880-е гг. не появилось в переводе ни одной пьесы А. Н. Островского и лишь одна статья о нём. Это небольшая статья «Александр Николаевич Островский» в газете «Олевик» (1889, № 52, стр. 152), представляющая собой краткую биографию драматурга и самую общую характеристику его творчества, в которой подчёркнут

¹⁴⁴ Из романов Тургенева в 1880-е гг. несколько раз переводился лишь афоризм «... когда кто-нибудь из нас умрет за неё (родину — С. И., М. А.), тогда можно будет сказать, что он её любил» (III, 65; из разговора Инсарова с Еленой в «Накануне»). См. «Wirulase Lisa», 1888, № 10, стр. 157; «Olewiku Lisa», 1889, № 19, стр. 299; «Sakala», 1889, № 30.

¹⁴⁵ См. Friedebert Tuglas, Juhan Liiv, стр. 444.

реализм его произведений, их верность действительности. Любопытно, что статья начинается с утверждения, которое не может не вызвать у нас удивления: А. Н. Островский самый лучший русский драматург после Тургенева. Но это утверждение понятно, если мы вспомним особую популярность творчества последнего в Эстонии. Пьесы Островского в 1880-е гг. ещё не ставились и на сцене эстонских театральных коллективов.

Во введении нам уже приходилось указывать, что эстонские издатели и переводчики 1880-х гг. прошли совершенно мимо русских революционных демократов и их творчества, как и мимо творчества писателей-народников. В эстонской прессе этого десятилетия мы не только не найдём переводов статей Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Писарева, или же работ, посвящённых их деятельности, но и переводов художественных произведений такого замечательного и в 1880-е гг., собственно, уже общепризнанного поэта, как Н. А. Некрасов. Переводы из Некрасова начали появляться лишь в следующее десятилетие.

Из представителей революционно-демократического лагеря в литературе некоторой, впрочем, очень небольшой известностью пользовался лишь М. Е. Салтыков-Щедрин. В газетах появлялись сообщения о праздновании в 1881 г. его юбилея — двадцатипятилетия литературной деятельности;¹⁴⁶ были информационные заметки о его кончине в 1889 г.¹⁴⁷ В газете «Постимеэс» (1889, № 61) был даже напечатан перевод некролога Салтыкова-Щедрина из журнала «Нива», в котором дан краткий очерк жизни писателя и обзор его творчества. И здесь опять же творчество Салтыкова-Щедрина интерпретировалось в либеральном духе: выше всего оцениваются «Губернские очерки» и в то же время критикуются его позднейшие произведения, как, якобы, нехудожественные, представляющие собой некое подобие газетных откликов на животрепещущие общественные события, в которых открыто сказывается определённая политическая тенденция. Причём сама эта тенденция расценивается как неверная, односторонне обличительная.

В 1890 г. в газете «Олевик» (№ 23, стр. 641—642; № 24, стр. 661—662; № 25, стр. 681) появился вольный перевод сказки Салтыкова-Щедрина «Добродетели и пороки» (переводчик не указан). Переводчик, собственно, не стремился к вольному переводу — это следствие его затруднений при передаче на эстонский язык щедринского текста; он не в состоянии воссоздать в переводе сложный стиль писателя, его эзопов язык, без чего немислимо понять то, что обычно принято называть «содержанием» произведения. Даже более или менее точная передача «смысла» отдельных фраз, их внешнего смыслового «каркаса», представляет для переводчика большие трудности, и, чтобы как-то справиться с ними, он вынужден отдельные фразы пропускать, а подавляющее число их изменять в переводе — иногда упрощать, а иногда и дополнять в целях разъяснения «смысла». Конечный результат труда анонимного переводчика всё же малоудовлетворителен: он, скорее, демонстрирует нам неразрешимость стоящей перед переводчиком задачи на том этапе развития эстонской литературы и эстонского литературного языка.

В какой-то мере показателен и сам выбор для перевода именно сказки «Добродетели и пороки». В этой сказке социальный момент подчеркнут недостаточно определённо, и поэтому её легко можно переосмыслить в плане чисто моральном, что было существенно для умеренно-либеральной редакции «Олевик».

Если революционно-демократические и народнические писатели не привлекали особого внимания эстонских читателей и литераторов 1880-х гг., то зато на страницах местной прессы довольно часты переводы произведений тех авторов, которые находились на правом фланге русской общественно-литературной борьбы 1860-х — 1880-х гг. Появляются статьи и заметки о них.

¹⁴⁶ См. «Eesti Postimees», 1881, № 36.

¹⁴⁷ См.: «Olewik», 1889, № 19; «Postimees», 1889, № 48; «Tallinna Sõber», 1889, № 22; и др.

Кончина И. С. Аксакова в 1886 г., как и М. Н. Каткова в 1887 г., вызвала, например, большое число заметок и статей-некрологов во всех органах эстонской прессы.¹⁴⁸ Некрологи полны, очевидно, искреннего восхваления скончавшихся публицистов, что, без сомнения, связано с активной антиостзейской позицией, занимаемой Аксаковым и Катковым в борьбе с особым остзейским режимом, с их неизменными выступлениями, начиная с 1863 г., против прибалтийских немцев, в защиту латышей и эстонцев.

Показательно также около десятка переводов на эстонский язык стихотворений А. Н. Майкова. Особенным успехом пользовалось в Эстонии хрестоматийное в ту пору стихотворение «Картинка (После манифеста 19-го февраля 1861 г.)». Известно несколько его переводов.¹⁴⁹ Успехом пользовалось и переложение А. Гренцштейном «Колыбельной песни» Майкова, тоже в 1880-е гг. включавшейся в разного рода русские хрестоматии. В переводе А. Гренцштейна («Олевику Лиса», 1889, № 14) хорошо передано «настроение» стихотворения, его ритм, даже в какой-то мере музыкальная инструментовка. Кроме того на эстонский язык были переведены стихотворения А. Н. Майкова «Кто он?» («Олевику Лиса», 1887, № 12; вольный и далеко отходящий от текста оригинала перевод К. Х. Роост'а), «Сенокос», «Ласточки» («Олевику Лиса», 1889, № 19; переводчик М. Кампманн).

Переводился на эстонский язык в 1880-е гг. и А. К. Толстой. В 1890 г. было переведено два его стихотворения — «Грядой клубится белая» (под названием «Wördlus» — «Сравнение»; «Валгусе Лисалехт», № 13, стр. 104; переводчик М. П.) и его полемическое, направленное против революционно-демократической эстетики «Против течения» («Постимэхэ Лыбу-леса», стр. 150; переводчик Луйга). Но особенным успехом пользовался исторический роман А. К. Толстого «Князь Серебряный». Ещё в 1884 г. в «Сакала Лиса» (№ 38) в переводе Й. Таркпеа появился отрывок из этого романа. В 1886 г. редакция газеты «Вирулане» выпустила в Таллине роман отдельным изданием в серии «Народная библиотека» («Rahwa Kirjakogu», № 9). В 1890—91 гг. «Князь Серебряный» был напечатан в переводе опытного Т. Куузика на страницах газеты «Валгус» (1890, №№ 25—52; 1891, №№ 1—43). Позже, в 1899 гг., перевод Т. Куузика был переиздан отдельной книгой.

Русские исторические романы и повести пользовались в 1880-е гг. большим успехом у эстонских читателей и часто переводились. Это и понятно. Интерес к истории вообще составляет специфическую особенность данного периода. В сущности, в это время Эстония переживала тот период в развитии общественной мысли и литературы, который был пройден западноевропейскими народами и русскими ещё в конце 1810-х — начале 1830-х гг., после наполеоновских войн, — период роста национального сознания, обострения национально-освободительной борьбы, интереса к прошлому родной страны, развития историзма, исторического мышления. В основных европейских литературах, как и в Эстонии, этот период совпал с переходом от романтизма к реализму, от антиисторического просветительского мышления к историзму, к пониманию поступательного и противоречивого хода истории. Жанр исторического романа (в эстонской литературе, скорее, исторической повести) выдвигается вслед за Вальтером Скоттом на некоторое время в число ведущих литературных жанров в словесности почти всех европейских народов. В эстонской прозе 1880-х — начала 1890-х гг. мы видим нечто аналогичное:

¹⁴⁸ Об И. С. Аксакове: 1886 — «Kündja», № 6; «Postimees», №№ 5—7; «Tallinna Söber», № 6; «Wirulane», № 6; «Olewik», № 6; и т. д. О М. Н. Каткове: 1887 — «Walgus», №№ 30—32; «Olewik», №№ 31—32; «Wirmaline», №№ 31—32; «Sakala», № 31; «Tallinna Söber», № 30; «Wirulane», № 31; и т. д.

¹⁴⁹ См. «Walgus», 1888, № 10 (под названием «Manifest»; переводчик J. K-r, т. е., по-видимому, J. Käger); «Wirmaline», 1889, № 49 (под названием «Kabaduse tulek» — «Приход свободы»; переводчик О. Мяги). В 1890-е гг. появился новый перевод стихотворения.

появляется историческая повесть Э. Борнхёз, вслед за тем историческая беллетристика Я. Ярва, Я. Кырва, К. А. Херманна, А. Саала, А. Китцберга и др. Причём произведения Э. Борнхёз представляют собой едва ли не самые заметные явления в эстонской прозе тех лет.

В связи с этим интересом к истории, с развитием жанра исторической повести в эстонской литературе находятся и переводы русских исторических романов на эстонский язык в интересующее нас десятилетие. Эстонские переводчики охотно обращаются и к русским романтическим произведениям 1820-х гг., посвящённым прошлому, поскольку романтизм им близок и понятен, — так появляются в переводе «Замок Эйзен» Марлинского («Кодумаа Календер», 1881) и «Гуго фон Бракт» Н. А. Бестужева («Вирмалине», 1890, №№ 2—3), впрочем, имеющие для эстонских читателей специфический интерес в силу того, что их действие происходит в Эстонии (на эстонский язык в 1880—1890-е гг. переводились исторические повести и романы даже третьеразрядных русских литераторов лишь потому, что они были посвящены прошлому Прибалтики). Переводились романы И. И. Лажечникова (в 6 выпусках выходил в 1882—1886 гг. роман «Последний Новик» в переводе Я. Юнга; отрывки из «Ледяного дома» печатаются в «Вируласе Лиса», 1888, №№ 1—8).

Но особенно популярен был Г. П. Данилевский, которого эстонские критики и переводчики вообще склонны были отнести к числу классиков русской литературы.¹⁵⁰ Об этом говорит, например, статья «Два русских писателя» («Постимэхэ Лисалехт», 1888, № 47), где сравниваются как в общем-то равноценные величины Л. Н. Толстой и Г. П. Данилевский, хотя анонимный автор и вынужден признать, что творчество Толстого всё же пользуется большей известностью, чем произведения Данилевского. Статья начинается с решительного заявления, что в первом ряду новейших русских писателей, слава которых перешагнула и за границу, наряду с Тургеневым, стоят Л. Толстой и Данилевский. Далее даются краткий обзор творчества и биографии обоих писателей. Упомянуты все их крупнейшие произведения, в общих чертах охарактеризован роман «Война и мир». Характеристика Данилевского следует за обзором жизни и творчества Толстого, но места обим уделено одинаково. Во всём этом сказывается одновременно и непонимание масштаба художественного гения Толстого и в то же время преувеличение значения Данилевского. Здесь заметно также воздействие официальных оценок явлений русской литературы той поры на круг представлений эстонцев; напомним, что именно Г. П. Данилевский был объявлен правой прессой 1880-х гг. великим художником, произведения которого неустанно пропагандировались.

Впрочем, тайна интереса читателей к романам Данилевского заключается, конечно, не только в этом. Как уже неоднократно отмечалось в критике и в исследовательской литературе, романы Данилевского хотя и не дают исторически-правдивой картины прошлого, но отличаются занимательной фабулой, интересными подробностями, увлекательным господством «случая», неожиданности (писатель рассматривал историю как ряд разрозненных фактов, в которых он видит не проявление каких-то объективных закономерностей, но господство случайности). Занимательный рассказчик Данилевский вполне удовлетворял уже знакомому нам требованию «увлекательной напряжённости действия» («rõnevus»), предъявлявшемуся «средним» читателем к произведениям художественной литературы.

В 1883 г. в газ. «Валгус» (№№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 34—38, 40—54) появился в переводе эстонского писателя Я. Пярна роман Данилевского «Потёмкин на Дунае». Но перевод не был закончен. В 1886—1887 гг. в «Вирулане» (№№ 36—52, 1—15) печатается роман Данилевского «Мирович» в хорошем для своего времени переводе И. Крууса. Этот роман мог привлечь внимание эстонских издателей и своей антинемецкой направленностью. В 1886 г. появляется рассказ «Екатерина Великая

¹⁵⁰ См. сообщение о его кончине — «Postimees», 1890, № 141.

на Днепре» («Вируласе Лиса», №№ 10—13), в следующем году — роман «Княжна Тараканова» («Вирмалине», №№ 29—42), оба в анонимных и не слишком удачных переводах. В 1886—87 гг. печатается и роман «На Индию при Петре I» («Олевику Лиса», 1886, №№ 13—21, 24—26, 1887, № 1). Наконец, в 1889 г. в двух газетах одновременно («Сакала», №№ 7—35; «Валгус», №№ 5—34) публикуется перевод романа Данилевского «Сожжённая Москва». О популярности писателя в Эстонии свидетельствует и тот факт, что на эстонский язык переводились даже его исторические рассказы из прошлого других европейских стран.

Из русских писателей второй половины XIX в. особо громкую известность во всём мире приобрели Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, творчество которых оказало прямое или опосредствованное влияние на всю мировую литературу. Значение этих писателей эстонские читатели и литераторы в 1880-е гг. ещё не могли полностью оценить.

Ф. М. Достоевский вообще в это десятилетие был мало известен в Эстонии. Статей о нём и о его творчестве фактически нет.¹⁵¹ Есть лишь три перевода двух его небольших рассказов — «Мальчик у Христа на ёлке» и «Сон смешного человека». Первый из них (у Достоевского он состоит из двух частей, вторая часть дала название всему рассказу, на эстонский язык переводилась лишь эта, вторая, часть произведения) был переведён дважды — в 1887 г. в качестве рождественского рассказа в газете «Вирулане» (№ 52, переводчик не указан) и в 1888 г. в хрестоматии А. Гренцштейна «Eesti Lugemise-raamat» (часть II; впоследствии переиздавалась; переводчик — Й. Юркатам). Оба перевода несколько упрощают оригинал, в частности в них сокращены все писательские рассуждения и «отступления». В 1889 г. в «Олевику Лиса» (№№ 16—17) появился в анонимном переводе рассказ «Сон смешного человека». Перевод изобилует большими и частыми купюрами, явно свидетельствующими о том, что переводчику философский смысл рассказа, его идея остались непонятными. Перевод «Сна смешного человека» снабжен портретом писателя и небольшим предисловием, в котором дана самая общая характеристика творчества Достоевского: «Его произведения показывают глубокое знание душевной жизни человека, которую он мастерски и образцово умел отобразить в своих трудах. Его жизненный путь не был устлан розами, но ввёл его в мир нищеты и страданий, который так сильно повлиял на все его произведения, что в них постоянно звучит печальный тон».¹⁵²

Л. Н. Толстой был более известен. В 1880-е гг. он был едва ли не единственным крупным русским писателем, находившимся в полном расцвете творческих сил. Слава его уже переросла границы России. К нему, как писателю и мыслителю, были устремлены взоры миллионов людей, о нём много спорили и писали. Вполне естественно, что и на страницах эстонской печати мы найдём немало материалов о жизни Л. Толстого и переводах его произведений.

Правда, материалы о жизни Л. Толстого по форме чаще всего представляют собой газетную хронику. Так в 1885—87 гг. в эстонских газетах появились «печальные» сообщения о том, что писатель серьёзно болен, «сошёл с ума», в подтверждение этого приводились данные о его «странном поведении» — Толстой занимается физическим трудом, работает в поле, сам съёт

¹⁵¹ Есть лишь сообщения о его кончине в 1881 г. (см., напр., «Eesti Postimees», 1881, №№ 5, 6; «Sakala», 1881, № 8) и некое подобие краткого некролога в газете «Perno Postimees» (1881, № 8). Маленькая заметка о Достоевском с его портретом помещена также в хрестоматии А. Гренцштейна «Eesti Lugemise-raamat. Teine jagu», Tartu, 1888, стр. 69—70.

¹⁵² «Olewiku Lisa», 1889, № 16, стр. 241.

себе одежду и сапоги, часто уходит в лесную чащу и т. д.¹⁵³ Об образе жизни писателя в Ясной Поляне подробно рассказывалось в статье «В гостях у Льва Толстого» («Вируласе Лиса», 1887, № 19, стр. 289—295), представляющей в основной части перевод известного очерка Г. Данилевского, и ныне перепечатываемого в изданиях «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». Такого же типа статья — перевод в будущем известного эстонского писателя, испытавшего влияние Толстого, Э. Петерсона-Сяргави из газеты «С.-Петербургские ведомости» — была напечатана в 1890 г. в «Олевику» (№ 40, стр. 982—983).

Информационно-хроникальный характер носят и сообщения о новых произведениях писателя, о преследовании их властями, об отношении к ним различных слоёв общества и организаций. Так в начале 1886 г. появляются сообщения о том, что одна из петербургских религиозных организаций решила выступить против учения Толстого о вере и религии и, в частности, против его работ «Моя вера» и «Исповедь», которые особенно большое распространение получили среди студентов. Официальный запрет этих произведений только способствует их популярности.¹⁵⁴ В 1887 г. в газете «Вирмалине» появляется сообщение о том, что пьеса Л. Толстого «Власть тьмы», напечатанная в количестве 36 000 экземпляров, была распродана в течение нескольких дней.¹⁵⁵ Через некоторое же время во многих эстонских газетах было опубликовано официальное извещение о том, что согласно приказу министра внутренних дел запрещена розничная продажа пьесы Толстого на улицах.¹⁵⁶ Иногда появляются краткие аннотации на выходящие в свет новые сочинения писателя; одна из них, посвященная работе «В чём счастье?» (под таким названием в России была напечатана часть запрещённого сочинения «В чем моя вера?»), одновременно содержит упрек в адрес эстонских литераторов в связи с тем, что произведения Л. Н. Толстого, которого относят к числу первых современных писателей в Европе, ещё почти неизвестны в Эстонии.¹⁵⁷

В 1886 г. в «Олевику Лиса» (№ 24, стр. 379—383; № 25, стр. 391—394) появилась большая и содержательная статья «Граф Лев Николаевич Толстой», подписанная «т» и, по-видимому, представляющая собой компиляцию из русских источников. В ней давался довольно подробный очерк жизни и творчества писателя, приводились отрывки из статей и воспоминаний о Толстом, характеризовались его в ту пору ещё не переведённые на эстонский язык романы «Война и мир» и «Анна Каренина», наконец, сообщалось о новых замыслах писателя, об изменениях в его взглядах и в характере его творчества. Статья исполнена понимания мирового значения Толстого. В русской литературе, как утверждал её автор, если не считать Пушкина, нет фигуры, равной Толстому. «В последнее время имя крупнейшего современного русского писателя графа Льва Толстого стало почти таким же знаменитым и известным, как и имя князя Бисмарка. О нём говорит вся Европа, Америка

¹⁵³ См. «Wirulane», 1885, № 35 (информация в разделе «Новейшие известия»), «Olewiku Lisa», 1887, № 14, стр. 221—224 (J. Paigw «Wene kirjaniku krahw Leo Tolstoi elust» — «О жизни русского писателя графа Льва Толстого»; перевод статьи князя Мещерского из газ. «Гражданин»).

¹⁵⁴ См. «Walgus», 1886, № 9; «Wirulane», 1886, № 10.

¹⁵⁵ См. «Wirmaline», 1887, № 9.

¹⁵⁶ См. «Wirmaline», 1887, № 18; «Wirulane», 1887, № 18; «Walgus», 1887, № 18; «Eesti Postimees», 1887, № 18.

¹⁵⁷ См. «Eesti Postimees», 1886, № 4. Работа «В чём счастье?» (часть десятой главы трактата «В чем моя вера?») только что была напечатана в «Русском богатстве» (1886, № 1). Статья в эстонской газете, впрочем, представляет собой перевод изложения работы, помещённого в газете «Рижский вестник».

называет его «Апостолом Северных стран», в России о нём говорят во дворцах и хижинах. Его последние произведения вызвали в России большое возбуждение и бесконечные споры».¹⁵⁸

Но это было, скорее, теоретическое осознание значения Толстого. В полной мере понять значение его творчества, сделанный им гигантский шаг в художественном развитии человечества эстонцы той поры вряд ли ещё могли. Об этом свидетельствует хотя бы рассмотренная нами выше статья «Два русских писателя» («Постимэхе Лисалехт», 1888, № 47), в которой была сделана попытка сравнить произведения двух писателей — Льва Толстого и Данилевского. Это сопоставление показывает, что эстонцы той поры всё же плохо представляли себе масштаб художественного гения великого русского писателя.

Переводы произведений Л. Н. Толстого 1880-х гг. с точки зрения эволюции эстонского художественного перевода особого интереса не представляют. Почти все произведения переведены более или менее точно, но это следствие специфического отбора рассказов для перевода. Впрочем, есть и исключение — такова работа «Kes õpetas mehi wiina tegema?» («Линда», 1888, № 4, стр. 137—139) — под этим названием было опубликовано очень сокращённое изложение «Первого винокора», принадлежавшее Аура Хальдия. Это сокращённый примерно в шесть раз пересказ содержания толстовского произведения, в котором, естественно, совершенно не соблюдена его форма. От Л. Н. Толстого в изложении Аура Хальдия почти ничего не осталось.

Зато отбор произведений Л. Толстого для перевода в высшей степени любопытен. Приведём в хронологическом порядке библиографию переводов произведений Толстого на эстонский язык в 1880-е гг.

1. Чем люди живы? (Millest inimesed elawad), «Meelejahutaja», 1882, X, стр. 6. 582—600.
2. Чем люди живы? (Mis asjast inimesed elawad), «Oma Maa», 1886, № 1, стр. 5—12, № 2, стр. 37—45 (J. Jõgewer).
3. Много ли человеку земли нужно? (Kui palju inimesel maad vaja), «Olewiku Lisa», 1886, № 10, стр. 151—155, № 11, стр. 161—165, № 12, стр. 177—181.
4. Три старца (Kolm wanakest), «Walgus», 1886, № 22 (K. O.).
5. Бог правду видит, да не скоро скажет (Jumal näeb, kellel õigus on, aga Tema ei ütle seda tuttu), «Postimehe Lisaleht», 1886, № 42 (J. R.). Этот перевод почти одновременно был напечатан также в книге: «Kolm jutukest», Tartus, 1886.
6. Бог правду видит, да не скоро скажет (Jumal näeb õigust aga warma ei ütle), «Saarlane», 1887, №№ 11—12 (pp).
7. Упустишь огонь — не потушишь (Walwa tule järele, kustuta seda aegsaste), «Wirulase Lisa», 1887, № 17. Перевод не окончен — прерван примерно на половине.
8. Кавказский пленник. Kaukasuse wang. Wene kirjaniku Grahw Leo Tolstoi järele. Eesti keelesse ümberpannud A. Klement, Narwa-Jõesuu koolmeister. Narwas, 1887.
9. Где любовь, там и бор (Kus armastus on, sääl on ka Jumal), «Postimees», 1888, №№ 120—122. Этот же перевод почти одновременно вышел и отдельным изданием: «Armastus. Leo Tolstoi Wene keelse jutustuse järele. Kirjutatud stud. J. L. <ellep>», Tartus, 1888.
10. Бог правду видит, да не скоро скажет (Jumal näeb küll õigust, aga ei ütle kohe), «Walguse Lisaleht», 1889, № 26, стр. 204—207 (A. Martens).¹⁵⁹

¹⁵⁸ «Olewiku Lisa», 1886, № 24, стр. 379.

¹⁵⁹ Автор не указан. К этим публикациям можно ещё добавить отдельные переводы из книг для школьного чтения Л. Н. Толстого, включённые в хрестоматию А. Гренцштейна «Eesti Lugemise-raamat» (часть II). В эту хрестоматию включены две басни из «Второй русской книги для чтения» — «Лев и собачка» (в переводе А. Сааля) и «Сова и заяц» (по-видимому,

Просматривая этот список, во-первых, нельзя не обратить внимания на оперативность переводов толстовских произведений на эстонский язык — некоторые из них появились тотчас после русского издания, явление, как нам приходилось уже отмечать, не столь частое в эстонской переводческой практике тех лет. Так, напр., рассказ «Много ли человеку земли нужно?» впервые был опубликован в 4-ой книжке «Русского богатства» за 1886 г. (дата цензурного разрешения — 5. IV. 1886),¹⁶⁰ а цензурное разрешение на выпуск в свет № 10 «Олевику Лиса», где начал печататься эстонский перевод рассказа, датируется 25. IV. 1886. Соответственно рассказ «Три старца» впервые появился в печати в № 13 журнала «Нива» за 1886 г. (дата цензурного разрешения 26. III. 1886),¹⁶¹ а его эстонский перевод — в № 22 газеты «Валгус» от 30. V. 1886.

Быть может, стоит обратить внимание и на тот факт, что перевод рассказа «Бог правду видит, да не скоро скажет» на страницах газеты «Саарлане», издававшейся в г. Курессааре на острове Сааремаа, был единственным переводом из русской литературы в этом периодическом издании. Перевод «Кавказского пленника» вышел в Нарве, где в ту пору печаталось ещё очень немного книг на эстонском языке.

Как видим, среди переводов произведений Л. Н. Толстого на эстонский язык в 1880-е гг. преобладают так называемые его «народные рассказы» и непосредственно предшествовавшие им и написанные в той же творческой манере «Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Кавказский пленник» из «Азбуки» (кстати, именно эти два рассказа уже в XIX в. вышли на первое место в России по тиражу отдельных изданий — «Кавказский пленник», например, был напечатан в количестве 250 000 экземпляров¹⁶²). Народные же рассказы, созданные после перелома в мировоззрении и творчестве Толстого в конце 1870-х — начале 1880-х гг., проникнуты его религиозно-этическим учением, утверждают мысль о необходимости христианской любви к людям, о всепрощении и «нравственном самоусовершенствовании», и, главное, они написаны в новой творческой манере — предельно просто и безыскусственно. Эти произведения рассчитаны на читателя из народа. Поэтому их характеризует короткая простая фраза, почти полное отсутствие эпитетов, метафор, сравнений, «крестьянский» язык персонажей, отказ от изображения пейзажа и, наконец, отход от углублённого психологического анализа, от попыток раскрыть диалектику души, к несложному повествованию, в центре которого характер человека, а цель событий, поступков, дел, с дидактической концовкой и т. д.¹⁶³ Всё в этих произведениях подчинено одному — сделать их близкими и понятными читателю-мужику и в то же время нравоучительными, полезными (в толстовском понимании) этому читателю. И новая творческая манера Толстого, и заданность его произведений, и даже, в значительной мере, их идейная направленность — всё это оказалось близким эстонским читателям и издателям.

В то же время такие замечательные произведения Толстого, как авто-

в переводе составителя). Возможно, что и некоторые другие материалы хрестоматии А. Гренштейна представляют собой переработки басен, рассказов и притч из «Азбуки» и книг для чтения Л. Толстого. Так, напр., стихотворение «Hiir ja lõvi» (стр. 20—21; автор не обозначен) повторяет сюжет толстовской басни «Лев и мышь» из «Первой русской книги для чтения». Но полной уверенности в том, что это переложение именно из Толстого, у нас нет, поскольку последний, в свою очередь, позаимствовал сюжет у Эзопа.

¹⁶⁰См.: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 25, М., Гослитиздат, 1937, стр. 698 (комментарий В. И. Срезневского).

¹⁶¹ См. там же, стр. 708.

¹⁶² См. статью С. А. Венгерова о Л. Н. Толстом в «Энциклопедическом словаре изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Эфрон», т. XXXIII, СПб. 1901, стр. 456.

¹⁶³ См. об этом: Л. М. Мышковская, Мастерство Л. Н. Толстого, М., «Сов. писатель», 1958, стр. 369—389.

биографическая трилогия о детстве, отрочестве и юности, «Казачи», «Севастопольские рассказы», «Война и мир», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича» и др., в этот период не были переведены на эстонский язык. Эти произведения, в которых наиболее полно раскрылся гений Толстого, наиболее ярко проявилось его мастерство, оказались ещё недоступными большинству эстонских читателей 1880-х гг. Их сложная художественная структура, стремление писателя раскрыть противоречивость жизни через психологию героев, её изменчивость, динамику, толстовский стиль, даже самые жанровые особенности «Войны и мира» и «Анны Карениной» — всё это ещё не соответствовало тому этапу развития, на котором находилась в 1880-е гг. эстонская словесность, и поэтому воссоздать эти произведения средствами, выработанными эстонской литературой, тогда оказалось невозможным. Да обрисовка тончайших оттенков психологии, переживаний человека, в которых отражается сложность и противоречивость окружающей его действительности, ещё не очень интересовала читателей, как и проблематика (да, пожалуй, и тематика) большинства вышеназванных произведений. В 1880-е гг. (в основном, в конце десятилетия) Л. Толстым-художником, автором «Войны и мира» и «Анны Карениной», интересуется лишь небольшой круг интеллигенции, отдельные литераторы. Положение изменится в следующем десятилетии, в основном же, в начале XX в., когда появится много новых переводов его произведений (до Октябрьской революции было напечатано примерно 155 переводов произведений Толстого)¹⁶⁴ и они будут доступны значительной части читателей и в оригинале. В интересующий же нас период Л. Толстой основной читательской массой воспринимался, в первую очередь, как автор народных рассказов, исполненных религиозно-дидактических мотивов.

Любопытные сведения о знакомстве эстонцев с Л. Н. Толстым во второй половине 1880-х гг. приводит в своих воспоминаниях известный эстонский писатель, один из ведущих представителей критического реализма конца XIX — начала XX вв. Эрнст Сяргав-Петерсон.¹⁶⁵ Воспоминания относятся к 1886—89 гг., когда автор обучался во второй Тартуской учительской семинарии. Это были годы зачинавшейся славы Толстого в Эстонии. Но, как отмечает Сяргав-Петерсон, рядовому читателю было очень трудно познакомиться с творчеством Толстого. Даже семинаристы, жаждавшие почитать его произведения, были лишены этой возможности из-за категорического запрета начальства. И, тем не менее, в эстонском обществе уже говорили о Толстом и его творениях. Даже в народ проникали слухи о его странном образе жизни. В конце концов Сяргав-Петерсон все же купил себе на первый гонорар томик русского издания сочинений Толстого и с огромным интересом прочитал его. Но Э. Сяргав-Петерсон находился в несравненно лучшем положении, чем многие эстонские читатели: он учился в учительской семинарии с русским языком обучения и владел русским языком. Между тем, большинство эстонских читателей даже в конце 1880-х гг. русского языка или вовсе не знало или владело им слабо.

Из других видных писателей конца 1870-х — 1880-х гг. в Эстонии был немного известен В. М. Гаршин — на эстонский язык в 1880-е гг. было переведено два его рассказа — «Четыре дня» («Neli päewa lahingi wäljä real»; «Вирмалине», 1887, № 27; переводчик — W.; фамилия автора не указана) и «Сигнал» («Werine lipp»; «Олевику Лиса», 1887, № 16, стр. 252—254; переводчик не указан). Первый перевод, несмотря на ряд купюр, сравнительно точен; второй же перевод, по-видимому, сделан на основе хрестоматийного

¹⁶⁴ См. об этом в указанных в сноске 14 статьях Б. Сёёта и Н. Андре-зена.

¹⁶⁵ Ernst S ä r g a v a, Minu esimene tutvumine L. N. Tolstoi teostega, «Looming», 1960, № 11, стр. 1728—1731.

варианта рассказа, в котором сохранён лишь последний эпизод из него — как Семён сумел остановить поезд.

Вступившие на литературную арену в 1880-е гг. В. Г. Короленко и А. П. Чехов в Эстонии ещё не были известны.

*
*
*

Выше мы рассмотрели, в основном, переводы на эстонский язык произведений наиболее крупных русских писателей, сыгравших заметную роль в истории русской литературы. Эти переводы, без сомнения, имели важное значение и для развития эстонской словесности, значительно обогатили её в отношении проблематики, литературной техники, жанра, да порою и в плане тематическом. Но кроме этих переводов в эстонской печати 1880-х гг. мы найдём немало переложений сочинений второ- и третьеразрядных русских авторов. Так из писателей первой половины XIX в. на эстонский язык переводились отдельные произведения А. П. Беницкого («Бедуин», «Ома Маа», 1889, № 12), П. А. Вяземского (стихотворение «Человек и мотылёк», «Валгус», 1887, № 47), А. Е. Измайлова («Происхождение и польза басни», «Меэляехутая», 1887, № 28), Е. П. Ростопчиной [стихотворения «Может быть» (первая строфа), «Олевику Лиса», 1883, № 16; «Когда б он знал» и «Падучая звезда», там же, 1889, № 15], В. А. Соллогуба («Нечистая сила», «Кюндья», 1882, №№ 4—6), Ф. А. Туманского [конечно, «Птичка», известная в двух переводах — Я. Тамма в «Меэляехутая», 1887, № 41, и П. Хальяспыльда (П. Грюнфельдта), «Вируласе Лиса», 1888, № 9] и некоторых других. Из писателей второй половины XIX в. мы встречаем переводы произведений В. П. Желиховской [«Сон в руку (святочный рассказ)», «Постимэхе Лыбулиса», 1889, стр. 355—372], Н. И. Костомарова (повесть «Сорок лет», «Таллинна Сыбер», 1889, №№ 28, 29), В. В. Крестовского («Сфинкс», «Олевик», 1886, №№ 33—39), Е. А. Салиас де Турнемир («Он же», «Олевик», №№ 26—33), В. С. Соловьёва («Страшный долг», «Вирулане», 1887, № 49) и др. Переводились отдельные произведения (в особенности исторические романы, повести и рассказы) и совсем малоизвестных, не сыгравших сколько-нибудь заметной роли в истории русской литературы писателей.

Наконец, в эстонской прессе 1880-х гг. было опубликовано в переводе и около пятидесяти анонимных произведений, авторов которых трудно (порой, видимо, и вовсе невозможно) определить, поскольку их нужно искать среди третьеразрядных русских литераторов, зачастую безвестных литературных подёнщиков, заполнявших своими сочинениями страницы бульварных газет и случайных журнальчиков и печатавшихся, как правило, анонимно. Перекладывая на эстонский язык произведения таких авторов, переводчики лишь изредка указывают источник перевода («Из „Всемирного эха“», «Из русской газеты (на самом деле журнала — С. И., М. А.) „Воскресенье“» и т. д., чаще они просто дают в подзаголовке — «перевод с русского». Нередко же вообще никаких указаний на оригинал нет, и лишь по целому ряду косвенных данных — тематика, имена действующих лиц, быт и окружение — можно догадаться, что это перевод с русского (оригинальные произведения эстонских авторов из русской жизни с русскими персонажами в 1880-е гг. были большой редкостью — их можно перечесать по пальцам, это, главным образом, несколько рассказов и повестей Э. Вильде).

Здесь возможны сложные случаи, когда практически бывает очень трудно определить, имеем ли мы дело с переводом из русской литературы или нет. Так, иногда в подзаголовке публикуемых произведений мы, действительно, встречаем — «перевод с русского» или, напр., «Из газеты „Новое время“», но тематика их, имена действующих лиц — всё указывает на иностранное происхождение интересующего нас произведения. В таком случае открываются две возможности, не всегда поддающиеся точному определению, — 1) это произведение какого-то русского писателя о заграничье или же 2) это

переложение русского перевода какого-то произведения иностранного автора. С такими трудностями мы встречаемся, например, при анализе публикаций: «Укротитель львов. С русского языка Э. Сахаревич» («Lõwi taltsitaja. Wene keelest E. Sacharewitsch», «Кюндья», 1882, №№ 15, 17) или «Филоник. Рассказ из жизни древних греков периода расцвета Афин. Переложил с русского языка Й. Роозилайд» («Philonikus. Jutustus wanade greeklaste elust Athena õitseajal. Wene keelest ümber pannud J. Roosilaid», «Постимэхе Лыбу-лиса», 1890, стр. 77—100). Другой сложный случай, когда действие, персонажи, быт, описываемый в произведении, указывают на русскую действительность, но у нас нет полной уверенности в том, что это произведение русского писателя, а не какого-либо иностранца, пишущего о России. Мы насчитали более десятка таких «подозрительных» произведений, не поддающихся точному определению — являются ли они переводами из русской литературы или нет.

Но при всех трудностях атрибуции отдельных переводных произведений, определения их оригиналов, общее число переводов с русского в 1880-е гг. мы всё же можем примерно наметить. В 1880-е гг. в Эстонии появилось около 400 переводов художественных произведений русских авторов (считая и перепечатки), из них отдельными изданиями вышло лишь двадцать сочинений, остальные были опубликованы, главным образом, на страницах газет, журналов, реже, календарей и сборников. При этом на протяжении десятилетия заметен значительный рост числа переводов. Если в 1881 г. не вышло в свет и десятки переводов из русской литературы, а в 1882—84 гг. их число не многим превышало десяток в год, то, начиная с 1885 г., количество переводов резко и более или менее последовательно возрастает, подходя в 1889 г. к цифре сто. Конечно, этот неуклонный рост числа переводов на протяжении 1880-х гг., если изобразить его графически, не напоминал всё возрастающую прямую. Множество случайных факторов объясняет, почему, напр., в 1888 г. количество переводов было несколько меньше, чем в предыдущие — 1885—87 гг., а в 1890 г. меньше, чем в 1889. Но эти отдельные отклонения только подчеркивают основную тенденцию — рост общего числа переводов из года в год, особенно заметный начиная с 1885 г. С середины десятилетия ежегодно появляется в среднем по 40—50 переводов произведений русских авторов.

Нам уже приходилось отмечать во введении, что различные органы эстонской печати по-разному относились к русской литературе. Вполне естественно, что и количество переводов с русского на страницах отдельных газет и журналов неодинаково. Если очень небольшое число переводов из русской литературы и статей о русских писателях на страницах газет «Саарлане» (г. Курессааре) и «Перно Постимэс» (г. Пярну) объясняется, возможно, узко местным, провинциальным характером этих изданий, то почти полное отсутствие переводов произведений русских авторов в «Таллинна Сыбер» и их мизерное количество в «Кюндья», без сомнения, связано с отрицательным отношением редакций этих газет к русской культуре вообще. Наибольшее число переводов из русской литературы появилось на страницах журналов «Меезляхутая» (свыше 60) и «Ома Маа» (свыше 30), а также газет «Олевик» (более 50), «Валгус» (свыше 40), «Постимэс» (более 30) и их приложений.

Отбор произведений для перевода на страницах почти всех эстонских газет, как нам неоднократно приходилось указывать, был очень своеобразен, при этом существенных различий в принципах отбора в отдельных эстонских периодических изданиях заметить нельзя. Здесь явственно сказалось нивелирующее воздействие мрачной эпохи реакции Александра III, русификации Прибалтики 1880-х гг., разложения национального движения. Вообще атмосфера эпохи русификации сыграла очень значительную роль в отборе произведений для перевода, в восприятии читателями явлений русской литературы. Издатели и переводчики прошли мимо наиболее критических, обличительных произведений русской классики. Революционные идеи в творчестве многих русских писателей прошлого, всё революционно-демократическое направле-

ние в русской литературе сознательно игнорировались в силу ряда причин, отмеченных во введении, эстонскими писателями да были зачастую и непонятны им. Зато восхваляемый и чуть ли не воспеваемый официальными кругами Г. П. Данилевский рассматривался эстонцами как классик русской литературы. Показателем и отмеченный выше интерес к А. Н. Майкову, объявленному тогдашней официозной печатью наследником Пушкина.

Однако более всего интересует эстонских издателей и переводчиков все же творчество общепризнанных классиков русской литературы, изучавшихся в ту пору в школах и гимназиях, — Крылова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Из писателей второй половины XIX в. значительным успехом пользовался лишь И. С. Тургенев. Но и из творческого наследия этих писателей отнюдь не всё было приемлемо для эстонского читателя, не всё было доступно для его восприятия. Чаще всего переводились их «народные» произведения, описывающие жизнь низших слоёв общества, понятные рядовому читателю. Более же сложные по проблематике произведения классиков, изображающие жизнь, переживания дворянских интеллигентов, сложные противоречия российской действительности, не интересуют эстонских переводчиков и сравнительно редко появляются на страницах эстонской печати. Всё это, конечно, значительно ограничивало восприятие русской литературы эстонскими читателями 1880-х гг., ограничивало и её воздействие на эстонских писателей этого периода. Но всё же трудно отрицать огромное значение переводов из русской литературы для воспитания читателя и творческого развития эстонских авторов.

Несколько слов о качестве переводов.¹⁶⁶ Эстонские переводчики 1880-х гг. уже понимали разницу между вольным и точным переводом, хотя практически порою граница между ними и стиралась. Вольный перевод чаще всего должен был «приспособить» русское произведение ко вкусам и понятиям эстонского читателя, поэтому очень распространенной разновидностью его является так называемый «эстонизированный перевод», в котором действие переводимого произведения перенесено в Эстонию, персонажи превращены в эстонцев, фон, окружение, быт сделаны эстонскими. При этом иногда такой перевод вообще превращается в пересказ содержания русского оригинала, порою довольно сокращённый, но чаще всего вольное изложение отдельных фраз и отрывков сочетается со сравнительно точным переводом других предложений и целых разделов. Такой способ переложения произведений русских авторов на эстонский язык был наиболее лёгким для переводчиков и потому он применялся ими довольно часто. Реже встречаются «радикальные» переделки русского текста, в которых фактически почти ничего не остаётся от оригинала, кроме самой общей схемы фабулы.

«Точный» перевод 1880-х гг., конечно, лишь условно можно назвать так. Общепринятые в те годы переводческие принципы допускали значительную «вольность» в переводе. Считалось вполне допустимым, как и в вольном переводе, отдельные фразы, наиболее сложные для перевода или же непонятные эстонскому читателю, немного изменять или даже выпускать. Изменения отдельных фраз чаще всего идут в двух направлениях: 1) упрощение (иногда сокращение) их, 2) разъяснение их смысла (с этой целью переводчики значительно дополняют, расширяют фразу; поскольку при этом её размер значительно увеличивается, то они разбивают одно предложение на несколько). Мелкие купюры также не считаются большим грехом, и они встречаются почти во всех переводах без исключения (даже в XX в. купюры в тексте классиков считались вполне допустимыми — их мы видим даже в превосходном переводе «Обломова» 1934 г., осуществленном классиком эстонской литературы А. Таммсааре). Допустимость таких изменений в тексте

¹⁶⁶ Небезынтересные, хотя и не во всём верные соображения о качестве дореволюционных переводов из русской литературы в Эстонии можно найти в ук. выше книге: E. Judas, Russian influences on Estonian literature, стр. 36—43.

оригинала даже в «точном» переводе связана с тем, что перед переводчиками 1880-х гг. (как и перед переводчиками 1890-х гг., даже начала XX в.) не стоит задача воссоздания стиля оригинала в его целостности. Вряд ли переводчики тех лет и осознавали значение воссоздания стиля в переводе. Задача перевода им представлялась более простой: передать, в первую очередь, сюжет произведения. К наиболее прискорбным результатам такое понимание своих задач переводчиками приводило, естественно, в переводах лирических стихов и тех прозаических произведений, смысл которых нельзя понять, не осознав их «эзопова языка», выраженного в стиле (напр., произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина). Лишь немногие переводчики понимали важность воссоздания «лирического настроения» в переводе стихов, важность сохранения их музыкальной стороны, звуковой инструментовки. Впрочем, едва ли не большинство переводчиков 1880-х гг. уже в принципе понимает необходимость сохранения ритма и рифмы оригинала в «точных» переводах (в вольных изложениях это считается совершенно необязательным). Но практически не всем даже из числа тех, кто это осознаёт, удаётся воссоздать в своих работах эти важнейшие элементы переводимых стихотворений, особенно ритм.

Все эти неточности в «точных» переводах объясняются объективными причинами, они вполне естественны и неизбежны в переводческой практике 1880-х гг. Дело здесь не в «нежелании» переводчиков переводить точно, а в неразвитости эстонского литературного языка, делавшего особенно сложной передачу стилистических тонкостей оригинала (напр., архаизмов), в жанровой и тематической неразвитости тогдашней эстонской словесности, к тому же ещё не порвавшей с традициями романтизма, в слабой технической оснащённости эстонской поэзии тех лет, наконец, в малом опыте точного переложения чужих произведений самих переводчиков (в эстонской литературе до 1880-х гг. господствовали вольные переводы, национальные адаптации иноязычных произведений). Нельзя сбрасывать со счёта и большие различия русского и эстонского языка в фонетике, лексике, грамматическом строе (в частности, синтаксисе). Эти различия особенно влияли на поэтические переводы: эстонские слова имеют твёрдо зафиксированное ударение на первом слоге, и поэтому эстонский стих тяготеет к хорейности (этому способствует относительная — сравнительно с русским — краткость эстонских слов), между тем как русский язык не знает строго фиксированного на определённом слого ударения и его «размерные» возможности более широки.

Если к этим соображениям прибавить ещё слабое знание многими переводчиками тех лет русского языка, что приводило к очень большому числу фактических неточностей и ошибок в переводах, то станет очевидным, что «точные» переводы 1880-х гг. всё же далеко отстоят от современных и порою смыкаются с вольными переложениями. Не всегда легко провести границу между теми и другими.

Конечно, при анализе переводов 1880-х гг. было бы неверным сбрасывать со счёта и различную степень опытности и одарённости отдельных переводчиков. Так, переводы талантливого Я. Тамма, как правило, не только точны, но в них видно стремление сохранить и все специфические особенности оригинала — ритм, размер, «настроение», эмоциональный строй в лирических стихах, черты творческой манеры автора в прозе. Переводы Г. Ёйса также выгодно отличаются в своём подавляющем большинстве от переложений таких, например, авторов, как О. О. Мяги, М. Оллино или Я. Леппик. Но остаётся лишь ещё раз подчеркнуть, что индивидуальные различия отдельных переводчиков не должны закрывать для нас некоторых общих моментов в переводческой практике 1880-х гг.

В какой же мере в целом эстонский читатель 1880-х гг., не владевший в совершенстве русским языком, мог быть знаком с русской литературой? Около четырёхсот переводов из русской литературы, немалое число статей и заметок об её отдельных явлениях на страницах эстонских газет и журналов в значительной степени могли познакомить рядового эстонского читателя

с творчеством ряда виднейших русских писателей, в первую очередь, И. А. Крылова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, в какой-то мере и Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева, А. Н. Майкова, Л. Н. Толстого и др. Благодаря переводам и статьям у эстонского читателя могло сложиться и некое общее представление о русской словесности как такой литературе, которая во многом превосходит отечественную и не уступает немецкой, бывшей до тех пор образцом для эстонцев.

Однако нельзя не отметить, что эстонцы 1880-х гг. всё же в меньшей степени, чем латыши этого десятилетия, были знакомы с русской литературой. Южные соседи эстонцев раньше и в несравненно большем размере стали переводить на латышский язык произведения русских классиков, пропагандировать на страницах своей печати их творчество. Это, по-видимому, связано с тем, что младолатышское движение с его ярко выраженной русской ориентацией в конце 1850-х — начале 1870-х гг., пожалуй, развивалось быстрее, было сильнее эстонского национального движения, в котором на первом этапе главенствующую роль играли Й. Янсен и его газета «Ээсти Постимеэс», ориентировавшиеся на немецкую культуру.

Так, ещё в 1856 г. известный латышский поэт и публицист Юрис Алуан включил в свой знаменитый сборник «Песенки» («Дзиесмийняс») переводы стихов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова. Во второй половине 1860-х гг. переводами стихотворений Пушкина занимался в будущем один из основоположников латышского реализма Матис Каудзит. Как отмечалось в латышской критике, уже с конца 1860-х гг. переводы пушкинских произведений на страницах латышской печати стали обычным явлением. В 1869 г. в газ. «Балтияс вестнесис» появился анонимный перевод пушкинского «Гробовщика», в 1871 г. там же — перевод стихотворения «Талисман». В 1877 г. в отличном переводе М. Каудзита вышла поэма Пушкина «Кавказский пленник» и в составе второго сборника его стихов — несколько переводов стихотворений великого русского поэта. В 1875 г. появляется перевод «Эхо», в 1876 г. — «Зимняя дорога», в 1878 г. — «Капитанская дочка» и т. д., и т. д.¹⁶⁷ Напомним, что первый перевод произведения Пушкина на эстонский язык относится к 1879 г.

Точно так же латыши определили эстонцев в переводе произведений Н. В. Гоголя. Уже в 1869 г. был опубликован перевод «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», в 1870 г. был переведён и поставлен А. Алуаном на латышской сцене «Ревизор» Гоголя, в следующем году вышедший отдельным изданием. Вслед за тем «Ревизор» в 1870-е гг. неоднократно ставился на латышской самодеятельной и профессиональной сцене. В 1877 г. был опубликован перевод «Тараса Бульбы», осуществлённый прогрессивным общественным деятелем Фр. Бривземниек. Переводчик снабдил книгу обширным предисловием — первым очерком жизни и творчества Гоголя на латышском языке.¹⁶⁸

Первую заметку, посвящённую И. С. Тургеневу, мы найдём в латышской печати уже в 1868 г. в газете «Маяс Виесис». Если переводы из И. С. Тургенева в Латвии появились почти одновременно с первыми эстонскими переложениями, то зато по количеству переводов, напр., из «Записок охотника», латыши уже в 1880-е гг. значительно превзошли эстонцев.¹⁶⁹

¹⁶⁷ См.: К. Эгле, Пушкин на латышском языке, газ. «Советская Латвия», 11. II. 1947, № 35; А. Упит, Пушкин и латышская литература, там же, 1. VI. 1949, № 127; К. Эгле, А. С. Пушкин в латышских переводах, газ. «Советская молодёжь» (Рига), 5. VI. 1949, № 112.

¹⁶⁸ См.: К. Эгле, Произведения Н. В. Гоголя в Латвии, газ. «Советская Латвия», 22. II. 1952, № 45; Ян Судрабкалн, Н. В. Гоголь и латышская литература, там же, 4. III. 1952, № 54.

¹⁶⁹ См.: Карлыс Эгле, «Записки охотника» на латышском языке (Библиографическая справка), в кн.: «Записки охотника» И. С. Тургенева (1852—1952). Сборник статей и материалов, Орёл, 1955.

Важно подчеркнуть также, что латышские переводчики, критики и журналисты значительно ранее эстонских проявили интерес и к представителям революционно-демократического направления в русской литературе. Так, уже в 1873 г. было опубликовано в переводе Ф. Бривземниека стихотворение Н. А. Некрасова «Школьник». Оно получило исключительную популярность в Латвии и даже проникло в фольклор. В 1879 г. была переведена некрасовская «Тройка», затем «Песня о труде» из «Медвежьей охоты», «Огородник» и др. Переводами стихов Некрасова много занимался основоположник латышского реалистического рассказа Апсишу Екабс. В 1880-е гг. с поэзией великого русского поэта знакомит латышей Ф. Адамович.¹⁷⁰ Напомним, что в это десятилетие на эстонский язык не было переведено ещё ни одного произведения Некрасова. Впрочем, бывают и исключения. Так, если судить по данным статьи известного латышского библиографа К. Эгле,¹⁷¹ первые

¹⁷¹ См. К. Эгле, Наследие великого писателя в Латвии, газ. «Советская Латвия», 9. IX. 1948, № 214.

переводы произведений Л. Н. Толстого на латышский язык появились только после 1886 г., между тем, как мы помним, эстонцам уже с 1882 г. были известны отдельные сочинения писателя.

Приведённое выше сопоставление с латышской литературой показывает, что в Эстонии немецкая ориентация в вопросах словесности преодолевалась медленнее, чем в Латвии, интерес к русской литературе был несколько меньше, по числу переводов произведений русских авторов эстонцы отставали от латышей. Но все эти факты не должны скрыть перед нами того обстоятельства, что именно на 1880-е гг. падает первый период живого интереса к русской литературе в Эстонии, первый период активизации переводческой деятельности, ставившей целью ознакомить эстонского читателя с достижениями русской словесности. Переводы произведений русских писателей, интерес к их творчеству оказали немалое влияние на развитие эстонской литературы. Но выяснение этого влияния — предмет особого большого разговора.

¹⁷⁰ См. Г. Мацков, Некрасов и латышская литература, газ. «Ригас балсс», 11. XII. 1961, № 290; Б. Ф. Инфантьев, Некрасов в латышской литературе, «Научный бюллетень Ленинградского гос. университета», 1947, № 26—27.

ПОЭМА А. А. БЛОКА «ЕЕ ПРИБЫТИЕ» И РЕВОЛЮЦИЯ 1905 г.

З. Г. Минц

«Ее прибытие» (1904) — неоконченная поэма Ал. Блока. Как известно, сам поэт считал эту поэму слабой и не всегда включал её в прижизненные собрания своих стихотворений.¹ Действительно, и большинство образов «Ее прибытия», и название поэмы, в рукописи озаглавленной «Прибытие Прекрасной Дамы», — всё это настолько тесно связано с настроениями I тома, что в дни приближения революции, в период, когда были написаны «Фабрика», «Поднимались из тьмы погребов...», когда вызревал антимистический замысел «Балаганчика», поэма кажется полным анахронизмом. Именно поэтому (а также из-за незавершенности поэмы) она почти полностью выпадает, как правило, из орбиты внимания исследователей. Так, в монографии Л. И. Тимофеева² о поэме почти не говорится, в монографии В. Н. Орлова она лишь перечисляется в числе произведений, «овеванных дыханием надвинувшейся социальной бури».³ Даже в специальных исследованиях о поэмах Ал. Блока «Ее прибытию» уделяется минимум внимания. Г. Ременик отмечает «двойственность и противоречивость» замысла произведения, расшифровывающегося, с одной стороны, как прибытие «Прекрасной Дамы», с другой — как ожидание революции, говорит о месте «Ее прибытия» в становлении жанра поэмы в творчестве Блока.⁴ Более детальную характеристику поэмы находим в интересной статье П. Громова. Присоединяясь к мнению Н. Волкова о связи образов кораблей с «ощущением событий, которые надвигались на столицу»,⁵ П. Громов проводит любопытную параллель между «Её прибытием» и драмой «Король

¹ См.: А. Блок, Собрание сочинений в 8 томах, т. 2, М.—Л., 1960, стр. 392.

² Л. И. Тимофеев, Александр Блок, М., изд. МГУ, 1957.

³ В. Н. Орлов, Александр Блок, М., 1956, стр. 69.

⁴ Г. Ременик, Поэмы Александра Блока, М., СП, 1959, стр. 15—16 и 20—21. См. также: Л. Долгополов, Поэмы Блока («Возмездие», «Двенадцать»), автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Л., изд. ЛГУ, 1962, стр. 3.

⁵ Н. Волков, Александр Блок и театр, М., изд. ГАХН, 1926, стр. 37.

на площади» — параллель, многое объясняющую в поэме.⁶ Однако естественно, что в работе о театре Блока поэме уделено не очень много внимания.

Между тем, произведение это интересней, чем может показаться на первый взгляд. Не случайно, например, Блок в примечании ко II тому «Собрания стихотворений» 1912 года писал, что эта «слабая поэма» «характерна для <...> того времени, как посвященная разным «несбывшимся надеждам» (по моему тогдашнему замыслу)»⁷, и полностью привел её текст в первом послеоктябрьском издании своих стихотворений. Поэма, действительно, сосредоточила многие важные черты творчества Блока кануна революции 1905 г., и именно через неё пролегли многие магистральные линии его идейно-художественного развития.

*

*

*

В центре поэмы, как уже отмечалось, прибытие Прекрасной Дамы — революции. Отождествление мистических чаяний I тома и политических надежд кануна революции — явление, весьма характерное для творчества Блока 1904 г. и, вместе с тем, совершенно нетипичное для автора «Стихов о Прекрасной Даме».

Как известно, Вл. Соловьев утверждал в своих философских сочинениях, что его мистический идеал Вечной Женственности является не только «объективным», вне «я» существующим, но и общезначимым — в том смысле, что «Дева Радужных Ворот» должна принести «весну» всему страждущему человечеству, создать мистико-утопическое царство «духовного человечества».⁸ Религиозные идеи близкого ему позднего Достоевского Вл. Соловьев прямо назвал «общественными идеалами».⁹ Однако одно из типичнейших противоречий идеалистических философских построений Соловьева состояло как раз в том, что субъективная установка на создание «общественных» ценностей на практике быстро обнаруживала свою индивидуалистическую природу. Это прекрасно видно в лирике Вл. Соловьева. Удельный вес даже, так сказать, «мистико-политических» и «мистико-общественных» тем в его поэзии весьма незначителен. Заместителем (и заменителем) страждущего человечества, стремяще-

⁶ П. Громов, Театр Блока, в кн.: П. Громов, Герой и время, Л., СП, 1961, стр. 411—413.

⁷ А. Блок, Собр. соч. в 8 тт., т. II, стр. 392. Все ссылки на блоковские тексты, кроме специально оговоренных, ниже даются по этому изданию. Римские цифры указывают том, арабские — страницы. Неоговоренный курсив всюду мой — З. М.

⁸ В. С. Соловьев, Собрание сочинений, т. III, СПб., изд. товарищества «Общественная польза», б. д., стр. 168.

⁹ Там же, стр. 181.

гося к духовному возрождению, в лирике Соловьева выступает поэтическое «я» автора. Все сложные мистические коллизии разворачиваются между лирическим «я» и «Душой мира». При этом «я» осознается, по сути, не как выразитель настроений «людей», а как сила, стремящаяся максимально отделиться от «темных» материальных земных сил (в частности, от «толпы»). Взаимоотношения «я» и «людей» приобретают традиционно-романтический характер противопоставления: в то время, как герой рвется к идеалу, остальные люди — только «тени живых»,¹⁰ их действия — не более, чем «тяжкий сон житейского сознания»,¹¹ «житейский шум трескучий»,¹² «тьма житейских зол»,¹³ «шум городской суеты»¹⁴ и т. д., и т. п. Поэт не *представляет* стремящееся к идеалу человечество, а, как правило, *заменяет* его.

В этом смысле Блок «Стихов о Прекрасной Даме» пошел еще дальше Вл. Соловьева. Политическая и даже «мистико-общественная» тема в «Стихах о Прекрасной Даме» никакой роли не играют. Поэт, «я», изображен полностью в традициях романтических. Изредка он — пророк, вождь «несметных толп» («Я шел — и вслед за мною шли...», I, 155) или — несколько чаще — один из немногих избранных, стремящихся впереди других к идеалу («Мы преклонились у завета...», I, 160; «Мы живем в старинной келье...», I, 169; «Брожу в стенах монастыря...», I, 198 и др.). В большинстве стихотворений мир людей вообще снят. Очень часты, однако, случаи, когда «люди», «народы» прямо попадают в объектив искусства, как нечто неизменное, жалкое и прямо противопоставленное миру «я». Ср., например, антитезы «молчит» — «кричат», «в небе» — «о злате и о хлебе» в стихотворении:

Душа молчит. В холодном небе
Все те же звезды ей горят.
Кругом о злате иль о хлебе
Народы шумные кричат (I, 78).

У людей «скудные сердца» и «безнадежные лица» (I, 110), они — «рабы свободы невозможной» (I, 111), «уплывающие тени» (I, 106);

Ср.: По улицам ходят тени,
Не пойму — живут или спят, —

также прямо перекликающееся с известной Соловьевской поэтической формулировкой мира действительной жизни. Люди не могут понять высоких стремлений поэта, им «всем чужда

¹⁰ Стихотворения Владимира Соловьева, изд. 4-ое, изд. М. С. Соловьева, б. д., стр. 127.

¹¹ Там же, стр. 88.

¹² Там же, стр. 83.

¹³ Там же, стр. 72.

¹⁴ Там же, стр. 67.

свобода» поэтического «я» (I, 92), «им не постигнуть сновидений, которых не дождался он» (I, 113; ср. также само название стихотворения «Не поймут бескорбные люди...»). Да и сам поэт «ищет на распутьи безлюдий» (I, 167). В толпе —

Все были мне незнакомы,
И меня не трогал их вид (I, 237).

Вера поэта — его святая тайна:

Я хранилище мысли моей
Утаю от людей и зверей (I, 84) и т. д., и т. п.

Количество подобных — весьма традиционных и мало оригинальных — высказываний у Блока I тома можно было бы значительно увеличить. Важно, однако, другое. Творчество молодого Блока, как и поэзия Вл. Соловьева, было ярким свидетельством того, как искусство, претендовавшее на роль религиозно-«учительскую», по сути, оказывалось в том же круге проблем, что и субъективистская лирика «старших символистов».

Иную картину дает цикл «Распутья» (1902—1904). Дело даже не только в том, что здесь, как известно, начинают появляться образы людей, народа, данные в ряде случаев под безусловно положительным знаком («Мне снились веселые думы...», «Фабрика», «Из газет»). Не менее интересно и другое: в ряде стихотворений, вращающихся как будто бы в прежнем круге проблем (разочарование в несбывающихся мистических надеждах, вера в их будущее возрождение), появляется совершенное новое понимание идеала, которому служит поэт. Именно в момент краха мистических чаяний Блок вдруг начинает осознавать эти чаяния не только как надежды избранника на одинокое счастье избранничества, но и как надежды людей на всеобщее счастье. Именно так раскрывается тема надежд и их гибели в стихотворении «Я смотрел на слепое людское строение...»:

Еще никто не вышел на лестницу,
Но уже слышали счет ступень...
И везде проснулись, кричали, поджидая
вестницу,
И седые головы наклонялись в тень.
Думали: за утром наступит день (I, 248).

Здесь уже само множественное число говорит о том, что надеется не только поэт; а вся обстановка «слепого людского строения» с несомненностью свидетельствует о том, что речь не идет и об узком круге избранников. Надеются (и трагически обманываются в своих ожиданиях) те самые простые смертные, которых поэт еще так недавно третировал как «кричащих о злате и о хлебе».

Точно так же и образ одиноко стремящегося к совершенству поэта не похож на возникшие в позднейшие годы образы «больших кораблей», уехавших на поиски *всеобщего* счастья. А в сти-

хотворении «А. М. Добролюбову» Блок прямо называет идеи, в которые он так мучительно, с боязнью разочароваться, верит, — «вселенским делом» (1, 275).

То же мы найдем и в целом ряде стихотворений 1903—5 гг., вошедших впоследствии во II том лирики Блока (циклы «Разные стихотворения» и «Город»). В стихотворениях типа «Девушка пела в церковном хоре...», вообще, почти невозможно понять, идет ли речь о мистических чаяниях или о надеждах на преобразование жизни:

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине *усталые люди*
Светлую жизнь себе обрели (II, 79);

о разочаровании в «Ней» или в победе революции:

...плакал ребенок
О том, что никто не придет назад (там же).

Повторяем: дело пока не в том, что образы из «Распутий» и II тома лишены мистического содержания. Дело в ином: они шире чисто мистической трактовки, не вмещаются только в ее рамки.

В годы вызревания первой русской революции духовные искания Блока шли по двум направлениям. Первое и основное из них — отход от соловьевской эсхатологии и идущее сложными путями обращение к действительности. Второе — без понимания чего тоже невозможно разностороннее осмысление творчества Блока этих лет — состояло в попытке «примирить» идеалистическую веру в мистический идеал и... веру в революцию. При этом в подобной попытке соединить несоединимое из соловьевского учения выкидываются наиболее реакционные, но и весьма существенные для Соловьева стороны (антидемократизм, элементы аскетизма в этике, теократические идеи и мн. др.), а акцентируется то весьма неопределенное общее, которое объединяет соловьевство с любыми утопическими идеями, — надежда на будущее счастье людей. Сами взгляды Ал. Блока в «Распутях» (в отличие от периода «Стихов о Прекрасной Даже») уже не столько мистико-индивидуалистические, сколько мистико-утопические. А затем — к 1904—1905 г. — в них на первое место выдвигается именно утопичность.

Наиболее ярко подобное мировосприятие отразилось в наброске «Деве-Революции» («О, Дева, иду за тобой...», 1906) и в поэме «Ее прибытие». Поэма эта — страстная утопическая мечта о приближающейся Нечаянной Радости всеобщего счастья.

Однако в «Ее прибытии» линии переосмысления «соловьевства» и — что еще важнее — преодоления его отнюдь не сводятся к общей трактовке темы. Они многообразны.

Наиболее традиционным оказывается в поэме изображение отрицательных, враждебных человеку сил. Вопреки схематическому литературоведческому представлению о некоем средне-статистическом писателе, который силен «отрицанием существующего строя», но «не видит прогрессивных исторических сил», Блок именно в понимании природы общественного зла дольше всего не может порвать с мистическими концепциями. Уже в «Распутьях» Блок, обратившийся к «повседневности», склонен был истолковывать ее мистически как проявление сверхчеловеческих («дьявольских») сил зла (такое понимание действительности, мира материального «бытия», было оборотной стороной Соловьевского идеализма, утверждавшего, что подлинная сила, красота и реальность присущи лишь миру идей). Только с точки зрения «мистики в повседневности» можно понять, почему так страшно загадочен враг рабочих в стихотворении «Фабрика». Враг этот — «недвижный кто-то, черный кто-то», «он медным голосом зовет» («рациональное», истолкование «медного голоса», как гудка, конечно, не выражает всего смысла образа); он потому-то так безличен («а в желтых окнах засмеются»), что мистически непостижим. В первых стихотворениях цикла «Город» современная поэту действительность еще последовательнее раскрывается как не просто злая и несправедливая, но как «дьявольская». Ночной город — это место порочных игр Змея («Змей расклубится над домами», II, 141), забав мистического Невидимки из одноименного стихотворения; это дьявольское марево (стихотворение «Обман»).

«В этот город торговли
Небеса не сойдут» (II, 148), —

пишет поэт, создавая характерную антитезу: «небеса» — «город». Подобное осмысление сил зла долго еще будет характерным для Блока. В известной степени, оно отразится даже в «Страшном мире», где, разумеется, на первый план выступают чувства, в цикле «Город» только зарождающиеся: настроение ненависти к буржуазному миру, революционного «презрения», которое потом «созреет гневом».

В «Ее прибытии» природа зла также осмысляется мистически. Уже в поэтической жалобе рабочих на рейде звучат характерные «сказочные» мотивы колдовства. Люди опутаны непонятными чарами. Ср.:

...Очарованный сиреной,

Труд наш медленный тяжел (II, 50), —

где образ «сирены» явно двузначен. В конце I главы вновь появляются сказочно-фантастические образы зла, «околдовавшего», «очаровавшего» людей:

Не чудесная ли птица

В клетке плечи нам свела?

Или черная царица

В ней пугливо замерла? (II, 51).

Ср. в черновике:

«Море забрызгало лица,
Руки в крови и пыли!
Смейся над нами, Царица,
Диво заморской земли» (II, 395).

Вновь возникает образ такого же плана в черновых вариантах 4 главы («Голос в тучах»): там есть прямая попытка истолковать зло как «Змея» (т. е. дьявола — II, 393). Любопытно, впрочем, что в окончательном тексте Змей отсутствует.

Гораздо интересней в поэме образы, связанные с миром положительных представлений Блока. На первом месте по значимости здесь будет отнюдь не Прекрасная Дама, а земные, живые люди — «рабочие на рейде» и матросы, уплывшие на кораблях искать всеобщее счастье. Уже в первой главе — «Рабочие на рейде» — дается весьма любопытный «коллективный портрет» рабочих. Начало главы — поэтическая жалоба на тяжесть «околдованного труда» — сближает героев поэмы с рабочими из стихотворения «Фабрика» — с «нищими», которых «провели» страшные и неведомые враги. Однако это сходство в дальнейшем разрушается. Концепция «Фабрики» еще не расторгжимо связана с «соловьевскими» стихотворениями Блока (несмотря на огромную важность новой — социальной — темы, совершенно немыслимой ни в лирике Вл. Соловьева, ни в «Стихах о Прекрасной Даме»). Главный контраст, на котором вырастает стихотворение, — это контраст между *не изображенным в тексте* светлым миром высоких духовных идеалов и *изображенным в нем* «темным» миром реальной действительности. Последний по самой своей материальной природе не может быть для «соловьевца» подлинно ценным: ведь это мир «теней» (Ср.: «А на стене — а на стене Недвижный кто-то, черный кто-то Людей считает в тишине»). Правда, в этом мире теней Блок теперь уже может разглядеть силуэты совершенно разные, подчас противоположные: хозяев, источников зла, и их жертв — «народа». Но сама мысль о том, что «этот» мир может содержать подлинно высокие ценности, поэту еще чужда. Рабочие изображены как жертвы царящего в мире зла: у них, у «нищих», «измученные спины» — и только. Дальше отвлеченного гуманизма, только-только пробуждающейся жалости к этим «теням», Блок пойти не может. Ведь в незадолго до «Фабрики» (24 ноября 1903) написанном стихотворении «По городу бегал черный человек...» (апрель 1903) страдание описывалось, собственно говоря, даже без сочувствия. Оно только констатировалось:

Ах, какой бледный город на заре!

Черный человечек плачет на дворе (I, 278), —

настолько незначительным казался сам страдающий «человек». Правда, гуманные ноты с большой силой зазвучали в стихотво-

рении «Из газет» (27 декабря 1903), но и там речь идет только о сочувствии страданию... Из этого общего тона в I томе выпадает, пожалуй, лишь одно стихотворение — «Мне снились веселые думы...» (11 марта 1903), где «люди» — не объект жалости, где поэт воспевает силу и красоту «веселых красных людей», их радостный труд. Однако в «Распутьях» эта новая тема еще не развита.

Совершенно по-новому строится ряд стихотворений 1904—1905 гг. (из циклов «Город» и «Разные стихотворения» II тома). Прежняя, «соловьевская» антитеза высокого духовного и низменного материального мира начинает сменяться новой: поэт пытается *здесь, на земле*; увидеть основной жизненный конфликт. И если, как мы видели, поэту еще не удается правдиво показать земное зло, то все чаще и чаще в его поэзию проникает демократическая идея человека как высшей ценности — и при том именно человека труда, человека как части народа. Это видно в таких, например, стихотворениях, как «В кабаках, в переулках, в извивах...» (декабрь 1904) и — особенно — «Барка жизни» (декабрь 1904). Но, пожалуй, наиболее заметна это зарождающаяся тенденция в «Ее прибытии».

Жалоба рабочих в I главе неожиданно перерастает в яркое самоутверждение, в прославление силы «околдованных», но не утративших доброты, мощи и веры в счастье рабочих:

Все мы близки, все мы братья —
Там, на рейде, в час мечты! (II, 50)

Дальнейший рассказ рабочих строится на постоянных контрастах между тяжелой долей и несломленной волей:

Но, как в сказке, люди в море:
Тяжкой ношей каждый горд...
И, туманным песням вторя,
Грохотал угрюмый порт (II, 51).

Эта героизация «сказочной» силы людей труда проходит красной нитью через всю поэму, обуславливая местами ее подлинно демократический, «горьковский» пафос.

Не менее любопытна в поэме и общая характеристика земной жизни — «этого», посюстороннего мира, который был для Блока I тома, как и для Вл. Соловьева, —

Только отблеск, только тени
От незримого очами,

всего лишь «ускользающие тени суетливых дел мирских», столь ничтожные для поэта, живущего «среди видений, сновидений, голосов миров иных» (I, 106)¹⁵. 2 глава поэмы («Так было»)

¹⁵ Правда, отношение и Вл. Соловьева, и молодого Блока к земной жизни могло быть и иным: земное могло восприниматься как «знак», как проявление высших духовных сущностей и в этом смысле — как исполненное глубокого значения. Однако совершенно ясно, что в любом случае земное само по себе, как самостоятельная высокая ценность, выступать ни в коем случае, в рамках данной эстетической системы, не могло.

начинается с знаменательного прославления жизни и противопоставления ее смерти:

Жизнь была стремленьем,
Смерть была причиной
Несвершенных в мире
Бесконечных благ (II, 51).

Столь же интересно и в 6 главе («Корабли пришли») переосмысление характерного для поэзии молодого Блока образа Красавицы — цели людских стремлений:

А уж там — за той косою —
Неожиданно светла,
С затуманенной красою
Их красавица ждала...
То земля, о, дети страсти,
Дети бурь, — она за вас! (II, 35)

«Земля» здесь — не только традиционный романтический образ достигнутого счастья, антоним «бурного моря» борьбы и страданий. «Земля» здесь — это и понятие, идущее от демократического, реалистического миропонимания, антоним «неба». Не даром «земля» — единомышленница людей. Наконец, «земля» — это и родина — образ, начинающий занимать все более важное место в поэзии Блока. Высшей наградой и целью стремлений оказываются не небеса, а родная земля, к которой причаливают корабли, нашедшие «Нежданную радость» всеобщего счастья. Так рядом с отказом от мнимых мистических ценностей впервые возникают у Блока темы «земли», народа и родины как ценностей реальных.

Не менее важно и определение прекрасных людей поэмы, как «детей страсти». Уже в I томе лирики Блока обращает на себя внимание отталкивание поэта от трактовки этического идеала прекрасной Дамы как идеала аскетического, хотя, казалось бы, именно религиозная этика аскетизма — наиболее естественный вывод из общих посылок философии Вл. Соловьева.¹⁶

¹⁶ Отношение самого Вл. Соловьева к этике было весьма сложным и противоречивым. Не вдаваясь в решение этого вопроса, отметим лишь, что по-видимому, в целом прав Г. Чулков, писавший о стремлении Вл. Соловьева преодолеть аскетизм в своих философских построениях и неумении это сделать, особенно заметном в его поэтической практике: *«Душевное настроение, которое преобладало у Соловьева, несовместимо с любовью и творчеством здесь, на земле <...>»* Всю свою жизнь, во всех своих философских и богословских трудах, Соловьев стремился именно <...> к примирению религии Христа с религией земли, но в минуты поэтического творчества «он не мог не быть откровенным, и тотчас же наступал разлад» (Г. Чулков, Поэзия Владимира Соловьева, «Вопросы жизни», 1905, V, стр. 113, курсив мой — З. М.).

Конечно, попытки преодолеть аскетизм Соловьев делал и в лирике, — но художественный «удельный вес» их не очень значителен. Основная эмоциональная тональность «Стихов о Прекрасной Даме» заметно отличается в этом смысле от общей направленности лирики В. Соловьева. Подробнее этот вопрос освещен нами в статье «Этический идеал в поэзии молодого Блока», подготовленной в настоящее время к печати).

Идеал в «Стихах о Прекрасной Даме» всегда окрашен в характерные тона «радости», «веселья», смеха; мир положительного идеала Блока всегда ярок и красочен (отсюда — огромная роль цветowych и др. сенсорных эпитетов); наконец, этический идеал Блока неразрывно связан с эстетическим — иначе совершенно невозможен был бы цикл «Стихов о Прекрасной Даме». Свой идеал молодой Блок искал постоянно лишь в синтезе «Истины, Добра и Красоты».¹⁷ Однако, несмотря на эти осязаемые черты «земного» в облике Прекрасной Дамы, *осознавалась* она все же именно как «неземной», «нездешний» призрак. Подлинно земные чувства — например, земная страсть, — и Прекрасная Дамы были абсолютно несовместимы. В этом — и слабость, и поэтическая специфика цикла, сотканного из образов лёгких и неуловимых. Положительный идеал человека в «Ее прибытии» окрашен в гораздо более яркие земные тона. Это — в еще большей степени, чем в «Стихах о Прекрасной Даме», — идеал гармонический. Не случайно счастье, за которым гонятся моряки, называется «Нежданной радостью». В главе 4 («Голос в туманах») образ Радости, веселья повторяется вновь и вновь:

... *Веселую* песню запела гроза:
«Печальные люди, усталые люди,
Проснитесь, узнайте, что *Радость* близка!»
Свет маяка —
... «рыщет, он ищет *веселых* открытий»,
... «Как море *ликует!*»
... И мы пробуждались для новой надежды.
Мы знали: Нежданная *Радость* близка (II, 53).

Теперь, однако, эта радость окрашена в гораздо более реальные, «ренессансные» тона, чем в I томе. Люди — «дети страсти», их красота — подлинно земная. Это особенно видно в последней из написанных — 7 главе («Рассвет»). Здесь и яркий темперамент людей:

Буйные толпы, в предчувствии счастья,
Вышли на берег встречать корабли (II, 56),

и пестрота и праздничность народного ликования:

Кто-то гирлянду *цветочную* бросил,
Лодки помчались от *пестрой* земли (II, 56),

и «античная» красота юношей и девушек:

Сильные юноши сели у весел,
Скромные девушки взяли рули (II, 56)

[Интересно, кстати, появление в черновых вариантах античного образа Феба:

... Правящий Феб, рассекая туман,
Дале всё мчал пурпуровые стрелы,
Но не иссяк заповедный колчан (II, 394) —

¹⁷ См.: Юношеский дневник Ал. Блока, «Литературное наследство», т. 27—28, М., 1937, стр. 312, 335 и др.

также, бесспорно, связанного с идеалом гармонически прекрасной жизни].

И, наконец, последняя строка, завершающая картину здешнего, земного, посюстороннего и страстного счастья:

Плыли, и пели, и море пьянело... (II, 56).

Счастье это именно гармонично, всеобъемлюще, как гармоничны и образы людей в «Ее прибытии». Они не только прекрасны, но и добры («Все мы братья»). В этом — коренное отличие рабочих в поэме от, например, героев стихотворения «В кабаках, в переулках, в извивах...». Последние — только «бесконечно красивые», и изображение их имеет отчетливый привкус «бальмовитовского» индивидуализма.

Чтобы закончить характеристику образов людей и «земного бытия» в «Ее прибытии», необходимо остановиться еще на одном моменте. Первые же столкновения Блока с современной ему действительностью порождают у поэта резко отрицательное отношение к городу. В письме к Евг. Иванову Блок пишет о Петербурге, как о «поганом гнилом болоте, где наша удаля маётся и чахнет», с отвращением и ужасом говорит он о городской технике («румянце отвратительных автомобилей»),¹⁸ характерно противопоставляя «автомобили» и мистическую «Зарю». Несмотря на явно ощущающийся мистический тон письма, в нем сквозит то отрицание техники, которое потом станет у Блока частью отрицания буржуазного прогресса. Но одновременно от цикла «Город» идет и вторая, не менее важная для позднего Блока линия — принятие города. Первоначально — это принятие со стороны «чисто эстетической»: город прекрасен (даже в своем безобразии!), его обман — «заманчив» и притягателен. Такое понимание города (возникшее в первую очередь, по-видимому, под влиянием брюсовского «Urbi et orbi») заметно в стихотворениях «Петр», «Вечность бросила в город...», «Город в красные пределы...», «В высь изверженные дымы...» и особенно, пожалуй, в «Гимне». Однако уже в 1904—5 гг. такое «декадентское» (по терминологии Блока) принятие города его не удовлетворяло. Он искал прояснения своего отношения к миру техники. В поэме «Ее прибытие» 5 глава («Корабли идут») — это гимн технике, ее мощи и красоте. Но в первую очередь — это попытка показать гуманное значение техники:

О, цветоносные стебли морей, маяки!
Ваш прожектор — цветок,
Ваши стебли, о цвет океана, крепки!
И силен электрический ток!
И лучи обещают спасенье
Там, где гибнут матросы! (II, 54).

¹⁸ Письма Александра Блока к Евг. Иванову, М.—Л., изд. АН СССР, 1936, стр. 38.

На мгновение появляется антитеза природы, как подлинной ценности, и зыбкого, неверного, «обманного» мира, который создан человеком:

Ты нам мстишь, электрический свет!
Ты — не свет от зари, ты — *мечта* от земли!

Ср. в черновике:

Ты горишь, электрический
свет

Городов и последних

времен (II, 395).

Но этот мотив перебивается утверждением мощи техники и — опять — ее гуманности:

Но в туманные дни ты пронзаешь лучом
Безначальный обман океана...
И надежней тебя нам товарища нет...
... Пусть хранит от подводных чудовищ
Электричество — наша звезда!
Через бурю, сквозь выюгу — вперед!
Электрический свет не умрет! (II, 54—55).

Понимание здешней, земной жизни, как высшей ценности, «ренессансный» идеал гармонического человека (увиденный к тому же в людях из народа), вера в то, что счастье достижимо на земле, а люди могут за него бороться и его достигать, наконец, первые размышления о гуманной роли техники — все это свидетельствует о том, что уже накануне 1905 года Блок начинает испытывать идеологические воздействия систем, весьма далеких и от соловьевского мистицизма, и от субъективизма «декадентов». Начинается (пока еще сравнительно не очень значительное) «облучение» поэта демократическими идеями. Именно оно и обусловило сильные стороны поэмы. Но многое в поэме еще предельно наивно.

Это относится, прежде всего, к пониманию поэтом самой сущности основного конфликта «Ее прибытия». Мы уже говорили о влиянии соловьевских, мистических традиций на понимание Блоком природы социального зла. Но и в понимании сил, противостоящих злу, поэт подчас весьма противоречив. С одной стороны, своих героев — рабочих и матросов — он рисует не только гармонически прекрасными, но и способными к героизму и борьбе: рабочие в поэме — не только «дети страсти», но и «дети бурь», они отважны и смелы. С другой стороны, однако, Блок не может еще отрешиться от представлений о том, что счастье людям дают некие сверхчеловеческие силы, обладающие большей ценностью и мощью, чем люди. Моряки едут за счастьем, но в момент наивысшего напряжения борьбы со злом в действие вступают «высшие» силы. Вначале это — «пророческий голос», в окончательном варианте расшифрованный как «веселая песня» грозы, а в черновом — принадлежащий некоему «вещуну»:

И вот, как посол нарастающей бури,
Старик незнакомый явился толпе.
Он был исполин... (II, 393).

И хотя дальше дается возможность «рационально» истолковать это видение:

...На утесистой круче
Торжественный профиль возник и погас.
То молнья сверкнула в разорванной туче,
А может быть — молнья в расщелинах глаз (II, 393),

однако, совершенно очевидно, что оно ни в коем случае не сведется к такому объяснению.

В дальнейшем снова (особенно в черновиках) возникают образы «высших» мистических сил, приносящих людям счастье. В не вошедшей в окончательный текст финальной сцене это — образ «царя». А по незавершенному дальнейшему замыслу поэма должна была кончаться сошествием на землю «Ее». Правда, эту часть Блок не дописал не случайно, и не случайно исчез «вещун» в главе 4.

Таким образом, авторское истолкование основной сюжетной линии — прихода на землю царства всеобщего счастья — претерпевает некие изменения. Первоначально конфликт трактуется как единоборство мистических сил Добра и Зла, в котором герои — люди, собственно, пассивны и играют подчиненную роль: они либо жертвы зла, либо наслаждаются «сошедшим», «дарованным» им счастьем. Однако по мере работы над поэмой в обстановке надвигающейся революции Блок все большую роль в борьбе за счастье отводит своим «земным» героям. Конфликт приближается к коллизии «Страшного мира»: «*неземным*» (ибо «земное» прекрасно, и земной человек добр) *силам зла* противостоят высокие *человеческие ценности*. Конечно, и поэзию III тома никак невозможно истолковать как последовательно реалистическую (и демократическую), но она, бесспорно, широко впитала в себя реалистические традиции. В «Ее прибытии» — самое начало этого сложного пути. И окончательно отказаться от вмешательства «высших» сил в борьбу за счастье людей поэт еще не может. Совершенно очевидно, почему и теперь, в годы надвигающейся революции, Блок все еще во многом остается во власти прежних концепций.

Дело не только в «негативной» стороне этого процесса — в творческой инерции, равно как и задача — не только в снятии мистических образов. Блок, действительно, пробует убрать явно мистические сцены, но ведь главное состояло в ином: эти сцены надо было заменить чем-то, пока поэту неизвестным. Пока этого нет, мистику можно было заменить лишь ... неясностью и неопределенностью, которыми и страдает большинство немистических сцен поэмы. «Мистическая» инерция поэзии Блока этих лет (в отличие от цикла «Распутья») вызывалась, очевидно, уже

не только верностью прежним догматам, но и отсутствием новых позитивных концепций действительности. Прежде всего, Блок не видит социальных причин появления зла на земле; во-вторых, не до конца верит в творческие возможности человека; в-третьих, не понимает исторически конкретных путей борьбы со злом. Как мы уже говорили, второй из этих неясных моментов начал проясняться уже в процессе работы над поэмой; первый сохранялся вплоть до цикла «Страшный мир» и замечен даже в стихотворениях 1910-х гг. Третий же момент (особенно важный в дни приближения революции) был одной из самых важных точек преткновения для Блока в годы первой русской революции. Стремясь ответить на вопрос о путях замены несправедливого мира справедливым, Блок 1904—5 гг. выдвигает разного рода противоречивые решения. Наиболее часто в науке отмечаются абстрактно-гуманистические размышления Блока о «жальности» к «сытым» (финал «Сытых»), о мирной смене старого мира новым («Поднимались из тьмы погребов...»). Однако в стихотворениях этого периода есть и иного рода показ революции. В ряде стихотворений революция изображена как кровавая борьба, как неизбежность гибели и жертв. При этом Блок 1905 года (в отличие от Блока «Двенадцати») отказывается, однако, понять историческую неизбежность отдельных жертв во имя «целого». Революционную борьбу поэт может принять, лишь начисто «сняв» чем-то ощущение ужаса смерти, трагизма жертвы. Так возникают, с одной стороны, стихотворения, где ужас гибели снят «декадентским» эстетизмом, восприятием лишь внешней, декоративной красоты изображаемого («Шли на приступ. Прямо в грудь...»; ср. также чисто «эстетическое» изображение смерти в таких стихотворениях 1904—6 гг., как «День поблек, изящный и невинный...», «В голубой далекой спаленке...», отчасти — «Сказка о петухе и старушке» и др.). С другой стороны, ужас гибели может сниматься и мистическими размышлениями о смерти как «истинной свободе» («Митинг»). Но в результате этих противоречивых исканий перед нами возникает целая цепь поэтических поисков путей к оправданию революции.

В этом ряду произведений о революции находится и поэма «Ее пришествие». Здесь Блок пытается найти некий новый поворот темы. Он не снимает мотива значимости человеческих страданий (ибо начинает ощущать ценность жизни), но хочет показать и неизбежное напряжение, суровость борьбы за счастье. Реальные формы этой борьбы, однако, пугают Блока. Отсюда и возникает стремление показать борьбу, но в самом обобщенном, «очищенном» от ужасов реальной жизни виде (единоборство моряков с бурей). Напряженность поисков счастья в поэме сохранена, но перенесена из сферы реальной в подчеркнута романтическую и тем самым «оправдана» и опозитивирована:

Гудел океан, и лохмотьями пены
Швырялись моря на стволы маяков.
Протяжной мольбой завывали сирены:
Там буря настигла суда рыбаков (II, 54).

В этой общей картине и смерть («обессиленный труп» утонувшего матроса) не «эстетизирована», не «снята» мистикой, но и не трагична, т. к. воспринимается как часть не жизненно реального, а обобщенно-условного целого. Таким образом, в «Ее прибытии» Блок, по существу, впервые стремится показать суровость революции.

Однако предельно обобщенный конфликт поэмы был, одновременно, и предельно неопределенным. А при попытке расшифровать эти неясные образы мы вновь наталкиваемся на то, что единственно возможное истолкование их ведет к поэтической инерции I тома. Вместе с тем, по сути дела, оказалась поэтически не решенной и тема суровости борьбы: в поэме явно преобладают тона оптимистические, но утопические. Вопрос о том, как же все-таки, какими реальными путями достигается всеобщее счастье, оставлен без ответа, — а само это счастье раскрыто в характерном образе «Нежданной Радости».

С этими особенностями связана и специфика художественной ткани поэмы. Как справедливо отметил Г. Ременик,¹⁹ Блок в поэме впервые пытается создать эпические образы (т. е. раскрывающие не тот или иной аспект «я» поэта, а сущность каких-то вне его развивающихся событий).²⁰ Однако образы поэмы — это пока либо образы-символы («буря», «корабли»), либо образы, предельно неиндивидуализированные, картины явлений «вообще». Характерно, например, отсутствие образов отдельных людей. Столь же общи и ситуации — поэтому в рассказе о пути «кораблей» много традиционного, художественно неоригинального (напр., появление то брюсовских, то бальмонтовских характерных стиливых и интонационных поворотов). В этом смысле «Ее прибытие» значительно менее оригинально, чем многие стихи 1904—5 гг.

Блок и сам ощущал художественную неполноценность многих мест поэмы. В письме к А. Белому от 23 декабря 1903 г. он жаловался, что пишет поэму «туго, гладкими стихами, часто старательно».²¹ Тем интереснее несколько неожиданный замысел конца поэмы. Говоря о том, что «на корабле должна прибыть Она», Блок так воображает себе детали этой несозданной сцены: «На корабле — бочка, самая простая, так — среди других

¹⁹ Г. Ременик, ук. соч., стр. 21.

²⁰ Современные исследователи (см., например, Л. Долгополов, ук. соч., стр. 3) неопровержимо доказали связь обращения Блока к жанру поэмы со стремлением преодолеть субъективизм «лирического начала» его творчества.

²¹ Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, М., изд. Гослитмузея, 1940, стр. 120.

тыков и боченков. В бочке — *ребенок*. Все это только канва, но на канве появился самый реальный, страшно глупый, *Добрый*, мохнатый щенок с лиловым животом, по которому ходят блохи. Если я останусь правдивым, то заменю ребенка в бочке именно таким щенком».²² Этот отрывок из блоковского письма задает читателю, по меньшей мере, две загадки. Первая из них имеет отношение к этическим размышлениям Блока этих лет, вторая — к его эстетическим поискам.

Почему Прекрасную Даму сопровождает ребенок, неожиданно превратившийся... в щенка? Ответ на этот вопрос дает образ ребенка, «причастного тайнам», в стихотворении «Девушка пела в церковном хоре...», и, особенно, строки из стихотворения «Ты проходишь без улыбки...»:

Я хочу внезапно выйти
И воскликнуть: «Богоматерь!
Для чего в мой черный город
Ты Младенца привела?» (II, 177).

Речь идет о Христе, который и должен был символизировать спасение человечества в финале поэмы. Но, как известно, именно в это время, в период надвигающейся революции, отношение Блока к Христу стало особенно отрицательным. Незадолго до написания процитированного выше письма он признавался А. Белому, что образ Христа ему чужд и далек: «Христос, я знаю это, никогда не был у меня, не ласкал и не пугал, никогда не дарил мне ни одной игрушки, а я всегда капризничал и требовал игрушек».²³ Стремление преодолеть холод христианства, столь далекого поэту аскетизма, и, вместе с тем, сохранить идею Доброты, гуманности, связанную в сознании Блока этих лет с христианством, заставляет его искать «своего, полевого Христа» (II, 21), т. е., по сути, пантеистически обожествлять «добрую» природу, противопоставленную миру людей. В предисловии к сборнику «Нечаянная радость» Блок пишет: «Пробудившаяся земля выводит на лесные опушки маленьких мохнатых существ <...> Я привязался к ним только за то, что они — добродушные и бессловесные твари, — привязанностью молчаливой, ушедшей в себя души, для которой мир — балаган, позорище» (II, 369). Это характерное для Блока 1904—5 гг. сочетание мистики с зарождением демократических представлений (антитеза: «природа» — «город») и заставило его сменить Младенца на... «маленького мохнатого» Щенка. Щенок этот (как и «Болотный попик» в «Пузырях земли») — носитель доброго начала («Добрый» — называет его поэт), но не отвлеченно-аскети-

²² Там же, стр. 120.

²³ Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, стр. 25. Широко известны и аналогичного рода высказывания Блока этих лет в письмах к Евг. Иванову.

ческого, а самого простого, милого и близкого. Щенок, для Блока, поэтому «человечнее» Христа.

Однако не реализованный в поэме образ Щенка имел и другой смысл. Вся обстановка его появления «среди других тюков и боченков», его вид: «Мохнатый щенок с лиловым животом, по которому ходят блохи», — подтверждает блоковскую характеристику этого своеобразного героя — *«самый реальный»*. С одной стороны, Блок, по-видимому, стремился отойти от отвлеченно-символического изображения «жизни вообще» к показу данного, неповторимого, как «лиловый живот» у Щенка... С другой стороны — что особенно важно, — «сниженные», «реальные» бытовые детали характеризуют не отрицаемый поэтом мир (поворот, весьма типичный и для «соловьевца» — романтика), а именно мир положительный. Идея ценности земного, «земли», выраженная в написанном тексте поэмы лишь декларативно, должна была получить решение практически — художественное, воплотиться в ткани образа как представление о совместимости «высокой» сущности явления и его конкретного, неповторимого, реального жизненного облика. В 1904 году Блок этой задачи решить не мог — да и поставлена она, в забавном эпизоде со щенком, еще до смешного наивно. Но в дальнейшем один из важнейших, магистральных путей Блока к передовым идеям века пройдет именно через представление о том, что все, связанное с Человеком, с его данным, реальным, земным бытием, — достойно поэзии. Через цикл «чердачных» стихотворений и «Вольные мысли» это представление войдет в лирику III тома, в «Возмездие» и, наконец, обусловит существенные стороны эстетики «Двенадцати».

Вместе с тем, не только намеченные к реализации, но и реализованные стороны «Ее прибытия» немаловажны для дальнейшей эволюции поэта. Многие старые проблемы (идеал гармонической жизни) были решены в ней по-новому; многое (например, образы рабочих-борцов, вопрос о трудностях борьбы со злом) впервые появилось в «Ее прибытии», а затем нашло свое более зрелое решение в творчестве Блока 1910-х гг. и периода Октября.

А. ЧЕХОВ И ЛЕОНИД АНДРЕЕВ.

В. И. Беззубов

Вопрос об особенностях критического реализма XX века, исследование сложной литературной борьбы данной эпохи, создание подлинно научной картины историко-литературного процесса в целом невозможно без изучения связей, традиций, взаимных притяжений и отталкиваний, без уяснения того, на что пытались опереться те или другие писатели в своем новаторстве (подлинном или мнимом).

Именно из-за необыкновенной пестроты и обилия литературных группировок, из-за сложности литературной борьбы в этот период конкретно-историческое изучение творческих связей и взаимоотношений позволит, думается, с большим успехом, чем в монографическом исследовании, установить какие-то общие тенденции, направления, закономерности развития. Лишь сравнивая и сопоставляя различные явления сложной литературной жизни, близкие и разные идейно-эстетические установки, можно определить место данного явления в ряду других и, стало быть, исторически объективно оценить его. Отсюда вытекает настоятельная необходимость изучения сопоставительных тем.

В ряду многих сопоставительных тем очень важное место займут исследования, связанные с именем А. П. Чехова.

Творчество Антона Павловича Чехова завершает классический период развития критического реализма в русской литературе. Но Чехов не только продолжает, развивает и завершает, но и открывает новые пути. Он оказал и продолжает оказывать огромное влияние на развитие всей мировой литературы XX века, о чем свидетельствуют высказывания крупнейших писателей различных стран мира, тот литературный резонанс, который по сей день вызывают его произведения.¹

¹ См. статьи «Чехов во Франции», «Чехов в Чехословакии», «Чехов в Соединенных штатах Америки», «Английские писатели о Чехове», в кн.: «Литературное наследство», т. 68, М., изд. АН СССР, 1960.

Чехов начал литературу XX века. Уже многими современниками Чехова его творчество осмысливалось как начало нового этапа в развитии литературы. Прочитав «Даму с собачкой» Чехова, М. Горький пришел к выводу об исчерпанности старого реализма, о необходимости поисков новых путей в литературе. «Знаете, что Вы делаете? — писал Горький Чехову в начале 1900 года. — Убиваете реализм. И убьете Вы его скоро — насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время — факт. Дальше Вас никто не может идти по сей стезе <...>. Да, так вот, — реализм Вы укокошите. Я этому чрезвычайно рад. Будет уж! Ну его к черту!»² Критик Волжский довольно точно выразил широко распространенную в то время точку зрения на значение творчества Чехова: «Часто говорят, что Чехов заключительное звено, последнее слово той школы русской литературы, которая берет свое начало в Гоголе, что в Чехове замыкается круг литературного развития, зачатый в Гоголе. Но Чехов не только заключительная точка, но и исходная. «Чехов не только конец, но и начало», — пишет один из его недавних критиков, возражая другому, который ища новых путей захотел ликвидировать сче́ты с Чеховым. Да, Чехов не только конец, но и начало».³ Правда, это чеховское «начало» разные писатели понимали по-разному, нередко интерпретируя творчество Чехова в согласии с собственной или групповой идейно-эстетической установкой. Горький, почувствовав, что Чехов «убивает реализм», увидел дальнейший путь развития в героическом искусстве. Волжский, в отличие от Горького, находит новое чеховское в том, что «реализм незаметно, чудодействием творческого гения, претворяется в импрессионизм.»⁴ Более того, Волжский пытается вывести из чеховского творчества близкую себе религиозно-мистическую идею,⁵ совершенно враждебную, противную всему духу Чехова. Здесь мы вступаем в область интерпретации, разного понимания и восприятия чеховского творчества.

Чехов был лично знаком, переписывался и встречался с большинством виднейших представителей критического реализма конца XIX — начала XX веков. В литературе начала XX века довольно много последователей и прямых подражателей Чехова. С полным правом можно говорить о «чеховской школе», о сильном чеховском влиянии на творчество многих и разных писателей того времени. Многие писатели (Л. Андреев, Куприн) сами говорили о влиянии Чехова на свое творчество. Об этом писала и критика. В статье «О реалистах» А. Блок, например, выделяет

² М. Горький, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 28, М., Гослитиздат, 1954, стр. 113.

³ Волжский, Из мира литературных исканий, СПб., изд. Д. Е. Жуковского, 1906, стр. 182.

⁴ Там же.

⁵ См. там же, стр. 190.

в современной ему литературе большую группу «чеховцев», пишет о «чеховской литературе», о наследниках Чехова.⁶

Тем не менее вопросы творческих связей Чехова, вопросы его влияния на литературу в своих конкретных проявлениях изучены явно еще недостаточно. Исследователей интересовала главным образом тема «Горький и Чехов».⁷ В 1960 г. в томе «Литературного наследства», посвященном Чехову, опубликованы очень интересные статьи И. В. Корецкой «Чехов и Куприн», А. К. Бабореко «Чехов и Бунин», Э. А. Полоцкой «Чехов и Мейерхольд». В качестве вступительных статей к публикациям писем к А. П. Чехову вышеназванные работы имеют несколько сжатый, комментаторский характер и не претендуют на глубокое и детальное сопоставление творчества. Тем не менее и эти статьи открывают много нового, заставляют задуматься, указывают на необходимость дальнейших углубленных исследований. А список подобных тем для сопоставления можно продолжить.

Необыкновенно важным представляется нам исследование темы «Андреев и Чехов». В начале своей литературной деятельности Л. Андреев прямо пытался писать «под Чехова».⁸ Кстати, Д. Мережковский, чуткий к особенностям стиля, писательской манеры, сразу же почувствовал какую-то близость Андреева к Чехову. Прочитав рассказ «Жили-были» в журнале «Жизнь», он запрашивал редакцию: «Кто скрывается под псевдонимом Леонид Андреев: Максим Горький или А. П. Чехов?»⁹ В 1908 году Андреев, отвечая на вопрос, «кто из художников более других влиял на него», написал В. Львову-Рогачевскому: «Как на художника оказали и оказывают влияние: Библия, Гаршин, Чехов, Толстой, Э. Поэ и очень мало Достоевский, еще пожалуй Гамсун, Метерлинка не люблю и русских декадентов совсем не люблю».¹⁰ Даже в период наибольшего увлечения своим «неореализмом», работая над пьесами «Жизнь человека» и «Царь Голод», Андреев называет себя «продолжателем Чехова». Выступив с идеями психологического театра в «Письмах о театре» (1911—1913), он вновь обращается к Чехову.

⁶ См. Александр Блок, Собрание сочинений, т. 5, М.—Л., Гослитиздат, 1962, стр. 117, 119.

⁷ См. Е. Б. Тагер, Горький и Чехов, в сб.: Горьковские чтения 1947—1948, М.—Л., изд. АН СССР, 1949; И. В. Сергиевский, Горький и Чехов, в кн.: М. Горький и А. Чехов, Переписка, статьи, высказывания, М., Гослитиздат, 1951; см. также шестую главу в кн.: Ю. Юзовский, Максим Горький и его драматургия, М., «Искусство», 1959.

⁸ См. Валентин Булгаков, Л. Н. Толстой в последний год его жизни, Гослитиздат, 1960, стр. 188.

⁹ В. Львов-Рогачевский, Две правды, СПб., «Прометей», 1914, стр. 44.

¹⁰ Там же, стр. 51—52. разрядка Л. Н. Андреева. Ниже неоговоренная разрядка везде также авторская.

Таким образом, Андреев на протяжении почти всего творческого пути думал о Чехове, в своих исканиях стремился опереться на Чехова. Однако пока никто не пытался выяснить, в чем причины этого интереса Андреева к Чехову, в чем заключаются подлинный смысл и результаты андреевского «продолжения» Чехова.



Область личных взаимоотношений Чехова и Андреева довольно бедна сколько-нибудь значительными событиями и фактами. В январе 1910 г., приехав в Москву на юбилейное «чеховское утро» в Художественном театре, Андреев в одном интервью немного говорил о своих встречах и характере знакомства с А. П. Чеховым: «Я мало знал его. У меня с ним было всего каких-нибудь четыре-пять встреч...

Меня давно просили написать о нем, но я всегда отказывался: то, что я мог бы рассказать, носило бы страшно поверхностный характер.

Могу сказать одно: Чехов был именно тот самый очаровательный человек, каким его описывал на утре И. А. Бунин. (Речь идет о выступлении И. А. Бунина со своими воспоминаниями об А. П. Чехове в Художественном театре 17 января 1910 г.). И хотя я видел его мало, для меня были необыкновенно приятны минуты, проведенные в его обществе.»¹¹

Л. Андреев познакомился с Чеховым в Москве в октябре 1900 года. Встречались они и в декабре 1901 года. 18 марта 1902 г. Андреев с женой были у Чехова в Ялте.¹² Чехов подарил Андрееву свою фотографию с надписью: «Леониду Николаевичу Андрееву на добрую память от ялтинского отшельника» (XX, 346). По-видимому, в марте Андреев и Чехов виделись еще несколько раз. 27 марта Андреев подарил Чехову свой первый сборник «Рассказов» (2-е издание), а 29 марта — фотографию.¹³ Виделись они также в ноябре 1902 г., в январе 1904 г., в феврале — на «Среде» у Телешова, 24 марта 1904 г. — в Ялте. К сожалению, о содержании бесед Чехова и Андреева знаем мы очень мало. Из письма Чехова к О. Л. Книппер от 25 марта 1904 г. узнаем, что говорили о Московском Художественном театре, о постановке «Юлия Цезаря» (см. XX, 256). В одну из

¹¹ С. Спиро, У Леонида Андреева. — «Русское слово», 1910, № 14. 19 января.

¹² См. А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, т. XIX, М., Гослитиздат, 1950, стр. 268. В дальнейшем всюду в скобках указываются том (римской цифрой) и страницы (арабской цифрой) данного издания.

¹³ См. Н. И. Гитович, Летопись жизни и творчества А. П. Чехова, М., Гослитиздат, 1955, стр. 702—703.

встреч говорили об Ибсене.¹⁴ Знаем еще, что Чехов убеждал Андреева больше писать, чаще выступать в печати. Одну из таких бесед передает А. Кауфман: «Чехов, который как и Горький и Михайловский, ценил дарование Андреева сказал ему однажды: — А вы, Л<еонид> Н<иколаевич>, могли бы и должны были бы писать каждый день по рассказу.

— Где брать сюжеты каждодневно? — спросил Андреев.

— Сюжеты будут возникать у вас сами собою, — ответил А<нтон> П<авлович>».¹⁵

В письме к О. Л. Книппер от 7 декабря 1901 г., характеризуя Андреева-писателя, Чехов тоже говорит о необходимости для Андреева больше писать: «Леонида Андреева я читал еще в Москве, затем читал его, едучи в Ялту. Да, это хороший писатель; если бы он писал чаще, то имел бы больший успех. В нем мало искренности, мало простоты, и потому к нему привыкнуть трудно. Но все-таки рано или поздно публика привыкнет и это будет большое имя»¹⁶ (XIX, 187). А. П. Чехов в этой первой характеристике творчества Андреева, на основе лишь первого сборника рассказов, отмечает основные недостатки молодого писателя: «мало искренности», «мало простоты». И в дальнейшем, высказываясь о некоторых отдельных произведениях Андреева, он указывает на те же недостатки.

Наиболее отрицательный отзыв дает Чехов рассказу Андреева «Мысль». «Мысль» Андреева, — пишет он М. Горькому 29 июля 1902 г., — это нечто претенциозное, неудобопонятное и, по-видимому, ненужное, но талантливо исполненное. В Андрееве нет простоты, и талант его напоминает пение искусственного соловья» (XIX, 315). История сумасшествия доктора Керженцева, рассказанная с действительно мрачным, пугающим захватом, страшная картина распада индивидуалистического разума не захватывает Чехова. Чехову были неприемлемы в рассказе Андреева исключительность события, преднамеренная за-

¹⁴ См. Л. Андреев, Письма о театре. В сб.: Альманах издательства «Шиповник», кн. 22, СПб., 1914, стр. 258.

¹⁵ А. Кауфман, Андреев в жизни и своих произведениях. — «Вестник литературы», 1920, № 90, стр. 3.

Кстати, позже именно за большую плодовитость Андреева упрекали Л. Толстой и многие критики. Под влиянием критики сам Андреев также начал опасаться чрезмерной творческой плодовитости. В октябре 1909 г. он «из литературы взял отпуск на год», собирался весь год ничего не печатать. (Архив Музея МХАТ, ф. Н.—Д., № 3143/6). 30 ноября 1916 г. он пишет К. С. Станиславскому: «Боюсь только, что очень я плодовит и из двенадцати щенков, которых я приношу ежегодно, одиннадцать надо топить, а одного оставлять». (Архив Музея МХАТ, ф. Ст., № 11617).

¹⁶ А. П. Чехов в данном случае отвечал на вопрос, заданный в письме О. Л. Книппер: «Отчего ты мне ничего не пишешь, какого ты мнения о Леониде Андрееве, или ты его не читал? <...> Мне нравится «Молчание» и «Жили-были», а остальное неособенно». (Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер, т. 2, М., Гослитиздат, 1936, стр. 123—124.

данность, сознательное нагнетение ужасного. Ко всему этому Чехов относится очень иронически. «Пишу я рассказ, но он выходит таким страшным, что даже Леонида Андреева заткну за пояс» (XIX, 389), — сообщает он жене в декабре 1902 г. Чуждой Чехову должна была быть и вся проблематика рассказа Андреева. Несомненно, в «Мысли» Андреев намного ближе к Достоевскому, чем к Чехову. Доктор Керженцев, главный герой андреевского рассказа, сродни «подпольному человеку» Достоевского. Он совершает подлости «от ума», от стремления «самому себе доказать», что может, способен переступить через законы «ходячей морали». Чтобы доказать это, он, например, украл у своих товарищей, голодных студентов, 15 рублей и «с аппетитом съел» в ресторане «ненужно-роскошный обед»,¹⁷ заказанный на эти деньги. В круге идей Достоевского находится и проблема гордого индивидуалистического разума, показ его бессилия и краха. Чехов, как известно не очень любил Достоевского: «Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претензий». (XIV, 323). Претенциозность, как мы видим, отмечает Чехов и в рассказе Андреева.

Если учесть большую сдержанность Чехова в оценке творчества других писателей, то его отзыв о «Мысли» чрезвычайно резок. Однако несмотря на это, Чехов по-прежнему продолжает интересоваться Андреевым. В письмах к общим знакомым он просит сообщить об Андрееве (см. XIX, 248), спрашивает, «как Л. Андреев отнесся к письму С. А. Толстой» (XX, 48). Письмо С. А. Толстой с призывом «не читать, не раскупать, не прославлять» «сочинения господ Андреевых»,¹⁸ написанное в поддержку Буренина, возмутило Чехова. «А ты читала статью С. А. Толстой насчет Андреева? — пишет Чехов жене. — Я читал, и меня в жар бросало, до такой степени нелепость этой статьи резала мне глаза. Даже невероятно. Если бы ты написала что-нибудь подобное, я бы посадил тебя на хлеб и на воду и колотил бы тебя целую неделю. Теперь кто нагло задерет морду и обнахальничает до крайности — это г. Буренин, которого она расхвалила» (XX, 44). Буренин, а вслед за ним и С. А. Толстая, выступили против рассказа Л. Андреева «В тумане». Чехов, напротив, очень высоко оценил его в письме к О. Л. Книппер: «В тумане» очень хорошая вещь, автор сделал громадный шаг вперед; только конец, где распарывают живот, сделан холодно, без искренности» (XX, 33). В письме к Андрееву Чехов несколько более подробно раскрывает достоинства этого рассказа: «Иностранец» мне очень понравился. И «Иностранец» и «В ту-

¹⁷ Леонид Андреев. Полное собрание сочинений, т. 2, СПб, издание т-ва А. Ф. Маркс, 1913, стр. 104. В дальнейшем всюду в скобках указываются том и страницы (арабскими цифрами) данного издания.

¹⁸ «Новое время», 1903, № 9673, 7 февраля.

мане» — это два серьезные шага вперед. В них уже много спокойствия, авторской уверенности в своей силе, в них мало авторской нервности. Беседа отца с сыном «В тумане» сделана спокойно, и за нее меньше не поставишь, как 5.»¹⁹ Оба эти отрывка написаны до появления письма С. А. Толстой.

Беседа отца с сыном в рассказе Андреева, которую Чехов оценил так высоко, вскрывает фальшь их взаимоотношений. Фальшивы с начала до конца все рассуждения отца о Толстом, о цивилизации, об алкоголизме и разврате, совершенно не нужны приводимые им в подтверждение своих умных мыслей поразительные статистические данные. И отец и сын сознают, что говорят и делают не то, что говорить нужно совсем о другом, о жизненно важном для обоих. Но отец, Сергей Андреевич, продолжал говорить, вдохновляясь от собственных слов, «смеялся, закруглял слова и жесты, самодовольно помахивал рукою» (7,145), а «Павел выражал на лице изумление и ужас, вставлял вопросы и изредка восклицал: «Черт знает, что такое! Да неужели твоя статистика не врёт?» (7,144). Вместо разговора отца с сыном о наболевшем, умная беседа чужих людей, в крайнем случае хороших знакомых. Люди делают не то, часто противное своим личным интересам и устремлениям. Стихия жизни властно ведет людей по своим, никому неизвестным путям. Тоскующий о чистой любви, способный к любви мечтательный юноша заражается грязной болезнью, добрый образованный отец желает установить с сыном дружеские отношения, добиться взаимопонимания, а получается ложь. Все не то, все не так. Жизнь людей призрачна в своей бессмысленной и скучной нелепости, нескладности, протекает «в тумане», окрасившем все «в тревожный темно-желтый цвет» (7, 124). Как определяет Н. Я. Берковский, это «самая страшная из чеховских тем: жизнь людей бежит по рельсам, которых не видно, однако, же рельсы проложены, определяют направление, начало и конец событий, помимо людей и против воли людей быт делает с ними, что захо-

¹⁹ Письма А. П. Чехова к Л. Андрееву не сохранились. Этот отрывок из письма приведен в книге В. Львова-Рогачевского «Две правды. Книга о Леониде Андрееве» (СПб, «Прометей», 1914, стр. 65). Одно письмо Л. Андреева к Чехову от 4 января 1903 г. опубликовано в сборнике «Реквием» (М., «Федерация», 1930, стр. 62—63), посвященном памяти Л. Андреева. В этом письме Андреев обращается к Чехову с просьбой дать рассказ для предлагавшегося сборника, который собиралась издать газета «Курьер». В связи с закрытием газеты на три месяца редакция надеялась сохранить подписчиков и преодолеть материальные трудности, издав сборник «с участием крупнейших литературных сил». Однако издать сборник не удалось.

А. П. Чехов интересовался газетой «Курьер». Как видно из письма Андреева, Чехов выразил свое сочувствие редакции в связи с закрытием газеты. В декабре 1902 г. он дважды обращается к жене с просьбой поговорить с Андреевым, чтобы ему высылали в 1903 году газету. (см. XIX, 389 и 394).

чет, склоняет их и спрягает их по собственной своей грамматике».²⁰

А люди тоскуют по свету, по иной, более осмысленной жизни. Думая «о жизни, в которой все непонятно и совершается с жестокой необходимостью», «о множестве людей, которые испокон веков хотят устроить свою жизнь и не могут», Павлу Рыбакову «так захотелось света, широкого и ясного, что даже заломило в глазах» (7,124).

У Чехова тоска о светлом, вера в будущее звучит сильнее, этим мотивом обычно кончаются его произведения последних лет. У Андреева люди «испокон веков хотят устроить свою жизнь и не могут» (Разрядка моя — В. Б.) Доктору Королеву в чеховском рассказе «Случай из практики» (1898) «как-то все думалось о свайных постройках, о каменном веке» (IX, 311), хотя видел он пять фабричных корпусов с паровыми двигателями и электричеством. Иван Великопольский из рассказа «Студент» (1894) «думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше» (VIII, 346). Но оба чеховских рассказа кончаются ожиданием, предчувствием счастья. Королев «думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такую же светлой и радостной, как это тихое, воскресное утро» (IX, 314). Глубокая надежда, что когда-нибудь должна же измениться эта «нескладная, несчастливая жизнь», вера в лучшее будущее, в исторический прогресс пронизывает и последние пьесы Чехова. От «Дяди Вани» к «Вишневому саду» эта надежда становится все увереннее, отчетливее, перерастает в убежденность.

Рассказ Андреева «В тумане» кончается концентрированно грубо и мрачно. Павел убивает в драке пьяную проститутку, в беспамятстве нанося все новые и новые удары в уже мертвое тело, и тем же ножом, «облепленным хлебным мякишем», закалывается сам. Туман продолжает царствовать: «В ту ночь, до самого рассвета, задыхался в свинцовом тумане холодный город. Безлюдны и молчаливы были его глубокие улицы, и в саду, опустошенном осенью, тихо умирали на сломанных стеблях одинокие, печальные цветы» (7,157). Конец андреевского рассказа, как уже было отмечено, Чехову не понравился, показался холодным, неискренним.

Оба писателя говорили о том, что есть и было «испокон веков», однако в этом проявилась и очень существенная раз-

²⁰ Н. Я. Берковский, Статьи о литературе, М.—Л., Гослитиздат, 1962, стр. 424—425.

ность во взглядах. Чехов видел в настоящем силу прошлого, видел продолжение дикости, темноты, бедности, рабства. В современности продолжает еще существовать «печенег». Однако и дикость, и бедность, и рабство он считал преодолимыми, исторически преходящими. «Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент»,²¹ — возражал он, как вспоминал И. А. Бунин, против общераспространенного мнения о смысле своего творчества.

Андреев, напротив, нередко терял веру в исторический прогресс, и зло, низменные страсти, тьма, вражда людей начинали представляться ему извечными. Уже во многих ранних рассказах («Петька на даче», «Ангелочек») он показывает, как жизнь жестоко разбивает иллюзии, как временна, преходяща в ней радость. Концовки обоих рассказов по сути дела одинаковы: маленькие герои после недолгой радости возвращены к прежнему своему положению, отчего их обычная, каждодневная жизнь становится еще более невыносимой. В дальнейшем Андреев, стремясь разрешить «проблему бытия», проблему смысла и назначения человеческой жизни, в некоторых случаях полностью отказывается от изображения черт конкретно-исторической эпохи, а прямо говорит о «вневременном» и «внепространственном», возводя современное ему состояние общества и человека в ранг вечного.

В рассказе Андреева «В тумане» Чехова могла привлекать еще одна сторона. Трезво анализируя и оценивая общественно-политические идеи своего времени Чехов вскрывал их несостоятельность и бесперспективность, их узость и ложность. Он отверг не только народничество и толстовство, но и мнения, идеи и ходячие представления современного ему общества в их совокупности. И в результате его стали называть индифферентным, даже беспринципным писателем, далеким от «проклятых вопросов» общественности. Андреев, вскрыв фальшь в добродетели

²¹ Чехов в воспоминаниях современников, второе, доп. изд., Гослитиздат, 1954, стр. 480.

Вопрос о пессимизме и оптимизме Чехова волновал Андреева довольно длительное время. Этот вопрос затрагивал он в ряде фельетонов и в статье о пьесе «Три сестры». По этому же вопросу он решил внести свои добавления к воспоминаниям Бунина. В интервью, данном после «чеховского утра» в Московском Художественном театре, Андреев вспоминал: «И. А. Бунин между прочим рассказывал, что Чехов не любил слова «пессимист». К этому могу добавить, как при первой или второй встрече с ним, я, по молодости лет, спросил у Антона Павловича; что он — пессимист или оптимист. Он мне ответил:

— Оптимист... Ну, конечно, оптимист!..

Я очень удивился.

— А что же говорят, что вы пессимист?

Дословно он мне ответил на это:

— Нет!.. Это в Одессе выдумали!.. (С. Спиро, У Леонида Андреева, — «Русское слово», 1910, № 14, 19 января).

тельных рассуждениях Сергея Андреевича о цивилизации, указывает на общераспространенность подобных идей. «Сергей Андреевич был умный и хороший человек, — пишет Андреев, — и думал все то, что думали умные и хорошие люди его страны и его времени, учившиеся в одних и тех же школах и читавшие одни и те же хорошие книги, газеты и журналы» (7,142). Андреев показал, что умные и хорошие люди его страны и его времени пришли к идейному банкротству, сами уже изверились в своих идеях, но продолжают еще по инерции говорить, доказывать, учить.

В советском литературоведении довольно прочно утвердился мысль, что положение Чехова «вне партий» на данном историческом этапе признак не только слабости, но и силы, что «аполитизм» Чехова был «отрицанием политики, оказавшейся исторически несостоятельной».²² Но при этом не учитывается, что стремление отгородиться от партийной борьбы, от политических группировок — вообще характернейший признак общедемократической позиции. Большинство писателей с общедемократическими взглядами (Андреев, Бунин, Куприн, Найденов и др.) сознательно сторонились от близкого участия в каких бы то ни было группировках и печатных органах с ярко выраженной политической программой. Этим они отличались как от реакционных журналистов и писателей, так и от символистов. Это был «аполитизм» особого рода, очень далекий от декадентского. Декаденты, резко критиковавшие писателей демократического направления за тенденциозность, стремились свой аполитизм и «искусство для искусства» возвести в узкий групповой принцип, отличающий их от инакомыслящих. Писатели-демократы не чуждались в своем творчестве острых общественных, социальных и даже политических вопросов, а напротив сосредоточили свое внимание на них. Не сторонились они и объединений, образовав «Среду», группируясь вокруг журналов «Жизнь», «Журнал для всех», вокруг издательства «Знание». Наоборот, они стремились к объединению, к участию в массовых организациях, к действию сообща, игнорируя часто при этом имеющиеся расхождения во взглядах. Для них не было совершенно безразличным направление журнала, в котором они сотрудничали. После появления в «Журнале для всех» статьи Волжского²³ с проповедью религии и критикой марксизма большая группа писателей выступила с протестом, отказываясь от сотрудничества. В феврале 1904 г. Андреев писал В. С. Миролубову: «Как ни разнятся мои взгляды с взглядами Вересаева и других, у нас есть один общий пункт, отказаться от которо-

²² Ю. Юзовский, Максим Горький и его драматургия, М., «Искусство», 1959, стр. 275.

²³ «Литературные отголоски. По поводу книги г. Булгакова». — «Журнал для всех», 1903, № 12.

го — значит на всей нашей деятельности поставить крест. Это — «царство человека должно быть на земле». Отсюда призывы к богу нам враждебны, а поскольку откровенный спор в этой области совершенно невозможен по цензурным условиям — нам остается единственный способ протеста: уход из органа, где проводятся враждебные нам начала».²⁴

Подобная позиция не свидетельствует об отсутствии мировоззрения, даже о расплывчатости мировоззрения, а является проявлением особых и определенных общедемократических взглядов, исторически вполне объяснимых и закономерных. «Его упрекали в отсутствии миросозерцания. Нелепый упрек! — писал М. Горький в 1900 г., защищая Чехова от обвинений критиков, — <...> У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание — он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения».²⁵ Сам Горький в это время стоит еще на общедемократических позициях, что проявляется и в приведенном отрывке как представление о высшей точке зрения. И напрасно Е. П. Охременко в статье «А. П. Чехов в оценке дореволюционной марксистской критики» причисляет М. Горького к критикам-марксистам, что вынуждает его делать особые разъяснения по поводу позиции писателя в этот период.²⁶

Можно заметить, что и критик-марксист М. Ольминский не склонен был в то время винить Чехова за отсутствие четкой и определенной позиции. «От Чехова, — писал он, — как от музыканта или архитектора, нет надобности требовать определенного мировоззрения. Может быть, наличность последнего была бы ценным приобретением для людей того направления, к которому примкнул бы Чехов. Но этот Чехов не был бы нынешним Чеховым».²⁷

²⁴ Литературный архив, 5, М.—Л., изд. АН СССР, 1960, стр. 106.

²⁵ М. Горький, Собрание сочинений в 30 томах, т. 23, М., Гослитиздат, 1953, стр. 316.

²⁶ См. Антон Павлович Чехов. Сборник статей, Ю.-Сахалинск, 1959, стр. 66—69.

Общедемократический характер позиции Горького в этот период необыкновенно характерно выразился и в отношении к журнальной борьбе. Например, в январе 1899 г. М. Горький пишет А. П. Чехову: «<...> «Жизнь» имеет тенденцию слить народничество и марксизм в одно гармоничное целое. Такова, по крайней мере вначале, была ее задача. Теперь марксисты, которые обещали участвовать в ней, провели Поссе за нос и основали свой журнал «Начало». Я всех этих дел не понимаю. Скажу откровенно, что неслестно думаю я о питерских журналистах, думаю, что все эти их партии — дело маложизненное, в котором бьется больше личного самолюбия не очень талантливых людей, чем душ, воспламененных желанием строить новую, свободную для человека жизнь на обломках старой, тесной». (М. Горький, цит. изд., т. 28, стр. 56).

²⁷ М. Ольминский, По литературным вопросам, М.—Л., Гослитиздат, 1932, стр. 102—103.

Леонид Андреев также защищал Чехова от обвинений критики в том, что у писателя нет определенного мирозерцания. 2 сентября 1901 г. в одном из своих фельетонов он писал: «Повторяется та же история, что и с А. П. Чеховым, которого когда-то упрекали в полном отсутствии определенного мирозерцания на том основании, что нынче он с удовольствием рассказывает о том, как чиновники в винт играют, а завтра с таким же удовольствием повествует о самоубийстве гимназиста. Только прочтя целый ряд этих рассказов и повестей да поразмысливши над ними, увидели, что А. П. Чехов все время и очень упорно бьет в одну и ту же точку».²⁸

Конечно, в период обострения классовой борьбы в такой позиции стали сказываться черты известной исторической ограниченности, особенно ярко проявившиеся в период революции 1905 года. В речи на III Всероссийском съезде профсоюзов В. И. Ленин отметил, что «классовая борьба в России полностью оформилась к 1900 году».²⁶ С этого исторического рубежа положение писателей общедемократического направления становится довольно сложным. Однако первоочередная важность решения общедемократических задач в революции создает условия для демократических сил сохранить свое прогрессивно-историческое значение и на этом этапе.

Л. Андреев в своем стремлении стоять «вне партий» пытался прямо опереться на Чехова. «Русская жизнь сложилась так, — говорил он, — что каждый русский гражданин, кому дорого будущее родины, должен быть или революционером или человеком перспективы «малых дел». Я мог бы быть или писателем-революционером, или писателем анализа и синтеза жизни и человеческого духа. Совершенно невозможно! Предстояло решение: или уйти в революцию, или остаться у «малых дел» и щекотать себя революционностью. «Если хочешь быть революционером, — будь партийным», — говорили мне. Но я как и покойный Чехов, говорю: «партийность для художника — смерть!»³⁰ Односторонность этого очевидна.

В письмах к Г. И. Чулкову Андреев настойчиво возражал против включения его в число «главных сотрудников» «Факелов»: «... я могу быть сотрудником всякого журнала, кроме, конечно, реакционного и гнусного, а ближайшим сотрудником — ни одного».³¹ Хотя Андреев напечатал в альманахе «Факелы» рассказ «Так было», переписывался с Г. И. Чулковым и проявлял определенный интерес к идеям «мистического анархизма» и к задуманному театру «Факелы», сама анархо-мисти-

²⁸ «Курьер», № 242, 2 сентября.

²⁹ В. И. Ленин, Сочинения, изд. четвертое, т. 30, стр. 471.

³⁰ В. В. Брусянин, Леонид Андреев. Жизнь и творчество, М., кн-во К. Ф. Некрасова, 1912, стр. 16.

³¹ Письма Леонида Андреева, Л., «Колос», 1924, стр. 14.

ческая программа его не привлекала. «И театр хорош. — пишет он Г. И. Чулкову о проекте театра «Факелы». — Только не нужно мистический. Зачем эта предумышленность — рельсы в вечность? В то время, когда сотни и тысячи автомобилей во всех направлениях чертят пространство, мы, литераторы, обязательно хотим рельсы — рельсы, рельсы. И стало быть сторож и синый и красный фонарь и — о ужас! — начальник станции и — еще того страшнее! — станционный жандарм! Ненавижу всякие проезжие дороги — всякие дороги, — а немецкие с надписью, куда — наипаче».³²

Хотя Андреев, отстаивая свою принципиальную «внепартийность» опирался на Чехова, в их позициях отчетливо видно и немаловажное различие, определенным образом указывающее на изменение самого характера общедемократической позиции в революционный период. Отгалкивание Чехова от ограниченности и несостоятельности имеющихся общественно-политических программ и групп шло неизменно под знаком поисков новой «общей идеи», новой положительной программы, объединяющей в борьбе против аномальной в своих основах современной жизни. Поиски Андреева обычно приводили его в тупик, и он нередко приходил к релятивизму, к действительному аполитизму, хотя при всем своем скептицизме, колебаниях и отклонениях он и после революции 1905 года продолжал оставаться на общедемократических позициях.

В письме к Андрееву Чехов отмечает также рассказ «Иностранец», написанный в сентябре 1901 г. и опубликованный в декабрьском номере журнала «Русское богатство» за 1902 год. Рассказ этот как по содержанию, так и по манере исполнения выделяется несколько из других произведений писателя. Студент Чистяков, не любил всей «неустроенной, хаотичной, варварски грубой и бессмысленной жизни» (4, 153), которая его окружала. Среди товарищей своих он чувствовал себя бесконечно одиноким, не любил и не понимал их бесцельно-пьяного существования. С фанатическим упорством он собирает деньги, чтобы уехать за границу и жить там, как ему кажется, среди «других, хороших людей». Чистяков хочет отстраниться от жизни, в которой так много «тупого насилия и бессмысленной жестокости». Но в его нескладном, болезненном теле билось упорное сердце бойца. Он единственный бросается на защиту Костюрина,

³² Там же, стр. 19—20. В этот период Андреев очень резко выступал против втискивания писателя в какие-либо рамки, против предопределения его пути, высмеяв в шуточном некрологе кривую «определенного» пути писателя: «Некролог: «Он долго шел трудною дорогою «Реализма», иногда углубляясь в тупики «Натурализма», потом свернул на немощенную улицу «Христианского мистицизма», присел отдохнуть на площади «Рационализма» и оттуда быстро устремился в переулок «Мистического анархизма»... Куда я иду? А черт меня знает, куда. Иду и все тут. А там пусть другие выслеживают мой путь и составляют литературный путеводитель». (Там же, стр. 20.)

которого ударил грубый и тупой Толкачев, любивший похвастать своей огромной физической силой. Он один по-настоящему начинает понимать серба Райко Вукича, его любовь к истерзанной родине, его ненависть к врагам родины — туркам.

В рассказе Чистякову, любившему все заграничное, противопоставлен Ванька Костюрин. Костюрин «носил высокие сапоги, а летом в деревне поддевку, уважал все руское, водку, квас, жирные щи и мужиков, и старался говорить грубым голосом и по-простонародному; вместо «кажется» говорил «кажись» и часто употреблял слово «давеча» (4, 156). Но выше любви к водке, квасу и жирным щам его «патриотизм» не поднимается. Он надсмехается над Райко Вукичем, над маленькой Сербией, которая «вся-то с эту селедку» (4, 157), над борьбой народа за свою свободу. «Ты обманщик, — говорит ему Райко Вукич. — Зачем ты плясешь русского? У тебя нет родины, нет дома! Ты свинья» (4, 163). А Чистяков, поняв, как обидели маленького Райко, услышав его песню — эти «дикие, грубые, стихийные, как стон самой земли» (4, 164) звуки — задумался о своей жизни, о своей родине. «И понял он, что не может он жить без родины и не может быть счастлив, пока несчастна она, и в этом чувстве была могучая радость и могучая, стихийная, тысячеголовая скорбь. Она разбила оковы, в которых томилась его душа; она слила ее с душой неведомого многоликого страдающего брата — и словно тысяча огненных сердец колыхнулась в его больной измученной груди. И в горячих слезах он сказал:

— Возьми меня, родина!

А внизу опять запел Райко, и дико-свободны и смелы были гневно тоскующие звуки его песни (4, 166).

Подобная концовка рассказа Андрееву не нравилась, казалась несколько искусственной и излишне тенденциозной, как он писал Н. К. Михайловскому.³³ Однако и без этой концовки рассказ Андреева утверждал идею служения родине, служения «всем трудившимся и не знавшим отдыха» (4, 166). Концовка же более определенно и ясно выражала идею революционного служения родине и народу — многоликому страдающему брату. Характерно, что рассказ понравился Н. К. Михайловскому и был напечатан в «Русском богатстве». Действительно, рассказ Андреева, отдаленно напомним даже о некоторых сторонах идейной проблематики статьи Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», близок к революционной беллетристике, особенно к ее народнической линии («страдающий брат», «возьми меня, родина»).

Важной для Андреева в рассказе была также проблема преодоления одиночества, разобщенности людей. Здесь разрешает

³³ См. Литературный архив, 5, М.—Л., изд. АН СССР, стр. 59.

он ее традиционно: Чистяков чувствует слитность с народом, с родиной. Эта проблема волновала Андреева и в дальнейшем — в «Тьме», в «Рассказе о семи повешенных», в «Сашке Жегулеве», приобретая все более сложный характер.

Довольно трудно точно предположить, чем этот андреевский рассказ понравился Чехову, так как в нем почти нет специфически «чеховского». Видимо, более всего сдержанное, спокойное изображение студенческого быта, простота, психологическая убедительность в обрисовке характеров, в целом столь несвойственные Андрееву. Могло импонировать Чехову и разоблачение «квасного» патриотизма Кастюрина. Конечно, не была чуждой Чехову и основная идея служения родине, хотя ее ясно выраженная народническая окраска должна была его отпугивать.

Отзыв Чехова о рассказах «В тумане» и «Иностранец» оказал очень большую поддержку молодому писателю в обстановке резких, часто клеветнических нападок. «Очень приятно письмо Ан. П. Чехова: находит, что «В тумане» — серьезный шаг вперед»,³⁴ — пишет он В. С. Миролюбову. Доброжелательные отзывы о рассказе давали ему «изрядную дозу мужества»,³⁵ как признается он в письме к Е. Л. Бернштейну. Сообщив про «вопли негодования», поднявшиеся против этого рассказа, Андреев пишет в том же письме: «Только небольшой кружок лиц — в числе коих к моему удовольствию находятся Горький и Чехов — хорошего мнения о рассказе».³⁶ В этом частом повторении свидетельство того, какое огромное значение Андреев придавал чеховской оценке.

Отзыв Чехова о рассказах «Иностранец» и «В тумане» остался последним. Чехов, вероятно, читал повесть Андреева «Жизнь Василия Фивейского» в первом сборнике «Знания». В письме к К. П. Пятницкому от 27 апреля 1904 г. он положительно оценивает сборник, специально сообщая о том, что А. В. Амфитеатров «в восторге» от «Черноозема» Бунина и повести Андреева (см. XX, 279). Незадолго перед смертью, в конце апреля 1904 года, А. П. Чехов беседовал с Е. П. Карповым о современной литературе. «Антон Павлович с увлечением говорил о Горьком, Андрееве, Куприне, о новых течениях в литературе, — вспоминает Е. П. Карпов. — Он отрицательно относился к декадентам, называя их неискренними кривляками, бессмысленными подражателями иностранным писателям.

— Ни к селу, ни к городу они в русской литературе... Ни будущего у них нет, ни прошлого... Какие-то висящие в воздухе люди, эти российские Метерлинки... Но они скоро пропа-

³⁴ Литературный архив, 5, стр. 101.

³⁵ Там же, стр. 102.

³⁶ Там же, стр. 103.

дут, перерабатываются... А Горький, Андреев, Куприн останутся в истории литературы. Их долго будут читать...»³⁷

Таким образом, несмотря на отдельные довольно резкие отзывы об андреевских произведениях, Чехов до конца жизни был высокого мнения о творческом даровании Андреева, считая его наряду с Горьким и Куприным достойным продолжателем большой русской литературы.

Уже в этих немногих и кратких отзывах Чехова проявляется глубокая разность творческих установок, метода и манеры писателей. Все это и дало основание резко противопоставлять творчество Чехова и Андреева, ставить их как выразителей полярно-противоположных тенденций на разные полюсы литературного развития.³⁸ Конечно, Чехов и Андреев — разные писатели, что бросается в глаза и при поверхностном взгляде, разные не только по масштабам дарования, но и по самому методу изображения жизни. Однако, Андреев упорно и настойчиво доказывал, что он «безнадежно и навсегда продолжатель чеховской формы». «Чехов не любил моих рассказов и, наверно, ненавидел бы мои драмы — и все-таки я его продолжатель, — пишет он летом 1906 года Вл. И. Немировичу-Данченко. — Причина, по которой, между прочим, я не могу составить эпохи. Пусть он писал о помещицьем вишневом саде, а я буду писать о египетском фараоне Хеопсе — я все же его продолжатель».³⁹

К 1906 году, когда были написаны эти строки, как в творческих верованиях Андреева, так и в его отношении к Чехову, в его понимании значения Чехова для развития литературы произошли заметные изменения. Первое крупное выступление Андреева о Чехове относится к 1901 г.: 21 октября в газете «Курьер» помещена его статья о постановке пьесы «Три сестры» в Московском Художественном театре. Рецензия Андреева несколько необычна в том отношении, что была написана не после первых представлений, а когда пьеса очень успешно шла на сцене МХТа уже второй сезон (премьера ее состоялась 31 января 1901 г.). Свою рецензию он и начинает с объяснения, почему необходимо вновь заговорить о пьесе, в свое время уже вызвавшей «каскад газетных и журнальных статей». Подчеркивая огромное значение пьесы, ее влияние на зрителей, Андреев находит, что «Три сестры» «еще не выпали из текущей жизни» (6. 321). «„Три сестры“ идут два-три раза в неделю, они выдерживают тридцатое, кажется, представление, они каждый раз собирают полную зрительную залу, они продолжают так или иначе влиять на толпу — и забывать о том, что почти каж-

³⁷ Чехов в воспоминаниях современников, цит. изд., стр. 576.

³⁸ См., например, Илья Эренбург, Перечитывая Чехова, М., Гослитиздат, 1960, стр. 13.

³⁹ Неизданные письма Леонида Андреева. — В сб.: Труды по русской и славянской филологии, V, Тарту, 1962, стр. 386.

дый вечер творится в Каретном ряду, в этом маленьком снаружи, но огромном внутри здании, неразумно и несправедливо» (6, 321). Но не только это заставило Андреева обратиться к пьесе, идущей второй сезон. Основной пафос статьи был в другом — в переосмыслении чеховского произведения. Андреев вступил в спор с почти всей тогдашней критикой, осудившей пьесу за безнадежную мрачность и безысходный пессимизм.⁴⁰ «„Три сестры“ — слезы, уныние — и вдруг: жить хочется — писал Андреев. — Однако это верно — и не для меня одного, а и для многих лиц, с которыми мне пришлось говорить о драме.

По-видимому, с пьесой А. П. Чехова произошло крупное недоразумение, и, боюсь сказать, виноваты в нем критики, признавшие «Трех сестер» глубоко-пессимистическою вещью, отрицающею всякую радость, всякую возможность жить и быть счастливым. В основе этого взгляда лежит то господствующее убеждение, что если человек плачет, болен или убивает себя, то жить ему, значит, не хочется и жизни он не любит, а если человек смеется, здоров и толст, то жить ему хочется и жизнь он любит». (6, 323).

«Тоска о жизни»⁴¹ — вот то мощное настроение, которое с начала до конца проникает пьесу и слезами ее героинь поет гимн этой самой жизни. Жить хочется, смертельно, до истомы, до боли жить хочется, — вот основная трагическая мелодия «Трех сестер», и только тот, кто в столах умирающего никогда не сумел подслушать победного крика жизни, не видит этого. Какую-то незаметную черту перешагнул А. П. Чехов — и жизнь, преследуемая им когда-то жизнь, засияла победным светом» (6, 323). Думается, что Андреев здесь наиболее близко подходил к авторской концепции. Известно, что Чехов был не совсем доволен трактовкой «Трех сестер» в Художественном театре.⁴² В беседе с А. Н. Серебровым (Тихоновым) Чехов заметил: «Вот вы говорите, что плакали на моих пьесах... Да и не вы один... А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев сделал такими плаксивыми. Я хотел другое... Я хотел

⁴⁰ Обзор критических оценок пьесы А. П. Чехова «Три сестры» см. в кн.: С. Д. Балухатый, Чехов драматург, Л., Гослитиздат, 1936, стр. 188—204.

⁴¹ Любопытно отметить, что Вл. И. Немирович-Данченко в январе 1939 г., начиная работу над новой постановкой пьесы А. П. Чехова «Три сестры», в беседе с исполнителями почти теми же словами определяет основную настроенность драмы: «Из неясной, изломанной, запутанной жизни, где все превращается в усталость и неудачу — возникает не нить, не хныкье, а нечто активное, но лишенное элемента борьбы — тоска о лучшей жизни». (Ежегодник Московского Художественного театра за 1943 г., М., изд. Музея МХАТ, 1945, стр. 156).

⁴² См. К. С. Станиславский, Собрание сочинений в восьми томах, т. I, М., «Искусство», 1954, стр. 234—235; т. 5, М., «Искусство», 1958, стр. 348—349.

только честно сказать людям: «Посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!..» Самое главное, чтобы люди это поняли, а когда они это поймут, они непременно создадут себе другую, лучшую жизнь... Я ее не увижу, но я знаю, она будет совсем иная, не похожая на ту, что есть... А пока ее нет, я опять и опять буду говорить людям: «Поймите же, как вы плохо и скучно живете!» Над чем же тут плакать?»⁴³ Эту чеховскую мысль о необходимости коренного изменения жизни Андреев чутко подхватывает и развивает, совершенно ясно и определенно выразив идею революционного взрыва: «Как пар, жизнь можно втиснуть в узенькую коробочку, но, как и пар, она выносит давление лишь до известной степени. И в «Трех сестрах» это давление доведено до предела, за которым следует взрыв, — и разве не слышите, как бурлит жизнь, разве не доходит до ваших ушей ее гневно протестующий голос!» (6, 324).

Андреев уверенно говорил о наступлении новой жизни. В пьесе Чехова, считал он, тоска о жизни получает совершенно новый смысл. «Это уже не кроткое беззубое страдание, слезливо огрызающееся с одра духовных немощей, это уже не тупо-меланхолическая покорность, подставляющая поочередно ланиты для заушения, — это вопль ограбленного и умирающего человека, который взывает о справедливости и возмездии». (6, 324).

Огромное значение придавал Андреев образам сестер, сравнив их с тургеневскими героинями.⁴⁴ В их страстном стремле-

⁴³ Чехов в воспоминаниях современников, цит. изд., стр. 566. Однако, можно добавить, что нет в этом и ничего особенно смешного, веселого, специфически комедийного. Чехов действительно по первоначальному замыслу хотел написать веселую комедию, даже водевиль, но в процессе работы отошел от него, создав произведение сложное по жанру, и все-таки в целом — остро драматическое, даже трагическое, как определяет его и Андреев. И несколько неоправданным представляется утверждение М. Горького: «А. П. Чехов создал — на мой взгляд — совершенно оригинальный тип пьесы — лирическую комедию. Когда его изящные пьесы играют как драмы, они от этого тяжелеют и портятся» (М. Горький, цит. изд., т. 26, стр. 422). А В. Ермилов, основываясь на этом утверждении Горького, приходит уже к совершенно сомнительному выводу, что «комедийная природа пьесы была как будто зашифрована лирикой» (В. Ермилов, Драматургия Чехова, М., Гослитиздат, 1954, стр. 207). Следует отметить, что три крупнейших режиссера — Вл. И. Немирович-Данченко, Вс. Мейерхольд и Е. Вахтангов — считали пьесы А. П. Чехова трагическими. «У Чехова не лирика, а трагизм, — записывает Е. Вахтангов. — Когда человек стреляется, — это не лирика. Это или Пошлость или Подвиг. Ни Пошлость, ни Подвиг никогда не были лирикой. И у Пошлости и у Подвига свои трагические маски. А вот лирика бывала пошлостью». (Евг. Вахтангов, Материалы и статьи, М., ВТО, 1959, стр. 188).

⁴⁴ В 1910-х гг. Андреев совершенно по-иному стал относиться к Тургеневу. Он выступает против постановок пьес Тургенева в МХТ, видя в интересе руководителей театра к Тургеневу отказ от трагического искусства, «культу тишины». Он создает даже специальное словечко «обтургенено», которое

нии к свету он в первую очередь видит зародыши новой жизни, залог будущего преображения жизни. «Когда охватывают меня сомнения, не о мужчине-борце и герое думаю я. Русская славная женщина — вот кто занимает мои мысли, вот кто дает мне надежду и веру. Та женщина-героиня, что на далекой окраине, в грязи переселенческих пунктов борется за каждую гаснущую искорку жизни; та женщина, что с непреклонной энергией, с дивным упорством стремится к знанию, вдохновляет сильных, пристыжает малодушных и поддерживает слабых. <...> Со всей красотой вашей пустозвонной тоски она отринет вас, она сбросит с вас маску лжи, за которой кроется чахлое малодушие, и протянет руку тому сильному и смелому, что идет вам на смену» (6, 324). По мнению Андреева, Чехов, вслед за Тургеневым, «вплел новый листок в лавровый венок русской женщины, создав своих «Трех сестер» (6, 324).

Свою статью Андреев закончил призывом: «В Москву! К свету! К жизни, свободе и счастью!» (6, 326). В обстановке начавшегося общественного подъема этот призыв, несомненно, звучал революционно.

Статья Андреева очень тесно связана со всей его публицистикой 1900—1902 гг., в которой очень сильно звучал горьковский пафос. «Наступают времена Максима Горького, бодрейшего из бодрых, и вместе с ними замечается неудержимое падение курса на хандру и представителей оной» (6, 175), — пишет он в статье «О российском интеллигенте». Как в этой статье, так и в «Сфинксе современности», «Людях теневой стороны» и других Андреев выступает против обывательского пессимизма, против целой породы «нытиков, созданных благозвучными стенами Надсона», против людей «чеховских унылых настроений» (6, 173). Однако он отнюдь не связывает в этот период людей «хандры и утонченно тоскливых чеховских настроений» с самим Чеховым, а отделяет Чехова от созданных им героев. В этом смысле еще большую важность приобретает основная мысль статьи о «Трех сестрах», а также андреевская характеристика сестер. И в этой своей статье Андреев, может быть, еще более резко, чем в статье «О российском интеллигенте» характеризует «чеховских героев»: «Слабой стороной «чеховских героев», делающей их лично для меня невыносимыми, является отсутствие

является для него чуть ли не синонимом литературной пошлости. Тургеневу Андреев противопоставлял Достоевского. «Достоевский всегда трагичен, — писал он Вл. И. Немировичу-Данченко, — особенно и единственно, пронзительно трагичен, он всегда между богом и дьяволом, его страданий не измерить драматическим аршинчиком. И на некоторое время Достоевский спас театр, снова поднял его на высоту <...>. Он возвратил театру и пол, ибо не в том пол, чтобы о нем говорить, этим занимаются импотенты, а в том, чтобы действовать, трагически велье, побеждать или гибнуть. После импотента Тургенева он был благостной грозой и снова насытил электричеством и залу вашу и фойе». (Архив Музея МХАТ, ф. Н.—Д., № 3148/4).

в них аппетита к жизни. Живут они — точно жвачку жуют, расставив ноги, опустив голову, с видом тупой покорности и желудочной меланхолии. Пожевал, проглотил, опять отрыгнул, опять пожевал — и ни радости, ни омерзения. Того же ждал я и от «Трех сестер», почему и жизнерадостный их результат явился для меня неожиданным и сугубо приятным» (6, 323).

Андреев не только отделял Чехова от «чеховских героев», но и противопоставлял их, увидев в Чехове сильнейшего критика унылых настроений, хандры и общественной апатии. В феврале 1901 года Андреев писал об огромном общественном значении Московского Художественного театра в борьбе с «рутиной, спячкой и застоєм вообще». Особо отметил он заслугу театра в постановке чеховских пьес. Он находил, что «печальнейшие чеховские драмы, с жестокой правдивостью впервые представшие перед глазами удрученных зрителей, явились невольными проводниками **бодрости**». «Чехова взасос читали, — писал Л. Андреев, — под чеховские унылые мелодии лились слезы по всему лону земли русской, но Чехова еще как следует не понимали, чему мешали, главным образом, многочисленные критические статьи о его творениях. И дивная, неподражаемая постановка чеховских вещей на сцене Художественного театра была первой **настоящей критической** статьей о нем — яркой, беспощадной, правдивой, не оставляющей ни сомнений, ни колебаний. Как могучий талант сам А. П. Чехов еще более вырос в наших глазах, но за это его герои ... Они провалились, они погибли, они уничтожены. Чеховские драмы в Художественном театре — это эпитафия над целой полосой времени и жизни, скорбным певцом которой является талантливейший русский писатель. Под мучительным впечатлением пережитого кошмара люди расходились из театра и все — что было в их душе бодрого, светлого, жизнеспособного, возмущало и негодовало и требовало выхода из удушающей серой мглы».⁴⁵

Несмотря на то, что Андреев отделяет Чехова от «чеховских героев», в настойчивом подчеркивании именно чеховских унылых настроений сказалось и определенное критическое отношение, а также общее для того времени понимание Чехова как певца «хмурых людей». Позже, в письме к К.И. Чуковскому от 1 апреля 1914 г., он характеризует Чехова так, что в некоторой степени сближает его облик с «чеховскими героями». «О Чехове поспорим, — пишет Андреев, — по-моему, он был полон желания жизни, а не самой жизни. Оттого он оставался до конца таким нежным, благородным и умным — настоящие обладатели жизни, как все законные мужья, плоски и грубы. Жизнь никогда не отдавалась ему, и наибольшее его приближение: ему

⁴⁵ «Курьер», 1901, № 35, 4 февраля.

удавалось жениться на сестре любимой девушки. <...> Ему даже из деликатности было неловко жить...»⁴⁶

Критика «чеховских настроений» велась Андреевым с позиций, близких к горьковским. Более того, он прямо противопоставляет горьковских героев чеховским, «горьковский дух» — «чеховским настроениям». В рецензии на постановку «Мещан» М. Горького в Московском Художественном театре он высказывал даже опасение, «что артисты, играющие два-три раза в неделю пьесы А. П. Чехова, проникнутые его настроением, не сумеют отрешиться от него и здесь и <...> вольты в «Мещан» совсем неподходящее содержание».⁴⁷ Любопытно в данном случае будет отметить различную оценку, которую дали героям горьковской пьесы Чехов и Андреев. Чехов, выделив Нила как главного героя, советовал однако Горькому: «Только не противопоставляйте его (Нила — В. Б.) Петру и Татьяне, пусть он сам по себе, а они сами по себе, все чудесные, превосходные люди, независимо друг от друга» (XIX, 150). Андреев же подчеркивал, что Петр «только как будто» «совпадает с другими персонажами пьесы»,⁴⁸ а на самом деле он тоже мещанин, родной сын старика Бессеменова по духу и плоти.

Позиция Чехова, столь ярко проявившаяся в отношении к горьковским героям, в утверждении, что все они «чудесные, превосходные люди» была уже в тот период не совсем приемлема Андрееву и воспринималась им как ненужная жалость к обывателю. В дальнейшем именно по этому вопросу Андреев усматривает свое наибольшее расхождение с Чеховым. 3 апреля 1913 г. он пишет Вл. И. Немировичу-Данченко: «... я не люблю обывателя, не жалею его, как жалел Чехов — и обыватель зная и чувствуя это, платит мне сторицей. В первых рассказах моих я еще был «гуманистом» — и обыватель до сих пор уговаривает меня писать снова «Жили-были». Когда же я пишу «Жизнь человека» или «Анатэму», то это принимается, как наглость, фанфаронство, почти как умышленное оскорбление: какое я имею право?!»⁴⁹ Андреев как бы противопоставляет свой «антигуманизм» чеховскому «гуманизму». Однако в данном случае Андреев, удачно отметив собственную эволюцию от «Жили-были» к «Иуде Искарйоту», «Анатэме» и другим «антигуманистическим» произведениям, не понял сложного характера чеховской «жалости».

Чехов не жалел обывателя, а начиная с самых первых своих юмористических миниатюр до конца жизни разоблачал и сати-

⁴⁶ Собрание К. И. Чуковского. Приношу глубочайшую благодарность К. И. Чуковскому за предоставление материалов из личного архива и за ценные сведения о жизни и творческой деятельности Л. Андреева.

⁴⁷ «Курьер», 1902, № 89, 31 марта.

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ Архив Музея МХАТ. ф. Н.—Д., № 3146/5.

рически высмеивал пошлость обывательского существования, инертность и косность, рабскую подлость и трусость разного вида «человеков в футлярах». В сущности Чехова следует признать даже зачинателем тех «антигуманистических» тенденций, которые появились в творчестве Андреева, Блока и других представителей литературы XX века. Уже в рассказах «Смерть чиновника» и «Толстый и тонкий», написанных в 1883 году, Чехов совершенно по-новому поставил проблему маленького человека, к которому классики русской литературы неизменно относились с состраданием и сочувствием. У Чехова маленький человек становится мелким человеком, к нелепой жизни и даже смерти которого он относился отнюдь не с состраданием и жалостью. Высокая требовательность к людям с годами не уменьшалась, а возрастала. Однако действительно, в произведениях конца 90-х — начала 900-х годов, особенно в драматургии, характеристика героев и авторское отношение к ним осложняется. Связано это в первую очередь с более сложным пониманием хода исторического процесса, закономерностей жизни и возможностей проявления индивидуальных волей. Исследовав драматургию Чехова как единую систему, А. Скафтымов приходит к выводу, что в его пьесах «нет виноватых». «Виновато сложение обстоятельств, находящихся как бы вне сферы воздействия данных людей. Печальная ситуация складывается вне их воли, и страдание приходит само собою. Это не значит, что у Чехова совсем нет суда над людьми, нет различения людских достоинств и недостатков, нет указания на человеческое поведение как источник дурного. Все это есть. Но зло у него действует без прямой волевой активности, а лишь как некий произвольный плод жизни (но оно все же зло). <...> И каждая пьеса говорит: виноваты не отдельные люди, а все имеющиеся сложение жизни в целом. А люди виноваты только в том, что они слабы».⁵⁰

Совершенно ясно, что такое понимание индивидуальной вины во многом предопределяет и основную оценочную характеристику героев автором; «все чудесные, превосходные люди». Если же быть точнее, то характеры у Чехова даны в двойном освещении, во взаимопроникновении доброго и злого, хорошего и плохого.

С другой стороны, следует учитывать и то, что в своих пьесах Чехов изображает преимущественно жизнь интеллигенции. В обстановке той дикости, темноты и бескультуры русской жизни, которую видел и объективно показал Чехов в «Мужиках» (1897), «Печенеге» (1897) и «В овраге» (1900), он вполне естественно придавал большое значение интеллигент-

⁵⁰ А. Скафтымов, Статьи о русской литературе, Саратовское книжное издательство, 1958, стр. 331.

ности, культуре, что определенным образом сказалось и на отношении к интеллигентным героям. Чехов недаром подчеркивал, что дядя Ваня — «изящный, культурный человек»,⁵¹ что в «Трех сестрах» у него «четыре молодых интеллигентных женщины» (XVIII, 392). Петр и Татьяна в пьесе М. Горького «Мещане» для Чехова тоже прежде всего интеллигентные люди. Сочувственное изображение интеллигентных героев не имело характера жалостливого «гуманизма», о котором говорил Андреев. Этот «жалостливый гуманизм», доходящий до слащавой слезливости, был более свойственен именно некоторым ранним произведениям самого Андреева («Баргамот и Гараська», «Жили-были»).

Если же взять проблему гуманизма шире, не только в плане отношения к своим героям и к «маленькому человеку», то можно заметить точки соприкосновения с Чеховым как в раннем, так и в позднем творчестве Андреева. Чтобы вскрыть аномальность, неестественность всего уклада жизни, Чехов нередко обращался к изображению детей. Непосредственность детского восприятия, чистота, «естественность» детского взгляда на мир и человеческие отношения дает представление о «норме», от которой отклонилась современная жизнь. С другой стороны, в таких рассказах как «Ванька» (1886) и «Спать хочется» (1888) бесчеловечная жестокость жизни с жуткой силой раскрывается через страдания детей.

Неестественность детского существования в грязной парикмахерской, в большом жадном городе показывает и Андреев в рассказе «Петька на даче» (1899). Петька, с утра до ночи слышащий отрывистый окрик «Мальчик, воды!» и угрожающий шопот «Вот, погоди!», теряет все детское. «Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого худенького, веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на старившегося карлика» (7, 93). Петьке часто казалось, «что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон», и ему очень хотелось в другое место. Но ничего другого Петька не видел. Если Ванька Жуков из рассказа Чехова вспоминает о жизни в деревне, о елке, за которой они вместе с дедом ходили в лес, как о веселом времени, то в воспоминаниях Петьки не могло быть ничего светлого. Попад на дачу, увидев впервые поле и лес, Петька преображается: пропадают морщинки, исчезает сонливость. Здесь, среди природы раскрывается настоящая натура мальчика, замурованная в грязной и душной парик-

⁵¹ К. С. Станиславский, Собрание сочинений в восьми томах, т. I, М., «Искусство», 1954, стр. 230.

махерской. Естественна, нормальна жизнь среди природы, — утверждает Андреев. Со страстным протестом он выступает против уродующего душу и тело детей социального строя. Рассказ Андреева, как и два вышеназванных рассказа Чехова, кончается жестоко: Петька возвращен в парикмахерскую.

Чехов боролся со всякими ограничениями (и самоограничением) человеческой личности, за полный расцвет духовных и физических сил человека, за его полную свободу. Он выступал и против христианской добродетели, и против толстовских идей самоотречения, и против народнической идеи жертвенности. Повторяю, что именно Чехов начал поход против разного рода проявлений идей старого гуманизма.

Одной из ведущих проблем андреевского творчества начиная с 1905 года становится проблема гуманизма. В «Иуде Искарите», в «Моих записках», в «Анатэме» он подвергает сомнению идеи христианской жертвенности, всепрощающей любви, страдания, непротивления, милосердия. Часто эти вопросы ставит он в сатирически-парадоксальной форме («Мои записки», «Любовь к ближнему» и др.), так что возникает желание провести параллели к рассказам Чехова «Без заглавия» (1888), «Пари» (1889) и даже к «Палате № 6». Но при всей соблазнительности сравнить, например, «Палату № 6» и «Мои записки» подобные параллели, думается, могут дать очень немного, трудно доказуемы и будут иметь слишком общий характер. Однако ясно одно, что, несмотря на различие конкретных идейных посылок, Андреев в известном смысле здесь продолжил Чехова, хотя и не опираясь прямо на него.

В рецензии на постановку пьесы «Три сестры» Андреев особо выделяет глубокую жизненность, правдивость и реальность чеховского создания: «История о трех сестрах, рассказанная А. П. Чеховым устами артистов Художественного театра, — не вымысел, не фантазия, а факт, происшествие, нечто столь же реальное, как выборы в кредитном обществе» (6, 322). И добавляет: «Я видел жизнь» (6, 323). Необходимо заметить, что в этот период Андреев ценил именно это — «реальность», «факт», «происшествие». Через полгода, в рецензии на пьесу М. Горького «Мещане», он снова положительно оценивал это подобие жизни: «На сцене Художественного театра «Мещане» с первого момента поражают зрителя своей жизненностью: то ли это актеры играют, то ли ты в щелочку подсматриваешь, как живут и страдают люди».⁵² При этом Андреев специально отмечал, что «Горький не сфотографировал жизни». Жизненности, реальности, по мнению Андреева, автор добивается воспроизведением бытового течения жизни. «Особенности первой пьесы М. Горького, — писал Андреев, — в ней нет того, что назы-

⁵² «Курьер», 1902, № 89, 31 марта.

вается драматическим действием, и нет второстепенных лиц. Взят кусок жизни, такой, какова она есть, с ее медленным движением и потаптыванием на одном месте, когда люди успевают состариться, наплодить детей, умереть, а «действий» как будто никаких не совершить. Поступков много, а действий нет. Пьют, едят, разговаривают, ссорятся и расходятся и сплошной копошащейся массой движутся куда-то.

И только тогда, когда увидишь, как конец не похож на начало — только тогда почувствуешь, поймешь, что за этим видимым отсутствием действия кроются могучие силы жизни. Эта художественная историчность жизни, впервые введенная в русскую драму А. П. Чеховым, доведена до полного развития в „Мещанах”». ⁵³ Андреев здесь довольно точно определял некоторые существенные черты новаторства Чехова в драматургии.

Внимание Чехова обращено почти исключительно к сфере быта. Чеховская поэтика основана на изображении жизни в ее бытовом, даже будничном, обыденном течении. Объектом изображения стала жизнь знакомая, давно установившаяся, повторяющаяся изо дня в день. В этой жизни так редки исключительные события. При выработке принципов своей новой поэтики Чехов исходил из правды жизни. «Требуют, — говорил он, — чтобы были герой, героиня, сценические эффекты. Но ведь в жизни не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи. Они больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было на сцене. Надо создать такую пьесу, где бы люди приходили, уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт, но не потому, что так нужно автору, а потому, что так происходит в действительной жизни». ⁵⁴ Характерно, что эти слова Чехова вызывали сразу же вопрос: «Значит, натурализм в духе Золя?» А Чехов отвечал: «Не надо ни натурализма, ни реализма. Не надо подгонять ни под какие рамки. Надо, чтобы жизнь была такая она есть, и люди такие, какие они есть, а не ходульные». ⁵⁵

Чехов никогда не был натуралистом, но, думается, что натурализм оказал воздействие на формирование его творческого метода. Вступив в литературу в 80-е годы, когда в ней значительное место завоевывает натурализм, Чехов, естественно, не мог остаться совершенно свободным от влияния нового течения. Сам натурализм не следует рассматривать как «падение», как шаг назад или в сторону от главного пути развития литературы. Как совершенно справедливо утверждает Т. Мотылева, «нату-

⁵³ Там же.

⁵⁴ Чехов и театр, М., «Искусство», 1961, стр. 208—209. Следует отметить, что Андреев почти теми же словами, что и Чехов, определяет воспроизводимую на сцене деятельность людей: «Пьют, едят, разговаривают...»

⁵⁵ Там же, стр. 209.

рализм следует рассматривать прежде всего исторически — не как совокупность дурных приемов <...>, а как определенное литературное движение последней трети прошлого века», как «развитие реализма».⁵⁶ Натурализм, несомненно, был и определенным шагом вперед в развитии литературы, с ним связаны многие значительные завоевания: дальнейшая демократизация литературы, вовлечение в сферу искусства новых пластов жизни, упрочение принципа объективного отображения действительности, привлечение научных методов, расширение познавательных возможностей литературы. Русский натурализм, не получивший особого развития и распространения, нашел приложение своим силам главным образом в области изображения быта. Чехов взял на вооружение некоторые принципы «бытового реализма», но стал бить его полученным от него же оружием.

В рассказах и пьесах Чехова люди едят, пьют, волочатся, говорят глупости, потому что «так происходит в действительной жизни». Однако Чехову мало одной бытовой правдоподобности, достоверности. В отличие от натуралистов будни быта интересуют его не сами по себе. Суть чеховского новаторства заключается не столько в более правдоподобном отражении жизни, а в новом, более сложном, диалектическом понимании правды жизни. В будничных бытовых картинах Чехов показал проявление «текучести» жизни. Это художественное открытие Чехова сыграло важную роль в дальнейшем развитии всей мировой литературы. «Существенное различие между старой и новой традицией (пионером которой является Чехов) заключается в том, что представители старой традиции игнорировали неуловимую текучесть жизни. <...> Иногда они уничтожали поток жизни ради того, чтобы придать ему форму, чтобы заострить фабулу, между тем как для Чехова именно текучесть жизни составляла одновременно и форму и содержание его рассказов»,⁵⁷ — писал английский исследователь творчества Чехова, писатель Уильям Джерхарди, кстати, один из представителей группы «Блумбсбери», которая обосновывала свои принципы «неопсихологизма», опираясь на Чехова.

Воссоздавая поток жизни, «реку жизни», Чехов отказывается от традиционной фабулы в рассказе, от традиционного сценического действия в драме. Но отсутствие фабулы, действия лишь кажущееся. «Есть фабула, — пишет Н. Я. Берковский, — исходящая от самих людей, от их воли, от их целей. У Чехова эта фабула поглощена другой — фабулой самой жизни, замыслы которой людям малоизвестны, цели которой теряются в от-

⁵⁶ Т. Мотылева, К спорам о реализме XX века (Ответ Б. Сучкову). — «Вопросы литературы», 1962, № 10, стр. 143.

⁵⁷ Литературное наследство, т. 68, М., изд. АН СССР, 1960, стр. 820.

далении».⁵⁸ Именно эту особенность действия отметил Андреев в «Мещанах», указав при этом, что введена она впервые Чеховым. Андреев возражает тем критикам, «которые с грустью говорят об отсутствии действия, как о техническом несовершенстве».⁵⁹ Он видит в пьесе нечто намного более важное, чем традиционное действие, — художественную историчность жизни.

Таким образом, Андреев в это время, в 1902 году, находил вполне возможным изображение жизни «какова она есть», считал даже плодотворным воспроизведение бытовых будней, но лишь в том случае, если за бытом видны «могучие силы жизни», если прослежена «историчность жизни». Натуралистического показа быта, фотографии Андреев не приемлет, как не приемлет он и «лейкинства» — анекдотических бытовых зарисовок. За «голое» бытоописание, за анекдотичность и «лейкиństwo», за фельетонную разработку серьезных тем он, например, критиковал рассказы А. Измайлова. Он считал, что в рассказе А. Измайлова «Волшебный фонарь» «была бы потрясающая картина, не только бытовая, но и общечеловеческая»,⁶⁰ если бы автор не свел ее к «малоинтересному анекдоту». Быт, обыденщину Андреев всегда воспринимал в духе своего общего трагического миропонимания. «Иногда и быт, — писал он А. Измайлову 5 февраля 1903 г., — как быт духовенства, напр<имер>, — пускает корни в самую сердцевину жизни и дает обильный и благодарный материал не только для драмы, но даже для трагедии — у Вас и здесь нет проникновения в трагическую суть его.»⁶¹

Подобное понимание быта опять приводит нас к Чехову, который именно в самом обыденном увидел и показал драму жизни, порой трагическую суть ее. Нет, пожалуй, особой необходимости писать о том, что Чехов, как никто другой, понимал «трагизм мелочей жизни»,⁶² страх обыденщины, ярко раскрытый, например, в рассказе «Страх» (1892). Чехов хотел, чтобы на сцене было показано, как «люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются жизни».⁶³ Характерно, что как счастье, так и несчастье складываются во время самого обыденного занятия.

В 1912 году Андреев написал Вл. И. Немировичу-Данченко: «Трагик героических поз, я пока смутно прозреваю трагедию повседневности — а видеть ее хочу до чрезвычайности».⁶⁴ Но в

⁵⁸ Н. Я. Берковский, цит. изд., стр. 426.

⁵⁹ «Курьер», 1902, № 89, 31 марта.

⁶⁰ «Русская литература», 1962, № 3, стр. 200.

⁶¹ Там же, стр. 199.

⁶² М. Горький, цит. изд., т. 5, стр. 428.

⁶³ Чехов и театр, М., «Искусство», 1961, стр. 206.

⁶⁴ Архив Музея МХАТ, ф. Н.—Д., № 3145/3.

данном случае Андреев не совсем точен. Не придавая большого значения рассказам типа «Жили-были», Андреев будто забывает, что видел уже трагедию повседневности в произведениях раннего периода творчества.⁶⁵

В рассказе «Жили-были», например, бытовая сторона большого обихода обрисована с большой тщательностью. Довольно подробно автор описывает переодевание купца Кошеверова, взвешивание, осмотры врачей и студентов и т. п. Во второй главке дано полное, хотя и краткое описание жизни в клинике с утра до ночи. Но за всем этим Андреев показывает трагическую бесполезность, бессмысленность жизни купца Кошеверова. «Все что было в нем силы и жизни, все было растрчено и изжито без нужды, без пользы, без радости. Когда он был молод и волосы его кучерявились на голове, он воровал у хозяина; его ловили и жестоко, без пощады били, и он ненавидел тех, кто его бил. В средних годах он душил своим капиталом маленьких людей и презирал тех, кто попадался в его руки, а они платили ему глужей ненавистью и страхом. Пришла старость, пришла болезнь — и стали обкрадывать его самого, и он ловил неосторожных и жестоко, без пощады бил их» (1, 11). Не отходя от конкретного, реального воспроизведения быта Андреев в этом рассказе ставит также «общечеловеческие» вопросы о смысле человеческого существования, о пессимизме и оптимизме, о жизни и смерти. Тот же самый подход к изображению бытовых будней можно отметить в рассказах «Петька на даче», «Большой шлем», «У окна» и др.

Устоявшийся, ставший привычным быть, который таит в себе драму, становится, с другой стороны, признаком мешанственности, оборачивается пошлостью, как в рассказе «Учитель словесности» (1894). Тема эта привлекала к себе и Андреева («Большой шлем», «У окна»). Любопытно, что М. Горький объединяет имена Чехова и Андреева, именно говоря об их ненависти к пошлости, к мешанству. После смерти А. П. Чехова Куприн и Горький задумали выпустить сборник, посвященный памяти писателя. В предполагаемом сборнике должен был принять участие и Андреев. В одном из писем к Куприну М. Горький, сообщая о переговорах с писателями по поводу сборника, писал: «Дорогой товарищ, мне кажется, что в наш план сборника едва ли войдут какие-либо изменения, по крайней мере Андреев принял его целиком, т. е. напишет и рассказ, и лично об Антоне Павловиче какую-то заметку или очерк. У него долж-

⁶⁵ Критик Волжский уже указывал, что в способности «видеть ужасы жизни в самых ее мелочах и повседневностях» Андреев «очень близко соприкасается с Чеховым» (Волжский, Из мира литературных исканий, СПб. изд. Д. Е. Жуковского, 1906, стр. 203).

но выйти хорошо: он понимает силу пошлости и ненавидит ее всей душой».⁶⁶

Во многих произведениях Чехов показывает, как люди по инерции продолжают свою деятельность, хотя она не имеет для них смысла. Нет внутреннего смысла в деятельности старика Малахина из рассказа «Холодная кровь»⁶⁷ (1887), Анны Акимовны из «Бабьего царства» (1894), Лаптева из повести «Три года» (1895), Лопахина из последней пьесы Чехова. Основные принципы частнособственнического общества — деньги, дома, приобретательство, личное благополучие — уже обесценены в глазах героев Чехова, теряют привлекательность, смысл. И одной из ведущих тем чеховского творчества с середины 90-х годов становится тема ухода, тема разрыва с прежней жизнью, с привычным бытом. Уже герой рассказа «Учитель словесности» Никитин мечтает: «Бежать отсюда, иначе я сойду с ума!» (VIII, 372). Чехов не показывает, убежал ли Никитин, но необходимость бросить все и бежать доказывается с большой художественной убедительностью. Лучшие чеховские герои томятся от бессмыслицы жизни, даже заболевают, а в последних произведениях — «Невесте» и «Вишневом саде» — и порывают с домом, уходят. В рассказе «Случай из практики» (1898) врачу Королеву совершенно ясно, что девушке, богатой наследнице, чтобы стать здоровой «нужно поскорее оставить пять корпусов и миллион» (IX, 313). Очень характерна беседа о будущем, которая происходит между Королевым и Лизой:

« — Что же будут делать дети и внуки? — спросила Лиза.

— Не знаю... Должно быть побросают все и уйдут.

— Куда уйдут?

— Куда?.. Да куда угодно, — сказал Корольев и засмеялся. — Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку» (IX, 313—314).

Как на «руководящий чеховский мотив в „Трех сестрах“»⁶⁸ А. Роскин указывает на бездомность. Сестер выживает из дома Наташа, но они и сами рвутся из него. А Надя из рассказа «Невеста» уже убегает из родного дома. Чехов намеренно подчеркивал, что Надя, вернувшись домой погостить, чувствует ненужность окружающих ее вещей, всего бытового уклада. «Надя пошла наверх и увидела ту же постель, те же окна с белыми наивными занавесками, а в окнах тот же сад, залитый солнцем, веселый, шумный. Она потрогала свой стол, посидела, поду-

⁶⁶ цит. по статье И. В. Корецкой «Чехов и Куприн» в кн.: Литературное наследство, т. 68, М., изд. АН СССР, 1960, стр. 369.

Ср. со словами М. Горького об А. П. Чехове: «Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней...» (М. Горький, цит. изд., т. 5, стр. 428).

⁶⁷ См. Н. Берковский, цит. изд., стр. 427—429.

⁶⁸ А. Роскин, А. П. Чехов, М., Гослитиздат, 1959, стр. 273.

мала. И обедала хорошо и пила чай со вкусными, жирными сливками, но чего-то уже не хватало, чувствовалась пустота в комнатах, и потолки были низки. Вечером она легла спать, укрылась, и почему-то было смешно лежать в этой теплой, очень мягкой постели» (IX, 448). Само подчеркнутое внимание Чехова к предметам быта, обстановки, к вещам здесь свидетельствует, что вещи, хороший обед, чай со сливками и теплая, мягкая постель потеряли притягательную силу, которой они обладали для героев когда-то, обесценивались.

Андреев также обращался к теме ухода из родного дома в своем раннем творчестве. Наиболее определенно прозвучала она в рассказе «В темную даль», написанном в конце 1900 года. Вообще следует сказать, что сама по себе эта тема не является специфически чеховской. Эта тема, а также близкие к ней, привлекали многих писателей, и явились они отражением в литературе сложного и многообразного исторического процесса, происходящего в России в последние десятилетия XIX века и в самом начале XX века. Характер этого процесса очень выразительно определил А. Блок: «Это быт гибнет, сменяется безбытностью».⁶⁹

Процесс этот освещался по разному и с разных идейных позиций, но при этом определились основные темы. Это — тема бродяжничества у Короленко и того же Чехова, тема босячества и тема «белой вороны» у Горького, тема «блудного сына» у писателей-«знаньевцев» («Блудный сын», Чирикова, «Блудный сын» Найденова). Эту же тему по-своему затронул и Лев Толстой в драме «Живой труп», в «Посмертных записках старца Федора Кузмича».

Литература в данном случае отражала и обобщала те многочисленные факты разрыва с домом, с семьей, с обществом, которые действительно происходили в предреволюционную эпоху, указывая на общий глубокий кризис всего общественно-бытового уклада. Среди этих фактов огромное общественно-моральное значение имел уход Льва Толстого из Ясной Поляны незадолго перед смертью.

Преобладающее большинство писателей, так или иначе разрабатывающие эти темы, обычно противопоставляли своих героев, выбитых или выбившихся из общества, подлости, пошлости и скуке мещанского мира. Следует отметить, что многие писатели самому акту ухода придавали принципиальное значение, даже революционный смысл. Характерно, что по замыслу Чехова героиня рассказа «Невеста» должна была уйти в революцию.⁷⁰ Чехов в корректуре устранил строки, говорящие об

⁶⁹ Александр Блок, Собрание сочинений, т. 5., М.—Л., Гослитиздат, 1962, стр. 74.

⁷⁰ См. Чехов в воспоминаниях современников, цит. изд., стр. 528.

уходе Нади в революцию, но читатели передового, революционного умонастроения воспринимали и тему ухода как революционную. Так был воспринят и рассказ Андреева «В темную даль». Об этом свидетельствует письмо Горького к Андрееву: «Молодежь любит тебя пока что авансом, ибо, кроме «Темной дали», вы, сударь, пока ничего ей не дали».⁷¹

Из рассказа Андреева «В темную даль» остается неясным, кем является Николай, откуда он пришел и куда уходит. Известно лишь, что «за одну историю он был уволен с несколькими товарищами из Технологического института» (1, 104). поссорился с отцом, ушел из дома и семь лет где-то скитался. Близкие строят самые «фантастические предположения» о нем, а слуги даже предполагают, что он разбойник, «который грабит только богатых» (1, 107). И вновь уходит Николай из родного дома — просто в темную даль. Можно предположить, что Андреев не сказал ничего более определенно о характере деятельности Николая по цензурным соображениям. Однако, по всей вероятности, Андрееву не столь важно было, разбойник, или революционер Николай, а если революционер, то к какой точно партии он принадлежал (что не преминул бы отметить, скажем, Чириков). Важное, главное, — что «он ненавидит» «от самого дна до самого верху», «всю нашу жизнь» (1, 108), что он никак не может ужиться с налаженным, уютным бытом родной семьи, что в его присутствии богатое великолепие дома Барсукова и деятельность его обитателей становятся бессмысленными, скучными. «Теперь он был одет очень хорошо, но и в изысканном платье он не сливался с пышным великолепием комнат, а стоял особняком, как что-то чужое и враждебное. И если бы все эти дорогие вещи могли чувствовать и говорить, они сказали бы, что умирают от страха, когда он приближается или берет одну из них в руки и рассматривает со странным любопытством. Он никогда ничего не ронял и ставил вещь на место, как раз так, как она стояла, но как будто прикосновение его руки отнимало у изящной статуэтки всю ее ценность, и после его ухода она стояла пустой и ни на что ненужной» (1, 105). Отношение к вещам, к бытовому укладу богатого дома здесь прямо заставляет нас вспомнить приведенный выше отрывок из чеховской «Невесты», но выражено у Андреева оно все же по-иному, более резко и определенно. Андреев прямо в словах указывает на чуждость, враждебность Николая вещам, прямо говорит о том, что вещи обесценились, стали ненужными. Чехов не говорит об этом прямо, не употребляет слов «ненужный», «ценность», «враждебный». Тем не менее, и в отношении к быту, к вещам, и в самой неопределенности той дали, куда уходит Николай, Андреев близок к Чехову.

⁷¹ «Литературная газета», 1957, № 73, 18 июня.

«Быт сменяется безбытностью» не только в плане историческом, но и в чисто литературном, приводя к новым принципам изображения жизни, к отрицанию быта, к отказу от изображения быта. Отрицание быта как у Андреева, так и у многих деятелей театра и литературы шло под флагом борьбы с натурализмом. Эту борьбу с натурализмом Андреев вел, опираясь на Чехова, называя себя «продолжателем Чехова». Необыкновенно важно, что Андреев видит продолжение традиций не в эпигонском повторении их — ни по тематике, ни по форме: «И именно тем, что ни по содержанию, ни по форме я как будто не буду похож на него (Чехова — В. Б.) — именно этим самым я продолжу его».⁷²

Понимание Андреевым эпигонства, традиций и новаторства очень определенно проявилось в письме к писателю Б. А. Лазаревскому: «Мне рассказ Ваш не понравился прежде всего потому, что он очень — слишком — напоминает Чехова. И отсюда — его неправдивость: **ибо то, что было правдою в чеховские дни, теперь стало неправдою.** Того же глубокого и большого, что делает Чехова правдивым для всех дней, прошедших и будущих, того в Вашем рассказе нет».⁷³ Андреев считал, что эпигоны Чехова, рабски копируя его, не учли развития литературы, которая, как и всякое искусство, не терпит повторений, что не учли они и развития самой жизни, требующей от писателя нового подхода к ее изображению. Однако не только в этом Андреев видел недостатки эпигонствующих писателей. Коренной недостаток их в том, что они слишком поверхностно прочли и поняли Чехова: «Схвативши красивую и спокойную внешность его драм, они не поняли беспокойной и тонкой символизации, которой бессознательно служил он, в которой все очарование его прозрачного и нежного письма».⁷⁴ Главное достоинство художественного метода Чехова Андреев видел в символизации, в умении за изображением реальной жизни, жизни, «какова она есть», подняться до символического обобщения.⁷⁵ В этом направлении и стремился Андреев к продолжению чеховских традиций. Летом 1906 года он пишет Вл. И. Немировичу-Данченко: «Поскольку в реальном я ищу ирреального, поскольку я ненавистник голого символа и голой, бесстыжей действи-

⁷² Незданные письма Леонида Андреева, цит. изд., стр. 386.

⁷³ Там же, стр. 386—387.

⁷⁴ Там же.

⁷⁵ В понимании чеховского новаторства Андреев во многом близок к М. Горькому. «Говорят, например, — писал М. Горький А. П. Чехову, — что «Дядя Ваня» и «Чайка» — новый род драматического искусства, в котором реализм возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа. Я нахожу, что это очень верно говорят <...> Другие драмы не отвлекают человека от реальностей до философских обобщений — Ваши делают это» (М. Горький, цит. изд. т. 28, стр. 52).

тельности — я продолжатель Чехова и естественный союзник Художественного театра».⁷⁶

Эти идеи легли в основу предпринятой Андреевым осенью 1906 года реформы драмы. Принципы своей «неореалистической драмы» Андреев вырабатывал, основываясь на достижениях чеховской драматургии.

На основании этих приведенных отрывков из писем Андреева может показаться, что его взгляды на задачи и принципы художественного творчества не очень изменились с 1902—1903 гг.: против голого бытоописательства он выступал и тогда. Но это не совсем так. Правда, решительный поворот произошел в сентябре 1906 г., когда он непосредственно работал над первой своей «неореалистической драмой» — «Жизнь человека», но и летом 1906 года он высказывает мысли, прямо противоположные выраженным им же в статьях о «Трех сестрах» и «Мещанах». Если в 1902 году Андреев восторгался тем, что видел на сцене жизнь, изображенную так, будто «в щелочку подсматриваешь», что показан «факт, происшествие», то в 1906 году он становится решительным «врагом быта — факта — текущего».⁷⁷ Углубляясь в «проблемы бытия», пытаясь разрешить вопросы цели и смысла человеческого существования, вопросы жизни и смерти, добра и зла, он отказывался от воспроизведения реального быта. Быт упразднялся отнюдь не совсем, а должен был сам стать средством большей выразительности путем упрощения и обобщения. Бытовая подробность, деталь имели уже не характер обстановочный, а сами приобретали символический, обобщенный смысл. «Характеры, положения и обстановка должны быть приведены к основным своим идеям, упрощены и в то же время углублены благодаря отсутствию мелочей и второстепенного.»⁷⁸

Если разобраться по существу, «Жизнь человека» — это «бытовая драма». Вся жизнь Человека от рождения до смерти, от первой до пятой картины проходит в строго определенном бытовом окружении, в бытовых разговорах, погружена в быт.

Первая картина — «Рождение Человека и муки матери». Даже символические Старухи ведут типично «бытовые разговоры»: «Приятельнице нашей хотелось бы иметь девочку. Она говорит, что мальчики слишком буйны нравом, предприимчивы и ищут опасности. Когда они еще маленькие, они любят лазить по высоким деревьям и купаться в глубокой воде» (1, 174); «Бедный муж: он так растерялся, что на него смешно смотреть. Прежде он радовался беременности жены и говорил, что хочет мальчика. Он думает, что сын его будет министром или генералом» (1, 175). Затем входят Отец Человека и Доктор «в бе-

⁷⁶ Неизданные письма Леонида Андреева, стр. 387.

⁷⁷ Неизданные письма Леонида Андреева, стр. 386.

⁷⁸ Там же, стр. 389.

лом больничном балахоне», который просит заплатить особо за щипцы. Заботясь в первую очередь о повышении платы, он льстит отцу: «Он хорошо упитанный, крепкий мальчик и, если не ошибаюсь, похож на вас» (1, 179). Затем приходят поздравить с рождением сына Родственники. Их разговор — концентрированная пошлость:

« — Он очень безвольный человек. У него у самого так мало денег, а он дает займы людям, не заслуживающим доверия.

— Вы знаете, сколько стоило для ребенка белье?

— Не говорите, меня так огорчает легкомыслие брата.

Мы часто спорим с ним по этому поводу» (1, 181).

И далее разговор переходит на обсуждение качеств квартиры одного инженера, очень сырой и холодной, о преимуществах теплых квартир, о выведении пятен, о вреде курения.

Та же погруженность в быт во второй картине — «Любовь и бедность»:

« — Как они бедны! Смотрите, у них нет ни одного лишнего стула...

— Ни занавесок на окнах...

— Ни картин на стенах...» (1, 183).

И так почти до конца. Лишь в первом варианте последней картины — «Смерть Человека» — Андреев отходит от быта в кошмарных разговорах Пьяниц. В новом варианте пятой картины, написанном в феврале 1908 г., Человек умирает не среди случайных Пьяниц, а среди Наследников, которые ведут такие же бытовые разговоры, как Родственники, Соседи, Гости на балу.

Ясно, конечно, что в «Жизни человека» дано не реальное и жизненное изображение бытового течения жизни. Быт стилизован, предельно обобщен, символичен, — «приведен к своим основным идеям». Сам Андреев считал, что в «Жизни человека» он продолжает реализм, продолжает главным образом именно чеховский реализм. Не случайно свою новую драму он называет «нео-реалистической» (1, 221). Сущностью «новой формы», к которой он пришел, должно было быть «упразднение натуралистической видимости при сохранении строго реалистических основ».⁷⁹ Андреев не отходил от изображения жизни, а лишь от отражения жизни в ее конкретных проявлениях, в смешении существенного со случайным, второстепенным. Он пытался дать «широкий синтез, обобщение целых полос жизни».⁸⁰ Наиболее удавшейся, наиболее приближающей к его новым принципам драматургического письма он считал третью картину «Бал у Человека». В критике уже указывалось, что эта картина как

⁷⁹ Неизданные письма Леонида Андреева, стр. 390.

⁸⁰ Там же, стр. 389.

бы выросла из третьего действия «Вишневого сада»⁸¹ — тоже сцен бала. Сам Андреев также ясно дает понять, что в сценах бала он определенным образом опирался на Чехова, правда не на третий акт «Вишневого сада», а на пьесу «Иванов» в постановке Московского Художественного театра. «Взять Гостей в «Иванове», — писал он К. С. Станиславскому, — вот уже готовая положительная степень, из которой нужно сделать превосходную. Также и гости на «балу». <...> Они, эти гости, должны быть похожи на деревянных говорящих кукол, резко раскрашенных. Деревянные голоса, деревянные жесты, деревянная глупость и надменность. <...> Если бы мне удалось дать, что я хочу, — эта картина «веселья» должна бы быть самой тяжелой из всех, безнадежно удручающей».⁸²

⁸¹ См. статью Вл. Боцяновского «Чехов и символисты» в сб.: «Чеховский юбилейный сборник», М., 1910, стр. 296. Здесь следует остановиться на том, как восприняли и интерпретировали третье действие «Вишневого сада» некоторые современники Чехова.

А. Белый: «В третьем действии «Вишневого сада» как бы кристаллизуются приемы Чехова: в приемной комнате происходит семейная драма, а в задней, освещенной свечами, иступленно пляшут маски ужаса: вот почтовый чиновник вальсирует с девочкой, не чучело ли он? Может быть, это палка, к которой привязана маска, или вешалка, на которой висит мундир? А начальник станции? Откуда, зачем они? Это все воплощения мирового хаоса. Вот пляшут они, манерничая, когда свершилось семейное несчастье» (Андрей Белый, Арабески, М., «Мусaget», 1911, стр. 404.).

Вс. Мейерхольд: «Все кругом живут как-то тупо: вот довольные — они пляшут под монотонное побрякивание еврейского оркестра и, как в кошмарном вихре, кружатся в скучном современном танце, в котором нет ни увлечения, ни грации, ни даже... похоти, — не знают, что земля, на которой они пляшут, уходит из-под их ног. Одна Раневская предвидит Беду и ищет ее, и мечется и на минуту останавливает движущееся колесо, эту кошмарную пляску марионеток в их балаганчике» (Вс. Мейерхольд, О театре, СПб., 1913, стр. 21). Свое понимание третьего акта Мейерхольд излагает и в письме к А. П. Чехову от 8 мая 1904 г.: «Ваша пьеса абстрактна, как симфония Чайковского. <...> В третьем акте на фоне глупого «топанья» <...> незаметно для людей входит Ужас:

«Вишневый сад продан». Танцуют. «Продан». Танцуют. И так до конца. Когда читаешь вашу пьесу, третий акт производит такое же впечатление, как тот звон в ушах больного в вашем рассказе «Тиф». Зуд какой-то. Веселье, в котором слышны звуки смерти. В этом акте что-то метерлинковское, страшное». (Литературное наследство, т. 68, М., изд. АН СССР, 1960, стр. 448).

Подобная интерпретация третьего акта «Вишневого сада», несомненно, должна была быть близкой Андрееву, если судить по третьей картине «Жизни человека» и, особенно, по четвертой картине пьесы «Царь Голод», где также происходит нечто вроде бала в «ночь великого бунта». В дополнение очень любопытно будет отметить, что Е. Вахтангов в 1921 году мечтал поставить «Свадьбу» Чехова и «Пир во время чумы» в одном спектакле. «У меня сейчас порыв встать и бежать сказать, что у меня зародилось, — записывает Е. Вахтангов. — Я хочу поставить «Чайку». Театрально. Так, как у Чехова. Я хочу поставить «Пир во время чумы» и «Свадьбу» Чехова в один спектакль. В «Свадьбе» есть «Пир во время чумы» (Евг. Вахтангов, Материалы и статьи, М., ВТО, 1959, стр. 188).

⁸² Неизданные письма Леонида Андреева, стр. 383.

Очень интересно отметить, как воспринимал эту постановку Андрей

«Деревянность», манекенность гостей, «кошмарную пляску марионеток», как мы видим, почувствовали в третьем акте «Вишневого сада» Чехова и Вс. Мейерхольд, и А. Белый. Е. Вахтангов в постановке «Свадьбы» также подчеркивал марионеточность гостей, используя «прием куклы: в живом человеке раскрывается его мертвая сущность, человек-мешанин, обыватель показывается в качестве марионетки. <...> все комическое в пьесе оборачивалось для зрителя трагически, — смешное становилось страшным».⁸³ Именно в этом плане связывает и Вл. Боцяновский «Жизнь человека» с чеховской традицией. «По-моему, — пишет он, — «Балаганчик» Блока и даже «Жизнь человека», вернее, примитивы этих произведений, были как бы подсказаны чеховскими героями в футлярах. Чехову, благодаря присущему ему исключительному художественному таланту, удалось показать подобие живых людей так, что все сразу сказали:

— Да это не люди. Это только манекены какие-то. Люди были у него живые, отнюдь не карикатуры, но почему-то чувствовалась их манекенность».⁸⁴

Человеческие характеры Андреевым тоже были приведены «к основным своим идеям». Люди у него не живые, но и не карикатуры на людей. Это человеческие абстрагированные «сущности», «скелеты без мяса». «Пусть будет обнажено не только до мяса, но и до самых костей. Но вместе с тем это отнюдь не должна быть карикатура»,⁸⁵ — писал Андреев. Представленные на сцене «сущности» человеческих свойств, кроме того, гротескно заострялись.⁸⁶ «Все указанные свойства в каждом из обладателей их достигают крайнего развития» (1, 179), — от-

Белый: «Путь от условного к реальному не знаком Художественному театру. Этим объясняется неуспех метерлинковских пьес. Наоборот, в подчеркивании фантастического элемента в реальном Художественный театр не знает соперников. Я не знаю, кто воплотил в «Иванове» фантастический кошмар жизни — Художественный театр или Чехов, только при чтении этой наиболее слабой из чеховских пьес не получаешь и сотой доли того впечатления, какое выносишь, выходя из театра. Вся пьеса зажглась здесь светом иных реальностей, и мы увидели, что все эти серые люди, неврастеники, пьяницы, скряги — чудовищнейшее порождение сна, вросшие в жизнь фантомы, казавшиеся нам реальнее реального в нездоровом тумане недавнего прошлого». (Андрей Белый, Арабески, М., «Мусагет», 1911, стр. 407—408).

⁸³ С. Балухатый, Чехов драматург, Л., Гослитиздат, 1936, стр. 312.

⁸⁴ Чеховский юбилейный сборник, М., 1910, стр. 295.

⁸⁵ Нензданные письма Леонида Андреева, стр. 391.

⁸⁶ Эти принципы Андреева довольно близки к идеям гротеска, которые позже были выдвинуты Мейерхольдом, а затем Вахтанговым. «Бытовой театр должен умереть, — писал Вахтангов. — «Характерные» актеры больше не нужны. Все имеющие способность к характерности, должны почувствовать трагизм (даже комике) любой характерной роли и должны научиться выявлять себя гротескно.

Гротеск — трагический, комический». (Евг. Вахтангов, Материалы и статьи, М., ВТО, 1959, стр. 187).

мечает Андреев в ремарке к характеристике Родственников в первой картине «Жизни человека».

Андреев считал, что только таким путем абстрагирования и упрощения можно решить «проблемы бытия» и познания человека в искусстве. «Все эти бытовики, — говорил он, — те, что верят в человека, «утверждают» жизнь — менее всех знают и жизнь, и человека. Знают школьно, литературно. Это-то знание и наделает когда-либо бед. Самое важное ведь скрыто в глубинах человеческих, неожиданно для нас самих».⁸⁷

Настойчивость, с которой Андреев объявлял себя продолжателем Чехова в письмах к Вл. И. Немировичу-Данченко, в известной степени была обусловлена его страстным желанием видеть свои пьесы на сцене Московского Художественного театра, который был для него прежде всего «театром Чехова». С другой стороны, в этом сказались некоторым образом также колебания и сомнения (см. 1, 220), которые в период создания первого опыта «неореалистической драмы» приводили порой к отказу от уже найденных принципов, к внесению «соринок старой формы». Колебания и сомнения видим в вопросе о «настроении». Как «продолжатель Чехова» и «друг и союзник Художественного театра», Андреев считал необходимым оставить «настроение»: «А насколько важны настроения — Вы видите это из 3-й картины (Бал): все действие — сплошь настроение».⁸⁸ Но в том же письме он говорит о необходимости «от тихих, нежных, тонких настроений, перейти к резким, отчетливым, гневным звукам трубы».⁸⁹ Здесь Андреев противопоставляет свою пьесу Чехову, чеховским настроениям.

Отказавшись от воспроизведения быта в его повседневном конкретном и жизненном течении, отказавшись от изображения живых людей, индивидуально-конкретных человеческих характеров, Андреев не только отошел от Чехова, но, по сути дела, встал на почти противоположную позицию, пришел к противоположному художественному методу. Андреев и сам прекрасно понимал это и в некоторых случаях прямо противопоставлял себя Чехову. «Если в Чехове и даже Метерлинке сцена должна дать жизнь, то здесь — в этом представлении сцена должна дать только отражение жизни. Ни на одну минуту зритель не должен забывать, что он стоит перед картиною — что он находится в театре и перед ним актеры, изображающие то-то и то-то».⁹⁰ Если летом 1906 года в грубости и резкости своей он видит крупные недостатки, отделяющие его от Чехова,

⁸⁷ Л. Клейнборг, Встречи, Леонида Андреев. — «Былое», 1924, № 24, стр. 174.

⁸⁸ Неизданные письма Леонида Андреева, стр. 390.

⁸⁹ Там же, стр. 389.

⁹⁰ Там же, стр. 382.

то в ноябре того же года заявляет: «Но — этого я и хочу, именно грубости, угловатости, даже как будто вульгарной карикатурности».⁹¹

Таким образом, в период создания «Жизни человека» отношение Андреева к Чехову становится довольно сложным и даже противоречивым: с одной стороны, определенное и продуманное стремление опереться на творчество Чехова, продолжить его традиции, с другой стороны, прямой разрыв с некоторыми принципами чеховского художественного метода, противопоставление своей «новой формы» чеховской, своеобразное продолжение спора с «чеховскими настроениями».

«Жизнь человека» Андреев противопоставлял не только натурализму, но и символизму. В тяготении к «вечным» проблемам, к «вневременному» и «внепространственному» он в этот период чаще всего лишь внешне совпадает с правоверными символистами. Он не любил писать с натуры, изображал жизнь не прямо, «какова она есть», а создавал «картину», «представление», «отражение жизни», стремился дать «широкий синтез, обобщения целых полос жизни». При всей отдаленности от живой жизни в представлении «Жизнь человека» Андрееву важно было сохранение «реалистических основ». Именно тем он кардинально отличается от символистов, что в его обобщениях нет ничего мистического, «запредельного», что отражал он конкретный мир. «Некто в сером» — это тоже не мистическая фигура, не символ иного, потустороннего мира, а обобщение некой силы реального мира, стоящей вне людей, но странным образом влияющей на их жизнь. Андреев не называет этой силы, наоборот, он намеренно оставляет неопределенным, нерешенным этот вопрос. Проклятие Человека обращено к «Неизвестному», как по-другому назван Андреевым «Некто в сером»: «Я не знаю, кто ты — бог, дьявол, рок или жизнь — я проклиная тебя!» (1, 212).

Представление о таинственной силе, направляющей жизнь людей, о роке у Андреева (и не только у него одного) возникли на основе чеховского творчества, чеховского понимания жизни, и в этом Андреев, несомненно, продолжатель Чехова. В рассказе «Случай из практики» врач Королев, раздумывая о жизни рабочих, о жизни хозяев фабрики, приходит к выводу о недоразумении, логической несообразности, так как и те и другие живут плохо, неестественно. «Главный же, для кого здесь все делается — дьявол».

И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми.

⁹¹ Там же, стр. 390.

Эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому, таков закон природы, но это понятно и легко укладывается только в газетной статье или в учебнике, в той же каше, которую представляет из себя обыденная жизнь, в путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность, когда сильный и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку» (X, 310—311). <Рарядка моя — В. Б.> Чехов намеренно подчеркивает, что его герой не мистик, не верит в дьявола, что Королев подходил к «фабричному вопросу» «как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима» (IX, 309). Но тем не менее, Королеву «чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы» (IX, 311), представлялось «чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами и рабочими, и обманывал и тех и других» (IX, 310).⁹² Чехов очень редко прямо указывает, что жизнь направляется неизвестной силой, стоящей вне жизни, и лишь в рассказе «Случай из практики» говорит о дьяволе, но эта неведомая сила присутствует почти во всех его произведениях с середины 90-х годов. Наиболее явно она проступает в его драматургии, во многом определяя природу драматургического конфликта, «источники которого находятся вне воли людей».⁹³ «В общем — жизнь с каждым днем становится все сложнее и движается куда-то сама собою»,⁹⁴ — говорил Чехов.

Чехов, понимая силу обстоятельств, исторической необходимости, раскрывая конфликт между человеком и общим сложением жизни, хотя и говорил о неведомой силе, о дьяволе — чудовище с багровыми глазами, все же в своем творчестве оставался социально и исторически конкретным. Андреев, идущий вслед за Чеховым, утерял уже эту социальную и историческую конкретность. Неведомая сила, направляющая людей, у него имеет вполне мистифицированный смысл, а у символистов — уже мистический. Такая же линия, вернее, такое же соотношение наблюдается и в некоторых других аспектах. Как указывает А. Скафтымов, в пьесах Чехова зло «действует без прямой волевой активности, а лишь как некий непроизвольный плод жизни».⁹⁵ <Разрядка моя — В. Б.> В творче-

⁹² Эта Чеховым лишь вскользь намеченная тема об обмане тех и других развернута Андреевым в пьесе «Царь Голод».

⁹³ А. Скафтымов, цит. изд., стр. 370.

⁹⁴ М. Горький, цит. изд., т. 5, стр. 433.

⁹⁵ А. Скафтымов, цит. изд., стр. 331.

ской мысли Андреева представление с зле как непроизвольном плоде жизни укрепляется, а затем, в результате стремления писателя к абстрагированию, к вскрытию и даже конструированию «сущностей», зло становится категорией вневременной, извечной и внесоциальной. А это сближало его с декадентами.



После 1906 года в творческом сознании Андреева довольно длительное время отсутствует активный интерес к Чехову. В отдельных незначительных высказываниях о Чехове он в основном повторяет свои прежние мысли.

Интерес к творчеству Чехова возродился с новой, еще, пожалуй, большей силой в 1912—1913 гг., когда Андреев работал над пьесой «Катерина Ивановна» и «Письмами о театре». Время творческой «встречи» Андреева с Чеховым, как и в 1906 году, совпало вновь с периодом напряженных поисков «новой драмы».

Создателем «новой драмы» — теперь уже драмы психологической или пан-психологической, — Андреев объявил А. П. Чехова, а новым «театром пан-психологизма» — Московский Художественный театр. В первом «Письме о театре» Андреев полагает, что «новому театру» сценическое «действие в его узаконенной форме» совершенно не нужно, «поскольку сама жизнь, в ее наиболее драматических коллизиях, все дальше отходит от внешнего действия, все больше уходит в глубину души, в тишину и внешнюю неподвижность интеллектуальных переживаний» (8, 306—307). Если в 1902 году Андреев в рецензии на «Мещан» М. Горького видел новое сценическое действие в развертывании самого бытового течения жизни, в отражении «историчности» жизни, то теперь он находит его в борьбе, которая происходит в мысли и душе человека, в драме интеллекта. В результате того, что «жизнь ушла внутрь» (8, 307), «стала психологичнее» (8, 308), изменяются понятия о сценичности, о сценическом действии. Андреев противопоставляет Чехова Островскому, именно в чеховской драматургии обнаружив «внутреннее действие», новую сценичность. Этим он объясняет, почему, по его мнению, «так очаровательно-сценичен (и так уже не нужен) Островский, имеющий опору в быте, и почему так нужен и так «несценичен» Чехов» (8, 307—308).

Андреев утверждал, что хотя все почувствовали новаторство Чехова-драматурга, никто не мог разгадать «загадку новизны», ошибочно видя новое в «настроении». И словом «настроение», «как отмычкой» стали пользоваться при постановке мно-

гих пьес, но «получалась неудача, чеховщина в горьковщине».⁹⁶ Сущность новаторства Чехова, как полагал Андреев, в панпсихизме. «Особенность Чехова в том, что он был наиболее последовательным панпсихологом. Если часто у Толстого **одушевлено** только тело человека, если Достоевский исключительно предан самой душе, то Чехов одушевлял все, чего касался взглядом: его пейзаж не менее психологичен, чем люди; его люди не более психологичны, чем облака, камни, стулья, стаканы и квартиры».⁹⁷

Особо останавливается Андреев на знаменитых сверчках, на «звуче упавшей бадьи», на чеховских паузах в Московском Художественном театре, объясняя все уже не «настроением», а «панпсихизмом». «Все предметы мира видимого и невидимого, — писал Андреев, — входят лишь как часть одной большой души; и если его рассказы есть лишь главы одного огромного романа, то его вещи есть лишь рассеянные по пространству мысли и ощущения, единая душа в действии и зрелище».⁹⁸ Подчиненность всеобщему «панпсихизму» подчеркивает Андреев также в диалоге чеховских пьес, который «неправдоподобен, так в жизни не говорят», «полон недоговоренности», но который помогает почувствовать «правду души». Андреев говорит также об огромном значении драматургии Чехова для Московского Художественного театра, который «без Чехова легко мог заблудиться в натурализмах, реализмах и символизмах».⁹⁹

Отношение к Чехову в «Письмах о театре» исключительно апологетическое, в них отсутствует всякий элемент спора, который в прежние «встречи» обычно прорывался у Андреева. Чехов как создатель «новой драмы», как «чистый представитель панпсихизма» в литературе становится теперь образцом. И обосновывая принципы «новой драмы» Андреев все время обращается к Чехову, находя в нем поддержку. Выступив против «театра игры», «притворства», против театральных «масок», против актерских характерных амплуа, он опирается на чеховские пьесы в исполнении артистов Художественного театра.

В «Письмах о театре» Андреев в сущности полностью отрекается от прежних принципов «неореалистической драмы». Этот крутой поворот во взглядах на драматургию и театр связан с общей политической обстановкой после революционных событий 1905 года. Поворот к реализму, к психологизму, возвращение к быту, переход от «неприятя мира» к его «приятю» совершает почти вся литература в этот период. То, что Андреев так много говорит о вещах хотя бы и одушевленных, теснейшим образом

⁹⁶ Альманах издательства «Шиповник», кн. 22, СПб., 1914, стр. 248—249.

⁹⁷ Там же, стр. 250.

⁹⁸ Там же.

⁹⁹ Там же, стр. 253.

связано с тенденцией к «вещности» в литературе 1910-х гг., наиболее ярко проявившейся в творчестве акмеистов. Процесс этот был очень сложным и противоречивым. Переход от «неприятия мира» к его «приятию» был в некоторой степени и фактом примирения с действительностью и отказа от революционности. С другой стороны, поворот к психологизму и реализму означал усиление интереса к живому человеку, к его душе во всей его сложности. И в апологетическом отношении к Чехову в этот период со стороны Андреева сказалась эта противоречивость. Чехов предстает несколько односторонне лишь как новатор, как писатель-психолог. Общественное значение творчества Чехова Андреевым будто забывается. Не спорит он больше ни с «чеховскими героями», ни с «чеховскими настроениями».

Таким образом, рассмотрев творческие «встречи» Андреева с Чеховым, можно выделить три основных периода, когда чеховское творчество оказало наибольшее воздействие на Андреева как писателя. Сам характер этого воздействия, то, что на разных этапах своего творческого развития принимал Андреев в Чехове позволяет лучше понять не только эволюцию Андреева и его место в литературной борьбе XX века, но и сложный процесс развития всей литературы.

Андреев многократно указывал, что на него, как на художника, оказали наибольшее влияние Л. Толстой, А. Чехов и В. Гаршин. И надо сказать, что в определении «отправных точек» своего творчества он был очень точен.¹⁰⁰ Андреев действительно во многом продолжает традиции крупнейших представителей русского реализма конца XIX века, однако, особенности нового этапа исторического развития и логика литературного развития предопределили и значительный отход от этих традиций, а в отдельных случаях и борьбу с ними.

¹⁰⁰ См. также мою статью «Лев Толстой и Леонид Андреев» в сб.: Труды по русской и славянской филологии, IV, Тарту, 1961.

КОНСТРУКЦИИ С ДВОЙНЫМ ВИНИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVII ВЕКА *

А. Б. Правдин

Как известно, конструкции с двойным винительным падежом включают в себя формы переходных глаголов, от которых зависит первый винительный падеж — прямое дополнение; этот винительный падеж сочетается «с уподобившимся ему и являющимся в винительном падеже предикативным приложением или атрибутивно-предикативным, равно и предикативным определением.»¹ По своему происхождению эти конструкции являются общеславянскими. Развитие синтаксического строя русского языка привело к тому, что в период, который является объектом исследования настоящей статьи (к. XVI — н. XVIII вв.), наряду с ними существует ряд конструкций иного состава, но выполняющих примерно ту же функцию, выражающих примерно то же значение, что и конструкции с двойным винительным падежом. Все эти конструкции могут рассматриваться как синтаксические синонимы. С течением времени сфера применения двойных винительных падежей ограничивалась за счет распространения синонимических конструкций. При этом основным конкурентом являлась конструкция, в которой на месте второго винительного падежа выступал творительный падеж с предикативным оттенком значения. Однако процесс вытеснения второго винительного падежа, начало которого прослеживается уже в древнейших оригинальных памятниках русского языка, в XVII веке еще был далек от завершения.

Исходя из конструкций с двойным винительным падежом, мы рассмотрим в настоящей статье наряду с ними и синонимические конструкции, существовавшие в русском языке XVII века.

В основе классификации исследуемого нами материала могут

* Настоящая статья служит продолжением статьи «К истории двойных косвенных падежей в русском языке» («Ученые записки Тартуского государственного университета», вып. 119, 1962). Там же помещен и список использованных источников — памятников древнерусской письменности.

¹ А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Л., 1941, стр. 331.

лежать различные принципы. С исторической точки зрения наиболее целесообразно распределить материал прежде всего по частям речи, стоящим во втором винительном (или творительном предикативном) падеже (аналогично мы поступили и при анализе конструкций с двойным дательным падежом); таким образом выделяются три группы случаев (имена существительные, имена прилагательные, причастия). В пределах этих групп приводятся прежде всего конструкции с двойным винительным, затем с творительным предикативным, причем как те, так и другие группируются уже по значению управляющих глаголов. Значение глаголов позволяет выделить в основном четыре группы случаев: 1) глаголы обозначают делание, назначение, избрание кого-либо кем-нибудь; вторым винительным в таком случае обозначается результат глагольного действия на объект, выраженный первым винительным падежом; 2) управляют глаголы называния (звать, называть, нарицать); эта группа в общем близка к предшествующей, но объект в результате глагольного действия не столько изменяет свое состояние, сколько лишь приобретает новое название; 3) глаголы со значением доставления, владения, получения, сохранения и нек. др.; вторым винительным в таком случае не обозначается результат воздействия на объект, который, подвергаясь глагольному действию, представляется выступающим в каком-либо определенном состоянии или качестве; это состояние или качество подвергнутого действию объекта выражается именем, стоящим во втором винительном падеже; 4) глаголы со значением чувства, познания, мысли, сообщения; винительными падежами в последней группе случаев выражается т. н. отдаленный объект — объект, «до познания или выражения коего мы доходим посредством осязательного для нашего сознания ряда умозаключений».² Эти конструкции выделяются в том отношении, что двойной винительный падеж в их составе находится в синонимических отношениях с придаточными предложениями, где на месте первого винительного выступает подлежащее, на месте второго — сказуемое.

Обратимся к материалу, извлеченному из памятников.

1. Имя существительное. Второй винительный падеж.

1). Глаголы со значением делания, назначения, избрания и т. п. Примеры единичны.

...постави *перваго митрополита* Кииву Леона, а Новугороду Иоакима (Уст. св., 69).

2). Глаголы со значением называния.

...истову си *матерь* сию нарек... (Вр., 29).

² А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 296.

...самого положителья закону *разорителя* сему наричют тогожде безумне (Вр. 98).

...что ты ныне, кабаче, нареку, дурна ли или безумна, *разбойника* ли ты нареку, но манием о землю бросаешь, *купца* ли ты нареку.. (Пам. сат. лит., 89).

3. Глаголы со значением доставления, владения и т. п.

...не положил он босурман поганой и скаредной бога себѣ *помощника* (Пов. Аз., 11).

...азъ же пресвятѣи богородицѣ молихся, да дасть ми жену *помощницу* ко спасению (Авв., 5).

...весь свѣтъ знать будетъ тебе собѣ *пана* (Драм. пр., 12).

4). Двойной винительный — отдаленный объект.

...а сказываешь отца своего *вотчину* Свейскую землю (Посл. Ив. Гр., 148).

...видѣвше же сие Московстии воеводы... и такожде усумнишася, и чающе его *приснаго сына* князя Ивана Васильевича всеа Руси... (Пам. См. вр., 40).

Имя существительное. Творительный падеж.

1). Глаголы со значением делания, назначения, избрания.

...тое же осени...поставили архимарита спасково Василия Нарыла *архиепископом* в Ростов (Уст. св., 288).

...князь Василей...велѣлъ его взяти и учинити по старому *черньцомъ* и *диякономъ* (Пам. См. вр., 22).

...нѣкоторого велможу, зовомого Борисъ Годуновъ,.. учинилъ надъ государствомъ своимъ во всякихъ дѣлахъ *правителемъ* (Кот., 2).

...Михаила же Борисовича учинилъ *окольничимъ* за добрую вѣсть (Нов. Л., 64).

...якого хочу, того чиню *паномъ* (Драм. пр., 9).

2). Глаголы называния. Случаи весьма многочисленны, особенно при называть, звать.

...и нарекоша его смолняне *государем* (Уст. св., 12).

...отпусти ю в Киев и *дщерью* нарек (Уст. св., 34).

...коли тех прежних государей пишешь *предки своими*... (Посл. Ив. Гр., 217).

...наименовай себе не точию *царемъ*, но непобѣдимымъ *цесаремъ* (Пам. См. вр., 58).

...называешь воровсково сына *государскимъ сыномъ* (Д. д. 1, 190).

...и за то де, г-рь, называли ево *лазутчикомъ* и хотѣли ево убить (Д. д. 1, 689).

...а зовут тово дворника *Олексеем* Моксимов сын (Хоз. Мор., № 160).

...и бив тех моих крестьянишек,.. отвел в город в Володимер без полишнева, назвав тех моих крестьянишек *ворами* (Хоз. Мор., № 53).

... а ты меня, смер(д), *смердиною* зовеш и детей моих соромотиш (Пам. сат. лит., 195).

... а зовут ево попа *Савою* (Пам. сат. лит., 235).

... и того капитана Невельского называют *добрым* и *разумным* *человеком* (Пос., 45).

3). Глаголы со значением доставления, владения и т. п.

... аще мя хоцещи видѣти *царицею* себѣ, то перьвѣ крести мя (Уст. св., 33).

... и в-ыныхъ государствахъ обычай писати господину къ господину, отдаючи себя *слугою поволнымъ* (Кот., 57).

4.) В конструкциях, выражающих значение отдаленного объекта (глаголы сообщения, мысли, чувства и под.), на месте второго винительного падежа творительный предикативный падеж обыкновенно не выступает. Однако все же ср.:

... зѣ Брачна князь Адамъ поѣхалъ до Вишневецъ и того Гришку съ собою взялъ, и по паномъ по раднымъ его возилъ и сказывалъ его *царевичемъ княземъ Дмитриемъ Ивановичемъ Углецкимъ* («... сказывал, что он — царевич...») (Пам. См. вр., 22).

2. **Имя прилагательное.** Второй винительный падеж.

1). Глаголы со значением делания и т. п. (вторым винительным обозначается результат глагольного действия).

... на всяк день бишася, землю всю *пусту* доспѣл... (Уст. св., 155).

... Они же два своему им страху и боязни, яже от дел, оного с собою тому сотвориша *причастна* (Вр., 129).

... а у Микитки Кузнецова насеки не удаются, делает *худы* (Хоз. Мор., № 295).

... вели, государь, меня из тюрьмы *свободна* учинить (Хоз. Мор., № 79).

... и самымъ меншимъ чинамъ домовъ своихъ построить *добрыхъ* немочно, потому что разумѣють о нихъ богатство многое имѣють (Кот., 226).

... Посадские же люди всѣ и стрѣльцы, оставивше его *единого*, разбѣгошася разнo (Нов. л., 176).

... точию внушай мое пребывание, когорое сотворю тебе *известно*... (Пам. сат. лит., 204).

... не учини меня *бецасного* — отпиши ко мнѣ о здоровье своемъ (Письма русск. гос., V, № 3).

... суд устроить *един*, каков земледельцу, таков и купецкому человеку, ... и чтоб и суд учинить *близостной*, чтобы всякому и niskочинному человеку легко было ево доступить (Пос., 54).

Приведем также особый случай, где первый винительный имеет форму винительного-родительного, а второй — собственно винительного падежа мн. числа:

... стретаем тя, радующеся за се, яко не остави нас *сиры* (Вр., 49).

2). Глаголы называния.

... дядю нашего, князя Андрея Ивановича, изменники на нас подъяша, и с теми изменники пошел было к Новугороду (ино которых хвалиши! *доброхотных* нам и душу за нас полагающих называешь!) ... (Посл. Ив. Гр., 92).

... *окаянних* себе наричют (Вр., 146).

... назвал он *высока* себя, будто он выше всѣх земских царей (Пов. Аз. 1).

3). Глаголы со значением доставления и т. п. (вторым винительным не обозначается результат глагольного действия).

... что послано, того не покушавати, .. толко туто осмотрити, какъ дають *цѣло* ли и вполне ли посылають (Дом., 57).

... а посылати питие вполне, а еству *цѣлу*, ино солгати не уметь (Дом., 56).

... 7000 тотар руками *живых* поимаша (Уст. св., 107).

... видѣхъ путь *гладокъ* и *сухъ* и *чистъ* и дивихся о сем (Пам. См. вр., 245).

... невозрастшихъ юнотокъ ... милостыни *нагихъ* отпускаху просити (Пам. См. вр., 515).

... прежереченнаго одного разбойника Петрушку ... *жива* ухвати, связана къ Москвѣ приведе (Пам. См. бр., 115).

... взяли на томъ бою одново челоуѣка *жива* (Д. д. 1, 773).

... Смирной, государь, Гольцов писал, что принял жеребца *здорова* и *целоножна* (Хоз. Мор., № 173).

... а видають твои государевы крестьяня тово Алешю на Москве *пиянова* (Хоз. Мор., № 175).

... не хошетъ его *жива* видѣти (Нов. лет., 50).

... видя меня *печальна*, протопоповица моя приступи ко мнѣ со опрятством и рече ... (Авв., 15).

... *жива* бы меня проглотилъ .. (Авв., 14).

... ихъ и съ матерію троихъ въ землю *живыхъ* закопали (Авв., 21).

... Протопопица младенца родила, *больную* и повезли до Тобольска (Авв., 8).

... такого челоуѣка съ тѣмъ челоуѣкомъ посылають *больного*, доколь обможетца (Кот., 65).

... *живого* четвертають, ... жгутъ *живого* ... (Кот., 171). Пропущенный первый винительный падеж легко может быть восстановлен из контекста.

... приказываютъ тѣмъ людемъ, чтобъ они тѣхъ своихъ людей держали въ домѣхъ своихъ не голодомъ и не *безодежныхъ* ... (Кот., 176).

... Бий врага *добрѣ*, да вѣдь свое дѣло, да пасеть бодро, хранить стадо *цѣло* (Драм. пр., 315).

... Олофернъ не повелѣлъ мя къ дереву привязати, токмо не связана, но *свободна* въ Вефулию вручити (Драм. пр., 160).

... звѣрь, его же *жива* рукама ловять .. (Драм. пр., 102).

Количество примеров можно было бы значительно увеличить; особенно много встречается случаев с прилагательным *живѣ* или *живой* в форме второго винительного падежа.

4). Двойной винительный — отдаленный объект.

... Всеволод же, видев силу их *многу*, а своих мало, и нача посылати к ним о миру (Уст. св., 106).

... начальниковъ увѣда *пьяныхъ* ... (Нов. лет., 93).

... а который человекъ, видя свою жену *увѣчную* или *несовѣтливую*, отступя отъ неѣ, самъ пострижется (Кот., 228).

... видѣвъ его *юна* («увидев, что он юн»?) (Нов. лет., 58).

Имя прилагательное. Творительный падеж.

1). Глаголы со значением делания и под. (имя в творительном падеже обозначает результат действия глагола на объект, выраженный первым винительным падежом).

... отецъ не могль *здоровымъ* его учинити ... (Драм. пр., 45).

... твой мужъ, Алкмена, все то зло створи, и мужа тебѣ достойно *виннымъ* почитати (Драм. пр., 478).

... ишу радостнѣ, ты имамъ хвалити, аще мя люди будутъ *мудрымъ* чтити (Драм. пр., 406).

... Буде солдаты кого убьют или ограбят, то они ж будут и правы, а кого били иль грабили, то того ж и *виноватым* делали (Пос., 53).

2). Глаголы называния.

... велят очищать место и землю называют *своею* (Хоз. Мор., № 29).

... а къ царицѣ посолства править и еѣ видетъ не допустили, а отговорилися тѣмъ, назвали царицу *болною* (Кот. 82).

... и ты праведна еси, когда мене обличаешь и твоему воспоминанию мя *винным* нарицаешь (Драм. пр., 479).

3). Глаголы со значением доставления.

... прислать к Москве .. яйца *мерзлыми*, и чтоб были свежие; .. гуси и утки и поросята прислать *мерзлыми*, а не *живыми* ... (Хоз. Мор., № 380).

4. Первый винительный падеж в сочетании с творительным предикативным выражает значение, близкое к значению отдаленного объекта.

... а нынешнего царя обрали на царство, а писма онъ на себя не давалъ никакого, что прежние цари даывали, и не спрашивали, потому что разумѣли его гораздо *тихимъ* (Кот., 185).

... самъ цесарь о томъ пытается, по Алексѣю бо и онъ жалъ маеть. Бо его видѣлъ *мудрымъ* въ каждой справѣ ... (Драм. пр., 50).

3. Причастие. Второй винительный падеж.

1). Глаголы со значением делания.

... самех убийц ради и сим по сродству казни достоинех, — тех *обогащенех* сотвори ... (Вр., 45).

... А мы, великий государь, васъ, атамановъ и казаковъ, за вашу службу въ нашемъ жалованье *забвенныхъ* не учинимъ (Д. д. 1, 458).

2). Глаголы названия.

...Измѣнници же ругающесе имъ и *недоброхотствующихъ* царю Тушинскому нарицаху... (Пам. См. вр., 503).

3). Глаголы доставления, нахождения, сохранения, восприятия и нек. др. (второй винительный не является результатом глагольного действия).

...сѣвше на кони и наѣхаша государя, на дубравѣ *сѣдѣща*, кровава, а Сабура над ним *стояща* и *плачущася* (Уст. св., 171).
...святѣи, видев их *идущихъ*, возрѣв на них, та же словеса глаголаше (Уст. св., 81).

...видя себе той Борисъ самого *поругаема* и отъ всего народнаго множества *попираема*... (Пам. См. вр., 4).

...вѣру *не нарушену* да сохранить (Нов. лет., 153).

...скована въ желѣзахъ держалъ, принуждая къ новому антихристову таинству (Авв., 19).

...не по обычаю видѣ тварь *измѣненну* и сего ради бысть въ недоумѣнии (Авв., 3).

...А кого из вас усмотрю *заскорбевшихъ* како, и техъ взявше ношу домой всяко (Пам. сат. лит., 214).

...видѣлъ мя еси на всякъ день тебе ради *сѣтующа* и от сердца *стенѣща*... (Драм. пр., 71).

4. Двойной винительный падеж — отдаленный объект.

...Окаянные же печаловаше, слыша брата *грядуща* (Уст. св., 74).

...яко де истинно царь Борисъ мнить убо и чаесть и днесъ *убита* его царевича... (Пам. См. вр., 38).

...чаяли насъ отъ измѣнниковъ нашихъ *убитого* (Пам. См. вр., 44)..

...вѣдая многихъ и бояръ своихъ измѣною *колеблющихся*, не точию простыхъ (Нов. лет., 95).

...увѣда послѣди царя *убиенна* отъ вора (Нов. лет., 126).

...увѣдаша вора *убиенна* (Нов. лет., 127).

...Единою же увѣда вора *похавша* на поле... (Нов. лет., 127).

Причастие. Творительный падеж. Единичный случай:

...градъ свой, его же нынѣ еще не *одолеваемъ* себѣ почитаютъ, зане на горахъ поставленъ, намъ отдати потщатся (Драм. пр., 140).

К 3-ей группе конструкций с двойным винительным падежом примыкают как особый подвид конструкции, содержащие **составной** второй винительный падеж. В этих конструкциях второй винительный падеж состоит из причастия глагола «быть» (иногда и других глаголов) и какого-либо иного имени (существительное, прилагательное). Причастная форма в составе вто-

рого винительного при этом не является обязательной: соответствующее значение в древнем языке в большинстве случаев могло быть выражено и при ее отсутствии.

Приведем примеры, распределяя материал по двум группам:

1). Винительный отдаленного объекта.

...начаша советовати отай нас, мневша нас *неразсудных суца* (нет согласования в числе). (Посл. Ив. Гр., 37).

...бранному делу по всему сказуют его *бывша искусна* (Вр., 307).

...вижу бо ты зверя *не проста суца*, но великаго разума имуща (Пам. сат. лит., 203).

...мню сего отрока телом *чиста представша* Христови, яко родительных грех непричастна (Вр., 85).

2). Винительный не обозначает отдаленного объекта; управляют глаголы названия, восприятия (непосредственного) и нек. др.

...видиши мя *болну суцу* (Уст. св., 37).

...положиша ево предъ враты грацкими на площади *нага суца* (Пам. См. вр., 581).

...лисонка же...виде ево кура *печална суца*, слез полны очи имуща... (Пам. сат. лит., 202).

Как обычный второй винительный, так и второй винительный составной иногда предваряются союзом *яко*:

...где суть, иже некогда глаголющей *яко неповинна суца* Бориса закланию царского детища (Вр., 315)..

...во гневѣ своем разделением раздвоения едины люди раздели и *яко двоеверни* сотвори, овы усвая, овы же отметахся (Вр., 271).

...ни враг его кто наречет сего, *яко безумна* (Вр., 330).

Выше мы уже привели материал с творительным предикативным падежом на месте второго винительного падежа. Конструкции с творительным предикативным падежом в языке XVII в. представляются важнейшим синонимическим средством в отношении двойных винительных падежей. Однако употреблялись и другие близкие по значению конструкции.

1). На месте второго винительного падежа выступает винительный падеж с инфинитивом. В роли управляющих глаголов могут в подобных случаях выступать как глаголы делания и названия, так и глаголы познания и мысли (дополнение выражает отдаленный объект). Приведем примеры.

...Вси, мнѣвше его тако *быти суцаго царевича*, по слуху сему и приложишася къ нему (Пам. См. вр., 25).

...князь Иванъ же Куракинъ...наполни градъ Брянскъ всякими запасы, и сотвори ихъ ничимъ *быти нужныхъ*... (Нов. лет., 90).

... царевичъ Димитрій, .. его же мы слышахомъ *быти убиенна* (Нов. лет., 142).

... ей, *крѣпчайшихъ* и *безчувственнѣйшихъ* оныхъ *быти* мню, нежели стѣны ихъ и камене (Драм. пр., 738).

В приведенных примерах в соответствии с вторым винительным падежом выступает инфинитив глагола «быть» при винительном падеже. Конструкции, в которых на месте второго винительного падежа выступает лишь инфинитив (полнозначного глагола), выражают примерно то же значение, которое могло быть выражено двойным винительным падежом с действительным причастием в качестве второго винительного падежа. Ср.: ... гнездящихся змиев отвнудъ града сими ужасив и *исползати* без вести сотворив ... (Вр., 96).

... *падати* тех без ответа пред ногами си сотворяя (Вр., 144).

2). На месте второго винительного — причастия иногда выступает деепричастие. Примеры:

... бояре и боярыни царя и царевну поздравляютъ *обручався* (Кот., 10).

... царя и царицу поздравляютъ *сочетався* законнымъ бракомъ (Кот., 17).

... протопопъ и свадебный чинъ царя и царицу поздравляютъ *венчався* (Кот., 15).

3). При глаголах называния вместо второго винительного падежа может выступать именительный падеж:

... того ради прозваша его *Олгъ въщи* (Уст. св., 19).

... инии же ... во испрошении на искупъ крыяхуся и повѣщающеся на выи тѣмъ беззаконникомъ, злѣ гласы виждуще, и *благодатели* и *святѣ* тѣхъ наричюще (Пам. См. вр., 505).

... называютъ ихъ *комнатной бояринъ* или *околничей* (Кот., 34).

4). При глаголах назначения, избрания и под. вместо второго винительного — имени существительного может встречаться падежная форма с предлогом **в**.

а). На месте второго винительного падежа — винительный падеж мн. числа с предлогом **в**:

... а тѣ де казаки межъ себя выбрали *въ есаулы* Ивана Меркулова (Д. д. 1, 394, 1633 г.).

... выбрать *в таможенныя* и *в кабацкия* головы и ларешныхъ новыхъ добрыхъ людей и прожиточныхъ, ково бы с такое дело стало (Хоз. Мор., № 288).

... велено принять вольнова человека Сеньку Карпова *во крестьяна* (Хоз. Мор., № 160).

... изволил государь нашъ поставить ево *в попы* (Хоз. Мор., № 288).

... велели бы есте того Пречистенскаго монастыря всей братьи выбрать *в строители* межъ себя, который бы имъ любъ (Хоз. Мор., № 433).

... *въ учителя* выбираютъ учительныхъ людей, тихихъ и не бражниковъ (Кот., 25).

... такъ же изъ боярскихъ дѣтей выбираютъ *въ слуги* и *въ столники* такихъ же младыхъ, что и царевичъ (Кот., 25).

б). На месте второго винительного падежа — местный падеж мн. числа с предлогомъ **в**:

... учинилъ его *въ дѣтяхъ боярскихъ* (Нов. лет., 52).

в). На месте второго винительного падежа — винительный падеж ед. числа с предлогомъ **в**:

... прими мя поне *въ наемника* себѣ (Драм. пр., 316).

5). При глаголахъ со значениемъ «считать», «почитать» иногда на месте второго винительного падежа выступает винительный падеж с предлогомъ **за**:

... *за недостойныхъ*, вижу, насъ онъ себѣ имеетъ (Драм. пр., 69, «Алексей божий человек»).

... той мене маеть право *за отца другого* (Драм. пр., 16, «Ал. бож. чел.»).

... *за подлого пелгрима* его почитаемъ (Драм. пр., 68, «Ал. бож. чел.»).

6). В том случае, если второй винительный падеж не обозначаетъ результата глагольного действия на объект, близкое значение иногда можетъ быть выражено наречиемъ образа действия: ... исторговався, поѣхали назадъ, а они ихъ отпустили *совсѣмъ вцѣле* (Д. д. 1, 707).

... взяли на томъ бою одного человѣка *живьемъ* (Д. д. 17, 770). Ср. также случай с предложнымъ сочетаниемъ:

... зря его *в добротѣ* суща («видя его привлекательность») (Вр., 99).

Выше рассматривались конструкции, в которыхъ выступали различные заменители второго винительного падежа при сохранении первого винительного, непосредственно зависящего от переходного глагола.

В том случае, если в роли господствующего слова выступают глаголы познания, восприятия, сообщения и под., а винительный падежъ выражаетъ отдаленный объект, в качестве синонимического средства синтаксиса в отношении двойного винительного падежа выступают **придаточные предложения** дополнительного типа, зависящие от тех же глаголов. При этом по выражаемому значению первому винительному соответствует подлежащее, второму винительному — сказуемое придаточного предложения. Можетъ быть выделено несколько групп случаев.

1). Дополнительное придаточное предложение с союзомъ **яко**. ... видимъ, *яко зима* хошетъ быти (Авв., 7).

... нынѣ пришлоъ есть подѣздъ свой, объявляя *яко* Тамерланъ токмо полмили отселя стоитъ (Драм. пр., 229).

2). Дополнительное придаточное предложение с союзомъ **будто**.

... доносят *будто* вси сыти и всем довольны (Пос., 42)

3). Дополнительное предложение с союзом *что*.

Примеры очень многочисленны.

... Федоська, государь, сказал, *что* тот Онтошка брат ему названной (Хоз. Мор., № 302).

... А сказывали намъ, *что* наказной их гетман Иван Золотаренко с черкасы стоят под городом под Гомлем (Письма русск. гос. V, 9, 1654 г.).

... жена мнѣ сказала, *что* мясо краденое (Кунг. акты, № 12, 1675 г.).

... я чаял, *что* ты меня не знаешь, а ты и именем меня называешь (Пам. сат. лит., 203).

... памятують, *что* тотъ жидовский народъ таковъ упрямъ и непоколебимъ въ своемъ намѣреніи... (Драм. пр., 113).

Отметим, что в главном предложении при глаголе может быть прямое дополнение, выраженное местоимением:

... слышав же *то* князь великий Иван Васильевич, *что* братья его от него отступили прочь, .. и побѣже ... (Уст. св., 326).

... и въ то время *его* многие люди узнали, *что* онъ не прямой царевичъ Димитрій, воръ Гришка Отрепьевъ, который былъ чернцемъ (Кот., 3).

... вѣдая *его*, *что* онъ пьяница, или шаленой, или иной какой дурной обычай за нимъ вѣдаетъ (Кот., 217).

Иногда в главном предложении имеется и прямое дополнение, выраженное именем существительным. Ср.:

... и князь Иван де Волконский *тех своих беглых крестьян* проведаль, *что* ани живут в ево деревне (Хоз. Мор., № 408).

... и тотъ человекъ... на тѣ рѣчи скажетъ *отвѣтъ*, *что* онъ дѣвицу свою выдать замужъ радъ (Кот., 217).

4). Двойному винительному падежу может соответствовать и бессоюзное предложение, выполняющее функцию придаточного дополнительного.

... и поидоша из города в степь и видеша в степи: вся азовская степь турукъ мертвыми телами наполнена и шатры турецкие пусты (Пов. Аз., 269).

... и отпахнуша полы у шатра и видѣша, четыре болярина спаше (Пов. Аз., 256).

... и увидѣли мы в одномъ мѣсте под стеною турки стену кирпичами и обухами ломають (Пов. Аз., 251).

... извѣствую: Аннушка въ добромъ здравии (Письма русск. гос. III, 20).

Таким образом мы рассмотрели параллельно употребляющиеся в русском языке в период с конца XVI по начало XVIII в. конструкции с двойными винительными падежами и конструкции иного строения, но выражающие близкое значение и являющиеся синтаксическими синонимами в отношении конструкций с двойным винительным падежом.

Собранный материал позволяет сделать некоторые выводы относительно положения, занимаемого в системе русского языка исследуемого периода отдельными синонимическими конструкциями.

Второй винительный падеж, выраженный именем существительным, явно отстывает перед творительным предикативным (соотношение конструкций в рассмотренных памятниках приблизительно 1 : 4). Случаи его употребления приходятся преимущественно на памятники с сильной церковно-книжной языковой окраской, причем в этих памятниках в соответствии со вторым винительным встречается и творительный предикативный.

Второй винительный падеж, выраженный именем прилагательным (в эту группу мы включили и единичные случаи с местоимениями), в исследуемый период еще занимает господствующее положение (соотношение с творительным предикативным в рассмотренных памятниках примерно 4 : 1). Не очень многочисленные случаи с творительным предикативным имен прилагательных встречаются в произведениях, язык которых не отличается особенной книжностью; несколько случаев в драматических произведениях II половины XVII в. можно отнести за счет польского языкового влияния. Прилагательные в форме творительного предикативного не встречаются в рассмотренных летописных текстах, в «Сказании» Авраамия Палицына и других произведениях, связанных со Смутным временем.³ Обращает на себя внимание то обстоятельство, что прилагательные в винительном падеже ед. числа в подавляющем большинстве случаев выступают в именной форме (соотношение именных и местоименных форм приблизительно 5 : 1). Возможно, что в этом (как и в постановке творительного предикативного падежа) отражается известное стремление формально отграничить предикативные определения от непредикативных. В чисто атрибутивном употреблении имена прилагательные в языке XVII в. редко сохраняют именную форму.

Наиболее последовательно употребляется в памятниках русского языка исследуемого периода второй винительный падеж, выраженный причастием. Нам встретился лишь один случай употребления причастия в форме творительного предикативного падежа.⁴

³ Вообще наиболее ранний случай постановки тв. пред. на месте второго вин. падежа имен прилагательных отмечен в «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку. См.: Т. П. Ломтев, указ. соч., стр. 220.

⁴ Ср. для характеристики языка XVIII в.: В. И. Чагишева, Второй винительный падеж в русском литературном языке XVIII века, «Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 122, 1956.

К сожалению, В. И. Чагишева не останавливается специально на употреблении причастий во втором винительном и творительном падежах, объединяя причастия в одну группу с прилагательными.

Обращаясь к отдельным подтипам конструкций с двойным винительным падежом в зависимости от значения управляющих глаголов и общего смысла конструкций, следует прежде всего остановиться на особенностях винительного, выражающего отдаленный объект. Значение отдаленного объекта вообще с течением времени постепенно утрачивалось беспредложным винительным падежом, переходя к предложным сочетаниям или выражаясь придаточными предложениями. Все же в языке XVII в. винительный отдаленного объекта еще возможен. Ср. некоторые случаи употребления винительного отдаленного объекта вне конструкций с двойным винительным падежом:

... великий государь ... слыша то Астроханскихъ людей *воровство* и недруга твоего Иштерека, а своего измѣнника мурзы, *злой заводъ* и *умыслъ* съ воромъ с Ывашкомъ Заруткимъ ... (Д. д. 1, 58);

... *сведав отдачу* ... (Хоз. Мор. № 29); .. *уведав вину свою* ... (Хоз. Мор. № 175).

Двойной винительный падеж отдаленного объекта сравнительно редко заменяется в русском языке XVII в. конструкцией с творительным предикативным на месте второго винительного падежа. В соответствии с ним все более широкое применение получают придаточные предложения дополнительного типа главным образом с союзами *что* и *яко* (последний союз встречается преимущественно в высоком стиле). В памятниках деловой письменности («Донские дела», сочинение Григория Котошихина, акты хозяйства Б. Морозова) двойной винительный отдаленного объекта почти совершенно не встречается — его роль выполняют придаточные предложения. Нет сомнения, что в живом языке XVII в. дополнительные придаточные предложения почти безраздельно господствовали, а конструкции с двойным винительным отдаленного объекта уже вышли из употребления.

При глаголах со значением избрания, определения на какую-либо должность наряду с конструкцией второго винительного падежа или творительного предикативного в памятниках деловой письменности и вообще в контексте, не отражающем сильного церковнославянского языкового влияния, весьма употребительна конструкция с винительным падежом и предлогом *в* («поставить ево в попы»). Это — также вполне жизнеспособная конструкция.

Остальные конструкции, находящиеся в системе русского литературного языка XVII в. в синонимических отношениях с конструкцией двойного винительного падежа, не являются жизнеспособными. Узко книжный характер носит конструкция винительного падежа с инфинитивом, по-видимому, никогда не имевшая в русском языке широкого распространения. Вини-

тельный падеж с предлогом **за** при глаголах со значением «считать», «почитать» в нашем материале представляет собой полонизм (встретился только в драме «Алексей божий человек»). Бессоюзные придаточные предложения, выступающие иногда на месте винительного отдаленного объекта, отражают недостаточную дифференцированность синтаксических средств в устной речи и вытесняются в дальнейшем из литературного языка.

Тенденция более четкого разграничения предикативных и непредикативных приложений и определений является вообще основной тенденцией в развитии конструкций с двойными косвенными падежами. Как в области двойного винительного, так и в области двойного дательного падежа предикативные приложения, выраженные именами существительными, в XVII в. уже получили свой характерный формальный признак, употребляясь, в отличие от непредикативных приложений, преимущественно в форме творительного падежа. В сфере имен прилагательных этот процесс в XVII в. еще сравнительно далек от завершения.

Дополнение к списку использованных памятников ⁵

Вр. — Временник Ивана Тимофеева. Изд-во АН СССР, М.—Л. 1951.

Пов. Аз. — А. С. Орлов, Исторические и поэтические повести об Азове. М., 1906.

Письма рус. гос. — Письма русских государей и других особ царского семейства. V. Письма царя Алексея Михайловича. М., 1896.

Кунг. акты — Кунгурские акты XVII века (1668—1699 гг.). Издание А. Г. Кузнецова. СПб., 1888.

⁵ См.: «Ученые записки Тартуского государственного университета», вып. 119, стр. 323.

ОБЪЕКТНЫЕ РОДИТЕЛЬНЫЙ И ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖИ

Е. Гурьева

Вопрос об употреблении и семантике конструкций с родительным и винительным падежом прямого объекта является одним из важных вопросов глагольного управления в русском языке. В современном русском языке родительный падеж прямого объекта встречается обычно после глаголов, обозначающих стремление, и после отрицательных переходных глаголов и инфинитива, входящего в состав отрицательного сказуемого. Возникновение родительного падежа прямого объекта в отмеченных случаях относится еще к доисторической поре.

В настоящей работе мы ставим перед собой задачу показать, при каких условиях употреблялись родительный и винительный падежи прямого объекта в древнерусском языке и какие произошли изменения в соотношении употребительности этих падежей в последующей истории русского языка. Для этого нами исследованы важнейшие памятники древнерусского языка.¹

Наблюдения над древнерусскими памятниками письменности показывают, что весьма широко в древнерусском языке был распространен родительный падеж частичного объекта. М. В. Ломоносов в «Российской грамматике» писал, что действительные глаголы нередко принимают родительный падеж, «когда их сила не ко всей вещи, но к части, и не во все время, но ненадолго простирается».² По мнению А. Востокова, родительный частич-

¹ Лаврентьевская летопись, Полное собрание русских летописей, т. 1, 1910; Ипатьевская летопись, Полное собрание русских летописей, т. 2, 1843; Казанский летописец, Полное собрание русских летописей, т. 19, 1903; Московский летописный свод конца XV века, Полное собрание русских летописей, т. 25, изд. АН СССР, М.—Л., 1949; Домострой, изд. И. Глазунова, СПб., 1891; Житие протопопа Аввакума, изд. 2, СПб., 1904; Г. Котошихин, О России в царствование Алексея Михайловича, изд. 4, СПб., 1906; Хрестоматия по русской литературе XVIII века, Учпедгиз, 1956; Русские сатирические журналы XVIII века, Учпедгиз, 1940.

² М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, М.—Л., 1952, т. VII, стр. 561.

ный приглагольный развился в результате пропуска неопределенного количественного местоимения много, мало и т. д.³ А. Томсон вообще со значением родительного падежа связывает понятие неопределенности.⁴ Л. Булаховский родительный частичный приглагольный называет родительным неопределенного количества.⁵ В. Богородицкий пишет о том, что родительный падеж в качестве дополнения при переходных глаголах встречается тогда, когда подразумевается идея частичного количества.⁶

В обследованных памятниках до XVII века включительно часты случаи употребления родительного падежа частичного объекта при глаголах восприятия.

Приведем примеры из различных произведений.

послушайте ученья и не отрините наказанья церковнаго (Лавр. 11).

и того дѣла слушаетъ царь з бояры и з думными людьми (Дом. 41).

а онъ, царь, кой часть отслушаетъ обѣдни, будетъ къ Москвѣ (Кот. 102).

глядай взора, и лица его и смысла его (Лавр. 30).

Телебуга же ѣха обзирать города Володимира (Ип. 212).

и всего того добра примечати и внимати (Дом. 34).

и тѣхъ ѣствъ и всякихъ съѣстныхъ запасовъ надсматриваютъ

При глаголах чувственного восприятия можно встретить и винительный падеж, особенно при глаголах видѣти, слышати и некоторых других.

и узрѣ Олегъ стягъ Володимирь (Лавр. 109).

И сниде Господь Бог видѣти градъ и столпъ (Лавр. 2).

Слышаху ... словеса муж и жен Казанских (Каз. лет. 159).

И видеша место угодно и добро велми (Каз. лет. 62). в древе де том птичьи гласы слышала я (Авв. 152).

Родительный падеж отмечен и при ряде других глаголов, которые в настоящее время требуют винительного падежа. Например:

³ А. Востоков, Русская грамматика, изд. 12, СПб., 1874, стр. 133.

⁴ А. И. Томсон, К вопросу о возникновении род.-вин. п. в слав. языках. Приглагольный род. п. в праслав. языке. Известия отделения русского языка и словесности, т. XIII, кн. 3, 1908, стр. 285.

⁵ Л. Булаховский, Курс русского литературного языка, Учпедгиз, Киев, т. 1, изд. 5, стр. 292.

⁶ В. А. Богородицкий, Очерки по языковедению и русскому языку, М., 1939, стр. 212.

Господи Боже! призри с небесе, и вижь, и посети винограда своего (Лавр. 53).

а вороти ми товара брата моего (Ип. 42).

а языка ему урѣза и дом его разграби (Ип. 21).

Святослав же то слышавъ и велми вздохнувъ, утер слезъ своихъ (Ип. 132).

и беречи того накрѣпко и слуг учити (Дом. 61).

Нередко можно встретить родительный падеж при глаголах стеречи, блюсти.

а ты постережи землѣ Руской оттолѣ (Ип. 39).

стражие же пред дверьми стражаху темницы (Авв. 222).

и повѣдаста молбу Кыян, яко творити мир, и блюсти землѣ Русьскѣ (Лавр. 112).

Московляне же слышавше, оже идеть на нь Ярополк, и возвратишася вспять, блюдуче домов своихъ (Ип. 118).

Употребление родительного частичного в некоторых случаях может быть обусловлено лексическим значением объекта. Так, если объект выражен вещественными или собирательными существительными, то нередко стоит родительный частичный падеж.

Например:

и вземъ соломы в руку отъ постеля своеѣ (Ип. 218).

Ярославъ же сѣде Киевѣ, утер пота с дружиною своею, показавъ побѣду и трудъ великъ (Лавр. 63).

и всякого их рухла и скота взято без числа (Каз. лет. 127).

Стол, и блюда ... воды согрѣв из утра, перемыти (Дом. 36).

да перед нижним крыльцом сѣна положити (Дом. 36).

Однако вместо родительного падежа может стоять винительный, если названа не часть вещества, а целое. Примеры единичны.

огурцы и дыни, и всякой овощъ в пору бы обирати (Дом. 45).

Значение неполностью охваченного объекта может быть обусловлено и лексическим значением управляющего слова. Это наблюдается при глаголах касания и наполнения. При данной группе глаголов отсутствует синонимичность родительного падежа с винительным. При этом глаголы, управляющие родительным падежом, могут быть как возвратные, так и невозвратные.

Святополк же исполнився безаконья (Лавр. 57).

Поганый же тои царь ... наполнився всякого добра Руского до избытка своего (Каз. лет. 19).

и очи свои слез наполни (Каз. лет. 99).

насыпать полату полную до верха Руского злата и сребра (Каз. лет. 23).

Како ... страшного суда чаяти, и каситися всякой святыни (Дом. 6).

В более поздних памятниках письменности при глаголах наполнения вместо родительного падежа начинает встречаться творительный падеж. Однако примеры еще единичны.

Жена добра веселит мужа своего и лета его исполнит миром (Дом. 6).

При этом необходимо иметь в виду, что глаголы наполнить, исполнить, насыпать имеют при себе и винительный падеж (насыпать полату, исполнить лета, наполнить очи). В современном русском языке эти глаголы требуют вначале винительного падежа, а затем уже творительного (наполнить чемодан книгами). В древнерусском языке вместо творительного падежа употреблялся родительный, и только в XVII веке его начинает вытеснять творительный падеж.

Лексическим значением управляющего слова можно объяснить родительный частичный и при глаголах с приставкой при. Например:

и им для нужного времени прибавляют денежного жалованья (Кот. 137).

а кто прибавит правила своего ради спасения: и то на его воли (Дом. 14).

Связь между лексическим значением слова и выбором падежей наблюдается и при других глаголах. Так, при просити, требовати чаще встречается родительный падеж. При этом выбор родительного или винительного падежа зачастую зависит от глагольного вида. В обследованных памятниках винительный падеж отмечен в большинстве случаев при глаголах совершенного вида. Например:

род. п.

И начаша Греци мира просити (Лавр. 12).

Ростислав же то слыша, посла к отцю в Городок, прося у него помочи (Ип. 50).

и благословения, и духовнаго поучения требуй от них (Дом. 8).

вин. п.

испроси ны у зяте Новгород Великий брату своему Святославу (Ип. 18).

Эту зависимость от глагольного вида можно обнаружить не только в древнерусских памятниках, но и в произведениях XVIII века.

он просил новой книги (Санкт-Пет. Меркурий, 340).

Не подумай же, чтоб я просил у тебя денег (И то и се, 59).

Несколько дней рассуждал я, у которого бы из сочинителей и спросить позволение к переписке (И то и се, 63).

хозяйка послала ко мне маленького мальчика попросить кусочек сего боярского кушанья (Пут. из Пет. в Москву, 717).

Широко распространен в памятниках древнерусского языка родительный падеж с глаголами стремления. А. Шахматов и В. Богородицкий значение родительного падежа в предложениях с глаголами, обозначающими стремление, определяют как разновидность родительного частичного. Так, Богородицкий отмечает, что глаголы желанья и достижения в соединении с родительным падежом, особенно существительных вещественных, собирательных и отвлеченных, способны выражать идею частичности. Приведем некоторые примеры. Глагол хотети обычно требует родительного падежа. Например:

Святополк же пусти слы Половецкыѣ, хотя мира Лавр. 93).

Изяслав же хотяше всихъ даний к Новугороду (Ип. 46).

Святослав же даяшетъ Галичъ Рюрикови, а собѣ хотяшетъ всей Руской земли (Ип. 138).

Если же хотети сочетается с инфинитивом, то встречается как родительный падеж, так и винительный. При этом объект зависит не от глагола хотети, а от инфинитива.

аще Богъ хошетъ помиловати рода моего и землѣ Рускиѣ (Лавр. 27).

се посла ны царь, рад есть миру, хошетъ, миръ имѣти со княземъ Рускимъ... (Лавр. 23).

вси вои хотяху взяти градъ приметомъ (Ип. 190).

Глагол искати чаще сочетается с родительным падежом существительного.

си блаженная Ольга искаше доброѣ. мудрости Божьи (Лавр. 26).

а он ... безпрестанно смерти мне искал (Авв. 11).

А которы люди ищут на ком долгов своих... (Кот. 122).

Винительный падеж при глаголе искати в памятниках древнерусского языка отмечен в редких случаях. Например:

и купец тако же оставляет дом ... ища богатство (Каз. лет. 135).

а нам, православие блюдушим, так не подобает, но на всяко время покаяние искати (Авв. 96).

В произведениях XVIII века глагол искать уже нередко управляет винительным падежом. Причем при выборе родительного или винительного падежа наблюдается зависимость от вида глагола. Так, при искать, то есть при глаголе несовер-

шенного вида, чаще употребляется родительный падеж, а при
сыскать — винительный. Некоторые примеры:

искать знакомства казалось мне делом безрассуд-
ным (И то и се, 61).

он ищет забавы (Друг честных людей, 218).

Я слышал, сударыня! — примолвил он, — что вы ищите
такого места (Приг. пов. 591).

из лица ево увидела я, что он сыскал мне изрядное
место (Приг. пов. 591).

В современном русском языке глагол искать может управ-
лять как родительным, так и винительным падежом. Выбор па-
дежа зависит от семантики самого глагола и дополнения.

В обследованных памятниках широко представлены роди-
тельные отложительный и достигательный падежи. Особенно
часто встречается родительный падеж в значении уклонения от
чего-нибудь, избежания, лишения. Имена существительные,
принимаящие беспредложную форму родительного падежа, в
основном имеют отвлеченное или нѣвещественное значение. На-
пример:

Ста под мостомъ, одва укрься противныхъ
(Лавр. 122).

Любо далече страны своя будутъ и инии млади отъидо-
ша света сего (Ип. 160).

и понудиша их преже ласканием отрещися вѣры
христьяньския (Каз. лет. 95).

Я по их книгам вѣрую Богу моему чистою совѣстью и служу,
а отступников отвращаюся и клянусь (Авв. 14).

Однако нередко эти глаголы управляют предложными сочета-
ниями, особенно глаголы бѣгати, отступить и др. Чаще
всего применяется сочетание родительного падежа с предлогом
отъ, иногда из.

печенѣзи же мнѣша князя, побегоша разное отъ гра-
да (Лавр. 28).

и кто может от пресильныхъ твоея крѣпости избѣжа-
ти (Каз. лет. 137).

всему же воинству от града отступить повѣле
(Каз. лет. 148).

И побѣжал от двора, гоним Святым Духом (Авв. 6).

В древних памятниках нередко встречается родительный до-
стигательный, обозначающий объект, к которому направлено
действие. Он сочетается с глаголами движения и волеизъявле-
ния. Он отмечен большей частью без предлога. Приведем неко-
торые примеры из древних памятников письменности:

Игорь же дошедъ Дуная, созва дружину (Лавр. 19).

Устрои же и се, рекъ: «яко немощнии и болнии не могут
долѣзти двора моего» (Лавр. 54).

И тако угадавше вси съсѣдоша с коний, хотяхуть бо бью-
щиеся дойти рѣки Донця (Ип. 131).

Для обозначения делиберативного объекта в обследованных памятниках часто используется винительный падеж без предлога. Он применяется при глаголах речи, чувства, мышления. Например:

И иде с ними в церковь... сказующе имъ служенье Бога (Лавр. 46).

Онъ же помянувъ на собѣ крестъ и отшедъ (Лавр. 77).

и сказа им крѣпость града и непослабление Казанцов (Каз. лет. 138).

Казанцы же услышаша приход самого царя и пожгоша сами посады свои (Каз. лет. 115).

Паки реку московское бытие (Авв. 119).

и велѣл поклонитися и свое царского величества здоровье сказати (Кот. 40).

Делиберативные отношения могли выражаться и родительным падежом без предлога. Например:

и плакася того дни живота своего (Ип. 11).

страхъ Божий имейте выше всего, аще забываете всего (Лавр. 160).

полно того плачевного дѣла говорить (Авв. 8).

Для выражения делиберативной функции часто использовался винительный падеж с предлогом про. Особенно он широко распространен в произведениях XVII века. В дальнейшем он выходит из употребления и сейчас является характерной чертой просторечия. Приведем примеры из произведений XVII века.

Простите, аще вам про невежество свое побесѣдую (Авв. 22).

и послы сказав про здоровье государя своего, говорят речь (Кот. 69).

а царь в то время сидит и спрашивает про женихово и невѣстино здоровье (Кот. 127).

Делиберативные отношения нередко выражались уже в ранних памятниках и местным падежом с предлогом о.

Изяславъ же слышавъ о здоровьи сына своего, и похвали Бога (Ип.

и повѣдаху кождо своимъ о бывшемъ (Лавр. 19).

Яко и се скажем о взоре их и о мраченьи ихъ (Лавр. 76).

Местный падеж с предлогом «о» особенно распространен в произведениях XVII века, например, в сочинении Котошихина.

И царь их спрашивает о здоровье (Кот. 26).

посылають бояронь сказати о своем приѣздѣ царицѣ (Кот. 27).

А лучитца царю кого послати к царицѣ и к царевичам спросить о здоровье (Кот. 127).

После XV века вообще наблюдается процесс постепенного сужения беспредложного винительного падежа в делиберативной функции и замена его предложными конструкциями.

Для обозначения объекта управления в памятниках нередко используется винительный падеж. Его можно встретить как в ранних, так и в более поздних памятниках. Например:

и нача посолство правити (Ип.. 218).

почаша правити лодьи свои около песка (Ип. 59).

и правляше с ними до конца добре царство свое (Каз лет. 44).

великий князь ... правивше государство свое в ярости и во злобѣ силнѣ (Кот. 1).

В последующей истории русского языка подобное употребление винительного падежа было утрачено, и он был заменен творительным падежом.

Винительным падежом прямого объекта управлял в древнерусском языке глагол воевать. Например:

А на ту зиму повоеваша Половци Стародубъ весь (Лавр. 103).

повелѣ ему Смоленскую волость воевати (Ип. 29).

Отмечено управление глагола воевать и родительным падежом. Однако подобные случаи единичны.

Иде Гюрги воевать Новгородской волости (Ип. 29).

В современном русском языке имена существительные, обозначающие территорию, употребляются в винительном, но управляет этим падежом глагол воевать с приставками за, от: завоевать страну, отвоевать землю. В некоторых случаях современный язык использует предложную конструкцию: воевать против кого-нибудь или с кем-нибудь. Например: воевать с врагом, воевать против фашистов и т. д.

Обследованный материал позволяет сделать некоторые общие выводы относительно употребления объектного родительного и винительного падежей в истории русского языка в утвердительных конструкциях.

1. В русском языке до XVII века включительно широко употреблялся родительный падеж при глаголах восприятия. Винительный падеж отмечен только при некоторых глаголах, как, например, слышати, видѣти и др.

2. Нередко употребление родительного падежа в значении неполностью охваченного объекта диктуется семантикой управляющего слова. Это наблюдается при глаголах касания, наполнения и некоторых других.

3. В некоторых случаях лексическое значение объекта

влияет на выбор падежей. Так, имена вещественные, собирательные и абстрактные зачастую стоят в родительном частичном.

4. Родительный неполного охвата в древнерусском языке часто можно встретить при тех глаголах, которые в современном языке управляют винительным падежом (например, *стеречи, блюсти, утереть, урѣзати* и др.).

5. До XVIII века включительно нередко можно встретить в памятниках беспредложный родительный отложительный и достигательный падежи. В последующей истории русского языка их употребление сильно сократилось за счет предложных конструкций.

6. После XV века можно отметить значительное ограничение винительного падежа без предлога в делиберативной функции и замену его предложными сочетаниями.

7. Современный русский язык утратил употребление винительного падежа в значении объекта управления (*правил царство — правил царством*).

Теперь остановимся на употреблении родительного и винительного падежей в отрицательных конструкциях. Родительный падеж при отрицании возник в глубокой древности и является характерной чертой славянских и балтийских языков. К вопросу об употреблении родительного и винительного падежей в отрицательных конструкциях ученые подходили по-разному. М. В. Ломоносов пишет, что «всякий глагол действительный требует винительного падежа сверх именительного», но если к нему присоединяется отрицательная частица *не*, то «винительный падеж обращается в родительный».⁷ Таким образом, он допускает лишь употребление родительного падежа после действительных глаголов с отрицанием. Большинство же ученых (Востоков, Буслаев, Шахматов, Пешковский и др.) считает, что при глаголах с отрицанием возможен и винительный падеж. Так, по мнению Шахматова, винительный падеж в отрицательных конструкциях вообще начинает вытеснять собою родительный падеж.⁸

Многие ученые пытаются определить условия, при которых допускается винительный падеж вместо родительного. Одни связывают употребление родительного и винительного падежей в отрицательных предложениях с конкретностью или абстрактностью объекта или с его определенностью и неопределенностью. Например, Л. А. Булаховский отмечает, что винительный падеж, в отличие от родительного, распространяется при понятиях кон-

⁷ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, М.—Л., 1952, т. VII, стр. 560—561.

⁸ А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, изд. 2, Л., 1941, стр. 326.

кретных по сути или по употреблению.⁹ Н. П. Некрасов ставит употребление этих падежей в зависимость от ударения. Так родительный падеж, по его мнению, ставится после глаголов с отрицанием всегда, когда «сила речи сосредоточивается на отрицании действия от предмета, его определяющего», а если же «сила речи сосредоточивается более на предмете, чем на отрицании от него действия, то употребляется и винительный падеж».¹⁰ Таким образом, если логическое ударение падает на сказуемое, то ставится родительный падеж, а если на дополнение — винительный. А. И. Томсон вообще пытается доказать историческую правомерность конструкций с винительным падежом в отрицательных предложениях. Винительный падеж он связывает главным образом с конкретным действием, а родительный падеж с абстрактным. Он пишет, что непереносное условие отрицательных предложений с винительным падежом — чтобы отрицаемое представлялось более или менее конкретное.¹¹ А конкретное действие он понимает как действие, которое совершается в пределах определенного места и времени. Поэтому в отрицательных предложениях с винительным падежом прямого дополнения глагол обычно имеет совершенный вид.

Родительный падеж в отрицательных конструкциях одни лингвисты возводят к родительному удаления, другие — к родительному частичному. Так, по мнению Богородицкого, первым звеном для развития отрицательных предложений с родительным падежом послужили «случаи родительного частичного при глаголах с отрицанием, например, я не принес дров и т. п., откуда такая конструкция стала распространяться на все вообще выражения, в которых переходный глагол имел при себе отрицание, хотя бы именное представление и допускало частичности; ср. я не видал твоего ножа».¹² В. И. Собинникова полагает, что родительный при отрицании возник не как частичный. По ее мнению, родительный падеж при отрицании мог возникнуть в результате пропуска количественного слова из родительного исчисляемого предмета при отрицании, т. е. не пил воды могло появиться из не пил нисколько воды.¹³ Она вообще отмечает нечеткость в грамматическом отношении роди-

⁹ Л. А. Булаховский, Курс русского литературного языка, т. 1, изд. 5, Киев, 1952, стр. 302.

¹⁰ Н. П. Некрасов, О значении форм русского глагола, СПб., 1865, стр. 41.

¹¹ А. И. Томсон, Винительный падеж прямого дополнения в отрицательных предложениях в русском языке, РФВ, т. XLIX, 1903, стр. 222.

¹² В. А. Богородицкий, Очерки по языковедению и русскому языку, Учпедгиз, 1939, стр. 215.

¹³ В. И. Собинникова, Род.-ый и вин. падежи прямого объекта при отрицании в народных говорах, Труды Воронежского гос. университета, т. 38, 1955, стр. 116.

тельного при отрицании, что способствовало разрушению данной категории.

Анализ обследованных памятников показал, что в отрицательных предложениях последовательно употребляется родительный падеж до XVII века включительно. Винительный падеж отмечен в редких случаях, причем обычно в винительном падеже стоит местоимение *ничто*, или дополнения, обозначающие конкретные предметы. Чаще всего как в ранних, так и в более поздних памятниках в винительном падеже стоит существительное *город*. Приведем некоторые примеры на употребление винительного падежа в отрицательных предложениях.

не погубляй город, имемся по дань, якоже хошеши (Лавр. 12).

и не отвѣща Давыд ничто же (Лавр. 264).

и доходивше города Медвежьей Головы, не успѣвше у него ничтоже (Ип. 215).

и хульная словеса не рече к нему (Каз. Лет. 60).
и не отступить от Казани, не взевше град (Каз. лет. 136).

И больше сего не вопрошай нас о сем ничто же (Каз. лет. 125).

Родительный падеж употребляется независимо от лексического значения объекта, так как в древнерусском языке родительный падеж при отрицании был нормой живого разговорного языка.

Приведем примеры из различных произведений.

и не обрѣтоша собѣ в немъ помочи (Ип. 38).

а далѣ не пусти Андрей дружины своя (Ип. 16).

възвратишася въсвояси, не створше с ним мира (Моск. лет. свод, 63).

И не послуша Казанцы совета доброго царева (Каз. лет. 122).

а тягла и податей ... не емлют по их живот (Кот. 17).

ноги грязныя отирать, чтобы мосту не грязнить (Дом. 36).

Также наблюдается последовательное употребление родительного падежа в отрицательных конструкциях, когда объект зависит не непосредственно от сказуемого с отрицанием, а от инфинитива. Например :

И стоя Ольга лѣто, не можаше взяти града (Лавр. 26).

не хочеть ти дати стола Володимирьского (Моск. лет. свод, 23).

не мозите межи собе погубити земли Руское (Моск. лет. свод, 21).

и въры своей отменити не учинят (Кот. 15).

Однако с XVI века в подобных конструкциях начинает встречаться и винительный падеж, но примеры еще немногочисленны.

И град затворити и осадити не успѣша (Каз. лет. 21).

А. Пешковский отмечает, что в современном языке винительный и родительный падежи еще более смешиваются, когда они зависят не от глагола с отрицанием, а от инфинитива.¹⁴ Это смешение началось уже в древнерусском языке.

Нередко древнерусский язык допускал возможность пропуска отрицания при сказуемом. В этих случаях в памятниках обычно встречается родительный падеж. Например:

такая милости никто же может створити (Ип. 4).

никогого же зла тебѣ никако сотвори х (Каз. лет. 16).

Он же заповеда никому же сих чудес поведати (Каз. лет. 143).

В винительном же падеже в подобных конструкциях отмечено только местоимение ничто.

и ничто же друг ко другу провещати могуще (Каз. лет. 152).

Ничто может человек сотворити, аще не Бог попусти ему (Каз. лет. 140).

Ворожа и колдуя много над ними, и видит, яко ничто же успевает, но паче молва бывает (Авв. 95).

В обследованных произведениях XVIII века уже можно отметить больше случаев употребления винительного падежа в отрицательных конструкциях. Правда, еще трудно установить какие-нибудь определенные закономерности в выборе родительного и винительного падежей при отрицании. Однако можно, например, отметить, что в отрицательных предложениях цели, условных предложениях часто встречается винительный падеж. Приведем некоторые примеры.

Другой произносил вопль о том, чтобы только не отнимали у него жизнь (Живописец, 170).

Когда же похвала столь лестна, то для чего же не возвеличию божественную нашу науку убивать время (Санкт-Петербургский Меркурий, стр. 333).

Если я одну только неделю не попишу, то чувствую сильный головной лом (Санкт-Петербургский Меркурий, 339).

Винительный падеж отмечен и тогда, когда прямое дополнение управляет двумя глаголами, из которых один с частицей не, а другой без не. Например:

Но с госпожи Всякой Всячины довольно было бы написать,

¹⁴ А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд. 7, М., 1956, стр. 297.

что презирает, а не уничтожает мою критику (Трутьень, 99).

это не умаляет достойную вам похвалу, но уничтожает (Смесь, 81).

Я хотел, утешить, а не встревожить и не опечалить партер (Санкт-Петербургский Меркурий, 342).

Винительный падеж можно также встретить в таких отрицательных конструкциях, когда прямое дополнение управляет не непосредственно глаголом с отрицанием, а инфинитивом, который сам зависит от этого глагола.

ибо кто в состоянии вывести сие из моды, тот не захочет потерять сию находку (Живописец, 173).

Пришел к нему какой-то старичок, отставной офицер, с просьбою, не может ли ему написать крепость на мужика (Адская почта, 147).

В русском литературном языке XIX—XX веков также часто наблюдаются колебания в употреблении форм родительного и винительного падежей в подобных словосочетаниях.¹⁵

Проследив употребление родительного и винительного падежей при отрицании в древнерусском языке, можно отметить, что в ранних памятниках письменности в отрицательных конструкциях в основном употреблялся родительный падеж. В винительном падеже в большинстве случаев стоит существительное город и местоимение ничто. В предложениях, в которых объект зависит не непосредственно от сказуемого с отрицанием, а инфинитива, винительный падеж начинает распространяться с XV века. Но только после XVII века наблюдается более широкое употребление винительного падежа при отрицании.

¹⁵ Грамматика русского языка, изд. АН СССР, т. 2, ч. 1, 1954, стр. 123.

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Ф. И. БУСЛАЕВА

С. В. Смирнов

Ф. И. Буслаев принадлежит к виднейшим представителям отечественного языкознания. Он внес существенный вклад в такие разделы лингвистики, как изучение истории языка, описание и издание старославянских и древнерусских памятников и т. д. «Синтаксическая система Ф. И. Буслаева надолго определила основные приемы школьного построения и изучения синтаксиса русского языка. Не могла она не повлиять и на методы научного исследования русских синтаксических явлений... Традиции буслаевской грамматики не изжиты и поныне. Они сильно дают себя знать не только в школьной учебной, но и научной литературе по русскому синтаксису».¹ Его труды неоднократно подвергались самой жестокой критике и в то же время каждое поколение лингвистов возвращалось к ним снова и снова. Они всегда служили мощным толчком для дальнейшего развития лингвистической мысли не только своими положительными сторонами, но и своими противоречиями.

Однако в нашей науке уже неоднократно высказывалось мнение, что грамматическая система Буслаева не отличается оригинальностью по сравнению с предшествующими разработками. Еще К. С. Аксаков писал: «Относительно самой грамматики вообще, нового ничего не представляет нам грамматика г. Буслаева. Следовательно, здесь нам нечего ему делать замечаний; он взял ту систему, какая выработалась до него. Мы могли бы надеяться, что он скажет что-нибудь более живое и свежее, например в синтаксисе, где пришлось нам вновь натолкнуться на «сокращение», «опущение», «слияние», на «тропы» и проч. и проч.».² С этими словами явно перекликается высказывание авторов предисловия к последнему изданию «Исторической грамматики»: «Сама же грамматическая система, лежа-

¹ В. В. Виноградов, Из истории изучения русского синтаксиса, изд. МГУ, 1958, стр. 229.

² К. С. Аксаков, Полное собрание сочинений, т. 2, ч. 1, М., 1875, стр. 441.

щая в ее основе, не является оригинальной: во многом существенном Буслаев следует уже сложившейся грамматической традиции (основным принципам классификации частей речи, логико-грамматическому подходу к явлениям синтаксиса)».³

Правда, наряду с этим, обычно отмечается также богатство материала, привлеченного автором «Исторической грамматики», и тонкость наблюдений над отдельными языковыми явлениями. Например, Н. К. Грунский писал: «Он (Буслаев) выдвинул столько ценного из старинного русского языка, народной русской речи, в некоторых случаях выказал себя тонким наблюдателем различных фактов языка, что его труд до сих пор может давать известный материал при исследовании того или другого вопроса или, по крайней мере, служить исходной точкой, от которой может отправляться исследователь».⁴ Аналогичное высказывание встречается и у А. Котляревского.⁵

Более внимательное знакомство с трудами Буслаева приводит к мысли о том, что его позиция была гораздо сложнее, чем простое следование традициям логического направления. Дело в том, что это направление, получившее довольно широкое распространение в русском языкознании первой трети XIX века, в середине этого столетия начинает переживать кризис. Исследователи все острее ощущают недостатки и ограниченность анализа языка на логических началах. Одной из причин этого была следующая. Любое направление в науке (а в истории языкознания это ощущается очень ясно) успешно может развиваться только до тех пор, пока применяемые им методы дают возможность делать значительные открытия и обобщать их. Логико-грамматический анализ к середине XIX века уже начал изживать себя и не мог дать почти ничего нового науке о грамматическом строе языка. Нужен был какой-то новый метод исследования.⁶ Кроме того, к этому времени сравнительно-историческое языкознание сделало уже крупные успехи. А оно опиралось на иные принципы, требовало иного подхода. Его задачей было путем сравнения языковых фактов глубже проникнуть в их историю

³ Ф. И. Буслаев, *Историческая грамматика русского языка*, М., 1959, стр. 14.

⁴ Н. К. Грунский, *Очерки по истории разработки синтаксиса славянских языков*, СПб., 1911, стр. 121.

⁵ См. А. Котляревский, *Об изучении древней русской письменности, «Филологические записки»*, вып. V, 1880, стр. 167.

⁶ Ср. следующее интересное замечание Н. К. Грунского: «Основные данные логики до того вошли в рамки грамматики, что сделалось чрезвычайно трудно их отделить; эти начала, придав цельность самой грамматической системе, на самом деле не только не подвинули изучения синтаксиса, а затормозили его ход. Последнее получалось в силу того, что логические начала были перенесены на почву грамматики, и здесь получилось стремление влить в эту чуждую форму новое содержание». (*Очерки по истории разработки синтаксиса славянских языков*, СПб., 1911, стр. 88).

и тем самым лучше осветить их современное состояние. В основу же сравнения брались грамматические формы, которые нужно было всесторонне исследовать. Все это и вело к тому, чтобы понятие грамматической формы сделалось краеугольным камнем новой грамматической системы.

И одним из первых это прекрасно осознал сам Буслаев. Еще в 1844 году, критикуя логическую грамматику, Буслаев отмечал, что она «ищет сущности вещей не в самом языке, а в *значении*, т. е. она предлагает не частную логику того или другого языка, но всеобщую, к которой приурочивает все языки».⁷ Его же «Историческая грамматика» не только завершила собой длительное господство логицизма в русской лингвистике, проявлявшегося в той или иной мере у всех авторов грамматических работ, но и наглядно показала все противоречия и недостатки логико-грамматического направления, а также наметила в какой-то мере пути их преодоления. В этом смысле Буслаев явился одним из непосредственных предшественников Потебни.

Буслаев в основу своих рассуждений берет понятие сущности языка. Он считает, что «язык есть выражение мысли помощью членораздельных звуков».⁸ (Но иногда подчеркивает и коммуникативную функцию — «язык служит нам для взаимной передачи мыслей».)⁹ Отсюда он делает вывод, что язык, с одной стороны, подчиняется законам логики, а, с другой, законам самого выражения, т. е. законам сочетания членораздельных звуков. В предисловии к первому изданию «Опыта исторической грамматики» он называет еще подобные законы *внутренними законами развития языка*.¹⁰

Поэтому Буслаев, хорошо понимая недостатки прежних грамматик (смещение логических и грамматических категорий, пренебрежение этимологическими формами и др.), стремится преодолеть узкие рамки логической системы. Во-первых, путем расширения объекта исследования за счет широкого привлечения фактов не только книжного, но и разговорного языка. Во-вторых, основой изучения в грамматике он считает этимологический разбор форм, чтобы извлечь из него грамматические законы. Орфография, в свою очередь, должна основываться на этимологии, а в синтаксисе необходимо «определить правильное отношение отвлеченных приемов логики к формам языка».¹¹ И, в-третьих, путем соединения филологического и лингвистического способов изучения: филологическому следовать «в подробном и тщательном изучении образцовых писателей, не

⁷ Ф. И. Буслаев, О преподавании отечественного языка, Л., 1941, стр. 63.

⁸ Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика, стр. 263.

⁹ Там же, стр. 263.

¹⁰ См. Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика, стр. 566.

¹¹ Там же, стр. 576.

ограничивая произвольно числа их»; лингвистическому — в расширении области филологической грамматики «отчетливым исследованием форм языка, на основании исторического их развития».¹² Поэтому в «Исторической грамматике» постоянно борются как бы два начала: логическое и грамматическое. Мы и попытаемся на основе анализа основных грамматических понятий показать, каким образом Буслаев пытался преодолеть логицизм и подойти к изучению языка с точки зрения его грамматических форм, способствуя тем самым возникновению новых течений в истории русской грамматической мысли.

В русском языкознании учение о частях речи сложилось на базе античной грамматической традиции. Уже в первых грамматических работах на Руси, как и александрийских грамматиках, выделяется восемь частей речи: имя, речь (глагол), наречие, местоимение, причастие, различие (член), предлог и союз. В 1619 году Смотрицкий исключает из состава частей речи различие и вводит междометие. Эта классификация сохранилась в русских грамматиках до начала XIX века.

В «Российской грамматике» М. В. Ломоносова мы также находим восемь частей речи. Но Ломоносов уже разграничивает их на знаменательные и служебные. Правда, термин «знаменательный» у него имеет двоякое значение. Первоначально он называет знаменательными все восемь частей речи. Однако далее к знаменательным Ломоносов относит только имя и глагол и противопоставляет им служебные (вспомогательные) части речи: предлог, союз, местоимение, причастие, наречие, междометие.

А. Х. Востоков, также сохранив традиционные восемь частей речи, внес в их состав некоторые изменения. Категорию имени он, вслед за Гречем, разделил на имя существительное и имя прилагательное. Далее, причастие он считал не самостоятельной частью речи, а особой группой в составе имен прилагательных. Но у Востокова, по сравнению с Ломоносовым, нет деления частей речи на знаменательные и служебные.

Буслаев учение о частях речи, в отличие от предшествующей традиции, излагает в морфологии и синтаксисе; в первой — словообразование и словоизменение, а во втором — значение и употребление частей речи и их грамматических категорий. В систему частей речи он внес те изменения, которые были сформулированы и обоснованы Г. П. Павским. Это, во-первых, утверждение числительных как самостоятельной части речи и, во-вторых, выделение в особый разряд междометий. Более четко им также был поставлен вопрос о разграничении частей речи на знаменательные (существительные, прилагательные, глаголы, кроме вспомогательного, и наречия, образованные от знамена-

¹² Там же, стр. 578.

тельных частей речи) и служебные (местоимение, числительное, предлог, союз, вспомогательный глагол и наречия, образованные от служебных частей речи). Различия между ними Буслаев видит в следующем: а) знаменательные слова выражают различные впечатления, производимые природой и жизнью на человека, а служебные — отвлеченные понятия и отношения; б) служебные слова соответствуют окончаниям знаменательных слов; в) знаменательных слов много, а служебных мало; г) знаменательные слова изучаются в словаре, а служебные в грамматике, д) знаменательные слова постоянно создаются языком, а служебные — нет; е) знаменательные слова могут заимствоваться из другого языка, служебные не заимствуются.

Основной недостаток такого разграничения был отмечен уже Потебней. В своем труде «Из записок по русской грамматике» он писал: «Оснований деления здесь два: отвлеченность и значение отношения (формальность); но не всякая отвлеченность есть формальность, так что в сущности здесь смешаны два деления. Число есть одно из высших отвлечений, но числительное не есть слово формальное».¹³

Определения частей речи до Буслаева покоились главным образом на семантическом и синтаксическом принципах (см. труды Ломоносова, Греча, Востокова, Перевлесского, Павского, Давыдова и др.). Отсюда, господствующее положение занимали такие, например, определения, как существительное есть название предмета, прилагательное — название признака, глагол — название действия или состояния и т. д.

Буслаев, понимая узость и односторонность подобных определений, стремится расширить их, ввести новые, дополнительные моменты, которые бы указывали и на другие признаки частей речи. Прежде всего он отводит важное место морфологической стороне слов. Окончания, пишет он, придают корням слов значение предмета, свойства или действия и тем самым распределяют их по определенным частям речи. «А так как имена язык употребляет не иначе, как в известном падеже и числе, а глаголы в известном наклонении, времени, числе и лице; то само собою разумеется, что существо имен и глаголов, сверх суффиксов, определяется изменениями, или флексиями, т. е. склонениями и спряжениями».¹⁴

Важное значение Буслаев придает и синтаксическому моменту. Сущность частей речи, утверждает он, «состоит не только в том, что они означают или действие, или предмет, или свойство, но и в том, какой смысл получают они в предложении,

¹³ А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. I—II, М., 1958, стр. 36.

¹⁴ Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика, стр. 317.

изменяясь по спряжениям и склонениям».¹⁵ Особенно ярко такой подход проявился при определении имени существительного. «Существительное, — писал он, — не только выражает предмет, сам по себе, но и ставит его в известное отношение к глаголу, означая падежом или подлежащее, или дополнение, или обстоятельство, или определение».¹⁶

Более того, при анализе сущности частей речи Буслаев стремится подчеркнуть, что важное значение имеет не только то, что они обозначают, но и то, как обозначают. По его мнению, существительное обозначает предмет «сам по себе», поэтому «названия отвлеченных свойств и действий суть существительные».¹⁷ «Прилагательное означает свойство не отвлеченно, а в отношении к предмету, определяя его и согласуясь с его названием в роде, числе и падеже».¹⁸ «Глагол означает действие не отвлеченно, а в известное время и с показателем всех отношений, которые выражаются сказуемым, т. е. с обозначением лица, времени, вида, наклонения и залога».¹⁹

Эти мысли Буслаева, высказанные еще по сути дела попутно, затем легли в основу определения частей речи у Потебни, который как раз считал, что основное различие между частями речи состоит не в том, что они обозначают, а в том, как обозначают. Это значит: существительное обозначает признак, мыслимый самостоятельно, независимо от какого-либо комплекса признаков; прилагательное есть признак, данный в чем-то; глагол обозначает признак во время его возникновения от действующего лица.

Но Буслаев не был последователен в своих рассуждениях. Поэтому определения разных частей речи он строит на различных признаках. Например, выделив по семантическому признаку числительное и местоимение в отдельные части речи, по синтаксическому употреблению многие из этих слов считает прилагательными. Более того, смешивая синхронический и диахронический аспект, Буслаев относит к именам существительным и инфинитив.

Предлоги и союзы в «Исторической грамматике» определяются с синтаксической точки зрения. У предлогов он различает собственное и переносное значение. В собственном значении они показывают движение и положение предмета в пространстве

¹⁵ Там же, стр. 318. Эта мысль была им уже очень четко выражена в работе «О преподавании отечественного языка» (М., 1844, ч. II, стр. 6): «Все части речи и изменения их получают свой смысл по месту, занимаемому ими в предложении. Впрочем, кроме того, имеют они и свое собственное неизменное значение как отдельные формы. Определение этих форм и составляет учение о категориях частей речи».

¹⁶ Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика, стр. 317.

¹⁷ Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика, стр. 318.

¹⁸ Там же, стр. 317.

¹⁹ Там же.

(ид-ти в город, со-йти с горы), в переносном — движении и пребывание предмета во времени (в 1812 году) и различные отношения мысли (с голоду, для бедных, из любви). Судя по примерам, Буслаев еще не разграничивает предлоги и приставки. Союзы, по его мнению, показывают связь между предложениями, соединенными по способу сочинения и подчинения. Здесь не указывается на то, что союзы могут выражать отношения и между однородными членами предложения. Но это вполне понятно, так как Буслаев считает такие предложения слитными, состоящими из нескольких простых предложений.

Изучение предложения в русском языкознании началось почти с появления первых грамматических трудов. Акад. В. В. Виноградов уже отмечал, что в самых ранних русских грамматиках, исследующих синтаксис, имеются указания на предложение как основную единицу связной речи. Но последовательного развитого учения о предложении, теории предложения нельзя найти у русских грамматистов до середины XVIII века. Даже Смотрицкий дает лишь слишком общее определение предложения, указывая только два его признака: законченность мысли и грамматически оформленную связь слов. В таком виде теория предложения дошла до Ломоносова.

Ломоносов в «Риторике» дает определение предложения, основанное на логическом принципе. «Сложенные идеи состоят из двух или многих простых идей, между собою сопряженных и совершенный разум составляющих... Таким образом, сложенные идеи по-логически называются рассуждениями, а когда словесно или письменно сообщаются, тогда их предложениями называют».²⁰ Такое логическое определение предложения удержалось в русском языкознании вплоть до второй половины XIX века.

В грамматике Буслаева учение о предложении занимает по сути дела центральное место. Это непосредственно вытекает из понимания сущности языка. Назначение языка — быть средством выражения и сообщения мыслей при помощи членораздельных звуков. Поскольку мысль может быть выражена лишь в предложении, то ее первоначальной и единственной формой выражения Буслаев считал только предложение. В соответствии с традицией он определяет предложение как суждение, выраженное словами.

Основные недостатки такого определения были вскрыты уже Потембней. Его главные положения сводятся к следующему. Грамматическое предложение не тождественно и не параллельно с логическим суждением, поскольку подлежащее и сказуемое в логике и грамматике имеют различные значения, логическое

²⁰ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. VII, изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 116—117.

подлежащее может быть грамматическим сказуемым и наоборот. Кроме того, логика знает только два члена суждения. Поэтому из логического суждения не могут быть выведены и объяснены второстепенные члены предложения. Далее, поскольку грамматических категорий несравненно больше, чем логических, то часто допускаются две ошибки: или в логику вносятся такие категории, которые ей совсем не нужны, или в грамматику отождествляются такие явления, которые совершенно различны по своему характеру. Это происходит оттого, что логика не признает индивидуальных различий языков, так как ее категории носят общечеловеческий характер.

Но, видимо, Буслаев и сам чувствовал ограниченность и недостаточность логического определения предложения. Поэтому в дальнейшем он стремится найти и какие-то грамматические признаки предложения. Для этого он предлагает различать самую материю или содержание предложений (т. е. название понятий и представлений, входящих в состав предложения) и способ их сочетания в предложении. Последний, по его мнению, выражается или окончаниями слов (склонениями и спряжениями), или служебными словами. Отсюда он приходит к выводу, что отдельные слова могут составить предложение только в том случае, если они связаны друг с другом по способу согласования или управления. Согласованием Буслаев называет «такое сочетание слов, в котором одно слово уподобляет свое окончание окончанию другого».²¹ С таким определением, естественно, согласиться нельзя. Уже Потебня в связи с этим заметил, что в данном случае «было бы точнее сказать не об уподоблении окончания . . . , а об уподоблении формы, в смысле значения».²² «Управлением, по Буслаеву, называется такое сочетание слов, в котором одно слово зависит от другого и означает свою зависимость или окончанием падежа, или же предлогом».²³ Термина «примыкание» у Буслева еще нет, вместо этого он говорит о «невидимой синтаксической связи».

Кроме этого, Буслаев находит еще один грамматический признак предложения — наличие сказуемого, которое он считает основным членом предложения. «Вся сила суждения содержится в сказуемом. Без сказуемого не может быть суждения. Отсюда понятно, почему в языке есть предложения, состоящие только из сказуемого, без явно обозначенного подлежащего, каковы все, так называемые, безличные глаголы; напр., хочется, нельзя, нездоровится и проч; но нет ни одного предложения, которое состояло бы только из подлежащего».²⁴ Собственной и

²¹ Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика, стр. 270.

²² А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. I—II, стр. 75.

²³ Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика, стр. 270.

²⁴ Там же, стр. 258.

первоначальной этимологической формой сказуемого Буслаев считает глагол.

В этом рассуждении он уже в значительной степени приближается к Потебне. Ведь Потебня, стремясь дать грамматическое определение предложения, находил в нем два существенных признака. Во-первых, предикативность, выражающаяся в глагольности, поскольку основной формой выражения сказуемого является глагол. Отсюда и вытекает его утверждение, что предложение без глагола невозможно. Вторым существенным признаком предложения Потебня считает то, что в него входят части речи. Если их нет, то нет и предложения. А так как в языке нет ни одной неизменчивой категории, то вместе с их развитием изменяется и то целое, в котором они возникают и существуют, — предложение. Исходя из этого, Потебня сделал вывод, что невозможно дать общего определения предложения, пригодного для всех языков и всех периодов развития языка, что необходимо на значительном промежутке времени давать ряд определений. Кстати, в этом проявился один из крупнейших недостатков грамматической системы Потебни. Положив в основу всего построения понятие предложения, он затем отказался дать его определение. Таким образом его «грамматическое здание» оказалось как бы без фундамента.

Но Буслаев не смог преодолеть полностью влияние логической грамматики. Особенно наглядно это проявилось в учении о сокращении и слиянии предложений.

По мнению Буслаева, придаточные предложения могут сокращаться в имена существительные, инфинитив, причастие и деепричастие. Кроме этого, он упоминает также о сокращении сказуемого в прилагательное (ср. Этот ученик прилежен = этот прилежный ученик). Такой взгляд целиком обусловлен влиянием логицизма, в результате чего под одно понятие подводятся самые разнородные формы. Более того, он явно противоречит данным истории языка. Ведь причастия, из которых затем развились и деепричастия, возникают гораздо раньше, чем подчинительные союзы и относительные местоимения. Поэтому ни о каком сокращении или распространении говорить нельзя, в языке просто сосуществуют две разные формы для выражения более или менее одинакового содержания.

Под слитными предложениями Буслаев в соответствии с традицией (Греч, Давыдов и др.) понимал предложения, имеющие однородные члены. По мысли автора, они возникают в результате слияния нескольких простых предложений. Например, *Солнце светит + Солнце греет = Солнце светит и греет*. Уже Д. Н. Кудрявский²⁵ правильно заметил, что это предполагаемое

²⁵ См.: Д. Н. Кудрявский, Введение в языкознание. Юрьев, 1912, стр. 123.

слияние не может быть ничем доказано, оно ничего не объясняет в строе этих предложений и скорее напоминает логическое упражнение, чем грамматический разбор. Поэтому он сделал обоснованный вывод, что теория слитных предложений не нужна, так как она не имеет под собой ни исторических, ни грамматических оснований.

Учение о сложноподчиненном предложении в русском языкознании возникло в начале XIX века. До этого в грамматиках давался только перечень союзов и в некоторой степени их значение. Правда, в трудах Ломоносова мы находим деление предложения на простые и сложные, но последние он отождествлял с периодом.

Первые сведения о сложноподчиненном предложении приводятся в трудах Ф. Розанова и Л. Г. Якоба. Розанов впервые вводит термины «главное предложение» и «придаточное предложение». «Из ... предложений во многочисленном периоде, — писал он, — одно бывает *главное*, которое заключает в себе известную цель, к коей клонится вся наша речь; а прочие затем называются *придаточными* (курсив автора. — С. С.), т. е. такими, кои служат для доказательства или для объяснения главного предложения».²⁶ Кроме того, Розанов сделал первую попытку объяснить логическую природу сложноподчиненного предложения. Но это изложено очень кратко и схематично. Он указал также на то, что главное предложение может стоять как перед придаточным, так и после него.

Более подробно придаточные предложения характеризует Якоб,²⁷ у которого понятие сложноподчиненного предложения возникло в связи со стремлением объяснить наличие в языке элементов, отсутствующих в логическом суждении. Эти элементы он рассматривает как «определения» подлежащего и сказуемого. В число «определений» включаются и целые предложения. Анализ сложноподчиненных предложений, которые он называет «подробными», привел его к выделению главного предложения и «побочных», служащих для объяснения и определения главного.

В «Практической русской грамматике» Н. Греча учение о сложноподчиненных предложениях занимает уже значительное место. Греч различает три вида придаточных предложений (существительные, прилагательные, обстоятельственные) в зависимости от того, какой член главного предложения они заменяют. Кроме этого, дается классификация по логическому признаку, на основе которого придаточные делятся на а) означающие от-

²⁶ Ф. Розанов, Российская грамматика, содержащая в себе новый, легкий и достаточный способ к изучению русского языка, М., 1810, стр. 221.

²⁷ См.: Л. Г. Якоб, Курс философии для гимназий Российской империи. Часть вторая, содержащая начертание всеобщей грамматики, СПб., 1812, стр. 95—101.

ношения признака к существу, куда включаются придаточные определительные, исчислительные, ограничительные, исключительные, сравнительные; б) означающие обстоятельства места и времени; в) выражающие причины, т. е. причину в прямом смысле, заключение, цель, орудие, условие, уступку. Такой подход к придаточным предложениям заключает в себе много противоречий: во-первых, между этими двумя типами классификации нет почти никакой внутренней связи, во-вторых, аналогия, проведенная в первой классификации между придаточными предложениями и членами простого предложения, очень ограничена, так как ряд придаточных предложений (например, уступительные, следствия и др.) не имеют соответствующих видов обстоятельств; в-третьих, во второй классификации сложноподчиненные предложения смешиваются со сложносочиненными.

Более усовершенствованная классификация представлена в «Опыте общесравнительной грамматики русского языка» И. И. Давыдова. Он, как и Греч, выделяет три типа придаточных предложений: определительные, дополнительные и обстоятельственные. (Правда, наряду с этим используется и морфологическая терминология: придаточные существительные, прилагательные и наречные). Но Давыдов подробно дифференцирует обстоятельственные придаточные предложения, выделяя в них три группы: места, времени и образа действия. Последние, в свою очередь, делятся на собственно образа действия, куда включаются «образные придаточные предложения», сравнительные и следствия, и причины действия, куда входят винословные, условные, уступительные и конечные. Следовательно, заслуга Давыдова заключается в создании более стройной классификации придаточных предложений, особенно обстоятельственных. Но он совершенно не обратил внимания на особенности грамматической структуры сложноподчиненных предложений.

Следующий шаг вперед в разработке проблемы сложноподчиненных предложений связан с появлением «Исторической грамматики русского языка» Буслаева. Он считал, что речь может состоять из простых предложений и из сложных. Последние возникают путем соединения нескольких простых. Это соединение происходит двояким образом: «1) или одно предложение составляет часть другого <...>, 2) или соединенные предложения не входят одно в другое, в виде отдельной части, и остаются самостоятельными <...> В первом случае соединение предложений именуется подчинением, потому что одно предложение подчиняется другому, составляя его часть; а во втором — сочинением».²⁸ «Предложение, составляющее часть дру-

²⁸ Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика, стр. 279.

того предложения, именуется придаточным, а то, в которое придаточное входит как часть, именуется главным».²⁹

Более отчетливо Буслаев сформулировал также мысль о том, что каждый член главного предложения, кроме сказуемого, может быть выражен придаточным предложением. На этой основе он выделяет придаточные предложения подлежащего, определения, дополнения и обстоятельства (места, времени, образа действия, меры и счета, причины). Но затем Буслаев относит к обстоятельственным также предложения, выражающие условие, предположение, желание и сравнение. Относительно замены сказуемого он высказывает следующее соображение: «1) Собственно сказуемое, т. е. глагол, никогда не может терпеть этой замены, что составляет одно из существенных отличий этого члена предложения от прочих. 2) Но так как при глаголе (именно при существительном *быть*) употребляются определительные и обстоятельственные речения, составляющие вместе с ним сказуемое составное; то эти речения могут заменяться и объясняться придаточным предложением».³⁰

В целом Буслаев разработал наиболее полную систему сложноподчиненных предложений, которая легла в основу большинства школьных учебников второй половины XIX — начала XX века и в значительной степени сохранилась до сих пор. Однако в его учении имеется ряд существенных недостатков. Прежде всего нельзя согласиться с определением сложного предложения, как состоящего из нескольких простых. Ведь предложение, по Буслаеву, есть суждение, выраженное словами. Таким образом получается, что в одном суждении имеется несколько суждений. Теория же придаточных предложений, как неоднократно отмечалось в научной литературе, не ставит основной упор на изучение их грамматической сущности, она ничего не говорит о самих придаточных предложениях, не учитывает ни одного их признака.

Но верный своему принципу указывать наряду с логико-семантическими также грамматические признаки, Буслаев свой анализ придаточных предложений сводит к довольно подробному рассмотрению союзов и союзных слов. Это в какой-то мере предопределило пути дальнейшего изучения придаточных предложений. К концу XIX — началу XX века традиционная система сложноподчиненных предложений, основанная на анализе придаточных, перестает удовлетворять исследователей. Языковеды, не отказываясь от изучения придаточных в отрыве от синтаксического целого, стремятся найти прежде всего грамматические особенности сложноподчиненных предложений. Одним из первых эту попытку сделал Д. Н. Овсяннико-Куликовский в своем

²⁹ Там же.

³⁰ Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика, стр. 280.

«Синтаксисе русского языка», но наиболее последовательно она была проведена А. М. Пешковским.

Основоположником учения о членах предложения в русском языкознании является Ломоносов. В «Российской грамматике» это учение сформулировано еще весьма нечетко. В § 81 говорится: «Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъясняющий оныя вещи деяние. Например: *облаки покрыли, земля тучнеет*».³¹ В данном случае под морфологическими терминами «имя» и «глагол» подразумеваются подлежащее и сказуемое. Другие члены предложения не названы, но указывается, что они служат для распространения главных членов. «Вещей и деяний свойства и обстоятельства умножают наши понятия и названиями их речь распространяют. Сие производится 1) именами прилагательными просто: *темные облаки покрыли ясное небо*; 2) именами прилагательными, правящими существительные имена в пристойных падежах, к чему особливо служат причастия: *облаки, сгущенныя влажностью, покрыли освещенное солнцем небо*; 3) родительным падежом: *темность облаков покрывает ясность неба*; 4) предлогами: *облаки покрывают небо на востоке; земля тучнеет от росы*».³²

В более четкой форме учение о членах предложения представлено в «Риторике». В ней Ломоносов пишет: «Оне (предложения. С. С.) имеют две части — подлежащее и сказуемое. Оное значит вещь, о которой рассуждаем, а сие показывает самое то, что рассуждаем о подлежащем. Так, в рассуждениях «надежда есть одобрение» и «богатство и честь суть побуждения к трудам», «надежда» и «богатство и честь» суть подлежащие, а «одобрение» и «побуждение к трудам» суть сказуемые. Глагол существительный «есть» или «суть» называется связка, которою подлежащее и сказуемое сопрягаются».³³ Ломоносов описал и основные способы выражения подлежащего и сказуемого.

Значит, на логической основе Ломоносов выделяет два члена предложения: подлежащее и сказуемое. Но кроме этого, он, видимо, к членам предложения относил и связку, поскольку не включал ее в состав сказуемого, а рассматривал как особый, связующий элемент между подлежащим и сказуемым.

Большой шаг вперед в учении о членах предложения сделан в «Русской грамматике» А. Х. Востокова. Непременным признаком предложения он считал глагол. Где его нет, там подразумевается вспомогательный глагол, который Востоков включил

³¹ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 418.

³² Там же, стр. 418—419.

³³ Там же, стр. 117.

в состав сказуемого и тем самым утвердил положение о двух главных членах предложения — подлежащем и сказуемом. Определения подлежащего и сказуемого Востоков дает с логической точки зрения. «Подлежащее есть имя предмета, о котором говорится. Сказуемое есть глагол, или все то, что о предмете говорится».³⁴

Кроме главных членов, Востоков выделяет и второстепенные — определительные и дополнительные слова,³⁵ которые служат для определения и дополнения подлежащего и сказуемого. К определительным словам он относил прилагательное, приложение и наречие, к дополнительным — инфинитив, косвенные падежи существительных и местоимений. В русском языкознании эта система второстепенных членов затем была воспринята В. А. Богородицким.

В учении о членах предложения Буслаев также занимает двойственную позицию. Первоначально он определяет главные члены предложения с логической точки зрения. «Предмет, о котором мы судим, называется подлежащим (subjectum, subject). То, что мы думаем или судим о предмете (о подлежащем), именуется сказуемым (praedicatum, prädicat)».³⁶ Уже Потебня ярко показал слабость такого рода определений на простом примере: «Вот речь: «Не заботьтесь о завтрашнем дне». О чем тут говорится? — О завтрашнем дне. — Нет, не то! Какой главный предмет этой речи? — Чтоб мы не заботились. — Нет, предмет, о котором здесь говорится, это вы, второе лицо. — Но ведь о нас здесь ничего не говорится!» Разве это не справедливо? Вообще всякая знаменательная часть речи может быть, смотря по контексту, предметом, о котором говорится в предложении».³⁷

Но Буслаев, наряду с логической стороной главных членов, стремится найти и их морфологические признаки. Он говорит, что в языке подлежащему соответствует имя существительное в именительном падеже. Если же подлежащее выражается какой-либо другой частью речи, то она принимает смысл существительного (ср. «Ленивый часто скушает», «Отчаиваться есть малодушие»). Кроме именительного падежа существительного, по мнению Буслаева, подлежащее может быть выражено также личной формой глагола (напр., да-м, ес-т, буд-е-м). Отсюда не-

³⁴ А. Х. Востоков, Русская грамматика, изд. 12, СПб., 1874, стр. 116.

³⁵ Правда, об определительных и дополнительных словах говорится уже в «Практической русской грамматике» Н. Греча. Но Греч выделяет эти второстепенные члены предложения очень робко; нечетко и непоследовательно. Он то пытается их рассматривать в какой-то мере самостоятельно, то включает в состав подлежащего.

³⁶ Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика, стр. 258.

³⁷ А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. I—II, стр. 73.

посредственно вытекает вывод о том, что в грамматическом отношении безличное предложение не отличается от личного, так как грамматическое подлежащее выражается либо личным окончанием, либо неопределенным местоимением (напр., в немецком и французском языках). В связи с этими высказываниями Потебня справедливо сделал следующее замечание: «Личное окончание или вместе с ним местоимение личное, как чистая форма (отношение к лицу, а не обозначение его указанием), суть неперменные составные части личного глагола. Без них нет глагола, стало быть, нет сказуемого. Но если подлежащее не есть сказуемое, то оно никогда не бывает ни личным окончанием, ни личным местоимением в формальном значении».³⁸

Собственной и первоначальной этимологической формой сказуемого, по мнению Буслаева, является глагол, который в этой роли означает признак, приписываемый предмету, и отношение говорящего к слушающему и к предмету речи. Это отношение выражается указанием на лица, а также категориями времени и наклонения. Таким образом, в грамматической системе Буслаева возникает еще одно существенное противоречие, так как из его рассуждений вытекает, что личная форма может выражать одновременно подлежащее и один из признаков глагола-сказуемого.

Кроме простого, Буслаев выделяет также понятие составного сказуемого. Последнее всегда состоит из двух частей: а) глагола-связки, выражающего категории наклонения, времени и лица, и б) названия признака, приписываемого глаголом подлежащему. Эти две части составляют одно целое. Но в грамматическом отношении основной частью составного сказуемого является глагол-связка, в логическом же — обозначение признака. Но, видимо, желая еще дальше морфологизировать свое учение о составном сказуемом, он приходит к выводу, что сказуемое может быть выражено лишь глаголом. Поэтому присвязочный член им рассматривается как второстепенный член предложения. «Составное сказуемое содержит в себе, при глаголе существительном, второстепенные члены предложения, а именно: 1. Определение, выраженное: а) или прилагательным кратким; напр., «бог есть всемогущ» (при определительном с полным окончанием: «всемогущий бог»); б) или существительным; напр., «Днепр есть река» (при определительном: «река Днепр»); в) или родительным падежом; напр., «Петр Великий был высокого роста», вм. «высок ростом» (при определительном: «человек высокого роста»). 2. обстоятельство; напр., «он в городе», «— на ногах», «— в хлопотах» (с опущением глагола есть или находится, пребывает и т. п.)».³⁹

³⁸ А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. I—II, стр. 73.

³⁹ Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика, стр. 277.

Двойственный подход к языковым фактам — логико-семантический и грамматический — ярко сказался также в учении Буслаева о второстепенных членах предложения. Выделение второстепенных членов в «Исторической грамматике» основано на двух принципах: синтаксическом употреблении и значении. Исходя из трех типов синтаксической связи слов — согласования, управления и примыкания, Буслаев делит второстепенные члены на определительные (присоединяемые посредством согласования), дополнительные (присоединяемые посредством управления) и обстоятельственные (слова, не находящиеся в видимой синтаксической связи с другими словами). Но перейдя к характеристике второстепенных членов по значению, он вступает в явное противоречие с первым делением, так как считает, «1) что определительные присоединяются к другим словам посредством не только согласования, но и управления, и 2) что между обстоятельными, сверх вышеупомянутых, несогласующихся и неуправляемых, большая часть таких, которые относятся к дополнительным».⁴⁰ Такая система второстепенных членов носит явно противоречивый характер, который объясняется тем, что при их выделении Буслаев выдвинул два противоположных принципа: грамматический и смысловой. Недаром Потебня затем отмечал, что деление второстепенных членов по употреблению оказалось совершенно ненужным для деления по значению, которое «основано не на наблюдении над языком, а над чем-то не имеющим к языку непосредственного отношения, что автору только кажется, будто он различным образом делит одно и то же понятие, между тем как он делит два различных понятия и влагает в одно то, что нашел в другом».⁴¹ При этом деление второстепенных членов по значению приводит к игнорированию грамматической формы, стиранию различий между такими, например, выражениями, как «сын отца» и «отцовский сын», «две версты» и «много сделать и т. д.

В целом грамматическая система Буслаева завершила собой длительное господство в научной грамматике логико-грамматического направления, которое характеризуется многими чертами, объединяющими лингвистов данного периода и отделяющими их довольно четко от представителей последующих направлений. Главной такой чертой является логико-семантический подход к частям речи, членам предложения и предложению.

Однако «Историческая грамматика» Буслаева не только обобщила достижения предшествующих грамматик русского языка, но и показала полную несостоятельность их теоретической базы. Причиной этого является двойственность принципов —

⁴⁰ Там же, стр. 273—274.

⁴¹ А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. I—II, стр. 77.

логико-семантического и грамматического, которыми руководствовался автор. Эта двойственность принципов объясняется тем, что в грамматике Буслаева «понятие содержания (насколько оно составляет предмет языкознания) и формы слова еще весьма не ясны. В этой неясности иное лично, но во многом проявляется такое общее состояние знания, когда, с одной стороны, еще чувствуется тяготение к старой теории (логико-грамматической), для которой нет в слове ни собственно язычного содержания, ни формы, а есть только нечто, по другому взгляду, вовсе не заключенное в слове, именно понятие, а с другой стороны имеются уже факты, которые, будучи как следует сведены и направлены, могли бы ниспровергнуть эту теорию».⁴² Поэтому «Историческая грамматика» представляет собой как бы две плоскости: а) традиционная логическая схема и б) система форм, характеризующих ту или иную грамматическую категорию. И эта первая плоскость, по справедливому замечанию Н. Богородицкого, «пред сильным напором фактов, взятых частью из истории русского языка, частью из современного — литературного, а частью из живого его употребления, эта псевдорусская теория не устояла и — пала. Сходя со сцены и умирая, она оставила по себе грамматической литературе одно очень дельное и разумное завещание: *понимать язык и строить его грамматику должно только на основании его же формы, а отнюдь не на основании предвзятых теорий* (курсив автора — С. С.)».⁴³ Это завещание попытался выполнить отчасти и сам Буслаев второй стороной своей грамматической системы. Однако эта попытка успехом не увенчалась из-за противоречивости и непоследовательности его взглядов, из-за неумения полностью преодолеть влияние традиции.

Кроме того, позиция Буслаева в определенной степени отражала собой развернувшуюся в европейском языкознании середины XIX века борьбу с универсальной грамматикой. Наиболее последовательно это проявилось в трудах В. Гумбольдта и особенно Г. Штейнтала, стремившихся в первую очередь подчеркнуть специфику грамматического строя отдельных языков. В связи с этим, например, Штейнталь⁴⁴ писал, что языковые и грамматические категории несовместимы и так же мало могут соотноситься друг с другом, как понятия круга и красного. Од-

⁴² Там же, стр. 71.

Поэтому со взглядами Буслаева можно соглашаться или не соглашаться, но его грамматическая система (собственно, как и системы Потебни, Фортунатова, Пешковского и др.) явилась необходимым этапом, который должно было пережить русское языкознание.

⁴³ Н. Богородицкий, По вопросу о русской грамматике как учебнике, ЖМНП, 1868, январь, стр. 204.

⁴⁴ См. H. Steinthal, Grammatik, Logik und Psychologie. Ihre Prinzipien und ihr Verhältniss zu einander, Berlin, 1855, ss. 221—222.

нако эта критика в трудах Буслаева еще не нашла своего отражения. Но, как уже отмечал акад. В. В. Виноградов, «учение Буслаева о несогласованности «общих законов логики» и «собственных законов языка», о частых их столкновениях и противоречиях находит себе некоторые параллели в высказываниях В. Гумбольдта».⁴⁵ В целом же «Историческая грамматика» в какой-то мере проложила путь и дала толчок синтаксическим исследованиям Потебни, которые составили следующий этап в истории русской грамматической мысли.

⁴⁵ В. В. Виноградов, Из истории изучения русского синтаксиса, стр. 248.

ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ТВОРИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЭСТОНСКИМ ЯЗЫКОМ.

С. А. Оленева.

Падежные конструкции несут разнообразные функции в предложении. Вступая в связь с другими словами, падежи имен существительных являются необходимой составной частью предложения. Анализируя ту или иную падежную конструкцию как соединение двух слов — управляющего и управляемого, надо обратить особое внимание на управление как вид синтаксической связи. Многие лингвисты проводили исследование падежных конструкций в тесной связи с проблемой управления. Управление может быть там, где оно обуславливается формальным значением глагола.

С падежными конструкциями тесно связана и проблема словосочетания. Если поставить вопрос, как выражается грамматическое значение падежа, то на это можно ответить, что грамматическое значение падежа выражается в словосочетании. Грамматическое значение падежа определяется значением слов, входящих в словосочетание. В определении значения падежа важную роль играют предлоги и глагол.

В данной статье рассматриваются отдельно беспредложные и предложные глагольные конструкции с творительным падежом. Падежная конструкция с типом подчинительной связи — управлением в творительном падеже — берется в составе предложения и сопоставляется с эстонским языком. При анализе этих конструкций использован сопоставительный метод. Этому методу в последнее время уделяется много внимания. Целью сопоставительного изучения языков является выявление различий своего и чужого в исследуемых языках.

Беспредложные глагольные конструкции с творительным падежом в сопоставлении с эстонским языком

Глагольные конструкции без предлога с творительным падежом существительного могут выражать следующие основные отношения:

1) объектные, 2) обстоятельственные: а) значение способа действия, б) временные отношения, в) пространственные отношения.

1. Словосочетания, выражающие объектные отношения.

Беспредложные сочетания с творительным падежом существительного с объектным значением являются наиболее типичными, творительный падеж имеет значение орудия, посредством которого совершается действие. Это значение особенно ярко выступает тогда, когда и глагол и имя существительное имеют конкретные значения.

Существительные в таких словосочетаниях переводятся, как правило, на эстонский язык комитативом.

Врона взял книгу, **сделал** отметку красным **карандашом** на полях против фамилий... (Н. О., 81/91).

Vrona võttis raamatu, tegi nimede kohale raamatu servale punase pliiatsiga märgi...

Если существительные в творительном падеже со значением орудия действия повторяются, то в эстонском языке однородные члены, кроме последнего, могут переводиться падежом генитив, а последнее существительное комитативом.

Половину следующего дня она была тиха, молчалива, как **ни мучил** ее наш лекарь **припарками** и **микстурой** (Л., 43/39).

Pool järgmist päeva oli ta rahulik, vaikiv ja sõnakuulelik, kuidas meie arst teda ka ei piinanud mähiste ja mikstuuridega.

Кроме падежа комитатив, творительный беспредложный может быть переведен и падежом партитив. В таких случаях творительный падеж существительного выражает объект без отчетливого оттенка орудия действия, приближаясь к прямому объекту.

Рудин постоял, **встряхнул** волосами и удалился. (Т. Р. 62/68).

Rudin seisis pisut, raputas juukseid ja lahkus.

Анна Сергеевна **покачала** головой. (Т. 247/95).

Anna Sergejevna vangutas pead.

Падежом партитив переводятся и конструкции, в которых глагол и существительное имеют отвлеченное значение; значение орудия действия несколько ослабляется и заменяется более широким значением косвенного объекта.

... поэтому не надо **пренебрегать** моей **помощью** и **советом**. (Н. О., 53/56).

... sellepärast ei maksa minu abi ja nõu põlata.

В ваши годы **надо наслаждаться жизнью**. (Т., Р., 16/14).

Teie eas on vaja nautida elu.

Подобные конструкции можно перевести и падежом элатив.

В ваши годы **надо наслаждаться жизнью**. (Т., Р., 16/14).

Teie eas on vaja elust mõnu tunda.

Она шла не торопясь и как бы **наслаждаясь прогулкой**. (Т. Р., 7/5).

Ta kõndis ruttamata ja nagu lõbu tundes jalutus-käigust.

Павел Петрович весь **горел нетерпением**. (Т., 211/54).

Pavel Petrovitš otse põles kärsitusest.

Если в словосочетаниях главным словом является страдательное причастие, а имя существительное в творительном падеже обозначает производителя действия, то такие конструкции переводятся на эстонский язык падежами генитив + послелог *poolt* или элатив.

... во мне душа **испорчена светом**. (Л., 38/34).

Mu hing on rikutud seltskonna poolt.

Охваченный большой человеческой **нежностью**, он притянул ее к себе (Н. О., 66/72).

Haaratud suurest inimlikust õrnusest, ta tõmbas teda endale lähemale.

В безличных конструкциях творительный действующего лица переводится на эстонский язык падежом партитив.

... из недавно проснувшихся долин **веяло** душистой **свежестью**. (Т., Р., 7/5).

... äsja ärganud orgudest hoovas lõhnavat värskust.

Подобные конструкции могут переводиться и падежом генитив + послелог *järele*.

... **пахло** теплым ржаным **хлебом**. (Т., 170/8).

... lõhnas sooja rukkileiva järele.

Очень часто безличные конструкции переводятся на эстонский язык личными, т. к. в эстонском языке безличные предложения менее употребительны.

... всюду **пахло** каким-то **приличным запахом**. (Т., 244/9).

... igal pool oli mingi puhas lõhn.

Изобразим соответствия русского творительного без предлога на эстонском языке в виде таблицы.

| | | |
|--|---|--|
| творительный падеж без предлога с объектным значением. | } | генитив + <i>poolt</i> , <i>järele</i> . |
| | | комитатив |

| | |
|---|----------|
| } | партитив |
| | элатив |

Перевод творительного предикативного зависит от конкретного значения связки. Если в качестве связки употребляется **казаться**, то творительный предикативный переводится падежом эссив.

Целая деревушка осетин, живущих на дне его, **казалась гнездом** ласточки (Л., 31/27).

... selle põhjas elavate osseetide külake näis pääsuke se-
pesa pa.

Творительный предикативный со связкой **быть** может переводиться на эстонский язык падежом транслатив или номинатив.

Karagöz **будет** её **калымом**. (Л., 22/19).

Karagjoz olgu tema mõrksjalunaks.

... я **был** **подпоручиком**. (Л., 10/7).

... ma olin nooremleitnant.

С другими связками — **сделаться**, **оставаться** и др. творительный предикативный переводится падежом транслатив.

Вишь каким **франтом** **сделался**, как побывал опять в Петербурге. (Л., 53/50).

Näe, milliseks keigariks ta on muutunud, kui jälle Peterburis ära käis.

... **оставайся** **полной хозяйкой** всего, что я имею. (Л., 27/24).

... jää kõige selle täielikuks perenaiseks, mis mul on.

Итак, творительный предикативный переводится на эстонский язык падежами транслатив, номинатив, эссив.

2. Словосочетания, выражающие обстоятельственные отношения.

Обстоятельственные отношения в конструкциях с творительным падежом разнообразны. Рассмотрим основные его значения: а) способ действия, б) временные отношения, в) пространственные отношения.

В словосочетаниях со значением: а) **способа действия** именем существительным в творительном падеже обозначается способ совершения действия, которое обозначается глаголом. Эти конструкции переводятся на эстонский язык падежами комитатив, адессив, элатив.

Комитатив.

Он **говорил** **то нежным, вкрадчивым голосом**, **то тихим деловым тоном**, **то громким обличительным голосом**. (Л., Т., 74/78).

Ta kõneles kord õrna, meelitava häälega, kord vaikse asjaliku tooniga, kord valju süüdistava häälega.

Адессив.

... **спросила** она **нерешительным голосом**. (Т. Р., 14/13).

... küsis ta kõhkleva toonil.

Элатив.

... и **всей душой** **ненавидел** Пандалевского. (Т. Р., 15/14).

... ja vihkas kogu hinge põhjust Pandalewskit.

Имя существительное может обозначать способ совершения действия, выступая для выражения сравнения.

Такие словосочетания по значению соотносительны со срав-

нительными оборотами с союзами как, будто, словно, точно и др. и переводятся на эстонский язык падежом эссив.

И слова полились **рекою**. (Т. Р., 53/57).

Ja sõnad hakkasid voolama jõena.

Кровь лилась из раны **ручьями**. (Л., 41/37).

Veri voolas ojana haavast.

На висках синими **червяками** **набухли** вены. (Н. О., 18/18).
Meelekohtadel paisusid sooned ussikestena.

Итак, существительные в творительном падеже, имеющие значение способа действия, переводятся на эстонский язык падежами комитатив, адессив, элатив и эссив.

В словосочетаниях в творительном падеже б) с **временным** значением зависимое существительное называет отрезок времени или явление, связанное с представлением о времени. В таких словосочетаниях обязательно имеется имя прилагательное или другое существительное в косвенном падеже, иначе зависимое слово является наречием (встретились **утром** — наречие, встретились **ранним утром** — существительное). Такие конструкции переводятся на эстонский язык падежом адессив.

Надеюсь **увидеть** вас **нынешней зимой** в Москве. (Т. Р., 103/116).

Loodan teid näha käesoleval talvel Moskvast.

То-то **прошлой зимой** я его не видел. (Т., 173/11).

Sellepärast ma teda möödunud talvel ei näinudki.

Вечером того же дня **Одинцова** сидела у себя в комнате. (Т., 258/106).

Sama päeva õhtul istus Odintsova oma toas.

Временная характеристика действия может обозначаться одушевленным существительным для выражения возрастного периода жизни или времени пребывания в том или ином звании, состоянии. Такие словосочетания переводятся на эстонский язык падежом эссив.

Еще **ребенком** **лишилась** она матери.

Juba lapsena kaotas ta ema.

Имя существительное, обозначающее временное понятие, может стоять в форме творительного падежа множественного числа. Такие словосочетания называют действие, продолжающееся в течение называемого существительным отрезка времени. Переводятся они при помощи наречия на *-ti*.

Часто бывает, что **не могу** **ночами** **спать**.

Sageli juhtub, et öösiti ei saa magada.

Итак, существительные в творительном падеже с временным значением переводятся на эстонский язык падежами адессив, эссив и наречиями на *-ti*.

В словосочетаниях, выражающих в) **пространственные** отношения, имя существительное в творительном падеже называет место, пространство, по которому направляется движение. Пе-

реводятся они падежом партитив: пошел улицей — läks mööda tänavat, ехал лесом — sõitis mööda metsa.

... и **пошли городом** посередине мощеных улиц. (Л. Т., 6/8).

... ja läksid mööda linna, käies keset selle sillutatud tänavaid.

Если глагол обозначает не движение, а какое-либо иное действие, то словосочетания, выражающие пространственные отношения, приобретают оттенок временного значения.

Его повели на квартиру Нагульного. **Дорогой стали бить.** (Ш., гл. 23).

Ta saadeti Nagulnõ korterisse. Teel hakati teda peksma.

Итак, глагольные словосочетания в творительном падеже без предлога — широко распространенная конструкция. В них довольно часто употребляется творительный падеж с объектным значением, менее распространены словосочетания с обстоятельным значением. Переводятся подобные конструкции на эстонский язык различными падежами: чаще всего падежом комитатив (1/3 всех примеров), а остальные конструкции (2/3 примеров) падежами партитив, адессив, элатив, эссив, транслатив, генитив + послелого, наречиями.

Такое разнообразие в переводе зависит от многих причин: от переходности и непереходности глагола, от установившихся связей между словами в обоих языках и др.

творительный
беспредлож-
ный

комитатив
партитив
элатив
адессив
эссив
транслатив
генитив
номинатив
наречие.

Предложные глагольные конструкции с творительным падежом в сопоставлении с эстонским языком.

В предложных конструкциях обычно выражаются обстоятельственные отношения. Связь между глаголом и зависимым существительным в этих словосочетаниях обычно бывает не обязательной и потому слабой (слабое управление). Исключения составляют глаголы с приставками пространственных значений, которые обязательно требуют употребления при них существительного с определенным предлогом: сойти с горы, войти в дом, перепрыгнуть через канаву, подойти к доске. Глагольные приставки соотносятся или с однозвучными предлогами (войти в дом) или с близкими по значению (выйти из дома). Здесь

получается префиксально-предложный параллелизм и налицо сильное управление.

Зависимое существительное в творительном падеже может быть со следующими предлогами: 1) под, 2) над, 3) между, 4) перед, 5) за, 6) с.

Словосочетания с предлогом **под**.

Основным значением словосочетаний, состоящих из глагола и имени существительного в творительном падеже с предлогом **под**, является выражение пространственных отношений. В них получается действие и предмет, ниже которого или под которым происходит действие. Такие словосочетания переводятся на эстонский язык падежом генитив + послелог **all**.

Вот уже мостик загредел **под копытами** и **колесами**. (Т., 307/462).

Juba mürise sillake kapjade ja rataste all.

Словосочетания с предлогом **под** могут выражать и объектные отношения, но гораздо реже. В таких случаях эти конструкции переводятся на эстонский язык тоже падежом генитив + **all**.

Что мы **понимаем под романтизмом**?

Mida me mõistame romantismi all?

Словосочетания в творительном падеже с предлогом **под**, выражающие определительно-обстоятельственные отношения, встречаются редко и переводятся на эстонский язык падежом генитив + **all**.

Трое суток я **сидел под арестом**. (Г., 172/180).

Kolm ööpäeva olin aresti all.

...им **жилось трудно под властью** царей. (Г., 104/117).

... **pende põli oli tsaaride võimu all** raske.

Несмотря на различные значения, словосочетания с предлогом **под** переводятся падежом генитив + **all**.

Словосочетания с предлогом **над**.

Словосочетания с предлогом **над** в большинстве случаев выражают пространственные отношения. В них называется действие и предмет, выше которого это действие происходит. Подобные словосочетания переводятся на эстонский язык падежом генитив + послелоги **kohal**, **kohale**.

Каждый день **над рабочей слободкой**...ревел и дрожал фабричный гудок. (Г., 3/5).

Iga päev väriseb ja hüürgas vabriku vile töölisaguli kohal.

...лучистый пар **колебался над землей**. (Т. Н., 11/7).

... **virvendav leitsak hõljus maa kohal**.

...и стал читать, **повесив над своей головой жестяную лампу**. (Г., 12/15).

... **pani oma pea kohale plekklambi ja hakkas lugema**.

Словосочетания с предлогом **над** могут выражать и объектные отношения. В качестве главного слова в этих словосочета-

ниях выступает глагол, обозначающий умственную деятельность и проявление эмоции; зависимое слово называет предмет, по отношению к которому они проявляются. Переводятся они падежом генитив + послелоги üle, kallal.

Он всегда сторонился людей, и над ним издевались за это. (Г., 20/25).

Ta hoidus alati süngelt kõigist eemale ja tema üle irvitati selle pärast.

Над романом «Рожденные бурей» Островский работал с 1934 года. (Н. О. 323, перевод наш).

Ostrovski töötas romaani «Tormi sünnitadud» kallal alates 1934. aastast.

При глаголе смеяться (над чем? кем?) творительный падеж часто переводится падежом партитив: смеяться над ним — паегма teda или tema üle; ген. + üle более правильная форма.

Итак, существительные с предлогом над переводятся падежом генитив + послелоги kohal, kallal, üle.

Словосочетания с предлогом между.

Словосочетания с предлогом между выражают пространственные отношения. В них называется действие, происходящее в пространстве, ограниченном предметами, называемыми зависимыми существительными. Они переводят падежом генитив + послелоги vahelt, vahel.

Впереди, между деревьями замелькали огни деревеньки. (Т., 29/25).

Ees hakkasid puude vahelt vilkuma külakese tulukesed.

Теперь, сидя между котлами, он ворочал брандспойтом. (Н. О., 103/116).

Nüüd, istudes katelde vahel, keerutas ta voolikut.

Словосочетания с предлогом между могут обозначать еще временные отношения и отношения совместности.

Временные отношения: встретиться между обедом и ужином — kohtuma lõuna ja õhtusöögi vahel.

Словосочетания, выражающие временные отношения, называют действие и временные отрезки или явления, в промежутке между которыми действие происходит.

Словосочетания, выражающие отношение совместности, называют действие, появление чего-либо и лиц, совместно производящих действие или испытывающих состояние: между друзьями произошла ссора — sõprade vahel toimus tüli.

Подобные словосочетания и словосочетания с временным отношением переводятся падежом генитив + vahel.

Словосочетания с предлогом перед.

Словосочетания с предлогом перед выражают пространственные отношения с указанием места действия напротив или впе-

реди предмета, названного зависимым существительным. Перевод их — генитив + ees, ette.

...перед штабом выстроился взвод кавалерии. (Н. О., 105, перевод наш).

Staabi ees rivistus ratsarühm.

...перед глазами матери встала плоская снежная равнина. (Г., 26/215).

Ema silmade ette kerkis lausik lumelagendik.

Словосочетания с предлогом **перед** могут выражать и временные отношения, если они называют действие и временной отрезок или явление, до наступления которого действие совершается.

Переводятся эти словосочетания падежом генитив + послелог eel или падежом партитив с предлогом enne.

Павел и Андрей почти не спали по ночам, **являлись** домой уже **перед** гудком. (Г., 129/321).

Pavel ja Andrei peaaegu ei maganud öösiti, vaid tulid alles vile eel koju.

Женился я **перед** самой войной. (Н. О., 34/36).

Naise võtsin otse enne sõda.

Патлай ему что-то шептал **перед** уходом. (Н. О., 85/96).

Patlai sosistas talle enne äraminekut midagi.

Объектные отношения называют действие и лицо (коллектив, предмет), по отношению к которому действие осуществляется. Этим словосочетаниям соответствует в эстонском языке генитив + послелог ees.

Я, как поляк, **обязан перед** отчизной **служить** вам верой. (Н. О., 85/95).

Poolakana olen mina isamaa ees kohustatud teid ustavalt teenima.

Итак, существительные с предлогом **перед** переводятся на эстонский язык падежом генитив с послеслогами ees, ette, eel и падежом партитив с предлогом enne с временным значением.

Словосочетания с предлогом **за**.

Словосочетания с предлогом **за** могут выражать отношения: 1) объектные, 2) пространственные, 3) временные, 4) причинные.

Словосочетания, выражающие объектные отношения, называют целенаправленное действие и предмет, как объект этого действия. Переводятся падежом генитив + послеслоги järel, järele, järgi.

Не поверили мне, **не пошли за** моей правдой. (Г., 58/67).

Ei usutud mind, ei käidud minu tõe järgi.

При глаголах **следить**, **наблюдать**, **смотреть** (за кем? за чем?) в эстонском языке употребляется падеж партитив.

Следить за врагом — vaenlast jälgima.

Он за мной следит всю ночь. (К., 116/129)

Ta jälgib mind kogu öö.

Да, злой человек! Подсматривает за всеми. (К., 99/114).

Jah, tige mees! Varitseb kõiki.

Она (мать) поблагодарила и, выкрикивая названия кушаний, зорко наблюдала за необычайным оживлением на фабрике. (Г., 79/269).

Ema tänas, hakkas toitute nimesid hüüdma ja vaatles teraselt ebatavalist elevust vabrikus.

Словосочетания выражают пространственные отношения, если они называют действие и предмет, за пределом которого это действие происходит; переводятся они падежом генитив + послелоги *taga*, *taha*, *tagant*.

За стеклом неподвижно стояла черная тьма. (Г., 85/275).

Akna taga oli liikumatu must pimedus.

За углом улицы, в узком переулке, собралась толпа человек во сто. (Г., 124/327).

Tänavanurga taha kitsasse põiktänavasse oli sadakond inimest kogunenud.

За высоким кустом сирени раздались нестройные восклицания. (Т. Н., 72/69):

Kõrge sirelipõõsa tagant kostsid korratud hüüded.

За границей переводится словом *välismaal* (адессив), но может быть и *piiri taga* (генитив + *taga*).

Словосочетания с предлогом *за* могут выражать временные отношения, называя действие и время его совершения. Значение этих сочетаний — действие, совершающееся в процессе совершения другого действия. В эстонском языке им соответствует падеж генитив + послелог *ajal*.

За обедом Андрей рассказал о Рыбине. (Г., 102/115).

Lõuna ajal jutustas Andrei Rõbinist.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. (Т., 211/54).

Lööming tuli samal päeval õhtuse teejoomise ajal.

Словосочетания, выражающие причинные отношения, немногочисленны и в большинстве случаев являются устойчивыми оборотами, употребляются они в канцелярской и деловой речи.

...за недостатком слушателей пришлось умолкнуть.

Kuulajate vähesuse tõttu tuli vaikida.

За отсутствием врача, больных принимает фельдшер.

Arsti äraoleku tõttu võtab haigeid vastu velsker.

Подобным словосочетаниям соответствует генитив + *tõttu*.

Итак, словосочетания с предлогом *за* разнообразны по значениям и им соответствуют в эстонском языке падежи генитив с послелогам и паритив.

Словосочетания с предлогом с.

Словосочетания в творительном падеже с предлогом с имеют различные значения в русском языке, но им соответствует в эстонском языке падеж комитатив.

О, если бы мне теперь **встретиться с ним** лицом к лицу. (К., 78/118).

Oo, kui ma **temaga** praegu silm silma vastu **kokku sattuksin**.

Встретиться с ним — объектное значение с оттенком совместности.

Они **смотрели со страхом, с недоумением**. (Г., 13/18).

Nad **vaatasid ringi hirmu(ga) ja nõutusega**.

Он **говорил о нем так подробно и с таким восторгом**. (Т., 238/84).

Ta **rääkis temast nii üksikasjaliselt ja niisuguse vaimustusega**.

Смотреть со страхом, говорить с восторгом — определительное-обстоятельственное значение.

Он **проснулся с первыми лучами солнца**.

Ta **ärkas esimeste päikesekiirtega**.

Фенечка **хорошела с каждым днем**. (Т., 310/165).

Fenetška **muutus iga päevaga kaunimaks**.

Словосочетания **проснулся с первыми лучами, хорошела с каждым днем** имеют временные значения.

Таблица соответствий предложных глагольных конструкций эстонскому языку.

С предлогом с — комитатив (знакомиться с ним — *tutvuma temaga*, ответить с досадой — *vastama meelehärmiga*).

С предлогом за — генитив + *järel(e)*, *järgi*, *taga*, *taha*, *tagant*; *ajal*, *tõttu*;

— партитив (пошел за мной — *läks minu järgi*; раздалось за окном — *kostis akna taga*; рассказал за обедом — *lõuna ajal jutustas*; следит за мной — *jälitab mind*).

ился перед штабом — *staabi ees rivistus*; перед глазами вста-

С предлогом перед — генитив + *ees*, *ette*, партитив (выстро-
ла — *silmade ette kerkis*; женился перед войной — *naise võtsin otse enne sõda*).

С предлогом между — генитив + *vahel* (стоять между сто-
лами — *seisma laudade vahel*).

С предлогом под — генитив + *all* (сидеть под деревом —
istuma puu all);

С предлогом над — генитив + *kohal*, *üle* (лететь над горо-
дом — *lendama linna kohal*, издеваться над другом — *irvitama sõbra üle*).

Подобное изучение словосочетаний необходимо проводить в студенческой аудитории.

Изучение русского языка в сопоставительном плане в эстонской аудитории осложняется тем, что эти языки входят в разные

языковые группы и не являются родственными языками. В русском и эстонском языках разные системы склонения. Четырнадцать падежам эстонского языка соответствует шесть русских падежей. В русском языке грамматические отношения и связи слов выражаются прежде всего формами слов — при помощи флексий. В образовании словосочетаний немаловажную роль играют в русском языке формы предложного управления. В эстонском языке предлогов гораздо меньше, имеется лишь несколько предлогов и послелогов, грамматические значения в эстонском языке выражаются при помощи падежных окончаний. Недаром одной падежной форме русского языка соответствует несколько падежей в эстонском языке.

При сопоставительном изучении языков возникает вопрос, из какого языка исходить при сопоставлении: из норм родного языка. По этому поводу было много споров, но в последнее время учителя или из норм изучаемого языка, т. е. русского. На это указывал еще проф. В. Чистяков: «При сравнительном анализе грамматических систем отправной точкой должна быть русская грамматика, а не грамматика родного языка, потому что здесь должны разрешаться вопросы усвоения учащимися русского языка. Поэтому из грамматики родного языка берутся не все факты и положения, а только те, которые так или иначе могут помочь усвоению соответствующих фактов грамматики русского языка».¹

Сопоставление одной падежной формы — творительного падежа — в русском языке с эстонским языком дает нам довольно пеструю картину.

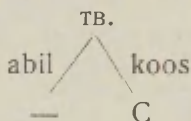
Сначала мы рассмотрели беспредложные глагольные словосочетания с различными значениями. Одна беспредложная форма — творительный падеж — в русском языке соответствует 8 падежным формам в эстонском языке. Каждый случай следует разбирать отдельно с русско-эстонскими примерами. Словосочетания необходимо брать в контексте.

Затем перейти к предложным конструкциям. Словосочетания берутся с каждым предлогом в отдельности и сопоставляются с эстонским языком. При переводе предложных конструкций с творительным падежом можно заметить, что различные русские конструкции с творительным падежом переводятся в большинстве случаев падежом генитив с послелогом, словосочетания с предлогом с с любым значением, как правило, переводятся падежом комитатив. Падежом комитатив переводятся и беспредложные глагольные конструкции с объектным значением. Здесь часто ошибаются не только школьники, но и студенты,

¹ В. Чистяков, Основы методики русского языка в нерусских школах, М.—Л., 1947, стр. 253.

т. к. в родном языке — эстонском — беспредложные и предложные конструкции с предлогом с переводятся одним падежом.

Навыки, приобретенные в школе, необходимо закрепить в аудитории. Студенты обычно не умеют правильно употреблять словосочетаний с предлогом и без предлога, например, творительный падеж с предлогом с и без него. Часто можно встретить такие ошибочные выражения: режет с ножом, рубит с топором. Здесь необходимо объяснить еще раз смысловую сторону этих словосочетаний: если можно употребить в эстонском языке слово *abil*, то управляемое слово называет орудие, при помощи которого (*mille abil*) производится действие, и предлог **с** тогда не употребляется; рубит (*mille abil?*) топором, режет (*mille abil?*) ножом. Но в словосочетании «идет с топором» **топор** как вспомогательное средство в действии участия не принимает, здесь можно употребить вспомогательное слово *koos*.



Для наглядности полезно привести примеры параллельно с предлогом с и без него.

Занимается спортом (чем?)

занимается с товарищем (с кем?)

играет цепочкой (чем?) (*mille abil?*)

играет с подругой (с кем?) (*koos kellega?*)

После аудиторных занятий рекомендуется самим студентам дома придумать аналогичные примеры.

Изучение русского языка в сопоставительном аспекте — залог успешных занятий среди нерусских.

Перечень сокращений.

Г. — М. Горький, «Мать».

Н. О. — Н. Островский, «Рожденные бурей».

Л. — М. Лермонтов, «Герой нашего времени».

Ш. — М. Шолохов, «Поднятая целина».

Т. — И. Тургенев, «Отцы и дети».

Т. Р. — И. Тургенев, «Рудин».

Т. Н. — И. Тургенев, «Накануне».

Л. Т. — Л. Толстой, «Воскресение».

К. — А. Куприн, «Молох».

«СОЧУВСТВЕННИК» А. Н. РАДИЩЕВА А. М. КУТУЗОВ И ЕГО ПИСЬМА К И. П. ТУРГЕНЕВУ.

Вступительная статья Ю. Лотмана, подготовка текста и примечания

В. В. Фурсенко

Личность и творчество А. М. Кутузова мало привлекали внимание дореволюционных исследователей русской литературы и общественной мысли. Имя его бегло упоминалось в общих работах, посвященных А. Н. Радищеву, Н. М. Карамзину, Н. И. Новикову, истории русского масонства. Несколько сводок материалов о Кутузове появилось еще до революции именно в связи с изучением его места в масонском кружке Н. И. Новикова.¹ Заданность аспекта, наряду с ограниченностью фактического материала, которым пользовался исследователь, определили неизбежную узость трактовки.

В советском литературоведении общественно-литературные связи А. М. Кутузова привлекали внимание исследователей. Рассматривались темы: «Радищев и Кутузов», «Новиков и Кутузов», «Карамзин и Кутузов». Однако общее значение А. М. Кутузова для русской литературы и общественной мысли остается недостаточно выясненным. К этому следует добавить, что некоторые существенные стороны освещения роли А. М. Кутузова в работах советских литературоведов, в частности и моих, представляются нуждающимися в существенном уточнении. Определение идейной позиции А. М. Кутузова, в значительной степени, зависит от оценки московского кружка Н. И. Новикова в 1780-х гг. Тема «Радищев и Кутузов» выступает, таким образом, как частный аспект такого существенного научного вопроса, как взаимоотношения Радищева и кружка Новикова. Наконец, следует иметь в виду, что без определения теоретической позиции одного из идеологов московского масонского кружка 1780-х гг. вряд ли удастся решить вопрос об отношении общественно-просветительной деятельности Новикова к русскому Просвещению XVIII века и декабризму.

* * *

Алексей Михайлович Кутузов был одноклассником Радищева (он родился в 1749 г.) и принадлежал к тому же общественному кругу, что и будущий автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Происходя из старинного, но разорившегося и измельчавшего рода, Кутузов был однако соединен проч-

¹ Е. Тарасов, К истории масонства в России. Забытый розенкрейцер А. М. Кутузов, Сб. статей, посвященный С. Ф. Платонову, СПб., 1911; Он же, Московское общество розенкрейцеров (Второстепенные деятели масонов), Сб.: «Масонство в его прошлом и настоящем», под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова, т. II, «Задруга», 1915.

ными семейными связями с верхушкой дворянского общества XVIII века. Это означало очень многое. Подобные связи обеспечивали получение выгодных мест в армии и при дворе на виду у начальства, облегчали продвижение по службе. Все это создавало возможность выдвижения с годами на самые высокие ступени государственной лестницы. Начало жизненного пути Радищева и Кутузова, казалось, сулило им именно такое будущее. Еще мальчиками они попали в Пажеский корпус — закрытое придворное учебное заведение, обещающее самые светлые перспективы служебного порядка. Окончив корпус, они были, в числе других, по личному выбору императрицы отправлены учиться в Лейпцигский университет. Все говорило о возможности быстрой и блестящей карьеры. Произошло иное. Связанные с детских лет крепкой дружбой, юноши вступили на путь, противопоставивший их и деспотическому правительству, и косной дворянской массе. Просветительские идеи XVIII века оказали на них мощное воздействие. Идеи энциклопедистов, пафос отрицания феодального общества, пронизывавший сочинения Руссо, гуманизм материалистической философии Гельвеция произвели на них глубокое впечатление. И хотя в дальнейшем Радищев и Кутузов пошли различными путями, они оба сохранили на всю жизнь отрицательное отношение к рационалистическому культу государственности, сенсуалистические основы мировоззрения, пафос защиты человеческой личности.

Среди увлекших их авторов особо следует отметить Мабли. Г.-Б. Мабли не принадлежал к числу наиболее последовательных материалистов, наподобие Гельвеция, или боевых демократов, вроде Руссо. Коммунистические идеалы его также были чужды молодым людям, чьи взгляды питались впечатлениями русской действительности XVIII века.² Интерес к Мабли показателен в другом смысле — он свидетельствует об определенном утопическом умонастроении — соединении критики феодальной действительности с размышлениями о возможных принципах построения справедливого общества. В дальнейшем, по мере углубления расхождения во взглядах, мечты о будущем облекались у Радищева и Кутузова в принципиально иные формы. Однако до конца своих дней Кутузов сохранял и критическое отношение к окружающему его обществу, и утопические мечтания о возможности преобразования жизненного порядка.

Сам Кутузов очень точно определил время своего идейного расхождения с Радищевым. В письме к Е. И. Голенищевой-Кутузовой он говорил: «Вы, думаю, слышались от меня о Радищеве, который был со мною вместе пажем, в Лейпциге и в сенате, с которым был я 14 лет в одной комнате. Нравы наши и характеры были довольно сходны, так что, взяв все сие вкупе, составило между нами довольно тесную дружбу. После 14 лет он женился. Покойная жена его смотрела на меня другими глазами, дружба моя к ея мужу казалась ей неприятною, а и того менее присутствие мое приносило ей удовольствия. Немудрено было мне заметить сие, равно как и неприятное положение моего друга, и для того, для сохранения их домашнего спокойствия и согласия, решился я расстаться с ними. Отъезд мой в армию подал мне пристойный к тому случай. Мы расстались совершенно, и сие продолжалось до самого того времени, как Недергоф приехал к нам в полк. С ним получил я первое письмо после нашей разлуки. С сего времени началась между нами переписка, и дружба наша возобновилась теснее, нежели когда-либо. Не взирая, что во время нашей разлуки образ наших мыслей сделался весьма различен, однако же мы спорили, но тем более друг друга любили, ибо оба видели ясно, что разность находилась в наших головах, а не в сердце. По отъезде моем из России переписка наша продолжалась по-прежнему».³

² О теме «Радищев и Мабли» см.: «XVIII век», т. III, М.—Л., изд. АН СССР, 1958.

³ Я. Л. Барсков, Переписка московских масонов XVIII-го века 1780—1790 гг., Пг., 1915, стр. 65.

Переписка Радищева и Кутузова, бесспорно, была одним из наиболее значительных памятников русской общественной мысли последней трети XVIII в. О характере этой переписки имеются два примечательных указания сыном Радищева. Н. А. Радищев свидетельствовал, что его отец «имел философическую переписку с другом и товарищем своим А. М. Кутузовым, одним из первых мартинистов. Кутузов желал привлечь в свое общество и друга своего, но Александр Николаевич никогда на то не соглашался, из чего произошла постранный переписка, которая могла бы составить важную книгу, но из сей переписки не осталось ничего».⁴ Другой сын писателя, П. А. Радищев, отмечая, что А. М. Кутузов «был лучшим другом Радищева и даже писал к нему в место его ссылки», сообщает, что Кутузов «сделался мартинистом и приглашал, но безуспешно, Радищева вступить в это общество, о чем у них была философическая переписка».⁵ Переписка Радищева и Кутузова до настоящего времени не найдена. Это не означает, что ее следует считать бесспорно утраченной. Прозоровский доносил Екатерине II 27 мая 1792 г.: «Также между бумаг Кутузова найдены письма преступника Радищева, из которых три показались мне достойными сведения Вашего императорского величества, то я оныя здесь и препровождаю».⁶ Это необычайно ценное свидетельство не привлекло внимания исследователей, однако, оно может служить путеводной нитью при поисках переписки Радищева и Кутузова. Характер полемики Радищева и Кутузова несколько раз рассматривался в исследовательской литературе. Мне уже приходилось останавливаться на противоположности философской позиции Кутузова и Радищева и отражении их полемики в произведениях Радищева до его ареста.⁷ Г. П. Макогоненко высказал предположение, что с этой же полемикой связано стихотворение «Ты хочешь знать, кто я...».⁸ Однако, хотя направление спора Радищева и Кутузова в настоящее время, в основном, определено, не все стороны этой проблемы можно считать убедительно раскрытыми. Остановимся, главным образом, на тех тезисах, кажущихся ныне неудовлетворительными, которые содержатся в моей работе 1950 года. Изучив идейную позицию Кутузова и убившись в ее противоположности воззрениям Радищева, я, видимо, справедливо, определил позицию Кутузова как дворянско-либеральную. Однако вывод о том, что либеральная позиция Кутузова и революционная Радищева находились по разные стороны баррикады, что борьба с дворянским либерализмом, его разоблачение и дискредитация принадлежала к основным задачам Радищева, представляется мне в настоящее время решительным преувеличением и смещением исторической перспективы. Рассмотрение этого вопроса тем более необходимо, что в последующих научных работах проявился тенденция к еще более упрощенной трактовке. Так, А. Старцев писал: «Идейная близость Радищева и Кутузова относится к домасонскому периоду Кутузова; в дальнейшем их отношения основываются главным образом на личной привязанности. Посвящая «Путешествие» Кутузову, Радищев не идет ни на какие идейные уступки другу. Как извест-

⁴ «Русская старина», 1872, стр. 579; Биография А. Н. Радищева, М.—Л., изд. АН СССР, 1959, стр. 43—44.

⁵ Биография А. Н. Радищева, стр. 54—55.

⁶ Д. И. Иловайский, Новые сведения о Н. И. Новикове и членах компании Типографической, Летописи русской литературы, 1863, т. V, отд. II, стр. 43; П. Пекарский, Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия, сб. ОРЯС, т. VII, № 4, 1869, стр. 213.

⁷ Ю. М. Лотман, Из истории литературно-общественной борьбы 80-х годов XVIII века (А. Н. Радищев и А. М. Кутузов), сб. «Радищев», Л., изд. ЛГУ, 1950.

⁸ Г. П. Макогоненко, Радищев и его время, М., Гослитиздат, 1956, стр. 335—336.

но, в «Путешествии» он зло высмеивает масонскую мистику».⁹ Более гибко решает этот вопрос Г. П. Макогоненко, который пробует определить линии не только расхождения, но и сближения Радищева и Кутузова. Вопрос этот не может быть решен без рассмотрения другого, тесно с ним связанного — оценки места московского масонского кружка 1780-х гг. в идейной жизни России тех лет. А это, в свою очередь, неизбежно приводит к Новикову.

Определение отношения Новикова и его кружка к процессам, протекавшим в русской общественной жизни, издавна занимало историков русской общественной мысли. И если реакционная часть литературоведов апологетизировала масонский период, противопоставляя его «сатирическому», то в либеральном литературоведении была распространена прямо противоположная концепция. Попытку осмыслить путь Новикова в единстве, сохранив общие предпосылки либеральной методологии, предпринял А. Н. Пыпин. Исходя из представления о том, что определяющим внутренним законом исторического процесса является борьба просвещения и невежества, он попытался в этом найти ключ к определению идеологических противоречий Новикова. Пыпин считает русское масонство 1780-х гг. прибежищем реакции и порождением невежества. «Люди с строгим логическим умом или владеющие точными знаниями не могли быть масонами мистического толка. Императрица Екатерина, по положительности своего ума, должна была не любить масонство, — хотя оно и не возбуждало в ней политических подозрений. С другой стороны, оно должно было быть популярно между умами, вышедшими из простого невежества, но еще мало воспитанными настоящей наукой. Условия русского общества XVIII-го века вполне способствовали успеху подобного направления. Образованность была еще слишком слаба <...> Сам Новиков не представляет исключения из числа людей, которые искали истины в масонстве, не имея возможности найти ее иным путем. Его собственное образование было скудно...»¹⁰ Либерально-буржуазная и консервативная наука начала XX века восприняла эту концепцию, хотя и отказалась от сочувствия, которое Пыпин высказывал распространению идей европейского Просвещения в России. А. Семяка, хотя и усматривал известную заслугу розенкрейцеров в защите идеализма и в том, что они противостояли «вольтерьянству», писал о розенкрейцестве: «Именно здесь раскрываются дикие нелепости «ордена злато-розового креста», и по ним можно судить о тех печальных результатах, к которым пришло русское масонское движение, вызванное живыми потребностями общественной мысли и запутавшееся в конце концов в дребнях магии и алхимии вследствие недостаточной подготовленности русского ума к восприятию истинной науки».¹¹

Марксистское литературоведение в борьбе с идеализацией масонства в буржуазной науке исходило из мысли о реакционности русского масонства и, в частности, кружка Новикова 1780-х гг. Г. В. Плеханов писал о розенкрейцерах как о «мрачной и свирепой реакции против просвещения XVIII века».¹² Следствием этого явилась и резко-отрицательная оценка деятельности Новикова в московский период. Я. Л. Барсков писал в 1933 г., что от Новикова «путь ведет, если не к Каткову и Победоносцеву, то, по крайней мере к «новым христианам» — к автору «Бесов» и К. Н. Леонтьеву <...> Радищев был пророком и предтечей революции, Новиков — реакции».¹³

⁹ А. Старцев, Университетские годы Радищева, М., Советский писатель, 1956, стр. 11.

¹⁰ А. Н. Пыпин, Русское масонство, XVIII и первая четверть XIX в., Пг., Изд. «Огни», 1916, стр. 198—199.

¹¹ А. В. Семяка, Русское масонство в XVIII в., Сб. «Масонство в его прошлом и настоящем», Изд. «Задруга», 1914, т. I, стр. 167.

¹² Г. В. Плеханов, История русской общественной мысли (1—3 главы из 4 тома), Посмертное изд., 1919, стр. 79.

¹³ Я. Л. Барсков, Литературное наследство А. Н. Радищева и Н. И. Новикова, «Литературное наследство», т. 9—10, М., 1933, стр. 344.

Утверждение это вопиюще несправедливо и не могло вызвать сочувствия исследователей. Как реакция на это и подобные ему утверждения явилась концепция Г. П. Макогоненко. Собрав обширный материал, Г. П. Макогоненко пришел к созданию стройной концепции, основные выводы которой можно изложить следующим образом: масонство XVIII в. — проявление маховой реакции, и Новиков не разделял его идейно-тактических установок. Масоны были противниками издательской (просветительской) программы и филантропической деятельности Новикова, в частности — помощи голодающим крестьянам. Все эти действия Новиков осуществлял в борьбе с масонами и, особенно, с руководством русских розенкрейцеров. Вхождение Новикова в масонские организации Г. П. Макогоненко склонен объяснять чисто тактическими соображениями, стремлением получить в свои руки денежные суммы, расходовать которые Новиков собирался совсем не на те цели, которые ставили перед собой руководители и члены ордена. Факты разногласий и споров внутри кружка московских розенкрейцеров Г. П. Макогоненко склонен толковать не только как свидетельство отсутствия единства в этом кружке, но и как доказательство борьбы в нем социально и политически враждебных сил. Борьба с масонством становится, согласно Г. П. Макогоненко, одной из основных целей Новикова.

Главным опровержением концепции Г. П. Макогоненко является то, что, осветив ряд интересных фактов, на которые история литературы прежде не обращала внимания, это построение игнорирует или излишне свободно интерпретирует широкий круг материалов, событий и идей. В результате историческая перспектива оказывается смещенной. Полезно будет напомнить слова Г. В. Плеханова, весьма аргументированно выступившего в свое время против попыток Незеленова идейно противопоставить Новикова и русское масонское движение и против Тукалевского, противопоставлявшего Новикова и Шварца. Г. В. Плеханов писал: «Проф. Незеленов сам видел, что есть много фактов, не оставляющих никакого сомнения в «настоящем масонстве» Новикова, но он утверждал, что все они относятся к тому времени, когда тот уже перестал издавать свои журналы <...> Хорошо ли справился проф. Незеленов с хронологией? Плохо! Цитированное мною выше письмо к А. А. Ржевскому,¹⁴ выражающее радость Новикова по поводу того, что московские масоны, «по незаслуженному их счастью», получили возможность «обнять небесный и чистый и натуру человеческую оживляющий запах ордена», относится к февралю 1783 года, т. е. ко времени, предшествовавшему появлению «Покоящегося Трудолюбца». Одного этого достаточно было бы, чтобы, подобно карточному домику, рассыпалось все искусственное построение проф. Незеленова». И далее: «Г. Тукалевский не повторил ошибки проф. Незеленова, слишком плохо разобравшегося в хронологии душевных переживаний Новикова. Однако, он сделал — другую, не менее, если не более, важную. Он ошибочно истолковал мистический взгляд Новикова и неосновательно

¹⁴ Имеется в виду письмо от 14 февраля 1783 г., в котором Новиков следующим образом характеризовал свое отношение к розенкрейцеству: «...советы, объяснения, наставления, откровенность и чистосердечие, ревность и пламенное желание доставить благо нашему отечеству, чуждая всякого корыстолюбия братская любовь нашего любезнейшего бр. ордена Ивана Григорьевича Шварца и также подлинные орденские документы в руках его находящиеся, дали им узреть орден в истинном его красотою все превосходящем виде, а наконец по не заслуженному их щастию, удостоились они превышающего и самыя величайшия награждения орденския объятия и благословения; они обоняют уже небесный и чистый и натуру человеческую оживляющий запах ордена; позволили уже им утолять жажду их к познаниям из источника Едемского, изобильно и непрестанно протекающего от начала веков во все четыре конца вселенныя» (Я. Л. Барсков, Переписка московских масонов, стр. 243).

противопоставил его мистическому взгляду других розенкрейцеров <...> Тут перед нами — опять совершенно искусственное построение».¹⁵

Речь идет не о том, чтобы перечеркнуть многочисленные и плодотворные разыскания Г. П. Макогоненко в этой области. Однако его тезис об антимасонской, враждебной мистицизму позиции Новикова в московский период деятельности опровергается многочисленными фактами. Он столь же нуждается в пересмотре, как и мое утверждение о том, что именно дворянские либералы (в частности масоны) были в 1780—1790-е гг. главными и наиболее гибкими защитниками существующего строя, одними из основных противников А. Н. Радищева.

Выход не в том, чтобы забыть или смазать (там, где речь идет о фактах, а не об исследовательских aberrациях) накопленные данные о внутренних противоречиях розенкрейцеровского движения и о реальных отличиях позиции Новикова от его сотоварищей по ордену, равно как и не в том, чтобы предать забвению изученные уже материалы о многолетней полемике Радищева с масонскими «бредоумствованиями». Однако историк, желающий познать изучаемый им материал во всей его сложности, должен подвергнуть изучению вопрос: почему же Новиков, при всем отличии его позиции, при настороженности его отношения к некоторым сторонам масонства, при нарастающем недоверии к некоторым «братьям» — например, к Шредеру — вступает в орден, становится одним из руководителей движения и (это бесспорно вытекает из рассмотрения его писем последнего периода) до конца дней продолжает считать себя розенкрейцером, отнюдь не относясь к своему участию в этой разновидности масонства как к мимолетному эпизоду или заблуждению? Почему Радищев, спорящий с масонами, полемизирующий с их философией и считающий принципы, исповедуемые его другом розенкрейцером А. М. Кутузовым — заблуждениями, все же не теряет надежды привлечь своих идейных противников на свою сторону? Факт посвящения «Жития Федора Васильевича Ушакова» и «Путешествия из Петербурга в Москву» А. М. Кутузову не может быть объяснен лишь сочетанием личной привязанности и желания вступить в полемику. Радищев смотрел на свои произведения не как на литературные упражнения, которыми писатель волен распорядиться по своему усмотрению, а как на осуществление высокого гражданского долга, исполнить который необходимо, даже ясно сознавая ту цену, которую придется за это заплатить. При взгляде на труд писателя как на подвиг гражданина, влекущий за собой неизбежную месть тирана, посвящение книги становилось делом такой гражданской ответственности, что вопросы чисто личного расположения не могли играть здесь определяющей роли. Радищев пронизал посвящение «Путешествия» полемикой с воззрениями Кутузова, в первых же строках подчеркнул: «Мнения мои о вещах различествуют с твоими». Однако не следует забывать и слов: «Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, О! сочувственный мой, посвящено да будет <...> сердце Твое бьет моему согласно — и ты мой друг».

Поставленные в начале книги, слова эти не могли восприниматься читателем иначе, как определенная идейная декларация. Любопытно, что ту же формулу: различие в умах и близость сердец — использовал и Кутузов, говоря о Радищеве в цитированном выше письме Голенищевой-Кутузовой: «Разность находилась в наших головах, а не в сердце». Это не случайное словесное совпадение. Подобная антитеза разума и чувства вырастала на общей основе сенсуалистической философии, противопоставленной культуре рационализма. Ср. высказывание Пестеля, зафиксированное в дневнике Пушкина: «*Mon coeur est materialiste, mais ma raison s'y refuse.*»¹⁶

Конечно, философское содержание, которое вкладывают Радищев и Кутузов в отношение чувства и ума, отлично. Отличие это — разница в позиции сенсуалиста-материалиста и сенсуалиста-агностика, позже мистика. Для Ради-

¹⁵ Г. В. Плеханов, цит. изд., стр. 136—137.

¹⁶ Пушкин, Полн. собр. соч., т. XII, изд. АН СССР, 1949, стр. 303.

шева это разница в ступенях познания: «по системе Гельвецевой», «разум идет чувствованиям в след».¹⁷ Точка зрения Кутузова близка к Новикову, писавшему в начале XIX в. Руничу: «Войдите не разумом, но сердцем в горестное мое состояние: оно иное скажет, нежели разум».¹⁸ Однако в любом случае это выражение нельзя истолковать как простую антитезу личной дружбы и убеждений. Речь идет о другом: часть представлений, определяемая эмоциями, предметы любви и ненависти — совпадают. Но идеи, вырастающие на основе этих эмоций, теории, убеждения, — расходятся. А это позволяет Радищеву надеяться на то, что, по удачному выражению Г. П. Макогоненко, «из „сочувственника“ можно было воспитать союзника и единомышленника».¹⁹ Со своей стороны и Кутузов, как свидетельствуют сыновья Радищева, не терял надежды на идейное перевоспитание Радищева и вовлечение его в круг единомышленников масонского кружка Новикова 1780-х гг. Однако и Радищев и Кутузов настолько хорошо знали друг друга и разбирались в идейной жизни своей эпохи, что им невозможно приписать наивную надежду на обращение революционного мыслителя в махового реакционера или, наоборот, на превращение идеолога мракобесия в деятельного защитника народа. Истолкование позиции московского масонского кружка как мракобесно-реакционной спутывает всю исторически-реальную картину и делает необъяснимым ни роль в этом кружке Новикова, ни его широкую просветительную деятельность в эти годы, ни сложную диалектику взаимоотношений Радищева и Кутузова. Следует напомнить, что в этих отношениях речь шла совсем не о привычном поддержании детской дружбы. Кутузов точно свидетельствовал об охлаждении и затем о возобновлении дружеских отношений, причем именно в те годы, когда Радищев окончательно формировал свое революционное, а Кутузов — свое масонское мировоззрение. Именно эти годы определили сложность их отношений: сознание нарастающего идейного разрыва и усиления взаимного притяжения: «Мы спорили, но тем более друг друга любили».²⁰

В сознание такого тонкого и внимательного наблюдателя, как Пушкин, знавшего еще лично многих деятелей русского масонства XVIII века, движение это не вошло под знаком реакции. Он писал: «Мы еще застали несколько стариков, принадлежавших этому полуполитическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философского вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия, ярко отличали их от поколения, которому они принадлежали <...> Нельзя отрицать, чтобы многие из них не принадлежали к числу недовольных; но их недоброжелательство ограничивалось брюзгливым порицанием настоящего, невинными надеждами на будущее и двусмысленными тостами на франмасонских ужинах».²¹ Нельзя не остановиться на источнике этих сведений. Пушкин, вероятно, знал лично не одного из русских масонов XVIII в., но в данном случае он, конечно, имел, в первую очередь, в виду генерала Тучкова, своего собрата по ложе «Овидий» в Кишиневе и соратника Радищева по Дружескому литературному обществу, тесно связанного в годы молодости и с кружком Новикова. Характеристика Пушкина, как всегда, точна. Он выделил следующие элементы: стремление к мирным средствам, недовольство настоящим и утопическую надежду на преобразование человеческого общества на братских началах.

¹⁷ А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. III, М.—Л., Изд. АН СССР, 1952, стр. 346.

¹⁸ Письма Н. И. Новикова к Д. П. Руничу, «Русский архив», 1871, № 7—8, стр. 1040.

¹⁹ Г. П. Макогоненко, Радищев и его время, М., Гослитиздат, 1956, стр. 334.

²⁰ Я. Л. Барсков, Переписка московских масонов XVIII века, стр. 65.

²¹ Пушкин, Полн. собр. соч., т. XII, изд. АН СССР, 1949.

Та сторона позиции масонов, на которую обратил внимание Пушкин — их социальный утопизм — привлекала и советских исследователей. Г. А. Гуковский писал: «В формах мистики они создали утопию о прекрасной стране верующих и счастливых людей, управляемой святыми людьми только по законам масонской религии, без бюрократии, подьячих, полицейщины, вельмож, произвола, разврата власти. В своих книгах они проповедовали эту утопию как свою программу; в их государстве исчезнет нужда, не будет ни наемников, ни рабов, ни налогов; все будут учиться и жить мирно и возвышенно. Для этого нужно, чтобы все стали масонами и очистились от скверны. В будущем масонском раю не будет ни церкви, ни законов, а будет свободное объединение хороших людей, верующих в бога, кто как хочет».²²

Неприятие действительности и стремление к гармонически-прекрасному будущему роднили новиковский масонский кружок со всем прогрессивным лагерем русской общественной мысли XVIII века. Философский идеализм, боязнь революции, сами конкретные формы, в которых выражались утопические идеалы масонов, отгораживали их от этого лагеря.

Масонские идеалы кружка Новикова-Кутузова проделали определенную эволюцию. И сами масоны, и их исследователи замечали, что в 1870-е гг. (вернее, к концу первого пятилетия) в истории русского масонства произошел перелом. Либерально-буржуазная наука весьма благосклонно относилась к первому периоду, когда русские масоны удовлетворялись низшими степенями и главное внимание уделяли морализации и самоусовершенствованию. Второй, собственно розенкрейцерский, период оценивался обычно отрицательно. В нем видели лишь увлечение алхимией, поисками гомункула, мистицизмом. В лучшем случае, в русских розенкрейцерах этого периода видели доверчивых жертв шарлатанства и политических интриг берлинских «братьев». Однако исторически вопрос был значительно усложнен тем, что именно на этот, второй, период приходится та наибольшая общественная активность, которая и сделала деятельность Новикова вехой в истории русской общественной мысли.

На первом этапе мистические настроения не ощущаются еще столь резко, но зато нет и ярко выраженной общественной окрашенности. Масонская доктрина выглядит, в приблизительных очертаниях, следующим образом: человек черпает свои знания из данных чувственного опыта, но сам этот опыт субъективен и ведет не к истине, а к заблуждению. Убеждение в релятивности истины подрывает веру в возможность разумного переустройства общества по заранее намеченному рациональному плану. Масоны убеждены в том, что окружающий мир исполнен зла и неразумия, но выход видят не в борьбе за общественные перемены, а в самоусовершенствовании и самоочищении. Путь, идти по которому призывают масонские теоретики этих лет, окрашен в тона индивидуализма; борьбе за изменение общества противопоставляется самоперевоспитание врожденно злой человеческой личности, каждой в отдельности.

Обстановка 1780-х гг. — времени после восстания Пугачева, времени резкого обострения социальных конфликтов в России и Европе — толкала к общественной активности. Ошибочно было бы думать, что отрицательное отношение Новикова к окружающей его русской действительности контрастировало с настроениями его соратников по московскому кружку, якобы, проникнутых благонамеренным благодушием и верой в неизменность и справедливость русских порядков. Для доказательства этого тезиса обычно приводятся цитаты из писем московских масонов, опубликованных Я. Л. Барсковым и содержащих осуждение книги Радищева и французской революции. При этом забывают, что все обычно приводимые цитаты извлекаются из писем периода, когда московский кружок масонов уже был под ударом. Письма эти специально отправлялись по почте (масоны знали, что их письма читают-

²² Г. А. Гуковский, Русская литература XVIII века, М., 1939, стр. 296.

ся) в расчете на то, чтобы убедить власти в лояльности авторов и их корреспондентов. Осторожный историк-источниковед будет рассматривать эти документы не в ряду освещающих мировоззрение масонов, а изучая тактику их самозащиты в момент, непосредственно предшествующий разгрому ордена. Московские масоны действительно не сочувствовали никакой революции, в том числе и французской. Однако, если всех, кто был в 1790—92 гг. противником французской революции, отнести в лагерь реакции, картина получится явно смещенная. Не будучи поклонником революционных методов, Кутузов явно не одобрял деспотизма, склоняясь к программе умеренного конституционализма. Даже в письмах, писанных осенью 1790 г. и отмеченных особой заботой отвести подозрение в сочувствии Радищеву, Кутузов не всегда выдерживал принятый на себя тон: «Горе земле, в которой подчиненные, начальники и судьи, а не законы управляют гражданами и делами! Всякий из них почитает себя мудрецом высшей степени; и кто же не ласкается сим названием, всякий приносит свое умствование, из сего происходит исполнение российской старинной пословицы: «у семи нянек дитя без глазу». Коль скоро позволяется человеку судить о намерениях человека и догадки свои равнять действительному деянию, толь скоро исчезает личная безопасность, ослабевает доверенность законов, да и сами законы теряют свою силу. Граждане соделываются нерешительными, твердость и мужество уступают место робости и ползающему духу, правда и праводущие отступают от сердец наших; коварство, хитрость и лукавство воздымают смело главу свою, попирая все своими мерзкими ногами, истребляя все добродетели, все похвальное и великое, которое делает человека человеком; отечество наше становится нам чуждо, ибо соделывается жилищем нашего душевного мучения».²³ И хотя это то самое письмо, в котором Кутузов, частично в расчете на перлюстрацию, частично выражая искреннее убеждение, аффектировал неприятие революции, называя Мирабо чудовищем и угверждая, что «христианин и возмутитель против власти, от бога установленные, есть совершенное противоречие», осуждение революции не отменяет его твердого упования на законы. Даже отмежевываясь, в данном случае уже явно имея в виду постороннего читателя, от Радищева и его книги, он не может забыть о любимой идее твердых законов как защиты гражданина: «Признаюсь, я люблю вольность, сердце мое трепещет от радости при слове сем; но при всем том уверен, что истинная вольность состоит в повиновении законам, а не нарушении оных.»²⁴

Это подчеркивание необходимости законов могло быть повернуто и против революционной проповеди Радищева, и против беззаконного деспотизма власти. В письме А. И. Плещеевой от 4/15 марта 1791 г. он не удержался, чтобы, завуалировав смысл слов шуткой, не вернуться к волновавшей его теме и ссылкой на «Наказ» подчеркнуть беззаконность готовящейся расправы с масонами. «„Без суда никто да не будет наказан“. Правда, иногда господа судьи, особливо полицейские, и преступают закон сей; нередко наказав уже довольно жестоко, начинают исследование: наказанный заслужил ли быть наказан».²⁵

Насколько глубокой была для Кутузова мысль о связи твердых законов и любви к отечеству, видно из того, что он одно время собирался написать «Философское исследование» о причинах ослабления любви к отечеству в россиянах.

Столкнувшись с перлюстрацией, Кутузов был возмущен именно тем, что увидел в ней акт произвола властей. Он писал брату: «Известно мне, что следуя нынешней политике, господа почтмейстеры присвоили себе право читать переписку людей частных».²⁶ Беззаконие настолько оскорбило Куту-

²³ Я. Л. Барсков, Переписка московских масонов XVIII-го века, стр. 31—32.

²⁴ Там же, стр. 22.

²⁵ Там же, стр. 99.

²⁶ Там же, стр. 101.

зова, что в письме, посланном «через необыкновенные каналы», он даже одобрил закон, гарантирующий тайну переписки, принятый в революционной Франции. «Я не смею говорить откровенно, ибо письма подвержены любопытству подлецов, жаждущих читать оныя; нет еще у нас святого закона, установленного ныне во Франции: министр, обличенный, что он повелел распечатывать письма, наказывается сосланием на галеры, а исполняющие его приказание осуждаются к столбу».²⁷ И снова «святой закон» как гарантия прав человека. Кутузову, конечно, чуждо радищевское понимание закона («предписание <...> закона положительного не иное что быть должно, как безбедное употребление прав естественных»). Для Кутузова закон — система вечных юридических норм, долженствующих упорядочить хаос противоречивых желаний человеческих индивидуумов, из которых каждый исполнен эгоизма и антиобщественных побуждений; закон гарантирует человека от эгоизма других людей, дикости народа и деспотизма власти.

1780-е гг. были временем быстрого общественного подъема. Атмосфера в стране и за ее пределами накалялась. Участники новиковского кружка это ясно чувствовали. Они все более остро ошутили трагическую конфликтность переживаемого исторического момента. Опасаясь и взрыва народного негодования, и деспотизма императрицы, они искренне хотели бы искоренить общественное зло мирным путем. Мысль о необходимости предпринять какие-то решительные действия, которые улучшили бы положение народа и предотвратили общественный взрыв, получала все большую определенность. Это подразумевало и обличение зла, господствующего в мире, следовательно — критику современности. Так, неизвестный автор, хорошо осведомленный в делах московских масонов, писал о лекциях Шварца: «Сила, с которою он говорил, смелость (скажу даже безрассудная дерзость), с которой он, не взирая ни на что, бичевал политические и духовные злоупотребления, были удивительны».²⁸

Стремление ряда исследователей противопоставить издательско-филантропическую деятельность кружка мистико-алхимическим увлечениям, к сожалению, не подтверждается фактами. Г. П. Макогоненко склонен истолковать помощь Новикова крестьянам как акцию, не зависящую от настроений всего кружка его единомышленников и сотрудников и даже чуждую масонству. Это — якобы, результат «личной инициативы Новикова». «Организованная Новиковым помощь голодающим крестьянам бесконечно далека от теоретических уставных правил масонства и тем более от его практики: она носила принципиально общественный характер. Больше того, как уже мы знаем, она явилась прямым исполнением крестьянских наказов, привезенных депутатами в Комиссию по Уложению и попавших в руки Новикова».²⁹

Конечно, нет никакой надобности преуменьшать роль Новикова как вдохновителя и организатора, «души» всех общественных мероприятий знаменитого «новиковского десятилетия». Однако неосторожно говорить об антимасонском характере тех мероприятий, связь которых с идеями московского кружка подтверждается документально. Еще в 1783 г. в программном документе московского масонского кружка, книге «Хризомандер», переведенной А. Петровым под редакторским контролем и наблюдением А. М. Кутузова — в той самой книге, в которой исследователи не увидели ничего, кроме алхимических «бредоумствований» — был изложен точный план мероприятий, осуществленных Новиковым в голодные годы. Здесь находим широкий план утопических реформ: сокращение на треть налогов, осушение болот и передача полученных в результате земель беднякам. Среди других пунктов читаем: «Заведи большое количество хлебных магазинов; наполняй их в бла-

²⁷ Там же, стр. 114.

²⁸ Письмо неизвестного о московском масонстве XVIII в., «Русский архив», 1874, стр. 1035.

²⁹ Г. П. Макогоненко, Николай Новиков и русское просвещение XVIII века, М.—Л., Гослитиздат, 1951, стр. 411 и 409.

гословенные годы, а во время голода разделяй паки по неимущим».³⁰ Конечно, Новиков не был послушным орудием. Соединяя в себе фантаста-утописта и практика-организатора, он умел отвлеченными идеями, которые для других часто бывали лишь платоническим кабинетным мечтанием или неосознанно-лукавой формой примирения совести и действительности, придавать черты реального, широко и умело поставленного общественного дела. Однако отрывать Новикова-практика от Новикова-социального утописта значит совершать насилие над фактами.

В связи с рассмотрением «утопизма» розенкрейцеров следует остановиться на алхимических увлечениях. Обычное представление об алхимии как синониме мракобесия неточно. В интересе к алхимии, вспыхнувшем в определенных кругах европейского общества конца XVIII века, смешались и мракобесное отрицание науки, и откровенное шарлатанство, и социальный утопизм, мечты о мгновенном и безболезненном решении всех общественных конфликтов. Сажая Фауста за алхимические опыты или вводя во вторую часть трагедии гомункула, жадно искомого масонами, Гете, человек с всеобъемлющим для своего времени научным кругозором совсем не хотел представить героя невеждой или шарлатаном. Напомним и то, что авторитетом при «химических опытах» масонов был Парацельсий, связанный с плебейскими настроениями Германии XVI в., стремившийся набросать «религиозно-утопическую картину будущего».³¹

В русском масонстве 1780-х гг. алхимические опыты не занимали сколько-либо значительного места, хотя Новиков в последний период, видимо, ими увлекался. Кутузов, посланный в Берлин приобщиться к алхимическим знаниям, выполнял приказ руководителей московского центра с видимой неохотой.

Изучение материалов позволяет утверждать, что «химические опыты» московских масонов XVIII века были неразрывно связаны с идеями общественно-утопического характера. В переходе от «самоусовершенствования» как основного «дела» к сокровенным наукам — тоже определенный этап в развитии дворянского либерального утопизма XVIII века.

Мироощущение либерального дворянского идеолога было пронизано катастрофизмом. В нем соединялось сознание нетерлимости существующего, невозможности его дальнейшего сохранения и острая боязнь революции и народных движений. Необычайно ярко эти настроения отразились в программной статье: «Историческое известие об упомянутых старинных чинах в России», опубликованной в т. XX второго издания «Древней Российской Вивлиофики». Автором ее, по мнению Я. Л. Барскова, был Новиков.³² К этому мнению присоединился и Фридрих в своей работе о книгоиздательской деятельности

³⁰ Хризомандер, аллегорическая и сатирическая повесть различного весьма важного содержания, М., в вольной типографии И. Лопухина, 1783, стр. 262—263. Связь практической филантропии Новикова с идеями кружка Кутузова, отразившимися в «Хризомандере», а также и социально-утопический характер этих идей в свое время отметил Г. В. Вернадский, писавший: «Новиков применил здесь на практике то, что прежде высказано было в его изданиях — «Хризомандере» и «Истине религии» (Г. В. Вернадский, Русское масонство в царствование Екатерины II, Пг., 1917, стр. 202). Последующие исследователи прошли мимо этого указания. Солидарность Новикова с программой «Хризомандера» подтверждается и тем фактом, что одновременно с изданием книги в типографии И. В. Лопухина она же (или часть тиража, возможно, только титульный лист?) была перепечатана в университетской типографии «иждивением Н. Новикова».

³¹ I. Boeckh, G. Albrecht, K. Böttcher, K. Gysi, P. Krohn, Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart, B. IV (von 1480 bis 1600), Berlin, 1960, S. 326.

³² Рукоп. отдел Всесоюзной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Архив Барскова (БРСК), XVI, л. 10.

Новикова. Как бы ни решался этот вопрос, однако, не вызывает сомнений, что, публикуя эту статью, имеющую принципиальное значение, Новиков разделяет ее основные положения. В этой статье необходимость введения крепостного права объяснялась следующим образом: «Вольность крестьян, толиками смятениями и неустойствами отягощавшая государство, далека ли была от того, чтобы преобразить грубых сих людей в мятежных и непослушных? Мы с ужасом читаем о следствиях, какие происходили от них в таковые времена, когда они выходили из подчинения. В половине XIV в. испытала сие особливо Франция, когда крестьяне, вышед из подчинения, всех дворян, попадавших им на глаза, жестокими мучениями умерщвляли <...> вешали, казнили и сжигали, и никто не уверен был о жизни своей ни на один день; сражались по улицам, в церквах, в домах, в поле, а таковых бедственных примеров от излишней вольности и во всех странах было множество, доводивших государство до края гибели.³³ Нынешняя мечтательная во Франции вольность коликня бедствия производит, то всем известно». Далее автор вступает в спор с Руссо, противопоставляя идее врожденно доброго, но извращаемого в обществе человека мысль о коренной испорченности людей, постепенно исправляемых путем просвещения. «Многие, на сем вольности пункте останавливаясь, заблуждают, выводя права человека из первобытного состояния природы и из того заключают, что все люди рождаются вольными и равными. Надо быть слепу тому, кто в первобытном состоянии природы не усматривает превозмогательной власти, насилий, похищений и преступлений, как обыкновенных следствий неподчиненности. *Оставить первобытную свободу буйной черни есть то же, что пустить буйных медведей между людьми*».³⁴

Исходя из этого, автор оправдывает введение крепостного права в России: «Правительство российское благоразумно рассудило многочисленное сие в государстве сословие людей грубых, непросвещенных и готовых на всякое буйство, обуздать привязанием их к земле».³⁵

Из этого отнюдь не вытекает, что автор является поклонником крепостного права или даже, рассчитывая на его прочность, считает крестьянский вопрос решенным окончательно. Он очень остро чувствовал тяжесть крепостной зависимости и считал ее вынужденным, а не идеальным состоянием человечества. Как только врожденно злая природа человека преобразится в прекрасную и гармоническую, потребность в насильственном ограничении свободы народа отпадает: «Впрочем все вышеприведенные причины, побудившие правительство привязать крестьян наших к земле и чрез то сделавшие самовластными помещиков над их свободой, необходимы были в отношении только к закоренелой грубости и малого о вещах понятия крестьян, не могущих благом свободы воспользоваться без вреда своего и общего, каковые причины остаются еще и поныне, но отыми сию у крестьян грубость, просвети души их, наставь их уметь употреблять свободу свою в пользу, как их собственную, так и государственную, тогда все сказанные причины сами собою упряднятся».³⁶

У этого положения было несколько граней. Одна из них подразумевала мысль о том, что помещики имеют право лишь на ту власть, которая служит пользе самих крестьян, и не имеют права на угнетение: «Правительство, дав помещикам над ними большую прежнего власть, отнюдь не представляло

³³ Ср. у Фонвизина: «Государство <...>, которое мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся, никем не предводимый, может привести, так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели». (Д. И. Фонвизин, Собр. соч., т. II, М.—Л. Гослитиздат, 1959, стр. 265).

³⁴ Древняя Российская Вивлиофика, ч. XX, изд. 2-е, М., 1791, стр. 265—267. Курс. мой — Ю. Л.

³⁵ Там же, стр. 267.

³⁶ Там же, стр. 270.

себе, чтобы могли из них сыскаться такие изверги, которые бы, забыв человечество, захотели собственных своих крестьян разорять и утешаться их бедностью и слезами <...> Всего же менее предполагать оно могло, чтоб жестокость помещиков над собственными их крестьянами до того когда-либо простерти я могли, чтоб они захотели торговать ими как скотом и разлучая детей с отцами и матерями, мужей с женами, родом и племенем! Не могло оно отнюдь предвидеть того зверства».³⁷

Итак, созданное для борьбы с эгоизмом необразованных крестьян, крепостное право сделалось орудием эгоизма помещиков. Оно становится источником зла и может вызвать бунт. Отменить же крепостное право — «пустить буйных медведей между людьми». Выход в том, чтоб изменить природу человека, а это можно сделать просвещением и самовоспитанием. Таким образом, задача широкого распространения просвещения в тех формах, которые удовлетворяли бы идеалам Новикова, не выходила за пределы масонских доктрин. И если у разных масонов было различное представление о главной сущности орденового «дела» и характер предприятий Новикова не всем мог представляться одинаково привлекательным, истолковывать их как антимасонские у нас нет достаточных оснований.

Однако путь борьбы со злой природой человека средствами самовоспитания и воспитания народа имел одну особенность — он был рассчитан на постепенный, вековой переход из мира существующего зла в мир утопического братства. Между тем время не позволяло медлить. Предвестия приближающихся социальных катаклизмов были все более явственными. Необходим был немедленный скачок из современного мира катастроф в царство утопии. Для этого необходимо было чудо, и нарастающая страсть масонов к чудесам и фантастике питалась противоречивым стремлением изменить жизнь и избежать того реального пути ее изменения, который созрел в недрах действительности. Предметом розенкрейцеровской «химии» стали те две фантастические идеи, которые приводили либеральных историков в недоумение — идеи гомункула и философского камня. Более чутко был Гете, который обе эти утопические попытки перескочить через противоречия современности ввел, разоблачив их иллюзорность, во вторую часть «Фауста». Гомункул — мечта о чистом и прекрасном человеке, который заменит отягощенного «животностью» реального человека:

«Нам говорят «безумец» и «фантаст»,
Но, выйдя из зависимости грустной,
С годами мозг мыслителя искусный
Мыслителя искусственно создаст».³⁸

Гомункул у Гете — фантазия, создание кабинетного ученого, он нереален, живет в колбе и разбивается в полете о престол Нерее. Но он гармоничен, и родина его — Эллада.

Привлекла внимание Гете и идея создания золота с помощью философского камня. В ажиотаже алхимии, охватившем Европу XVIII в., он прозорливо увидел коллизию, порожденную неспособностью феодального общества приспособиться к новым, проникающим в него отношениям. Он слил в одно — увлечение философским камнем и спекуляцию кредитными бумагами в духе аферы Ло.

Однако розенкрейцеровский интерес к золоту был продиктован не жаждой личного обогащения. Хризомандер — «король и государь Гемонских и Спардских гор и пространных, окрест оных лежащих, земель и островов», получив возможность при помощи Гипериона — искусственного, очищенного от зла и скверны человека — превращать все вещества в золото, восклицает:

³⁷ Там же, стр. 2717.

³⁸ Гете, Фауст, перевод Б. Пастернака, М., Гослитиздат, 1960, стр. 352.

«Много есть бедных и несчастных, которым малая частица желтой сея земли при умеренности их доставила бы великую выгоду»³⁹ На этом чудесном средстве розенкрейцеры основывали утопическую надежду преодолеть конфликт бедности и богатства.

Все здание идей и Кутузова, и позднего Новикова было противопоставлено системе убеждений Радищева. Но это не значит, что современники, в том числе и Радищев, усматривали в их взглядах проявление идей маховой реакции. Радищев полемизировал с их философским идеализмом, пониманием природы человека и общества, алхимическими «бредомумствованиями», но смотрел на них как на людей, стремящихся переделать общество на гармонических основаниях, однако, идущих к этой цели ошибочными и странными путями. Это и хотел Радищев выразить словами: «Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно». Конечно, само содержание положительных идеалов Кутузова и Радищева также резко расходилось. Однако, в условиях русской действительности конца XVIII века либеральное движение еще представляло тот резерв, на который, как справедливо указал в приведенной выше цитате Г. П. Макогоненко, Радищев еще мог рассчитывать как на союзника.

Для определения исторического места Новиковского кружка недостаточно рассматривать его в отношении к Радищеву. Необходимо соотнести его и с последующим, декабристским этапом. Вопрос этот очень глубоко и плодотворно поставлен в работе В. В. Пугачева.⁴⁰

Отношение собственно масонской стороны воззрений Новикова или Кутузова к декабристской идеологии весьма сложно. Прежде, чем решить эту проблему, необходимо остановиться на месте масонства внутри дворянско-либерального лагеря конца XVIII в. Московские масоны 1780-х гг. не были не только единственной, но даже и центральной группировкой в русском дворянском либерализме тех лет. Некогда, в конце 1760-х — начале 1770-х гг., Новиков и Фонвизин выступали единым фронтом. Во вторую половину 1780-х гг. пути их значительно разошлись: Фонвизин считал основной задачей достижение политической свободы. Решение политических проблем (введение конституции) должно было, по его представлению, предшествовать социальным преобразованиям. Соответственно определялись и формы политической тактики: создание конституционных проектов и давление на государя (в данном случае на наследника) со стороны свободолюбивых и просвещенных граждан.

Система убеждений Новиковского кружка была иной: они стремились изменить человека и общество и совершенно равнодушны были к вопросам политической борьбы. Конституционализм, которому симпатизировали и Кутузов, и Новиков, не был для них целью деятельности. Они стремились не к политическим реформам, а к утверждению на земле гармонического общества. Масонство разработало специфические формы тактики — широкую пропаганду просвещения и общественной филантропии, с одной стороны, и узкий, многоступенчатый, строго законспирированный заговор, с другой стороны. Сложное усвоение некоторых сторон масонской тактики ранними декабристскими организациями сопровождалось преодолением политического индифферентизма масонов.

Мы видим, что обе разновидности либерального движения XVIII в. оп-

³⁹ Хризомандер, аллегорическая и сатирическая повесть различного весьма важного содержания, М., в вольной типографии И. Лопухина, 1783, стр. 257.

⁴⁰ В. В. Пугачев, Н. И. Новиков и декабристы, Ученые записки Горьковского гос. университета им. Н. И. Лобачевского, вып. 52, Серия историко-филологическая, Горький, 1961.

ределенным образом подготавливали декабризм. Однако для того, чтобы своеобразное явление дворянской революционности могло сложиться, необходимо было, чтобы дворянско-либеральные идеи XVIII века подверглись мощному «облучению» демократическими идеями в период с 1789 по 1812—15 годы.

Однако значение идей дворянского либерализма в конце XVIII в. не только в том, что они явились одним из истоков декабризма: они определили и ту дворянскую либеральную культуру, которая, развиваясь рядом с декабризмом и сложившись с ним взаимодействуя, сохраняла свою прогрессивность вплоть до окончания дворянского периода в русском освободительном движении, а в дальнейшем в некоторых ответвлениях проявляла тенденцию к сближению с крестьянско-патриархальной точкой зрения.

Публикуемые письма А. М. Кутузова к И. П. Тургеневу представляют многообразный исторический интерес. Они дополняют ранее публиковавшиеся письма деятелей кружка Новикова и во многом дополняют картину их взаимоотношений. Мы уже упоминали о значении переписки Радищева и Кутузова как памятника русской общественной мысли. Переписка эта не сохранилась, но о содержании ее мы можем догадываться по косвенным отражениям.

Так, например, в «Путешествии из Петербурга в Москву» приятель автора Крестьянкин, утверждая определяющую роль обстоятельств для поступков человека, говорит: «Если идушу мне, нападает на меня злодей, и вознесши над головой моей кинжал, возхочет меня им пронзить, убийцею ли я почтуса, если предупреджу его в злодеянии, и бездыханного его к ногам моим повергну». Напрашивается сравнение с аналогичным примером, который использует Кутузов в письме Тургеневу для обратного решения этого вопроса, — утверждения независимости поступков человека от окружающих его условий. Письмо написано в 1788 г., т. е. в то же время, когда происходила «философическая переписка» Кутузова с Радищевым, и вполне возможно, что подобный пример Кутузов использовал и в письме к последнему. «Одно происшествие, видимое различными особами, — писал Кутузов Тургеневу, — производит на них различные действия. Например, три человека, идущие прогуливаться, встречают двух злодеев, нападающих на одного прохожего, стараясь его лишить жизни и потом его ограбить». Описывая, что в то время, как один из гуляющих убежал, другой пребывал в нерешительности, а третий вступил в бой с грабителями, Кутузов делает вывод: «Не один ли предмет представился прогуливающимся? Не на всех ли трех действовал он посредством зрения? От чего же в них такое различие? От того, что они сами различны. Ежели не ошибаюсь, сей последний пример показывает нам ясно, как все, находящиеся вне нас предметы, суть по большей части невинны в том, что мы делаем, ибо действуют на нас не иначе, как сообразно собственному нашему состоянию».

Достаточно вспомнить содержание процитированной главы из «Путешествия», чтобы представить себе остроту радищевского разоблачения философии Кутузова. Привлекая абстрактно-философский пример последнего при рассуждении об ответственности крестьян за убийство своего помещика, Радищев показывал социально-политический смысл кутузовских построений как оправдание крепостнической практики. Если для Крестьянкина (а с ним и автора «Путешествия») невинность крестьян, убивших помещика, «была математическая ясность», т. к. действия их были обусловлены жестокостью «Ассессора», то, применяя принципы кутузовской философии, причину бунта крестьян следовало бы считать, по выражению одной из статей «Утреннего света», «врожденные простого народа худые склонности».

Наконец публикуемый материал содержит большое число ценных данных по истории культуры. Исследователю, занимающемуся биографией М. И. Голенищева-Кутузова, он также может быть полезен. История русской общественно-политической и военной мысли изучаются в неоправданном разрыве.

Письма Кутузова к Тургеневу позволяют установить определенные связи будущего великого полководца с Новиковским кружком. Небезынтересная деталь: поручения М. И. Кутузова по выписке журналов и газет выполнялись Н. И. Новиковым.

Публикуемые письма Кутузова к Тургеневу представляют, таким образом, многосторонний историко-философский, литературный и культурный интерес. Они помогают дорисовать облик А. М. Кутузова — сложный и противоречивый облик «сочувственника» Радищева, соратника Новикова и одного из видных деятелей либеральной дворянской оппозиции правительству Екатерины II. Путь его — путь человека, который начал как поклонник Гельвеция и кончил крайними формами мистицизма — был извилистым. Однако знать подлинное лицо того, кому посвящены «Путешествие из Петербурга в Москву» и «Житие Федора Васильевича Ушакова», необходимо, если мы хотим представить историю русской общественной мысли XVIII века во всей ее противоречивой полноте.

Публикуемые письма А. М. Кутузова И. П. Тургеневу хранятся в Тургеневском архиве ИРЛИ АН СССР (Пушкинского Дома), №№ ед. хр. 98 и 536. Первые упоминания о них как о ценном источнике по истории русской общественной мысли содержатся в статье Е. И. Тарасова (см. «Масонство в его прошлом и настоящем», изд. «Задруга», т. 1, стр. 273), но без какой-либо ссылки на место хранения. В дальнейшем следы их были затеряны. Перед Отечественной войной они были обнаружены вторично и подготовлены к печати В. В. Фурсенко, со смертью которого снова затерялись. В 1948 г. по поручению Г. А. Гуковского и Н. И. Мордовченко мной были предприняты розыски рукописи В. В. Фурсенко для готовившегося к печати очередного тома сб. «XVIII век». Рукопись была обнаружена в домашнем архиве покойного исследователя и сверена с подлинниками писем, однако, сборник издан не был. Тем не менее ценность этих документов заставляла исследователей прибегать к их использованию (см.: Г. П. Макогоненко, Радищев и его время, М., Гослитиздат, 1956, стр. 335—336, Ю. М. Лотман, Из истории литературно-общественной борьбы 80-х гг. XVIII века; А. Н. Радищев и А. М. Кутузов, сб. «Радищев», Л. изд. ЛГУ, 1950).

Василий Васильевич Фурсенко

Краткая биографическая справка.

В. В. Фурсенко родился в 1878 году в г. Симферополе в семье юриста.

Окончив в 1904 году историко-филологический факультет Петербургского Университета, занимался преподавательской, научной и литературной деятельностью.

Научно-исследовательскую работу В. В. Фурсенко начал еще студентом Университета. Начиная с 1902 г., по 1917 год им было напечатано до 40 статей и заметок в журналах «Исторический Вестник», «Журнал Министерства Народного Просвещения», в «Биографическом словаре Русского Исторического О-ва». Через всю свою жизнь В. В. Фурсенко пронес глубокий интерес и увлеченность историей. Больше всего его интересовала история русской дипломатии 18-го века.

Результатом его исследований явился большой научный труд «Деятельность русских дипломатов 18-го века при морских державах перед Ништадтским миром», за который ему была присвоена ученая степень кандидата исторических наук в 1940 г.

В. В. Фурсенко обладал большой эрудицией, знал 5 иностранных языков, в том числе латинский и греческий языки, что позволило ему возглавить кафедру иностранных языков в Ленинградском Химико-Фармацевтическом Институте с 1937 года и до конца своей жизни.

Им был сделан перевод с латинского языка книги А. Гумбольдта «Пролегомены» (ОГИЗ, 1936).

Великая Отечественная война с фашистской Германией застала В. В. Фурсенко в Ленинграде. Тяжелые лишения зимы 1941—42 гг. в блокированном Ленинграде подорвали его силы, и он умер в апреле 1942 г. в эшелоне во время эвакуации из Ленинграда.

ПИСЬМА
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА КУТУЗОВА
ИВАНУ ПЕТРОВИЧУ ТУРГЕНЕВУ.

№ 5 получено 1 Сентября*.
Из лагеря при реке Московке¹
1782 августа 14.

Любезный друг Иван Петрович!

Хотя я тебе ничего нового сказать не имею, но почтовой день пришел, сама рука моя примается за перо, водится им по бумаге и начертывает буквы и слова, в коих разум мой ни мало, может быть, не участвует. И так не дивись, любезный друг, естли в сем, так как и во многих письмах моих не найдешь никакой связи. Сердце мое управляет пером сим и так весьма естественно, что живо оно себя тут изображает. Сколь странны, нескладны и беспорядочны строки сии, столь же смешны и колеблющи сердечные движения мои. Я подобен теперь кораблю без кормила, который будучи в открытом море носится по изволению ветров: куды сильнее дует, туды и он направляет путь свой. Не отчаивайся о мне, любезный друг мой. Проснется, может быть, кормчий на корабле моем, исправит кормило и учнет управлять им. Пробудившись от долговременного сна, увидит он опасность в которой находился и, избавившись оной, тем осторожнее впредь будет. Время сие, может быть, не так далеко, как мы оба себе представляем. В прочем отдаюсь на волю всевышняго, да творит о мне что ему угодно. Нам надлежит говорить: «Да будет воля твоя, якоже на небеси и на земли». На сих днях был я болен. Болезнь моя была род горячки, и я принужден был пустить кровь. Теперь гораздо лучше, однакож чувствую, что болезнь сия отрывается. В сие то время чувствовал я весьма живо, сколь горестно лежать больным в таком месте, где не имеешь искренних приятелей, не говоря уже о друзьях. Ибо мне кажется, что таковые существа суть феномены в природе человеческой. Прости, любезный друг, пиши пожалуйста почаще. Я и по сие время одно письмо токмо получил от тебя. Я и Михаила Ларионович² просим тебя постараться велеть сделать, как можно поскорее кантины,³ очень большие, которые бы можно возить на верховой лошади. Деньги за сие возьми у кадета нашего Сухачева, который живет у Бибикова.⁴ С сим же кадетом и пришли их к нам. Война,⁵ по-видимому, неизбежна, и может быть, навеки разлучит меня с вами, но мы увидимся паки, дабы никогда уже более не разлучаться. Прости, любезный друг, не забывай меня. Милостивая государыня Катерина Семеновна,⁶ не прогневайтесь, что не пишу особливого письма. Право не смогу. Впрочем вы должны быть уверены в преданности и дружбе моей. Напоминать чаще И. П. о кантинах. Не забывайте при том и полотно.

<Адрес:> Милостивому государю Ивану Петровичу Его высокоблагородию Тургеневу, в Москве.

* Рукой И. П. Тургенева.

Любезный друг Иван Петрович!

Письмо твое, отправленное с нашим кадетом Сукачевым, я получил исправно. Прежде нежели приступить к ответу на оное, позволь мне сделать некоторые примечания или, лучше сказать, объясниться один раз навсегда, чтобы впредь между нами не могло уже быть никакого недоумения. В конце письма твоего кажется мне изъясляешь ты, какое-то опасение, будто мог я на тебя сердиться за сказанное тобою. Ах, любезный друг, ты не знаешь, что сия та самая осторожность представляется мне несколько обидною, а не дружеская беседа твоя. Самого тебя прошу, друг мой, скажи мне, что пользы будет в дружбе нашей, если мы один другому станем токмо ласкательствовать, превозносить себя взаимно похвалами и самые пороки наши называть добродетелями? Чем отличимся мы тогда от прочих льстецов, коими и без нас довольно уже свет сей наполнен? Как после сего возможем мы назваться истинными братьями? И не злодеями ль, да еще и опаснейшими один для другого зделаем? Вижу, вижу, друг мой, что ты не весьма хорошего мнения о мне. Такова уже участь моя: судят о мне не знаяши меня и судят по одним токмо догадкам. Узнай меня хорошенько: Я ласкаю себя надеждою, что мнение твое переменится. В обстоятельствах моих утешал я себя приятною мыслью, что имел друзей, с которыми могу говорить откровенно, и которые ни для каких видов не скроют от меня истинну, но всегда и при всех случаях предлагать мне оную желают. Мысль сия укрепляла дух мой; сердце хранило его от уныния, легко в отчаяние превратиться могущаго. А ты, любезный друг, на которого я столь надеюсь, и ты хочешь лишить меня последнего утешения сего. Ради Бога, кинь ложную и вредную осторожность сию. Право, она здесь не у места.

Ты знаешь, что я великой неприятель политики, а еще более ненавижу ее, когда она и в самое уже дружество мешаться хочет. Говори со мною прямо, как ты думаешь, да и от меня другого языка не надейся. Буду я сердиться за истинну? Плюнь на меня, презирай и скажи без всяких обиняков, что я недостоин твоей дружбы. Вот чего я требую от друга моего! Но довольно уже сего. Надеюсь, что впредь не будешь более употреблять осторожность сию.

Теперь начну ответствовать тебе на дружеское письмо твое.

(Если бы я тебя и менее знал нежели я знаю, то одно письмо сие в состоянии было доказать мне дружбу твою и благородное сердце. Все меня в нем восхищает, токмо не нравится мне осторожность твоя). Ты судишь справедливо, но притом и очень строго. Ты не входишь в состояние мое. Не забывай, любезный друг, первейшаго и справедливейшаго правила при таковых случаях: разсмотри наперед со тщанием страдание мое, разбери состояние душевных и телесных сил моих, сравняй силы сии с моими обстоятельствами, вообрази всю смесь сию живо в разуме твоём, поставь себя на мое место, спроси безпристрастно, каков был бы ты в положении сем и тогда уже делай заключения твои смело. Неоспоримо, что приступая к изцелению какой ни есть болезни надлежит во-первых узнать причину оной, а потом уже ссыскивать средства противу болезни сей. Последуем же правилу сему и исследуем, что должно быть причиною хондры⁷ моея. Мне кажется, если токмо я не обманываюсь, что источники болезни моей суть различные; не одна, но многие причины произвели ее. В первых смерть многих особ мне весьма драгоценных, приключившаяся им столь одна за другою скоропостижно что я почти не имел времени притти после одной, как уже приходила другая. Ты знаешь, тихий, молчаливый и от природы к меланхолии склонный нрав мой, итак легко представить можешь, что каждое из горестных приключений сих оставило по себе некоторые следы в сердце

* Рукой И. П. Тургенева.

моем. Присовокупи к сему и то, что в течение сего времени был я обманут многими особами, весьма для меня любезными, которых до сего времени почитал я неспособными к таковым поступкам. Все сие совокупилось и составило целое, которое обременяет душу мою. Может быть, был бы я гораздо спокойнее, естлибы чувствования мои были гораздо живее, но не так продолжительны. Вот, любезный друг, главные причины гипохондрии моей. Вторая причина есть самая та, которую ты мне приписываешь яко средство к изцелению моему, я хочу сказать познание самого себя.⁸ Поверишь ли ты мне, друг мой, что доколе в рассуждении сего был я совершенным невеждою, доколе покоен был дух мой. Я почитал себя из первейших человек в свете, все меня веселило, и ко всему почитал я себя способным. Но ныне, начав прилежнее упражняться в священной науке сей, усматриваю в себе гнусности, о коих мне прежде сего и на мысль никогда не приходило. Нестесненно, дрожащий друг мой, при всем етом остаться равнодушным. Не спорю, что и гордость не мало тут участвует, но доколь она еще не истребится, невозможно мне пребывать покойным. Не думай, чтобы я не видел, сколь мерзко уныние мое. Ах, любезный друг, вижу и очень ясно вижу, но таковое зрелище усугубляет токмо уныние мое. Однако же я не отчаиваюсь. Нет, мой друг, до сего степени никогда не доходил и, надеюсь на Творца моего никогда не дойду до него. Ты сам знаешь (я употреблю здесь пример ежедневно глазам моим предстайший),⁹ что не в первый раз садятся на дикую лошадь. Сначала гоняют ее на корде простую, потом положат на нее седло, а за сим садится уже и сам всадник; но и тут не вдруг пускается он скакать на ней: сперва ездит шагом, за сим рысью, а потом уже, укротив ее свирепость, скачет во всю прить конскую. Точно также надлежит обходиться со страстями и пороками нашими. Время, труды и прилежность преодолевают всевозможное. Благодарю бога моего: сердце мое еще не испорчено и посреде самого уныния моего помышляю о благе и стремлюсь к оному. Сие то и заставило меня сказать тебе, что нет во дне минуты для меня покойной; безпрестанно страдаю и терзаюсь и сие говорю тебе не ложно, ибо представь, что на каждом шаге должен я сражаться с самим собою. Не удивляйся же, любезный друг, естли я, быв в таком состоянии, скажу или напишу что ни на есть вздорное. Щастливым можно почесть человека, который в таковых сражениях остается всегда победителем. Что до меня касается, то я чаще бываю побежден. Довольно и того, естли, хотя редко, побеждаю я врагов моих. То же скажу тебе и о молитве: естли ты думаешь, что я не хочу совсем молиться, то таковая мысль твоя очень несправедлива, и ты меня совершенно не знаешь. Нет, любезный друг, я еще не таков мерзок, но я утверждаю, что в моем положении неудобно молиться, и что молитва без дел не может быть действительна. Что пользует мне говорить: «Господи, помилуй!» и в то же самое время мыслить такое, за что, я сам знаю, что меня наказывать должно. Погруженному же в печаль можно ль иметь мысли свободные? Я желаю иметь такую минуту в которую бы все во мне утихло и я единственно стремился бы ко творцу моему. Сию то минуту называю я очищением и ее то толико жажду. Не спорю, что и до сего, подобно как до победы над страстями, достигают постепенно. Вот, любезный друг, как я рассуждаю, умствую, мудрствую или глупствую, назови, как тебе хочется, я на все согласен, даже и на то, что мысли мои изъяснил весьма темно, а может быть есть в них много ложного и вздорного. Причиной тому скорый поход и болезнь моя. Я хотя и хожу, но чувствую превеликую боль в голове и в груди. Да и хондра моя не мало участвует. А гророс до хондры; скажу тебе, что она начинает уменьшаться. И знаешь, что к сему способствовало? Эпикетово¹⁰ правило: «глупо прилепляться к вещам нимало от нас независящим». Я размышлял и нашел, что огорчение мое, да и самое зло во мне находящееся, причинено другими. Теперь остается мне укрепить себя в положении сем и тогда могу надеяться, что с помощью Божиею истреблю уныние мое и сделаюсь не совсем бесполезным для братиев моих. Опыт доказал мне,

любезный друг, что желая угодить людским мнениям, никогда не можно быть покойну. Всего лучше советывать во всех случаях с совестью своею: она то есть судия наисправедливейший, естли только страсти наши не заглушили глас его. Поздравь меня, любезный друг, со шчастливым произшествием сим и моли бога, чтобы он помог мне победить совершенно врага моего; ибо не думай, что я совершенно изцелился: проклятая хондра, принимая различные виды, вкрадывается неприметно в сердце мое и есгли немного не остерегусь терзает меня чрезвычайно. Довольно поболтал на сей раз. Может быть тебе и наскучил, но не я, ты в ответе. Теперь скажу тебе, что думаю скоро переселиться к вам.¹¹ От вас зависит ускорить делом сим: поспешите разделом и естли можно продажею деревень моих, устройте мне жилище мое. Я не желаю многова: одну комнату особливую, чтобы никто и ни в какое время не мешал мне. Я думаю, что Пестель¹² сего тебе не откажет. Ежели окаянные татары не отрубят башки моей, то зима нас соединит дабы никогда уже до смерти нашей не разлучаться с Вами. Ты разумеешь меня. Новикову поклонись. Поблагодари за книги и рейнвейн. Не пишу к нему затем, что опасаясь обезпокоить его, ибо чтение вздора моего может оторвать от дел весьма важных, которые так его обременяют, что не оставляют ему и минуты помыслить о друзьях своих. Я же не люблю быть никому в тягость. Всем братьям нашим дружеское почтение. Милостивой государыне Катерине (Семеновне) мое искреннее почтение. В первый раз буду ей писать пространнее, естли только хондра моя позволит.

№ 3.

№ 7.* Из лагеря при Кизиль Кермене.
1782 год октября 1 день.

Любезный друг, Иван Петрович!

Таскавшись столь долгое время по степям обоих здешних губерний пришли мы наконец в Кизи-Кирмень.¹⁴ Чтобы ты думал, любезный друг, зачем нас так мучили? Затем, чтобы велеть нам итти обратно в свои кварталы.¹⁵ Не можноль было зделать сего не принуждая страдать бедных скотов наших, которые, право, в честолюбии нашем нимало не участвуют, не говоря уже о себе, ибо привыкли видеть, что играют нами, как бирюльками. Что делать, любезный друг, все должно сносить с терпением, я вижу, что и в самых дурных обстоятельствах есть что-то полезное. Например: помучившись таким образом, <неразб.> без всякого намерения, научаемся быть осторожнее и, находясь правителем какой ни есть кучки, сберегать здоровье, имение и, некоторым образом, и самое благосостояние подчиненных нам (я говорю о благосостоянии временном) не предпримать никакого дела, не обмыслив его поелику возможно; избирать кратчайшие пути, ведущие к намерению нашему, помнить, сколь тягостно и неприятно быть игрушкою своенравия или глупости подобных себе, а помня сие судить о других, подобно как о себе. Вот сколько уроков нахожу я в бесплодном походе нашем, и сие меня весьма утешает, заставляя мыслить о всеблагом творце нашем в тех случаях отечески о нас пекущемся. Истинна, неоспоримая истинна, где растет яд, тут же находится и средство, уничтожающее яд сей. На что ни взгляну, вижу, что всемогущий, создав человека, создал его, так сказать, властелином жребия своего, естли не достигнешь назначения своего, то никого, кроме себя, обвинять не можешь. Все средства находятся в руках его. Он токмо один от себя их удаляет; гордость его стыдится употреблять средства сии весьма простыми ему представляющиеся, вымышляет новые гораздо

* Рукой И. П. Тургенева.

замысловатее, вместо того, чтобы следовать путем нарочно для него проложенным, пролагает сам себе дорогу, которая, вместо блаженства им ожидаемого, приводит его в бездну гибели, может ли же он после сего принести жалобу свою на создателя нашего? Вот, любезный друг, мысли, родившиеся во мне от произшествия сего. Не думай однако ж, чтобы я был совершенно покоен. Нет, ты знаешь, я чистосердечен и так скажу тебе откровенно, что я не весьма доволен возвратным путем нашим; тем более, что страшают нас вторичным походом, и в ордере написано, чтобы быть во всякой готовности к выступлению, и иметь на десять дней запасных сухарей. Надобно знать, что некоторые полки пойдут в Крым с самим ханом¹⁶ и чаятельно там зимовать будут. Сказывают на верно, что там есть несколько сот янычар, переодетых в татарские платья, из сего заключать должно, что и с сими господами подобру не разделаемся. Очаков¹⁷ лежит у нас крепко на сердце. Скажу тебе, любезный друг, касательно полку нашего. Граф де Бальмен¹⁸ смотрел его и так был доволен, что не может им нахвалиться. Рекомендую его князю,¹⁹ говорил публично при многих полковниках: Дед мой, отец и я служили в кавалерии; я видел многие чужестранные армии, но еще никогда не удалось видеть полку, который бы мог сравниться с Луганским. Вот, брат, до какой чести дожили мы, или лучше сказать Михайла Ларионовича.²⁰ Сейчас получил письмо твое от четвертого на десять августа. Чаательно, самое то, о котором я думал, что оно пропало.²¹ Благодаря тебя, любезный друг, за участие, приемлемое тобою в душевном состоянии моем, равным образом и за старание о временно <неразб.> моем благе. Благодарность же сию не могу изъяснить тебе инаково, как просить поставить себя на мое место. Зная твое чувствительное сердце, не сомневаюсь, чтобы ты не чувствовал того, что я чувствую, да и благодарить тебя инаково не смею, ибо человек, делающий добро сам себя сдолжает. Не знаю согласен ли ты со мною. Мне кажется, что мнение мое довольно справедливо. — Изъясни мне, пожалуй, прошение ваше о принятии нас во В: О²² и что сие значит. Что касается до моего на то согласия, наперед вам сказываю, что все сделанное вами одобряю: уверен, что вы ничего противного чести и религии не предпримете. Дай боже, чтобы намерение наше увенчано было вожденным успехом и послужило бы в пользу самим нам и нашим ближним. Рекомендуй меня новому моему мастеру,²³ скажи, что я охотно под молотком его работать желаю. Желательно, чтобы он сообщил мне многия свойства свои, которые в нем я почитаю и которым отчасти завидую. Зависть сию однако же не есть злая, но добрая. Уведомь, что делается на Г: К. О,²⁴ как идут дела наши в □ Гар<монии> в Ученом обществе нашем?²⁶ Что делает Татищев, перестал ли вздорить?²⁷ Вот сколько вопросов, на которые ты ответить должен. Тоже сие служит доказательством, что хондрия моя чувствительно уменьшается и для того ничего не говорю о ней. — Скажи, пожалуйста, не сердит ли на меня за что-нибудь Новиков, нельзя статься, чтобы в три месяца²⁸ не нашел он времени написать несколько строчек. Тем мудреннее мне сие кажется, что сам же обещал уведомить о чем то важном, признаюсь что таковой поступок его чувствительно трогает меня и огорчает. Я и сам перестал уже писать к нему, боюсь, чтобы ненаскучить ему письмами моими, однакожь, между тем, пока не отверзет он уста свои, скажи какой опыт доброго о мне мнения показал почтенный брат Шварц. Нескоро что весьма лестно доброе мнение такого достойного мужа,²⁹ засвидетельствуя ему истинное почтение, и попроси чтобы он побранил меня хорошенько за то, что я почти ничего не читал с самого отъезда моего. Извиняет меня несколько цыганская жизнь моя и общество, в котором нахожусь, ты лучше всех их знаешь жизнь нашу,²⁹ и так скажи сам, можно ль делать мне то, что бы хотелось. Бывали часы, где я чувствовал себя способным на чтение, с охотою прибежал к книгам моим, но в самое то время приходят ко мне в палатку, делают великий шум и тем мешают мне в упражнении моем, и сие то отчасти углубляет грусть мою. Скоро, скоро, может быть, избавлюсь всех сует сих. Посоветуйте<сь> хорошенько с Новиковым о устройении

жизни моей, он обещал мне одну горницу, более я и не требую, но только чтобы был один и а топ аise, и как вы расположите уведомьте обстоятельнее и скорее. Я делаю может быть важнейший шаг в жизни моей, итак надо быть основательнее. Естли я кинув цыганскую жизнь, вступаю в подобную же, то ни мне ни вам выигрышу не будет. Ибо я вам скажу, что сколь я ни тих и не послушлив, есть однакож случаи, где я бывал упрям до глупости.⁷⁰ Прости, мой друг, будь здоров, покоен и благополучен, яко желает тебе истинный друг твой А. Кутузов.

Р. S. Пищи, пожалуста, почаще. Письма твои, то есть верхний конверт надписывай на имя Алексея Спиридоновича Алексеева Губернаторского товарища в Екатеринославе.

Милостивая государыня Катерина Семеновна! Известны вам несколько сердце мое и нрав мой. Надеюсь, не припишете лен<и>ости или еще чему и хуже молчание мое. Не спорю, что кругом виноват противу вас, но естли вы примете во уважение мою хондрию похода и труды и хлопоты с ними сопряженные, то увидите, что вина моя не так велика, как сначала она покажется. Разсудите сами; таскавшись семь, а иногда и восемь часов на лошади по холоду и дождю и вошед в холодную же полату, пойдут ли письма на ум, а хотя бы и вздумал писать, то руки мои не в состоянии были бы повиноваться, ибо от холода и мокроты были сделаны крюками и не могли держать пера. Теперь, слава богу, возвратился полк, в свои квартиры, и я сидя в теплой горнице, пишу вам.

Первое о чем я Вас уведомляю есть родины Катерины Илинишны. Она родила дочь Анну³¹ второго на десять месяца сего в самый тот день, как я приехал сюда. Михаил Ларионович шутит, говоря, что если женщина долго не родит, то стоит только выписать меня и тогда, без сомнения, от бремени своего она разрешится. Видите, что я еще не совсем бесполезен в свете сем. В случае нужды могу заступит место повивальной бабки, по крайней мере акушера. Не сказывайте сего московскому акушеру, не то он будет ревновать ко мне, так что мне и житья в Москве не будет. Но в сторону шутки. Скажу Вам, что Катерина Илинишна родила благополучно и столько здорова, как только Ваша сестра в таком состоянии быть может. Простите, милостивая государыня, Катерина Семеновна, пишите почаще и не забывайте искренне любящего Вас и почитающего Алексея Кутузова.

Р. S. Письмо сие пишу я из Екатеринослава, где я надеюсь пробуду до выздоровления Катерины Илинишны. Невеста моя³² от часу становится умнее и лучше и кланяется Вам.

Я писал к Вам одно весьма пространное письмо, но и по сие время ответа не имею. Естли Вам не трудно, то осмеливаюсь здесь повторить просьбу мою всем, кто пожалуйт вспомнить обо мне прошу объявить мое почтение.

Любезный друг Иван Петрович, напомни, душенька, Новикову, чтобы он взял для Михаила Ларионовича на будущий год Гамбургские немецкие ведомости, *Journal Encyclopedique* и *Mercure de France*. Естли же он заупрямится, то хоть сам возьми, а деньги получишь через меня.

№ 4.

№ 8. Получен 26 октября.*
Слобода Луганская.³³
1782 год октября 4 дня.

Любезный друг Иван Петрович!

Вот любезный друг, первое письмо, которое пишу тебе из селения полку нашего и первое письмо, может быть, наполненное выговорами за несносное молчание твое. Ужели вздумалось тебе подражать ленивому татарину³⁴ нашему! Во многом позволяю быть с ним согласным, токмо не в лени, ибо сам ты признавался, что порок сей не весьма похвален, особливо, когда и в самой

* Рукой И. П. Тургенева.

дружбе берет он власть свою. Не скрою от тебя, любезный друг мой, что и молчание ваше начинает быть мне несносным. Я тебе сказывал в последнем письме моем, да, чаятельно, и сам ты мог усмотреть из него, что гипохондрия моя начинала уменьшаться, но ныне опять берет она силу свою; сколь ни стараюсь преодолеть себя однакож не смогу истребить сомнения во мне рождающегося, мне все кажется, что молчание ваше происходит не от одной лени, но есть что то гораздо для меня горестнее и оскорбительнее. Хотя вы и почитаете меня довольно хладнокровным, но знайте, что в рассуждении дружбы не много вы найдете людей меня чувствительнее. Наималейшее нерадение мне со стороны друзей моих трогаёт меня до безконечности. Присовокупи к сему опыты видимые мною в свете и отчасти над самим мною совершающиеся, то легко представить можешь положение души моей. Не думаю, чтобы ты мог жаловаться на лень мою, сколь ни велика гипохондрия моя, сколь ни изнурен я был усталостью и трудами во время бесплодного похода нашего, находил однакоже время писать к вам и писать довольно много. Мне кажется, что нет ничего приятнее как беседовать с друзьями. В радости ли я? Сообщаю оную друзьям моим и ощущаю двойное удовольствие, представляя себе, что и они со мною радоваться будут. Имеюль я какую печаль? Объявляю ей вам, друзьям моим, и, наперед уже чувствую облегчение, во-первых, что открыл путь мрачным мыслям моим, во вторых же от твердые, надежды что они утешить меня постараются. Что до вас касается, то по-видимому следуете вы совсем другим правилам, вы пишете только в такое время, когда уже совершенно что вам делать не знаете. Прости, мой друг, естли письмо сие покажется тебе несколько неприятным, сам себе припиши грубость мою. В заключение же прошу тебя, ради самого бога, не лениться более или же скажи мне на прямые деньги, что я из числа друзей твоих выключен. Напомни Новикову о газетах на будущий год. Я писал к обоим вам какие. Теперь еще повторю: гамбургские немецкие и «Journale Encyclopedique» да «Mercure de France». В протчем желаю тебе всякого благополучия и пребываю верный друг твой А. К. Милостивой государыне Катерине Семеновне мое искреннее почтение. Прошу, чтобы она не забывала Хандру, который искренне ее любит. Всем нашим, особливо знаешь кому, шлю мое почтение.

<Адрес:> Милостивому Государю моему Ивану Петровичу его высокоблагородию Тургеневу в Москве.

№ 9. 21 декабря.* Слобода Луганская
1782 года, декабря 5-го дня.

Любезный друг и брат Иван Петрович!

Не мало мне не удивительно, что Новиков не пишет ни одной строчки, не взирая на то, что, в двух письмах со времени самого отъезда моего из Москвы от него полученных, обещает в каждом из них писать на будущей почте о деле очень важном, таковые происшествия случаются с ним довольно часто, и я уже сделал к ним привычку, но что ты, любезный друг мой, последуешь его примеру, сие кажется мне весьма странным и, признаюсь, что желудок мой не имеет довольной крепости для сварения сей несмачной пищи — я хочу сказать вашего о мне небрежения. Не осердись, друг мой, естли я говорить буду прямо. На сих днях, чувствуя превеликую грусть от различных обстоятельств моих, а более от вашего забвения меня происходящую, сидел я у камина в великой задумчивости. В руках у меня было два полена дров и я, сидя в некотором роде забвения, потирал их одно о другое, доколе дым, начавший есть глаза мои не принудил меня воспрянуть, первое движение мое было узнать откуда происходил дым сей, немало удивился я увидев, что он происходил от помянутых двух полен, которые уже начали тлеться в руках моих; я тот же час выпустил их из рук и положил на пол,

* Рукой И. П. Тургенева.

не спуская с них глаз моих; тут заметил я, что дым начал умяться и, наконец, совсем они остыли. В сию минуту представилось мне, что происшествие сие как будто нарочно изобразило мне дружбу нашу. Быв мы вместе беседовали часто друг с другом и сердца наши, так сказать терлись одно об другое и сие то производило оный жар, который мы дружбою называли; но после разлуки нашей уподобились мы оным поленам на пол положенным, жар наш начал простывать и наконец в совершенную холодность претворился. Так, мой друг, теперь я вижу ясно, что большая часть из вас имели ко мне дружбу не истинную, но, может быть, сами в свойстве оные ошибались, ибо истинная дружба никогда не прменяется, пребывая всегда в одном степене. Но сколь же редки друзья таковые! И сколь трудно приобретать их! Не думай, что я на вас сердит. Нет, я думаю, что причиною сему взаимные слабости наши, и что мы еще недовольно созрели для истинной дружбы. Признаться ль тебе чистосердечно? Я начинаю уже сомневаться могут ли существовать друзья такие; опыты весьма частые доказали мне, что мы употребляем во зло священное имя сие, а сие приводит меня к тому, что я от часу более себя презираю. Не смею однако же жаловаться на Провидение; боюсь токмо, чтобы не сделаться человеконенавистником. Но оставим материю сию весьма для нас неприятную; быв от природы склонен к мыслям мрачным боюсь предаться течению их, ибо зайду так далеко, что вместо дружеского письма выйдет из жалоб моих антиюнг то есть и в слог и в мыслях совершенно может быть противное. А *propos de Юнг*.³⁵ Скажу тебе, что я оканчиваю уже последнюю *Ночь*. По окончании всего перевода намерен его вычистить,³⁶ сколько сил моих достанет и, снабдив некоторыми примечаниями,³⁷ отдам вам для напечатания. Опасаюсь только, чтобы чистив его не замарать еще более. Но я ласкаю себя надеждою, что ты довольно меня знаешь, чтобы труд сей приписать славолубию моему, я нетак еще испорчен, чтобы совершенно себя не чувствовать. Знаю, мой друг, знаю недостаточно сил моих и трудности с предприятием моим сопряженные; но пленившись глубокими мыслями истинного стихотворца сего и быв совершенно уверен о пользе, которую всякой добросердечный человек из книги его почерпнуть может, с охотою подвергаю себя критике и злословию Зоилов российских. Пусть меня ругают сии люди, подобные собакам, которые лежат на сене и, не питаясь оным, никого к нему не допускают. Я уверен в чистоте намерения моего и совесть моя со стороны сей очень покойна; сверх того надеюсь на помощь божью, она поможет мне издать книгу сию славу и милосердие его проповедующую.

Сколь сладко и утешительно для меня быть орудием для исправления некоторых душ в пороках утопающих! Я доволен и предоволен буду естьли найдется хотя один человек, который в мыслях своих поблагодарит меня, и почто же сомневаться, чтобы не нашелся человек сей? Мне хочется приписать перевод мой друзьям святые истинны и стройности совершенные.³⁸ Не знаю одобритель вы, друзья мои, сие намерение мое. Посовещуйте между собой и уведомяте меня. Я думаю ты видишь цель мою и так располагайте рассуждения ваши в следствие цели сей. — Молчание ваше на мои письма будет может быть причиною, что я принужден буду остаться еще целый год в службе, потому что на сих днях получен у нас указ, в котором последний срок назначен к январю 1-го числа. После сего же времени не велено принимать челобитен в отставку; да и в отпуск ни под каким видом и никого не отпускать и таковых челобитен представлять не позволяется. Если можете прошу вас поспешить ответом вашим. В заключение прошу тебя, любезный друг, прислать мне силует твой и нового моего мастера т<о>е<сть> Гамален. Еще прошу тебя, если можешь достать астраханского чесноку шарлотами называемого, то пришли мне побольше да выпроси у Новикова побольше порошков Болотова,³⁹ что от каменной болезни и также перешли ко мне поскорее. Письмо сие покажи Новикову и всем тем до кого по мнению твоему оно касается. Поздравляю тебя с прошедшею

доброю имянинницею.⁴⁰ В протчем пребуду верный твой друг Алексей Кутузов.

Милостивая государыня Катерина Семеновна, поздравляю вас с прошедшим днем ангела вашего и желаю от искреннего сердца всех благ Вам. Позвольте попенять Вам за молчание Ваше. Видно, что Вы Хандру свою позабыли и что она тогда только Вам приятна, когда в глазах Ваших находится. Но что делать. Ныне свет такой. Естли хотите заслужить вину свою пожалуйста пришлите силуэт свой. Я Вас уверяю, что он не будет употреблен во зло, находясь в руках такого человека, который не ложно за честь себе поставляет называться нижайшим Вашим слугою.

Р. С. Позабыл написать самое важное. Скажи, Христа ради, Новикову, чтобы он деньги, врученные ему от тетки моей переслал как можно скорее к Тейлису⁴¹ в Петербург. Попроси его, чтобы купил два боченка моченой морошки и при случае переслал. Случай сей представится весьма скоро, и я вас предую. Пришли мне беседы Василия Великого, да естли вышла вторая часть Путешествия Добродетели.⁴² Всем друзьям общим нашим мое почтение. Ивану Владимировичу⁴³ написал. Уведомь, пожалуй, буду ли я получать Ведомости, о которых в нескольких письмах просил я Вас. По крайней мере, надеюсь, московских не откажешь. Об журналах наших, служа, и писать перестал. Видно, так надобно, чтобы я не получал их. Михаила Ларионович и Катерина Илинишна свидетельствуют свое почтение. Первый из них приказал спросить, как ты хочешь (сие касается одного тебя) чтобы братец твой⁴⁴ остался в Москве или в полк к нам будет, ибо он переведен теперь к нам в полк. Прости любезный друг. Письмо сие в состоянии показать тебе покоен я или нет.

№ 6.

№ 10 Получено 22 Декабря.*

Слобода Луганская

1782 года декабря 9 дня.

Любезный друг и брат Иван Петрович!

Сейчас получил дружеское письмо твое и сей же час спешу на него ответить. Не получая от тебя, дрожайший друг мой, толикое время никакого известия, сам можешь представить себе радость мою при возрении на любезный пакет сей. Еще не распечатывая оного ругал себя за последнее письмо мое! Прости меня, любезный друг, в проступке моему, мы человеки, все слабы и далеки еще от совершенства, к которому все стремимся, не поверишь, как мне чувствительна скорость моя, но я утешаюсь тем, что естли ты войдешь в чувствования мои и станешь судить меня безпристрастно, увидишь, что самая погрешность моя доказывает сколь вы мне милы и сколько я в вас привязан. Так, мой друг, источник преступления моего есть горячая и искренняя к вам дружба, без того все было бы мне равно: помнить вы меня или совсем забыли. Но оставим сие. Я уверен, что ты на меня не сердишься, а сего уже для меня и довольно. Поговорим о содержании письма твоего. Прочитав оное чувствовал я сильное движение различных страстей. Сердце мое разделялось между ними, и сам я не знал радоваться мне или огорчаться. С великим удовольствием или лучше сказать с восхищением читал я успехи дел наших. Благодарил бога за неизреченное милосердие его и теперь еще прошу сего виновника всех благ наших да укрепит он нас в намерениях наших и да удостоит нас всесильного покровительства своего. Он видит сердца наши, известно ему, что мы пылаем желанием к сысканию святыне истины, и так яко человеколюбец не отринет он нас хотя и недостойных и в тине пороков погрязших. Нет, сердце мое вещает мне (и я думаю, что не ложно) что он наставит нас и приведет на путь истинный, к нему, всемогущему владыке нас ведущий, сколь сладко! сколь утешит-

* Рукой И. П. Тургенева.

тельно! чувствование сие. Ах, дражайший друг мой, может ли что с сим сравниться! Но дошед до оплаты Новикова касающейся,⁴⁵ радость моя ощутительно умалилась, и я почувствовал сильные движения горести. Уведомь меня, уведошь, пожалуйста, скорее, что разумеешь ты под расстроеными его обстоятельствами? Недостаток в деньгах? Стыдно и гнусно нам будет оставить его в состоянии сем. Я человек небогатый, однакоже все, что имею жертвую для облегчения обстоятельств его. На что мне следовать поступки его, сам ли он или случай причиную разстройки его. Довольно для меня: мой друг несчастлив, друг мой в бедности, а я буду спокоен! Нет, нет, хотя вы и почитаете, что хладнокровен, но вы очень ошибаетесь. Ради самого бога, старайтесь, как можно скорее о разделе моем с братом.⁴⁶ «Отдаленные деревни!» — пустая отговорка: они все в <неразб.> месте. Дальние деревни все разделены. Разделись, христа ради, скорее и также скоро старайся продать, хотя в цене и уступку делай. Все что за расплатой долгов останется — отдай ему. До тех пор не могу быть спокоен. Еще повторю тебе и заклинаю тебя живым богом: исполни сие прошение мое. Стыдно, стыдно нам подражать Татищеву.⁴⁷ Пусть он тщеславится богатством своим, но я уверен, что исполняя желание сие в тысячу крат его богатею буду. Что касается до благодарных, и нерадивых, мне кажется, за сие благодарить должно всемогущего, являющего их нам таковыми заблаговременно. Ибо, когда бы мы узнали их позже, то, может быть, и помочь бы сему были не в состоянии. Лекарь советует зараженных язвою отделять от здоровых: последуем им, отметим от себя сих беснующихся гордостелью или лицемерством, да не отвернется нас более. Не множество членов, но паче достоинство и согласие их делает общество твердым. Презрим злые языки хулу на нас глаголющие. Посоветуем с верным другом нашим совестью. Естли одобрит нас, пребудем спокойны. Бог не оставит нас, бог заступит нас и кто же после сего вредит нам может? Мой друг, чувства мои в великом волнении: я боюсь писать к тебе более. Еще того менее к Новикову, чтобы не наговорить чего излишнего. — Еще одно. Несказанно ты меня обрадовал, уведомив, что Чулков⁴⁸ сочлен наш. Я давно хотел о сем просить, но не смел, ибо имею привычку в себе самом сомневаться. Но естли не ошибаюсь, то он один из достойнейших сочленов наших: тверд, искренен, чистосердечен и здравомыслящ, постоянен и верен в дружбе. Чего больше от человека требовать? Признаюсь, хотя я люблю Черкасского⁴⁹ и <неразб.> одолжен им, но не весьма доволен повышением его. Прости, мой друг, еще прошу тебя, христа ради, исполни просьбу мою и возврати спокойствие душе моей. Пиши, как можно чаще. Хотя ты извиняешь Новикова,⁵⁰ но не скрою от тебя, что доводы твои слабы, и он не может извинен быть. Не верю, чтобы не найти время написать несколько строк к человеку, которого люблю искренне. Можно уделять время от сна, от забав, а более от лени. Прости, дражайший друг мой. Когда буду покойнее стану писать более. И к Новикову напишу. Программы⁵¹ не получил, пришли пожалуйста. Катерине Семеновне мое почтение.

<Адрес:> Милостивому государю моему Ивану Петровичу Его Высокоблагородию Тургеневу в доме Его Сиятельства Графа Захара Григорьевича Чернышева. Подателю дано будет двадцать копеек. В Москве.

№ 7.

№ 11. Получен 9 генваря 1783 года.*

Луганская.

1782 года декабря 29 дня.

Любезный друг Иван Петрович!

Сколь сильно действует в нас привычка узнал я ныне сам по себе. Ты знаешь, любезный друг, сколь я тебя люблю и еще некоторых из братьев

* Рукой И. П. Тургенева.

и так уверять тебя в сем почитаю делом излишним. Известна тебе также привязанность моя к *веще*,⁵² к которой мы взаимно стремимся. Не безизвестно и то, что я вижу различие между жизнью истинной и наукам посвященною и между тою, которую проводят скитаясь по степям, претерпевают жары, холод, голод, жажду и всякие беспокойства; для чего? Чтобы лишить жизни нескольких людей никогда и никакого зла мне не сделавших или самому от них быть убиту. Так, мой друг, весьма ясно все сие вижу; сердце мое, собственное сердце мое, согласно с разумом давно мне сие и неоднократно твердили, но привычка к оной беспокойной жизни заглушала глас их, и я пребывал ей верен.⁵³ Ах, мой друг, если бы ты видел меня в ту минуту, как сражение сих противных страстей приходило ко окончанию и разум мой начинал уже одерживать верх, когда наконец, одержал он совершенную победу, и я повинясь ему подавал мою челобитную,⁵⁴ — я уверен, чтобы ты, глядя на меня пролил слезы. Я не в состоянии описать тебе чувствований моих в жестокую сию минуту.

Я был вне себя и сам не знал, что делал; видно, что и лице мое довольно не изображало, ибо за несколько часов до решительной минуты сей *К<атерина> Ильи<нича>* — глядя на меня ужаснулась, и думала, что я очень болен. Исполнив волю разума моего, чувствовал я в себе некоторое услаждение, и спокойствие давно уже мною не вкушаемое. Но, мой друг, любезный друг, сколь кратки были блаженные минуты сии! Едва успел я опомниться, как возстала жесточайшая первой буря (даже до сего часа продолжающаяся) с порывистыми ветрами, которые, подхватив малую ладью мою, унесли от волнения в кипящее море и так сильно бьет ее, что ежечасно ожидаю кораблекрушения. Мысль, ужасная мысль, что я растаюсь с *М<ихаилом> И<лларионовичем>* и *К<атериной> И<льиничной>* растаюсь, может быть, навсегда, терзает меня чрезвычайно. До сего часа не знал я еще, сколь много я к ним привязан и никогда не мог вообразить, чтобы разлука с ними могла так сильно на меня действовать. Я сам стыжусь слабости своей, однакоже от тебя ее не скрою, нет того дня, чтобы я не проливал слез, особливо когда ласкает меня старшая дочь их.⁵⁵ Сия невинная и ангельской подобная душа, как будто чувствуя разлуку нашу, усугубляет каждый день ласки свои ко мне, безпрестанно меня целует и ни с кем больше не играет как со мною. Третьего дня говорила она обо мне с *К<атериной> И<льиничной>* и когда *Катерина Ил<ьинична>* ей сказала, что Кутуз твой тебе изменяет и едет от тебя в Москву, то она, топнув ноженкою своею с сердцем сказала, имея глаза свои наполненными слезами: «Не хочу жить без Кутуза», так она меня называет. Вот любезный друг состояние, в котором я нахожусь. Челобитная моя вчерашний день отправлена, но я дал слово остаться с ними до воследования резолюции. Теперь прошу Вас, любезные друзья мои, постараться о жилище или, лучше сказать, о келье моей. Мне все равно лишь бы не была проходная. Купите братцы мне бюро побольше да чернильницу с прибором, видно, что пришло дело менять на них шпагу мою и лошадь. Длинное твое письмо и после того другое маленькое от 29 Ноября получил исправно. Попроси пожалуйста Новикова чтобы он просьбы мои о книгах исполнил поисправнее и поскорее писал бы и прочее о чем я писал к нему, право теперь и сам не помню. Знаю только, что для меня очень нужное. О газетах и по сие время ни от тебя ни от Новикова ответа не имею. Христа ради, доставьте их. Простите, любезные друзья, право не могу писать к вам более. — Я думал, что больше писать на сей раз не буду, но отдохнув немножко, велел набить себе трубку и когда зачал курить сидя у камина (?) своего, то рука моя принялась сама собою за перо и начала бродить по бумаге. Чем ей марать пустяки пусть на сей раз заступит она место языка моего и с тобою поболтает. Правду сказать, если она вступит в должность языка, то письма мои будут весьма недлиноваты или, по крайней мере, весьма редки. Язык мой весьма счастливый член. У весьма малых людей ево братья бывают так покойны. Без сомнения ему покойнее нежели бедному языку Чулкова. Кстати пришло, скажи сему чахоточному, что я на него

сердит за то, что он не пишет, чтобы он так не шутил со мною. Приеду, то ему накладно от меня будет. — Ты подумаешь, любезный друг, что я весел и гораздо спокойнее нежели был при начале письма сего, но очень ошибешься, я следую любезному автору моему Юнгу, который говорит при начале 9-ой ночи: «Подобно страннику, который во весь день с великим трудом но тщетно искал мету желаний своих, при наступившей ночи довольствуется первую хижиную ему встретившемуся, и, сидя в ней, некоторое время размышляет о напрасных трудах своих, по том прохладяет утружденное сердце свое тем, что судьба ему послала, остальное же время провождает в пении, доколе час сна не призовет его к сладостному покою: так и я странствуя долгое время по путям человеков и почувствовав закругу в голове моей, пробежал прочия чрез запутанный лабиринт сей, где необужданная надежда толиким множеством препятствий осмеянная, останавливается скоростижно посреде шестия своего, так и я говорю предъведомлен слабыми вечерними лучами жизни, скрылся наконец под низкий кров и, находясь тут прогоняю из мыслей моих все будущие путешествия с терпением ожидая сладостного часа успокоения и несколько оставшихся минут моих провождаю в важном пении. Пение бо услождает горести наши и пр.»⁵⁶ Да, любезный друг я сам себя обманываю и стараюсь казаться веселым, хотя и не мало веселия в себе не чувствую. Скажу тебе ко стыду моему, что с самого того времени, как подал челобитную, ничего не делаю, и перевод мой равно как и примечания остаются в недействии. О естлиб умел я употребить горесть мою так же полезно, как автор мой! Но нет и в самом спокойствии моем никогда с ним не сравнюсь. Овому талант овому два. Опять устал и так прежде окончания повторяю просьбу мою, постарайтесь о хижине моей и прочем. Книг и ведомостей не забудьте. Всем братьям мое почтение. Ивану Володимировичу⁵⁷ поблагодари за напоминание о мне. Прощай. Засвидетельствуй мое почтение Катерине Семеновне.⁵⁸ Ежели нет никаких препятствий, то охотно желал иметь речь Петра Ивановича⁵⁹ и оду любезнова и под небесами летающего Ключарева,⁶⁰ равным образом хочется знать задачу⁶¹ вам заданную. Тщетно ожидал я видеть ено в ведомостях, но и по сие время она не напечатана. Уведомь пожалуйста об всем обстоятельно. Ты не можешь себе представить сколь таковые известия мне приятны и как на несколько услаждают они гсрести мои. Естли думаешь что нет большей опасности, то и важнейшия сих обстоятельства можешь верить бумаге. А ргроз, на сих днях говорили мы с М<ихаилом> Л<арионым> о Гагарине⁶² в рассуждении масонства. Отпиши пожалуйста, что он делает? — О самой важной вещи во все время пребывания моего здесь тебя не спрашивал, скажи братец, что делает мой Алмаз, датцкая собака? Знать, что я занят очень мыслями, что по сие время о нем не вздумал. Привет, друг мой. Поклонись всем.

№ 8.

№ 12 Получен февр. 3 дня *

№ 1 Луганск

1783 года генваря 13 дня.

Любезный друг Иван Петрович!

Номер, поставленный в начале письма сего служит ответом на предложение твое, чтобы наблюдать порядок в переписке нашей, и в самое то время уверяет тебя, что письмо твое (которое ты писал как мне кажется, подражая Епистоле господина Волтера, названной им «Vous et tu») ⁶³ получено мной исправно. При всех случаях надлежит избирать кратчайший способ ведущий к цели. Сим образом и неприметно сохраняем мы некоторую часть драгоценного времени. Вместо того чтобы каждый раз делать сокращение из

* Рукой И. П. Тургенева.

письма полученного, станем говорить просто, такой то номер получен мною. Теперь делается с нами то же, что со мною одним.

Три года строили здесь дом мой и лишь начал поспевать он, то уже и оставляю его навсегда; несколько месяцев уже переписываемся и мы, и когда время пришло прекратить переписку нашу, то начинаем помышлять о порядке. Я говорю, прекратить, ибо думаю уже получено гоубо письмо мое о том, что я подал челобитную в отставку. Однакоже всетаки намерение наше не худо; никогда хорошее дело поздно не бывает. Радуюсь, любезный друг, о произшествию касательно дому и поздравляю с ним не брата *ab aquila crescente*,⁶⁴ но виновников оного. Сии последние исполнили некоторую хотя и малейшую часть благодарности, которую обязаны мы все оному достойнопочтенному мужу. О сколь бы ему еще приятнее было, естли бы мы, следуя примеру его, и сами себе благодетелями учинились! Случай сей показывает нам ясно, что добрые дела не остаются без награждения, видишь, что они зажгли некоторую искру в толстом рыцаре нашем. Я не хочу утверждать, что он побуждается похвальными движениями, довольно, что он старается подражать, сие уже есть первый шаг к исправлению, ибо видно, что он возчувствовал гнусность порока скупости; не должно ли же почитать нам наградоу, когда один из братьев наших делается лучшим? Возложим надежду нашу на Всевышнего, сколь скоро мы пойдем прямым путем, конечно, не оставит он нас. Дай бог, чтобы тучный и влажный рыцарь оный, исполнил и последнее намерение,⁶⁵ о котором ты пишешь. Говоря о рыцарях пишешь ты имена совсем мне неизвестныя; уведоь, пожалуй, как нас с тобою кличут, веть, нехудо знать свое имя.⁶⁶ — Письмо от Ивана Владимировича получил и ответ на него здесь прилагаю. — Касательно разделу с братом, я уже писал тебе, что дальних деревень в раздел идущих у нас нет, делить должно деревни матушкины, которые все в одном месте, и так отцовщина его,⁶⁷ и сожаление обо мне неосновательны. Постарайся, пожалуйста, окончить дело сие до моего приезда, мне хочется, чтобы возвратившись к вам, хотя с сей стороны быть покойну. Мне кажется, что ты начинаешь гордиться своими достоинствами или хочешь повеселиться на мой шет. И то и другое, мой друг, непохвально и мне очень неприятно. Не страшны, или по крайней мере, менее страшны, видимые неприятели, есть у нас защитник, прибегнем к нему с верою и, конечно, примет нас в свое покровительство, но ужасны, мой друг, те враги, которых мы не видим, да и иметь не чаем. Безпокойство твое и самая горесть не наказания, но похвалы достойны; я радуюсь о них, и по слабости моей им завидую. Сии то суть мучения здесь нас очищающие, ибо источник их есть добродетель, и желание истинны. Есть мой друг, есть другой род мучений, мучения же и в будущем за собою влекущие, сих то я ужасаюсь. Кто тебя уверил, что безпокойство мое не принадлежит к сему последнему отделению? Но прекратим материю сию, я боюсь, что бы говоря о ней не умножить гипохондрии моей. Все мы имеем слабости, один менее, другой более, и так что нам стыдиться ими. Мой друг, любезный друг, естлибы имел я достоинства, которые ты мне приписываешь, на что бы мог употребить их лучше, как не на исправление дражайшего моего друга! Прости любезный друг поклонись всем нашим, горю желанием скорее вас увидеть, скажи Чулкову, чтобы о сем постарался. О келие моей, и о прочем, пожалуйста, постарайтесь — напхни любезный друг, Новикову о порошках, что от каменной болезни, нам в них крайняя нужда, равным образом о книгах, которых я просил у него, все сие можно переслать по почте. Деньги за пересылку я заплачу с охотою. Прости любезный друг, не забывай меня и пиши пожалуйста почаще. Новикову поклонись, скажи, чтоб извинил, что не пишу, теперь у меня много гостей из города, по причине рождения любезной и милойкой моей невесты,⁶⁷ к тебе же не писать почитал за грех, потому что сам ко мне пишешь.

При сем и Вам, милостивая государыня Катерина Семеновна, приношу за дружеское напоминовение Хандры и за приписанние ваше. Давнишнее желание Ваше видеть меня в отставке исполнится скоро, и я сделаюсь жите-

лем московским, коль скоро решение будет на челобитную мою. Сделавшись однакоже жителем московским употреблю все силы мои, чтобы не заразить обычаями города сего. Постараюсь остаться грубоватым, неловким и простым пикинером⁶⁸ так как и прежде. Знаю, что нося на себе образ такой, не привлеку на себя внимания полу вашего, но может быть что, самое сие послужит к моему спокойствию.

А ргггггг. Хочу сделать с вами условие, чтобы не тиранить меня *виском*,⁶⁹ а оставить на произволение мое, играть ли мне когда, или нет. Благодарю вас за уведомление о масонских делах. Радуюсь, что они идут согласно желаниям вашим (хотя, может быть, желания сии и не весьма искренны⁷⁰) и, желая вам с моей стороны всяких благ истинных, пребуду с искренным почтением и дружбою покорнейший слуга Алексей Кутузов.

Р. S. Михайла Ларионович здоров и Катерина Илииншна также. Она сказывала мне, что Вам отвечала на письмо Ваше.

№ 9.

№ 13 <получено> февр<аля> 14 1783*

№ II Слобода Луганская

1783 года Генваря 23 дня.

Любезный друг Иван Петрович!

Дружеское письмо твое и приложенну к нему «О познании самого себя»⁷¹ получил, за которые и приношу мою благодарность, не сердись и не сетуй на меня что по сие время не отвечал тебе, хотелось в самый тот же день писать но не успел, писал очень длинное письмо к Новикову и лишь токмо кончил его, пришли ко мне за письмами, ибо надобно тебе знать, что нарочный унтер-офицер с письмами нашими в город⁷² отправляется. Если же прощаешь меня в преступлении моем, то и я твой проступок от всего сердца моего прощаю, недоумения и малые огорчения да не раздражают ни мало дружбу нашу. Постараемся отличить себя от сварливых женщин и людей малодушных, которые за пустое <неразб.> за ничего незначущую безделку, делают великий шум (и часто на смерть друг на друга враждуют; если и усмотрим один в другом слабости, недостатки и самые пороки да снесем их снисходительно и терпеливо и приложим все силы наши исправить их кротостью, а не гневом. Таким образом поступая, самого бога помощником себе иметь будем. — Радуюсь, но при том и досажую, что в рассуждении обстоятельств Н. И. Новикова обманулся. Радуюсь, что они не так дурны, как может быть я вообразил себе, а досажую, что не могу доказать опытом, сколь мне благосостояние друзей моих драгоценно, и сколь я охотнее делом нежели языком служить им стараюсь. Не взирая однакоже на досаду мою, прошу бога, чтобы друзья мои никогда не имели такой нужды в помощи. — Ты не можешь себе представить, любезный друг мой, сколь много веселит меня и удивляет поступок бр. Т<атищева>⁷³ дай боже, чтобы он исправился от слабостей своих и нам и себе может он сделаться очень полезным. Когда я размышляю о сем поступке, то и тут вижу весьма ясно милосердие божие споспешествующее нам во всех благих подвигах. Таковое дело в рассуждении его темперамента назваться может чудом; и напрасно мы дражайший друг мой, говорим, что в нынешние времена чудес не бывает. Были они и впредь будут, но токмо для тех, которые внимательным оком на все происходящее взирают. — Что касается до Чулкова и прочих сие ни мало меня не удивляет, ибо всегда сего ожидать было можно. В рассуждении Черкасова⁷⁴ ты, видно, не хорошо меня выразишь, я согласен с твоим мнением, в рассуждении сердца его, но думаю что и ты согласишься со мною, когда скажу, что в прочих качествах он далек от Чулкова. Не спорю, что при избрании членов первое примечание должно клониться к сей стороне, но и других не должно выпускать из глаз

* Рукой И. П. Тургенева.

своих. Я люблю его, и люблю много, и так, не подсыревай меня ни в каком пристрастии. — О разделе прошу постараться и если можно решить все сие еще до моего приезда. Мне кажется, что в желании моем нет ничего несправедливого, я требую точно мне принадлежащее и может быть утверждаю старый раздел наш с собственною потерю моею. Признаюсь любезный друг, что отсрочка его мне подозрительна. Скажу тебе чистосердечно, что брат⁷⁵ мой имеет много в себе хорошего, но в рассуждении интереса я ему не доверю, ибо скупость ослепляет глаза его. Пожалуста постарайтесь, не нужны дальнейшие церемонии, подать челобитную. вот и все дело. — За обещание твое переслать в скорости требуемые мною вещи, покорно благодарствую надеюсь что ты неумедлишь исполнить оное, NB публикуя в ведомостях о продаже деревень надобно выговорить некоторых дворовых людей, я и сам еще не знаю, которые мне достанутся. Когда станут делить, то постарайтесь, чтобы и дворовые люди разделены были поровну. Тут есть два перукмахера один Сергей Смирной, другой Федор Григорьевич и так смотри, чтобы оба на одну сторону не достались.⁷⁶ — При сем прилагаю Вам приношение Юнга и маленькое уведомление к читателям,⁷⁷ покажи их Новикову и В. И.,⁷⁸ б. Ш<варцу>. Прочтите со вниманием и скажите безпристрастно могут ли они быть напечатаны, я ни мало на собственный разум не надеюсь, и последую ему тогда, когда он одобряется истинными моими друзьями. Касательно приезда моего писать излишне ибо довольно о сем в предыдущих моих письмах говорено было. Прости любезный друг, будь здоров и покоен, дай бог чтобы нам скорее и благополучно свидеться. Я начинаю ныне оживать духом и уже в состоянии был начать чтение перевода твоего.⁷⁹ Пожалуста присылайте мне несколько Херасковских новых книг.⁸⁰

Милостивой Государине Катерине Семеновне свидетельствую искреннейшее мое почтение, дай бог, чтобы скорее кончили визиты свои и опять засели играть в **виск**. Играючи за всего скорее вспомните о том, который за особое удовольствие почитает называться верным и покорным слугою, Алексеем Кутузовым.

Всем братьям, пожалуста, поклонись и попроси, чтобы меня любили. Высокопарному и на Пегаса сесть старающемуся Ключареву скажи, что если он хочет заплатить мне долг, в стихах состоящий (он сам знает, о чем говорю), то прислал бы свою оду в Дружеском Ученом обществе читанную.⁸¹ Просил бы и Петра Ивановича⁸² о его речи, но как он мне ничем не должен, то и настоять твердо на просьбу мою не смею. Мастеру моему⁸³ скажи, если не пришлет мне силуэта своего, то и учеником его не буду. А проpros, ты пишешь о других, а о своем силуэте ничего не упоминаешь. Или тебе не хочется, чтоб я имел его.

Об отпуске моем в прежних моих письмах писал, да и самому Чулкову, помнится мне, я писал, пусть он постарается. — Почтенному моему мастеру благодарю за дружеское приписание, не скрою, что бесполезны одни слова, но если они забавляют друга нашего, если делают некоторое утешение в горестях его, то не можно назвать их совершенно бесполезными. Не всегда мой друг, хорошо поступать с друзьями своими, судя по самом себе. Если бы я был во всем тебе подобен, то конечно не было бы нужды говорить со мною много, но твой друг не достиг еще степени совершенства твоего, и так надлежит снисходить ко слабостям его, и поступать, как с ребенком, не всегда строго, иногда подделываться к образу его мыслей, дабы тем скорее и надежнее исправить его. Есть люди которые не могут терпеть горького лекарства, но, подсластив самое то же лекарство выпивают без отвращения, то же самое происходит и в рассуждении душевного врачевания и воспитания. Не гляди на меня, как на мужа, но как на ребенка, или много уже на юношу и тогда не будешь винить и осуждать Ивана Петровича, прости мой друг, моли со мною всевышнего, чтобы я сделался некогда мужем.

№ 3 Получено 9 июня 1788 г. в Москве.*

Маня ²⁰₃₁ ⁸⁴

Дрожайший, мой друг и брат! Сколь переменчив и непостоянен тот мир, в котором мы живем сие доказывает и наша с тобой переписка. Пройдем только последние шесть лет нашего знакомства, какая разница! Ты всегда бывал моим должником, но ныне, сколько уже твоих писем, на которые не отвечал я! Истинно стыжуся сам себя. Я уверен, что ты на меня не сердишься, знаю, что не сердишься, знаю, что не будешь делать предосудительных о дружбе моей заключений, надеюсь твердо что ты и простишь мой проступок, но любезный мой друг, может ли все сие послужить мне в оправдание? Ежели ты меня прощаешь, должен ли я простить мне? Таковой с твоей стороны проступок докажет доброту твоего сердца, но с моей стороны будет он клеймом совершенные забывенности самого меня и нечувствования моих пороков. Твоя дружба может изобретать множество обстоятельств, служащих к моему оправданию, но мне известно мое состояние и, следовательно, желая оправдаться, усугубляю токмо мою дурноту и для того скажу тебе без всяких оличностей: виноват, много виноват и прости меня дружески. Мнимые недосуги, а более леньность причиною моего долговременного молчания. Последнее тебе покажется несколько невероятным, я и сам долго сему не верил (так то склонны мы верить тому, что говорили другие в нашу похвалу!). Но теперь вижу сие ясно, частый опыт заставил меня сему верить. Я еще более узнал о себе со времени нашей разлуки и нахожу себя изрядным каменщиком, не имеющим, однако же, ни малейшей способности быть архитектором. Умею говорить о порядке, но не умею наблюдать оный. Кратко сказать, я не умею думать сам собою, мысли мои рождаются не прежде как при дружеской беседе. Но таковое свойство означает великой недостаток, ибо таковые мысли редко бывают безпристрастны, но всего чаще суть они плод какой ни есть кроющейся во мне страсти, и отдаленное действие того расположения, в котором нахожусь с беседующей со мною особою. Подумай о сем. Может быть, ты найдешь сие справедливым...⁸⁵ то только, что часто об одной вещи и в одном отношении говорили мы иначе с разными особами; преследуй сию мысль несколько далее, и ты увидишь, что я говорю правду. Ах мой друг, нередко вздыхаю я, видя мое странное состояние, голова моя бывает почти всегда пуста; мысли рождаются и исчезают мгновенно, так что почти не имею времени заметить их, нет между ними ни какой связи, все мои понятия суть единые токмо отрывки, суди же о действиях! Представь себе водяной мыльный пузырь, на который дуют множество играющих детей, он носится во все стороны, не останавливаясь ни на едино мгновение, доколь не лопнет, вот точное мое состояние! Иногда рождается мысль несколько прочнейшая, я ощущаю некоторое удовольствие, но возстает ветер, приносит множество других мыслей, и все они купно с приятной мне пролетают мимо, и я остаюсь пуст, в состоянии подобном ди-

Ich sah einst einen Knaben Zart
 Bey einer Seifenblasen stehen
 Er lächelte nach Knabenart
 Und könnte sich nicht Satt vom Sehen
 Und freute sich der liblichen Gestalt
 Und ihrer wunderschönen Farben
 Die Grün und Roth in Gelb verfarben
 Und hüpfte frölich auf-als bald
 Zersprang vor ihn der Wunderblüht
 Und eine bittre Trän lief über seine Nase.

* Рукой И. П. Тургенева на обороте листа.

Я вздыхаю, но воздыхания превращаются в трепет и ужас. Мыльные пузырьки исчез и не возвратится более, но мысли мои, а наипаче превращенные мною в деяния, предстанут некогда очам моим, я увижу источник <неразб.>, увижу и то, для чего не пользовался добрыми и соглашался препятствовать их плодотворности. Страх сей усугубляется еще более, когда представлю точку, на которую поставлен и ту, на которую вступить намереваюсь! Все что сказать могу, есть сие: О господи! не вниди в суд с рабом твоим. Вот, мой друг, тот человек, от которого ты требуешь наставления для любезного моего Петра Петровича,⁸⁶ ты хочешь, чтобы я ему говорил то, чего сам не исполняю! Боюсь сего, но исполню твое желание, молю моего спасителя, чтобы он вдохнул мне что либо ему полезное. Ежели и сам я скверен, то блаженным почту себя, ежели возмогу подать случай исправиться моему брату; уповай на священное писание, говорящее, что обращение моего брата покроет множество грехов моих. О боже помоги. Прости любезный друг, люби и помни меня, и тоже всегда молись создателю, да поможет мне исправиться.

Р. С. Прилагаю письмо к Косману.⁸⁷ Ежели найдешь его полезным, то отправь к нему, в противном случае держи у себя, я полагаюсь на твое благорассуждение, не имея к себе ни малой доверенности, ибо слова мои не подкреплены деяниями, а следовательно суть твари без души.

№ 11.

Получен в Москве 20 августа 1788 г.

Любезный друг и брат! Возвратившись из моего путешествия⁸⁸ получил приятное твое письмо от 6-го июля. Да скажет тебе собственное твое сердце благодарен ли я за оное. Ты просишь мой друг, уделять некоторое время на переписку с тобою; от всего моего сердца исполню твое желание, согласное с моим. Сие тем для меня приятнее, что говоря с тобою занимаюсь дружескими чувствованиями, и чем ни есть, по малой мере по предмету своему, полезным. Ты находишь себя несколько виноватым и приписываешь самому тебе причину моего молчания; ежели сие справедливо, то от всего моего сердца прощаю, сказав однако же, что не сей, но иной источник моего молчания. Мой друг, я откровенен, особливо, когда с мною говорят откровенно, и так, следуя сей моей склонности думаю, что было множество между нами недоразумений, которые пригнетали огонь, начинавший некогда гореть в нас. Так, дражайший мой брат, сей огонь начинал гореть и, может быть, не далек был от пламени, но с последним моим из армии приездом,⁸⁹ многие капли, а иногда и малые ручейки, хладные и гасящие воды, излились на бедные наши сердца и вот истинная причина, что сей огонь уменьшился. Что всего страннейшим представляется мне в сем происшествии, есть то, что мы почти всегда были страдательны, а не действующие. Твой пылкий, а мой хладноватый огонь подавали к сему много пищи. Стремительное твое воображение, составляя мгновенно образ находило в нем некую существенность, врывалось мало по малу в нежное твое сердце и, находя меня не токмо хладным, но иногда и старающимся противодействовать, заставляло тебя делать ложное о мне заключение. Таковые же заключения не бывают никогда без действия и тем опаснейшего, что оно обнаруживается весьма медленно и даже самим нам неприметно. Признайся сам, что одни наши переводы повредили много нашей дружбе, преобразив оную в дружбу единые токмо должности, которая не может еще сильно в нас действовать. Но что оскорбляет меня еще более есть то, что апостол,⁹⁰ дышущий любовью, твердящий нам безпрестанно о любви, и показующий что без любви все наши старания тщетны (не хочу сказать важнейшего) самый сей апостол, говорю, был одною из первейших причин нашему неустройству. Что касается до меня, то и ныне еще болезную, для чего не был хладнокровнее и не имел надлежавшей твердости. Помолимся же, дражайший мой брат, к роднику чистые небесные любви, да смоет наши скверности и очистит наши сердца, да соделает их сосудами любви и прямыми

дружбы. Помолимся, мой любезный друг, да укрепит нас в наших намерениях и да подаст силу к отражению стрел пускаемых на нас сатаною. Кто знает, мой милый, что нам предстоит? Может быть должно тебе предварительно приготовиться к новым о мне заключениям. Но умолчу, представляя все испытующему сердца и утробы; умолчу помня что незрелые плоды вредны для желудка. Ежели ты искренне доволен письмом, писанным мною к брату Петру Петровичу, то благодарю за пересылку оного. С некоторого времени я сделался к самому мне гораздо недоверчивее, то и сомневаюсь, сообразно ли сие письмо с твоим намерением. По малой мере, я писал с сердечным желанием воспользоваться сему милому моему брату. Дай боже, чтобы оно имело желаемое действие. Говоря, любезный мой друг, о мыслях или сцеплении их относительно ко мне во многом согласен с тобою. Кажется мне, однакоже, что ты не делаешь довольно различия между чувствованиями, ощущениями и мыслями; по моим же понятиям находится между ними важное различие, хотя и связаны они весьма тесно. Чувствования суть, так сказать, действия внешней осязаемости, ощущения суть или осязаемость, принимаемая предметами, коих образа, пройдя уже сквозь чувствования, коснулись нашей души, или суть действия самой души, возбуждаемой духом и действующей изнутри на наше тело, мысли суть действия мыслящей нашей силы, приемлющей единые токмо отвлечения от первого или второго рода ощущений, и составляющей из сих отвлечений нечто новое, которое бывает, и весьма нередко, совсем не похоже на полученное сею нашей силою, и вот для чего мысли не могут никогда произвести чувствования а производят единые токмо ощущения.

Сообразуясь сему, может быть и весьма ложному моему понятию, думаю, что чувствования суть совершенно от нас независимы и коль долго присутственны производившие их предметы, не состоит в нашей власти, иметь их или не иметь, а следовательно не в нашей также власти ощущения, равно и получаемые от них отвлечения. Разумеется сего рода (какое ни есть отвлечение будем иметь, но род сего отвлечения, или разность их, зависит от нашего внутреннего состояния). Итак доселе сказанное тобою, справедливо, но мой друг я иду далее. **Отвлечения** оставленные в мыслящей моей силе, **ощущениями** отрезаются от внешних предметов и не зависят от них более, ибо гдѣ бы были сии предметы, отдалены или близки от меня, но отвлечения суть уже во мне, и суть те материалы, из которых мой разум зиждет различные здания. Здесь то начинается то между людьми различие, о котором я говорил тебе. Один занимается безпрестанно сравнением, распоряжением и обработыванием упоминаемых материалов, и приводит их в такой порядок, что из всех отвлечений составляет единое связанное; другой составляет из них несколько цепочек, не сцепленных однакоже между собою, ибо не умеет располагать гармонически единородные с разнородными, а третий полагает все материалы без разбору в одну беспорядочную грудку, так что они лежат без всякой между собою связи и, следовательно находится в нем множество отвлечений, о которых и запамятовал, он не прежде вспоминает о них, как при разговоре или при чтении, или ежели другой, подобный предмет, представится его чувствам, тогда только обращается он к отвлечению давно уже в нем лежащему, занимается оным и теми, которые лежат по близости. Твой друг принадлежит к сему последнему отделению и сие то извлекло его жалобы и воздыхания. Без всякого сомнения при нужде себя можно мало по малу приучить мыслить в связи, но вот моя беда, я не сделал да и не начинал еще делать сей привычки, ибо недавно заметил в себе сей недостаток, не зная сего не мог желать, не желая не мог соизволить, а без воли ничто не делается. Мой друг! Дела наши суть тогда токмо наши, когда мы производим их нашею волею; впрочем, исполняя токмо наружным образом повелеваемое нам другими людьми, есмь мертвые орудия. Такое послушание не есть добродетель, хотя бы произведение оного и согласовалось во всем со свойствами добродетели [NB говорю о человеке не имеющем еще внушений и вдохновений свыше.] Согласясь на сие, должен ты со-

гласиться, что мысли, рождаемые при разговорах, заимствуют мало от говорящего с нами, а <неразб.> от наших с ним связей. В устах одного и сама истина бывает подозрительна и кажется нам ложью, в устах другого и сама ложь представляется истинной. И посему думаю, что человек только при беседе начинающий думать, думает всегда пристрастно, следовательно, сей образ думать не есть братской, не есть каменщический, ибо каменщик удаляется от лицепрятия и ненавидит оное.

Ты говоришь: «надобно, чтобы мои мысли были возбуждены каким-либо предметом.» Согласен, (отчасти а не совершенно). Но, дражайший друг, все вышепомянутые отвлечения вкупе, сам я и *первый всего родник** не есть ли предмет безпрестанно нам присутствующий? И может быть во всей нашей жизни единое токмо моновение ока, в которое бы мы могли сказать по совести: теперь не имею, теперь нет предо мной никакого предмета?

Говоря об отрывках помню твердо сказанное св. ап. Павлом: «Видим бо ныне, яко же зеркалом в гадании. Тогда же лицом к лицу. Ныне разумею отчасти, тогда же познаю яснее и познал бых». И так, касаясь сих отрывков, разумею, что я и самые сии отрывки мыслю отрывками. — Есть много невежд, злодеев, которые однакоже намереваемые ими предприятия обдумывают в связи: иначе не могли бы производить в действо хитрых своих козней.

Не можно оспаривать, и я купно с тобою верю, что все сие есть дар божий.* Но, мой дражайший брат, вопрошается: употребилили мы дар сей, или оставили в недействии? Уподобились ли мы рабу, приявшему пять талантов и приобретшему на них другие пять, или тому, который прияв один талант, зарыл его в землю? Страшно мой друг! Уверен также, что мы не можем произвести ничего нового, чего не вложил в нас создатель, но вопрошается: обнаружилили мы то, что вложено в нас, и вложено точно с сим намерением, или зарыли под груды всякие нечистоты, собираемой нами от всюду? Человек, подобный мне, подобен бриллианту покрытому еще корою, который ежели не будет обнаружен не имеет никакой цены. Уверен и в том, что без бога все наши труды суть ничто, но сам он повелевает нам содействовать ему. Мне кажется, что все отрицательные добродетели суть наше дело, а действующие суть дело божие. Поелику противимся порокам, по толику получаем свыше силу побеждать их, и по столклу *всевышнего десница** посевает в нас истинные добродетели.

Но мой друг, я заболтался и наскучил тебе моими бреднями. Извини ежели найдешь меня вздорного. Помни, что я слабый, в грехах утопающий человек.

Стихи кажутся мне нового стихотворца Лорда Рамзея, или по просту сказать Карамзина.

Поздравляю любезный друг с несколькими победами одержанными над мусульманами. Дай боже скорого, полезного и продолжительного мира, но доколе продолжается война,⁹¹ признаюсь в моей слабости, желаю победы. Особливо раздражен против Шведов.

Сердце мое <кипит> всегда подлость их правителя. — Не есть ли сие бить из-за угла камнем? Здесь окружен врагами нашего отечества. Не могу проникнуть сквозь толпу неприятных и часто безумных слухов, и для того желал бы узнать точно о нашей со шведами на море баталии.⁹² Все сие так на меня действует, что нередко рождается непреодолимое желание войти паки в службу. Андрея поблагодари и поцелуй неоднократно. Поцелуй и Александра.⁹³ Засвидетельствуй мое почтение Катерине Семеновне. Скажи ей, чтобы она не виндмахерила⁹⁴ и помнила Кутузенку, который ее любит. Прости, мой дражайший друг.

<Адрес:> Любезному брату Ивану Петровичу Тургеневу.

* Подчеркнуто дважды.

Ноября $\frac{4}{15}$ 1788 г.

Дражайший мой друг! Благодарю тебя за дружеское твое письмо, полученное мною от 10 Сентября из Синбирска, поздравляю с благополучным твоим прибытием в дом и в объятия твоих родителей. Дай боже тебе проводить время твое с пользою для тебя и твоих ближних. Зная, мой друг, твое сердце, я уверен, что ты по малой мере употребляешь к сему все твои силы, а правильнее сказать, стараешься употреблять их, ибо дерзко было бы подумать, да и непозволенное было бы ласкательство говорить, что ты действительно употребляешь все твои силы. Вот как мы часто говорим не одумавшись! Но, оставив сие, стану отвечать.

— Я коснулся старины для того, что иногда наводит она мне, ежели и не целые дни, то хотя некоторые смутные минуты. Писав же тогда, я точно был в сем состоянии. Впрочем, кажется мне, не бесполезно вспоминать прошедшие наши проступки, ибо действия тогдашних страстей, сопровождавшая наши погрешности, не существуя более, позволяют нам видеть одно токмо обнаженное деяние, и мы рассматривая оное, яко уже не принадлежащее нам, судим оное безпристрастнее. Таковое рассмотрение, ежели только управляется надлежащим образом, есть, по мнению моему, одно из целительных средств для уврачевания будущих наших недугов. Собрание таковых замечаний составляет (позволь употребить уподобление) карту, означающую все подводные камни. О коль щастлив, коль благополучен тот, который справляется почаству с нею! Удержав твердо в памяти все опасные места, тем удачнее может править своею ладьею, не так часто будет подвергнут кораблекрушению. Ты говорил, что наши переводы производили токмо часовые или суточные неудовольствия. Верю мой друг, что ты говоришь правду. Не позволю сказать: Мне кажется, все мы судим о таковых часовых неудовольствиях весьма легко, забывая что всякое действие соделывается (пока) причиною и что хоть оно и проходит, но не прежде, как оставив по себе следы. Се суть залеченные раны. Правда, бываю из них такие, которые совсем не приметны — точно сего рода были наши — однакоже, верь мне, что они существуют. Для изъяснения сего расскажу тебе мое приключение:

«Прошлою зимою, упражняясь в писании, удалось мне очинить перо мое отменно от прочих дней; а как ты знаешь, что сие бывает со мною весьма редко, то я, быв им чрезвычайно доволен, и стараясь чтобы оно могло служить мне сколь можно долее, писал им с особенною осторожностью, однако же при всей моей осторожности оно притупилось. Я взял мой ножик, присек конец моего пера так тонко, что почти не мог заметить сего действия; перо мое начало писать так хорошо, как и прежде. По некоторых минутах притупилось паки. Я повторил мое действие несколько раз и всегда с успехом, наконец, в последний раз присек с такою же тщательностью, как и в прежние разы, но что же? Перо мое сровсем уже не писало!

«Любезный друг!» Сердце мое содрогнулось, ибо в самую сию минуту, как будто бы кто сказал мне в ухо: Сие перо есть точное изображение человека, дающего волю своим страстям. Немножко! Ведь это ничего не значит! Может ли от сего произойти, какое либо действие? Вот слова, которые мы употребляем обыкновенно. Но здесь представилось мне живо и вещественно, что и самое сие немножко имеет свои пределы; иначе все сии «немножки» исчезая без всяких следов, доказали бы нам, что называемое нами конечное есть безконечно. Здесь само естество без всяких предварительных умствований и размышлений доказало мне, что всякое таковое немножко есть таково, токмо в отношении к настоящему времени, но в рассуждении прошедшего, а еще более в рассуждении будущего, есть велико и важно, и что не понесет ли нас оно когда либо к тому пункту, к которому пришло мое перо».

— Не думай, мой друг, что все сие есть одна токмо моя выдумка на сей случай; нет! сие точно было со мной, я тот же час записал тогда сие приключение, и мысли родившиеся от оного. Я тогда же произнес следующие слова: «О боже мой! коlikою благодарностью я обязан тебе! и самыми нечувствительными вещами соизволяешь ты наставлять нас и показывать нам наши должности, а некоторым образом и самое будущее наше положение. Даруй же нам и желание и силу воспользоваться сим действительнейшим и сильнейшим твоим учением!» Безместная моя скромность происходила из двух источников. Ты знаешь запутанность компанейских дел; известно тебе, что большая часть из нас не имела чистого о ней понятия; изъяснения, делаемые нам о сих делах, были весьма недостаточны так сказать единые токмо отрывки, которых я не мог связать; и следовательно я был более нежели невежда, ибо многое зная, ничего не знал. В наших собраниях слышал множество различных мнений, некоторые из них, и сие очень часто, были совсем чужды нашим делам, кратко, все смотрели из различных точек, и каждый предлагал отменную цель <?> иметь, нежели другие: и так что же мог я говорить по моей совести? Соглашаться с кем бы то ни было,⁹⁵ не зная на что, или спорить, не зная против чего? Казалось мне неприлично. Делать догадки, выводить следствия из неизвестной мне причины? — Казалось мне непозволительно, — итак, я положил молчать до того времени, как получу яснейшее понятие. К сему присоединим опыт, что все наши споры поддерживались и опровергались с жаром и досадою. Главное же дело состояло в том: Я слышал многократно, что все сие дело представляли нам частию **главного нашего дела,*** признаюсь, сие представлялось мне всегда непонятным, сердце мое противоборствовало сему предположению, однако же, зная мое невежество в **главном деле,*** я не доверял самому себе и утешал мои сомнения, но самое сие не допускало меня действовать. Ибо я думал: Ежели ты начнешь действовать, не зная дела, ежели ты будешь утверждать или опровергать предлагаемые средства, то легко можешь по твоему невежеству, погрешить противу **главного дела,*** вот мой друг, первый источник который может некоторым образом и извиниться. Но другой неизвинительный источник был моя мерзость. Сначала моего приезда⁹⁶ был я несколько раз окровенен.⁹⁷ Сие было принято худо; истолковано и того еще хуже, а сие сделало меня воздержнейшим. Примечаемая мною ко мне недоверчивость и скрытность произвели во мне досаду; сие возбудило мою гордость, представшую глазам моим под личиною благоразумия; я думал: На что умножать огонь, который и без того горит? На что подвергать себя презрению? Сие может разлучить нас навсегда. Я рассуждал так, забывая, что гордость не побеждается никогда гордостью, и что смирение и искренность должны быть всегдашними нашими спутниками. Так то, любезный мой друг, ослепляем мы самих себя и, утопая в мерзости, думаем быть благоразумными! Но прервем сию неприятную материю и будем молить всевышнего, да вселить в наши сердца дух согласия и единодушия, дабы мы, возродив в нас любовь, могли прославить любовь.

Мне кажется, любезный мой друг, что мы при начале нашего обращения, приметя нашу дурноту и пороки, и видя, что большая часть оных находится в связи со внешностью, ибо мы ищем во внешности не только забавы, но и самое благополучие наше полагаем в ней; всегда сие говорю, соделываемся весьма несправедливыми и, обвиняем во всем натуру, забывая, что бог произвел <?> натуру ради человека, а не человека ради природы, забываем и сказанное богом Адаму: **Проклята земля в делах твоих.** Вникая несколько по-далее, найдем, что человек, нося на себе проклятие, распространяет оное и на всю натуру (я говорю здесь о мире и о сущем в нем). Натура не была никогда на таком высоком степени, не пользовалась никогда себе сею первейшей и величайшею милостью, то-есть способностью грешить, следовательно и не могла подвергнуться наказанию, а еще того менее про-

* Подчеркнуто дважды.

клятию. Натура сама по себе одна и самая таже, может быть токмо, одни ее свойства вышли наружу, другие вступили внутрь. Все ее действия на нас суть следствия или доброты или худобы человеческия. Проклятие ее бывает всегда соразмерно проклятию человека, вообще, и каждого почастно. Человек преимущественно всем своим сотворен, он один одарен способностью грешить — способность составляющая истинное наше величество! — и следовательно увеличивать или уменьшать носимое нами проклятие, натуре же повинно следовать действиям своего владыки. Бывать во всякое время сообразно ему. Здесь, для избежания всякого недоумения, должен я изъясниться. Говоря сим образом, ни мало не думаю чтобы человек мог применить существо натуры. Нет, мой друг, таковое мнение не помещается в мою голову. Творец всяческих создал все мерою, числом и весом. Все находится в совершеннейшем порядке и стройности. Каждое существо получило приличные ему свойства, которых никто не может применить. Например, огонь, доколь пребудет огнем, будет всегда жечь; вода, доколь пребудет водою, будет всегда мочить. Сии свойства имеют в себе магнетическую силу, привлекающую к себе свойства им подобные и как скоро найдут их, так скоро начинают действовать, и чем ближе их сходство, тем теснее и продолжительнее их соединение. Еще того менее думаю я, будто человек может управлять светилами или звездами небесными; они всегда действуют и будут действовать согласно тем свойствам, которыми одарило их существо все сотворшее. То же думаю и о духовных существах, которые нас окружают. Итак под ее пременами разумею единственно те, которые относятся к человеку: то есть каков человек, таковы и действия имеет на него натура, и таковым образом на него действуют сии действия — Ежели сие справедливо и простирается гораздо далее, нежели мы думаем, в чем я ни мало не сомневаюсь, помня слова священного писания: с преподобными преподобен будещи и со строптивыми развратишися. Каков народ таков будет и бог его, то скажи сам, какое право имеем мы обвинять натуру? Какое право утверждать, что внешность причиною нашего развращения? Иаков Беме⁹⁸ говорит: «Ангелы и диаволы находятся неподалеку друг от друга; однако же Ангел, быв посреди Ада, находится в Раю и не видит Ада; тако же и диавол, быв посреде Рая находится в Аду и не видит Рая». Сии слова, ежели не ошибаюсь, подтверждают мое мнение. Ах! мы точно поступаем по российской пословице «с больной головы на здоровую». Скажут мне, мы видим такое множество наших сочеловеков, да себя самих ощущаем видимых и правильных внешностью, отчего ж сие происходит? От самого человека. Он сам покаряет натуру а не натура покаряет его. Один великий писатель называет наши чувства советниками. Каждый из них по своей экспедиции приносит предложения свои в общий совет — в голову. Председатель их есть дух сердца, ежели совет сей найдет предложение для всех полезным, то он приемлет, ежели нет, то отмещается. Сие заставляет меня думать, да, я почти уверен, что внешние предметы ни мало не виноваты в наших проступках, но истинные причины оных лежат в самом человеке. Мы видим сему ежедневные доказательства, как в физическом, так и в нравственном мире. Одна и та же вещь, например А, смешанная с двумя иными В и С, с каждою порознь, АВ, АС, производит разные действия $\theta \square \text{г}$ положенное в Δ (перегнанная дистиллированная вода) не производит в цвете ее никакой перемены, она остается чистою. В ∇ pluv (дождевая) вода делается, хотя и не приметно, однакоже мутною; в ∇ crud. (сырая) вода получает почти молочный цвет. От чего же сие? $\theta \square \text{г}$ действует везде одинаково, но

действия суть различны? Самое то же и в нравственном мире, одно происшествие видимое разными особами, производит на них различные действия. Например, три человека идущие прогуливаться, встречают двух злодеев, нападающих на одного прохожего, стараясь лишить его жизни и потом его ограбить; увидя сие, один из прогуливающихся приходит в великий страх и ужас, оставя всех прочих, бежит стремглав домой; другой останавливается,

воздыхает, плачет, смущается и пребывает недвижим; третий вынимает свою шпагу, стремится на помощь несчастного и, подвергая себя опасности, спасает жизнь прохожего. Не один ли предмет представлялся прогуливающимся? Не на всех ли трех действовал он посредством зрения? От чего же в них такое различие? От того, что они сами различны. Ежели не ошибаюсь, сей последний пример показывает нам ясно, как все, находящиеся вне нас предметы, суть по большей части невинны в том, что мы делаем, ибо действуют на нас не иначе, как сообразно собственному нашему состоянию. Мы видим, что одна и та же речь добродетельного человека производит различные действия, одному приносит пользу, другому вред, третий остается равнодушен. Но к чему распространяться мне в примерах, не изъясняет ли нам сие сам наш спаситель притчею о сеятеле, Матф гл. 13 ст. 4 и пр? Так, мой друг, перестанем сомневаться, и согласимся со священным писанием, что все сотворенное богом есть **добро*** и **красно.*** Но каждое из сотворенных имеет свою цель и свое определение, следовательно ежели входящее нашими чувствами употребили согласно сей цели и сему определению, то действия наши будут полезны и богоугодны. В противном случае злы, вредны и богопротивны. В обоих же случаях внешние предметы не применяют своего существа и суть самые те же. Один Автор говорит: «О сыне человеческий! ведай, что в небе нет пред богом греха, в тебе самом находится он: и сии то грехи разлучают нас с нашим богом. Впрочем все твердо и по собственному своему существу добро. Царство Ада и Гнева сами по себе в своей области так же добро. Точно также и царство сего мира само по себе твердо и добро.

Каждый человек свободен и есть якобы собственный свой бог, находясь в сей жизни, может он претвориться и в гнев и в свет. Кто в какую одежду облечется, в той и преобразится. Какое тело посевает такое и возрастает, хотя и в иной форме и в иной светлости. Однако всегда сообразно свойствам семени.

Что препятствует злочестивому обратиться? Мечь гнева Ангельского Херувима. Сего не хочет преломить он, ибо приятен ему блестящий и покойный мир в груди его, плоти и крови. Он не хочет преломить своего разума, хотя и состоит сие в его власти. Как же скоро преломит разум свой, толь скоро Бог повлечет его Христом ко Отцу, и в тот же час разбирается он в Божие чадо; из образа Змии претворяется в образ Ангельский».

Нам, кажется мне, позволяется менее всех утверждать сему противное. Не учат ли нас, не твердят ли нам ежеминутно, да и сами мы не имеем ли беспрестанно в устах наших? Познавай творца твоего, посредством природы и самого тебя. Но ежели мы не хотим употреблять наших чувств, то чем же, какими же орудиями будем рассматривать и читать великую творения книгу? По малой мере я признаю здесь мое глубокое невежество. Согласившись в сем (я не думаю чтобы ты стал противу сего спорить) пойдем далее. Чтобы внешние чувства не действовали на нас, сего не может быть. И так они действуют и будут действовать. Здесь напомним вышесказанный совет: впечатления приносятся пред судилище разума, сие прилежно свое мнение препровождает выше, к уму и совести. Сии, учинив то же, отправляют в судилище сердца и воли. Здесь уже полагается окончательное решение, и для произведения в действо препоручается оное разуму. Но христиан и не довольствуется сим решением, ибо знает, что долговременное наше законсание в мерзостях было причиною тому, что всемилосердный наш создатель дал нам письменный закон, которого вторая часть проповедана возлюбленным его сыном, и во свидетельство достоверности запечатлена драгоценною его кровию; и для того прежде нежели что исполнять, справляется с сими законами; и, ежели не взирая на единодушное трех судилищ решение, найдет оное противным начертанному слову, то оставляет оное без всякого исполнения. Из сего кажется мне следует, что для

* Подчеркнуто дважды.

правильного употребления чувств и внешности надлежит воспитывать помянутых судей в училище слова.

Но чем же понимаем мы слово? Разумом. И так надлежит употреблять все наши силы для приведения его в настоящее, в желаемое, состояние, и сего ради каждый раз пред вступлением и по вступлении в сие училище, надлежит преклонять сердечные колени, повергнувшись долу, молить источника всякого разума да сам он благоволит вразумить нас и наставить, и тогда воля наша очистится и покорится высочайшей воле и <?> самым тем придет в состояние употребления и истинно внешние предметы, а из сего последует то, что мы будем владыками, а не рабами над внешностью. Вот кормило, не имея которого, мы не плывем, но носимся по пространному морю жизни.

Дражайший мой брат! Сие представляется мне действительнейшим средством к примирению, как ты говоришь, господства <неразб.> чувствами с нашим разумом. По малой мере я не нахожу здесь ничего противного разуму. Все дело состоит не в том, чтобы внешность на нас не действовала, а того менее, чтобы пременять существо предметов, но единственно в правильном употреблении их. Ты не любишь терминов, подобных употребленному мною негативная добродетель. На сие скажу, что сии термины суть почти необходимы, ибо суть термины технические (наипаче сие взято из математики, которую, нижайше прошу, не обижать), и одно слово изъясняет целую связь мыслей; признаюсь, я бы желал, чтобы единое слово изъяснило целую большую книгу, лишь бы оно было разумеемо тем, с которым я говорю или к которому пишу; мне кажется ежели не обманываюсь, что таков был язык первых человеков. Следы сему видим в священном писании: Адам нарицая имена зверям каждого свойства и качества изображал единым словом, а ныне пишут о сем фоллянты и не могут ничего сказать ясно и обстоятельно; остаточек или некоторое подобие сего языка и поныне употребительно между братьями. Впрочем, верь мне, что обе крайности в глазах моих не похвальны, как употребление терминов некстати и без нужды, так и упрямое оных отрицание, затмевающие часто наши писания до такого степеня, что по прошествии некоторого времени и сами их не разумеем. Найди мне хотя одного истинного Автора, который бы не употреблял таких терминов; делать и составлять новые слова, когда имеем давно уже употребляемые есть почти недозволительно, но употреблять один раз в обыкновенные принятые, есть наша должность. У человеков был некогда язык, но между нами слова почитаю я не иными чем, как знаком, или монетою, которая уже состоит в общем согласии. Деньги наши бывают из бумаги, меди, серебра, золота. Между ними бывают полушки и сторублевые ассигнации. Не покойнее ли же выдать сторублевую ассигнацию, нежели самую же сию сумму отсчитывать полушками? Что нам нужды до слов, будем стараться о вещах, означаемых ими. Издалеча завелось: притянутая простота перестает быть простою. Быть просто, а не казаться простым, вот мое правило. Но доколе я сам не буду прост, дотеле и все мои деяния будут не просты. Не быв же просто, и принимать простую наружность напоминает мне сказанное Юнгом о гордости: «Иные, говорит он, идут в церковь гордяся смущенным своим покаянием и возвращаются худшими, нежели пошли. Очи их смотрят вправо, а ноги идут влево. Они молятся на небо, но желают, чтобы молитву их услышали человеки; ежели только захотят они искренно пересмотреть свои грехи, то увидят, что их религия была грех.» Ты требуешь, мой друг, от меня того, чего мы все стараемся некогда достигнуть, в чем да поможет нам Господь Бог. Но я опасаясь, наскучить тебе моим болтанием, в котором может быть найдешь много вздору и ложного, и для того окончу мое письмо. Целую тебя сердечно. Прости, мой друг, пиши и не забывай меня. Скажи пожалуйста, где Петр Петрович? Ты ничего о нем не пишешь, сам он молчит, истинно я беспокоюсь о нем. Не сердит ли уже он на меня. Однако же ты поцелуй его за меня.

(Р. С. чтобы ты, приняв мое мнение в неправильном смысле, не осудил меня невинным образом, нахожу за нужное, тебе сказать еще слова два три. Ежели я утверждаю что чувства и внешние предметы невинны в наших грехах, то не заключаю из сего, что я писал их Апологию. Нет, мой друг, ежедневные, ежеминутные опыты дают мне чувствовать, сколь опасно полагаться на них, ибо они суть орудия, которыми действует на нас зло, и действует весьма сильно, так что человек сам собою не может противустать им, но сие не должно приводить нас в отчаяние; ибо самые сии чувства могут быть и орудиями благодати божия НВ в обоих случаях суть они орудия. Они могут быть вратами истинные сладости, ежели токмо воля, управляемая нами, обратится к творцу и в нем едином будет искать своего спасения Иисус Христом; ежели все наше здание будем основывать в вере, любви и надежде, ежели Спаситель нам будет единственным нашим начальником, вождем и учителем. Что они теперь не производят сего, сие весьма естественно, ибо воля дала нам полную свободу и делает все то, что через них приходит от злого источника, а по часту и сам привлекает и направляет их ко злу. Впрочем, мы должны здесь сражаться и пробиваться тесным путем. Победителю токмо назначен венец. Крест и христианин суть неразлучны. — Не доверяю также и моему разуму, зная, что он часто обманывает, но не смею и презирать его, он есть дар божий, покоряя его **вере, любви и надежде**,* найду в нем споспешника на моем пути, по которому желаю идти по стопам моего **учителя**.* Я почитаю за должность воспитывать и усовершенствовать мой разум по словам святого Павла: «братие не дети бывайте умы, но злобою младенствуйте, умы же совершени бывайте». В заключение скажу, что надлежит держаться середины: кто преступит 9,⁹⁹ тот ниспадет глубже нежели, где был он прежде.

№ 13.

Берлин 1797 Февраля $\frac{17\text{-го}^{100}}{28}$

Дражайший друг и брат Иван Петрович.

Сколь ни несносно мне горестное мое положение, но перемена в нашем любезном отечестве происшедшая и произведшая еще большую в положении особ толико близких моему сердцу, восхитили меня такою неизреченною радостью что я забыл на некоторое время мои собственные бедствия и в мыслях моих ликовал с вами возлюбленные друзья мои. Дивны дела твои Господи! Судьбы твои неисповедимы суть! Возблагодарив во-первых виновнику всяческих, поздравляю тебя, сердечный мой друг, с обретением твоей свободы, с повышением чина, а наипаче с достижением столь уже давно желаемого тобою места, ты получил оное, точно в такое время, в которые, думаю, уже навсегда отчаялся действовать как либо на поприще политическом. Бог да благословит твои подвиги, клонящиеся ко благу и на пользу российского юношества, а самым тем и нашего любезного отечества. Зная тебя, мой дражайший, уверен, что ты посвятишь все твои силы на сей конец, и без всякого сомнения не останутся труды твои без успеха.¹⁰¹ Помня безпрестанно Творца всяческих, и имея ползу отечества и вверенных тебе твою целию и самые твои труды претворятся тебе в сладость и веселие. — Есть ли нет вам затруднения переписываться со мною, то уведошь пожалуйста обо всем обстоятельно. Четыре уже года как от всех вас не получал ни единые строчки. Зная меня ты можешь судить, сколь страдало от сего чувствительное мое сердце. — Я писал к моему брату, чтобы он деньги переслал на тебя, тебя же любезнейший, прошу и молю ни мало не мешкав, как скоро получишь их переслать на меня, я в такой крайности, что иногда бываю без пищи;

* Подчеркнуто дважды.

все уже продано или в закладе, остались одни только книги, до которых, ибо суть собственность всего нашего общества, не коснулся и в самой моей крайности. Попроси и общих наших друзей, князь Николая, и князь Юрия Никитича,¹⁰² о доставлении мне коль возможно скорее давно уже обещаемой суммы, дабы, получив позволение, возмог неукоснительно возвратиться в мое отечество. Одно утешает меня в моем нещастии, сознание, что есмь жертва любви и дружбы... Ветрогонной, Катерине Семеновне, ежели еще не забыла Кутуза, мое искреннее сердечное почтение, деток твоих поцелуй, также любезного моего Космана, ежели он с тобою. Харитона Чеботарева поцелуй. Прости, любезнейший друг; нетерпеливо ожидаю той минуты в которую смогу прижать вас к моей груди. Прости. Дай боже вам всякого благополучия, не забывайте верного вам его друга Алексея Кутузова.

№ 14.

Сент<ября> 9го по нов<ому> ст<илу>.

Дражайший друг Иван Петрович.

Зная тебя дражайший, милый друг, знаю что твое нежное чувствительное сердце, и единый раз тобою дарованная (хотя может быть и не по достоинствам) дружба независит от обстоятельств и не подвержены переменам и для того говорю я тебе прямо обыкновенным моим языком и уверен, что через сие не подвергаюсь ни малейшей опасности. Скажи любезный друг, что сделалось с общими нашими друзьями, и чем имел я несчастье заслужить такое от них нерадение? Сколь мне ни болезненно поносное мое положение, но признаюсь, что и они в глазах моих не менее жалости достойны, а всякому со стороны смотрящему человеку покажется, что я умышленно принесен ими в жертву, хотя впрочем и не знаю, что они лишением меня чести и конечным меня разорением, могут приобрести. Прогиву моей воли отправлен ими, — довольно, кажется, доказательства моего к ним дружбы и моего повиновения; за сие ли в награду теперь ими совершенно оставлен, до того, что и самая моя крайняя нищета их не трогает? Я думаю тебе известно что посланы мои векселя; Иваном Владимировичем и Походящим, равно как и Князем Юрием Никитичем акцептованы (?), но что же из сего воспоследовало? Все пришли назад с протестом. Но оставим сие. Уведомь меня пожалуйста, чего мне от них надеяться. Между тем прошу тебя купно с Иваном Владимировичем отослать мое письмо к брату и постараться о переслании денег через контору Дикенсон на имя Ивана Ивановича Шварца.¹⁰³ Пожалуйста не оставь меня без ответа и, верь мне, что я есмь искренний твой друг Алексей Кутузов. <На обороте рукой И. П. Тургенева> 27 Ноября нынешнего 1797 скончался Алексей Михайлович Кутузов после 7 дневной горячки в Берлине и так сие последнее его письмо.

Примечания.

¹ Река Москва — правый приток Днепра.

² М. И. Голенищев-Кутузов впоследствии фельдмаршал — князь Смоленский (5 сент. 1745 — 16 апр. 1813), в те годы (1782—1783) был командиром Луганского пикинерского полка, в котором служил и А. М. Кутузов. У последнего с семьей М. И. Кутузова установились очень дружеские отношения. Семья Голенищевых-Кутузовых была в дружеской переписке и с семьей И. П. Тургенева.

³ Кантины — с французского *cantine-petit, coffre divise par compartiment* — принадлежность военного снаряжения.

⁴ Бибиков — возможно, подразумевается Юрий Богданович, совершивший неудачный поход на Анапу, в службе с 1760 г., в 1779 г. генерал майор, участник 1 и 2-ой Турецкой войны — 1812 г., или масон А. И. Бибиков.

⁵ Война с Турками — начиналась собственно не война, а передвижения войск, которые были связаны с захватом в 1783 г. Крыма.

⁶ Катерина Семеновна Тургенева, жена Ивана Петровича, рожденная Качалова (1755—1824).

⁷ Хондра-хондрия-гипохондрия — душевное состояние, которое очень часто переживал Кутузов и о котором он часто упоминает в своих письмах. Екатерина Семеновна Тургенева даже его называла «Хандра», и он в письмах к ней иногда называет себя «Хандра».

⁸ Одна из важнейших и первейших задач масона была — познать себя. В эти годы (1782—85) Кутузов систематически и усердно занимался самопознанием, прослеживая свои переживания и оценивая их. Следы этой внутренней работы отразились в издаваемой переписке и в примечаниях к «Ночам» Юнга, которые Кутузов переводил в 1782—83 годах. См. Ночь 1-ая, пр. 10, стр. 11—12.

⁹ Кутузов в эти годы служил в Кавалерийском пикинерском Луганском полку под начальством М. И. Голенищева-Кутузова.

¹⁰ Эпиктет (стоик I — начала II ст.) был в это время постоянным чтением Кутузова. Ссылки на него встречаются и в примечаниях к «Ночам». (Том I, стр. 294, стр. 388 и т. д.).

¹¹ Кутузов ранним летом (в мае-июне) побывал в Москве и вел с Н. И. Новиковым и другими московскими масонами переговоры об окончательном переезде в Москву и посвящении себя всецело масонской деятельности. Переговоры эти были связаны с денежными расчетами. Денег у Кутузова не было, и чтобы получить их, он решил продать деревни, которые получил в наследство от матери. Деревнями этими он владел совместно с братом Федором Михайловичем.

¹² Шутливое обвинение Новикова в спеси — форма дружеской жалобы на его неаккуратность как корреспондента.

¹³ И. Б. Пестель — московский почт-директор, перлюстрировавший переписку масонов. Сборник перлюстраций для кн. А. А. Прозоровского и был тем материалом, который не весь издан «Русской Стариной» в 1874 и 1896 г. Часть его хранится в архиве ИРЛИ. В нем есть неопубликованные письма И. П. Тургенева и реестры Пестеля. По его же перлюстрациям издана книга Я. Л. Барскова.

¹⁴ Кизиль-Жермен — Красная крепость на Днепре, позднее Борислав; «обе губернии»: тогдашние Екатеринославская и Новороссийская.

¹⁵ Луганск, см. примеч. 33.

¹⁶ Хан — крымский хан Саиб Шагин Гирей, последний крымский хан, отрекшийся за пенсию в 200.000 р. от ханства в пользу России.

¹⁷ Очаков в XVIII веке — опорный пункт турецкого владения на северном берегу Черного моря. У русских с турками шла из-за него длительная борьба. В 1770 году 26 июня князь А. А. Прозоровский одержал под Очаковым победу над турками, а 10 сентября командовавший гарнизоном крымский хан сделал отчаянную вылазку, поставившую русское войско в критическое положение. Особенно отличались янычары, и если бы не распорядительность Прозоровского, дело было бы проиграно. Благодаря его энергии турки были наголову разбиты. 6-го декабря 1788 г. после кровопролитнейшего штурма Очаков был взят русскими.

¹⁸ Граф де Бальмен Антон Богданович (1741—1790) участник турецких войн, завоевания Крыма и Северного Кавказа.

¹⁹ Князь — кн. А. Прозоровский.

²⁰ Командир полка — М. И. Голенищев-Кутузов.

²¹ Посланное с курьером Сукачевым, упоминаемым в письмах № 1 и № 2.

²² В:О — масонские иероглифы. Данные значки обозначают Теоретический градус. Шварц с конгресса в Вильгельмсбаде (близ Ганау, с 16 июня по 23 августа 1782 г.) привез признание России VIII провинцией старого наблюдения и розенкрейцерство, признаваемое им за «истинное» масонство. Первой степенью розенкрейцерства был юниорат, второй — теоретический градус. Выше его было членство в Ордене Розенкрейцеров. В розенкрейцеры

в Германии был принят один Шварц; остальные должны были подать прошения о принятии их в Берлинский капитул. Их подали: Н. И. Новиков, А. И. Новиков, И. П. Тургенев, С. И. Гамалея, В. В. Чулков, И. В. Лопухин. Кутузова не было в Москве, и за него прошение подал Н. И. Новиков.

²³ Гамалея Семен Иванович. В связи с признанием России в 1782 г. самостоятельной (VIII) провинцией в Москве во второй половине 1782 г. шла большая реорганизация масонства, законченная только в феврале 1783 г. Место великого мастера оставили вакантным. Сорганизовали приорат — высший орган провинции (после мастера). Приором VIII провинции назначили Петра Алексеевича Татищева (1730 — 10 марта 1810), московского масона с 1767 г., принявшего в 1779 г. «берлинское» масонство, мастера ложи «Трех знамен», а позднее «Гармонии», деканом — кн. Ю. Н. Трубецкого, генеральным визитором — кн. Н. Н. Трубецкого. Казначеем провинции был Н. И. Новиков, канцлером — И. Е. Шварц (1751—1784), генеральным прокуратором — кн. А. А. Черкасский. В Директории VIII провинции приором был Н. И. Новиков, членами В. В. Чулков, И. П. Тургенев, Я. Шнейдер, Ф. П. Ключарев и Г. П. Крупенников. Директория управляла ложами розенкрейцеров посредством двух капитулов: «Коронованного Знамени», которым ведал П. А. Татищев, и «Латоны» под ведением кн. Н. Н. Трубецкого. В Москве под их руководством работали ложи: Девкалиона, Светоносного Треугольника, Астри и Св. Моисея. В 1782 г. С. И. Гамалея был мастером в ложе Девкалиона, следовательно членом этой ложи считался Кутузов (См. Лонгинов, Новиков, стр. 167 и сл., Вернадский, Русское масонство, 54—55). Здесь между тем, что пишет Кутузов, и существующей исторической литературой какое-то несогласие: Лонгинов в книге «Н. И. Новиков и московские мартинисты» (стр. 167), говоря об организации московских лож в 1782 г. называет ложи-матери: 1. Лотона, 2. Коронованного Знамени. В числе подведомственных им лож он называет «Девкалиона» с мастером стула Гамалеем и «Светоносного Треугольника», где мастером стула был А. М. Кутузов. Непонятно, как в таком случае Кутузов мог работать «под молотком» у Гамалея, и почему он называл его своим «мастером».

²⁴ Генеральный Конгресс — съезд в Вильгельмсбаде.

²⁵ □ Гар<монии> — «Тайная сиенцифическая ложа Гармония», основана в 1780—81 г. Н. И. Новиковым, И. Е. Шварцем, кн. Н. Н. Трубецким и А. М. Кузузовым. Через нее, при посредстве П. А. Татищева, московские масоны вступили в сношения с немецкими.

²⁶ Ученое общество — Дружеское ученое общество. — главная филантропическая и просветительная организация московских масонов, возникшая в 1779 году, оформленная в 1781 г. и открытая официально в ноябре 1782 г.; позднее из нее выделилась чисто розенкрейцеровская Типографическая кампания.

²⁷ С. П. А. Татищевым у розенкрейцеров были очень сложные счета. Он играл большую роль и в ложе Гармонии, и еще большую при организации VIII провинции. Он «вздорил» и до 1782 г., отчего его не желали принимать в ложу Гармонию и сделали это лишь по настоянию И. Е. Шварца. Очень крупные пожертвования в пользу масонских организаций («большую часть своего крупного состояния»), на которые он пошел под влиянием Шварца, делали его полезным для розенкрейцеров, но его личные свойства отталкивали их от него.

²⁸ Кутузов в июне, т. е. за три месяца до дня, когда он пишет, побывал в Москве, быть может, для участия в праздновании Иванова дня, главного праздника масонов.

²⁹ И. П. Тургенев служил на военной службе и был в действующей армии в I Турецкую войну (с 1772 по 1776 г.), но с 1777 г. поселился в Петербурге, затем в Москве. В отставку вышел лишь в 1789 г. в чине бригадира.

³⁰ «Устроение жизни» Кутузова осуществилось вступлением в Типографическую кампанию, в которую он внес капитал, полученный им от продажи

материнских наследственных деревень. Кроме того он выполнял обязанности редактора в переводческой семинарии (основанной в 1782 г.) и сам переводил для печати книги масонского или нравоучительного характера. «Одна горница», о которой он упоминает — помещение от Типографической Кампании, которым он пользовался в доме кампании, где жили и С. И. Гамалея, и А. А. Петров, а позднее (1785 г.) — и Н. М. Карамзин.

³¹ Анна — Анна Михайловна Голенищева-Кутузова (20 сентября 1782—1846).

³² У Кутузова было несколько таких «невест» — маленьких девочек. В данном случае он говорит о старшей дочери М. И. Голенищева-Кутузова, Прасковье Михайловне (род. в январе 1777), вышедшей впоследствии замуж за Матвея Федоровича Толстого (29 марта 1772 — 20 ноября 1815) позже — тайн. советн., сенатора, камергера.

³³ Слобода Луганская = станица Луганская = село Луганское, позднее Павлоград. Основан в 1764 г. после уничтожения старой украинской линии укреплений; был штаб-квартирой Луганского полка. В 1780 году близ села Луганского поставлен Шанец Павлоград. В Луганске Кутузов строил себе дом, который заканчивали в 1783 г.

³⁴ Так назвал Кутузов Н. И. Новикова.

³⁵ Юнг Эдуард (1681—1765) — английский поэт. В 1740 г. смерть жены и падчерицы глубоко его опечалили. Под влиянием этого горя он создал замечательное произведение, оказавшее значительное влияние на литературу всех европейских стран — «Ночные размышления, или плач». Оно положило основание сентиментальной поэзии, так называемого «кладбищенского» направления. У нас в XVIII — начале XIX века было несколько изданий «Плача». Кутузов в 1782—83 г. перевел прозой все 9 ночей «Плача» с обширными примечаниями. Книга вышла в 2-х томах в сопровождении поэм «Страшного суда и Торжества веры над разумом» того же автора в 1785 г. изданием Типографической Кампании в Типографии И. В. Лопухина.

³⁶ Кутузов упорно и тщательно работал над исправлением текста. Ниже он приводит первоначальную редакцию начала последней IX Ночи.

³⁷ Эти примечания, переведенные с немецкого издания «Плача», в целом составляют до 140 страниц печатного текста (петитом) в 8°. Они написаны на основании хорошего знания священного писания ветхого и нового завета, философских трактатов XVII — XVIII века, классической древности и литературы.

³⁸ Этого посвящения в печатном издании нет:

³⁹ Новиков часто брался за лечение разных болезней, как, впрочем, и другие масоны. Розенкрейцеры имели в Москве очень хорошую аптеку, лекарства из которой бедным отпускались бесплатно. Порошки Болотова — Болотов (Андрей Тимофеевич) известный автор «Записок», также много занимался врачеванием и писал о нем.

⁴⁰ Екатерина Семеновна по старому стилю была именинницей 24 ноября.

⁴¹ Тейлс — де Тейлс, Игнатий Антонович, близкий к розенкрейцерам человек. Его в августе 1783 г. Н. И. Новиков рекомендовал как хорошего масона А. А. Ржевскому.

⁴² «Беседы Василия Великого Архиепископа Кессарии Капподакийской на шестоднев», Москва, 1782; Сопиков № 2206. «Путешествие Добродетели или странствования по свету юного китайского царевича с философом, предводительствовавшим и поучавшим оного». Перевод с немецкого. Обе части вышли в 1782 в Москве. Сопиков № 9184.

⁴³ Иван Владимирович — И. В. Лопухин.

⁴⁴ Петр Петрович Тургенев.

⁴⁵ Оплата Н. И. Новикова производилась в связи с просветительными и благотворительными учреждениями масонов. На Кутузова эта сторона деятельности московских лож всегда производила тягостное впечатление. Он не мог разобратся в запутанных делах несомненно очень сложного хозяйства. Из письма И. П. Тургенева, как видно, Кутузов заключил, что

личные денежные дела Новикова в плачевном положении, и предлагал свои скудные средства в помощь ему.

⁴⁶ Кутузов правильно называет себя человеком небогатым: он владел очень небогатым родовым (отцовщиной) имением совместно с братом Федором, дававшим ему в год 500 рублей дохода, и деревушками, унаследованными от матери. Их-то он и делил с братом. После их продажи и уплаты долгов он внес в капитал Типографической компании не более 1500 рублей. При ликвидации Типографической компании в 1791 г. кн. Н. Н. Трубецкой сообщал Кутузову: «Наши положенные капиталы нам возвратили по чему и пришлось твоего капитала с процентами тысяча пятьсот двадцать пять рублей» (Неизданные письма и перлюстрации. Архив ИРЛИ, фонд Русской Старины. Переписка Кутузова. Письмо от кн. Н. Н. Трубецкого. 20 Ноября 1791 г. № 27).

⁴⁷ П. А. Татищев, мастер ложи «Трех Знамен», с 1781 член ложи «Гармония», позднее розенкрейцер. До 1781 г., да, как видно, и позже отношение московских масонов к Татищеву было отрицательное. Шварц сблизил Татищева с новиковским кружком и добился принятия его в ложу Гармонию. Татищев дал средства Шварцу для поездки за границу; ложа Гармония, быть может, тоже при содействии Татищева, дала на это дело 1000 р. Шварц ехал, сопровождая за границу сына Татищева.

⁴⁸ Чулков В. В. — внучатый племянник генерала аншефа Василия Ивановича Чулкова, бывшего метр де гардероба Елизаветы Петровны; сын Василия Егоровича Чулкова. Розенкрейцер с 1782 г. Входил в Директорию VIII провинции в качестве члена ее «Eques a pila» (с февраля 1783 г.). Кутузов знал его издавна, еще с 1776 г., по работе в ложе «Латона» системы Рейхеля. Характеристика, данная здесь Чулкову, подтверждается тем, что нам известно; он был деятельным членом Типографической компании и внес на учреждение ее значительную сумму.

⁴⁹ Князь Алексей А. Черкасский — розенкрейцер, генеральный прокуратор VIII провинции *eques ab aequitate*. Принят был в розенкрейцеры, как это видно из данного письма, в 1782 (У Вернадского «после смерти Шварца», т. е. в 1784 г., «Русск. масонство», стр. 73). Принимал деятельное участие в организации Дружеского ученого общества и других мероприятиях масонов.

⁵⁰ И. П. Тургенев извиняет Новикова в том, что он не пишет. Между Н. И. Новиковым и А. М. Кутузовым шла деловая переписка по поводу переезда Кутузова в Москву. Новиков писал редко и мало, Кутузов неоднократно упоминает, что пишет длинное письмо Новикову, и упрекает его в лени и в том, что он не отвечает на письма.

⁵¹ «Программа» — надо полагать, программа открытия Дружеского Ученого Общества, состоявшегося 6 ноября 1782 г.

⁵² «Вещь» — масонство, вернее, искание истинного пути к совершенной жизни — «великого таинства», или *Magisterium — magna opera*.

⁵³ Кутузов впоследствии не раз подумывал о возвращении в действующую армию, особенно в 1788—89 г., в период второй турецкой и шведской войны.

⁵⁴ Челобитную об отставке — Кутузов вышел в отставку с чином майора в 1783 г.

⁵⁵ Михаил Илларионович и Екатерина Ильинична Голенищевы-Кутузовы; у них был сын Николай (род. 1790), умерший младенцем, и дочери: Прасковья (впоследствии замужем за Толстым), Анна (род. 1782 г., в замужестве за Н. З. Хитрово. Сын Прасковьи унаследовал титул графа и фамилию Голенищев-Кутузов-Толстой), Елизавета (род. 1783 — 3 мая 1839, в первом браке за гр. Тизенгаузеном, во втором за Н. Ф. Хитрово — известная приятельница А. С. Пушкина), Екатерина (в первом браке за кн. Н. Кудашевым, во втором за И. Сорочинским), Дарья (22 декабря 1788 — 5 апреля 1854, замужем за Ф. П. Опочинным).

Прасковья Михайловна была очень привязана к А. М. Кутузову, называла его «Кутуз», а он ее своей невестой.

⁵⁶ В печатном тексте редакция иная, а именно: «Подобно как путешественник, употребляя многие труды, во весь должайший день искал напрасно мету желаний своих, постигнут ношью, бывает доволен первую попавшеюся ему хижиною, и, сидя в оной, размышляет о потерянном труде своем; потом подкрепляет истощенные свои силы тем, что посылает ему судьба его, оставшееся время провождает в песнопениях, доколе, будучи призван часом сна, не предастся он сладостному успокоению оною; так и я странствуя долго-временно на путях человеков, и чувствуя за кругом в голове моей, поспешно пробежал прочими путями чрез замешанный лабиринф сей, где необузданная надежда, осмеянная толиком множеством препятствий, скоропостижно посреде течения своего останавливается; так и я, слабыми вечерними лучами жития моего остерегаем прибегаю, наконец, под низкий кров, и находясь под оным, все будущие путешествия изгоняю из мыслей моих, ожидаю с терпением сладостного часа успокоения и немногие оставшиеся мне мгновения в важных пениях провождаю. Пение облегчает скорби наши»; — (Ночь 9 и последняя, «Утешение», Том II, стр. 240—241).

⁵⁷ Иван Владимирович Лопухин — главный надзиратель Теоретического градуса в Москве.

⁵⁸ Е. С. Тургеневой.

⁵⁹ Дальнейшие строки относятся к торжеству официального открытия Дружеского Общества, на котором Петр Иванович Страхов произнес заинтересовавшую масонские круги речь, а Ф. П. Ключарев — торжественную оду.

Петр Иванович Страхов — студент Московского Университета и переводчик, позднее — профессор Московского Университета, розенкрейцер.

⁶⁰ Ключарев Ф. П. (1751 — 1 июля 1822) В 1782 г. — прокурор Московского губернского магистрата, видный розенкрейцер.

⁶¹ Задача в связи с организацией Дружеского Общества.

⁶² Князь Г. П. Гагарин (1745—1808) — обер-прокурор VI деп. Сената. С 1776 года мастер ложи «Равенство» — масон «шведской системы». В 1777 году в Стокгольме посвящен в высшую степень. В 1778 г. произошел раскол в русском масонстве. Гагарин в декабре 1778 г. основал ложу «Феникс» шв. системы; в 1779 г. — Великую Национальную, а сам стал Великим национ. мастером. Екатерина II поняла явно зависимое положение этой ложи от Швеции и заподозрила ее в сношениях с враждебной державой. В 1780 г. в Москве Гагарин основал ложу «Провинциальную». Он принимал участие в организации Дружеского общества и был членом его, но в розенкрейцерство не вошел и в теоретическом градусе не состоял. В 1786 г. донес на розенкрейцеров кн. А. А. Прозоровскому, который воспользовался «конфиденциями» Гагарина в 90-х годах. Гагарин известен и как посредник в сношениях с цесаревичем Павлом.

⁶³ Произведение Вольтера, о котором здесь говорит Кутузов — это «Épître connue Sous le noms des vous et des tu». Он адресован маркизе де Couvernet, ранее девице de Livry. Маркиза, которую Вольтер близко знал в дни ее легкомысленной юности, отказалась принять поэта, навестившего ее в дни знатности. Он послал ей свой «эпигр», в котором противопоставляет прелести ее прошлой, посвященной любви юности, обращаясь к ней на ты, с ее роскошной и богатой жизнью маркизы, обращаясь на вы. Ouevres complètes de Voltaire, Paris, 1878, T. IX, p. 211—212.

⁶⁴ Брат ab aquila crescente, eques Georg — Иван Егорович Шварц, привезший с Вильгельмсбадского съезда и это непонятное и неприятное для русских масонов рыцарство. Дом, о котором здесь идет речь, — это дом Типографической кампании, в котором жил и Шварц, а потом и Кутузов; куплен он был в значительной степени на средства, пожертвованные П. А. Татишевым; «толстый рыцарь eques a cygno triumphante» — Татишев. К этому пожертвованию склонил его Шварц.

⁶⁵ П. А. Татишев склонялся и к дальнейшим пожертвованиям в пользу Типографической компании и Переводческой семинарии.

⁶⁶ Не только философски настроенный и пренебрегающий внешностями Кутузов, но и другие розенкрейцеры иронически относились к рыцарству в русских условиях. Новиков на допросе 1792 г. сказал: «О рыцарстве иначе не вспоминали как в шутку» (ИРЛИ, архив Тургенева, № 191, л. 51).

⁶⁷ В родословной книге Долгорукова у А. М. Кутузова названо восемь братьев: Иван, Никита, Афанасий, Федор, Данил, Семен, Александр, Софроний. Сам Алексей Михайлович был старше Софрония и моложе Александра. В своей переписке (в 1782—1797 гг.) он упоминает о Федоре, как живом, и об Александре, уже умершем. Можно предполагать, что к 1782 г. и остальные братья все умерли. Федор был значительно старше Алексея. В 1774 г. Федор уже имел чин генерал-майора и был в отставке. Делился он с Федором.

⁶⁸ Прасковья Михайловна Голенищевой-Кутузовой. Ей в это время (январь 1783 г.) должно было быть шесть лет.

⁶⁹ Кутузов служил в Луганском пикинерском полку.

⁷⁰ Виск — вист, карточная игра.

⁷¹ Некоторые черты масонства могли быть не по душе женщинам. В розенкрейцестве то направление, которого придерживался Кутузов, а может быть и И. П. Тургенев, заключало моменты, враждебные «женскому началу», например, получение гомункулуса. В 1791 году Кутузов, занимаясь в Берлине под руководством Дюбоска «химией», просил не говорить ни одной из женщин о предмете его занятий. «Иначе, — пишет он Н. Н. Трубецкому, — подвергнете себя страшному проклятию, Вы довольно уже сие знаете». Вельнер в разговоре с бар. Шредером говорил: «В особенности много зла должна ожидать Россия от женщин; они должны быть вне всякой связи с орденом. Самое строение женщин не для магических работ; часто им не хватает чистоты» (Барсков. XXX. № 126, стр. 137—138).

⁷² Книга «О познании самого себя» Иоанна Масона в переводе И. П. Тургенева, М, 1783.

⁷³ Екатеринослав — ныне Днепропетровск.

⁷⁴ Щедрое пожертвование П. А. Татишева.

⁷⁵ Кн. А. А. Черкасский, В. В. Чулков. Речь идет о денежных пожертвованиях и, вообще, участии их в тех мероприятиях, которые имели место в связи с организацией Дружеского общества и других, намечаемых масонами.

⁷⁶ Федор Михайлович.

⁷⁷ В Московских Ведомостях должна была быть публикация о продаже деревень. Весь этот отрывок из письма, особенно при сопоставлении с упоминанием о Юнге, посвящением перевода его «друзьям святыне истинны и стройности совершенные», в устах «сочувственника» А. Н. Радищева производит странное впечатление. В Кутузове мирно, без всяких противоречий, уживались моральные и религиозные устремления к высшему самопознанию и самосовершенствованию с самым обычным рабовладельческим отношением к людям.

⁷⁸ Отдельного «предуведомления к читателю» в печатном издании «Плача» нет, а есть примечание к первым строкам перевода, заменяющим предисловие.

⁷⁹ В. И. — может быть, Иван Владимирович Лопухин — один из ближайших друзей Кутузова, мнением которого он дорожил. В одном из писем он, явно ошибочно (сам потом исправил), назвал его «Владимир Иванович».

⁸⁰ Перевод И. П. Тургенева книги И. Масона «О познании самого себя».

⁸¹ В 1782—1783 гг. новых книг М. М. Хераскова не выходило. В 1779 г. вышла «Россиада» и 1-ое собрание сочинений в 1785 г.

⁸² Ода Ф. П. Ключарева, читанная им при открытии Дружеского общества 6 ноября 1782 г. Речь говорили: Шварц, Баузе, Шнейдер, Страхов.

⁸² Петр Иванович — Страхов. См. примечание 59.

⁸³ Семен Иванович Гамалея. См. примечание 23.

⁸⁴ Этим письмом начинается берлинский период публикуемой переписки.

В Берлин Кутузов попал при следующих обстоятельствах: после смерти И. Е. Шварца с 1784 по 1787 г. в управлении московскими розенкрейцерами произошли большие перемены. На смену Шварца явился барон Г. Я. Шредер (Генрих Якоб фон Шредер, 8 июля 1757 г. — ум. не ранее 1797), человек, тесно связанный с берлинскими масонами — Вельнером, Бишофсвердером и пр. Вначале отношения между московскими розенкрейцерами и Шредером были очень хороши. Шредер считался наследником богатого дяди, располагал хорошими денежными средствами и обладал драгоценностями (бриллиантами).

И. Б. Пестель в реестре кн. А. А. Прозоровскому от 16 февраля 1792 г. (из неопубликованного архивного дела Русской Старины. Архив ИРЛИ. Письма Кутузова) сообщает: «О бароне Шредере узнал я ныне только, что он приехал в Россию прусским капитаном с намерением вступить в Российскую службу. Познакомясь с покойным Шварцем был им введен в сие общество. Князь Николай Никитич Трубецкой желал его женить на племяннице своей княгине Вяземской, но барон, увидевши, что он обманут бриллиантами, которые весьма дешево от него оттягали, хотя и был влюблен отказался от своего предмета и упросил общество отправить его в их делах в чужие края. Дядя его весьма богатый человек, живущий в Мекленбурге. Барон Шредер пользовался его подкреплением и был назначен наследовать его имение после смерти. Однажды узнав, что он принадлежит к сей секте от него отступился и не позволяет ему казаться на глаза, пока не уверит его, что от сего общества отказался. Сим донеся Вашему Сиятельству все мне известное, но я не отчаиваюсь и более узнать, нашедши к сему способ чрез господина Гейма, которого имя упоминается в письме барона Шредера». Гейм (в подлиннике Neum) — это, по предположению Я. Л. Барскова, одно лицо с майором Гине, мастером стула в ложе Трех Знамен, близким кн. Н. Репнину человеком. Скорее следует предположить, что этот Гейм — позднее профессор Гейм, назначенный цензуровать масонские книги. Княжна Вяземская, по всей вероятности, та «Fürstin», которая упоминается несколько раз в дневнике Шредера.

Вследствие изменившихся денежных обстоятельств б. Шредер изъявил желание взять из масонских предприятий свои капиталы. Часть их ему вернули, заложив купленный им же Гендриковский дом в Москве. Часть осталась в ведении Типографической компании. Отношения между бароном и частью розенкрейцеров обострились. Многие уже тогда видели в нем проходимца. Он особенно озлобился против Н. И. Новикова, но и с Трубецким у него пошли нелады. По соображениям масонским он взял из-под начала у Новикова И. П. Тургенева, С. И. Гамалею, А. М. Кутузова и В. В. Чулкова с намерением лично ими руководить. С Кутузовым у него установились близкие дружеские отношения. В 1785—1786 г. в немецком масонстве началось сильное брожение, приведшее розенкрейцество к упадку. Деятельность его в южной Германии почти прекратилась. Объявлен был так называемый Silapum, во время которого приостанавливались масонские работы и прекращались сношения между ложами. В конце 1786 г. Шредер уведомил о Silapum'e московских братьев, сообщив им в то же время, что из Берлина пришло предложение «прислать одного русского из членов, дабы русский, узнав все сам на месте и наставлен будучи в орденских управлениях, мог заменить место иностранных двух бывших у нас, то есть проф. Шварца и бар. Шредера и чтобы впредь отнять от нас всякое подозрение; но только чтобы прислали такого, который бы хорошо знал немецкий язык, чтобы после, когда позволено будет начать упражнения и переписку (после Silapum'a) мог оную хорошо вести и чтобы притом был такой, который был бы в доверенности у других. К сему назначили Кутузова». (Показания Новикова. Архив бр. Тургеневых, № 131, л. 19).

Кутузов смотрел на свое «избрание» именно, как на назначение, как на поручение, ему навязанное, от которого нельзя было отказаться, как на жертву. Он писал в письме из Берлина 17/28 февр. 1797 г.: «сесь жертва любви и дружбы».

Кроме установления связей с масонскими организациями Германии Кутузов должен был добиться знания высших ступеней масонства, заняться тайными науками: «химией» (вернее алхимией) и приобрести масонскую литературу (книги и рукописи). Кутузову дали инструкцию с оговоркой: при первой же попытке берлинских розенкрейцеров использовать связи с Москвой для каких-либо политических целей немедленно ехать обратно. Кутузов занял в масонстве значительное место: в 1787 г. он вошел в Гаупт-директорию над Теоретическим градусом и числился в ней вторым после Шредера. Ранней весной 1787 г. Шредер и Кутузов отбыли за границу.

Переписку с ним по делам ордена вели кн. Н. Н. Трубецкой, И. В. Лопухин, а дружескую переписку он вел с И. П. Тургеневым, с семьей А. А. Плещеева, Голицына-Кутузова, с Н. М. Карамзиным и др. Переписка эта подверглась в 1790—1792 гг. перлюстрации. Большая часть ее сохранилась в Государственном архиве, часть оказалась в архиве «Русской старины» и была опубликована в этом журнале в 1874 г. №№ 1—3 и в 1896 г. № 11 под заглавием: «Товарищи и птенцы Н. И. Новикова».

С исчерпывающей полнотой и прекрасными комментариями эта переписка была издана в 1915 г. Я. Л. Барсковым под заглавием: «Переписка московских масонов XVIII века 1780—1792 г.» Издание Отд. русск. яз. и словесности Импер. Акад. Наук. Петроград. К сожалению, в распоряжении Я. Л. Барскова не были подлинные документы из архива «Русской старины» и Братцев Тургеневых, и некоторое число писем не попало в изданную им книгу. Правда, дополнительно, в 1917 г., в «Русском Историческом Журнале», № 1—2, изданы четыре письма Кутузова к А. А. Плещееву и А. И. Плещеевой, к Н. М. Карамзину и к князю Н. Н. Трубецкому — первые три от 7/8 июня 1791 г. и последнее от 1/12 мая 1792 г. В архиве Тургеневых нашлись письма Кутузова к И. П. Тургеневу из Берлина от 21/31 мая 1788 г., от начала августа 1788 г., полученное в Москве 20 августа 1788 г., от 4/15 ноября 1788 года и два письма из Берлина же, посланные в 1797 году: одно от 17/27 февраля, другое от 30 августа н/с. Этим письмом закончилась вообще переписка Кутузова с И. П. Тургеневым.

⁸⁵ Три буквы в рукописи стерты, осталось лишь окончание «то».

⁸⁶ Петр Петрович Тургенев.

⁸⁷ Косман — человек, близкий к семье Тургеневых, переводчик. Жил одно время в Тургеневе «у стариков, ибо одних оставить совестно» (письмо И. П. Тургеневу, 26 сент. 1791. Барсков, 12—13). О Космане, в числе немногих, Кутузов вспоминает и в своем первом письме из Берлина в 1797 г.

⁸⁸ Живя в Берлине, Кутузов совершал постоянно поездки по Германии и Западной Европе. Он посещал Гамбург, Франкфурт на Майне, Лейпциг. Известна его поездка во Францию в июле 1789 г., во время которой он якобы был в Париже свидетелем взятия Бастилии (Русск. Архив, 1875, III, стр. 75). Судя по письмам, Кутузов был в Париже и в 1788 г. (Барсков, стр. 137).

⁸⁹ В 1783 г., когда Кутузов поселился в доме близ Меньшиковской башни и в сотрудничестве с И. П. Тургеневым редактировал книги, по преимуществу печатаемые в «тайной» типографии масонов.

⁹⁰ Видимо, Шварц.

⁹¹ Вторая Турецкая война 1787—1791 гг. Шведская война 1788—1790 гг.

⁹² Морская баталия со шведами произошла 6 июля 1788 г. около Гохланда. Исход битвы был неопределенный, хотя шведский флот отступил, скрылся в Свеаборгский порт и потерял один корабль, взятый русскими.

⁹³ Сыновья И. П. Тургенева Андрей (род. 1781) и Александр (род. 1784).

⁹⁴ С немецкого — ветреничала.

⁹⁵ Кутузов в собраниях Типографической компании слышал множество различных мнений. Это подтверждает наличие у розенкрейцеров разномыслия. Была группа, которая вершила все дела, и она давала те «изъяснения», которые Кутузов считал отрывочными и недостаточными. Главным в этой группе был Н. И. Новиков. И сам Новиков впоследствии (во время дела о мартинистах в 1792 г.) отмежевывался от И. П. Тургенева, и Тургенев отмежевывался от Новикова, таким же духом проникнуты и писания Кутузова. К этой группе Кутузова, Тургенева присоединялись кн. Н. Н. и Ю. Н. Трубецкие, И. В. Лопухин, А. А. Плещеев и Н. М. Карамзин.

К Новикову были близки С. И. Гамалея, Г. М. Походяшин.

⁹⁶ То есть с 1783 года, после выхода Кутузова в отставку.

⁹⁷ Откровенен Кутузов был с главарями московских розенкрейцеров с жившими тогда еще И. Е. Шварцем и Н. И. Новиковым. Именно с их стороны эта откровенность встретила тот прием, о котором он пишет. В 1783 г., как это видно из публикуемой ныне переписки, он находился «под молотком» у С. И. Гамалеи. В качестве мастера и старшего брата Гамалея также мог быть тем, с кем Кутузов пускался в откровенности и от кого он встречал суровый прием. О суровом подходе к людям у Гамалеи Кутузов упоминает в своем письме № 9 от 23 января 1783 г.

⁹⁸ Яков Беме — «тевтонический философ» (1575—1624) пользовался большим почетом и авторитетом у розенкрейцеров.

⁹⁹ Сначала Кутузов написал 10, затем зачеркнул и написал 9. Наука чисел, «Пифагорова мудрость», была в большом ходу у розенкрейцеров. В царстве света 9 обозначает «Благо» — основные свойства души (proprietas) — назначение человека, сердце человека, то, в чем сосредоточены качества человека и даже свойства божества (Эккартсгаузен. Наука чисел. ч. I, 159. СПб. 1815, стр. 97).

¹⁰⁰ О последних годах жизни Кутузова известно очень мало. Карамзин в «Письмах русского путешественника» (Берлин 30 июня 1789 г.) в примечании пишет, что под словами «любезного А+++», он имел в виду «Алексея Михайловича Кутузова, добродушного и любезного человека, который через несколько лет после того умер в Берлине, быв жертвою несчастных обстоятельств».

Гр. Растопчин Фед. Вас., бывший в 90-х годах в Берлине, писал о Кутузове: «Человек умный, но фанатик; поселился в Берлине, откуда совершал поездки в Гамбург, Брауншвейг, Саксен-Готу и Мюнхен. Он был министром или поверенным русских мартинистов при иностранных обществах. Этот человек, проживши несколько времени в роскоши, кончил тем, что умер в крайней бедности в Берлинской долговой тюрьме, так как Московская ложа, за упразднением ее в 1792 г. не могла уже платить его долгов» (Русский Архив. 1875, III, стр. 75).

Переписка, обнародованная Я. Л. Барсковым, выясняет, насколько неверны сведения Растопчина о жизни Кутузова «в роскоши» и о том, что «его долги платила московская ложа»; но относительно долговой тюрьмы в этой заметке была доля истины. Я. Л. Барсковым в Государственном архиве были обнаружены любопытные документы о последнем годе жизни Кутузова в Берлине.

Из прошения Кутузова на высочайшее имя видно, что в сентябре 1795 года его долг достиг внушительной суммы в 15000 талеров, и так как он не мог его уплатить, то подвергся заключению в долговую тюрьму. Из тюрьмы он посылал и свое прошение (20/31 января 1797 г.). Кутузов просил разрешения вернуться в Россию. Это разрешение было ему дано 22 марта 1797 г., но для выезда из Берлина, кроме царского разрешения, нужны были деньги и для уплаты долгов, и для путешествия. (Барсков, стр. 320—322).

Печатаемые ныне письма еще более освещают обстановку, в которой окончил свою жизнь этот самоотверженный искатель масонской истины.

¹⁰¹ Первое письмо является откликом Кутузова на дошедшие до него известия о милостях, последовавших для масонства после вступления на

престол Павла I. Тургенев получил свободу проживания, где захочет, чин действительного статского советника и был назначен директором Московского университета. Этим письмом Кутузов возобновил переписку, прерванную разгромом розенкрейцеров в декабре 1792 года.

¹⁰² Князья Трубецкие, которые из своих средств, совместно с И. В. Лопухиным, посылали Кутузову деньги на его прожитие в Берлине.

¹⁰³ Иван Иванович Шварц — родственник московского Шварца Ивана Егоровича. Он в эти годы был русским консулом в Германии, в Берлине, позднее в Геттингене и Лейпциге. Известен как деятельный масон.

Библиография сочинений и переводов А. М. Кутузова.

А. М. Кутузову приписывают очень много литературных работ, но насколько достоверна принадлежность их Кутузову, ясно не всегда.

1. Им была взята в 1773 г. для перевода книга, озаглавленная «Мечты маршала де Сакс». Упоминание об этом имеется у Семенникова В. П. (Собрание старающихся о переводе иностр. книг, учрежденное Екатериною II 1768—1783 гг. Историко-литературное исследование, СПб, 1913), но был ли сделан этот перевод и вышел ли он, в печати сведений не имеется.
2. В 1777 г. в журнале «Утренний свет» помещен перевод трактата Мендельсона «Федон, или разговор о бессмертии души». В. П. Семенников приписывает этот перевод А. М. Кутузову. (См. Литературно-общественный круг Радищева. Литерат. Архив Академ. Наук СССР. ИРЛИ, 1936, стр. 215), но на каком основании именно этот философический трактат из числа многих, помещенных в журнале, приписан Кутузову, указаний у Семенникова нет.
3. Химическая псалтырь или философские правила о камне мудрых Фил. Авр. Парацельса. Москва в вольной типогр. И. Лопухина 1784 г. 8°, стр. 41. Губерти II № 63 Соп. 9142. Перевод сделан очень хорошим языком; приписывается А. Кутузову.
4. Таинство Креста Иисуса Христа и членов его. Перевод с французского; приписывается А. М. Кутузову совместно с М. Багрянским. Редакторы И. Н. Тургенев и С. Н. Гамалея. М. 1784. Губерти № 65.
5. Хризомандер. М. 1783. Редактор — Кутузов, совместно с И. П. Тургеневым, переводчик А. А. Петров.
6. Плач Эдуарда Юнга или ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии в девяти ночах, помещенные с присовокуплением двух поэм: 1. Страшный суд, 2. Торжество веры над любовью, творения сего же знаменитого писателя. Ч. I. Изд. 2-ое Ижд. типогр. компании, М., в вольн. тип. И. Лопухина, 1785 там же, часть II. Первого издания не было. Губерти II № 93. Сопиков № 8276. Этот перевод обычно приписывают Кутузову, но есть основание предполагать, что это не его перевод.
7. Мессия, поэма, сочиненная господ. Клопштоком. Перевод с немецкого, часть I, иждив. Типогр. Комп., М., в тип. И. Лопухина с указан. дозволения 1785 г. Посвящение Екатерине II подписал Алексей Кутузов. ч. II, Перевел с немецкого А. К., там же, М., 1787.

Кроме того, у Бартенева «XVIII в.» т. I стр. 430. Рөестр книгам вновь издаваемым. Книги подписанные к печати. Март 1786 г. № 13, напечатано: «Получена мной книга под заглавием «Предисловие ко второй части поэмы Мессии» от премьер-мажора Алексея Михайловича Кутузова. Оную книгу под заглавием Предисловие ко второй части поэмы Мессия в оригинале и один экземпляр цензору доставить и не прежде выпустить оную в свет, пока не получу на то от него письменного позволения обязуюсь, премьер-майор Ал. М. Кутузов». Этого предисловия в издании 1787 г. нет.

8. Рассуждение о нарушении порядка, которое происходит от неисполнения законов и о той любви и благодарности, которыми каждый истинный свободный каменщик обязан своему отечеству преимущественно перед всеми прочими согражданами. «Магазин свободно каменщикий» т. I.
9. Речь, говоренная в X градусе теоретической степени, Архив ИРЛИ, «Альбом Ланского», лл. 323—330.
10. Пастырское послание к истинным и справедливым свободным каменщикам древней системы Гауговица, пер. А. К., рукоп. отд. ГПБ. шифр: III, № 63.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ XVIII ВЕКА О «ПУТЕШЕСТВИИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ»

Ю. Лотман.

Несмотря на гонения, а отчасти, может быть, и благодаря им, «Путешествие из Петербурга в Москву» получило еще в XVIII веке широкое распространение. Круг читателей книги был весьма значителен. Рассуждения либеральных исследователей XIX века, порой пользующиеся до сих пор кредитом в зарубежной науке, о том, что книга Радищева, якобы, прошла незамеченной, следует признать фактически несостоятельными. Однако число развернутых оценок, интерпретаций и ссылок на книгу в дошедших до нас источниках значительно меньше, чем этого можно было бы ожидать. Это безусловно связано с той атмосферой преследования, которая была создана вокруг имени Радищева и его книги. А это, в свою очередь, затрудняет изучение вопроса о *восприятии книги Радищева*. В исследовательской литературе часто проявляется тенденция безо всяких доказательств приравнивать факт чтения книги к единомыслию, анализ же читательского отношения затруднен малым числом отзывов. Естественно, что каждый отклик читателей XVIII века на запрещенную книгу представляет большой исследовательский интерес.

Несколько лет назад мне удалось приобрести экземпляр крайне редкой масонской книги «Хризомандер». Книга была опубликована в 1783 г. в типографии И. В. Лопухина, переводчиком ее был А. Петров, редактором перевода — А. М. Кутузов.

На стр. 82—83 почерком конца XVIII века сделана надпись (на этих страницах речь идет о бессмертии души):

«О вечности существования души после [смерти] разрушения тела. Я с ним согласен: — и как был бы и за гробом счастлив, что естлиб дети мои Григорей, Петр и Николай сему последовали. Сие есть искреннее желание вечно любящего их отца. К сему следует дополнение в нежной моей горячности к детям, что я принял в буквальном смысле разговор на станции Кресцах. Смотри Пут<ешествие> из С.-Петерб<урга> в Москву».

Ниже слова: «Мысль высокая». Не очень ясно, относятся ли они к упомянутому разговору на станции Крестцы или к тексту Хризомандера, против которого написаны.

Прочитированная запись представляет один из ранних читательских откликов на «Путешествие», т. к., судя по почерку, ее следует датировать первой половиной 1790-х гг. Легко можно определить и идейный круг, к которому примыкал автор записи. «Хризомандер» принадлежит к литературе, не предназначенной для «профанов». Мы вряд ли погрешим против истины, предположив, что автор примыкал к московскому кружку масонов. На это

еж указывает и специфический характер восприятия им «Путешествия из Петербурга в Москву».

Запись неизвестного читателя Радищева интересна и в другом отношении: как мы видим, в главе «Крестьяцы» он усмотрел проповедь бессмертия души. Между тем, просматривая главу, мы не обнаруживаем там подобных идей. Что же имел в виду неизвестный читатель? Это мы поймем, остановившись на некоторых специфических чертах трактовки этого вопроса Радищевым.

Радищев, как известно, был материалистом. Идея бессмертия души не вытекала ни из его общефилософских, ни из его этических воззрений.

Изучение постановки вопроса «бессмертия души» убеждает нас в том, что в творчестве Радищева последний всегда возникает в связи с требованием готовности к подвигу, героической гибели.

Эту связь проблем мы можем проследить на примере первого же крупного художественного произведения Радищева — «Жития Ф. В. Ушакова».

Образ Ушакова — первый опыт Радищева дать развёрнутое изображение борца-революционера, призывающего своих единомышленников «быть твердо в мыслях, дабы умирать бестрепетно».¹

В этой же связи Радищевым поднимался вопрос о праве на самоубийство. По вполне понятным причинам, он не мог открыто в печати говорить о революционном подвиге. Рассуждение о героическом самоубийстве, как следствии готовности погибнуть, но не покориться тирану, было удобной и вполне понятной читателю XVIII в. формой выражения. Возможность подобной подстановки понятий обуславливалась тем, что в литературе XVIII в. имела прочная традиция прославления тираноборческих подвигов античных «героев-самоубийц».

Как отмечает П. Н. Берков, ещё Ломоносова привлекал «благородный республиканец Катон, покончивший собой, убедившись в том, что республиканский строй рухнул под диктатурой Цезаря. Этот Катон... «жизнь пренебрегал к республике успеху», — с уважением говорит о нем Ломоносов. Ему импонирует в Катоне, что «упрямка славная была ему судьбина».²

В 1801 г. журнал «Иппокрена» писал, оправдывая тиранобойцу Брута: «Какую милость должен заслужить похититель власти от того, кто лучше умертвил себя, нежели согласился раблепствовать».³

Многочисленные высказывания по поводу «героического» самоубийства можно найти у Княжнина и у многих других писателей XVIII в.

В отличие от последних, проблема подвига понималась Радищевым не как результат индивидуальной добродетели, а была тесно связана с идеей народной революции. Уже в «Житии Ф. В. Ушакова», приравняв самоубийство к гибели на лобном месте, Радищев дал понять читателям, что оно выступает у него лишь как цензурный заменитель рассуждений о революционном подвиге.

«Случается, — писал он, — и много имеем примеров в повествовании, что человек, коему возвещают, что умереть ему должно, с презрением и нетрепетно взирает на шествующую к нему смерть во сретение.

Много видели и видим людей отъемлющих самих у себя жизнь мужественно (курсив мой — Ю. Л.). И по истине нужна неробость и крепость душевных сил, дабы взирати твердым оком на разрушение свое <...> Сравни умирающего на лобном месте или отъемлющего у себя жизнь насильственно (курсив мой — Ю. Л.) с умирающим нетрепетно по долговре-

¹ Радищев, т. I, стр. 189.

² Меншуткин, М. В. Ломоносов. 3 издание с дополнениями П. Н. Беркова, С. И. Вавилова и Л. Б. Модзалевского. АН СССР, 1947, стр. 253.

³ «Иппокрена», 1801, кн. VIII, стр. 52.

менной болезни на одре своем, и скажи, кто мужественнее был, испуская дух бодрственно?»⁴

Выступая в «Житии Ушакова» с развёрнутой проповедью готовности к героической гибели как неотъемлемого качества борца с общественной неправдой, Радищев тут же впервые связал это с проблемой бессмертия души. Говоря о подвиге человека, «отъемлющего самого у себя жизнь мужественно», он добавляет: «страсть, действовавшая в умирающем без болезни (курсив мой — Ю. Л.) пред кончиною его живет <...> и крепит дух. Нередко таковой зрит за предел гроба и чаёт возродиться (курсив мой — Ю. Л.)». Когда же в человеке изтощением сил телесных истощаются и душевные, сколь трудно укрепить дух противу страха кончины, а тем паче тому, кто нисходя во гроб, за оным ничего не видит».⁵

Приведённая цитата характерна ещё и тем, что, указывая на «полезные» стороны веры в бессмертие души, Радищев материалистическим тезисом о зависимости духовного состояния от физического разрушает её философскую основу. Здесь мы видим зерно противоречия, выступившего особенно обнажённо в трактате «О человеке...»

Те же мысли развиваются автором в «Путешествии». Наиболее значительна в этом смысле глава «Бронницы». В композиционном отношении она непосредственно предпослана главам «Зайцево» и «Крестьяцы», содержащим развёрнутое рассуждение о силе и слабости крестьянской революции и воспитании героя-вождя. Связь трактовки идеи подвига в «Крестьяцах» с вопросом бессмертия души явствует из монолога крестника дворянина.

«Но се мое вам завещание. Если ненавистное щастие, изтощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земли неостанется, если доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения; тогда вспомни, что ты человек, вспомни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. — Умри. — В наследие вам оставляю слово умирающего Катона».⁶ Заключительные слова этого монолога связывают его с главой «Бронницы», которая трактует о бессмертии души и заканчивается рассуждением на эту тему, произносимым Катонем в одноименной трагедии Адиссона. В конце цитаты в «Бронницах» Радищевым дана сноска: «Смерть Катонова», трагедия Еддесонова дейс. У. Язлен. I.⁷

Комментаторы «Путешествия» обычно считают, что «слово умирающего Катона» крестник дворянин читал, вероятно, в «Жизнеописаниях» Плутарха (Комментарии Я. Л. Барскова в ч. II фотолитографического воспроизведения «Путешествия», изд. Academia, 1935, стр. 413). Аналогичное утверждение находим в его же комментариях к «Путешествию» в т. I академического Полного собрания сочинений А. Н. Радищева: «Радищев имеет, вероятно, в виду рассказ Плутарха о предсмертной речи Катона».⁸ Однако, обращение к тому месту трагедии Адиссона, на которое ссылается Радищев, убеждает нас, что именно его, и в частности отрывок, процитированный в «Бронницах», следует считать «словами умирающего Катона».

Обратимся к тексту трагедии.

«Катон, один, сидящий с задумчивым видом. В руке его Платоновы книги о бессмертии души, на столе перед ним обнаженный меч. Итак я без сомнения вооружен; смерть и жизнь, яд и врачевство против одного все сие теперь предо мной, и в одно мгновение сие делает мне конец, но сие же самое и научает меня, что я никогда не умру. Душа обеспеченная в своем бытии, смеется обнаженному кинжалу и не страшится его острокопечия»⁹ (курсив наш — Ю. Л.). Далее следуют слова, процитированные Радищевым.

⁴ Радищев. Собр. соч., т. I, стр. 183—184.

⁵ Радищев, Собр. соч., т. I, стр. 184.

⁶ Радищев, т. I, стр. 295.

⁷ Там же, стр. 269.

⁸ Там же, стр. 486.

⁹ Цитировано по переводу Гарта (Иппокрена, 1801, ч. VIII, стр. 212).

Таким образом, бессмертные души, о котором напоминает крестницкий дворянин своим детям, призывая их быть твёрдыми и стойкими вплоть до гибели, призвано облегчить им подвиг, т. е. выступает в такой же роли, что и в «Житии Ф. В. Ушакова».¹⁰

Восприятие неизвестным читателем XVIII века главы «Крестыцы» подтверждает наше предположение о смысле радищевской ссылки на монолог Катона.

¹⁰ Те же идеи встречаем и в других местах книги. В гл. «Медное» готовность к гибели объявляется атрибутом сильной и свободной личности. «Твой разум, — обращается автор к «детине лет 25», — чужд благородных мыслей. Ты умереть не умеешь (курс наш — Ю. Л.), ты склонись и будешь раб духом» (Собр. соч., т. I, стр. 351). В главе «Чудово» страх смерти связывается с сомнением в бессмертии души: «Ужас последнего часа прободал мою душу, я видел то мгновение, что существовать перестану. Но что я буду? Не знаю. Страшная неизвестность.» (Собр. соч., т. I, стр. 351).

ОТЪЕЗД В. П. БОТКИНА В ИСПАНИЮ

Б. Ф. Егоров

В литературе уже отмечалось, что Боткин, обозначив в печатном тексте «Писем об Испании» время пребывания в этой стране маем-октябрем 1845 г., не следовал действительности и явно увеличил срок;¹ 6 июля, как видно из его письма к Белинскому, он еще только собирался в путешествие: «Я на днях уезжаю из Парижа в Испанию, где думаю остаться месяца три».² В то же время Н. М. Сатин писал Н. П. Огареву 14 августа 1845 г. из Барежа (в Пиренеях): «Боткин и Тургенев проводили меня до Барежа; Тургенев шляется по Пиренеям, а Боткин, пробыв со мною два дня, отправился в Испанию».³ М. П. Алексеев в указанной статье справедливо предположил на этом основании, что Боткин уехал из Парижа в Испанию «во второй половине июля» (стр. 135).

Из «Летописи жизни творчества И. С. Тургенева» мы как будто бы даже более точно узнаем: «17(29) июля. Выезжает с Боткиным и Сатиным из Парижа на юг Франции по маршруту: Орлеан, Тур, Пуатье, Ангулем, Бордо (19/31 июля), Байона».⁴ Больше никаких сведений о жизни Боткина вплоть до весны 1846 г. в печатной литературе не имеется.⁵ Некоторые скеп-

¹ Н. В. Измайлов, Прим. к письму Боткина от 6. VII. 1845, «Лит. мысль», II, Пг., 1922, стр. 188; М. П. Алексеев, «Письма об Испании» В. П. Боткина и русская поэзия, «Уч. зап. ЛГУ», сер. филол. наук, в. 13, 1948, стр. 135; ср. «Лит. наследство», т. 51/52, М., 1949, стр. 166.

² «Лит. мысль», II, Пг., 1922, стр. 188.

³ «Русская мысль», 1891, № 8, стр. 15.

⁴ М. К. Клеман, Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, М.—Л., 1934, стр. 39. Сведения взяты из неоконченного отрывка Тургенева «Несколько дней в Пиренеях» (опубликован в сб. «И. С. Тургенев. Материалы и исследования», Орел, 1940, стр. 7 и в кн.: И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем в 28 тт., Сочинения, т. I, М.—Л., 1960, стр. 452—453).

⁵ Если не считать неясной фразы в письме Огарева к Герцену из Берлина от 27. I. 1846: «С Вас. Пет. в Танжер прощаться не поедем, он же вдобавок едет в Рим» (Н. П. Огарев, Избр. <...> произведения, т. 2, М., Госполитиздат, 1956, стр. 379). «Танжер» (т. е. Танжер в Марокко) — конечно, шутка. Вряд ли Боткин путешествовал по Испании и Африке до января 1846 г. (судя по «Письмам», он был в Танжере осенью — вторая поездка туда же мало вероятна). Скорее всего Боткин к январю вернулся уже в Париж и собирался оттуда в Рим. Можно, конечно, предположить, что он действительно пробыл в Испании (и Африке?) до Нового Года и прямо оттуда отправился в Италию, но тогда останется необъяснимым, почему он пометил в «Письмах» срок пребывания в Испании маем-октябрем? Ведь если он действительно пробыл в этой стране полгода (август-январь), то зачем

тики даже сомневались, был ли реально Боткин в Испании? Другие намекали, что «Письма» — не оригинальное произведение, а компиляция из различных книг и статей.⁶ Опубликование письма Боткина, посланного непосредственно из Испании (пока к сожалению, единственного) не только документально подтверждает реальность путешествия Боткина, но и дает материал для некоторых выводов о творческой истории «Писем об Испании».

Приводим наиболее ценные отрывки из этого письма,⁷ адресованного Николаю, т. е. по всей вероятности — брату Н. П. Боткину (1813—1869), путешественнику, с которым В. П. Боткин поддерживал дружеские отношения в 1840-х гг. (впоследствии братья резко разошлись: Николаем в 1850-е годы стала овладевать психическая болезнь, приведшая его в результате к мании преследования и случайному самоубийству).

«Luz (в Пиренеях). 3 августа <...>

Я ехал в Испанию. До Бордо товарищем мне был Сат<ин>, а до Нанта провожал нас Ог<арев>⁸. В Бордо я уговорился съехаться с Тур<геневым>. Сат<ин> ехал пить воды в Пиренеях (в Бареж), а Тур<генев> осмотреть Пиренеи и походить по ним. Мой путь лежал на Байону <...> расстались с Бордо — поехали мы в Байону; и я уже готовился идти взять место в дилижансе до Бургоса (где интересуется меня собор), как Тур<генев> предложил мне походить с ним по Пиренеям. Но все, что было у меня денег, я перевел в Мадрид, оставя у себя лишь самое необходимое на дорогу до Мадрита. Тур<генев> предложил мне денег — и я не хотел упустить случай взглянуть на Пиренеи <...> Сегодня с 5 часов утра до 6 вечера я ездил по горам и доезжал почти до испанской границы <...>

ему нужно было так далеко от истины отодвигать сроки? Если же он фактически был три месяца (август-октябрь), то печатное «расширение» до полугодя вполне понятно: автор хотел «доказать» длительное знакомство с Испанией.

⁶ См. сводку таких высказываний: М. П. Алексеев, ук. соч., стр. 137. Добавим сюда еще неопубликованную дневниковую запись А. Н. Майкова от 30. XI. 1851, где дана такая характеристика «Письмам об Испании»: «очень умные и ловко составленные статьи. Но В. П. и друзья его видели в них нечто гениальное, бросающее новый свет чуть ли не на всю область человеческих знаний. Островский, Мей и другие московские литераторы, занимавшиеся редакцией «Москвитянина», перебирали старые иностранные журналы (кажется, отыскивая кое-что для статьи о Кальдероне), и нашли в «Revue des deux Mondes» несколько статей об Испании, а также наткнулись на множество книг английских туристов о той же стране, и, читая их, убедились, что «Письма» В. П. составлены целиком по этим источникам <...> В «Москвитянине» между тем, обозревая журналы, мимоходом, кто-то из этих литераторов упомянул об источниках «Писем» В. П.» (ИРЛИ. 17605. СХб. 5, л. 2).

Однако уже авторитетные современники Боткина (Дружинин, Чернышевский) печатно подчеркивали оригинальность «Писем». Итог подведен в исключительно богатой материалом статье М. П. Алексеева, где наряду с раскрытием целого ряда источников «Писем» убедительно доказана их самостоятельность.

⁷ Письмо хранится в Гос. музее Л. Н. Толстого (Москва); шифр З. А. Бот., 95.

⁸ То, что эта фамилия должна читаться именно «Огарев», свидетельствует следующее письмо Огарева к жене от 25. VIII. 1845: «Я ездил на океан и теперь опять в Париже» («Вестник Европы», 1907, № 12, стр. 487).

Я уже в Испании и эти строки пишу в posada Витории, где ночую. Уже в По и в Байоне предчувствуется Испания, беарнское наречие имеет в себе много испанского, а в Байоне все говорят по-баскски и носят береты. —

Я выехал из Байоны в 8 $\frac{1}{2}$ утра, в 12 дилижанс переехал границу и мы завтракали в пограничном испанском городе Угун. Здесь была последняя станция на французских лошадях, в Угун'е дилижанс получил испанскую упряжь — 10 прекрасных крепких мулов, глядя на которых я вспомнил Клыкова и за него любовался на них. Я особенное внимание обратил на завтрак (мне ужасно хотелось есть); он был совершенно испанский, начиная с оливкового масла, которое воняло, как обыкновенное, называемое у нас деревянным; но один из испанцев, ехавших в дилижансе, очень обрадовался ему, говоря, что он не мог есть во Франции масла, которое ничем не пахнет. Испанские дилижансы по ночам не ездят, — а как у итальянских ветуринов у них назначены места для ночлегов. День оканчивают они в 4 и в 5 часов выезжая на другой день рано утром. Этот образ езды ведется здесь из осторожности, но для меня он имел особенную выгоду — при такой езде имеешь время видеть главные города. Дорога, которой сегодня проезжал дилижанс, была театром недавней войны карлистов и хрисиносов, — места гористые, — самые удобные для такого рода войн. Селений мало; изредка по горам виднеются одинокие дома. Я не могу их назвать домишками: хоть они ветхие, полуразвалившиеся, скверные, но очень большие. Испанец, кажется, не любит съезживаться и живет сально и бедно, — но широко. Но как это все заброшено! Как везде еще видны следы войны — 5 лет нисколько не загладили их. В иных местах есть дома побольше, наскоро обращенные в маленькие крепости, — на них следы ядер и пуль, — другие до сих пор остаются с разрушенными стенами и крышами. Сегодня ночуем в Витории. Я с 4 до 7 часов бродил по городу и видел только одно для меня интересное. В конце одной улицы увидел я красивую церковь — я вошел в нее, и нашел, что это был сарай, для складки хлеба. Дело в том, что это был монастырь. Когда назад тому лет 6 монастыри в Испании были уничтожены и монахи из них выгнаны, — монастыри вместе с их владениями поступили в государственное владение и были проданы с аукциона.»

На этом письмо обрывается (конец не сохранился).

Прежде всего мы из этого письма узнаем, что В. П. Боткин ехал из Парижа в Бордо отдельно от Тургенева и другим маршрутом (через Нант, вдоль берега Атлантического океана), поэтому возможно выехал в другое время. Следовательно, данные «Летописи» и все основанные на этом указания⁹ нуждаются в уточнении: Тургенев отправился на юг Франции без Боткина и Сатина и лишь встретился с ними в Бордо. Формула «мы», употребленная Тургеневым в отрывке «Несколько дней в Пиренеях» при описании пути Париж — Бордо, — или поэтическая вольность, или его попутчиками (чиком?) были какие-то другие лица. С другой стороны, мы не знаем точной даты выезда Боткина из Парижа, и должно остаться в силе предположение М. П. Алексеева об отъезде во второй половине июля.

Но самую большую ценность представляет «испанская» часть письма, где содержится описание переезда через границу и остановок в Ируне и Витории. Сравнение этого отрывка с соответствующим печатным текстом «Писем об Испании»,¹⁰ т. е. с началом 1-го письма, показывает, что письмо к Нико-

⁹ См., например, И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем в 28 тт., Сочинения, т. 1, М.—Л., 1960, стр. 624; Письма, т. 1, М.—Л., 1961, стр. 568.

¹⁰ См. В. П. Боткин, Соч., т. 1, Спб., 1890, стр. 36—38.

лаю — черновик, который с помощью незначительной правки превратился в окончательный текст. Теперь с большой степенью вероятности можно предположить, что серия подобных писем к брату легла в основу боткинских «Писем об Испании»¹¹ (не считая, разумеется, материалов в основном исторических, взятых автором из печатных источников).

¹¹ Интересно, что Белинский, посылая Боткину рукопись 1-го письма для сличения с печатным текстом, извиняется за потерю первых трех листов и добавляет: «но у тебя ведь есть черновые материалы, письма и пр.» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, М., 1956, стр. 350). Ср. указание А. В. Дружинина: «он и не намеревался писать об Испании, книга его составлена вся из частных писем в Россию к близким лицам, — письма эти были им впоследствии пересмотрены и дополнены» (А. В. Дружинин, Собр. соч., т. 7, СПб., 1865, стр. 396—397).

МАТЕРИАЛЫ ОБ АП. ГРИГОРЬЕВЕ ИЗ АРХИВА Н. Н. СТРАХОВА

Обзор, публикация и примечания Б. Ф. Егорова

Дипломантке-заочнице ТГУ А. Л. Будилловской, жительнице г. Киева, я дал в качестве темы ее работы научное описание архива Н. Н. Страхова, хранящегося в рукописном отделе Гос. публичной библиотеки АН УССР. В 1962 г. А. Л. Будилловская составила превосходную аннотированную опись этого большого и ценного собрания, очень мало еще, к сожалению, известного литературоведам, журналистам, историкам. На основании научной описи теперь имеется возможность составлять тематические и персональные подборки и публикации. Один из самых ценных разделов архива Н. Н. Страхова — материалы, связанные с именем А. А. Григорьева. Страхов был поклонником, учеником и другом критика. Знакомство их состоялось осенью 1859 г.¹ и затем до смерти Ап. Григорьева в 1864 г. они были близкими друзьями. Страхов опубликовал воспоминания об Ап. Григорьеве и некоторые из его писем, затем комментировал письма Ап. Григорьева к Е. С. Протопоповой;² начал было издавать сочинения Ап. Григорьева³ (предположительно — в четырех томах, но остальные тома не вышли из-за недостатка средств издателя); собирал письма Григорьева, переписывался с лицами, знавшими покойного критика, с целью получения от них «мемуаров».

Часть этих сохранившихся документов из архива Страхова мы публикуем или обобщаем в настоящем томе «Ученых записок». Переписка Григорьева со Страховым (11 новых писем Григорьева и 2 — Страхова) будет опубликована в дальнейшем.

Ап. Григорьев, К. С. Милановский и неизвестные стихи Н. А. Некрасова

Забывтый ныне публицист И. В. Павлов¹ в письме к Н. Н. Страхову от 30 сентября 1894 г. (из Орла) поделился своими воспоминаниями об Аполлоне Григорьеве:

«Я познакомился с покойным Г. в 1843-м году (т. е. более полувека назад), он еще водки в рот не брал, важничал и кривлялся невыносимо. Как теперь помню, сел он за рояль и, наигрывая что-то из «Роберта-Дьявола», читал нам «лекцию» о мейерберовской музыке: «Здесь умоляющий голос Алисы, а тут — неумолимый голос Демона». Мы себе губы кусали, чтобы

¹ Н. Страхов, Воспоминания об А. А. Григорьеве, «Эпоха», 1864, № 9, о. VIII, стр. 3.

² «Эпоха», 1865, № 2, с. IV, стр. 152—182.

³ Сочинения Аполлона Григорьева, т. I, СПб., 1876.

¹ Биографические сведения о И. В. Павлове и его идейную характеристику см. в прим. С. А. Макашина («Лит. наследство», т. 13—14, М., 1934, стр. 308).

не прыснуть со смеха. А года через два бедняга попал в умственную кабалу к известному тогда проходимцу Милановскому, выдавшему себя чуть не за Калиостро. К нему относится экспромт Некрасова, напечатанный в альманахе «1 апреля»:

Ходит он меланхолически,
Одевается цинически
И ворует артистически...

И вот на этого-то вора, архи-жулика, Аполлон Григорьев чуть не молился и рабски повиновался ему во всем».²

Несмотря на явную недоброжелательность в оценке Ап. Григорьева, воспоминания И. В. Павлова не вызывают сомнения относительно достоверности фактов. Ап. Григорьев, действительно, находился одно время под сильным влиянием К. С. Милановского.³ Сравнением Милановского со знаменитым авантюристом и масоном Калиостро еще раз подтверждается предположение о его масонстве (в сочетании с жульничеством). Благодаря разысканиям Ю. Г. Оксман стало известно, что Милановский, не ограничиваясь московскими похождениями, «эксплуатировал чужие карманы» и в Петербурге, среди друзей Белинского, пока последний не выгнал его со скандалом из своей квартиры.⁴ Очевидно, слава об этом прохвосте была весьма долговечной, если в альманахе 1846 года⁵ ему посвящен экспромт!

Но самое главное — из воспоминаний И. В. Павлова мы узнаем об авторстве Некрасова. Экспромт входит в сатирический цикл «Портретная галерея»,⁶ состоящий из четырех стихотворений. *Первое* — «Он у нас осьмое чудо...» (стр. 26—27), «посвященное» Булгарину, — ввиду разногласий исследователей, приписывалось Некрасову предположительно, но новые разыскания А. М. Гаркави убедительно свидетельствуют в пользу авторства Некрасова.⁷ Затем (стр. 27) следует текст, неполно процитированный Павловым:

Ходит он меланхолически,
Одевается цинически,
Говорит метафорически,
Надувает методически
И ворует артистически.

Как мы теперь знаем, «адресат» — Милановский. *Третья* сатира (стр. 27—28) — также явно «на лицо»: ⁸

² Архив Н. Н. Страхова в рукописном отделении Публичной библиотеки АН УССР (Киев), III, 17818, лл. 1 об. — 2.

³ См. об этом: В. Н. Княжнин, прим. в кн.: А. А. Григорьев. Материалы для биографии, Пг., 1917, стр. 396; Г. П. Блок, Рождение поэта, Л., 1924, стр. 104—105; Б. Я. Бухштаб, «Гимны» Аполлона Григорьева, «Уч. зап. Саратовского ун-та», т. LVI, 1957, стр. 188—190.

⁴ Ю. Г. Оксман, Переписка Белинского, «Лит. наследство», т. 56, М., 1950, стр. 216; В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII М., 1956, стр. 116, 126, 509—510.

⁵ Полное название его: «Первое апреля. Комический иллюстрированный альманах, составленный из рассказов в стихах и прозе, достопримечательных писем, куплетов, пародий, анекдотов и пуфов», СПб., печатано в типографии Карла Крайя, 1846, 144 стр. (ц. р. 5 марта).

Альманах издан Н. А. Некрасовым. Об истории издания и содержании альманаха см. В. Е. Евгеньев-Максимов, Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. II, М.—Л., 1950, стр. 59—81.

⁶ «Первое апреля...», стр. 26—31.

⁷ См. Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. I, М., 1948, стр. 631—632; А. М. Гаркави, Заметки о Некрасове, «Некрасовский сборник», III, М.—Л., 1960, стр. 266—269.

⁸ На А. Н. Струговщикова? Ср.: «Стихотворения Александра Струговщикова, заимствованные из Гете и Шиллера», кн. I, СПб., 1845.

(Стихотворение, заимствованное из Шиллера и Гете).

Я герой!..
Припеваючи жить
И шампанское пить,
Завираться!
Жребий мой:
Вечеринки давать
И себя восхвалять
И стишки издавать
И собой
Восхищаться!
Верить одному
Вкусу своему,
Всех блаженней в мире,
Всех несчастней быть:
Но какое счастье
Так себя любить!..

Четвертое стихотворение — «Ростовщик» (стр. 28—31) — достоверно принадлежит Некрасову.⁹

Таким образом, даже без указания И. В. Павлова можно было бы предположить, что вся «Портретная галерея» создана одним автором. В. Е. Евгеньев-Максимов (без аргументации, впрочем) уверенно приписывал Некрасову весь цикл.¹⁰ Опубликованные воспоминания И. В. Павлова — дополнительное подтверждение этой гипотезы. Во всяком случае если не для третьего стихотворения («Я герой!..»), то по крайней мере для первого («Он у нас осямое чудо...») есть уже достаточное количество аргументов «за Некрасова»; стихотворение должно быть переведено из «dubia» в основной корпус сочинений поэта. Сюда же следует включить и второе («Ходит он меланхолически...»). Третье имеет все права на «dubia».

Письмо Ал. Григорьева к А. Н. Майкову

«1857 г. ноября 29. Флоренция.

Ты не можешь себе представить, до какой степени я был поражен первыми строками твоего письма. Когда я писал к тебе — у меня все в голове вертелась мысль писать к тебе, а не к вам — но я тогда задавил эту мысль... Насколько же ты должен быть и чище и проще меня! Это даже завидно. Во всяком случае — честь за тобою.

Ну слушай же — буду отвечать тебе à la hâte и вовсе не систематически. Я адски расстроен нервами и потому не требуй от меня какого-либо порядка — в изложении.

Если б ты мне написал казенные похвалы моему чаду, чаду моей плоти и крови, чаду самого безумного страдания — я бы повесил голову — но ты требованиями своими меня поднял. Ты знаешь, с каким искренним отвращением отношусь я ко всякой своей деятельности кроме критической, ты знаешь, что это во мне не аффектация — но уж если это действует раздражительно на тебя, то, значит, тут есть что-то. Что-то допотопное еще, как весь я — и больше и лучше я дать не могу, хоть с меня живого кожу слери. Милый мой! Я ведь сам не рад тому мучительному хаосу, который постоянно бунтует во мне и не может улечься — и не могу совладать с собою, чтобы не пытаться высказать этот хаос... Но об этом довольно. Присылай поскорее денег, если можно.

С чего ты взял, что я собираюсь как об открытии писать о народности в живописи и вообще о живописи? Живопись для меня только осязательнее

⁹ См. Н. А. Некрасов, ук. соч., стр. 604.

¹⁰ См. В. Е. Евгеньев-Максимов, ук. соч., стр. 63.

подтвердила мысль о том, что человек кроме себя и своего типического ничего выражать не может — мысль, против которой, однако, спорят.

С чего ты тоже взял, что я вижу в символистике византийской живописи искусство или даже шаг к искусству?.. Я хотел сказать только, что религия и искусство — две вещи разные. В мадоннах я, как ты же, вижу идеалы чистейшей женственности, но земные, а не небесные. Византия умела только в пору остановиться. Стоит только с глазами и чутьем пройти по коридору Уффици, чтобы видеть, что первый же шаг от символа к развитию последовательно ведет к мифам — а от них, этих прелестнейших мифов (от первых мифов Сиенской школы и Фра Анджелико до любодеек мадонн Тициана) последовательно к музыке Верди в церковном богослужении.

Абсолют, говоришь ты, — тебя не беспокоит. Т. е. ты можешь переносить внутреннее раздвоение?.. Высший голос спрашивает нас вовсе не о том, что мы сделали для человечества как художники, критики, лекаря и пр., а как мы установили в себе центр своего малого мира, т. е. как мы слили этот малый мир с великим миром... Да и врешь ты, чтобы абсолют тебя не беспокоил, просто себя тешишь. Мей, по крайней мере, тот ведь может по безобразию и внутренней бессодержательности дойти до возмущающего душу безумия и сказать в одном стихотворении: «Прости грехи человека за песни певца» — но ведь ты не Мей, не голый, бессодержательный талант — ты и высокий талант, и возвышенная, жаждущая правды и добра натура.

С чего ты взял, что православие есть какое-то *remedium* для моей натуры?... Чудак-человек! Да то ли я разумею под православием, что поп Матвей и Тертый? Что было *еврейство*, носившее строгого, палящего, неведомого, будущего Егову в отношении к язычеству, то ... Помнишь ли ты беседу у Писемского, где я высказался довольно откровенно?

Великие и плодоносные эпохи человечества были не эпохи раздвоения абсолюта с деятельностью, а эпохи *целостные*.

Повторяю тебе, что не я пишу к тебе, а мои больные нервы — но ты так умен, что дополнишь и поймешь...

Раздвоение-то до сих пор тебя и подрывало. Мы с тобой уже об этом говорили.

А вот тебе и практическое приложение. Из двух твоих стихотворений — одно («Сон в л<етнюю> ночь») — удивительно, потому что ты тут *ясно, целостно, душевно* относишься к делу, другое — фальшиво по тону и по заложенному в него *чувству*: простая фигура слепого старца заслоняется академического позою какого-то Савонаролы, и выходит ни Савонарола, ни старец. Это та же история, что в удивительной по концепциям поэме, из которой ты читал мне отрывки, но в которой вдруг неожиданно-негаданно является зандовский Спиридион вместо типа христианского аскета. *Sapienti sat*... Что вторая часть твоих стихов убьет первую — это ясно. Тут ты сам, всей своей личностью в ее правде и простоте.

Что к Мею равнодушны — не удивительно. У него нет — физиономии. Шумиха внешнего таланта, огромный тенор без всякой личной манеры. У него нет ни твоего лиризма живописца, узлекаящегося простодушно образом, и, с другой стороны, твоего *краббовского** (ибо ты из двух элементов) — ни мелодичности и запаха души Фета, ни тусклой предести Полонского, ни искренности Огарева — у него ничего нет.

До скорого свидания (письменного пока), мой неоцененный, новейший из немногих жильцов моей души, но столь же милый, как все другие. Пожми руку твоей жене и кланяйся Писемскому.

* Георг Крабб, знаменитый английский поэт (1754—<18>32), создатель реалист<ического> направл<ения> в англ<ийской> литер<атуре> (Прим. Ап. Григорьева).

А денег все-таки добывай — правдами и неправдами!» (шифр письма: III. 17102).

Адресат письма определяется не только по общему контексту, но и по стихотворению «Сон в летнюю ночь».

Сведения о знакомстве и дружбе Ап. Григорьева с А. Н. Майковым собраны воедино В. Княжиным в кн.: Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Пг., 1917, стр. 388—389 (в дальнейшем: «Материалы...»). Там же единственный раз было опубликовано полностью письмо Ап. Григорьева к Майкову от 9(21). I. 1858 (стр. 215—217). Кроме того два письма были напечатаны частично: от 24. X. 1857 (Ап. Григорьев, Избр. произведения, Л., СП., 1959, стр. 566) и от 24. X. 1860 (Переписка Ф. Достоевского и И. Тургенева, 1928, стр. 166).

24 октября 1857 г. Григорьев послал Майкову из Флоренции поэму «Venezia la bella», на что Майков, очевидно, ответил критическим письмом (где впервые перешел на «ты») с приложением двух своих стихотворений. Стихотворение «Сон в летнюю ночь» Майков посвятил Ап. Григорьеву. Второе стихотворение, — возможно, «Певец» (1857). «Савонаролла» (1851) не подходит по содержанию. Неясно также, о какой поэме, герой которой напоминает Спиридона из одноименного романа Ж. Занд (1838), идет речь. Может быть, это был какой-то вариант «Савонароллы»?

В публикуемом письме Ап. Григорьев излагает типичные для него идеи и принципы. Очень интересно суждение о «краббовском» реализме. Как и в других письмах, Григорьев отделяет свою религию от официального православия «попа Матвея и Тертия» Филиппова; в этом же смысле он сравнивает христианство с «еврейством», с идеями ветхого завета (ср. письмо к Е. Н. Эдельсону — «Материалы...», стр. 188).

Мысли об искусстве, высказанные здесь пунктирно, были более подробно развиты Григорьевым в предыдущем письме к Ап. Майкову (от 24. X. 1857): «помните ли вы замечательную вещь: «Мадонну» Альбрехта Дюрера? Вот я бы тех господ, которые говорят, что в искусстве нет *народности*, привел перед нее <так!>, да и поставил — и указал бы на ее чисто *германскую* девственность и на Христа-младенца с огромно-развитым лбом, будущего Шеллинга или Гегеля (Уффици)». Кстати бы тоже подвел их к «Santa Famiglia» Рубенса, где мадонна есть идеальная квинтэссенция той голландки, которая некогда продавала вафли в Москве и в Петербурге.

Но во всех этих мадоннах (рафаэлевские *у* comprise — но исключая мадонн Фра Беато Анджелико) я вижу просто идеалы женственности, — как во всем католичестве все более и более вижу язычество, мифологию, а не христианство. Все, что православие сохранило как символ, как линии — напоминающие и возводящие к иному миру — католичество развило в *мифы*, отелесило так, что видимое заменило собою невидимое. Эта идея во всем и повсюду. Везде *папство*, т. е. низведение царствия божия на землю, в *определенные*, прекрасные, но чисто человеческие идеалы. Крайнее последствие этого — мадонны с любовниц и музыка из «Лукреция Борджиа» во время католической обеди» (ИРЛИ, 16772. CVII б. 11).

Сиечская школа живописи дала плеяду первоклассных мастеров итальянского искусства XIII—XIV вв. (Содомма, Дуччо, Мартини и др.). *Фра-Анджелико* («подобный ангелу») — прозвище Фра-Джованни да Фьезоле (1387—1455), известного художника, автора фресок на религиозные темы. *Уффици* (*и*) — знаменитая художественная галерея г. Флоренции.

«*Прости грехи человека...*» — неточная цитата из стихотворения Л. А. Мея «Не верю, господи, чтоб ты меня забыл...» (1857).

Вторая часть твоих стихов — очевидно, речь идет о втором томе «Стихотворения» А. Н. Майкова, вышедшем, как и первый, в 1858 г. (Майков, возможно, писал о подготовке к изданию). В первом томе — стихи 1840-х, во втором — 1850-х годов.

«*Лукреция Борджиа*» — опера Г. Доницетти (1833).

Известно глубокое увлечение Григорьева «устюжской барышней» Марией Федоровной (см. «Материалы...», стр. 392). Считалось, что она брошена Григорьевым в конце его оренбургской жизни, т. е. весной 1862 г. Фамилия ее оставалась неизвестной. Шесть писем Марии Федоровны к Страхову (шифры: III. 17142—17147) вносят существенные дополнения в эту историю. Теперь мы знаем фамилию: М. Ф. Дубровская (между прочим, поиски следов официальной службы ее отца, согласно сведениям, указанным Григорьевым, — устюжского учителя, не привели к позитивным результатам: не только в г. Устюге, но вообще в учебных заведениях всей губернии, по данным «Справочных книжек» для Вологодской губернии на 1853 и 1856 гг., учитель Ф. Дубровский не значится; более ранних «Справочных книжек» нет; следовательно, или отца в 1850-х гг. уже не было на службе или вообще в живых, или он не жил в это время в Вологодской губ., или М. Ф. дала ложную информацию о своей семье, или она сменила фамилию). Мы узнаем также теперь, что Григорьев не бросил Марию Федоровну в Оренбурге; их совместная жизнь продолжалась и в Петербурге, по крайней мере до марта 1863 года.

Все письма М. Ф. Дубровской написаны быстрым, нервным почерком; встречаются грамматические ошибки, но почерк — не малограмотной женщины.

В письме от 13. V. 1861, т. е. за неделю до отъезда в Оренбург, М. Ф. просит Страхова уговорить Ап. Григорьева, «чтобы он не пил»; «оставьте без внимания мое погيبшее имя»; «вино губит его талант и может повредить по службе».

В письме от 9. III. 1863 она сообщает Страхову, что Григорьев «уехал в Москву» и просил напомнить, «что вы обещали ему статью» (Григорьев уезжал в Москву для сбора материалов и вербовки сотрудников во вновь организуемый журнал «Якорь»; ср. письмо Григорьева к Страхову от 7. III. 1863 — «Материалы...», стр. 299; Страхов принял участие в «Якоре» 1863 г. как переводчик «Историко-критического введения в философию мифологии» Шеллинга: № 1, стр. 9—13; № 2, стр. 29—33; № 4, стр. 71—73; № 7, стр. 124—128).

Письмо, датированное лишь «субботой», относится, очевидно, к последним дням жизни Григорьева, когда он был выкуплен А. И. Бибиковой из долговой тюрьмы. Видимо, в это время он уже расстался с М. Ф. Дубровской.

«Скажите, пожалуйста, Николай Николаевич, куда вы спрятали А<поллона> Алек<сандровича>. Я ходила вчера узнавать в долговое отделение. там мне сказали, что нет его. Потом я встретила, идя из дол<гового> отд<еления>, одну особу, которая мне сообщила весьма неприятную и грустную весть о А. А. Если это правда, то прошу вас, добрый Николай Николаевич, не можете ли вы устроить так, чтобы мне с ним проститься, и то в таком случае, чтобы он, если желает, принял меня так, как бы мог принять кого из знакомых, не сердясь и без всяких штук и без нервного трясения. что с ним обыкновенно бывает во время раздраженного состояния. Впрочем, как вы знаете. Мне очень жаль его. Покорна к услугам Вашим Марья Дубровская».

Если только в долговой тюрьме не обманули Марию Федоровну (по просьбе Григорьева?), то он вышел на свободу не за четыре дня до смерти, как писал Н. Н. Страхов («Эпоха», 1864, № 9, о. VIII, стр. 43), а несколько ранее. Последней субботой в жизни Григорьева было 19 сентября 1864 г. (умер он 25-го), следовательно, по крайней мере, 18-го он вышел из тюрьмы. «Грустная весть» — очевидно, слухи о выкупе Григорьева Бибиковой и, в связи с этим, — страх, что им овладела другая женщина.

Неизвестно, добились ли М. Ф. свидания с Григорьевым, но о его смерти она узнала лишь после похорон, как видно из письма от 4. X. 1864, где она сетует: «не хотели вы дать знать мне о кончине Ап.»; «как тяжело и грустно

вспомнить, что я жила так близко и ничего не знала», «умоляю вас, пришлите ради бога его портрет»; М. Ф. возмущена «особой»: «Это, господа, неискренние слезы, что она рвалась и металась, и спрашивается, о чем? О том, что она истратила на него 100 руб. и думала, что он по выходе из долгового возвратит. Но те слезы, которых никто никогда не увидит и не услышит, вот те слезы от глубины души и сердца. Надеюсь, что вы покажете его могилу или напишете, где он погребен. Помните, господа, 27-ю страницу поэмы «Вверх по Волге» <...> у меня нет ни ботинков, ни платья, живу в угле<-у> на кухне, даже за угол-то заплатить не могу 2 рублей».

В печатном тексте поэмы нет 27-й стр. («Русский мир», 1862, № 41, стр. 750—754; № 42; стр. 767—770). Очевидно, имеется в виду рукопись. Скорее всего, М. Ф. намекает на заключительные строки поэмы:

... помяните
Меня одним... Коль вам ее
Придется встретить падшей, бедной,
Худой, больной, разбитой, бледной,
Во имя грешное мое
Подайте ей хоть грош вы медный.

В письме от 8. V. 1866 М. Ф. Дубровская сообщает, что находится в «безвыходном положении» и умоляет о помощи. То же — в письме без даты. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

Воспоминания оренбуржцев об Ап. Григорьеве

Востоковед Н. И. Веселовский (1848—1918) во время научной командировки в Туркестан летом 1885 года встретился с лицами, знавшими Ап. Григорьева по его службе в Оренбургском кадетском корпусе. О разговорах с ними он сообщал Страхову в письме из Самарканда от 11. VI. 1885: «В Туркестанском крае и в частности в Самарканде находится довольно много чиновников и военных из Оренбургского края <...> На днях зашла речь и об Аполлоне Александровиче Григорьеве, и узнал я несколько любопытных про него анекдотов. Особенно понравилось мне одно его четверостишие <...>

Когда А. А. служил в Оренбургском Неплюевском корпусе, вышел приказ, чтобы учителя говели вместе с кадетами на четвертой неделе великого поста. Принесли этот приказ Григорьеву, прочитал он его, надо было распяться на приказе, вот он и написал:

Хоть много я грехов имею,
В них каюсь, их стыжусь, —
По приказанью не говею,
По барабану не молюсь.

<...> В другой раз А. А. написал большое стихотворение (ходившее в рукописи) вот по какому случаю. Приехал в Оренбург генерал-губернатор (чуть ли не Безак), весь чиновный персонал явился ему представиться, а он продержал явившихся несколько часов, не выходя к ним. Во время этого ожидания А. А. вынул записную книжку и набросал ядовитое стихотворение на сей случай. К сожалению, рассказчик самые стихи-то забыл, а упомянул только повторявшийся припев —

Эх-ма, спину гнут:
Кабы им хороший кнут!

Обещали мне достать и все целиком, только добывать-то надо из Оренбурга: трудновато, стало быть; но если это окажется новым, то я постараюсь добыть» (шифр письма: III. 16960).

Эти стихотворения не были известны. Очевидно, много эпиграмм и сатирических стихов Григорьева оренбургского периода безвозвратно пропало, так как мемуары об Оренбурге середины XIX века крайне скудны, рукописей же Григорьев обычно не сохранял. Ср. в «Воспоминаниях Г. О. Лишиной» (Вольск, 1913, стр. 17) четверостишие Ал. Григорьева, посвященное Оренбургу:

Скучный город скучной степи,
Самовластья гнусный стан,
У ворот острог да цепи,
А внутри — иль хам, иль хан.

ЗАБЫТАЯ СТАТЬЯ О Т. Г. ШЕВЧЕНКО

П. С. Рейфман

Вскоре после смерти Шевченко, в 33 выпуске журнала «Домашняя беседа» (от 19-го августа 1861 г.), известный мракобес В. И. Аскоченский поместил свои клеветнические воспоминания о поэте, стремясь очернить его память, а заодно лягнуть петербургских «прогрессистов и цивилизаторов», с которыми сблизился Шевченко в последние годы своей жизни.¹ Воспоминания Аскоченского широко известны. К ним неоднократно обращались исследователи творчества украинского поэта-демократа. Но в литературе последнего времени о Шевченко нам не приходилось встречать упоминаний о том сокрушительном отпоре, который получил пасквильянт сразу же после опубликования своих мемуаров. В 268 № «Русского инвалида» (от 2-го декабря 1861 г.) была напечатана большая статья «Нечто вроде комментариев к сказаниям г. Аскоченского о Т. Г. Шевченке», подписанная «Н -в». Эта статья упоминается в библиографическом указателе М. Комарова («Т. Г. Шевченко в литературе и искусстве», Одесса, 1903, стр. 61; Комаров лишь неточно приводит подпись «Н -ев») и, независимо от того, кто ее автор, имеет важное значение для изучения биографии поэта и той борьбы, которая развернулась в конце 50-х — начале 60-х годов вокруг его имени. Статья может быть отнесена к числу наиболее значительных и прогрессивных высказываний о Шевченко в русской периодике того времени. Но, к сожалению, статья забыта и в литературе о Шевченко не используется. Возможно, в какой-то степени, сыграло свою роль и то обстоятельство, что отповедь Аскоченскому была напечатана в «Русском инвалиде», газете, выходившей при военном министерстве, как принято считать, далеко не прогрессивной и поэтому мало исследованной. А между тем появление памфлета об Аскоченском именно в «Русском инвалиде» было далеко не случайным. С сентября 1861 г. издание этой газеты переходит на короткое время в руки Н. Г. Писаревского, человека весьма прогрессивных взглядов. Достаточно сказать, что петербургский обер-полицеймейстер в одном из донесений генерал-губернатору напоминал, что Писаревский «давно уже обратил на себя внимание своею крайнею неблагонамеренностью», а его статьи хорошо известны по «неуважению к существующему порядку».² Взяв в свои руки «Русский инвалид», Писаревский в первом же № поспешил заявить, что с военным министерством его ничего не связывает, кроме коммерческих отношений и известий, помещаемых в официальном отделе.³

¹ Пасквиль Аскоченского входил составной частью в систему ожесточенных нападок на поэта, которые регулярно печатала в 1861 году «Домашняя беседа». См. «Журнальные заметки», вып. 12, 22, «Запрос землякам Т. Г. Шевченко», вып. 16, «Блестки и изгарь», вып. 50 и др.

² А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. 16, Пг., 1920, стр. 397.

³ «Рус. инвалид», 1 сентября 1861 г.

В 1862—1863 гг., вместо неофициального отдела «Русского инвалида», Писаревский издавал газету «Современное слово». Правительство запретило эту газету за «неблагонамеренное» направление, а современники рассматривали ее в ряду демократических изданий 60-х годов. Между прочим, в одной из статей «Современного слова» рассматривался проект памятника тысячелетия России. Автор статьи упрекал архитектора за то, что тот не поместил барельефы Шевченко, Кольцова, Белинского, Грановского в ряду тех великих людей России, которые должны быть изображены на памятнике.⁴ Вряд ли редакция не знала, что барельеф Шевченко снят по приказу царя.

Таким образом, опубликование отповеди Аскоченскому в связи с его воспоминаниями о Шевченко являлось для Писаревского вполне закономерным.

Автор статьи с огромной любовью и уважением рисует облик украинского поэта, талантливого, доброго, человеческого. Он решительно разбивает легенду о бывшей близости и дружбе между Шевченко и Аскоченским, которую пытался создать редактор «Домашней беседы». Н-в клеймит Аскоченского как предателя, шпиона, ренегата. Тема предательства и шпионства лейтмотивом проходит через всю статью. Весьма любопытны и намеки, которые делает Н-в, на ту неблагоприятную роль, которую мог играть Аскоченский в деле Шевченко. Возможно, они употреблены не только в целях полемики. Известно, что Аскоченский в 40-ые годы был близок киевскому генерал-губернатору Д. Г. Бибикову и советовался даже с ним о делах весьма интимных.

Вполне вероятно, что после ареста Шевченко Аскоченский сообщил Бибикову свои впечатления о поэте; в том числе речь, возможно, шла и о «поганных виршах», о которых вспоминал много лет спустя Аскоченский. Такое предположение тем более вероятно, что Аскоченский лично знал Шевченко, принимал его у себя, это было известно, следовало как-то объяснить Бибикову такое знакомство и посещения. О деле Шевченко говорили в то время в Киеве везде. Вряд ли Аскоченский не говорил о нем в доме Бибикова. Во всяком случае, Н-в недвусмысленно намекал, что такого рода подозрения были широко распространены в киевском обществе после ареста Шевченко.

Едкий памфлет Н-ва привел в бешенство редактора «Домашней беседы». в 50-м выпуске журнала Аскоченского утверждалось, что вряд ли в литературе может быть что-либо «возмутительнее и безобразнее этого памфлета».⁵ Здесь же сообщалось о том, что Аскоченский намеревался жаловаться на Писаревского и Н-ва. Любопытно, что Аскоченский расписался в получении пощечины: в «Домашней беседе» как бы подводились итоги тому, на что в памфлете лишь намекалось; в ней прямо говорилось, что Н-в изображает Аскоченского «лгуном», «халуем», «предателем, шпионом и просто-напросто подлецом», что «пасквильант» утверждает, что и брат Аскоченского «такой же шпион, что Аскоченский способствовал *известному*, самим Шевченком описанному в «Дневнике», несчастию».⁶ Надо признать, что сущность памфлета изложена в «Домашней беседе» довольно правильно.

Кто же мог быть автором статьи, помещенной в «Русском инвалиде»? Есть основания приписать ее Н. С. Лескову. Лесков неоднократно писал о Шевченко, всегда выражая глубокое уважение и любовь к личности украинского поэта, высоко ценил его творчество, давал отпор любым попыткам опорочить его память. Не вызывает сомнений и отрицательное отношение Лескова к Аскоченскому. Так же относится к Шевченко и Аскоченскому Н-в. Но, кроме общего направления статьи Н-ва, напоминающего высказывания Лескова о Шевченко и Аскоченском, в пользу авторства Лескова свидетельствует и ряд деталей. Н-в, как видно из статьи, хорошо знал Шевченко в последние годы жизни поэта, ему были в деталях известны обстоятельства ареста Шевченко, он знал о киевских знакомых Шевченко, в частности о ху-

⁴ «Современное слово», 1862, 6, от 7 июня.

⁵ «Домашняя беседа», 1861, вып. 50, 16 декабря, стр. 997.

⁶ Там же, стр. 998. Речь идет об аресте и ссылке Шевченко.

дожнике Г<удов>ском, у которого Шевченко останавливался в Киеве в 1859 году. Шевченко бывал у Н-ва, осенью 1859 г., в квартире на Невском, в доме Кохендорфера. Через год Н-в был в Киеве и встречался там, видимо, со знакомыми Шевченко; во всяком случае он говорил в Киеве со своими знакомыми, которые были хорошо осведомлены о пребывании Шевченко на Украине в 1859 г. Н-в знает детали перевозки праха поэта на Украину.

Также превосходно известны Н-ву и факты биографии Аскоченского во время пребывания того в Киеве, его эротические стихи.

Все это сразу вызывает в памяти имя Лескова.

Лесков приехал в Киев в конце 1840-х гг., когда все киевское общество было возбуждено арестом Шевченко и толковало об этом деле. Лесков сам писал об этом в статье «Официальное буффонство»⁷

Упомянутая статья, излагаемый в ней случай, служат также свидетельством того, как хорошо знал Лесков обстоятельства ареста Шевченко.

А. Н. Лесков рассказывает, что в Киеве его отец познакомился с друзьями Шевченко, с художниками И. В. Гудовским, М. М. Сажиним, что уже в то время он увлекался поэзией Шевченко, мечтал о личной встрече с ним.⁸

Из статьи Лескова «Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко» мы узнаем, что эта мечта осуществилась, что в начале 1860 г. Шевченко и Лесков бывали друг у друга, Лесков жил в это время где-то «по дороге из Александро-Невской Лавры на Васильевский остров».⁹ После этого Лесков уезжал из Петербурга, был в Киеве, встречался там с знакомыми Шевченко. О них, в частности о художнике Гудовском, он рассказывал больному поэту, вернувшись в Петербург в начале 1861 г. Лесков присутствовал на похоронах Шевченко и был хорошо осведомлен в вопросе о перевозе его тела на Украину.¹⁰

Так же хорошо Лесков знал и Аскоченского, особенно во времена жизни того в Киеве. Подробное и неприязненное описание этого периода жизни редактора «Домашней беседы» дает Лесков в «Печерских антиках».¹¹ Мимолетные враждебные упоминания об Аскоченском неоднократно встречаются и в других произведениях Лескова.

Но мог ли Лесков встречаться с Шевченко в Петербурге в конце 1859 г.? Ведь сам он говорит лишь о встречах начала 1860 г., а Н-в упоминает, что Шевченко заходил в ноябре или декабре 1859 г. Из воспоминаний Лескова о П. И. Якушкине видно, что они встретились в Петербурге во времена, когда общественное мнение было возбуждено «Псковской историей».¹² Сообщение о «Псковской истории», об аресте Якушкина псковским полицмейстером, было опубликовано в «Смеси» 5-го № «Русской беседы» за 1859 г. (цензурное разрешение от 26 сентября). В 95 № «Иллюстрации» (19 ноября 1859 г.) говорилось об этой истории и о том, что ею теперь занято общественное мнение Петербурга. Следовательно, Лесков бывал в конце 1859 г. в Петербурге и мог там в это время встречаться с Шевченко.

Характерно, что много лет спустя, в 1882 г., Лесков не мог пропустить без ответа заметку в «Киевской старине», в какой-то степени порочившую память Шевченко, и ответил на нее статьей «Официальное буффонство». Еще более вероятно, что он в 1861 г., находясь под непосредственным впечатле-

⁷ Н. С. Лесков, Собр. соч., М. 1956—1958, т. 11, стр. 24. В дальнейшем ссылки на это издание будут обозначаться: Лесков.

⁸ А. Н. Лесков, Жизнь Николая Лескова, М., 1954, стр. 95.

⁹ Лесков, т. 10, стр. 10. Весьма вероятно, что приведенный условно-описательный адрес означает попросту Невский проспект.

¹⁰ См. Лесков, т. 11, статьи «Вечная память на короткий срок», «Забыта ли Тарасова могила?».

¹¹ Лесков, т. 7.

¹² Лесков, т. 11, стр. 72.

нием встреч с Шевченко, от его смерти, должен был откликнуться на вышедшие здесь же, в Петербурге, клеветнические воспоминания хорошо известного ему Аскоченского.

Лесков хорошо знал издателя «Русского инвалида» Писаревского. Знакомый Лескова, А. И. Нечипоренко, обвинявший «в сношениях с Лондонскими пропагандистами», во время дознания показал, что с Писаревским его познакомил Лесков. Артур Бенни, близкий в это время к Лескову, в 1861—1862 гг. сотрудничал в «Русском инвалиде», ведал так каким-то отделом (см. С. А. Рейсер, Артур Бенни, М., 1933, стр. 92). В 15-м № «Русского инвалида» (20 января 1862 г.) напечатана статья, приписываемая Лескову и направленная против Каткова, «Литераторы белой кости».¹³ В ней содержатся резкие выпады против Аскоченского. Характерно, что в более поздних воспоминаниях современников Лесков начала 60-х годов воспринимался как сотрудник изданий Писаревского («Русского инвалида» и «Современного слова»), как рьяный противник реакционного лагеря в журналистике.¹⁴ Он в это время близок с Артуром Бенни, человеком довольно радикальных взглядов, встречается с В. А. Слепцовым, В. А. Зайцевым, сотрудничает в демократическом журнале «Век». В пользу авторства Лескова говорит и сравнение у Н-ва манеры письма Аскоченского со стилем «холуйских богомазов», и обращение его к «Путевым запискам» В. П. Безобразова, напечатанных в «Русском вестнике», где говорилось о «холуйской живописи». Лесков был тонким знатоком народной иконописи, неоднократно писал о ней. В то же время он противопоставлял подлинному народному искусству подделку под него, «богомазнию», которую занимаются «ребята и девки Суздали и Холуя».¹⁵

Лескова напоминает и отрицательное отношение, высказанное мимоходом Н-вым, к стилю Н. Г. Чернышевского.¹⁶ Не безынтересно, что Н-в ссылается на киевское издание «Современная медицина», в котором сотрудничал Лесков. В пользу авторства Лескова свидетельствуют и ряд других особенностей статьи «Нечто вроде комментариев...» Уже само заглавие, несколько витиеватое и кудрявое, выдержано в духе названий многих лесковских произведений (напр. «Откуда пошла глаголемая «ерунда», или «хирунда», «Курская трель о Толстом», «Надлежит не осуждать проступков, не зная руководивших им соображений» и т. п.). Характерно для Лескова и употребление эпиграфов, выдержанных часто в ироническом плане (см. эпиграфы к статьям «Красавец-мужчина», «Большие брани», «Геральдический туман» и др.). Ирония, сарказм, столь широко использованные в статье Н-ва, часто встречаются в статьях раннего Лескова («Литературы белой кости», «Русский драматический театр в Петербурге», «Большие брани» и др.). В статье «Литератор-красавец» Лесков, так же, как Н-в, подробно излагает и цитирует разбираемое произведение, попутно иронически комментируя его, в качестве основного приема разоблачения противника. Напоминает Лескова и склонность Н-ва к каламбурам («следил за дверями», «долго он спелвался и наконец спелся», «знакомились с его способностями петь разные песни», «художествами, не преподаваемыми в той Академии...» и т. п.), и обращение его к разговорным, нелитературным словам и фразам, как русским, так и украинским («мазнул его такими тенями», «станут мазать», «замахнул и самого себя», «не дошмыги»), и употребление в ироническом плане церковно-славянских оборотов («петербургские стогны присещает свет лица», «умастят мастями благовонными», «вживе стяжает себе»; ср. с оборотами лесковских статей: «превеликие и буйные брани настали», «начни глаголать

¹³ См. «Изв. отд. рус. яз. и словесности Акад. наук 1925 года», т. 30, Л., 1926, стр. 274.

¹⁴ См. «Вестник Европы», 1871, № 8, стр. 902.

¹⁵ Лесков, т. 11, стр. 181.

¹⁶ Ср. с статьей Лескова «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?», Лесков, т. 10, стр. 14—15.

разными языками», — Лесков, т. 10, стр. 55, 87), и изобретение особых словечек типа «духоярый».

Характерна для Лескова и проявляемая Н-вым осведомленность в деталях личной жизни, частного быта изображаемых персонажей, и прямое авторское вмешательство в излагаемые события, и сообщение различных сведений о себе. Как Лесков, так и Н-в, широко включают в текст прямую речь Шевченко, сохраняют его разговорные обороты, украинские слова. И тот, и другой пишут фамилию Шевченко то в изменяемой, то в неизменяемой форме (ср. со статьей «Последняя встреча и последняя рузлука с Шевченко»). И Н-в, и Лесков используют латинские поговорки, изречения (Лесков, т. 10, стр. 12, 26, 59 и др., Н-в, стр. 000)..

Ни одна из известных статей Лескова не подписана «Н-в», т. е. Н<иколай Леско> в, но подписи такого рода весьма часто встречаются под лесковскими произведениями (Л; Л—в; Л—в, Н.; Л...ов, Н; Л-ов, Н; Н. Л;—ов, Николай и пр.).

Все вышесказанное делает весьма вероятным предположение о том, что автором статьи «Русского инвалида» был Н. С. Лесков. Если же принять это предположение, то статья должна занять достойное место в публицистическом наследии Лескова (она, пожалуй, является одной из значительнейших статей, созданных Лесковым); статья дополняет и уточняет наши представления об облике этого талантливого русского писателя в начале 1860-х годов, об его взаимоотношениях с великим украинским поэтом.

«НЕЧТО ВРОДЕ КОММЕНТАРИЙ К СКАЗАНИЯМ г. АСКОЧЕНСКОГО о Т. Г. ШЕВЧЕНКЕ»

Матушка моя, дай ей бог
царство небесное, говорила:
«эй, не лги, сынок!»

В. Аскоченский
(Чтение для православ-
ного, русского народа, составл.
В. Аскоченским)

Относиться серьезно к В. И. Аскоченскому или к произведениям его пера не принято в русской литературе. Серьезное слово о нем скажет разве только будущий историк современной русской литературы, и слово то, вероятно, будет короткое, ясное, определенное;; такое слово, какого вполне заслуживает редактор Домашней Беседы, и которое давно следовало бы ему сказать для того, чтобы никогда уже не возвращаться к его популярному имени. Мы должны были употребить эту оговорку, чтобы снять с себя упрек, который могли нам сделать при виде статьи, в заголовке которой стоит имя г. Аскоченского. Мы чужды всякого желания полемизировать с г. Аскоченским, ибо вполне понимаем всю бесполезность такого труда; но мы считаем себя обязанными высказать кое-что по поводу воспоминаний г. Аскоченского о недавно умершем малороссийском поэте, Тарасе Григорьевиче Шевченко, которого г. Аскоченский, в 33-м выпуске Беседы, удостоил своих воспоминаний. В воспоминаниях этих почтенный писатель, со свойственной ему одному сообразительностью, хваля покойника, мазнул его такими тенями, которые, по нашему мнению, не идут для светлого облика «любого¹ кобзаря Украины». Но прежде, чем коснемся художественного абриса, мы позволяем себе просить наших читателей обращать внимание на то, как г. Аскоченский оттушевывает некоторые стороны в Шевченко. В принятом г. Аскоченским способе рисования заметно сильное преобладание холуйского² разгула кисти. Г. Аскоченский, точно как богомаз³ холуйского уезда, станет мазать известною краскою одну фигуру, прихватит ею один бок и другой, и именно тот самый бок, которым соседняя фигура повернута к раскрашиваемому лицу. Он не избежал этого и в своих воспоминаниях о Шевченко. Растушевывая покойного поэта, он захватил своей щетинной кистью и Чужбинского, и других лиц, воспоминаемых при сей верной okazji, а, что всего интереснее, замахнул и самого себя. Таковы следствия холуйского способа отделки личности.

¹ Любимого (укр.) — П. Р. Все примечания, специально не оговоренные, принадлежат «Н-ву».

² Холуйский уезд, известный особого рода иконописью.

³ Местное название. См. «Русский вестник», Август м., 1861 г. Путевые записки В. Безобразова.

Воспоминания свои г. Аскоченский начинает таким приступом «Эх, Тарасе, Тарасе! За що мене охаяли люд (орфография «Д. Б.»). За що прогомонили, що я тебе, орла мого сизаго, оскорбив, облаяв?... Боже ж мій милостивий! Коли ще вони не знали де ты и як ты, и що таке, а я вже знав тебе, моего голуба, слухав твоего «Ивана Гуса», слухав други твои думы, которых не бросав ты, як бисер перед (нехай выбачають) свинями...» Заявив с первых строк фамильярность с Шевченко в таких выражениях, которые заимствованы самым известнейшим нашим писателем Чернышевским у известного полицмейстера, г. Аскоченский очень вяло *сочиняет* акт своего первого знакомства с Шевченко. Встреча эта произошла в 1846 г., в Киеве, на Старом городе, в квартире А-вых. Дело было после чаю, в небольшом садике. «Тарас (г. Аскоченский не изменяет интимной замашке) в нанковом полупальто, застегнутом до горла, уселся на траве, взял гитару и, брэнча на ней «не до ладу» запел: «Ой, не шуми, луже». И запел он это, по словам г. Аскоченского, дурно, но однако его музыкальное ухо, редактора *Беседы*, слышало в пении «что-то поющее, что-то ноющее, что-то задевающее». Г. Аскоченский осведомился о певце и, узнав, что это Шевченко, «вскрикнул и в ту же минуту встал и подошел к любимому поэту *Кобзаря*» (г. Аскоченский иногда выражается, как говорят у малороссиян «не дошмыги») «Опершись о дерево, я стоял и слушал, — говорит он. — *Вероятно, заметив мое внимание, Шевченко вдруг ударил всей пятерней по струнам и запел визгливым голосом «Черный цвет, мрачный цвет», пародируя провинциальных певцов. Все захохотали, но мне стало грустно, даже досадно, что человек, на которого я смотрел с таким уважением, спустился до роли балаганного комедианта. Тарас положил гитару на траву и, выпив рюмку водки, которую поднес ему (тогда гимназист) П. А-ч., стал закусывать колбасою, безпрестанно похваливая ее» (Заметьте: «поднес» рюмку водки. Г. Аскоченскому он бы, разумеется, ее «подал») Г. Аскоченского окружили дамы и просили «спеть что-нибудь». Он сел к фортепиано и запел: «погляди, родимая» Шевченко стоял перед ним и пристально смотрел ему в глаза. Песня понравилась поэту; он узнал, что она сочинена г. Аскоченским и поблагодарил его. Через несколько дней г. Аскоченский «забрел как-то на *взгорье Михайловской горы*» и над крутым обрывом увидел Шевченко, который «сидел на земле, подпершись обеими руками и глядел, как немцы говорят, *dahin*». Нынешний редактор «Домашней Беседы» подошел к поэту; но тот его заметил только тогда, когда он «остановился сбоку». (Что за способность так незаметно подходить к человеку! Это напоминает брата редактора, доктора А. Аскоченского, который, возражая «Современной Медицине» (см. № 18, 1861 г.), что врачи при наборах не берут взятки, сознается, что он «в течение восьми дней следил за дверями» одного своего собрата, и тот, надо полагать, этого не заметил. Не на своих местах эти гг. Аскоченские, — таланты их гибнут). Наконец Шевченко увидел г. Аскоченского, и тут между ними произошел следующий разговор:*

— «А, бувайте здоровы. Чого вы тут?» — спросил Шевченко.

Но пусть г. Аскоченский сам рассказывает:

— Того ж, чого и вы, отвечал я с усмешкой.

— Эге, сказал он, как будто тоном несогласия (Он верно вспомнил пословицу, гласящую: «quod licet Jovi, non licet bovi»). Вы з якои стороны?

— Я воронежский.

— Сидайте, паньчу, сказал он, отодвигаясь и подбирая под себя полы своего пальто.

Я сел.

— То вы, мабуть, козак?

— Був колись, — отвечал я. Предки мои точно были козаками; прапрадедушка, есаул войска донского, звался Кочка-Сохран.

— Якій же гаспид перевернув вас на Аскоченского?

— Того уже не знаю.

(Как жаль, что г. Аскоченский не объясняет; но относился этот его разговор с Шевченко к той поре, когда редактор Беседы, по собственному (печатному) сознанию, *имел слабость лгать*. Теперь поневоле затрудняешься — верить ли тому, что г. Аскоченский был когда-то козаком, происходит от Кочки Сохрана и, бог весть, «з якого гаспида» перевернулся в Аскоченского).

Беседа прервалась. Г. Аскоченский закурил сигару.

— Ой, *паньчу*, москаль подійде, буде вам. Г. Аскоченский засмеялся.⁴ Они долго сидели молча, наконец «ходим», сказал, поднимаясь, Шевченко. Собеседники сошли на Крещатик.

— А де вы живете? — спросил Шевченко у г. Аскоченского. — Тот ответил.

— Уа! — сказал Шевченко, когда услышал от г. Аскоченского, где он живет, — то великий пан. Нам мужикам туда не можно.

— *Но у этого пана, возразил г. Аскоченский, тоже живут мужики и первый из них я.*

— Правда? — спросил Шевченко.

Г. Аскоченский сказал: «Правда» — «То добре», — отвечал Шевченко, и они расстались.

Это происходило весной 1846 года, но числа г. Аскоченский не упоминает, ибо в дневнике его, откуда он заимствует все это, дни и месяцы не обозначены.

Для исторической верности и полноты обстоятельств, долгом считаем прибавить к этому от себя, что в то время, к которому относится настоящий рассказ, г. Аскоченский жил в доме бывшего киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора Дмитрия Гавриловича Бибикова и занимался воспитанием его (уже умершего) племянника г. Сипягина. Возвращаемся к воспоминаниям Аскоченского.

В дневнике его опять значится, что «26 мая (странно откуда в этом дневнике взялось число, когда сам г. Аскоченский говорит, что «дней и месяцев не обозначал»? Неужто правнуком Кочки Сохрана опять овладевают юные привычки?) Тарас Григорьевич был в первый раз у меня», т. е. у г. Аскоченского. Тут же были два офицера, один армейский, а другой жандармский и А. С. Ч. — ий, с четками в руках, серьезный и неразговорчивый. Несмотря на это (т. е. на что?), все были, как говорится, в ударе. Тарас, с которым я *успел уже сблизиться* (это — талант!), читал разные свои стихотворения и, между прочим, отрывок из своей поэмы «*Ивана Гуса*». Г. Аскоченский приводит несколько стихов из этой поэмы, но, приводя их, не объясняет, что эти и некоторые другие места в этой поэме относятся не ко временам Иоанна Гуса, а к недавно прошедшему Италии, которой живо сочувствовал Тарас Григорьевич. Впрочем, читатель сам может в этом убедиться из приведенных г. Аскоченским стихов. Мы много раз слышали их и от самого автора, и от других, но никогда не могли найти в них ничего, кроме сострадания угнетенным народам Италии. Вот эти стихи:

«Народ сумує там⁵ в неволі,
А на апостольськiм престолі
Чернець годований сидить:
Людскою кровію шинкує,
У найми царства віддає —
Великій Боже! Суд Твій всує
И всує царствіє Твое».⁶

⁴ Г. Аскоченский тогда мог смеяться. Москаль, т. е. солдат, будочник, ему, вероятно, не мог сделать замечания за сигару. Немного ниже это станет понятно.

⁵ В Италии.

⁶ Для совершенно незнакомых с малороссийским языком, постараемся рассказать по русским значение этих слов малонизвестной русским поэмы:

«Не могу, говорит г. Аскоченский, забыть снисходительности поэта к таким убогим стихоплетам, каким был я, грешный, во время оно. (Нынче г. Аскоченский не осознает своего убожества). Шевченко заставил меня читать тогда еще не напечатанные *издания* и, помню хорошо, некоторыми главами из «дневника», помещенного в собрании моих стихотворений, оставался чрезвычайно довольным. У меня доселе хранится рукопись этого семейного рассказа, на котором Тарас *мазнул* на полях следующих стихов *прескверным своим почерком* «спасыби, панычу».

Здесь г. Аскоченский поместил и эти стихи, которые мы перепечатаем, желая познакомить наших читателей с музою правнука Кочки Сохрана:

«Небесный гость — переселенец
Лежал в объятиях младенец.
Прильнув ко груди молодой
Своей кормилицы родной, —
И мать счастливая, шутя,
Ласкала милое дитя,
И *грустный* *взор ее* (кому?), прекрасный,
Взор тихий, полный неги страстной
Понятливо наедине (!!)
Тогда покоился на мне...»⁷

Вытянув от Тараса *согласие* на посвящение его имени одного из своих стихотворений, г. Аскоченский просил его написать что-нибудь и себе. Шевченко обещался, но не исполнил своего обещания.

«После чаю «с возлиянием», Тарас стал веселее и, *седши* (орфогр. Д. Б.) к фортепьяну, начал подбирать акомпаниман, что однакож ему не удавалось.

— Паньчу, — сказал он, наконец, — чи не втнете нам якои-нибудь нашеньской?

Г. Аскоченский спел малороссийскую песню, потом г. А-ч запел «Ты душа-ль моя». Тарас Григорьевич рассердился, сказал певцу: «дурень еси Василь» и вечер чуть не расстроился. Но подали закуску. «Хлыснув двi-три чапорухи. Шевченко повеселел, а дальше и совсем развязался; он стал читать стихотворения, наделавшие потом ему много беды и горя».

Как жаль, что г. Аскоченский не говорит: каким образом читаемые у него Шевченкою стихи «наделали много беды и горя» поэту; а он, судя по тогдашнему его положению, должно быть не лишен об этом некоторых обстоятельных сведений. Возвращаемся к воспоминаниям:

— «Эх, Тарасе, говорил я. Та ну бо, покинь! Ей же Богу не доведут тебя до добра *таки поганы вириши*.

— А шо ж мени зроблят?

Народ страдает там в неволе,
А на апостольском престоле
Чернец откормленный сидит:
Людскою кровью он торгует,
В аренды царства раздает. —
Великий Боже! Суд твой всеу
И всеу царствие твое...

⁷ Нам случалось слышать много других поэтических произведений г. Аскоченского, написанных такою же рифмованною прозою, образчик которой мы представили читателям. Сколько мы помним, общее внимание всегда останавливалось на эротических его произведениях, которые с жадностью списывались гимназистами. У одного известного нам журналиста мы видели эротические сочинения В. И., собранные систематически, и полагаем, что выдержки из этой скромной коллекции рано или поздно появятся в печати, как материал для определения значения литературной деятельности редактора «Домашней Беседы».

— Москалем тебе зроблять⁸

— Нехай — отвечал он, махнув рукой отчаянно, — слухайте ж ще крашу.⁹

И опять зачитал.

Мне становилось неловко. Я поглядывал на соседние двери, опасаясь, чтобы кто-нибудь не подслушал нашей слишком *интимной* беседы (Странное опасение! Кто ж мог подслушивать в генерал-губернаторском доме?). Вышедши на минуту из кабинета, где все это происходило, я велел моему слуге войти ко мне через несколько времени и доложить, что, мол, зовет меня к себе.... (четыре точки в подлиннике).

После этого маневра, «гости оставили» г. Асоченского, — а что он сделал по уходе их им в воспоминаниях не написано.

«В июне (1846 г.), — продолжает г. Асоченский, — не помню которого числа, зашел я к Шевченку, в его квартиру на Козьем Болоте.¹⁰ Жара была нестерпимая. Тарас лежал на диване, в одной рубашке. Сняв с себя верхнее платье, я *повалился* на кровать. Разговаривать не было никакой возможности: мы просто *разварились*. Отдохнув несколько, я принялся осматривать все окружающее меня: *бедность* и *неряшество просвечивались во всем*. На большом столе, ничем не покрытом, валялись самые разнородные вещи: книги, бумаги, табак, окурки сигар, пепел табачный; разорванные перчатки, истертый галстук, носовые платки — чего-чего там не было!» Странно, что г. Асоченский отказал себе на сей раз в удовольствии высчитать «чего-чего там не было». Или уж *претить* стало. «Между этим хламом разбросаны были медные и серебряные деньги и даже, к удивлению моему, один полуимпериал. В эту пору (т. е. во время обзора) подошел к окну слепой загорелый нищий с поводырем. Я встал и взял какую-то медную монету, чтобы подать.

— Стойте, — сказал Тарас, — що де вы ему даете?

— Я сказал — Э-казна шо!

И в ту ж минуту, встав с дивана, взял полуимпериал и подал его нищему. Слепец, ощупав монету и спросив о чем-то своего поводыря, протянул руку в окно с полученным полуимпериалом.

— Спасибі вам, пане, але я такой не визьму, нехай їй всячина! У старців таких грошей не буває. Визьмить їн собі, а мени дайте шматок хліба, чи шо.¹¹

Тарас дал ему полтинник, нищий, постояв и подумав немного, пошел от окна, бормоча молитвы и разные благожелания.¹²

Этим сценами оканчиваются воспоминания г. Асоченского о встречах с Шевченко в Киеве, и он переходит прямо к 1856 году. Автор встречается с Шевченко в его квартире, в Академии Художеств, и сообщает ему о плане *Домашней Беседы*. Узнав от меня, что я издаю *Домашнюю беседу*, Тарас сказал: «добре»; но когда я изложил перед ним мои убеждения и цель, к которой я решил идти не спеша, Тарас сделался серьезен, и оттягивая огромные усы, проговорил: «Трудно вам против рожна прати». Холодно и бесчувственно слушал он после этого мои воспоминания и *каждым движе-*

⁸ Солдатом тебя сделают.

⁹ Слушайте ж еще лучшую.

¹⁰ Небольшой переулоч в Киеве.

¹¹ Кусок хлеба, или что-нибудь.

¹² Тарас Григорьевич был необыкновенно щедр к бедным и никогда не находил в себе силы отказать тому, кто его о чем-нибудь просил. Г. Чужбинский в своих воспоминаниях приводит несколько фактов, доказывающих, что щедрость к бедным была сильна в Шевченке до того, что он не хотел видеть обманов. — «Я и сам знаю, — отвечал он, — та нехай лучше тричі мене одурят, а все-таки у четверте подам тому, хто справди не бачив шматка хліба». Участие к страданию других приводило его нередко к самым наивным сценам.

нием показывал, что я как-будто ему в тягость. На прощание, я просил его бывать у меня, но Тарас Григорьевич отвечал мне отрывисто: «Я не выхожу никуда; прощайте».

В последний раз я встретился с ним летом прошлого года, на Загородном проспекте, но... лучше б мне не встречаться.

За сим следует оценка характера Шевченки, жалоба на «прогрессистов и цивилизаторов», которые сбили его с *панталыку*, да на обстоятельства неблагоприятные, которые ожесточили его впечатлительную душу. несколько слов о том, зачем перевезли его тело, и затем *благожелания* всего доброго Шевченке на том свете.

Вот почти все, что г. Аскоченский старался сказать о своем знакомстве с Шевченко. Что он хотел сказать своими воспоминаниями — весьма понятно, весьма понятно и то, что говорит в них г. Аскоченский нехотя. Или г. Аскоченский уже очень неловок, или же он хотел вспомнить покойного Шевченко, так как он способен вспоминать людей, «сбитых с панталыку современным прогрессом»?

Мы не хотели допускать первого, мы верили, что в г. Аскоченском очень много сообразительности; но мы должны в этом усомниться. Г. Аскоченский в своих воспоминаниях поставил себя в таком свете, в каком стоят в наше время лица, не пользующиеся ни тенью уважения и симпатии. Личность Шевченки от его воспоминаний ни мало не проиграла. В нем всякий, мало мальски разумный, человек и теперь не перестает видеть поэта, человека, преданного своей идее и готового открыть свои объятия всякому, кто казался ему способным сочувствовать этой идее. Ошибки Шевченко в этом роде были не редки, и большинство их принадлежит именно к той эпохе, когда он читал г. Аскоченскому в той же самой киевской квартире, где г. Аскоченский принимал его, свои «поганые вирши». Он действительно увлекался до смешного и верил, что

Кому шасте, так уж шасте,
А слезы, так слезы.

Он не был хитер. Даже в последнее время, когда он пережил обстоятельства, описанные им в дневнике (см. *Основа*), он не сделался особенно проницательным; он стал только несколько осмотрительнее. Г. Чужбинский рассказывает о своей встрече с ним после возвращения поэта в Петербург. Шевченко встретил его холодно и вел разговор на *вы*, а известно, он ничего не имел против Чужбинского. Многими замечено, что Шевченко принадлежал к числу тех странных людей, которые сближаются и, в известной степени, доверяются человеку прежде, чем успеют хорошенько узнать его характер и крепость его убеждений. Знакомств, составленных таким образом, у Тараса Григорьевича было бесчисленное множество, и некоторые из них завязаны даже после возвращения его в Петербург, т. е. в ту пору, когда он называл себя в шутку «многоопытным». Расскажу один такой случай, который относится к последней побывке его на Украине. Это было очень недавно, менее двух лет. Тарас Григорьевич, возвратив себе звание академика, исходатайствовал и позволение поведаться с своими родственниками, бывшими тогда в крепостном состоянии. В Киеве он остановился у художника Г-ского и у него познакомился между прочими лицами с г. Н., человеком очень радужным, хлебосольным, но совершенно необразованным и чуждым всяких убеждений. Т. Г. после 2—3 свиданий нашел, что в этом человеке «и в его жинке» бьются очень теплые сердца и что они люди без онеров. Он стал посещать их. В одно из таких посещений, если не ошибаюсь вскоре после того, как он не совсем обыкновенным образом возвратился в Киев из Каневского уезда, у г. Н. собралось несколько приятелей. Засиделись до поздней ночи. Часу в 3 Тарас Григорьевич вдруг собрался домой, — его уговаривали посидеть еще. Он едва согласился, но, подождав несколько минут, снова встал и решительно начал прощаться. Показалось ли ему что-нибудь не по обычаю, или просто он не хотел сидеть, — бог его знает, но только простился и пошел

к воротам. Ворота были закрыты и хозяин, в порыве своего странного хлебосольства, не велел отпирать их Шевченке, уговаривая христом-богом возвратиться в комнату. Но это было уже невозможно. Услыхав приказание не выпускать со двора, Тарас Григорьевич пришел в такое неописанное состояние, что хозяин, несмотря на всю свою недалекость, должен был поспешить отменить этого распоряжения. Пока разбудили дворника и отперли ворота, Т. Г. стоял у ворот, ни за что не хотел войти в комнату, не хотел слышать о том, что ему запянут лошадь, и без калош пошел по грязи домой, по узенькому немошному переулку, который окружает софийскую ограду. Все думали, что это каприз, не имеющий никакого основания, но не тут-то было.

В ноябре или декабре того же года, возвратясь один раз в свою квартиру, в доме Кохендорфера, на Невском проспекте, я застал у себя г. Н., который после нескольких слов сообщил мне о причине своего приезда из Киева и рассказал, что он успел уже побывать у Шевченки, но не застал его дома и оставил свою карточку. Н. был первый раз в Петербурге и, кроме меня и Шевченки, у него не было в столице ни одного знакомого человека; а потому, пообедав вместе, мы отправились к Тарасу Григорьевичу. Дверь его опять была закрыта. Я возвратился домой и сел за работу. Часов в 11 звонок. Отворяю дверь. Тарас Григорьевич и сердитый. Первый его вопрос был: «Н. приехал?»

— Да, приехал — отвечаю я.

— А вы откуда знаете?

Я рассказал.

— То это *вы* с ним у меня были? — Шевченко сделал усиленное ударение на слове *вы*.

— Ну, да, я.

Тарас Григорьевич плюнул, снял шапку и, не скидывая калош и шинели, сел на диван.

— Скажите ж мне, пожалуйста — спросил он: добре вы знаете Н? Я отвечал, что я его давно знаю.

И як слид знаете?

Мне стало странно. Я действительно давно знал Н, но знал его, как субъекта совершенно неинтересного и никогда не задавал себе о нем никакого вопроса. Однако я рассказал, что я о нем думаю.

— А больше ничего? — допытывался Шевченко.

— Ничего. А вы больше разве знаете?

— А то-то и бо! — и Шевченко рассказал мне только что описанный хлебосольный прием. Тут только разъяснилась мне причина его ночного бегства, о котором мне, не задолго перед тем, рассказывал один приезжавший из Киева знакомый. Дело в том, что, в числе собеседников, был один господин, с которым Тараса Григорьевича познакомили как со старым приятелем, не сказав, «что *оно* такое и чем *оно* смотрит». Господин, о котором говорил Шевченко, был именно «*оно*». Его, кажется, никто не считал вовсе за человека, но его принимали во многих домах известного круга; и он везде пил и, где было чем, везде напивался. Тарас Григорьевич не раз его видел; но в нем никогда ничего не видал; а тут вдруг, в 3 часу ночи, явилось убеждение, что с этим господином приятельская беседа невозможна, что он его непременно скомпрометирует и даже «на то пришел, а хозяина в помощники взял!»

Я был вполне убежден, что это опасение не имело никакого основания, но к крайнему удивлению несколько ошибся. Будучи через год в Киеве, я узнал, что на счет хозяина Тарас Григорьевич положительно погрешил, но в госте *частью* не ошибся.

Я привел этот случай с намерением показать, что заискать у Тараса Григорьевича доверия в такой мере, в какой успел снискать его во время оно г. Аскоченский, не было особенно трудно. Шевченко был человек сердечный и художник. Этого, полагаем, довольно, чтобы сказать, что он мог оши-

баться легче, чем многие люди, занимающиеся иными искусствами, не преподаваемыми в той Академии, из которой вышли Шевченко и Иванов.

Вникая глубже в самую суть воспоминаний г. Аскоченского о Шевченке и стараясь читать их по строкам и между строк, становишься в тупик: действительно ли Тарас Григорьевич когда-нибудь симпатизировал г. Аскоченскому, или он только всматривался «что воно таке?» и всмотрелся уже тогда, когда правнук Кочки Сохрана рассказал ему план своего литературного предприятия. Судя по тону, которым написаны воспоминания г. Аскоченского, можно полагать, что покойный Шевченко никогда не считал г. Аскоченского своим человеком, но только сомневался в нем. За это предположение говорит то, что Шевченко величал г. Аскоченского в разговоре *панычем*, смеялся над тем, что он знает, что нужно подать бедному и что оставить себе, и читал ему свои «поганые *вириши*» только потому, что не подозревал в г. Аскоченском прорицателя, когда тот предсказывал ему, чем он может сделаться. Трудно верить, чтобы Шевченко не выразумел г. Аскоченского после вечера в доме великого пана, откуда редактор *Домашней Беседы* выпроводил своих гостей, приказав человеку «*доложить* себе, что, мол, зовет к себе...» (точки подлинника).

Но этому предположению противоречит нижеследующее место из воспоминаний о Шевченке г. Чужбинского: «к этой же эпохе, (говорит г. Чужбинский, описывая киевскую жизнь Шевченки) относится наше знакомство с г. Аскоченским, ныне редактором *слишком известной «Домашней Беседы»*, а тогда экс-профессором духовной академии и воспитателем генерал-губернаторского племянника¹³ и поэтом: так по крайней мере некоторые звали его в Киеве. Редактор «Домашней Беседы» не обнаруживал тогда *духовной нетерпимости* и не предавал еще анафеме всего светского и современного, как делает это в настоящее время, но, настроив свою лиру на элегический тон, бряцал на ней весьма чувствительные песни. Сей муж, карающий сурово все живое и мыслящее, смотрящий на произведения искусства сквозь мутные очки средневекового аскетизма, горячо вступающий за юродивого Ивана Яковлевича, читал нам свои стихотворения, выражавшие земные страсти, и, надо отдать ему справедливость, не обнаруживал стремления, которое могло бы обличить в нем будущего редактора издания, не имеющего никакого литературного достоинства. Я упомянул об этом потому, что свидевшись после долгой разлуки, Т. Г. с удивлением сказал мне:

— А знаешь ты, шо *Домашнюю Беседу* выдае той самой Аскоченский, которого мы знали у Києве! *Чи можно було надіятись?»*

Этот вопрос показывает, что Шевченко долго после своего выезда из Киева оставался в убеждении, что г. Аскоченский не может сделаться тем, чем его угораздило сделаться. Впрочем, это становится понятно, когда припомнишь, что киевское знакомство Шевченки с г. Аскоченским относилось к той эпохе, когда сей последний, в качестве воспитателя генерал-губернаторского племянника являлся в низшие сферы только в минуты поэтического вдохновения, пел, читал, слушал, что пели и читали другие, и удалялся с запасом всего услышанного. В это время г. Аскоченского действительно многие считали отъявленным либералом и не умели заметить в нем «духовных» наклонностей. Г. Аскоченский сделался менее загадочным уже тогда, когда над Шевченком сбылись его пророческие предсказания, когда судьба кинула его в те суровые края, где писаны, помещенные в «*Основе*», листы его дневника. В эти дни осуществления пророчеств г. Аскоченского резко изменилась его собственная судьба. Сначала он перестал воспитывать генерал-губернаторского племянника, потом удалился из Киева в другой губернский город киевского генерал-губернаторства и занял там видное служебное место; потом вскоре потерял это место, взяв другое, которое тоже должен был оставить и, возвра-

¹³ Г. Аскоченский, как уже сказано выше, воспитывал племянника Дмитрия Гавриловича Библикова, г. Сипягина, и жил с своим воспитанником в генерал-губернаторском доме.

таясь в Киев, поселился у священника Г. Ж-ва. Тут г. Аскоченский стал известен в академическом церковном хоре. Долго он спелся и наконец спелся.

Написав *историю Академии* и книгу о *Якове Космиче Амфитеатрове* он нашел лиц, содействовавших сбыту этих интересных сочинений. По мере того, как он спелся, люди все ближе знакомились с его способностями петь разные песни и наконец оценили его по достоинству. По мере того как г. Аскоченский становился чужд старым знакомым, у него скреплялись новые связи, и узел этот затягивался им в Киеве до тех пор, пока в один прекрасный день он «увидел слезы добрых сограждан (т. е. новых), сам заплакал и удалился из Рима». Конечно, он удалился «напутствуемый такими благожеланиями», которые дали ему возможность завести свой «духоярый» журнал. Шевченко не видал этой метаморфозы. В то время, когда Шевченко был учителем рисования в Киевском университете, г. Аскоченский еще не был открытым ренегатом. Но я пишу не воспоминания о г. Аскоченском. Для этого труда еще не настало время; он совершится во время благопотребно. Я только хотел сказать тем, кто не знал покойного Шевченко, что знакомство его с г. Аскоченским завязалось в те времена, когда правнук Сохрана казался для всех своих знакомых вовсе не тем, чем он кажется теперь, чем, может быть, он и был тогда, но чего нельзя было в нем провидеть, потому что он, воспитывая генерал-губернаторского племянника, не печатал своих воззрений, а только записывал их в дневник. Шевченко до самой смерти его оставалось очень многое непонятным из того, что способствовало исполнению над ним известного пророчества г. Аскоченского, и в этом смысле дневник редактора «Домашней Беседы» должен быть очень интересен для истории Шевченки и других замечательных личностей, воспоминание о которых связано с именем Шевченки. Это убеждение многих украинцев, рассматривающих судьбу покойного поэта в связи с киевским положением г. Аскоченского и с направлением, которое обнаружилось в этом русском писателе во время жизни его в Житомире и в Каменец-Подольске. Не могу рассказать всего того, что приходит в голову при этих воспоминаниях, но смею уверить редактора *Домашней Беседы*, что покойный поэт очень хорошо понимал его и уклонялся от встреч с ним вовсе не потому, что «его сбило с панталыку столкновение с современными прогрессистами и цивилизаторами», и даже не потому, что «обстоятельства неблагоприятные ожесточили его впечатлительную душу», а потому, что Шевченко никогда не симпатизировал людям того закала, к которому принадлежит г. Аскоченский. Шевченко не был человеком, «ожесточенным» обстоятельствами. Он умел прощать многое. Его гуманная натура, как заметил г. Чужбинский, старалась извинить в людях все, что только как-нибудь можно было объяснить не совсем в дурную сторону. Но он не мог выносить сношения с людьми, которые сделали ему не по душе. Он бежал от них по тому же самому чувству, по которому бежал из дома уездного аристократа, бившего при нем своего крепостного мальчика. Шевченко был человек чувства. Увлечения Шевченко понятны точно так же, как понятны неразборчивость или разборчивость г. Аскоченского в выборе места для интимных бесед. Тем, кто знает г. Аскоченского и Шевченко, — понятно многое... Не понятно только: с какою целью сообразительный редактор *Домашней Беседы* придал такой тон своим воспоминаниям о покойнике. К чему он употребил слово «Шевченко *поднес* водки»? К чему эти недомолвки: «В последний раз я встретился с ним летом, прошлого года, на Загородном проспекте, но ... лучше бы мне не встречаться с ним»? Что хотел сказать этим г. Аскоченский? Надо было уж договорить! Ведь он не договорил этого, верно, не по чувству деликатности и «благожелания» покойнику. Допустить такого предположения невозможно, потому что «сообразительный» редактор не спрашивал напечатал, что он видел Шевченку так, что «лучше бы не встречаться с ним». Напрасно не досказал, что заставило его пожалеть о встрече с Шевченко. Речи ли повел покойник вольные, или отвернулся от *паныча*, или правнуку Кочки Сохрана просто не

понравилось зачем его «голуб» шел по Загородному проспекту, а не по Цепному мосту. «Бог его зна церковный». Но ведь нельзя же было ходить Шевченко только там, где петербургские стогны присещает свет лица г. Аскоченского. А других художеств, за которые «лучше бы не встречаться» с Шевченко, никто за ним не знает и никто из всех, знавших и любивших него до последней его минуты, не решится указать в нем такого пятна. Никто из хороших людей никогда не избегал с ним встречи: его любили за его талант, за его теплую, честную, беспридельно добрую натуру; его уважали за его непреклонно твердые убеждения, скорбели о нем, но ... никогда никто не говорил, да и не позволит себе сказать: «лучше бы мне не встречать его». Г. Аскоченский один может претендовать на получение привилегии за свою циническую выходку. И за что г. Аскоченский силился приложить свои руки к бедному «Кобзарю»? Что сделали ему те, которые заботились отвезти тело певца Украины на его родину?

Ведь никто не отнимает права у «духоярого» редактора надеяться, что его собственное тело удостоится после смерти сугубого почета от признающих его «учителем народа».¹⁴ Что тело это уместят мастями благовыми и отвезут в Воронеж.¹⁵ Все это может быть, и даже в порядке вещей. Положим, что почитатели Шевченко, ненавистные г. Аскоченскому прогрессисты — люди суетные и мелкие, это они «Дивят свой только муравейник», тогда как г. Аскоченский гнушается земной славы, ищет горячего града; но чего же кипятиться-то?

Мы однако увлеклись тем неприятным чувством, которым переполнили нашу душу воспоминания г. Аскоченского о том, как Шевченко *подносили* водки, как он пил «чапорухи» и читал «свои поганые вирши» и, наконец, как его встретил правнук Кочки Сохрана на Загородном проспекте. Довольно о нем. По тщательному соображении его воспоминаний о Шевченко с известными обстоятельствами, выходит только, что г. Аскоченский еще недостаточно сообразителен; он наговорил в них (между строк) таких вещей, которых ему, наверно, не хотелось бы сказать, и оказал будущему биографу Шевченко замечательную услугу. Он, собственным признанием (которое, по закону, лучше свидетельства всего света), доказал, как терпим и мягок был гуманный Шевченко даже с лицами, в искренность которых он нимало не верил и в неискренности которых не сомневался. Г. Аскоченский указал доверчивость и младенческую чистоту души воспоминаемого им поэта. Он указал благородную слабость Шевченко сближаться с человеком, по малейшему отклику на его симпатию, без строгого анализа искренности этих симпатий и чистоты вызвавших их побуждений. Он указал на горячее стремление поэта служить своей идее, не обращая внимания на то, какие это будет иметь для него последствия, и, наконец, поведал миру о своей способности доводить человека до совершенного к себе доверия, не исключаяющего возможности читать перед ним «поганые вирши» там, где их читать не полагается.

Окончим нашу статью, — для читателей, — напоминанием, что г-н Аскоченский, по собственному его признанию, в молодости был склонен ко лжи и что ложь принадлежит к числу пороков, от которых отвыкать необыкновенно трудно. А для г. Аскоченского прибавим, что на свете живут еще люди, которые могут написать свои достоверные воспоминания и о самом г. Аскоченском, и что тогда он вживе стяжает себе сугубое значение. А эти воспоминания прочтутся всеми с таким же любопытством, с каким прочтется обнародывание верного средства к истреблению клопов, мокриц и саранчи. Мы уверены, что кто-нибудь не откажет г. Аскоченскому в этой услуге. Пусть Виктор Ипатьевич тверже помнит слова своей покойной родительницы, говорившей ему: «ей, не лги, сынок».

Н—в.

¹⁴ См. Дом. Бес. 1861 г., вып. 31.

¹⁵ Месторождение г. Аскоченского.

ПРИМЕЧАНИЯ.

стр. 356. *Чтение для православного* ... вышло в СПб; 1861. Цитата из статьи «Ложь ходит на длинных ногах» (стр. 138).

Захватил своей щетинной кистью и Чужбинского — имеется в виду знакомый Шевченко, писатель и этнограф А. С. Афанасьев-Чужбинский (1817—1875).

стр. 357. *Предки мои* <...> *Кочка-Сохран* — казачье происхождение — предмет гордости А. О нем он подробно говорит в «Дневнике». Кочка Сохран — один из псевдонимов А.

стр. 358. А. С. Ч-й — т. е. Афанасьев-Чужбинский.

«*Иван Гус*» — имеется в виду поэма Шевченко «Еретик». Истолкование ее Н-вым отнюдь не соответствовало действительности, но имело целью предохранить имя Шевченко от политических обвинений.

стр. 359. «*Дневника, помещенного* ... имеется в виду стихотворение А. «Дневник». Приведенную ниже цитату см. Стихотворения В. Аскоченского, Киев, 1846, стр. 121.

не лишен <...> *сведений-намеков* на то, что А. мог донести на Ш. Подобные намеки и в дальнейшем неоднократно встречаются в тексте статьи.

стр. 361. *обстоятельства, описанные им в дневнике* — намек на ссылку Ш. «Дневник» Ш. публиковался в журнале «Основа», 1861, кн. 5—12, 1862, кн. 1—8, в нем были записи периода ссылки (1857—1858 гг.).

Шевченко встретил его холодно — холодный прием, видимо, определялся весьма трезвым и ироническим отношением Ш. к Чужбинскому. См. Т. Г. Шевченко, Собр. соч., М., 1956, т. 5, стр. 47—49.

стр. 363. *за юродивого Ивана Яковлевича* — хвалебные отзывы об юродивом И. Я. Корейше см., напр., «Домаш. бесед.», 1861, вып. 15, стр. 328—330, вып. 30, стр. 602, вып. 46, стр. 886—895.

другой губернский город <...> *оставить* — с 1846 г. А. служил советником губернского правления в Житомире, с 1849 г. исполнял обязанности председателя гражданской палаты в Каменец-Подольске. Вызвал всеобщую ненависть к себе доносами, кляузами и в 1851 году был вынужден выйти в отставку.

стр. 364. *историю Академии* <...> *Амфитеатрове* — см. А., Киев с древнейшим его училищем Академиею, Киев, 1856; Воспоминания о Я. К. Амфитеатрове, Киев, 1854; Яков Космич Амфитеатров, Киев, 1857. Амфитеатров — профессор Киевской духовной академии.

дневник <...> *очень интересен* — Лесков интересовался «Дневником» А., прочел его позднее весь в подлиннике, принимая участие в редакционной работе «Историч. вестн.», где в 1882 г. (№№ 1—9) был опубликован с сокращениями «Дневник». См. Н. С. Лесков, Собр. соч., М., 1958, т. 7, стр. 178.

стр. 365. *а не по Цепному мосту* — на Фонтанке, у Цепного моста помещалось III-е отделение. Намек на то, что А. — доносчик, часто заглядывающий в III-е отделение.

могут написать свои достоверные воспоминания — о желательности опубликовать воспоминания об Аскоченском Лесков писал в «Печерских антиках», выражая сожаление, что «никто из знавших Аскоченского киевлян не напишет хорошей беспристрастной записки о треволнениях жизни и трудах этого человека» (Н. С. Лесков, Собр. соч., М., 1958, т. 7, стр. 178).

ВОСПОМИНАНИЯ О КАРЕЛЕ ЧАПЕКЕ И ОТОКАРЕ ФИШЕРЕ.

В. Т. Адамс

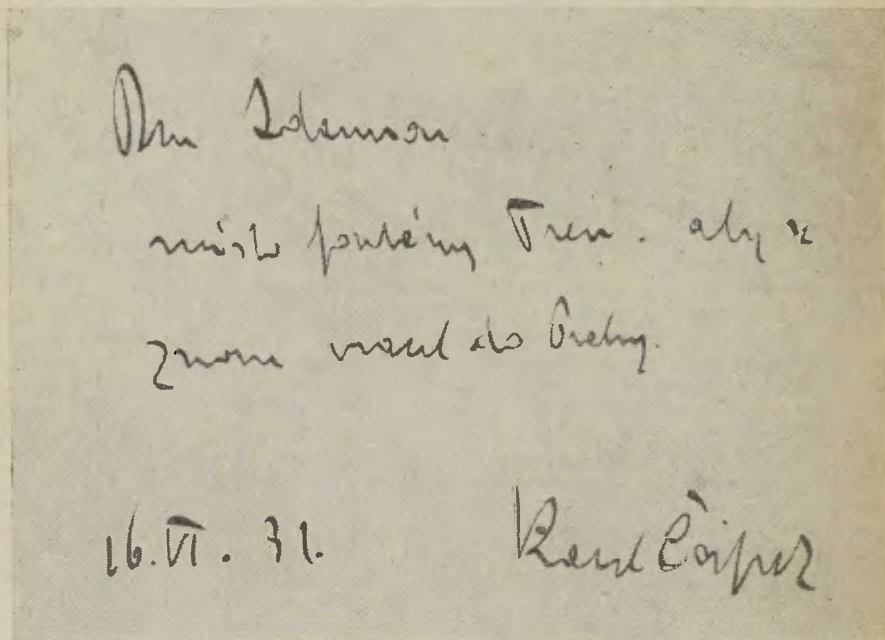
Разбирая остатки своей пострадавшей много раз библиотеки, я нашел старую, забытую путевую тетрадь, на одной из страниц которой сохранился публикуемый в настоящем томе автограф Карела Чапека. Так как я в 1931 году неоднократно встречался с Чапеком, то меня попросили написать для настоящих «Трудов» воспоминания в качестве комментария к этому автографу. Всматриваясь в немногие строки, набросанные быстрой рукой Карела Чапека, — и в памяти оживают некоторые факты из литературной и научной жизни 1931 года.

Весной 1931 года, приехав в Прагу, как член эстонского ПЭН-клуба, я сделал официальный визит Э. Конраду, бывшему тогда секретарем Пражского ПЭН-клуба. Я был приглашен в пражский ПЭН-клуб, где мне устроили традиционный прием. Тут я познакомился со многими чешскими писателями, из которых я вспоминаю Франтишека Лангера, театроведа Тилле и самого К. Чапека. За ужином К. Чапек приветствовал гостя застольной речью, на которую пришлось ответить экспромтом. Так как я плохо говорю по-французски и в то время еще не знал чешского языка, то я попал в довольно затруднительное положение. Было бы бессмысленно говорить на языке своего народа, по-эстонски, хотя формально я имел право это сделать. Приготовленный мною дома французский текст оказался негодным в данной обстановке. Не имея под рукой ни бумаги, ни карандаша, я встал после обращения Чапека ко мне и под любопытствующие взгляды чешских коллег начал отвечать ... по-русски. Вероятно, именно поэтому меня наградили бурными аплодисментами (чехи всегда очень любили русский язык и всё русское, но дипломатические отношения с СССР были установлены лишь в 1934 году), когда я закончил свою речь вольной цитатой из размышлений Чапека о малых нациях. Чехи мало знали об эстонцах; Чапек уже в ту пору, когда он досконально разбирался в моих личных делах, продолжал путать Эстонию с Латвией, но наш общий интерес к русской литературе быстро открыл мне доступ к нему. Он пригласил меня заходить к нему в редакцию газеты «Лидове новины» («*Lidové noviny*») и старался ознакомить меня с чешской культурой. Вскоре после приема в пражском Пэн-клубе Чапек решил показать мне гордость чешского народа — Национальный театр — *Národní divadlo*. Из редакции мы пошли втроем: нас сопровождал Отокар Фишер, переводчик Гейне, Гёте и Шекспира на чешский язык, сам поэт и критик, драматург и учёный театр.

И Фишер и Чапек произвели на меня неизгладимое впечатление, напомнив легендарных художников итальянского Возрождения. Эти люди поразили меня своею универсальностью. Карел Чапек, которого я знал как новеллиста («Рассказы из одного и другого кармана») и романиста (поразивший меня пророческий «Кракатит»), оказался и передовым драматургом и эссеистом,

блистательным фельетонистом, автором весёлых путевых записок, удачливым рисовальщиком и — как он сам себя называл — журналистом, творцом новых жанров и полужанров. Неподдельно молодой, невероятно остроумный, энциклопедически образованный, знаток архитектуры и истории, он показался мне хозяином Праги, да и всего тогдашнего европейского мира. Хотя ему было уже за сорок, он производил впечатление мальчишки, то ли из тех, в которого был превращен Фауст после смерти, то ли крылатого мальчишки из «Волшебной флейты» Моцарта. Соединяя в разговоре значительность тем с лёгкостью и непринужденностью словесного выражения, он очаровал меня с первого взгляда.

Отокар Фишер, которого я сначала стеснялся, (почтенный учёный был почти на два десятилетия старше меня, профессор, почти классик) оказался таким же живым и интересным собеседником, как сам Чапек, беспрерывно



сыпавший шутками на своеобразной смеси чешского и немецкого языка (по-видимому, учитывая мое слабое знание чешского языка). Фишер говорил по-немецки не хуже Томаса Манна, как мне тогда казалось. Мы шли пешком по сияющему огнями Народному проспекту (Národní třída), по которому беспрерывной лентой двигался поток пражан. Подхватив меня под руку, Чапек напоминал мне: «Hod'te vlevo!» (правила левостороннего движения витрин. «Вот тут торгуют галстуками, похожими на сонеты (так примерно говорил он). Здесь найдете все варианты, от старомодного пластрона до американских вытянутых в улыбку бабочек». При входе в зал Национального театра у нас не спросили билетов. Мы прошли в директорскую ложу.¹ В антракте К. Чапек и О. Фишер показывали мне стенную роспись между

¹ Впоследствии я узнал, что и Чапек и Фишер годами работали драматургами театра и были здесь своими людьми.

опорами свода, так называемые люнеты Алеша, и рассказывали историю Национального театра, которая мне очень напомнила историю эстонского театра «Ванемуйне», также построенного самим народом. Я был слишком взволнован оказанной мне честью, чтобы следить за сценой, и опомнился только после представления, когда мы пошли ужинать в нарядную пражскую «каварну»² и, по пражскому обычаю, выпили изрядное количество «чёрной кавы» с водой. И вот тут-то развернулся разговор на литературные темы, запомнившийся мне на всю жизнь и имевший как бы продолжение при наших последующих встречах и с Чапек, и с Фишером (всего я разговаривал с Чапеком раза 4—5, а с Фишером виделся и позже, в Карловом университете). Запись в мой альбом Чапек сделал 16 июня 1931 года во время прощального визита, перед моим окончательным отъездом в Эстонию.

Литература бессмертна — и темы нашего разговора, как мне думается, актуальны и посейчас. Поэтому хотелось бы сохранить некоторые особенно запомнившиеся мне мысли, имеющие в какой-то мере значение и для нашего времени.

Во время одной из бесед Чапек спросил меня, читал ли я Франца Кафку. Я тогда не знал даже о существовании такого писателя. Чапек говорил о его творчестве с иронией и восхищением одновременно и сказал, что он при следующем нашем свидании подарит мне «кус Кафки». Так я стал обладателем сборника мелкой прозы Кафки, изданного Куртом Вольфом. Я очень ценю это — ставшее большой редкостью — издание. Текст в нем напечатан особенно крупным шрифтом, с просторными интервалами; огромные поля как бы приглашают делать пометки и пояснения к туманному тексту пражца, творчество которого облетело впоследствии весь мир.³ Но в то время наследие скончавшегося в 1924 году Кафки было еще мало известно, и я без особого понимания пробежал малопонятные мне тогда миниатюры. Только значительно позже бросилась в глаза некоторая общность между «Апокрифами» Карела Чапека и стилем Кафки. Обычно указывают на связь «Апокрифов» с сатирическими новеллами Анатоля Франса и Жюль Лемэтра. Конечно, образованнейший К. Чапек не мог не знать Ан. Франса — но не ближе ли параллель с сатирическими приемами пражца Кафки? Конечно, жизнерадостный и солнечный Чапек не мог просто подражать пессимисту Кафке, но упомянутые произведения сближаются параболическим стилем и применением приема переосмысления и разоблачения всяких мифов. У Кафки, например, бог морей Посейдон показан, как занятый бюрократ за письменным столом, который успел только бегло взглянуть на море, но мечтает после просмотра счетов и отчетов всё же совершить небольшую поездку туда; у Чапека равнодушные судьи создают бюрократическое дело на доставшего человечеству сгонь Прометея, обвиняя его в государственной измене и приговаривая его к смерти и пожизненному заключению в кандалах. Конечно, «Апокрифы» Чапека, печатавшиеся тогда в газете «Лидове Новины»,⁴ тяготеют к жанру газетного фельетона, хотя и значительно перерастают его рамки, а параболы Кафки претендуют на обобщение в философском плане.⁵

Очень своеобразной — совсем в духе двадцатых годов — была наша

² Передаём по типографским соображениям общепонятные чешские слова русскими буквами, сохраняя отдельные характерные чешские выражения в качестве «местного колорита».

³ В последней библиографии: Haggv Jägv. Die Kafka-Literatur, Malmö und Lund, 1961, 380 стр., приводится около 5000 названий.

⁴ Первое книжное издание «Апокрифов» К. Чапека вышло в 1932 году, а полное издание увидело свет уже после смерти автора, в 1945 году.

⁵ Когда Жиль Делёз сопоставляет Кафку с Жан-Жаком Руссо, то это просто глупая журналистика. Иное значение имеют сопоставления структуры и тематики его произведений с работами других рассказчиков нашего времени (напр., с Томасом Манном), обогащающими наши знания о структуре и содержании литературного произведения.

беседа о русской литературе. Мои собеседники особенно интересовались «тайнами» личности Достоевского, я же выдвигал в противовес Гоголя, о котором только что написал небольшую монографию.⁶ Отокар Фишер, незадолго до этого опубликовавший «*Dějiny dvojníka*»⁷ («Историю двойника»), труд, которому он посвятил десятилетия, так и сыпал учёными замечаниями на эту тему. Его недюжинный интеллект был способен проследить тот или иной мотив на материале всех мировых литератур, что ныне стало редкостью.⁸ Его фаворитом был Э. Т. А. Гофман. Я вспомнил, что Достоевский, сравнивая Гофмана с Эдгаром По, тоже отдавал предпочтение первому.⁹ Однако Гофман не внес ничего нового в историю мотива двойничества по сравнению со своим учителем Жан Поль Рихтером. Я рассказал чешским коллегам о тогдашней сенсации в истории эстонской литературы: перевод рассказа Жан Поля «*Schulmeisterlein Wuz*» в продолжение десятилетий считался «самым эстонским и самым индивидуальным» произведением эстонского просветителя Фр. Р. Крейцвальда. Слушая это, Чапек смеялся своим заразительным мальчишеским смехом. О теме двойничества у Гоголя и Вл. Ф. Одоевского чехи не думали, хотя О. Фишер в своем скрупулёзном труде говорит даже о Погорельском.¹⁰ Я сам задумал тогда работу о мотиве портрета в русской литературе (Гоголь, Лермонтов, Достоевский, А. К. Толстой), но так и не закончил её, так как в антиинтеллектуалистической атмосфере Эстонии тридцатых годов такие исследования были объявлены почти повсюду ересью и стали бесперспективными.

Чапек подытожил, помнится, наши филологические реминисценции указанием на то, что Гофман придал этой старой теме мировое звучание, благодаря более лёгкому стилю и большей доходчивости его манеры. Насчет «тайны творчества Достоевского» мы тоже договорились с Чапек в том смысле, что, собственно, никаких тайн творчества, по существу, нет. Отокар Фишер, наоборот, подчёркивал роль «невыразимого» в искусстве. Этот влюбленный в классику эрудит остался, по существу, запоздавшим романтиком. В этой связи Чапек стал расхваливать выпущенный издательством «*Drei—Masken—Verlag*» сборник эссе англичанина Бертрана Рассела под заглавием «*Wissen und Wahn*». Тогда я ещё ничего не знал о нынешнем борце за разоружение и мир — да и после мне не удалось усилить его трудов по математической логике. Чапек говорил о другом аспекте нашего современника Рассела, близком ему, Чапеку, — о пользе критического метода, рекомендованного ещё Декартом. Только изрядная порция критицизма и даже скептицизма, сказал он, может сорвать маски с видимости и пробить путь к новой морали. Этот скептицизм Чапека был, бесспорно, связан с началом критического отношения писателя к разнообразным окружавшим его буржуазным догмам. Не менее интересно и то демократическое содержание, которое Чапек вкладывал в понятие новой морали. Она должна покоиться не на вражде и оговорках, а на стремлении к полноте жизни. Такое стремление к полноте жизни олицетворялось самим Карлом Чапек. Этот «*povíňák*», как он себя мне рекомендовал (Чапек всегда был занят современностью), интересовался всем, всем,

⁶ V. Adams, Gogols Erstlingswerk «Hans Küchelgarten» im Lichte seines Natur- und Welterlebens, Leipzig, Markert u. Petters Verlag, 1931.

⁷ В сборнике: Duše a Slovo. Essaie. Praha, Melantrich, 1929.

⁸ Исследование историко-литературного процесса в вертикальных и горизонтальных разрезах по идеям, структурам и мотивам было неправомерно опорочено в годы культа личности, когда переусердствовавшие литературоведы и фольклористы вместе с водой выплеснули и ребёнка.

⁹ В статье 1861 года «Три рассказа Эд. Поэ». — Ф. М. Достоевский. Сочинения в 13 тт., ред. В. Томашевского и К. Халабаева, М.—Л., 1930, т. 13, стр. 523—524.

¹⁰ Погорельский — псевдоним Алексея Алексеевича Перовского — (1787—1830), русский последователь Гофмана, издал в 1828 году книгу «Двойни, или мои вечера в Малороссии».

всем. И цветами, латинские имена которых он называл наизусть, и чужими странами (в то время он интенсивно готовился к поездке в Голландию), и мастерством искусства («Похвала газетам», «Как это делается»), и поэзией (он цитировал стихи от Ли Тай-бо до Незвала и Волькера), и жилищным строительством Праги, которую он воспринимал на фоне окружающего ландшафта. Он радовался парочкам, расположившимся на «зелёной простыне» пражской окраины, советовал мне проехаться в задумчивую Словакию, где архитекторы-лунатики понастроили башни в облаках, а девушки одеты как движущийся этнографический музей, в Моравию (здесь, под Брно, — главный вход в преисподнюю) и уверял, что туннель в Кратовах построен специально для того, чтобы путешествующие поездом могли целоваться.

Никогда я не знал писателя столь многостороннего, талантливого и столь любимого своим народом. Его брат характеризует его в сборнике «Стихи из концлагеря» так:

Byl chytrý, moudrý, ba, on mnoho znal
a mnoho uměl, mnohě vykonal,
byl dobrým vlasti synem, její chloubou byl
můj bratr Karel Čapek ...¹¹

Юлиус Фучик сказал о Кареле Чапеке в своем некрологе: «Чапек — это богатство».¹²

Однако, пользуясь всеобщим признанием и любовью, он не зазнавался, а был крайне отзывчивым и любезным. Благодаря его радушию, я познакомился с его братом Иосифом и сестрой Еленой и получил зеленый проездной билет («Volná jízdenka») в Словакию. По его рекомендации я был принят в «Общественный клуб» («Společenský Klub» — на Příkopi), где я увидел цвет чешской интеллигенции и даже приезжавшего в Прагу Андре Моруа. Тогда я написал несколько статей и стихотворений о совершенно еще неизвестной в Эстонии Чехословакии. Из последних «Гимн чешским женщинам» появился в специальном чешском номере крупнейшего эстонского иллюстрированного журнала «Олион», к которому я написал и предисловие.

От Чапека и Фишера я впервые услышал об одном из самобытнейших чешских поэтов конца XIX века, почти не известном у нас — Отокаре Бржезине (1868—1929). Выросший в недрах раннего символизма, Бржезина начал, как и наш А. Блок, с литургической монотонности религиозной символики, с «таинств» и «музыки прежде всего» (Верлен). Но в дальнейшем туманные символы стали все больше отступать на задний план, а самые простые вещи приобретают в его изумительных стихах силу символов. После витаний в мире символов поэт спускается на землю, чтобы воспеть сотрудничество всех живущих («Stavitelé chrámů», Строители храма, 1899) и закончить свой поэтический путь оптимистическим восхвалением братства всех людей в сборнике «Ruce» (1901), переведенном Франком Верфелем на немецкий язык и, несомненно, оказавшем влияние на немецких экспрессионистов. Эта поэзия мысли и дружного человечества пришла к таким же выводам, как и Фауст Гёте: лишь в бескорыстной работе на человечество индивид получает высшее удовлетворение. Путь Бржезины показывает, как из туманов символизма вырисовывается световой конус человеческого интеллекта, освещающего вселенную.

Вместе с новым содержанием изменяется и вся структура поэзии Бржезины. В религиозную лексику вторгаются естествоведческие и технические термины, религиозный аспект сменяется, по существу, интеллектуальным, сознание всей космической действительности ведет поэта к грандиозному образу бесчисленных видимых и невидимых рук, как бы действующих в космосе. Метрический рифмованный стих сменяется мощными дифирамби-

¹¹ Za bratrem Karlem, в кн.: Josef Čapek, Básně z koncentračního tábora, Praha, 1946, str. 11.

¹² Ю. Фучик, Избранное, М., 1956, стр. 140.

ческими ритмами свободного, поставившими Бржезину в авангард чешских верлибристов.

И Фишер и я занимались тогда исследованием рифмы, но я, будучи сторонником деканонизации классической рифмы и введения неточной рифмы по образцу русской поэзии (А. Блок, В. Маяковский), за что мне пришлось вести в 1924—1925 гг. ожесточенную борьбу в Эстонии,¹³ очень крупно поспорил с консервативным в этом отношении Отокар Фисером, автором филологической работы о рифме Бржезины. Благодаря этому спору о форме я узнал и о содержании поэзии Бржезины, которая не могла не показаться мне «дантеобразною» в дни подготовки моего собственного сборника, названного (по первому стиху «Божественной Комедии») «На полдороге странствия земного»,¹⁴ украшенного профилем Данте и содержащего ряд аллюзий из его терцин. Я тогда искал «дантеобразности» в творчестве многих писателей и находил её и в «Замке» Кафки (современное «ниферно»), о котором уже стали писать в пражских газетах («Bohemia»), и у позднего Бржезины («парадизо» будущего), которым я стал увлекаться после этого разговора. Концепция «дантеобразности» оказалась впоследствии не во всём убедительной, но сама поэзия Бржезины, если к ней подойти без вульгаризаторства, весьма интересна. И искусство его метафор и символов, и самый «космический» подход к жизни необычайны для того времени, а идущая от славянской традиции Яна Гуса и Коменского идея о братстве и сотрудничестве всех людей продолжает жить и формироваться в становлении космического века. Эта, так сказать, антишпенглеровская направленность поэзии позднего Бржезины волновала во время нашего разговора и меня¹⁵ и Чапека, столь далекого от всякой мистики. Со свойственным ему острым интересом к судьбам современной цивилизации он и в годы успешного грондерства своим пытливым умом проникнул в неясные тогда еще возможности грядущих катастроф — и это вносило нотку актуальности в наш «авгурский», академический разговор об искусстве символиста Бржезины, смолкшего уже в 1903 году. Я не помню деталей и подлинных слов нашей беседы, но смысл её, думаю, передан правильно. Тень начавшегося уже экономического кризиса незримо падала и на огни «золотого города»...

Из Праги я уезжал в крайне удрученном состоянии. В Эстонии, как и во всех капиталистических странах, уже началась полоса жесточайшей безработицы. Для не связанного с правящими кругами и корпорациями филолога-слависта не было ни малейшей надежды на работу. Поэтому мое прошальное обращение к полюбившейся мне Праге кончается стихом: «Kuid mõttega, et lahkun sinust / assotsieerub minul surm» («С мыслью, что покидаю Прагу / ассоциируется смерть»). Чапек подсказал мне, что я мог бы устроиться для начала в качестве лаборанта («konceptni sila») в только что расширенной библиотеке в Клементинуме. Но трудности по нострификации диплома и получению разрешения на работу иностранцу и тоска по родному Тарту побудили меня всё же покинуть прекрасную Прагу, так очаровавшую меня. После мне пришлось горько пожалеть об этом и узнать, что (говоря языком Gëte) Wahlverwandschaft порою ценнее кровных связей. Стихотворение «Посещение девы» («Neidise külastus»), написанное в близкой к реализму ассоциативной манере (контаминация планов Праги и Эстонии), вошло в мой третий сборник «На полдороге странствия земного» (1932).

На этом оборвался моя связь с Чапеком. Вначале я надеялся на переписку, но это осталось благим намерением. Более опытный и смотреший на вещи более реалистически Карел Чапек сделал при последней нашей встрече

¹³ Об этом см. в «Трудах по русской и славянской филологии ТГУ», т. II, 1959, и т. III, 1960, мою статью «Из истории эстонской рифмы».

¹⁴ V. A d a m s, Maise matka poolel teel. Kolmas kogu luulet, Tartu, Eesti Kirjanikkude Liidu Kirjastus, 1932.

¹⁵ Книга Шпенглера «Закат Европы» в то время дискутировалась и в Эстонии.

JOSEF
ČAPEK
BÁSNĚ
z koncentračního tábora

*From Valm. Adamsu
me mi
Manning*

в мою записную книжку публикуемую на стр. 368 запись: «Г-ну Адамсу вместо обязательной переписки: чтобы он вернулся в Прагу».

Агрессия фашистских людоедов прервала и все другие мои связи с Прагой. Смерть спасла Карела Чапека и Отокара Фишера от гитлеровских концлагерей, но переживший брата Иосиф Чапек все же попал в концлагерь, как я узнал из его вышедшей посмертно книги «Стихи из концлагеря».

После войны «неистовый репортер» Эгон Эрвин Киш (1885—1948) прислал мне привет через чехословацкую журналистку Рут Манеллову, сотрудничавшую тогда в газете «Руде Право». Она чудом пережила все ужасы гитлеровского концлагеря, сохранила связи с Кишем. После оккупации даже вышла замуж и родила сына, которого назвала «Pjotr» — «в честь русских». Я не смог ответить ей. Но мои чешские связи еще раз отразились в оставшейся для меня еще неразъясненной тайне некоего эпизода «Икс». Как-то, придя из университета домой, я нашёл на письменном столе пачку чешских книг, очевидно, присланных мне из Праги оказией. Среди них две книги из серии «Spisy bratří Čapků»: «Kulhavý Poutník», Praha, Fr. Borový, 1945, и «Básně z koncentračního tábora», Praha, 1946. На титульных листах чернилами написано: «Papc Valm. Adamsu srdečně». Подпись я тогда не разобрал — тогда мне было не до этого. Найдя уже в счастливые дни после XXII съезда КПСС эту здравицу из «Столбашенной», я расшифровал подпись как принадлежащую, по всей видимости, славному чешскому лингвисту Богу-славу Гавранеку. Однако до сих пор ума не приложу, какими путями книги очутились на моем столе и как уважаемый академик мог узнать обо мне. Вот этот эпизод, перекликающийся с пражской весной моей жизни, с волнующими воспоминаниями о «Златой Праге», об изумительном чешском народе и о незабываемых встречах с такими почти легендарными представителями его национальной культуры, как К. Чапек и О. Фишер, я и назвал эпизодом «Икс» моей молодости. Если кто-нибудь из участников вспомнит об этом эпизоде и подаст весточку эстонскому литератору, для которого Прага была его «первою любовью», — то я был бы сердечно рад.

Е. Г. ПОЛОНСКАЯ И ЕЁ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ.

3. Минск

Творчество Е. Г. Полонской (р. 1887) — одной из старейших советских писательниц — привлекало внимание исследователей, однако, привлекало его явно недостаточно.¹

Е. Полонская прошла большой и не всегда прямолинейный путь развития, и на каждом из этапов этого пути её творчество было и весьма характерным для литературы эпохи, и, вместе с тем, ярко своеобразным. Е. Полонская — автор более 20 сборников стихов, очерков, книг для детей, одна из активных советских переводчиков; ею написано также много интересных статей для периодической печати.²

Е. Г. Полонская начала писать в годы революции и Гражданской войны. В 1920-х гг. её творчество было весьма заметным явлением растущей советской литературы. Её первый сборник — «Знамения» (1921) выдержан в характерных для эпохи героических тонах прославления борьбы («Тревога») и суровой поэзии революционных будней («Не странно ли, что мы забудем всё...», «На память о гяжелом годе...»). Стихотворениям «Знамений» и «Под каменным дождем» (1923) присуще тяготение к стилю суровому и конкретному, к обилию «реалий», точно передающих атмосферу эпохи. Вместе с тем, для этих сборников характерно стремление к широким, ярко эмоциональным обобщениям. Традиции Ал. Блока и близость к одновременно создававшимся балладам Н. Тихонова, кажется, наиболее точно определяют основное русло творческих поисков поэта. Одновременно в раннем творчестве Ел. Полонской уже четко вырисовалась и та своеобразная точка зрения на мир, которая на много лет вперед определит индивидуальный облик её поэзии. Это — поэтическое видение мира глазами женщины-матери. Оно пронизывает все: и революционные, и интимно-лирические — стихотворения Полонской 1920-х гг. Но при этом Е. Полонская уже в те годы никогда не пишет о женщине и матери вообще, а всегда — о человеке *своей* эпохи, *своей* страны.

Е. Полонская — активная участница литературной жизни и в 1930-х — 40-х гг. Творчество её в эти годы обогащается и идейно-тематически (тема социалистического строительства в начале 1930-х гг., антифашистская и патриотическая тема в творчестве военных лет), и жанрово (поэмы «В петле», «Кармен», стихотворные и прозаические очерки), и в смысле художественного восприятия действительности (тяготение ко всё большей конкретности и историзму изображения). Но всё же та неповторимая художественная

¹ Большинство статей, анализирующих творчество Е. Г. Полонской — рецензии на отдельные сборники её стихотворений или краткие упоминания в общих курсах истории советской литературы. [См. приложение (II)].

² См. приложение (I).

индивидуальность, которая создала Полонской популярность в первое после-революционное десятилетие, в стихотворениях 1930-х (и особенно 1940-х гг.) порою несколько менее заметна.

Тем более отраднo вступление поэтессы во второй половине 1950-х гг. в полосу новых и чрезвычайно интересных художественных исканий. Общий подъём литературы последних лет ярко отозвался и в работах Е. Полонской. Именно теперь ведущая тема её поэзии была прочувствована как тема гуманная. Она вызвала к жизни новую традицию — пушкинскую, причем светлое и гармоническое «пушкинское» мироощущение было органически переосмыслено как всеобъемлющее чувство современной матери. Программным для этого последнего периода является, на наш взгляд, стихотворение «Я разлюбила то, что сердцу мило...» (1958), в котором противопоставлены «презренный» мир химерических догм и мир подлинно высоких человеческих ценностей: природы, детей, искусства, гордости «за людей, за долгий труд упорный, вчера неведомый, а завтра плодотворный», радости «мысли, сердца, тела», — этого, здешнего, земного мира.³

Поэзия Полонской последних лет светла и оптимистична. Она исполнена глубокого историзма, мудрой человечности, ощущения значимости всего пережитого человечеством опыта и каждого отдельного шага в необъятном движении истории. А отсюда и своеобразный подход к той теме, которую по праву можно назвать ведущей в поэзии наших дней, — к теме личной ответственности поэта за судьбы искусства, страны, мира. Для Полонской это, в первую очередь, — стремление к тому, чтобы весь пережитый ею огромный жизненный опыт не исчез в памяти отдельного человека, а стал достоянием всех. В стихотворении «Воспоминанья» (1958) она пишет:

Воспоминанья давних лет,
Скажите, что мне делать с вами?
Я слышу: «Нас на свете нет,
Наш мир — твоя скупая память.

Захочешь — мы в небытие,
Как всё прекрасное на свете,
Уйдем, и дело не твое,
И ты за это не в ответе.
Но если любишь ты смелей,
Превозмогая сон покоя,
Из царства мертвых, как Орфей,
Ты уведешь нас за собою».⁴

Воспоминания для поэта — один из путей трудного, но высокого искусства «любить смелей», превозмогая трусливый «сон покоя», мещанскую самоуспокоенность. Так подошла Е. Полонская к новому для неё жанру литературных мемуаров.

* * *

Почти полное исчезновение жанра литературных воспоминаний в годы культа личности и расцвет этого жанра во 2-ой половине 1950-х гг. — явление общеизвестное и вполне закономерное. Дело не только во вполне естественной и благородной тяге к восстановлению забытых имен и эпизодов из истории советской литературы 1920-х — 1930-х гг. Вопрос стоит гораздо шире. Основной пафос лучших литературных мемуаров последних лет — пафос правдивого и в полном объёме осмысления истории советского искус-

³ См.: Е. Полонская, Стихотворения и поэма, Л., «Советский писатель», 1960, стр. 123.

⁴ Там же, стр. 126.

ства с высоты современного сознания, после XX и XXII съездов КПСС. И первым этапом этого осмысления закономерно явилось желание создать как можно более полную картину реального исторического процесса; ибо правдивая и непредвзятая концепция целого может возникнуть только из разностороннего и максимально полного воссоздания всех фактов и явлений.

Этим общим пафосом времени внушены и воспоминания Е. Полонской. Написанные живо и остроумно, они обогащают нас многими ценными знаниями о советских прозаиках и поэтах 1920-х гг., в первую очередь — о литераторах Петрограда—Ленинграда, с которыми в этот период Е. Полонская встречается чаще всего. В публикуемых главах из мемуаров Е. Полонской есть, вместе с тем, много любопытного и о литературных группировках начала 20-х гг., и о книгоиздательствах (например, о забытом, но интересном издательстве «Эрато»), да и о других фактах, существенных как для историка, так и для теоретика литературы. Публикуемые материалы принадлежат к особому жанру — жанру литературных мемуаров. Соприкасаясь по материалу с историей литературы, произведения этого типа все же принадлежат искусству, и этого не следует забывать при оценке их значимости. Историк литературы обязан брать изображаемое в наиболее существенных, основных связях, писатель-мемуарист воспроизводит только лично пережитое, эмоционально им воспринятое. Критерии важного и неважного у них различны, и это закономерно. Исследователь изучает литературный процесс. Но «процесс» вне живых людей всегда был и будет бескровной фикцией. «Процесс» делается людьми и небезразличен к их характерам, личным особенностям, неповторимому своеобразиею индивидуальностей. А эта неповторимость личности может выразиться в факте, ничтожном в своей отдельности, но исполненном глубокого значения, если смотреть на него как на ключ к постижению человеческой сущности исторического лица. Особенно важно это для истории искусства — сферы, в которой личное своеобразие характеров людей значительно ярче отпечатывается на общих закономерностях процесса, чем, скажем, в истории производства.

Поэтому историк литературы смотрит на писателя-мемуариста как на союзника, который не дает анализа исторических законов, но зато помогает постичь уже утраченный аромат, неповторимый исторический колорит вчерашнего дня.

Со страниц воспоминаний Полонской на нас веет ветер подлинной раскованности революционного искусства и неизбежных ее спутников — непринужденного, искреннего веселья, оптимизма, юмора (сочетавшего ненависть к буржуазии, мешанству с верой в победу новых, социалистических отношений), яркости тех неповторимых индивидуальностей, которые создали коллектив советских писателей. Вот это-то восприятие литературы 20-х гг. и является общей концепцией воспоминаний Полонской. А правда этого общего восприятия — как и значительность приводимых фактов — обуславливают значение публикуемых ниже материалов.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Основные издания произведений Е. Г. Полонской *

1. Книги стихов.

«Знаменья», Пб., Изд. «Эрато», 1921; «Под каменным дождем», Пб, Изд. «Полярная звезда», 1923; «Упрямый календарь», стихи и поэмы. Л., ИП. 1929; «Года», Л., ИП, 1935; «Новые стихи», Л., ГИХЛ, 1937; «Времена мужества», Л., ГИХЛ, 1940; «Камская тетрадь», Молотов, Молотовгиз, 1945; «Стихотворения и поэма», Л., Изд. «Советский писатель», 1960.

* Из-за ограниченности места переиздания и переводы произведений Е. Г. Полонской на другие языки не указываются.

2. Стихотворные книги для детей.

«Зайчата» (сказка в стихах), Пг. Изд. «Радуга», 1923; «Гости», Л., Изд. «Книга», 1924; «Часы», Л., ГИЗ, 1925; «Про пчел и про Мишку-медведя», Л., ГИЗ, 1927; «Про очаг и ясли и пирог на масле», Л., Изд. «Печатный двор», 1927; «Город и деревня», Л., ГИЗ, 1927; «Детский дом», М.—Л., изд. «Печатный двор», 1928; «Жак и Жанна» (о Парижской коммуне), Л., изд. «Красной газеты», 1929; «Немного спорта разного сорта», Л., ГИЗ, 1931; «Про Виктора Фролова», Молотов, Молотовское Управление Трудовыми резервами, 1943.

3. Переводы в стихах.*

Ганс Сакс, «Школяр в раю», Л., ГИЗ, 1930; Мольер, «Сумасброд, или все невпопад», Собр. соч. Мольера, Л., т. 1, изд. «Academia», 1935; Шекспир, «Мера за меру», «Звезда», 1936, № 3; Гюго — «Бургграфы». Избранные сочинения Гюго, т. 2, Л., ГИХЛ, 1937; Александр Цатуриан, Избранные стихи. Ереван, Армгиз, 1946; перевод либретто двух оперетт Оффенбаха, поставленных в Ленинградском театре Музыкальной комедии: «Дочь тамбур-мажора» (1936) и «Жюстина Фавар» (1940); Кальдерон, «Сам у себя под стражей» (рукопись, по заказу ЛенТЮЗ'а, 1946, не опубликовано); Фредро, «Пан Гельдхаб», Комедии, М., изд. «Искусство», 1956; К. Марло, «Жизнь Тамерлана Великого», Сочинения Кристофера Марло, М., ГИХЛ, 1960; Ганс Сакс — «Школяр в раю» и «Про королевского сына», Сочинения Ганса Сакса, Л., ГИЗ, 1961; Эпизоды из армянского эпоса о Давиде Сасунском, Л., «Костер», 1938; А. Цатуриан, Избранные стихи, Ереван, Армгиз, 1939, Л., ГИЗ, 1958; Ю. Словацкий, — «Ламбро», поэма, Избр. сочинения Ю. Словацкого, М., ГИЗ, 1960, т. 1; переводы стихов Арагона, Броунинга, Брехта, Вейнерта, Даусона, Киплинга, Я. Купалы, Тувима, Фрейлинграта, Ибсена, Мицкевича, Газенклевера, Мюссе, Гюго, Элюара, эстонских поэтов, Райнниса, Лонгфелло, и др.

4. Проза.

Книги очерков: «Поездка на Урал», Л., изд. «Прибой», 1927; «Люди советских будней», Л., ИП, 1934; «На своих плечах» (книга рассказов), Л., Лениздат, 1948.

Книги для детей: «Пеппе Ракони», Л., изд. «Молодая гвардия», 1926; «Закусочная Зиве», Л., изд. «Молодая гвардия», 1931; «Святая Амалия бастует», Л., ЛОИЗ, 1933.

Беллетристика (переводы): Найджел Бэлчин, «В маленькой лаборатории», Л., Лениздат, 1948; Джером К. Джером, «Как мы писали роман», Л., Лениздат, 1957.

На тексты стихотворений Е. Полонской писали музыку композиторы Томилин, И. Образцова, В. Сердечков, Л. Штрейхер, Д. Прицкер, Г. Фарди и др.

О творчестве Е. Г. Полонской (основная литература) **

Г. Адамович — «Жизнь искусства», 1923 № 2; А. Барабашев — «Лгд Правда», 1925, № 46; В. Беккер — «Поэтессы», изд. «Огонек», 1929; Я. Браун — «Десять странников в осязаемое «ничто» — «Сибирские огни», 1924, № 1; В. Вехин, — «Литературный Ленинград», 1934, № 46; Д. Выгодский — «Под каменным дождем», «Книга и революция», 1923, № 3 (27); его же — «Жизнь

** Указаны только основные переводы.

* В алфавитном порядке фамилий авторов.

искусства», 1924, № 1; его же — «Года», «Звезда», 1936, № 2; С. Вышеславцева — «Года», «Художественная литература», 1935, № 10; Горький о молодых — «Жизнь искусства», 1923 № 22; И. Груздев — Вечера «Серапионовых братьев», «Книга и революция», 1922, № 3; П. Губер — «Летопись Дома Литераторов», 1921, № 3; Б. Гусман — «Сто поэтов», Тверь, 1923; А. Гутнер — «Года», «Литературный Ленинград», 1935, № 26; З. Давыдов — «На память о тяжелом годе», «Северное обозрение», 1922, № 2; Б. Дин — «Под каменным дождем», «Сибирские огни», 1924, № 7; В. Длигач — «Новые стихи», «Литературная газета», 1937, № 32; Е. Замятин — «Серапионовы братья», «Литературные записки», 1922, № 1; Н. Зверев — Русская советская литература, ч. 1, изд. Харьк. ГУ, 1954; Г. Иванов — «Знаменья», «Цех поэтов», кн. 3, 1922; История русской советской литературы, М., Учпедгиз, 1958; А. Кулинич, Очерки по истории русской советской поэзии 20-х годов, изд. ЛГУ, 1950; Л. Лунц — Почему мы «Серапионовы братья?», «Литературные записки», 1922, № 3; П. Люлин — «Года», «Литературный современник», 1935, № 9; С. Малахов — «Красная новь», 1929, № 4; его же — Предисловие к сб. «Писатели о труде», Л., ОГИЗ, 1931; С. Марголина — «Производственная детская литература», «Печать и революция», 1926, № 5; А. Метченко — Историзм и догма, «Новый мир», 1956, № 12; З. Минц — «Стихотворения и поэма», «Звезда», 1960, № 11; К. Муратова — «Горький в борьбе за развитие советской литературы», М.—Л., изд. АН СССР, 1958; Влад. Невский — «Герои советских будней» — «Ленинградская правда», 1934; И. Оксенов — «Знаменья», «Книга и революция» 1922, № 10 (13); его же — «Герои будней», «Литературный Ленинград», 1934; М. Павлов — «Знаменья», «Летопись Дома Литераторов», 1922, № 8; Вяч. Полонский — Литературное движение Октябрьского десятилетия, — «Печать и революция», 1927 № 7; В. Пяст — «Жизнь искусства», 1921, № 810; Русская советская литература, М., Учпедгиз, 1958; И. Селивановский — «Упрямый календарь», «Молодая гвардия», 1929, № 5; М. Слонимский — «М. Горький», «Литературный современник», 1941, № 6; А. Тарасенков — «Невоплощенная тема», «Литературная газета», 1945, № 47; К. Федин, — Горький среди нас, М., ГИХЛ, 1944; С. Харламович — «Люди советских будней», «Художественная литература», 1935, № 3; Г. Хохлов — «Года», «Литературная газета», 1935, № 47; М. Чумандрин, — Полноценная заявка, «Веч. Красная газета», 1935, 11 июня; М. Шагинян — Литературный дневник, М., «Круг», 1923; З. Штейнман — Светлая жизнь, «Литература и жизнь», 1960, 24 июня; его же — Большое дарование, «Вечерний Ленинград», 1960, 1 июля; И. Штерн — «Святая Амалия бастует», «Детская и юношеская литература», 1933, № 12; Б. Эйхенбаум — «Знаменья», «Книжный угол», 1921, № 7; И. Эренбург — «Новая русская книга», 1922, № 3; его же — «Люди, годы, жизнь», «Новый мир», 1960, №№ 8—10.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИИ

Е. Полонская

I

О Константине Федине

Мое знакомство с Фединым началось в 1921 году. Я встретила его в Доме Искусств, в «обезьяннике» — так назывался подвальный этаж дома купца Елисеева на углу Мойки, Невского и Морской, который советское правительство отдало молодым и старым писателям и критикам, у кого не было собственного угла в городе, — тем, чье перо должно было служить революции. Здесь жили Аким Волынский, Форш, А. Грин, Шагинян, Зощенко, Шкловский, Слонимский, Рождественский, Пяст и ряд других.

Комнаты — это были бывшие «людские» — не отапливались. Единственным теплым местом в «Доме Искусств» была большая барская кухня, когда-то сверкавшая белыми кафельными плитками, никелированными крючками, медной посудой и тазами, большим котлом, вмазанным в плиту. Сюда прибегали утром и вечером за кипятком, здесь отогревались и возвращались обратно в свои холодные берлоги.

Железная койка, деревянный столик и стул, — вот вся обстановка комнаты: кто приходил, тот садился на кровать или приносил стул с собою. Федин часто бывал здесь, а жил он где-то на стороне, снимая комнату у квартирной хозяйки. Приходил он к Михаилу Слонимскому, который тогда уже не был секретарем Горького, но часто встречался с Алексеем Максимовичем и постоянно рассказывал ему о начинающих литераторах, живущих в Петрограде. Молодые ходили в «Дом Искусств», в студию «Всемирной литературы». Иные приходили просто «на огонек» (литературный огонек!). Это были люди, прошедшие через войну и революцию, тянувшиеся к литературе, писавшие втайне, мечтавшие стать писателями.

В те годы люди сближались очень быстро. Прежде всего, они выясняли, кто их собеседник — «белый» или «красный»: «белые» были для нас бесспорными врагами. Слонимский был красный, Федин был красный, Зощенко был красный, так же как и молодой Каверин, и Николай Никитин, и Илья Груздев, и сибирский партизан Всеволод Иванов, и красноармеец Николай Тихонов.

Любовь к литературе сблизила их, они стали встречаться, читать друг другу написанное. Они спорили немилосердно, обличая друг друга в штампах, мещанстве, неумении скомпоновать рассказ. Сама собой образовалась литературная группа. Мне рассказал о ней Илья Груздев, с которым я познакомилась в студии «Всемирной литературы», и он же привел меня в «Дом Искусств», в «обезьянник».

Почти все присутствующие были в солдатских шинелях, а снимать их они не могли, так как толстый слой льда покрывал стекла окон, — и снаружи и внутри. Печка — «буржуйка», чья длинная, причудливо изогнутая

прокопченная труба проходила через комнату, мало грела: отапливалась она случайными запасами испанской бумаги, старыми папками, «делами», отчетами... Но нам не было холодно.

Здесь Федин в тот день, когда я впервые пришла сюда, прочел свой рассказ «Сад», только что написанный им. Мне этот рассказ очень понравился. Я была поражена, как строго его разбирали, подвергая жестокой критике, не щадя самолюбия автора. Было не очень светло, так как свешивавшаяся с потолка на проводе электрическая лампочка светила лишь вполнакала — это был обычный в то время в Петрограде режим экономии электроэнергии. Тогда время от времени электростанции выключали одни районы, чтобы обеспечить светом другие — какое-нибудь собрание или спектакль.

Однако я ясно видела, как бледное глазастое лицо Фебина то вспыхивало румянцем, то бледнело. Несколько раз он пытался возражать, но Груздев, который вел собрание, спокойно останавливал его: «Подожди, Костя, ты скажешь после всех».

Мне приятно было услышать, как Зошенко (его я знала еще по студии «Всемирной литературы») как-то смущенно, но решительно сказал: «А мне эта вещь нравится. По-моему, очень поэтично».

Федин был худой, с бледным тонким лицом, с гладко причесанными светлыми волосами. У него были необыкновенно лучистые глаза и умная улыбка. Он единственный из присутствующих снял шинель прежде, чем начать читать, и под ней оказалась аккуратная гимнастерка, хорошо прилаженная к его стройной фигуре.

После собрания мы пошли с ним вместе — он жил неподалеку от меня — и по дороге он рассказывал о своих впечатлениях от Волги, куда недавно ездил на родину по какому-то семейному делу, о страшном голоде, который начался уже тогда в Поволжье. Меня потряс его рассказ о вымершем от голода городе Маркштадте, — там жили когда-то немецкие колонисты, и столько их поумирало от голода, что город получил прозвище «Штербштадт» — Город Смерти. Тогда же я узнала от Фебина, что он был в плену в Германии, а потом, вернувшись в Россию, работал в качестве переводчика с немецкими военнопленными. Мне тоже пришлось в свое время встретиться с немецкими военнопленными, — может быть, теми же, с которыми сталкивался Федин. Я была врачом поезда, который отвозил немецких пленных на родину, то есть довозил их до Пскова, где тогда стояли немцы, а там мы передавали их военному коменданту города Плескау, — так именовали немцы старинный русский Псков! Я рассказала Федину о том неожиданном для меня впечатлении развала немецкой армии, которое создалось у меня в Пскове при виде десятков немецких солдат, торговавших из-под полы шнапсом, коньяком, сигаретами.

Федин сказал мне: «Да, они стали совсем другими, немцы. Я хорошо узнал их за годы войны и плена. Я напишу о них. Но надо время. Это большое полотно».

Рассказы Фебина о голоде в Поволжье были необычайно ярки. Вернувшись домой, я под их впечатлением начала писать стихотворение «Штербштадт».

На одном из следующих собраний в комнате Слонимского я прочла это стихотворение вслух. Федин похвалил его, и это мне было приятно.

Не помню, как возникло название «Серapiоновы братья». Кто-то принес книгу Гофмана и положил на стол, кто-то вспомнил, что в этой книге молодые люди читали друг другу рассказы, и по этому внешнему признаку мы назвались «Серapiоновыми братьями». Только, конечно, по внешнему признаку. Вопрос о том, с кем мы, ни на мгновение не возникал у нас: для нас, и в том числе, конечно, для Фебина, было совершенно ясно, по какую сторону баррикады мы сражаемся.

Для меня лично встал вопрос, примут ли меня в новую литературную группу: ведь в нее входили только прозаики. Груздев, мой добрый приятель, посоветовал мне: «Предложите принять вместе с вами еще одного.

поэта. Мне приносил свои стихи молодой поэт-кавалерист. Посмотрите его стихи».

И он передал мне клеенчатую тетрадь, вроде бухгалтерской, где четким, крупным почерком были записаны стихи Николая Тихонова. «Сами» — прочла я заголовок последней небольшой поэмы. А в следующую субботу Тихонов появился у «Серапионов» и прочел «Балладу о гвоздях».

Федин первый взял слово и сказал: «Примем этих поэтов».

Константин Александрович был старше всех в нашей группе, — за малым исключением. Он также был скромнее всех. Казалось, в нем нет того задора и наскока в ниспровержении старых ценностей, которые отличают молодых. Но мы все очень прислушивались к тому, что скажет Федин, и вскоре его узнали в литературной среде Петрограда.

Кроме «Дома Искусств» в нашем городе тогда имелся «Дом Литераторов», где собирались журналисты, старые писатели, критики. Этот дом помещался на Бассейной улице, и там, в самые голодные дни Северной Коммуны, устраивались литературные вечера и лекции. У дома был свой крохотный печатный журнал — «Вестник Дома Литераторов». У Дома было также и правление. В конце года, воспользовавшись неизрасходованными средствами, правление объявило литературный конкурс на лучший небольшой рассказ на современную тему. Объявление о конкурсе появилось в «Вестнике Дома Литераторов» и было наклеено на стекло входной двери дома. Были обещаны три премии за лучший рассказ. Рассказы представлялись под девицами.

Однажды Аким Волынский, председатель жюри конкурса, встретив Михаила Слонимского, сказал ему, что какой-то неизвестный прислал превосходный рассказ под названием «Сад». Ему присуждена первая премия, но автор, которого пригласили придти, еще не явился.

— Не покажете ли рассказ? — попросил Слонимский.

— Охотно.

На другой день мы поздравляли Константина Александровича с получением первой премии за рассказ «Сад».

Вскоре этот рассказ был напечатан отдельной книжкой.

II

Мое знакомство с Михаилом Зощенко

Когда начинаешь писать о прошлом, одно воспоминание тянет за собой другое. Вспоминаешь людей, места, где их встречал, улицы города, — все это вспоминается очень ясно, но труднее всего ориентировать это во времени.

Девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый годы, полные событий, прошли так быстро, что с трудом, только по пейзажу, по вещам, которые приходят на память, говоришь себе: «Это, вероятно, было тогда-то!»

Помню переполненный людьми трамвай номер четыре «Волково кладбище — Гавань». Зимой трамваи не ходили, и я шла на службу в Гавань пешком рано утром и оставалась там до темноты, когда кончался мой рабочий день «думского врача». Настала весна, и все жители города вышли очищать улицы от снега, скалывать лед с трамвайных путей, заросших сугробами. Когда это было выполнено, в Гавань пошли трамваи.

Поезд в поездах железной дороги и трамваях был бесплатный. Трудно было втиснуться в трамвай и так же трудно выйти из него. На подножках висели гроздьями пассажиры, вцепившись одной рукой в поручень, а другою держась за соседа. На трамвайной «колбасе» ездили не только мальчишки, но и самые бесстрашные, даже с академическим стажем, взрослые. Провисев некоторое время, вы становились твердо обеими ногами на ступеньку, потом продирались на площадку, и там вас впахивали в самый вагон, где через некоторое время вы даже могли сесть на лавку и сидеть, прижатый

с обеих сторон, пока не придется с такими же усилиями продираться к выходу. Почти все пассажиры были одеты в шинели или в пальто, сшитые из старого защитного материала, который за годы войны обтерся и приобрел лоск, побелев на швах. На голове были кепки или военные фуражки без значков.

Так как я ехала до Гаванского кольца, у меня было достаточно времени, чтобы прочитать все объявления, которыми были сверху донизу заклеены стекла вагона. И вот, среди всевозможных реклам, призывов и извещений об открытии самых различных студий, — театральных, вышивальных, акробатических, — я прочла о том, что издательство «Всемирная литература» открывает кратковременные курсы для переводчиков. В тот же день вечером я была на Литейном проспекте в доме 28, где помещалась канцелярия курсов-студии.

Мне предложили на выбор четыре отделения: прозы, поэзии, переводов и критики. Во главе каждого из отделений стояли известные писатели. Одновременно со мной в студию пришло несколько человек, по большей части в шинелях с оборванными погонами. Среди них было только двое в штатских пальто.

Высокий, широкоплечий, белокурый, голубоглазый, с открытым лицом и медлительными движениями, — таков был один из них, а другой смуглый, среднего роста брюнет. Они оба записались на отделения прозы и критики, а я выбрала поэзию и критику, хотя, собственно говоря, мне хотелось записаться на все отделения. Я услышала тут и фамилии обоих: Груздев и Зошенко. Мы вышли вместе, и темноглазый брюнет сказал мне: «Очень удобно, что занятия на курсах вечерние». Мне это тоже было удобно.

Тут же узнала от Зошенко, что он служит в милиции, — «писарем», — сказал он.

С обоими я стала встречаться на занятиях Корнея Ивановича Чуковского, руководителя отделения критики. На первом же занятии он рассказал нам о широких замыслах Алексея Максимовича Горького, стоявшего во главе издательства «Всемирная литература», которое хотело дать русскому читателю в образцовых переводах лучшие произведения литератур народов всего мира.

Корней Иванович сразу подверг сомнению, что мы все будем заниматься переводами, и, как выяснилось из разговоров, не переводы привлекали нас в студию. Во всяком случае, большинство из нас. На курсы записалось много молодежи. Там были люди, прошедшие через войну, — германскую и гражданскую, — горячо преданные революции, желающие сами написать о том, что они видели в жизни.

Именно это желание «написать» о том, что волновало нас, побудило взрослых людей сесть за парту «школьной комнаты дома Мурузи».

Мурузи был, как нам сказали, когда мы впервые услышали это имя, богач-фабрикант, домовладелец, которому принадлежал этот огромный доходный дом на углу Литейного и Спасской, где во втором этаже, в бывшей барской квартире, помещалась наша студия: мы занимали две комнаты, в прошлом детские, прозванные нами «классными». Здесь стояли школьные парты, за которыми нам, взрослым, не слишком удобно сиделось, и застекленные книжные шкафы, где помещались французские, немецкие и английские книги.

Корней Иванович Чуковский вел занятия умно и непринужденно. Он рассказывал, над чем работает сам, и предлагал нам, студистам, включаться в работу над этими же темами. Ведь кроме переводчиков издательству «Всемирная литература» нужны были и квалифицированные редакторы, и авторы вступительных статей. Лишь много позднее я узнала, что издательству не было отбоя от предложений «перевести что-нибудь» или «снабдить какую-нибудь книжечку вступительной статьей». После долгих месяцев саботажа изголодавшиеся «бывшие» решили «подработать на культурных мероприятиях большевиков», используя свое, обычно поверхностное, знание иностранного языка, полученное от бонн и гувернанток, и не подозревая того,

что перевод есть искусство и требует литературного дарования так же, как безупречной русской грамотности.

Корней Иванович в то время работал над проблемами творчества Александра Блока и в числе прочих тем предложил нам написать статью о всех трех, только что вышедших томах его стихотворений. Студисты быстро разобрали все темы, кроме блоковской. И только двое остались без темы: Зощенко и я. Тогда Корней Иванович предложил нам написать «основательную», как он сказал, статью о Блоке вдвоем, включив туда же разбор стихотворения «Скифы» и поэмы «Двенадцать», о которых тогда много спорили.

Не без страха я согласилась взять на себя разбор последнего тома стихов Блока. Тогда Чуковский поручил Зощенко проанализировать первые два тома и не вошедшие в третий том «Скифы» и «Двенадцать». В ответ Михайлович (к этому времени мы уже знали, что так зовут Зощенко) что-то пробурчал, — по-видимому, он согласился. По окончании занятий я предложила ему встретиться и обсудить, как мы будем работать.

Мое предложение он отверг, заявив, что будет писать сам и ни с кем советоваться не желает.

Я взялась за третий том, перечла его стихотворение за стихотворением и написала большую статью. Никогда еще я не писала с таким чувством ответственности, так как впервые при столь внимательном чтении лицо поэта открылось мне во всем своем трагическом величии и значении. Помню, Корней Иванович читал нам тогда стихи Блока «К музе»: «Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть...» Я бывала на вечерах, где читал сам Блок, — в самых, казалось бы, патетических местах своих стихов он изумлял бесстрастной ровностью голоса, отсутствием каких-либо внешних признаков волнения, и именно это в связи с драматизмом содержания потрясало его слушателей.

В своей статье мне хотелось передать это ощущение обреченности, которое чудилось мне и в стихах, и в облике поэта. Не зная, насколько мне это удалось, я предложила Зощенко прочесть мою работу и дать мне свою. Он отказался: «Читайте свой реферат, а я прочту свой».

Недели через три я огласила свою статью на очередном занятии. Выслушав ее, Чуковский похвалил некоторые мысли, хотя кое в чем со мной не согласился. Потом Зощенко начал читать свою статью, но вдруг оборвал чтение: «Другой стиль», — заявил он. Чуковский взял у него тетрадку: «Давайте, я прочту».

Корней Иванович стал читать вслух, «с листа», «с выражением», привычно подчеркивая интонацией отдельные слова. Так он читал детям «Крокодила» или «Тараканище». Это было так смешно, что мы не могли удержаться от хохота. Не помню, что именно было написано у Зощенко, но в чтении Чуковского это было действительно смешно «по стилю».

Корней Иванович, утирая слезы на глазах (так он смеялся), сказал: «Это невозможно! Этак вы уморите своих читателей. Пишите юмористические произведения».

Зощенко взял свою тетрадь, свернул ее трубочкой и небрежно сунул в карман, и наша совместная статья о Блоке не состоялась. Но впоследствии, читая рассказ Зощенко о чувствительном писателе, я невольно вспоминала то, что он когда-то, на самой заре своего литературного пути, написал о Прекрасной Даме и ее поэте.

Зощенко я встретила спустя некоторое время у «Серapiонов». Он прочел свой рассказ «Виктория Казимировна», историю прекрасной полячки. Рассказ очень понравился всем, но никто и не думал, что это рассказ юмористический, — это был собственный, своеобразный сказ Зощенко, его манера говорить о высоких вещах самым простым, будничным языком. Косноязычие рассказчика, обыденного человека, пытающегося сказать своими словами о действительно трудных вопросах и проблемах жизни и мироздания,

производило то особенное, неповторимое очарование, которое всегда свойственно единственному в своем роде таланту Зощенко.

Спустя некоторое время Зощенко прочел нам еще один рассказ, на этот раз не военный, — «Аристократка». Замечательно подслушанная интонация бытовой мешанской речи, умение увидеть и описать своих героев в действии и в раздумьи, тонко отобранные зримые детали внешности, поведения, костюма, — все это обеспечило «Аристократке» огромный успех сначала у «Серапионов», а потом и у всех читателей, которые сразу потянулись к новому юмористу.

Но прежде всего нужно было познакомить с ним читателя, а для этого издать книгу его рассказов.

Осенью 19-го года потребность авторов стихов и прозы издавать свои произведения сделалась так велика, что самочинные издательства возникли в Москве и Петрограде одно за другим. Так возникло издательство «Эрато». Советское законодательство в то время облегчало появление так называемых кооперативных издательств. Достаточно было собраться нескольким авторам и заявить, что они намерены создать кооперативное издательство на паях, как им это разрешали. Военная цензура ставила свой штамп: «Р. В. Ц.» — Разрешено военной цензурой, — авторам же оставалось позаботиться о бумаге, типографии и распространении книг.

Кооперативное издательство «Эрато» учредили молодые поэты Иннокентий Оксенов, Лазарь Берман и я, а также совсем еще юный режиссер и теоретик театра Константин Державин. Управление делами взял на себя мой брат, студент Университета.

У каждого из нас было по книге, которую мы хотели издать. Мы установили пай — кажется, что-то вроде ста миллионов (тогда их называли «лимонами») на пай, — и выпустили три книги стихов. Разумеется, денег на выкуп тиражей наших книг полностью у нас не было, но типография выдавала по сто экземпляров своей «продукции», а мы разносили книжки стихов по книжным магазинам и ларькам, где их брали на комиссию. Вырученные деньги мы вносили в кассу типографии и получали следующую партию экземпляров наших книжек. Чтобы выпустить четвертую книгу, нам нужен был еще один или два пайшика.

В один из вечеров у «Серапионовых братьев» я предложила Зощенко и Груздеву издать свои книги. «У меня есть несколько вещичек, — сказал Зощенко, — и я издал бы их отдельным сборничком, назвав его „Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова“».

Мы договорились о пае, и Зощенко принес свою рукопись, поставив условие: не печатать ее фамилию на обложке, а поместить ее только на титульном листе. Он потребовал также, чтобы обложка была из самой дешевой оберточной бумаги, наподобие лубочных изданий. Одновременно принес свою рукопись Костя Державин, который озаглавил свое произведение: «О трагическом», а на титульном листе он добавил слово: «Опыт».

Пока мы создавали наше кооперативное издательство, цена денег падала. Метранпаж типографий потребовал от нас каких-нибудь реальных ценностей за свою работу, хотел, чтобы мы достали ему хотя бы «Бриллиантин» для фабрикация усов, которые он любил закручивать вверх, — вероятно, за неимением достаточного количества волос на голове.

Пустив в ход свои медицинские связи, я добыла целую коробку, не менее сорока тюбиков бриллиантина. Метранпаж был удовлетворен, но случилась беда. Брошюровщицы перепутали, заброшюровали сборничек рассказов Зощенко в обложку брошюры Державина (обе книжки были совершенно одинакового размера). Мы этого не заметили на радостях, да к тому же первые экземпляры были сброшюрованы правильно. Ничего не подозревая, я принесла на очередное собрание «Серапионов» пачку свежеспавших типографской краской брошюр, где на передней обложке крупными буквами было набрано:

Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова.

Михаил Михайлович взял принесенный мною пакет и вышел в коридор, чтобы там посмотреть его содержимое. Тем временем в комнате Слонимского я рассказала товарищам, какой успех имели рассказы Зошенко у наборщиков. Метранпаж сказал Берману: «Я никогда не слыхал, чтобы наши наборщики так смеялись! Книга будет иметь успех».

Кто-то вспомнил о том, что такой же успех имели у наборщиков «Вечера на хуторе близ Диканьки», и мы заговорили о том, что Зошенко гораздо больше соответствует своему времени, чем Гоголь своему.

В это время вернулся Михаил Михайлович, мрачный, и в руках его был пакет, который он подал мне со словами: «Возьмите, мне не нужно.»

В удивлении мы развернули пакет, и когда раскрыли книги, то обнаружили, что под обложкой Синебрюхова находится книжка Константина Державина «О трагическом. Опыт». Мы поняли, отчего Зошенко так рассердился, и стали уговаривать его не придавать значения этому, что обложку можно переклеить. Но у Зошенко был твердый характер. Он молчал и стоял на своем.

Мы знали, что он очень вспыльчив, но никогда не показывает этого на людях. В нем была большая выдержка. Еще мальчиком он ушел добровольцем на германскую войну, отличался храбростью в боях, за годы войны получил четыре знака отличия и дослужился до какого-то высокого звания, — чуть ли не капитана. С первых дней революции он перешел на сторону большевиков и сражался в рядах Красной Армии, а после демобилизации поступил в петроградскую милицию, где и служил писарем, предварительно перепробовав несколько профессий.

На неудаче с книгой Зошенко окончилось наше издательство «Эрато», так как нам не удалось найти что-нибудь «реальное», что могло бы побудить брошюровщиц переделать запоротую ими работу. Костя Державин не стал «принципиальничать» и получил экземпляры своей книжки, с которой сорвал собственноручно чужие обложки.

Рассказы Назара Ильича Синебрюхова вошли в первую книгу Зошенко, которая действительно принесла ему громкую славу, предсказанную наборщиками. Уже через два года в «Серапионовской оде», которую я по традиции сочиняла к первому февраля, годовщине основания «Серапионовых братьев», я написала:

И только Зошенко теперь
Живет в обломках старой хазы,
И юмористы ССР
Валют под него рассказы.

Сам Михаил Михайлович на каждом из таких собраний веселил нас специально написанной к случаю остроумной новинкой.

В обычной жизни он был так же неразговорчив и мрачен, каким я знала его во времена Студии «Всемирной Литературы». Его самого не удовлетворяла та легкая насмешка, которая составляла основу успеха его рассказов. Он много читал, занимался историей, естественными науками, психологией. Один из первых он отзывался на призыв писать для детей и создал свои рассказы о Ленине, предельно ясные и точные по языку и по мысли. Они имели большой успех.

Но в Зошенко никогда не было зазнайства, даже тени его. Когда его спрашивали, над чем он работает, он обычно уклонялся от ответа, и только самые близкие друзья знали, как упорно он ищет форму для своей мысли. Механизм творчества глубоко интересовал его, и не поэтому ли он задумал свою повесть «Возвращенная молодость», над которой долго и упорно работал? Обычно он не очень ждал отзывов на свои новые книги, так как его небольшие рассказы расхватавались, едва появлялись. А вот отзывов о

«Возвращенной молодости» он ждал с жадностью и относился крайне болезненно к любым высказываниям о ней, — будь то мнения рядовых читателей или врачей, педагогов, писателей, критиков.

История литературы может быть рассказана с разных точек зрения, — человек убеждается в этом на своем коротком жизненном пути.

Недавно я прочла в одной из недолговечных энциклопедий, что Михаил Зощенко был писатель, которого «довольно много читали в начале двадцатых годов, а потом забыли». Опровергать такое утверждение ~~не~~ имеет смысла. Скажу только, что до Великой Отечественной войны, да и во время ее, Зощенко был одним из наиболее читаемых писателей советской страны и что имя его стало нарицательным для широчайших кругов читателей. «Совсем, как у Зощенко», говорили люди друг другу, и каждый понимал, что ему хотели сказать.

Все эти годы Зощенко присутствовал в нашей жизни, — присутствовал как доброжелательный товарищ, наделенный острым зрением и слухом, поразительным умением отмечать всё новое, хорошее, и всё то пошлое, что, подобно сорной траве, выростало на наших глазах.

Мы, те, кого он считал своими друзьями, радовались его книгам, даже если не во всем были согласны с его мыслями. К Зощенко нельзя было привыкнуть, отнестись как к чему-то надоевшему, старому. В его писаниях всегда было что-то новое, неискоренимо «наше», и когда я пытаюсь представить себе, по чьим произведениям наши потомки сумеют увидеть и понять нашу жизнь во всей многосторонности трех десятилетий, с 1920-го и по 1950-й, одно имя первым возникает в моих мыслях: Зощенко.

Несколько слов о наружном облике Михаила Михайловича. Он был красив красотой украинского типа, но никогда не поддавался ожирению, как это бывает с некоторыми благополучными писателями. Он всегда оставался строен, подвижен, и на его обычно серьезном и строгом лице улыбка возникала внезапно, обаятельная и пленяющая. Он легко знакомился с чужими людьми и вступал с ними в общение. Очень нравился женщинам и ценил их. У него были маленькие красивой формы руки, и он любил носить на них хорошие замшевые перчатки. Одевался он всегда скромно и с безупречным вкусом, никогда не выделялся наружностью на улице или в театре, но обладал способностью внезапно «возникать» возле вас. Он любил и умел говорить о том, чем был занят его ум, но только с теми людьми, чье мнение интересовало его. Он очень чувствовал обиду, хотя не показывал этого, и замыкался в себе.

Однажды я сказала при нем, что, читая его книги, невозможно понять, говорит ли он в шутку или всерьез. Он промолчал, но очень рассердился на меня и недолгое время не говорил со мною. Много позднее он сказал об этом кому-то из наших общих друзей, — кажется, Мариетте Сергеевне Шагинян, и она объяснила ему мою мысль. Он-то сам всегда знал, когда шутит и когда говорит серьезно.

Он был очень удивлен, что его не пригласили на собрание ленинградской интеллигенции в Смольном. Обо всем он узнал от друзей, возвращения которых ждал до позднего вечера. Сообщение в газете появилось позднее, а вслед за ним и статьи, и соответствующие выступления. В те годы осуждающий отзыв в газете мог уничтожить человека, лишить его «огня и воды», заставить внезапно почувствовать себя выброшенным на необитаемый остров. Так произошло и с Зощенко. Его перестали печатать. Только «Партизанские рассказы», — обработка подлинных записей, — нашли место на страницах журнала «Новый мир», и то это была лишь незначительная часть сделанного им труда.

Многие знакомые отвернулись от него, даже боялись встречаться с ним. У него были «накопленные строчками» небольшие деньги, и некоторое время он не нуждался в работе для заработка, потом пошло в продажу домашнее имущество. Не имея возможности напечатать рассказ, он пробовал заняться сапожным ремеслом, которому когда-то научился в поисках профессии. Но

он не был искусным и модным сапожником, да и мало кто давал ему заказы на босоножки.

Шли годы. Зошенко еще не печатали, но ему дали возможность заняться редактурой и переводами, — для заработка, для пропитания.

Однажды, перелистывая в газетном киоске на даче, в Эстонии, новые книги, я обратила внимание на перевод книги неведомого мне финского писателя Лассила. Повесть называлась «За спичками» и была так блестяща по стилю русского текста, так невозмутимо серьезна и смешна неожиданностью интонаций, что я не могла оторваться от чтения, купила немедленно экземпляр. Дома я прочла ее от доски до доски, и впечатление осталось то же. Фамилии переводчика на книге не было. Приехав в Ленинград, я рассказала о своей находке друзьям, и Михаил Леонидович Слонимский сказал мне: «Так ведь переводил Зошенко, — по подстрочнику».

Книга имела большой успех у читателей, ее переиздали, и на этот раз фамилия Зошенко появилась, но на последней странице, там, где печатаются «выходные данные». В следующих изданиях фамилия Зошенко перекочевала уже на титульный лист. При встрече я сказала Михаилу Михайловичу о радости, которую доставил мне его перевод повести «За спичками». Он бледно улыбнулся.

В 1956 году вышла книга избранных рассказов самого Михаила Михайловича, но очень кушая, а уже незадолго до его смерти Государственное Издательство выпустило его двухтомник, куда вошли его короткие рассказы двадцатых и тридцатых годов.

Несколько лет спустя после его смерти я познакомилась с врачом-невропатологом Киселевой, лечившей жену Зошенко. Она рассказала мне, как посещала больную Веру Владимировну в «писательской надстройке» на улице Софьи Перовской, как любовалась вначале красивой спальней из белого полированного дерева и стеклянной горкой, на полках которой красовались редчайшие фарфоровые фигурки. С каждым разом этих фигурок становилось меньше, а потом исчезла и сама горка, а с нею и другие предметы обстановки.

В послевоенные годы возникли в Ленинграде коммерческие магазины, где можно было за большие деньги купить сахар и масло тем, кто не получал карточек. Зошенко и его семья были лишены продовольственных карточек. Приходилось продавать вещи. Но ни Зошенко, ни Вера Владимировна не умели этого делать. Они нашли «благотельную женщину», которая взялась устраивать их вещи и покупала для них еду. Львиная доля, разумеется, доставалась ей.

Тем временем Михаил Михайлович заболел. Это произошло тогда, когда его жизнь стала немного налаживаться. Словно он отпустил какие-то стягивающие его обручи, которые заставляли его держаться стоя, не упасть. Он отпустил их и пошатнулся. У него появилось отвращение к еде, он не мог на нее смотреть, не мог проглотить куска. Вызвать врача из Литфонда он не хотел, и жена не могла уговорить его даже пойти в поликлинику имени Перовской, находящуюся напротив дома, где они жили. Наконец, он появился у невропатолога Киселевой. Она дала ему несколько советов, но Зошенко отнесся к ним иронически, не пошел ни в лабораторию, ни на рентген. Болезнь его продолжалась, он худел и слабел. Через год он снова появился у Киселевой в кабинете. Это было перед концом приема, вечером. Он вошел и, сев у стола, начал рассказывать, что устал, чувствует отвращение к еде, чувствует старость. Киселева поняла, что ему нужно было поговорить с кем-то, выговориться, а в ее советах он не нуждался. Он не спрашивал ничего. Доктор Киселева слушала его, иногда поддакивала, произносила «да» или «гм», потом пришла санитарка и сказала, что поликлиника закрывается. Зошенко поклонился и ушел. Через несколько дней он пришел снова в тот же час перед закрытием поликлиники, когда ни в приемных, ни в коридорах не было людей. Он снова говорил о жизни, об усталости, о старости. Доктор слушала его молча. Он ушел, когда стали закрывать кабинеты.

Так он приходил еще несколько раз. Потом Киселева заболела воспалением легких и прекратила приемы в поликлинике. Вскоре Зощенко умер, — в 1957 году.

Я не была на его похоронах, — меня не было в Ленинграде.

Умер Михаил Михайлович в Сестрорецке, где жила последние годы его жена, здесь в Сестрорецке его и похоронили. Недавно Ленинградское отделение Союза Писателей поставило на его могиле памятник.

III

О С. Я. Маршаке

Я не помню точно, в каком году в нашей жизни появился Самуил Яковлевич Маршак, но в этом появлении было что-то радостное, молодое, вызывающее любовь к слову, заставляющее всех нас работать, придумывать, о чем можно рассказать детям, и как это сделать, чтобы интересно было не только вымышленному ребенку, но и нам самим.

В моей жизни уже существовал Корней Чуковский, который на занятиях в студии «Всемирной Литературы» придумал писать вместе с нами, студистами, веселую книжку, содержание которой мы даже не знали, но которая началась с того, что все куда-то бежали, ехали в самых невероятных сочетаниях. Каждый из нас придумывал какую-нибудь смешную строчку, а Корней Иванович, вышагивая длинными своими ногами по комнате, собирал все это вместе и выпевал своим тонким, убедительно-проникновенным голосом:

«Ехали медведи
На велосипеде,
А за ними кот
Задом-наперед ...»

Каждую строчку говорил кто-нибудь из нас, а у Корнея Ивановича получалось стихотворение, и он хвалил нас и говорил: «Ну, дальше, дальше — дальше!» — мы веселились и хохотали и продолжали выдумывать в полное свое удовольствие, не задумываясь над тем, пойдет ли это куда-нибудь, будут ли это редактировать, а, может быть, запретят. Нет, этого не могло быть!

Именно в такой атмосфере доверия и радостного желания сказать по-своему, так, чтобы было интересно детям, и возникала детская литература Страны Советов в начале двадцатых годов.

Маршак ничего не выдумывал. У него не было медведей на велосипеде, газели не разговаривали по телефону и крокодил не гулял с девочкой Лялочкой по Таврической улице. Самуил Яковлевич рассказывал о том, что было, но с таким юмором, таким брызжущим весельем, что покорял все сердца, детские и взрослые.

«Дама сдавала в багаж...» В течение нескольких недель мы, взрослые, не могли отделаться от этого свободного ритма и на ходу повторяли эти стихи, так же как позднее строчка «Рассеянный с улицы Бассейной» стала всенародной, сделалась пословицей, и многие даже не знают, что до Маршака не было на свете никакого такого рассеянного с улицы Бассейной.

Но Маршак не только сам сочинял стихи и создавал пословицы, творил незабываемые образы, вроде Мистера Твистера, американского министра. Маршак умел зажечь своим напором других. Это были годы, когда вокруг Маршака как грибы рождались писатели для детей. Именно он сделал детского писателя из Тынянова, который вовсе не хотел быть им, но написал классическую книгу о Кюхле под влиянием Маршака. Это Маршак вызвал ответный огонь в Тихонове, и Николай Семенович создал своих «Военных коней», так же неизбежно утвердившихся в нашей жизни, как кони Клодта на Анич-

ковом мосту. А Каверин, фантаст и литературовед, биограф «Хазы» и университетских чудачков, не под влиянием ли Маршака и всего маршаковского окружения начал писать о живых ребятах, которых в жизни встречали не менее чудесные похождения, чем героев Гофмана, но его мальчики и девочки боролись не только с фантастическими силами Зла, а с вполне реальными мошенниками и проходимцами, прикрывающимися фиговым листком новой морали; они были предшественниками тех, которые шли открывать Северный полюс, поднимались в стратосферу, смело вышли в космос. Вокруг Маршака создалась целая колонна новых писателей: его младший брат, известный под псевдонимом «М. Ильин», сумел открыть для всей молодежи безграничные просторы науки, а Виталий Бианки научил ребят понимать, знать и любить природу и животных, и растения. И за всеми ими был Маршак, улыбающийся своей умной иронической улыбкой, видящий своими близорукими глазами, скрытыми за стеклами очков, то, что таится в сердцах людей и чему надо дать выход, чтобы оно засияло всей силой таланта.

Рядом с Самуилом Яковлевичем был Борис Житков, — моряк, путешественник, инженер, знающий, как сделаны все вещи, и Самуил Яковлевич взял его в работу и помог ему рассказать людям о том, что он знал о вещах и о людях.

Какое это было время! Ведь до Маршака с детьми принято было сюсюкать, говорить им разные сладкие слова, скрывать от них жизнь и подменять ее похождениями букашек или добродетельных принцев и принцесс. Правда, золотой фонд литературы для детей включал «Дон-Кихота», «Гулливера», «Робинзона», но это были книги для взрослых и о взрослых, взятые во всем мире детством и молодостью на вооружение. Недаром один из первых журналов, который у нас стали издавать для детей, назывался «Новый Робинзон». Он издавался при «Ленинградской правде», где многие из нас тогда работали в качестве очеркистов. Редакция журнала помещалась в первом этаже, а редактором, разумеется, был Маршак.

Мы все заходили туда, возвращаясь сверху, с четвертого этажа, где помещались редакторы «Ленинградской правды», и мы задерживались в кабинете Самуила Яковлевича, сидя кто на стуле, кто на подоконнике, обсуждая все, что еще нужно и можно сделать, о чем еще можно рассказать детям.

А после «Нового Робинзона» Маршак встал во главе Детского отделения Государственного Издательства в Петрограде. Это было в Доме Книги на Невском, и тогда у него уже появились помощники, секретари, которыми он руководил, которых он выучил и которые сами тоже писали. Им он сумел привить бесконечную любовь к детской литературе. Долгое время все, что было интересного и живого в литературных кружках Ленинграда — а их уже стало много, они возникли на фабриках и заводах, — приходило к Маршаку, и он, кладя руку на сердце и задыхаясь, все же находил время читать, править, указывать дорогу молодым работникам литературы для детей.

Обо всем, что последовало, о Маршаке-переводнике, авторе стихов для детей и для взрослых, баснописце, сатирике пусть скажут другие. Я хотела только вспомнить о самом начале, о том, чем Самуил Яковлевич был в жизни моего поколения, и сказать ему за это искреннее спасибо.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Н. М. ЯЗЫКОВА ДЕРПТСКОГО ПЕРИОДА

С. Г. Исаков

Жизнь и творчество Н. М. Языкова периода пребывания в Дерпте (1822—1829) многократно привлекали к себе внимание исследователей.¹ Изучению этого периода помогает и ряд публикаций документов и писем поэта из Дерпта к родным и знакомым.² Тем не менее, многое в биографии Н. М. Языкова 1822—1829 гг. остается неясным. Целый ряд ценных материалов о дерптском периоде его жизни и творчества до сих пор не опубликован. Наше сообщение ставит целью хоть в какой-то мере восполнить этот пробел.

I. О литературном окружении Н. М. Языкова в Дерпте.

Значение Н. М. Языкова для истории русской литературы в значительной мере исчерпывается дерптским периодом его творчества и более поздними произведениями, так или иначе связанными с его пребыванием в Дерпте. При этом поражает невиданно быстрый расцвет его поэтического таланта и исключительно большая продуктивность поэта в 1822—29 гг., несмотря на то, что времени для собственно литературных занятий у него было не очень много. Языков приехал в Дерпт мало кому известным сочинителем, чьи стихи еще не блистали ни оригинальностью, ни особенными красотами. И здесь за несколько лет он вырастает в общепризнанного поэта, чрезвычайно популярного у читателей, отличающегося яркой самобытностью творчества. Им

¹ В составленном Е. В. Петуховым списке «Главнейшее из библиографии о Н. М. Языкове за дерптский период» [Языковский архив. Выпуск 1-й. Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829). Под ред. и с объяснит. примечаниями Е. В. Петухова, СПб, 1913, стр. 431—432] насчитывается 30 работ. Ср. составленные М. К. Азадовским «Библиографические материалы» в издании: Н. М. Языков, Полное собрание стихотворений, Academia, 1934, стр. 863—873.

² 252 письма Н. М. Языкова к родным из Дерпта опубликовано в «Языковском архиве». Напечатаны также письма Языкова из Дерпта к А. Н. Вульфу: отрывки из них вначале были опубликованы М. И. Семевским в работах «Прогулка в Трибургское» («С.-Петербургские ведомости», 1866, №№ 139, 146, 157, 163, 168, 175) и «Н. М. Языков. 1803—1846. Новые стихи его и письма» («Русский архив», 1867, № 5—6, стлб. 712—748). Пропущенные М. И. Семевским отрывки были напечатаны в «Языковском архиве» (стр. 411—414). Несколько писем, совершенно неиспользованных Семевским, опубликовал И. А. Бычков в работе «Из неизданных стихотворений и писем Н. М. Языкова» («Русская старина», 1903, № 3, стр. 485—496). В высшей степени желательно было бы объединить в одном издании разрозненные публикации писем и отрывков из писем Языкова к Вульфу, поскольку они представляют большой историко-литературный интерес.

восхищается А. С. Пушкин, предсказывающий поэту великое будущее. Языкову не дают покоя издатели журналов, газет и альманахов, жаждущие заполучить его стихи. Поэт пишет много и успешно. За дерптский период им создано примерно 200 поэтических произведений.

Возникает естественный вопрос, в чем причины такого бурного расцвета поэтического таланта Языкова. Исчерпывающего ответа на этот вопрос исследователи, пожалуй, пока что еще не дали.

Как нам представляется, очень значительную роль в развитии поэта в дерптский период сыграло местное литературное окружение, как русское, так и немецкое. Однако этот вопрос затрагивался исследователями лишь в плане литературных общений Языкова с В. А. Жуковским, В. М. Перевощиковым, А. Ф. Воейковым, Ф. В. Булгариным, А. Д. Илличевским, в связи со своеобразными салонами М. А. Мойер и А. А. Воейковой.³ Не подлежит никакому сомнению, что знакомство поэта с этим кругом лиц сыграло важную роль в становлении и эволюции его творчества. Но до сих пор исследователями почти совершенно упускался из виду другой момент, тоже довольно существенный, — наличие определенной поэтической среды в студенческом окружении Языкова. О школе поэтов дерптского студенчества, правда, упоминал М. К. Азадовский,⁴ но нет ни одного исследования творчества поэтов этой группы да и сам их круг еще не выяснен.

Возникновение особой поэтической школы дерптского студенчества⁵ относится к концу 1810-х гг. В эти годы в Дерпте впервые появляется небольшая группа русских студентов и в то же время возникает кружок русской интеллигенции, так или иначе связанный с университетом. Известную роль в создании этого кружка сыграл профессор русского языка и словесности в 1815—20 гг. А. Ф. Воейков, в ту пору известный литератор. Сама по себе в высшей степени одиозная фигура Воейкова, более всего известного своими интригами, бестактным поведением, шумными оргиями, тиранством в семье, и закончившего свое пребывание в Дерпте доносом на всех профессоров университета, скорее дискредитировала русскую культуру в глазах местной общественности. Но вместе с Воейковым в Дерпт приехала и его жена — Александра Андреевна, известная в литературе под именем Светланы, а также семья Протасовых. Дом Протасовых (позже дом М. А. Мойер — Машеньки Протасовой) стал излюбленным местом встреч тогда еще немногочисленной в Дерпте русской интеллигенции и студенчества. Здесь подолгу жила В. А. Жуковский.⁶ Иногда в этом же доме, иногда отдельно функционировал литературный салон А. А. Воейковой, значение которого общеизвестно.⁷ А. А. Воейкова даже после отъезда мужа из Дерпта неоднократно посещала город и временами жила здесь по многу месяцев. Через Дерпт в это время проходил сухопутный тракт из Петербурга в западные губернии и за границу. Большинство проезжающих по тракту литераторов да и просто представителей столичной интеллигенции считали своим долгом нанести визит

³ См. М. Н. Столяров, Н. М. Языков в Дерпте, «Сборник Учено-лит. общ. при Юрьевском университете», кн. II, 1899; Е. А. Бобров, К биографии Н. М. Языкова, там же, кн. XI, 1907; Е. В. Петухов, Дерптский период жизни Н. М. Языкова, в книге «Языковский архив»; и т. д.

⁴ См. его комментарии в книге: Н. М. Языков, Полное собрание стихотворений, Academia, 1934, стр. 720.

⁵ Мы имеем в виду поэтов русских. Вопрос о направлении поэтической деятельности немецких студентов в Дерпте требует особого рассмотрения. Этот вопрос намечен в статье: Alex. Rosenberg, Ein russischer Sänger des alten Dorpat. N. M. Jasykov, «Baltische Monatsschrift», B. LX, 1905.

⁶ См. Е. В. Петухов, Жуковский в Дерпте, СПб, 1897; Б. Егоров, Жуковский и Тарту, альм. «Эстония», IV, 1956.

⁷ См. Н. В. Соловьев, История одной жизни. А. А. Воейкова — «Светлана», 2 тт., П., 1915—1916.

М. А. Мойер и А. А. Воейковой. У них бывали П. А. Вяземский, А. А. Бестужев-Марлинский, К. Н. Батюшков и многие другие.

Вокруг своеобразных салонов М. А. Мойер и А. А. Воейковой группировались и дерптские русские студенты, из среды которых уже в конце 1810-х гг. выдвигается несколько поэтов. Самым крупным из них был, без сомнения, Иван Григорьевич Вилламов (1802—1822), очень талантливый юноша, утонувший в двадцатилетнем возрасте в Эмайыги. Он был внуком в свое время известного немецкого поэта и эллиниста И. Г. Вилламова, еще в XVIII в. переселившегося в Россию. Между прочим, внук переводил на русский язык стихотворения деда. Отец будущего дерптского студента — Григорий Иванович (1773—1842) — был женат на Варваре Артемиевне Свербиной, сделал карьеру (был при Николае I статс-секретарем IV отделения) и, вращаясь в петербургском столичном обществе, по-видимому, обрусел. Во всяком случае Иван Вилламов считал себя русским, писал стихи на русском языке и примкнул в Дерпте к русскому студенчеству. Вначале И. Вилламов обучался в Петербурге в Благородном пансионе, где его учителем был В. К. Кюхельбекер. Между учеником и учителем установились самые тесные дружественные отношения. Впоследствии Вилламов из Дерпта переписывался с Кюхельбекером.⁸ Его дерптские письма к своему учителю, собственноручно, и являются основным источником наших сведений о талантливом юноше.

В Дерпте, куда Иван Вилламов приехал в 1819 г., он стал постоянным посетителем дома Е. А. Протасовой — М. А. Мойер, где познакомился с Жуковским. Здесь он в обществе других русских студентов читал вместе с Воейковым новые, еще неопубликованные стихи русских поэтов, спорил о «Руслан и Людмила» Пушкина, при этом, по-видимому в противоположность Воейкову (если учесть рецензию последнего на пушкинскую поэму), был искренне восхищен гениальным творением поэта.⁹ К местному немецкому аристократическому обществу Вилламов относился отрицательно. В этом обществе он находил «слишком много принужденности и формул». «Здесьняя Лифляндская дворянщина такая гордая, что на не дворян и смотреть не хочет»,¹⁰ — с осуждением писал он Кюхельбекеру 15. I. 1820 г. Немецкому обществу Вилламов предпочитал дома Мойер и Воейковой, а также кружок своих собратьев по университету — русских студентов. В этот кружок входили «староста российских студентов» в Дерпте «физико-химик» Станислав Шемийот, Н. Киселев, А. Пёттерсон, А. Хрипков, В. Голицын, Н. Лавров, А. Лаппа и некоторые другие. Кружок не был чужд литературных интересов. В нем выдвинулось несколько «сочинителей», как тогда принято было говорить. Кроме Вилламова писали А. Петерсон и А. Лаппа.

К сожалению, о творчестве этих поэтов мы почти ничего не знаем. Тех их стихов, которые попадали в печать, не очень интересны. Самая же интересная часть их творчества — стихи, посвященные жизни дерптского студенчества, — в силу их специфического характера, в печать попасть не могли. Они не сохранились, по-видимому, в достаточной мере и в рукописных собраниях. Дело в том, что круг распространения стихов дерптских поэтов (за исключением Языкова) не очень широк: он, в основном, ограничивался пределами Дерпта. Главным источником нашего знакомства с поэтическими произведениями дерптских студентов являются альбомы «цариц» здешнего света — А. А. Воейковой и позже М. Н. Дириной. Но «бурсацкая» поэзия дерптских студентов с её культом вина, плотских наслаждений и веселья, скрепленных в 1820-е гг. искренним, хотя и неглубоким свободолобием, далеко не всегда была пригодна для дамских альбомов. Поэтому многие стихи дерптских поэтов до нас просто не дошли.

⁸ См. «Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», ч. IX, М., 1901, стр. 350—354.

⁹ Там же, стр. 353.

¹⁰ Там же, стр. 352.

Насколько можно судить по сохранившимся материалам, поэзия дерптских студентов конца 1810-х — начала 1820-х гг. носила по преимуществу пародийно-сатирический характер. В этом сказалась, вероятно, не только вполне естественная склонность жизнерадостной и вольнолюбивой молодежи к осмеянию окружающих порядков и лиц, но и в какой-то мере влияние А. Ф. Воейкова, наиболее известного в этот период именно в качестве поэта-сатирика, автора «Сумасшедшего дома» и «Парнасского адрес-календаря», над которыми он, кстати, продолжал работать и в Дерпте. Здесь он создал и несколько шуточных стихов, непосредственно посвященных дерптской жизни. В архиве А. Ф. Воейкова (Рукописный отдел Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 151, оп. I, № 3) сохранилась рукопись сатирической сценки в стихах 1820 г. «Торжественный визг жителей пресловутого города Юрьева по случаю отъезда из Юрьева в богослаемый Псков королевичны матерой жены Анны Петровишны». В этой сценке, «на Каменном мосту в лицах представленной 1820-го года 10-го января, по славянски Просинца», среди действующих лиц мы видим профессоров и студентов университета (в том числе самого Воейкова, студентов Вилламова, Голицына, Петерсона), квартальных, дьячков и т. д.

А. Ф. Воейков попытался привлечь дерптских поэтов к сотрудничеству в своих изданиях. (Это очень характерно для издательской практики Воейкова, на протяжении многих лет беззащитно эксплуатировавшего своих друзей и знакомых; позже он всеми доступными ему средствами, играя даже на влюбленности поэта в свою супругу, А. А. Воейкову, добывал для выпускаемых им в свет изданий стихи Языкова, гонораров которому, конечно, не платил.) Об этом свидетельствует тот факт, что почти все опубликованные при жизни работы И. Вилламова были напечатаны в издававшемся Воейковым журнале «Сын отечества». Об этом же говорит «Послание обратное сиречь ответ Российских студентов императорского Дерптского Университета ординарному профессору Российского языка и словесности Александру Федоровичу Воейкову», относящееся к 1820—1821 гг. Это шуточный ответ кружка русских студентов на письмо Воейкова, в котором он предлагал студентам сотрудничать в «Сыне отечества». В «Послании» С. Шемиот, И. Вилламов, А. Петерсон и А. Лапла выражают готовность участвовать в журнале. К своему письму студенты присовокупили пародию на шуточные стихи Жуковского «Пред судилище Миноса...» под названием «Суд студентов» («Пред судилище Густава...»). В этой студенческой шутке, сохранившейся в бумагах А. П. Петерсона и опубликованной после его смерти в 1890 г. в «Русском архиве» (1892, № 2), пред тогдашним ректором дерптского университета Густавом Эверсом предстают русские студенты. В форме комических автопризнаний, исполненных легкого юмора, здесь осмеиваются члены кружка — Киселев, Лавров, Хрипков, Петерсон, Вилламов и др. Это, по всей вероятности, плод коллективного сочинительства русских студентов. Впрочем, никакими особыми художественными достоинствами это стихотворение не обладает, оно интересно лишь как один из немногих образцов раннего периода поэзии дерптского студенчества.

Что касается творчества собственно И. Вилламова, то все попавшие в печать его сочинения представляют собой переводы, не лишенные литературных достоинств и технически достаточно совершенно обработанные.¹¹ Об оригинальном же творчестве Вилламова мы можем судить по двум его стихотворениям, сохранившимся в архиве Н. Д. Киселева.¹² Одно из них — шуточ-

¹¹ См. Девиза из чужбины. Из Шиллера, «Сын отечества», 1820, ч. 66, № 49; Ободрение. Соч. Салиса, там же, 1821, ч. 72, № 36; Жалоба. Перевод с французского, там же, 1821, ч. 73, № 48. Посмертно был опубликован «Отрывок из Гомеровою Ватрахомиомахии», «Московский телеграф», 1826, ч. IX, стр. 108—111.

¹² Рукописный отдел Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина (РО ГБЛ), ф. 129, карт. 21, ед. хр. 2.

ный экспромт «На день рождения Н. Д. Киселева» (Дерпт, 1822), другое — стихотворение «Дом сумасшедших в Дерпте». Это довольно любопытное произведение представляет собой пародию на «Дом сумасшедших» Воейкова, вернее даже было бы сказать, что в нем используется форма воейковской сатиры. В стихотворении в тоне дружеской шутки осмеиваются самые популярные в ту пору в Дерпте профессора Паррот и Эверс, которых автор якобы встречает в городском доме сумасшедших, в его особом — «профессорском» — отделении. Произведение И. Вилламова интересно тем, что оно в известной мере подводит нас к шуточным стихам Языкова. Не случайно такой опытный и столь много сделавший для выявления языковских текстов исследователь, как М. К. Азадовский, отнес это стихотворение к числу творений Языкова и напечатал его, правда, в разделе «Divia» в «Полном собрании стихотворений» поэта. Исследователь основывался на данных архива В. И. Шенрока, где сохранилась копия «Дома сумасшедших в Дерпте». Это, конечно, ошибка М. К. Азадовского. В архиве Н. Д. Киселева находится черновой автограф стихотворения с обозначением автора — И. Вилламова. Сами реалии произведения (напр., дом Зегельбаха, в котором жил Вилламов) говорят о принадлежности его не Языкову, а Вилламову. Кстати, копия Шенрока, без сомнения, восходит к киселевскому тексту этого незаконченного произведения. В. И. Шенрок, как известно, вообще не отличавшийся особой внимательностью и осторожностью в работе над текстами, допуская много ошибок в своих трудах, без достаточного основания или попросту по ошибке отнес это стихотворение к числу языковских.

Н. М. Языков приехал в Дерпт, когда Вилламова уже не было в живых. Но его окружили люди, входившие в кружок русских студентов конца 1810-х — начала 1820-х гг. Среди лучших друзей Языкова мы видим Н. Д. Киселева, среди близких товарищей — А. П. Петерсона, А. Д. Хрипова и др. Без сомнения, через них Языков имел возможность познакомиться с творчеством И. Вилламова и других представителей раннего этапа поэзии дерптского студенчества. Таким образом, Языков столкнулся в Дерпте с уже в какой-то мере подготовленной литературной почвой, с определенной поэтической средой. Конечно, творчество Языкова представляет собой качественно новый этап, огромный скачок в развитии школы дерптских студенческих поэтов. Здесь сказались многие факторы — в первую очередь, размер таланта Языкова, конечно, несравнимый с дарованиями первых поэтов местного студенчества, но также и изменение в общественной жизни, и воздействие декабристских идей, в первой половине 1820-х гг. различными путями интенсивно проникавших в Дерпт, и т. д. Но хотелось бы отметить, что Языков не был одинок в создании поэзии дерптского студенчества, и эволюция, проделанная им на протяжении 1820-х гг., характерна и для других представителей этой поэтической школы.

Среди русских студентов-поэтов, работавших рядом с Н. М. Языковым в Дерпте в 1820-е гг., можно отметить Андрея Николаевича Тютчева (1805—1831), изучавшего вместе со своим брагом Алексеем камеральные науки в университете. А. Н. Тютчев был в близких дружественных отношениях с Языковым, о чем свидетельствует несколько стихотворных посланий последнего, ему адресованных. Известно также, что Андрей Тютчев и Языков иногда сообща писали стихи — плодом их коллективных усилий является, например, «Поздравление М. Н. Дириной».¹³ В альбоме Дириной, откуда это произведение впервые было извлечено И. А. Бычковым, мы находим и другое стихотворение А. Н. Тютчева — «Нам совестно в холодном мире...», посвященное Языкову.¹⁴ Оно, быть может, не очень оригинально по содержанию — строится на обычном для романтиков противопоставлении гнетущей действительности и блистательного мира поэзии, — но показывает достаточно хорошее владение автором стихотворной техникой и не стоит ниже

¹³ См. Н. М. Языков, Полное собрание стихотворений, стр. 340—341.

¹⁴ См. РО ГПБ, ф. 252, № 1, л. 31.

среднего уровня поэтических опытов тех дней. Из писем Языкова к родным мы знаем, что в семье Тютчевых царил либеральный дух,¹⁵ поэтому нет ничего удивительного в том, что свои первые поэтические опыты Андрей решил послать А. А. Бестужеву в «Полярную звезду», где они, впрочем, опубликованы не были.¹⁶ Литературные суждения Тютчева, насколько мы можем судить по его записке Языкову, посвященной разбору «Андромахи» Катенина, отличались тонкостью и говорили о его критическом даре.¹⁷ Судьба Андрея Тютчева в Дерпте удивительно схожа с судьбой Языкова. Оба они много занимались литературой, много читали, проводили время в литературном салоне А. А. Воейковой, которая порою даже отдавала предпочтение Тютчеву перед Языковым,¹⁸ но в то же время оба безнадежно запустили свои учебные дела, много лет готовились к экзаменам, но так и не приступили к ним, уехав из Дерпта «бездипломными» студентами.

Писал стихи и А. Н. Степанов,¹⁹ студент-филолог, позже автор греко-русского словаря, некоторое время сосед Языкова по комнате. Впрочем, последний подчеркивал в письмах, что Степанов по своей натуре не поэт. Не чужд литературных интересов был и хороший друг Языкова А. Н. Вульф, посредник в общении поэта с Пушкиным. Среди знакомых Языкова в Дерпте мы видим и В. И. Дая.

К поэтам дерптского студенчества в первую половину 1820-х гг. в какой-то мере примыкал и Владислав Максимович Княжевич (1798—1873), литератор, близкий друг поэта Милонова. Активный сотрудник «Благонамеренного» и один из издателей «Литературных прибавлений к «Сыну отечества» («Библиотеки для чтения»), он был тесно связан с петербургскими литературными кругами, где все его знали и он знал всех. В. М. Княжевич длительное время (в 1823 и 1825 гг.) проживал в Дерпте, где близко познакомился с Языковым, с которым позже вел оживленную переписку. Вовлеченный в дерптскую литературную жизнь, Княжевич написал ряд стихотворений, посвященных Дерпту и своим местным друзьям и знакомым. В «Благонамеренном» он опубликовал послания к М. Н. Дириной, К. фон дер Боргу и пытался привлечь дерптских студентов к сотрудничеству в этом журнале.

Через Языкова был связан с поэтическим студенческим кругом и известный переводчик М. П. Вронченко, командированный в 1820-е гг. в Дерпт для усовершенствования в астрономии и геодезии.

К сожалению, следов литературной деятельности этого поэтического окружения Языкова сохранилось очень немного. Самое, интересное из того, что нам удалось обнаружить, — это поэма «21-е апреля», сохранившаяся в рукописи в архиве Н. Д. Киселева²⁰ и, без сомнения, вышедшая из среды поэтов дерптского студенчества.

В этой небольшой поэме описывается традиционный праздник студентов 21 апреля — в день основания Дерптского университета. Вначале глазами дерптских мещанок, враждебных студентским шалостям, дается картина торжественного шествия студентов за город, где проводился праздник. В центре поэмы — подробное описание праздничного пиршества студентов на лоне природы, около мызы Рагоф. Это описание, без сомнения, покоящееся на собственных наблюдениях автора, выдержано в очень характерном плане, живо напоминающем настроение, дух языковской «бурсацкой» лирики. Автор тоже выступает как певец радости и хмеля, студенческого удалства и по-

¹⁵ См. «Языковский архив», стр. 44.

¹⁶ См. там же, стр. 205.

¹⁷ См. там же, стр. 485—486.

¹⁸ См. там же, стр. 165—167.

¹⁹ См. там же, стр. 357.

²⁰ РО ГБЛ, ф. 129, карт. 21, ед. хр. 48. Другой список поэмы, записанный рукою неустановленного лица на бумаге 1822 г. с пометкой «1824 мая 9. Дерпт», хранится там же в архиве Елагиных, карт. 17, № 20. На этот список обратила мое внимание К. К. Бухмейер.

клонения Бахусу. Но, как и у Языкова, воспевание вина и веселья не становится самоцелью. Студенческая пирушка мыслится автором как некий образец вольного жития, как протест против официального ханжества, аракчеевщины, казарменного режима, религиозной морали. У студентов господствует свобода, здесь кипят ум и чувства, здесь оказывается к месту политический намек, острая шутка, здесь дружба и товарищество противопоставляется официальным холодным отношениям.²¹

Идут студенты. Неба своды
Сияют мирною красой:
Богам любезен пир свободы
И просвещенной и живой.
Сыны ученья и забавы
Небрежно, весело идут,
Вперед, — вперед — вот у заставы,
Где строго что-то берегут
Игрушки мнительной державы. —

Сюда веселость молодая
Пришла на дружественный пир
О вольность, вольность! Ангел рая,
Души возвышенной кумир,
Ты благодетельна, ты гений
Великих дел и вдохновений,
Святая, пылкая, с тобой —
Нет в голове предассуждений
И нет герба над головой. —

Как милы праздники студентов!
На них приема нет чинам,
Ни принужденных комплиментов
И наслаждения без дам;
Здесь Вахх торжественно смеется,
Язык не гость и либерал,
Стоим, сидим — покуда пьется,
И пьем — покуда не упал. —

Смотрите — вот сошлись двое,
Бутылки верные в руках,
И видно чувство неземное
В многозначительных очах:
Стекло отраднo зазвенело,
Рука с рукой переплелась
И в души сладость полилась
Струей шилучей и веселой;
Их взоры блещут как огонь,
Лицо краснеет и пылает,
Бутылки прочь — и упадает
Ладонь горячая в ладонь, —
Вот величаво и свободно
Уста слились раз, два, три

²¹ См. аналогичные наблюдения над поэзией Языкова: К. Бухмейер, вступит. статья к книге — Н. М. Языков, Стихотворения и поэмы, Л., изд. «Советский писатель», 1958 [малая серия «Библиотеки поэта»], стр. 21—23; И. Д. Гликман, вступит. статья к книге — Н. М. Языков, Стихотворения. Сказки. Поэмы. Драматические сцены. Письма, М.—Л., Гослитиздат, 1959, стр. XXVIII.

(Не так целуются Цари
В часы их радости негодной).
Свершив приятельский обряд,
Они с улыбкой упованья
Один другому говорят
Свои фамильные названья. —

Великолепная картина!
Отрада слуху и очам!²²

«Студентские напевы» характеризуются автором как поэзия, которая «мила душе чувствительной и вольной». Неслучайно также автору вспоминается «враг тиранства благородный» Курбский, «с душой высокой и свободной».²³ Напомним, что именно такого рода трактовка образа Курбского характерна для декабристской поэзии тех лет (дума Рылеева «Курбский»).

Кто же был автором этой любопытной поэмы? В рукописи, хранящейся в архиве Киселева, указаны лишь год (1824) и место создания произведения (Дерпт). Хотя в архиве Елагиных поэма числится в качестве языковской и хотя в письме Языкова к братьям от 11. V. 1824 есть указание на какое-то произведение поэта, посвященное празднику студентов,²⁴ по-видимому, до нас не дошедшее, но соблазнительное предположение об его авторстве надо все же отвести. Во-первых, произведения Языкова, как правило, в архиве Н. Д. Киселева обозначены. Во-вторых, и это главное, в форме и в стиле поэмы много совершенно не свойственных Языкову черт: У Языкова вообще нет описательных поэм о студенческой жизни. Стиль поэмы не напоминает языковского — в ней много аляповатостей и традиционных шаблонных образов и фразеологических оборотов, позаимствованных из массовой поэзии тех лет. Своеобразное «буйство сил», быстрый темп стиха в сочетании с «парением», особой торжественностью, характерные для индивидуального языковского стиля, анонимной поэме свойственны лишь в очень ограниченной степени.

Как нам представляется, автора поэмы надо искать среди студенческого окружения Языкова. В таком случае наиболее вероятным её автором следует признать Андрея Тютчева, в 1824 г., пожалуй, наиболее заметного после Языкова поэта в среде дерптского студенчества. Но это, конечно, не более чем гипотеза. Вполне возможно, что поэма — плод коллективного сочинительства.

Как бы то ни было, поэма «21-е апреля» показывает, что творчество поэтов дерптского студенчества развивалось в том же направлении, что и творчество Языкова. Для них характерно воспевание студенческой жизни в её специфически дерптских проявлениях, культ вина и веселья, бурсацкого молодечества и вольнолюбия. При этом именно свободолюбивые идеи, воплощенные в образе лирического героя студенческих произведений, по определению автора поэмы «21-е апреля», «питомца вольности живой, питомца радости высокой»,²⁵ скрепляют все мотивы стихов, придают им некое единство. Возможно, в этом сказались уже и влияние стихов Языкова 1823 г., но не лишено вероятия и другое предположение, что здесь сказались какие-то общие тенденции развития поэзии дерптского студенчества, что мы имеем здесь дело с явлениями в значительной мере параллельными.

II. Письма Н. М. Языкова к Н. Д. Киселеву.

Публикуемые ниже письма Н. М. Языкова к Н. Д. Киселеву относятся к 1824—25 гг. Н. Д. Киселев, покинувший Дерпт в конце февраля 1824 г., принадлежал к числу наиболее близких Языкову людей в первые годы его

²² РО ГБЛ, ф. 129, карт. 21, ед. хр. 48, лл. 1 об. — 2, 3—4.

²³ Там же, л. 2 об.

²⁴ См. «Языковский архив», стр. 135.

²⁵ РО ГБЛ, ф. 129, карт. 21, ед. хр. 48, л. 7.

дерптской жизни. Их связывала не только дружба, но, по-видимому, и общность интересов, в какой-то мере и единство убеждений. В стихотворных посланиях поэта, посвященных Киселеву и принадлежавших к лучшим страницам его творчества дерптского периода, явственно сказались искренний либерализм, дух свободолюбия (впрочем, стихийного и не слишком глубокого), свойственные как автору, так и адресату посланий.

О тесных связях Языкова с Киселевым свидетельствуют хранящиеся в архиве последнего (РО ГБЛ, ф. 129, карт. 19, ед. хр. 56) записки поэта дерптского периода. Поскольку они в подавляющем большинстве имеют сугубо личный характер, то мы не сочли необходимым публиковать их здесь. Из записок явствует, что Языков и Киселев проводили много времени вместе, вместе ходили к Протасовой, Дириным, Перевошикову, делились книгами и литературными планами. В записках мы встречаем и запросы о «Полярной звезде» и «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», и просьбу прислать «Орлеанскую деву» Шиллера, «Историю Петра» Вольтера и др. Близость Языкова к Киселеву подтверждает и тот факт, что когда поэт обнаружил у себя признаки известной своей «неблагопристойной болезни», то первым, к кому он обратился за советом, был Киселев.¹

Все это определяет особое значение публикуемых ниже писем Языкова. Они предельно искренни. То, о чем Языков иногда умалчивал в письмах к братьям и, тем более, к матери и сестрам, или о чем говорил вскользь, намеками (напр., о своем вольнодумстве в вопросах религии), здесь он выражает прямо и откровенно. К тому же наличие общих друзей, общих студенческих интересов, еще не отошедших в прошлое, заставляло Языкова писать Киселеву и о таких предметах, которые не могли интересовать братьев, но любопытны для нас, особенно в плане выявления подробностей дерптской жизни.

Письма Языкова к Киселеву были известны исследователям, главным образом, по копиям (кстати, во-многом неточным) в архиве В. И. Шенрока, который в какой-то мере использовал их в своих работах.² Отрывки из писем поэта можно найти, например, в комментариях М. К. Азадовского к «Полному собранию стихотворений» Н. М. Языкова.³ Но опубликованы эти письма до сих пор не были. Они печатаются здесь по автографам, хранящимся в архиве Н. Д. Киселева — РО ГБЛ, ф. 129, карт. 19, ед. хр. 56 (листы не нумерованы).

1.

1824 9 марта. Дерпт.

И так видно мне писать первое письмо между нами; прошу не почитать этого великодушием — оно более похоже на щедрость мою по теперешнему состоянию моего казначейства; прошу и вперед принимать в расуждение последнее обстоятельство: в ответах на твои будущие письма я буду сообразоваться с моею денежною возможностью и так буду писать не слишком много и мелкими буквами, как теперь для большей востительности.

После твоего отъезда, без хвастовства сказать, мне стало как-то скучно; ходить некуда, говорить не с кем или лучше не об чем с кем бы то ни было: одна только В<оейков>-а, как одинокая пальма в пустынной Аравии, несколько оживляет мое бытие пустое. Моя муза ничего не родила с тех пор, а только чуть-чуть начинает мучиться родами: она более ничего не выкидывала. Не знаю, что со мною сделалось и что мне делать! У Дириных например — наступил великий пост для посетителей, в глазах которых

¹ См. РО ГБЛ, ф. 129, карт. 19, ед. хр. 56, лл. 5—5 об.

² См. его работы: Н. М. Языков, «Вестник Европы», 1897, №№ 11—12. Студенческие годы Н. М. Языкова, «Русская старина», 1903, № 4.

³ См. Н. М. Языков, Полное собрание стихотворений, стр. 723, 749 и др.

прежде эти же Д<ирин>-ы занимали такой большой пост в знакомстве: все суета — да и только! Я начал никуда не ходить, потому что, как выше сказано, некуда: к одним затем, что они не то, что я, к другим потому, что я не хочу быть тем, что они, а третьих так мало, что не стоит того, чтобы поминать об них. Вот каково, мой почтеннейший! Впрочем, это должно иметь хорошее и решительное влияние на мои учебные занятия. Я сделался несколько меньше ленив: Греческой язык начинает идти своим порядком и даже сверх своего порядка: дело в том, что вместо физики Парр<ота> я читаю с одним из русских студентов (он теперь в моей комнате: Степанов, не поэт, человек простой и не выдумает не только пороха, даже порошка слабительного — за все это он очень хороший греческий лескикон — а мне это-то и надобно) Одиссею, следственно уже подвинулся вперед!

Здесь носится слух, что Жуковский едет с Кларою в Италию (?) — правда ли? Ты ведь его выдаешь — когда же он и приедет ли вообще навестить наш Дерпт? Как выздоравливает Воейков и скоро ли ждет в Петербург свою божественную цирцею? Вот тебе содержание для будущего письма: и сверх того напиши мне, что ты делаешь, что будешь делать, где будешь и чего можешь надеяться? Как я благодарил тебя за тюфяк и особенно за дворец для урыльника и за самой урыльник, и то и другое и третье золото для моей жизни! и то и другое и третье от тебя — в этом значении оно превращается в платину, становится дороже, любопытнее и наконец образует великолепный монумент твоей щедрости, великодушия и благородной любви к ближнему! Не знаю любопытны ли тебе здешние студенческие новости — ежели да — так вот новейшая: у Лифляндцев с Курляндцами вышла ссора;⁴ не знаю хорошенько за что — и теперь эта ватравиомахия кончилась тем, что первые последних посадили (скажу по-здешнему) на фершис.⁵ Дребуш⁶ тоже уехал и, кажется, подобно тебе навсегда. — Короче сказать все и вся согласились уединять более и более мою грешную особу.

Если Николай Николаевич⁷ еще тебе очевиден (говорят, что дорога от Москвы до Петерб<урга> и обратно совершенно не возможна для проезда), то скажи ему мое почтительнейшее почтение: все его сыны милостью божьей здоровы в полном смысле слова.

Прощай до твоего письма

по титуле

Н. Языков

Жуковскому и Воейкову от меня по почтению.

2.

6 апреля <1824>.

Извини, почтеннейший, что я так поздно отвечаю на письмо твое: я дождался для этого денежной возможности, и она, как видишь, явилась довольно поздно, для, тебе уже известного, моего желания с тобою переписываться. Впрочем, дело неважное, ежели несколько почт уходило отсюда без моих писем: тебе нужно время, а моя рука отнимает его очень много даже у знакомых с нею — не правда ли?

Ты хочешь, чтоб я писал тебе больше о Дириных: изволь — я у них давно, очень давно не был — и не знаю почему, хотя должен признаться, что они после Воейковой занимают здесь первое место в моем знакомстве, по пословице. в безлюдии и Фома дворянин. Прошедшую неделю они говели во всем смысле этого глупого слова: я, грешный, грешил перед ними: не говел — зато постоянно ходил в церковь, где особенно меня занимала

⁴ Имеется в виду конфликт и затем разрыв между членами корпораций Livonia и Curonia.

⁵ Verschiß — термин корпорантского жаргона, обозначающий прекращение всяких сношений.

⁶ Об этом лице мы никаких сведений не нашли.

⁷ Тютчев, отец двух дерптских студентов — Алексея и Андрея.

одна картина или, лучше и вернее, одна комедия: это молящаяся и горько плачущая перед богом Тучкова.⁸ Ей, ей, глядя на нее в церкви подумаешь, что живая будет взята на небо. Слухи носят⁹, будто она едет после святой в Москву и берет с собою Барона с фамилиею. Дай бог им скорого отъезда. Извини, что я сбился с дороги — начал Дириными, а заехал к Тучковой: это пиитической скачок!^{9*} Теперь продолжаю прежнее: М. Н. <Дирина> в страстную неделю была совсем не привлекательна для чего бы то ни было: бледная как Перевощиков и такая же молчаливая, молилась во весь дух, по вечерам читала Евангелие, духовные проповеди: короче, была похожа на существо, которое с месяц перед этим временем каждой день приносила мокрые жертву (так! — С. И.) Онану! Теперь начинает поправляться — и дай бог ей поправки! Мать ее еще постнее — и едва ли из нее не выдут скоро ходячие мощи: она непрестанно, даже со мною, толкует о благочестии, о Христе, о городище и всех святых.

По милости Протасовой я уже читал перевод Жуковского Орлеанской девы — и очень рад: это важный подарок и всей нашей литературе и мне в особенности: почему последнее — узнаешь через год или два. Только Жуковский досадил мне: зачем он употребил в этом переводе иностранные слова и притом такие, которым в нашем языке есть равносильные: напр<им>ер> партия (сторона?), нация, армия, марш (ход).¹⁰ Впрочем, это пятна в солнце. Кстати о пятнах: я напишу повесть о ливонских рыцарях — «Как не так, — скажешь ты, — стара шутка!» Ан нет! Я уже сочинил к ней предисловие и послал в Северные Цветы Дельвигу — каково?¹¹ Все будет во время.

Моя муза почти весь великий пост б...овала: посылаю тебе пару ее побочных детей, это последние: я дал себе обещание не зарывать больше в грязь моего таланта, ибо это запрещено Христом-спасителем и бесчестно для моей чести. Ты сам верно одобришь такое мнение, хотя одобрял и похабные восторги мои.

Я охотно бы сознался тебе во всех моих прегрешениях — да теперь, ей богу, вовсе безгрешен даже по части телесных наслаждений: впрочем, это совсем не осторожность, а нет случая иметь кого бы то ни было в дательном ладеже под собою.

Твои поклоны и почтения я доставил всем, кроме тебе незнакомых — и заметил, что их принимают с чувством. Я люблю отдавать и свои почтения всякому встречному, как то, чего не имею: следовательно, и вперед ты можешь надеяться, что этикие твои поручения буду исполнять верно.

Кикин говорит и советует вздор: в этом случае он напомнил мне известную басню о безхвостой лисице.¹²

Прощай мой почтенный. Да! Христос воскрес.

Твой Н. Языков

Кланяйся от меня, кому вздумает. Далее следуют похабства <Вслед за этим идет текст стихотворения «К***» («Кому достанется она...»)>¹³

⁸ Вдова генерала Тучкова, проживавшая в Тарту.

⁹ Вписано над строкой вместо зачеркнутого слова.

* И вторая поправка не годилась: это значит скачок (подстрочное примечание Н. М. Языкова — С. И.).

¹⁰ Аналогичные замечания делает Языков в письме к братьям от 6. IV. 1824, см. «Языковский архив», стр. 124.

¹¹ Речь идет о поэме «Ала».

¹² П. А. Кикин, видный петербургский сановник, говорил Киселеву, что писать стихи бесполезно, и через него советовал Языкову бросить стихотворство. Языков был искренне возмущен этим «советом». См. «Языковский архив», стр. 124.

¹³ Включенный в письмо текст стихотворения целиком совпадает с вариантом, опубликованным в «Полном собрании стихотворений» Н. М. Языкова, поэтому мы не считаем необходимым перепечатывать его здесь.

Великой четверток!

<Далее следует текст стихотворения «Романс» («Ты видишь ли, барин, вдали дерева?»)¹⁴>

3.

1824 * 19 апреля Дерпт.

Наконец начинаю переписку о тобою, любезнейший, извини, что так поздно — вперед буду письменнее — и заслужу твое прощение за долготерпеливое твое же ожидание.

Вот тебе новость: отсюда отправляется в Петерб<ург> Бюш¹⁵ — неделю через, по словам его, следственно месяца через два в самом деле. С ним я пришлю тебе послание, разумеется в стихах, о настоящем состоянии моего духа, тела и проч. и проч. Он, слышно, будет служить тоже по иностранным делам; экзаменоваться снова не хочет, хотя сам Ректор приглашал и уверял его в успехе. Ум свое возьмет, говорит пословица, посмотрим.

Чуть было не забыл поздравить тебя с получением знака монаршей милости — здесь об этом говорил весь город с радостью — и Ректор с нею же. Видишь ли, как здесь тебя доселе помнят и любят. Теперь ожидают сюда нашего почтеннейшего министра: это, верно, будет зрелище любопытное, верно, ему будут говорить речи — и едва ли не Перевошиков. Впрочем, я не понимаю, зачем потащился сюда этот пресловутый старичишка — а добра ожидать кажется нет причины.¹⁶

Ходишь ли ты к В<оейков>-у, когда жена в Петерб<урге>. Она на сих днях туда отправляется: у ней много моих новых стихов; она мне ужасно надоела. Кланяйся однако ж ей от меня грешного, когда увидишь.

Скажи моему брату, что на следующей неделе он получит мой портрет; его уже пишут.

Твой Н. Языков

Это письмо очень коротко — но ведь только введения в другие длинные. Главное дело начать, а там все пойдет своим порядком — не так ли?

4.

1825 мая 3. Дерпт

Вот тебе самые свеженькие стихи мои:

<Далее следует текст стихотворения «В альбом Ш. К.» («Доверчивый, простосердечный...»)¹⁷>

Это последняя дань Воейковой — она сегодня же отъезжает: никогда — признаюсь краснея — я не писал так много вздора в ее альбом, как в ны-

¹⁴ Совпадает с текстом, опубликованным в «Полном собрании стихотворений» Н. М. Языкова (стр. 164).

* Явная описка, должно быть: 1825. Это легко выясняется при простом сопоставлении публикуемого ниже письма с письмами Языкова к родным, относящимися к апрелю-маю 1825 г. Все события, о которых повествуется в этом письме, без сомнения, относятся к 1825 г.

¹⁵ В эти годы в Дерпте обучалось несколько студентов, носящих фамилию Бюш или Буш. По всей вероятности, здесь речь идет об Агатоне Бюше (1801—1873), изучавшем в 1819—24 гг. в дерптском университете медицину. Об этом же лице Языков упоминает в письме к братьям от 10. V. 1825, см. «Языковский архив», стр. 183.

¹⁶ Министр народного просвещения А. С. Шишков приехал в Дерпт 29. V. 1825 и пробыл здесь три дня, см. «Языковский архив», стр. 188—189.

¹⁷ См. Н. М. Языков, Полное собрание стихотворений, стр. 221.

не<шнем>* году — мне жаль и времени, употребленного на эти пустяки, и того, что их прекрасная Причина не умеет заставить меня произвести что-нибудь важное, а я чувствую, что она в состоянии это сделать. На сей же почте пишу предателю Очкину письмо, после которого — надеюсь — окончания твоих на него жалоб.¹⁸

Н. Н. Тютчев тебе кланяется, благодарит тебя, что его помнишь, и не благодарит за обещание писать к нему, потому что верно предвидит его неисполнение — это собственные слова его. В июне он отсюда едет в свою отчину — оттуда за границу и проч. Дети его приготавливаются к экзамену в кандидаты. На сих днях экзаменовался старший Брун¹⁹ и знаменито. Перевощиков говорит, что в первый раз видел такой экзамен. <Через> неделю отправится Бюш — он не хотел здесь сделаться кандидатом — думает, что не нужно для службы — его разуверить невозможно. Едва ли с ним поладишь ты от меня стиховное послание — оно имеет быть так длинно, что не смею надеяться его скоро кончить. Прошу подождать — все будет в свое время — и едва ли что хорошо не в *свое время*.

Посмотри у моего брата мой портрет — и напиши мне похож ли? Ты не узнал бы здешних студентов, если бы теперь сюда приехал: все одеты по одной форме — и все смиряется перед солдатским духом нашего времени. Университет походит на какой-нибудь кадетский корпус и, верно, скоро сам на себя походить не будет и по части наук.

Я кажется приеду в П<етер>б<ург> <нынешним летом>. Прощай — пиши же, а я не отстаю, как видишь, и не отстану, как увидишь.

Твой Н. Языков

* Здесь дефект рукописи — край письма оторван. Все пропуски, причиной которых является дефект рукописи, восстанавливаются по копиям писем Н. М. Языкова к Н. Д. Киселеву, хранящимся в бумагах В. И. Шенрока (ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 2, № 337).

¹⁸ Объяснения этого места, вероятно, надо искать в сохранившейся в архиве Н. Д. Киселева недатированной записке к нему Языкова, по-видимому, относящейся к началу 1825 г. Приводим ее текст:

«Никслау Дмитриевичу Киселеву

Предъявителю сей записки, Титулярному Советнику Амплию Николаевичу Очкину, просит нижеподписавшийся доставить находящиеся у тебя стихи его, нижеподписавшегося, для списания; он же с своей стороны сим обязывается возвратить тебе оные в целости и в реванж (!) доставить тебе те, которых у тебя по справке не окажется

собственною моею рукою подписываю Н. Языков

Р. S. Не таи ничего — человек верный и не зазорный: не продаст, а любит похабности по нашей грешной природе. Я тебе за него ручаюсь. —

Я же у тебя не был потому, ей богу, никак не мог, из Дерпта начну к тебе писать, прощай.»

Упоминаемый в письме А. Н. Очкин (1791—1856) — писатель, критик и переводчик, позже издатель «С.-Петербургских ведомостей», близкий друг Языкова, с которым он переписывался. Можно предполагать, что Очкин не вернул взятых у Киселева стихов Языкова, это и вызвало жалобы со стороны Киселева.

¹⁹ В это время в Дерптском университете обучалось два брата Брун — Филипп Карлович (1804—1880), учившийся на юридическом факультете, позже профессор на кафедре всеобщей истории Новороссийского университета в Одессе, автор ряда работ по вопросам истории, — и Генрих Карлович (1806—1854), обучавшийся на философском факультете, математик, позже доктор философии, профессор Ришельевского лицея в Одессе. «Старший Брун» — вероятно, Филипп Карлович Брун.

1825. 10 мая

Дерпт

Ну, брат, как я виноват перед тобою! вот тебе Бюш, а послания еще нет как нет — этому и мне вовсе неприятному несдержанию моего слова причиною вообще то, что Бюш вчера только сказал мне, что едет сегодня. Что мог я сделать стихами в несколько часов и как мог решиться разом отложить все высокие, похабные и другие мысли? На это надобно по крайней мере неделю — я давно уже знаю, об чем буду писать к тебе, и скорее соглашусь попросить еще несколько раз у тебя извинения в моей неустойке, нежели кое-как, на живую нитку, скомкать разнообразные краски и мысли, приготовленные для послания к тебе.

Воейкова теперь верно в Петер<бурге>, кланяйся ей от меня, при случае: ведь ты верно ее увидишь — я так самолюбив, что думаю, что ты к ней пойдешь только из любопытства видеть мои новейшие стихотворения — так ли?

Прощай — это письмо не в счет. Мое почтение Одоевскому (?).

Твой Н. Языков

1825. Августа 19. Дерпт.

Первым словом моим должна быть благодарность Дириных, через меня тебе посылаемая, за твое участие в понукании Кеппена переслать им бумаги Березина (?), которые они получили от брата покойного. Итак, эта запутанная история кончилась благополучно.

Ты верно видел у моего брата начало моей новой повести — неизвестно будет ли продолжение: все начинать и ничего не кончать едва ли не составляет важнейшей черты моего характера.²⁰ Здесь как-то я сильнее духом — это конечно от жития — почти чуждого суете мирской и ограниченного кругом мною самим избранным — следственно, свободного, самобытного. Мое тело, всегда верное своему Правителю — духу, вместе с ним и слабеющее и крепнущее, теперь тоже несравненно деятельнее, способнее отыскивать надлежащее, обнимать предметы и, в некотором смысле, возвышать в поэзии свои ощущения!

Мои занятия идут вернее прежнего: им ничто или, лучше, никто не мешает: В<оейков>-у чуть-чуть помню и то по ночам только, Дириных вижу редко — потому что они живут еще в Камби²¹ — и все это потому, что мне недосуг, следственно не до сук.

Новый профессор Klossius²² читает теперь европейское народное право — и читает очень хорошо — разумеется, что я его слушаю с удовольствием, хотя вовсе не имею ни надежды, а вследствие того и желания быть когда-либо дипломатом, но все прекрасное — чтобы оно ни было — до кого бы ни касалось — где бы оно ни было — мне сильно нравится и действует на мою душу благотельно!

Кланяйся Бюшу — сюда недавно приехал его старший брат из Парижа — он хороший, занимательный человек, особливо в сравнении с братьями.

Прощай — пиши же ко мне

твой Н. Языков

Вперед буду писать больше; начало чем короче, тем лучше почти всегда.

²⁰ По-видимому, речь идет о стихотворной повести «Меченосец Аран».

²¹ Камби (ныне — Камбья) — имение генерала Кнорринга невдалеке от Дерпта, где неоднократно отдыхали летом Дирины, Воейкова и где некоторое время проживал и Языков.

²² Вальтер Фридрих Клоссиус (1795 или 1796—1838) был в апреле 1824 г. избран ординарным профессором по кафедре Уголовного права, уголовного судопроизводства, истории прав и юридической словесности, с 3. XI. вступил в свою новую должность. Известен своими успешными поисками рукописей юридического содержания в русских архивах и библиотеках.

25 октября 1825. Дерпт.

Я поз<д>но отвечаю на письмо твое; некоторые обстоятельства до сих пор препятствовали мне выполнить эту приятную обязанность — ты не рассердишься и верно не считаешь важными анахронизмы в переписке.

Еще раз благодарю тебя за известие о выздоровлении В<оейков>-ой — предположение твое об истине любви моей, ей богу, не правда: все стихи, которые писал я по сей части, доказывают вовсе противное: они просто шалость воображения, не огненны, не сильны, не чувствительны даже, а таковы были бы они, если бы проистекали из предполагаемого тобою источника. Я так набил руку на пьесы подобные той, которую ты недавно читал, что во всякое время могу сказать много, очень много страстного об особе, столь часто занимавшей мою музу, но все это не любовь, а просто Zeitvertreibung²³ или желание говорить с Д<ирин>-ой даже о предмете, ей знакомом. Теперь, кажется, кончилась в душе моей эта Ватрамиахия: вот уже две недели, как Д<ирин>-ы благополучно возвратились, а я еще ничего не написал для Марии. Мне надобно злоупотребление пера моего; кроме навыку писать гладкие стихи я ровно ничего не выиграл, так много работав на поприще любовной политики, ровно ничего — в физическом и моральном смысле.

Тютчев (старик) тебе кланяется из Дрездена: он вылечился от отдышки в Карлсбаде и возвращается для постоянного жительства в собственно так называемую Россию. Хочешь ли писать к нему? Вот его адрес: в Брянск в доме Варвары Николаевны Безобразовой.

Здесь ничего не случается нового в политическом мире, все по-прежнему: рубятся, стреляются, ссорятся и мирятся ежедневно. Впрочем, старожилы замечают, что никогда не бывало между студентами такой разладицы, как теперь. Вот до чего мы дожили, вот наше время! — говорят те же.

Как идет политика Петербургская? Например, чем кончилась история о попе с рогами! богатый предмет для баллады самой ужасной! Сделай милость напиши, что знаешь об этом, — все необыкновенное сильно на меня действует, а этот поп — случай беспримерной даже в истории человеческих глупостей.

Прощай — покуда

твой Н. Языков

Кланяйся от меня, кому заблагорассудишь, и если увидишь Жуковского — то мое почтение.

²³ Забава, развлечение, времяпрепровождение (нем.).

ОБ ОДНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОПИСАНИЯ ФОНОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Тийт-Рейн Вийтсо

0. Введение.

0.1. Фонологию многих языков при одной и той же общей методике можно описывать при помощи фонологических систем, постулированных по-разному. Это объясняется возможностью различным образом сегментировать речевой поток. Основа сегментирования в большинстве случаев субъективна: исходят из лингвистических представлений нативного говорящего¹ или опять от того же описывающего либо из предрассудков или целей описывающего. Однако сегментирование должно быть объективным (*формалистическим* по терминологии А. Мартине), чисто формальным. Критерием объективности является простота (в глоссематическом смысле слова)² исчерпывающего и (логически) правильного описания, хотя, по меткому выражению Б. Сиртсема, принцип простоты сам по себе не является простым принципом³.

0.2. При поисках лучшей системы фонологических единиц для описания прионежского диалекта вепского языка (один из прибалтийско-финских языков), в котором встречается явление, аналогичное сформулированному Р. Якобсоном слоговому сингармонизму в позднем праславянском и в некоторых современных славянских языках, автор нашел решение, которое кажется довольно эффективным и для описания русского языка.

Не будучи специалистом по русскому языку, автор статьи не компетентен в фонетике разных произношений русской речи. Фонетические данные, являющиеся основой нижеследующего решения, исходят из монографии Н. Дукельского⁴, а также из собственного опыта автора. Поскольку это решение важно прежде всего в принципиальном отношении, нет необходимости в более точных исходных данных.

¹ Напр. в проповедуемом А. Мартине «реалистическом подходе», ср. A. Martinet, *Realism versus formalism*. — *A Functional View of Language*, Oxford, 1962, стр. 1—38.

² О глоссематических принципах описания см. L. Hjelmslev, *Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse*. — *Festskrift udgivet af Københavns Universitet*. November 1943, København, стр. 12 [272], 18 [278], 56 [319], 63 [327] (в скобках указаны страницы русского перевода в сборнике «Новое в лингвистике» 1, Москва, 1960) и H. J. Uldall, *Outline of glossematics*. — *Travaux du Cercle linguistique de Copenhague*. Vol. XI, Copenhagen, 1957, стр. 20—35 [417—436] (в скобках указаны страницы неполного русского перевода в названном сборнике).

³ B. Sieritsema, *A Study of Glossematics. Critical study of its fundamental concepts*, The Hague, 1955, стр. 67.

⁴ Н. И. Дукельский, *Принципы сегментации речевого потока*, Москва—Ленинград, 1962.

1. Прежнее решение.

1.1. **Ход решения.** В известных автору частичных или полных описаниях фонологии русского языка исходят или из упрощенной фонетической транскрипции (в худшем случае), или из следующего хода мысли.

1. За палатализованным⁵ согласным следует гласный с более передним началом (переходным сегментом), или этот согласный находится перед другим согласным либо в конце слова; за непалатализованным согласным следует гласный с более задним началом (переходным сегментом),⁶ или этот согласный находится перед другим согласным либо в конце слова.

2. Коммутативный контраст палатализованных и непалатализованных согласных в конце слова показывает, что они являются различными фонемами, ср. *быль* [bɛ'ɫ'] — *был* [bɛ'ɫ], *даль* [da'ɫ'] — *дал* [da'ɫ].

3. Вышеприведенное суждение можно расширить и на другие случаи, напр. *нос* [n'os] — *нос* [n''os], *бил* [b'iɪ] — *был* [b'ɛɪ], *поля* [pɫ'ɫ'a] — *полá* [pɫ'ɫ'a].

4. Качественно различные пары гласных звуков типа [ʔo] ~ [ʰo], [i'] ~ [ʰi], [ʰɛ] ~ [ʰa] — инварианты.

Соответственно решению получается список из 38 или 39 фонем: (p p̣ b b' t t' d d' k k' g (g̣) c č f f' s š z ž š ž x m ṃ p̣ ñ l l' g̣ ģ j v v' i e a u o), который можно дополнить еще пятью фонемами, если гласные ударного и безударного слога считать различными фонемами.^{7,8}

1.2 **Судьба иотообразного элемента.** Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что палатализованные согласные русского языка так или иначе имеют своим конечным компонентом иотообразный (точнее, [ɪ]-образный или [y]-образный) элемент (переходный сегмент).⁹ В качестве примера можно привести один более ясно сформулированный отрывок из монографии Н. Дукельского: «Включение [ɪ]-образного элемента в состав начального согласного улучшает его звуковой облик: четко слышно [b'ɪ], [d'ɪ], [g'ɪ]. Ясно, что начальную часть переходного процесса следует отнести к согласному, тем более

⁵ Необходимо различать палатальные согласные, как [t'ɕ], и палатализованные согласные, см. также Н. G. Lunt, On the origin of phonemic palatalization in Slavic. — For Roman Jakobson, The Hague, 1956, стр. 306.

⁶ По Н. Дукельскому и конечная часть (переходный сегмент) гласного более передняя перед палатализованным согласным, ср. Н. И. Дукельский, ук. соч., стр. 39 и 41, и стр. 40 таблица 8.

⁷ Ср. M. Halle, The sound pattern of Russian, s'-Gravenhage, 1959, стр. 46, где гласные ударных и безударных слогов рассматриваются в качестве различных фонем.

⁸ Делались попытки считать гласный [ɛ] самостоятельной фонемой, см. Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, Ленинград, 1960, стр. 64—65.

⁹ Ср. Н. И. Дукельский, ук. соч., стр. 24—26, 29, 34, а также приведенную цитату Л. Щербы на стр. 26 в сноске 6.

Это явление легко понять, если его сравнить напр. с эпендетической палатализацией (т. е. с палатализацией только с предшествующим согласному [i]-образным элементом) в южноэстонском произношении эстонского общего языка, с палатализацией только первой части согласного в северноэстонском произношении эстонского общего языка и с палатализацией всего согласного без заметного иотообразного элемента в водском языке (один из прибалтийско-финских языков).

что она частично перекрывается со взрывом. Таким образом, отрезок речевого потока, соотносимый с b' -, d' -, g' -, представлен смычкой, взрывом и $[i]$ -образным элементом». ¹⁰ Хотя это не существенно, можно отметить, что в приведенном случае начальная часть «конечного переходного процесса» согласного только «частично перекрывается со взрывом». Но если это так, то, следовательно, отношение остальной части переходного процесса ($[i]$ -образного элемента) к согласному оправдывается лишь требованиями принимаемой системы (см. § 1.1). Из приведенного отрывка следует также, что Н. Дукельский не отождествляет палатализацию и $[i]$ -образный элемент (ср. $[b'']$, $[d'']$, $[g'']$), и, по-видимому, правильно.

2. Новое решение.

2.1. Переоценка фонетических фактов. Как показано в § 1.2, одним из существенных компонентов палатализованных согласных является иотообразный элемент, считаемый конечным переходным сегментом палатализованного согласного. Однако нет никаких объективных причин для того, чтобы не объединить этот элемент с гласным, следующим непосредственно за ним. Кроме того, надо помнить, что гласный слога, начинающегося с палатализованного согласного (точнее, его начальная часть), является более передним, чем гласный слога, начинающегося с непалатализованного согласного. ¹¹ Это обстоятельство позволяет сделать некоторые выводы.

2.2. Гласные фонемы. При идентификации гласных фонем учитывается: 1) наличие или отсутствие иотообразного элемента, 2) качество гласного; т. е. каждую гласную фонему определяют как конъюнкцию ¹² этих факторов. Таким образом получаются две группы гласных фонем: 1) задние $/u\ a\ o/$, основным качеством которых в ударном слоге является соответственно $[\text{э} \text{ а} \text{ и} \text{ о}]$ и которые в других отношениях не отвечают условиям, предъявляемым к передним гласным; 2) передние $/i\ e\ \text{ä}\ \text{ü}\ \text{ö}/$, основным качеством манифестации которых в ударном слоге являются соответственно $[i\ e \sim \text{э} \sim \text{э} \text{ а} \text{ и} \text{ о}]$ в сегментах, которые находятся после иотообразного элемента с последующим ему переходным сегментом с качеством более передним, чем основное качество. ^{13, 14}

2.3. Согласные фонемы. В соответствии с включением иотообразного элемента в состав гласных фонем, стоящих непосредственно за палатализованными согласными, эти палатализованные согласные можно определить как позиционно обусловленные; в это определение не входят палатализованные согласные, находящиеся в конце слова или перед согласной фонемой (об этих палатализованных согласных см. § 2.4). Таким образом получают следующие согласные фонемы: $/p\ b\ t\ d\ k\ g\ c\ \text{č}\ f\ s\ z\ \text{š}\ \text{ž}\ x\ m\ n\ l\ g\ v/$. Надо отметить, что фонема $/j/$, представленная в § 1.1, здесь пока не выделяется как отдельная фонема.

¹⁰ Н. И. Дукельский, ук. соч., стр. 29.

¹¹ См. там же, стр. 36—39, а также Л. В. Щерба, Русские гласные в качественном и количественном отношении, С.-Петербург, 1912, §§ 58, 61, 62, 101.

¹² Автор предпочитает термин *конъюнкция* в смысле синтагматической функции (syntagmatic function) ельмслевскому термину *коннекция* (connection), ср. L. Hjelmslev, ук. соч., стр. 36 [279] и Н. J. Uldall, ук. соч., стр. 42—45, так как коннекция является аналогом логической конъюнкции.

¹³ Когда $/e/$ манифестируется как $[\text{э}]$, это условие не обязательно; ср. Л. В. Щерба, ук. соч., § 61.

¹⁴ Против такого же результата выступает Л. Г. Джоунз (L. G. Jones), см. M. Halle, ук. соч., стр. 159—160, исходя из иного принципа сегментации субстанции выражения.

2.4. Фонема /j/. Остается определить контрасты типа *был* [bɛ^ul] — *быль* [bɛⁱl], *дан* [da^un], — *дань* [daⁱn] и контрасты типа *полка* [p^uolkɑ] — *полька* [p^uoⁱl^uκɑ]. Ясно, что и в этих случаях, также как и в позиции перед гласным, иотообразный элемент приходится отделять от согласного. Так как не представляется целесообразным определить данный элемент каким-либо иным образом (напр. как особую просодему палатализации), то следует его считать самостоятельной фонемой /j/, то есть: /by.l/¹⁵ — /by.lj/, /da.n/ — /da.nj/, /p.o.κɑ/ — /p.o.ljκɑ/. Это решение не касается случаев как *кости* [k^oɔstl], *гвозди* [g^uv^ozdl], *зонтик* [z^ontɪk], где «полумягкость»¹⁶ [ɟ], [ʝ], [ɲ], как и палатализованность последующих за ними согласных, обусловлена передней гласной фонемой, стоящей после них.

Необходимо отметить, что фонемой /j/ следует определять элемент [i], когда он является: 1) вторым компонентом квазидифтонга, напр. в словах *рай* [rai] /га.ј/, *колхозный* [kɔl^uz^uɲi] kɔl^o.zɲyј/; 2) в начале слова в случаях типа *ель* [i^ei] /је.лј/, *епископ* [i^epⁱiskɔp] /јері.skɔp/, ср. напр. *эль* [eⁱl^u] /е.лј/, *эпистола* [i^epⁱistɔlɑ] /јері.stɔlɑ/¹⁷; 3) за непалатализованным согласным, напр. *сѣл* [sⁱel] /сје.л/, ср. *сел* [s^el] /се.л/; 4) за палатализованным согласным в случаях типа *пьяный* [pⁱʲæ^uɲi] /пјä.ɲyј/, *стулья* [st^ui^ul^uʲɑ] /stu.ljä/.

Теперь нужно доказать, что в представленной системе фонемы /i ä ü ö/ не являются сочетаниями фонемы /j/ и, соответственно, фонем /y а u o/ (вместе с правилами манифестации, как /jy/ → [i], и т. д.). Это доказывается наличием таких контрастов, как *налёт* [nɔl^ut] /налö.t/ — *нальёт* [nɔl^ui^ut] /naljöt.t/, *семи* [s^emⁱi] /semi./ — *семьи* [s^emⁱiⁱ] /semji./, *пятый* [pⁱʲæ^uti] /pä.tyј/ — *пьяный* [pⁱʲæ^uɲi] /pјä.ɲyј/.

2.5. Возможности сокращения числа гласных фонем.

2.5.1. Вариант с одним акцентом. Так как в представленной системе имеются две серии гласных фонем: задние /y а u o/ и передние /i е ä ü ö/ с параллельными парами /y — i/, /a — ä/, /u — ü/, /o — ö/, более целесообразно сократить число гласных фонем путем включения в систему дополнительной фонологической единицы /ʲ/. Единица /ʲ/ определяется как просодема (точнее: акцент) передности, которая манифестируется как иотообразный элемент с последующим ему более передним переходным сегментом в начале гласного. Так как домена этой просодемы совпадает с частью домены гласной, просодему отмечают над гласной. Таким образом остаются лишь гласные фонемы /i е а u o/ (вместо буквы у употребляется буква i), которые манифестируются как [i^u э ~ е ~ e ~ e^u а u o], но маркированными просодемой /ʲ/, т. е. [i^u ä^u ü^u ö^u]. Просодема /ʲ/ противопоставляется нулевой просодеме (т. е. отсутствию просодемы /ʲ/): /ʲ/ — /Ø/.¹⁸

¹⁵ Точкой /./ после гласной фонемы отмечают просодематиическое ударение, ср. *мука* /mu.ka/ — *мука* /mu.ka./.

¹⁶ Так обстоит дело по Л. Щербе, см. Л. В. Щерба, Теория русского письма. — Избранные работы по русскому языку, Москва, 1957, стр. 174.

¹⁷ Таким образом в систему следует включить правило манифестации: /i^uе-/ → [e ~ э ~ ε] ≠ [e] (/e/ в начале слова не имеет иотообразного элемента).

¹⁸ Постулирование наличия просодемы задности (так решил Э. П. Хэмп, см. Е. Р. Хэмп, Vowel harmony in Classical Mongolian. — Word 14, стр. 291—294 (1958)) не целесообразно.

2.5.2. Вариант с тремя акцентами. Другой вариант учитывает возможность группирования гласных фонем соответственно противопоставлениям их манифестации по месту образования. Именно:

| | Передние | | Задние | |
|---------|----------|--------|----------|--------|
| | Негубные | Губные | Негубные | Губные |
| Высокие | i | ï | y | u |
| Средние | e | ö | | o |
| Низкие | ä | | a | |

Пусть основными единицами (фонемами) являются /i e a/ (/i a/ предпочитают (пре-)фонемам /y ä/ из-за более высокой частотности первых). Теперь можно определить остальные (пре-)фонемы в терминах фонем /i e a/. Для того включаются в систему еще просодемы (акценты) /˘ ˆ ˙˘/.

Префонема /y/ определяется как конъюнкция фонемы /i/ и акцента задности /-/ и пишется соответственно как /i/. Префонемы /u o/ определяются как конъюнкция /i e/ и акцента губности /˘/ и пишутся как /i ê/. Префонемы /ü ö ä/ определяются как конъюнкция фонем /i e a/ и просодемы передности /˘˘/, и пишутся как /i ë ä/; притом для /i e/ прибавляется одновременно и губность, т. е.

$$((/˘/ \cdot /i e/) \Rightarrow /i ë/) = ((/î ê/ = (/i e/ \cdot /˘/)) \cdot /˘˘/).$$

3. Вывод. В соответствии с вышеприведенным получается или система из 25 фонем /p b t d k g c ċ f s z š ž x m n l r v j i e a u o/ и двух акцентов /˘˘/ или (предпочтительно) система из 23 фонем /p b t d k g c ċ f s z š ž x m n l r v j i e a/ и 4 акцентов /˘ ˆ ˙˘/.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----|
| Об изучении современной литературы в школе в свете решений XX и XXII съездов КПСС | 3 |
| Ю. М. Лотман. Тарутинский период Отечественной войны 1812 года и развитие русской литературы и общественной мысли | 8 |
| Б. Ф. Егоров, В. П. Боткин — литератор и критик. Приложение: Библиография трудов В. П. Боткина | 20 |
| П. С. Рейфман. Борьба в 1860-х годах вокруг романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» | 82 |
| С. Г. Исаков, М. Е. Алехина. Русская литература в Эстонии в 1880-х гг. | 95 |
| З. Г. Минц. Поэма А. А. Блока «Ее пришествие» и революция 1905 г. | 164 |
| В. И. Беззубов, Л. Андреев и А. Чехов | 181 |
| А. Б. Правдин. Конструкции с двойным винительным падежом в русском языке XVII века | 223 |
| Е. И. Гурьева. Объектные родительный и винительный падежи в истории русского языка | 237 |
| С. В. Смирнов. Грамматическая система Ф. И. Буслаева | 250 |
| С. А. Оленева. Значение и употребление творительного падежа в современном русском языке в сопоставлении с эстонским языком | 268 |

Публикации и сообщения

| | |
|--|-----|
| Материалы для изучения А. Н. Радищева и его окружения. Ю. М. Лотман (вступительная статья), В. В. Фурсенко (подготовка текста и комментарии). «Сочувственник» А. Н. Радищева А. М. Кутузов и его письма к И. П. Тургеневу | 281 |
| Ю. М. Лотман. Неизвестный читатель XVIII века о «Путешествии из Петербурга в Москву» | 335 |
| Б. Ф. Егоров. Отъезд В. П. Боткина в Испанию | 339 |
| Б. Ф. Егоров. Материалы об Ап. Григорьеве из архива Н. Н. Стрехова: 1) Ап. Григорьев, К. С. Милановский и неизвестные стихи Н. А. Некрасова. 2) Письмо Ап. Григорьева к А. Н. Майкову. 3) Последняя любовь Ап. Григорьева. 4) Воспоминания оренбуржцев об Ап. Григорьеве | 343 |
| П. С. Рейфман. Забытая статья о Т. Г. Шевченко | 351 |
| Е. Г. Полонская. Из литературных воспоминаний 1920-х годов. Вступ. заметка, подготовка текста З. Г. Минц | 374 |
| В. Т. Адамс. Воспоминания о Кареле Чапеке и Отокаре Фишере | 367 |
| С. Г. Исаков. Новые материалы о жизни и творчестве Н. М. Языкова дерптского периода | 390 |
| Тийт-Рейн Вийтсо. Об одной возможности описания фонологии русского языка | 405 |

Тартуский государственный университет
Тарту, ул. Юликооли, 18

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ
И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ VI

Редактор Б. Ф. Егоров

Корректор З. Г. Минц

Сдано в набор 21/III 1963. Подписано к печати 10/VII 1963. Бумага $60 \times 90, 1/16$. Печатных листов 25,75. Учетно-издательских листов 31.

Тираж 700 экз. МВ-06169. Заказ № 2606.

Типография им. Ханса Хейдеманна.

ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 17/19. II.

Цена 1 р. 86 коп.

Рyb. 1.86